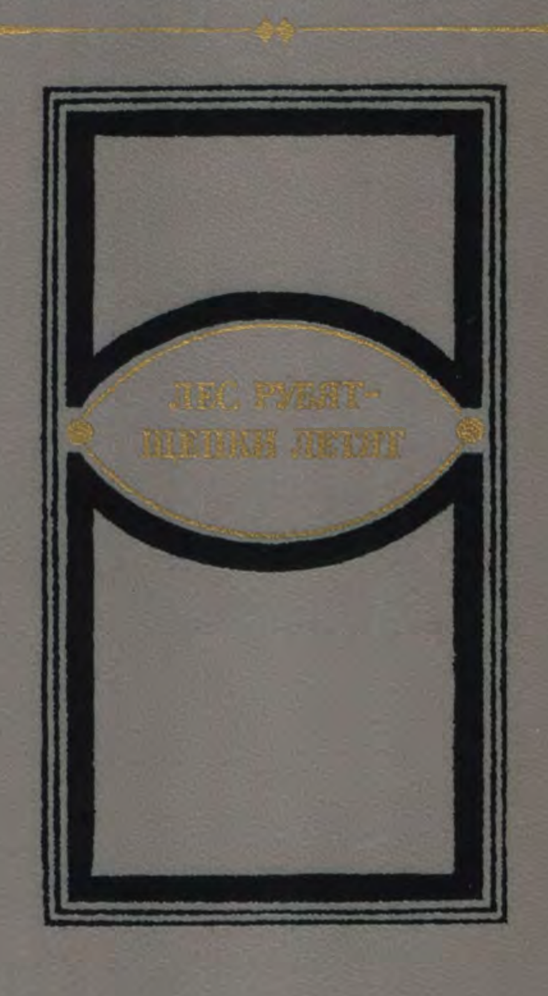
А·К·ШЕЛЛЕР-МИХАЙЛОВ







А·К·ШЕЛЛЕР
МИХАЙЛОВ



ЛЕС РУБЯТ— ЩЕПКИ ЛЕТЯТ



РОМАН



Москва
«Художественная литература»
1984

Р1
Ш 42

Подготовка текста и вступительная статья
Г. Г. ЕЛИЗАВЕТИНОЙ

Комментарии
И. Б. ПАВЛОВОЙ

Оформление художника
Ю. АЛЕКСЕЕВОЙ

Шеллер-Михайлов А. К.

Ш 42 Лес рубят — щепки летят: Роман/Подгот. текста и вступ. статья Г. Г. Елизаветиной; Коммент. И. Б. Павловой; Худож. Ю. Алексеева. — М.: Худож. лит., 1984. — 528 с., портр.

Роман А. К. Шеллера-Михайлова — писателя очень популярного в 60—70-е годы прошлого века — «Лес рубят — щепки летят» (1871) затрагивает ряд злободневных проблем эпохи: поиски путей к изменению социальных условий жизни, положение женщины в обществе, семейные отношения, система обучения и т. д. Их разрешение автор видит лишь в духовном совершенствовании, личной образованности, филантропической деятельности.

Ш $\frac{4702010100\text{-}251}{028\ (01)\text{-}84}$ 6-84

ББК 84Р1
Р1

А. К. ШЕЛЛЕР-МИХАЙЛОВ
(Очерк творчества)

Начало долгой, почти сорокалетней, литературной деятельности Александра Константиновича Шеллера, подписывавшего свои многочисленные произведения, стихотворные и прозаические, псевдонимом «А. Михайлов»[1], пришлось на знаменитые в русской истории «шестидесятые годы» XIX века. Это был период реформ, надежд, духовного подъема, веры в будущее. Отмена крепостного права придала «шестидесятым» яркую оптимистическую окраску. Она исчезла быстро. На Россию снова обрушилась политическая реакция. Трагична судьба крупнейших деятелей «шестидесятых годов»: Чернышевского, Добролюбова, Писарева. Делалось все, чтобы их идеи, их произведения были забыты. Но это не удалось: продолжали творить Некрасов и Салтыков-Щедрин, появлялись новые демократически настроенные писатели, поэты, критики. Масштабы дарований были разными, но одно объединяло их — стремление сохранить память о великом наследии «шестидесятых». Не всегда верно понималась суть сохраняемого наследия: интерпретация деятельности Чернышевского, Добролюбова, Герцена, Писарева иной раз была упрощенческой, лишенной осознания подлинно-революционного смысла, но — субъективно — преобладало желание честно и самоотверженно претворить демократические идеи в жизнь, сделать их достоянием следующих поколений. Одним из тех, кто навсегда сохранил верность «шестидесятым», был Шеллер-Михайлов. Он не принадлежал к революционному направлению в движении шестидесятников, но просветительская программа, которую несло его творчество, делала его писателем «честного направления», писателем-демократом. По свидетельству мемуариста, уже в преклонных годах Шеллер-Михайлов встретился с кем-то из знакомых и между ними состоялся следующий — весьма красноречивый диалог.

---

[1] Далее условно: Шеллер-Михайлов.

«— А вы все, Александр Константинович, так же по-прежнему горб гнете во имя шестидесятых годов?

— Да, я по-прежнему все еще честный человек,— сердито ответил Шеллер» [1].

До самого конца он оставался в русской литературе представителем «шестидесятых» — по своей любви ко всем униженным и забитым, по своей вере в разум человека и его волю. Не только как писатель, но и как социальный тип, Шеллер-Михайлов неотделим от этого времени: выходец из мещанства, человек, живший умственным трудом, он писал, надеясь на преобразующую силу литературы. Не достигая больших художественных высот, он и в самом деле оказался «полезен». Современники, особенно молодежь, читали его произведения чрезвычайно охотно и много, об этом сохранились прямые свидетельства. «...Шеллер имел огромное и безусловно благотворное влияние на широкие слои публики,— констатировал известный историк литературы С. А. Венгеров в начале XX века.— Отчеты провинциальных публичных читален показывают, что и до сих пор Шеллер очень читается...» [2]

Что же привлекало в нем? Вероятно, то, что всегда несли в себе его книги — «верность добрым идеям» [3].

Александр Константинович Шеллер родился 30 июля (11 августа) 1838 года в Петербурге. Его отец, Константин Андреевич Шеллер, эстонец, мальчиком был привезен в Петербург и отдан в театральное училище, после окончания которого служил в оркестре. Вскоре он оставил театр и стал, как «деликатно» пишется в немногих работах о его сыне, «придворным служителем». Если отбросить деликатность ради точности, то следовало бы сказать, что отец будущего писателя стал придворным слугой. Но Константин Шеллер обладал большим врожденным чувством собственного достоинства и не стыдился никакой работы, если она была честной.

Духовная стойкость отца, его умение выполнять свой долг без надрыва и упреков судьбе и окружающим, рассудительность и всегдашнее спокойствие служили для его сына примером достойной, самоотверженно прожитой жизни. Отдельными чертами личности отца писатель наделил многих из лучших персонажей своих произведений.

Мать Александра Константиновича была, в противоположность

---

[1] А. И. Фаресов. Александр Константинович Шеллер. Биография и мои о нем воспоминания. СПб., 1901, с. 164.

[2] С. А. Венгеров. Очерки по истории русской литературы. Изд. 2-е, СПб., 1907, с. 106.

[3] Н. С. Лесков. Собр. соч., т. 11. М., Гослитиздат, 1958, с. 463.

отцу — человеку простого происхождения, связана родством с русской аристократией. Елена Федоровна, урожденная Адамович, происходила из обнищавшей дворянской семьи. Вполне разделявшая взгляды мужа на труд, она сама вела свое бедное хозяйство и подрабатывала шитьем.

Воспоминания Шеллера-Михайлова о матери проникнуты нежностью. Русская литература XIX века посвятила женщине немало страниц, немало произведений. Сами слова — «русская женщина» — стали обозначением любви, искренности, чистоты, жертвенности. Шеллер-Михайлов не был исключением: женская доля, ее горести и радости изображаются им со всегдашним сочувствием, будь то служанка Наташа в «Нашей первой любви» или девушка из богатой семьи в «Беспечальном житье». А в романе «Гнилые болота» он создает подлинный гимн женщине. Гимн, навеянный размышлениями о женщинах, подобных его матери.

Трудовых мещанских семей, таких, как семья Шеллеров, десятки тысяч обитало тогда в Петербурге. Для того чтобы понять некоторые стороны и особенности творчества Шеллера-Михайлова, не будет лишним остановиться на том социальном, экономическом содержании, которое должно быть в данном случае вложено в понятие «мещанская» семья. Для нас сейчас «мещанство» — это определенный подход к жизни, узкий идейный и общественный кругозор, мелкие, главным образом собственнические интересы. Во времена же Шеллера-Михайлова под «мещанством» понималось прежде всего особое сословие «горожан низшего разряда». Мещане, как и крестьяне, «подлежали солдатству» и «состояли в подушном окладе». Основную массу мещан составляли ремесленники. Отец Шеллера-Михайлова, например, чтобы подработать, занимался еще и столярным ремеслом.

Труден был мещанский быт, не раз описанный Шеллером-Михайловым в романах и повестях, отраженный в его стихотворениях. Пьянство мужчин, забитость или, напротив, распущенность женщин, беспризорность детей. Однако семья Шеллеров, не отличаясь от других уровнем материальной обеспеченности, сильно отличалась нравственной атмосферой, в ней царившей. Именно в семье будущий писатель получил ту моральную закалку, которая помогала ему всю его дальнейшую жизнь.

Биографы Шеллера-Михайлова, особенно А. И. Фаресов, отмечали также своеобразную роль, которую сыграла в формировании личности Шеллера-Михайлова его бабушка по матери. Аристократические претензии, ей присущие, мечты о том, что внук сумеет войти в «благородное» общество, внесли, по мнению Фаресова, не только разлад в душевную жизнь писателя, но и придали трагический характер его восприятию действительности и своего места в

ней. Фаресов так и называет одну из своих биографических работ о писателе: «Трагизм Шеллера» [1].

Думается, Фаресов прав лишь отчасти. Ранимая, чуткая душа Шеллера-Михайлова, как мы знаем по его собственным признаниям, с детства болезненно откликалась на обиды, связанные с социальным положением его семьи. Характер у Шеллера-Михайлова был нелегкий, но в основе всегда оставалась теплота отношения к окружающим, чувство собственного достоинства, воспитанное не столько аристократкой-бабушкой, сколько плебеем-отцом. Сохранившиеся свидетельства мемуаристов о личности Шеллера-Михайлова рисуют его человеком, всегда приходившим на помощь другим. В частности, он был очень внимателен к начинающим писателям, «подававшим какие-либо надежды на будущее развитие. Для таких начинающих,— вспоминал Л. Е. Оболенский,— он готов был сделать все, что было в его силах, а уж что касается одобрения, подъема духовного, укрепления надежд на свои силы, то едва ли кто-нибудь другой был в нашей литературе, кто так же относился бы к молодой пишущей братии. И таким А. К. Шеллер остался до своей смерти. <...> Таково же было отношение к начинающим и В. Г. Белинского» [2].

Нравственная история Шеллера-Михайлова — это история противостояния окружающей среде. Многие герои его произведений проходят тот же путь, что прошел их создатель.

Родители Шеллера-Михайлова сделали все от них зависящее, чтобы дать сыну образование. Мальчика сначала отдают в частную школу, во всем подобную той, которую он опишет позже в «Гнилых болотах» под именем учебного заведения госпожи Соколовой. Пробыл он там недолго и был переведен в так называемую «Анненскую школу», точнее «Annen-Schule (тоже описанную в «Гнилых болотах»). По окончании, в 1857 году, Шеллер-Михайлов поступает вольнослушателем в петербургский университет, из которого вышел в 1861 году.

Проникнутый стремлением приносить общественную пользу, нести образование народу, Шеллер-Михайлов по выходе из университета основывает школу для бедных с ничтожной годовой платой за обучение. Естественно, вскоре пришлось отказаться от иллюзий, школа просуществовала всего два года.

К началу шестидесятых годов Шеллер-Михайлов уже ясно осознал свое стремление к писательской и публицистической деятельности. Тогда же появляются в печати его стихотворения и романы. Шеллер становится известным читателям под именем «А. Михай-

---

[1] Исторический вестник, 1901, № 4, с. 163—197.
[2] Исторический вестник, 1902, № 1, с. 133.

лов». Псевдоним, по свидетельствам мемуаристов, восходит к имени и фамилии школьного друга писателя: Андрей Михайлов однажды отнес стихотворения Александра Константиновича в редакцию журнала «Современник» и добился их публикации.

Стихотворения не принесли Шеллеру-Михайлову славы. Он и сам сознавал, что они, возможно, не имеют больших «достоинств в поэтическом отношении». В предисловии «От автора», открывающем собрание сочинений Шеллера-Михайлова 1873 года, заявлено, что сам автор, ожидая строгого суда над своими стихотворениями, видит их ценность в одном: те читатели, которые, подобно самому поэту, прошли «тяжелый путь, пробиваясь среди нищеты и невежества» [1], узнáют в стихотворениях свои чувства, свои горести и мечты.

В оригинальных стихотворениях Шеллер-Михайлов разрабатывает темы, общие для всей демократической поэзии второй половины XIX века. Лирический герой — выходец из низов общества, поэзия — один из способов общественного служения. Подобно некрасовскому: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан», Шеллер-Михайлов заявляет в программном стихотворении «Пролог»:

...Стихов непрошеные звуки
Невольно льются с языка;
Но я не жду за них привета,
Не оскорбляюся хулой,
И имя глупое поэта
Не оставляю за собой.
К чему я призван в день рожденья,
Тем я останусь навсегда,—
Героем гордого терпенья
И всемогущего труда.

Шеллер-Михайлов пишет о нищете, тяжким бременем, «тяжеле железных цепей», сковавшей волю человека к действию («На воле»), искажающей его духовный облик:

Рано утратил я чувство свободы,
И привился ко мне рабства недуг,
Переживающий годы
(«Горе свое я умею терпеть...»)

Перекликаясь с известным стихотворением Огарева, Шеллер-Михайлов создает свой «Старый дом», но это не старинный барский особняк, как в стихотворении Огарева, а «мещанский дом», в котором, вспоминает поэт:

...Я стал терпеливым рабом.

---

[1] А. Михайлов. Сочинения, т. 1. СПб., 1873, с. 1.

В стихотворениях «Доля бедняка», «Слабый, больной...», «Смерть бедняка» и многих других Шеллер-Михайлов рассказывает о жизни городской бедноты, которую он хорошо знал по собственному опыту и по опыту своих родителей. С сарказмом пишет он об иллюзиях тех, кто «книжками», «правильными словами» хочет помочь избавиться от нищеты. Обращаясь к «погибающему люду», он с иронией восклицает:

Но не плачь! только дай написать
Нам последнюю книгу о нищих,—
И научишься вдруг ты читать
И очутишься в наших жилищах.

(«Не тужи, погибающий люд...»)

Любовная лирика не заняла сколько-нибудь заметного места в поэтическом творчестве Шеллера-Михайлова. В немногочисленных стихотворениях, посвященных женщине, он воспевает подругу, соратницу, помощницу в жизненной борьбе («Я пробудил, лаская и целуя...», «Я знаю сам, что жребий мой...» и др.).

Не меньшее, а, пожалуй, даже и большее значение, чем своим оригинальным произведениям, придавал Шеллер-Михайлов переводам. Среди выбранных им для переводов западноевропейских поэтов — Гервег, Шамиссо, Фрейлиграт, Гуд, Зейме, Гартман. Формулируя принцип отбора переводимых поэтов, Шеллер-Михайлов признавался, что его всегда привлекали только произведения, которые посвящены тем, кому «нелегко живется на свете» [1].

Самым любимым поэтом Шеллера-Михайлова был Шандор Петефи. Он привлек его своей народностью; в поэзии Петефи, писал Шеллер-Михайлов, нет «ничего деланного, ничего искусственного» [2], он близок к таким поэтам, как Кольцов и Бернс. Пропаганда в России творчества Ш. Петефи — большая литературная заслуга Шеллера-Михайлова.

Однако не собственные стихотворения и не стихотворные переводы принесли Шеллеру-Михайлову известность и успех. Их принесли его романы. Первый из них — «Гнилые болота» — был опубликован в «Современнике» в 1864 году. Журнал возглавлял тогда Некрасов. И хотя критика встретила роман довольно сдержанно, он надолго привлек к Шеллеру-Михайлову внимание русского читателя.

Смысл названия «Гнилые болота» был исчерпывающе раскрыт Салтыковым-Щедриным в одной из его рецензий на произведения

---

[1] А. Михайлов. Сочинения, т. 1, с. II.
[2] Там же, с. III.

Шеллера-Михайлова. «Гнилые болота»,— писал Салтыков-Щедрин,— термин иносказательный: это жизнь в тех ее формах, которые завещаны нам историей, это сплетение всякого рода обрядностей, хотя и утративших живой смысл, но имеющих за собою внешнюю, грубую силу и потому безапелляционно подавляющих в человеке всякое движение в смысле самодеятельности и независимости»[1].

Роман «Гнилые болота», несмотря на подзаголовок «История без героя», прослеживает как раз историю героя, историю нравственных поисков, падений и возрождения Александра Рудого. Произведение, таким образом, представляет собой одну из разновидностей жанра «романа воспитания».

В предисловии к роману Шеллер-Михайлов предупреждает читателя, что автор меньше всего стремился развлечь его. Здесь нет ни любовной истории, ни острых коллизий. Но зато, подчеркивает Шеллер-Михайлов, есть правда действительной жизни. И для того, чтобы подлинность описанного сильнее подчеркнуть, писатель выбирает любимую форму рассказа от первого лица. Александр Рудый «сам» рассказывает о своем детстве и школьных годах. Рассказывает подробно, потому что все, что ребенок видит, с чем сталкивается, влияет на его характер, ум и сердце. Роман Шеллера-Михайлова автобиографичен. Автор стремился выполнить свою главную задачу — показать духовное становление одного из тех людей, в ком он хочет видеть залог лучшего будущего русского общества.

Шеллер-Михайлов не верил в плодотворность политических катаклизмов. Искренний почитатель Белинского, Герцена, Чернышевского, Добролюбова, он видел в них не столько революционеров, сколько мыслителей-просветителей. Пытаясь найти для себя опору в их деятельности, Шеллер-Михайлов находил ее в той идейной пропаганде, которую они осуществляли, но в самих идеях ценил не революционный, а нравственный пафос, их облагораживающее влияние на читателей, защиту прав и достоинства человеческой личности. Даря А. И. Фаресову портрет Чернышевского, Шеллер-Михайлов сделал к портрету надпись:

Самоотверженный и честный наш боец,
Он весь принадлежал к иному поколенью,
Которое пробить успело, наконец,
Народу русскому пути к освобожденью[2].

Но, в отличие от Чернышевского и его единомышленников, самому Шеллеру-Михайлову хотелось бы найти какой-то «третий» путь, не революционный, но и не такой, который ограничивался бы

[1] М. Е. Салтыков-Щедрин. Собр. соч., т. 9. М., «Художественная литература», 1970, с. 261.
[2] А. И. Фаресов. Александр Константинович Шеллер. Биография и мои о нем воспоминания, с. 144.

только либеральными «словесами», как это явствует из уже приводимого здесь стихотворения «Не тужи, погибающий люд...». Писателю казалось, что он находит этот путь в поступках, совершаемых человеком в целях самоусовершенствования. «Особенность моя в том,— признавался Шеллер-Михайлов,— что я уделял очень много места личной нравственности, убежденный в том, что если все будут нравственны, то социальный вопрос разрешится сам собою»[1].

В своих произведениях Шеллер-Михайлов часто обращается к читателю с прямыми проповедями на различные моральные темы, его романы, повести, рассказы богаты отступлениями, рассуждениями разного рода и содержания: о месте женщины в обществе, о приемах и задачах воспитания и еще о многом другом. Все это, с точки зрения писателя, должно было помочь читающим его произведения стать лучше, найти свой путь в жизни.

В 1871 году выходит в свет роман «Лес рубят — щепки летят» — вместе с «Гнилыми болотами» — лучшее из всего, что создано писателем. Особенности Шеллера-Михайлова-романиста получили в этом произведении наиболее яркое выражение.

Как и во многих других книгах Шеллера-Михайлова, судьбы героев романа — Екатерины и Антона Прилежаевых, Александра Прохорова — прослеживаются в течение ряда лет. Но уже с самого начала перед нами, в сущности, сложившиеся натуры: мужественные, честные, жизнестойкие. Оставшись после смерти отца, мелкого чиновника, в безысходной нищете, Екатерина и Антон вполне ясно сознают, что никто не намерен помогать или сочувствовать им. И они «как бойцы шли в мир на завоевание счастья». В чем же оно для них? Писатель показывает, что содержание понятия «счастье» меняется для его героев в зависимости от обстоятельств. Счастье — это и верный кусок хлеба, и возможность получить образование, и победа в борьбе с несправедливостью.

Основное действие романа происходит в «шестидесятые годы», и мы находим в повествовании множество их примет: оживленные общественные дебаты по различным вопросам, обсуждение итогов Крымской войны, надежды, связанные с крестьянской реформой. Екатерина Прилежаева, ставшая невестой, а потом и женой Александра Прохорова, вместе с ним участвует в спорах. Идея женского равноправия была близка Шеллеру-Михайлову и всегда защищалась им. На Екатерину и Александра общество смотрит как на представителей «нового» молодого поколения, стремящегося разрушить старые устои. Были ли, однако, Екатерина и Александр «новыми людьми» в действительности и, главное, считал ли их та-

---

[1] А. И. Фаресов. Александр Константинович Шеллер. Биография и мои о нем воспоминания, с. 99.

ковыми сам автор? Вопрос немаловажный, так как и критика XIX века, и современное литературоведение часто упрекали Шеллера-Михайлова в искажении образа «новых людей» [1].

Шеллер-Михайлов, конечно, читал «Что делать?» и понимал: герои его собственного романа вряд ли могут быть поставлены рядом с «новыми людьми» Чернышевского. Со свойственной ему четкостью, не оставляющей места для двузначных толкований, Шеллер-Михайлов писал об Александре Прохорове, что тот «не был «новым человеком», то есть таким человеком, который твердо шел бы по одной избранной дороге, к одной известной цели...»

Екатерина и Александр, по определению их создателя, «дюжинные личности» и если отличаются от окружающих, то, может быть, лишь более твердой волей, более острым чувством собственного достоинства. Именно эти качества не позволяют им терпеть унижения, заставляют бороться за такое место в жизни, которое давало бы пусть относительную, но независимость. Екатерина «чувствовала, что лучше не жить, лучше умереть, чем жить <...> забитым, придавленным, вздыхающим даже в минуты радости существом...»

Екатерина и Александр — «новые люди» лишь для той дворянской среды, в которую они попадают, став членами кружка начальницы детского приюта Софьи Андреевны Вуич. Вышедшие из того социального слоя, культурные традиции и бытовые навыки которого так сильно отличаются от традиций и навыков дворянских усадеб, они представляются молодым дворянам, собирающимся возле Вуич, «пришельцами», выходцами «из другого света». Прошлое Екатерины и Александра — голод и холод — суровое настоящее для многих их современников. Герои Шеллера-Михайлова всегда помнят об этом. Отсюда их своеобразный ригоризм, особые требования к литературе и искусству. «Я думаю, что искусство будет иметь серьезное значение только тогда, когда оно будет приносить пользу человечеству...» — говорит Александр Прохоров.

Мы знаем, что таково было в ту эпоху мнение не только героя Шеллера-Михайлова: за ним стояли те, кто страстно желал покончить «с рабством, крепостничеством, крайним перевесом богатства одних над богатством других» и мечтал обратить на пользу своей мечте науку, искусство, собственную жизнь.

Герои романа «Лес рубят — щепки летят» не доходят до конца в своей борьбе, прекращают ее, почему писатель и лишает их права называться «новыми людьми». Они протестуют против бесчеловечных порядков в приюте графов Белокопытовых, рассчитанных буквально на физическое уничтожение детей,— Александр Про-

[1] См., напр.: История русской литературы XIX века (вторая половина). Под ред. проф. С. М. Петрова. М., «Просвещение», 1978, с. 35.

хоров даже посылает какие-то материалы для публикации в «Колоколе» Герцена,— но все же в конце концов отступают. Они «бойцы», но лишь до определенных пределов. Декларируемый Шеллером-Михайловым уже в «Гнилых болотах» запрет спрашивать об «убеждениях» героев оборачивается в романе «Лес рубят — щепки летят» легкостью, с которой он прощает им отступление от идеалов юности. Побывав в ссылке, Екатерина и Александр уезжают за границу и там, по выражению писателя, «пристраиваются», начинают жить тихой, «буржуазной» жизнью.

Шеллер-Михайлов не испытывает по этому поводу той горечи, которая прозвучала в «Мещанском счастье» и «Молотове» Помяловского, где герой также активно относился к жизни, а пришел к «тихой пристани». Шеллер-Михайлов склонен оправдать своих героев. «...Надо прежде всего позаботиться о себе, завоевать ту силу, при которой возможна борьба»,— размышляет Екатерина. С ней согласен и Александр Прохоров. «Некоторых из нас, быть может, назовут жертвами, в других бросят камень осуждения; одних, быть может, возведут на пьедестал, других смешают с грязью,— размышляет он.— Но мне кажется, что теперь настало время, когда нужно заниматься не осуждениями и похвалами, расточаемыми тем или другим лицам, а стараться избегать тех промахов, которые были кем бы то ни было сделаны в прошлом, заниматься развитием самих себя, неустанно работать в пользу того, что уже начато...»

Шеллер-Михайлов вовсе не утрачивает своего оптимизма. Он лишь полагает, что обещанное «шестидесятыми годами» придет позже, чем ожидалось, но придет обязательно, если каждый будет совестлив, добросовестен и мужествен в своей сфере деятельности. Роман заканчивается мажорно: все «впереди» у самого юного из героев — Антона.

Роман буквально насыщен историческими реалиями, подробностями жизни и быта времени, и в этом смысле он безусловно интересен. Переживания героев по поводу событий Крымской войны; реакция на готовящиеся реформы, и главным образом реформу крестьянскую; деятельность демократической молодежи на поприще народного образования; упоминание о вольной русской прессе за границей — все это создает живой фон современности и восполняет недостаточно совершенную в художественном отношении разработку образов героев. Шеллер-Михайлов не создал глубоко жизненных образов, он, может быть, слишком прямолинейно следует поговорке, вынесенной в название романа, неоднократно при этом поясняя ее, но — как всегда у Шеллера-Михайлова — подкупает «любовь ко всем, кто слаб, кто страдает», подкупает искреннее стремление внушить читателю, что многое в жизни будет зависеть от него самого.

Шеллер-Михайлов часто выглядит резонером, на что ему беспощадно и неоднократно указывала критика: особенно суров был Салтыков-Щедрин. Во многом критики были правы. Но писатель резонерствовал не только потому, что ему недоставало силы художественного таланта и революционной целеустремленности, но и потому, что в пользе резонерства, назидательности он был убежден. Он верил, что и без «картин и образов» «глубокие мысли» «людям... нужны, если они выражены прочувствованно и искренно»[1].

Много рассуждают и герои Шеллера-Михайлова. Даже дети. Но только слово, рождающее поступок, имеет цену для Шеллера-Михайлова. Он противник «игры воображения» и выступает с требованием поменьше «рассказывать детям сказки». Правда, «в сказках поэзия, но она слишком бьет в глаза, ослепляет их и после нее трудно трезво глядеть на мир и понимать его действительную красоту, понимать, что желтый лист, трепещущий на ветке в позднюю осень, в тысячу раз красивее неподвижных серебряных листьев и золотых плодов, что простая и дымная изба мужика с его трудовой жизнью в миллион раз занимательнее и ярче всех похождений по воздуху небывалых героев». Сам Шеллер-Михайлов щедр на описания непривлекательной обстановки, в которой, как правило, живут и действуют его герои, но при этом — бросающийся в глаза парадокс: он очень любит то, что называется «happy end», «счастливый конец». И не всегда он жизненно оправдан, не всегда логически вытекает из событий, а нередко бывает рожден «воображением» автора. Современная писателю критика говорила в связи с этим о влиянии на него английской литературы, особенно Диккенса. В какой-то мере замечание справедливое, но все же стремление к благополучным финалам не только результат чьего-либо влияния, а сознательно проводимый принцип. Обращаясь в основном к молодежи, Шеллер-Михайлов хочет, чтобы она верила в плодотворность своего стремления к лучшему, в возможность счастья. Устами одного из своих героев он говорит: «Я работаю над собою, бодро работаю, не утомляясь, не охая, и ищу идеала не просто честного, как мой отец и мать, но *честного и счастливого* (курсив наш.— *Г. Е.*) человека...» А в романе «Жизнь Шупова, его родных и знакомых» герой не без иронии замечает: «...Что будет далее с действующими лицами моей автобиографии? Можно ли надеяться на их счастье? Можно, любезный читатель, если вам не вздумается уморить меня чахоткою, как умер Инсаров, и заставить Аню пропасть без вести, как пропала жена этого господина, если вы не вздумаете заставить Кольку делать операцию, обрезать палец и умереть преждевременною смер-

---

[1] А. И. Фаресов. Александр Константинович Шеллер. Биография и мои о нем воспоминания, с. 33.

тью, подобно Базарову, если вы не захотите заставить мою Лелю влюбиться в какого-нибудь проезжего юношу и бросить на время Семена Иваныча, подобно героине «Подводного камня», если вы, одним словом, не захотите сделать с нами какой-нибудь такой убийственной проделки, от которой погибают за мгновенье всякие людские надежды на будущую счастливую жизнь...»

Может быть, популярность произведений Шеллера-Михайлова в основном и объяснялась оптимизмом писателя, достижимостью целей, которые он ставил перед своими читателями. Конечно, это не были подлинно великие цели, но гуманизм Шеллера-Михайлова, его любовь к простым людям, особенно к детям, согревали его произведения и делали их доступными и близкими большинству читателей.

Шеллер-Михайлов был настоящим адвокатом детей. И здесь он действительно стоял рядом и с Достоевским, и с Толстым, и с Диккенсом. Литература XIX века впервые изображала ребенка не как лицо, в произведении эпизодическое, не как маленького взрослого, а как носителя своего особого детского мира чувств, мыслей, стремлений и надежд, ничуть не менее важных, чем у взрослого человека. Таков ребенок в «Детстве» и «Отрочестве» Л. Толстого, в «Детских годах Багрова-внука» С. Аксакова, «Неточке Незвановой» Достоевского. В конце 50-х — начале 60-х годов XIX века, то есть именно тогда, когда вышли в свет первые произведения Шеллера-Михайлова, в русской литературе появилось немало повестей и романов о детях.

В большинстве своих произведений Шеллер-Михайлов изображает детство героев, обычно несчастливое, полное унижений и обид. Писатель требует уважения к слезам и страданиям своих маленьких героев. «...Я не поверю никому,— пишет он,— кто проповедует: «...какой у детей характер, какие у них чувства! Это пустые капризы, мелкие бесследные прихоти, они проходят так же скоро, как высыхают детские слезы. Дети — бесцветный воск». Так, милостивые государи, дитя — воск, но не бесцветный, не одинаково гибкий. И знаете ли вы, что эти слезы, пролитые в детстве, смывают все благие порывы в человеке, что ни в одном взрослом не оставляют они таких следов, какие оставляют в ребенке; они иссушают, очерствляют его, убивают в нем постепенно веру в добро...»

Шеллера-Михайлова действительно можно назвать «беллетристом-воспитателем» [1]. Через все его произведения проходит мысль о необходимости изменить к лучшему условия формирования личности, проходят размышления о тех обстоятельствах, которые искажают характер человека, озлобляют его, лишают веры в себя и дру-

[1] «Книжки «Недели», 1898, № 11, с. 118.

гих. Лишь немногие могут вырваться из «гнилых болот». К ним и относятся Александр Рудый, Павел Шупов, Катерина Прилежаева. Всех их объединяет ранняя трезвость мысли, сильный характер, умение и желание добиваться того, что они считают нужным и справедливым. Правда, именно здесь, в сфере убеждений, наиболее отчетливо проявила себя узость взглядов писателя, его полемически-задорное нежелание вникать, каковы же идейные основания справедливой и «полезной» деятельности его героев. «Вам нужно знать одно,— говорит писатель,— убеждены ли они в возможности жить честно и живут ли так сами. Все остальное до вас не касается». Подобное мнение вызывало протесты и споры. Революционер-демократ Салтыков-Щедрин не мог принять точки зрения Шеллера-Михайлова и в своих отзывах о романах «Засоренные дороги», «Вразброд», «Беспечальное житье» выражает глубокое недовольство позицией писателя. В то же время даже и Салтыков-Щедрин отдавал должное «страстности» и «искренности» автора романов тогда, когда он говорит о явлениях, глубоко возмущавших всю передовую часть русского общества второй половины XIX века. Среди них вопросы воспитания подрастающего поколения — центральные в творчестве Шеллера-Михайлова — были одними из наиболее важных и злободневных. Широко обсуждалась статья Н. Пирогова «Вопросы жизни», посвященная проблемам образования и воспитания. Почти одновременно с «Гнилыми болотами» и «Жизнью Шупова, его родных и знакомых» появились «Очерки бурсы» Помяловского, содержащие страшные картины педагогического глумления и гибели молодых душ.

С защитой детей выступал Шеллер-Михайлов и в собственно публицистических своих произведениях, таких, например, как «Основы образования в Европе и Америке». Детям посвящены «Письма человека, сошедшего с ума», «Наши дети».

Несчастны в произведениях Шеллера-Михайлова не только дети бедняков, но и дети, растущие во вполне материально обеспеченных семьях. Несчастен Шупов, рано потерявший мать и лишенный любви отца, отдавшего ребенка в чужую семью. Несчастен герой романа «Беспечальное житье» Петр Павлович Муратов; человек в расцвете лет и сил, он с болью думает, что все его пороки и беды объясняются отсутствием в детстве «греющего семейного кружка». Несчастны дети в романе «Лес рубят — щепки летят».

После романа «Лес рубят — щепки летят» Шеллером-Михайловым было создано еще немало произведений. Среди них серия «Семья Муратовых», в которую вошли романы «Старые гнезда», «Хлеба и зрелищ», «Беспечальное житье», «И золотом, и молотом», «Совесть», «Вне жизни». Последний роман, по цензурным сообра-

жениям, остался незаконченным: он был посвящен судьбе одного из представителей «новых людей» — Максима Муратова, «нелегального», проведшего свою жизнь в тюрьмах и скитаниях. В целом романы серии должны были воссоздать жизнь русской дворянской семьи в эпоху, последовавшую за отменой крепостного права.

В своем отзыве о «Беспечальном житье» Салтыков-Щедрин справедливо упрекал писателя в том, что он разоблачает не главное, не сами устои общества, в котором возможно «беспечальное житье» за счет других, а «мелочи», «стреляет из пушек по воробьям»[1]. Действительно, как и всегда, Шеллер-Михайлов делает упор на личную нравственность. Но его мысль о необходимости самоконтроля, требование отвечать за себя и свои поступки при всех идейных и художественных просчетах романа — все же сохраняет свою справедливость, свою воспитательную ценность, обеспечившую и данному роману, и всей серии читательский успех.

Шеллер-Михайлов чутко откликался на перемены, которые нес с собой ход истории, отражая экономические и социальные сдвиги, в романах «Голь» (1882), «Алчущие» (1887), «Конец Бирюковской дачи» (1893), выводя новый для себя тип — ренегата — в романе «Ртищев» (1890). Судьбы героев Шеллера-Михайлова осложняются, иные из них кончают самоубийством, оптимизм порой изменяет теперь писателю, но он по-прежнему — «эхо» «шестидесятых». Он пронес служение им через 70-е, мрачные 80-е, через 90-е годы. Шеллер-Михайлов скончался с наступлением уже нового, XX века, 21 ноября (4 декабря) 1900 года в Петербурге.

Жизнь Шеллера-Михайлова — это жизнь литератора-профессионала. Он ничего не имел вне литературы, даже семьи. Им создано более ста произведений: романов (около тридцати), рассказов, публицистических трудов, стихотворений. Немало сил отдано им журнальной работе. Шеллер-Михайлов был редактором иностранного отдела журнала «Русское слово», затем осуществлял общую редакцию в журнале «Дело», редактировал «Неделю», «Живописное обозрение», «Сын отечества».

Писателю было свойственно высокое представление о назначении литературы; с самого начала своего творческого пути и до его конца он отказывался видеть в ней «забаву, годную для развлечения в минуту праздной скуки». Вместе с тем размеры собственного дарования представлялись ему чрезвычайно скромными, тем более, что критика не баловала Шеллера-Михайлова. Уже приводились отзывы Салтыкова-Щедрина. В 1873 году появилась обстоятельная статья П. Н. Ткачева «Тенденциозный роман (Собрание сочинений

[1] М. Е. Салтыков-Щедрин. Собр. соч., т. 9, с. 446.

А. Михайлова. СПб., 1873)». Анализируя творчество Шеллера-Михайлова и его, несомненно, прогрессивные устремления, критик-народник писал: «В беллетристических произведениях г. Михайлова тенденциозность достигает и даже переходит ... предел, при котором она не может уже развиваться далее, не нанося существенного ущерба художественности»[1]. Близка к ткачевской и оценка А. М. Скабичевского. «Романы Шеллера,— писал он,— при всем честном и бескорыстном увлечении автора передовыми идеями своего века и безукоризненно прогрессивном содержании носят один существенный недостаток: ...они страдают крайней книжностью»[2]. Скабичевский, по сравнению с другими критиками, особенно много уделявший внимания Шеллеру-Михайлову, не раз упрекал писателя в бедности художественных приемов, в слишком явной тенденциозности. Лишь во вступительной статье к посмертному собранию сочинений писателя Скабичевский выступает критиком более снисходительным, пожалуй, и более объективным.

Думается, нет необходимости приводить суждения других критиков-современников Шеллера-Михайлова. Чаще всего их отзывы либо неоправданно жестки, либо неумеренно хвалебны. На общем фоне выделяется отзыв Писарева о «превосходном романе» — «Жизнь Шупова, его родных и знакомых»[3], однако именно этой оценке в небогатой литературе о Шеллере-Михайлове никогда не уделялось должного внимания.

Подобная крайность в отзывах на романы Шеллера-Михайлова объясняется тем, что литература его времени имела такие замечательные образцы, как произведения Чернышевского, Салтыкова-Щедрина, Льва Толстого. Но в век великих идей и великих творений не случайно и появление литературы, хотя и не достигающей «вершинных» образцов, но идущей в русле общественной жизни и отвечающей потребностям современного ей читателя. Представление о времени, ее породившем, может быть полным лишь в совокупности знания и произведений большой литературы, и сопутствующей ей «добротной» беллетристики.

Шеллер-Михайлов с надеждой взывал к своему Читателю, полагая, что тот поймет и домыслит то, чего недоставало его произведениям, его дарованию. «...Ты сам, читатель, не глуп, и чувства у тебя много; ты сам сумеешь заменить мое неуклюжее, долговязое выражение одним метким словом...» Он всегда верил в своего

---

[1] П. Н. Ткачев. Избранные сочинения на социально-политические темы, т. II. М., Изд-во Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1932, с. 386.

[2] А. М. Скабичевский. История новейшей русской литературы. 1848—1890. СПб., 1891, с. 329.

[3] Д. И. Писарев. Сочинения, т. 3. М., Гослитиздат, 1956, с. 494.

читателя, настоящего и будущего. «...Хотелось бы мне встретиться с тобою,— писал он, обращаясь к Читателю,— крепко пожать твою руку и с полной уверенностью, что я не лишний в твоем доме, сказать: «Наконец-то мы увиделись!»

Современный читатель мало знаком с творчеством Шеллера-Михайлова. Однако верится, что гуманизм и доброта не имеют временных границ, а ведь именно эти качества отличают все, что создано писателем. Они когда-то обеспечили ему читательский успех, они должны помочь и «возвращению» его произведений к нам.

Г. Г. Елизаветина

ЛЕС РУБЯТ — ЩЕПКИ ЛЕТЯТ





ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

КНИГА ПЕРВАЯ

I

ДРАМА В ПОДВАЛЕ

Поздняя осень.

Над Петербургом, развиваясь, как клубы дыма, и заслоняя последние клочки неба, медленно тянутся тяжелые свинцовые тучи-великаны. В воздухе сыро и пасмурно. Порою начинает моросить дождь, иногда перепадают мокрые хлопья снегу. Недавно выкрашенные заново дома покрылись пятнами от сырости и выглядят уныло. На улицах лежит непроходимая грязь и стоят широкие лужи воды. Резкий ветер дует с моря, ни на минуту не умолкая. Он зловеще и пронзительно воет в трубах домов, в снастях кораблей, в обнаженных деревьях садов и кладбищ. Нева, мутная и почерневшая, угрюмо шумит и бешено бьется в берега, как будто силясь изломать в куски свои гранитные оковы и затопить возникший из болота город. Вода поднялась очень высоко, и река кажется еще шире, еще страшнее. В отдалении тяжело и глухо проносятся в воздухе одинокие звуки пушечных выстрелов — это напоминание для подвальных жителей, что против них поднимается страшный враг — наводнение, готовое затопить их последние жалкие пожитки. На улицах почти пусто, все, кто мог, забились по своим, может быть, и неудобным, но теплым углам.

Но на Неве идет усиленная работа.

Плотовщики, содержатели ванн и десятки перевозчиков спешат привязать плоты и купальни; солдаты и рабочие таскают доски, укрепляют канаты, приготовляясь развести мосты; запоздалые барочники разгружают последние остатки дров и сена; местами еще виднеются чухон-

ские лайбы и иностранные суда, спешащие отплыть к Кронштадту; на пароходах снуют кочегары и матросы, идет чистка и осмотр машин; на бердовских тонях рыбаки складывают мережи, таскают сачки, бадьи, выбрасывают гнилую мелкую рыбу. В воздухе раздаются удары топоров, всплескиванья воды под веслами и канатами, слышатся крики: «Отдай канат!», «Отчалива-ай!», «Куда тебя несет, ле-еший, под машину!» Эти слова, вылетающие сквозь приложенные ко рту в виде рупора руки, звучат как-то глухо и дико. Руки рабочего народа походят по цвету на кровь; они начинают коченеть, а с грубых лиц между тем катится обильный пот, смешанный с грязью и копотью, оставляющий на щеках и на лбах тружеников какие-то серые, черные и коричневые полосы, зигзаги и пятна.

Чем ближе к устью реки, тем больше народу виднеется на ней, тем менее сдержанности, тем более торопливости в движениях и в речах рабочих. Закоптелые фабричные и оборванные кочегары с черными лицами, мужики в неуклюжих овчинных тулупах, голландцы в своих плотно прилегающих к телу штанах и куртках, все это, иззябшее, промокшее до костей, снует, торопится, шумит, переругивается здесь между собою на различных наречиях, на различных языках, и между тем вся эта возня, весь этот гам, вся эта брань переводятся немногими, всем и каждому понятными словами: «Мы хотим есть и зимою!»

По-видимому, эта масса тесно сплотилась в одной спешной дружной работе, но именно в эту минуту она более всего разъединена между собою и ни в ком из ее членов нет места ни общему любопытству, заставляющему двух мужиков мирно беседовать, доедет или не доедет колесо чичиковской брички до Казани, ни общему состраданию, собирающему целую толпу народа поохать над утопающим ближним. И любопытство, и сострадание, и все другие чувства поглотились теперь одною мыслью о хлебе — о хлебе для себя и только для себя. В такие минуты легче всего незаметно погибнуть в глазах сотни людей.

Вот почему никто не интересовался жалкою барочною лодчонкой, плохо сколоченною, плохо высмоленною, то там, то тут пропускавшей воду; она пробиралась со взморья, тяжело ныряя по сердитым волнам и ежеминутно готовясь скрыться под ними. В ней на гнилых досках, заменявших скамьи, сидели два человека. Одному было лет пятьдесят, другому едва ли минуло девять. На первом был надет совершенно вытертый бутылочного цвета сюр-

тук с заплатанными локтями, с ободранными обшлагами, с двумя костяными пуговицами на правой стороне и одною медною пуговицею на левой. Костяшки разместились очень далеко одна от другой — одна у талии, другая у ворота,— и потому, хотя сюртук был застегнут, между пуговицами было большое отверстие, в которое, как в разинутую пасть, забирался ветер, обдувая холодом все тело владельца этого наряда. Около шеи старика был обмотан грязный клетчатый бумажный платок, на ногах были разорванные порыжевшие сапоги с полуотвалившимися заплатами; в голенища сапог были засунуты бахромы рваных панталон. Замасленная фуражка сдвинулась на затылок старика; из-под нее выбивались клочья седых волос и угрюмо смотрело давно небритое, обросшее серою щетиной лицо с воспаленными глазами, синевато-багровым носом и синевато-багровыми щеками. Может быть, это были следы долголетнего пьянства; может быть, это были следы долголетних пребываний на морозе. Трудно было определить по физиономии, был ли этот человек добр или зол, умен или глуп, хитер или простодушен. Жизнь стерла с этого лица следы каких бы то ни было человеческих чувств; на нем осталось и как бы замерло только одно выражение суровой одичалости, не переходившее ни в злую улыбку, ни в пламенный гнев. Подобное выражение встречается у жалких забитых трусов, близких к кретинизму, и у холодных злодеев, дошедших до зверства. Во всяком случае, оно является плодом страшно тяжелого прошлого; так выглядят старые арестанты из «благородных» после долголетнего пребывания в тюрьме. Нельзя сказать, чтобы спутник старика составлял с ним резкий контраст, потому что его трудно было рассмотреть. Он был одет не лучше старика, но теплее. Чья-то заботливая рука надела на него ситцевую женскую кофту на вате и повязала ему уши какой-то толстой тряпицей неопределенного цвета и неизвестной материи. Опоясанный веревкою, обвязанный тряпицею, в нахлобученной на уши теплой шапке, ребенок с первого взгляда более походил на узел грязной ветоши, чем на человека, и мог быть принят скорее за девочку, чем за мальчика, если бы попристальнее вглядеться в его маленькое, посиневшее от холода лицо, выглядывавшее не то оторопелыми, не то унылыми синими глазами на все окружающее. Между стариком и мальчиком лежала целая груда мокрых досок, дров и щепок. Лодка очень низко сидела в воде, и волны уже не раз обдавали своими брызгами и сюртук

старика, и кофту мальчика. Спутники давно уже не говорили ни слова и ехали в гробовом молчании среди шума волн и криков народа, работавшего на обоих берегах.

— Чего зазевался? Не видишь? — сиплым и глухим голосом пробормотал наконец старик, мотнув головою по направлению к воде.

Мальчик засуетился, поднял со дна лодки нечто вроде обломка багра, привязанного к веревке, и, наметив во что-то, бросил багор в воду. Через мгновенье он уже тащил за веревку полено, в которое вонзился острый конец железа. Лодка закачалась сильнее.

— Совсем до краев вода! — испуганно пробормотал мальчуган, расставив ноги и, по-видимому, стараясь удержать этим движением раскачавшуюся лодку.

— Не потонешь! — сквозь зубы ответил старик.— Зимою сами станете выть: «Хоодно, мамка, дьовец подьожи в печку!» Знаем мы вас! Теперь потонуть трусишь, а потом замерзнуть побоишься.

Старик говорил ровно, монотонно, не повышая, не понижая голоса. Мальчик молчал. Они опять ехали среди полнейшего безмолвия. Ветер продолжал дуть. Начал накрапывать дождь. Путники проехали еще несколько сажень в бесплодных поисках за скудною добычей. Наконец старик совершенно выбился из сил и на минуту перестал грести. Лодку начало поворачивать поперек реки и быстро понесло назад по течению.

— Ах, дуй те горой! И передохнуть нельзя,— угрюмо промолвил старик и снова принялся за весла.— И что это за шельма, твоя мать! — пробормотал он, обращаясь к мальчику.— Нет того чтобы на сюртук пуговицы пересадить; словно в зев какой ветер дует, а медяшка на левом боку без пути болтается. Катька небось нашла кофту тебя одеть, а для отца пальца о палец не ударит. Окаянные, право, окаянные! Нет, баста! В последний раз на вас работаю. Поколевайте как знаете!

Мальчик не то испуганно, не то уныло смотрел на старика, слушая эти речи. А волны все с большею и большею злобой бились об лодку. Старик начал крепче забирать левым веслом, понемногу сворачивая в Пряжку.

— Приедем, сбегай за матерью, вели таскать дрова; да сторожи их, не то растащут,— приказал старик.— Сами не поедут на работу, а стащить каждый норовит. Подлец — народ!

— А ты куда пойдешь? — тихо спросил мальчуган.

— Молоко сперва оботри, да потом и спрашивай. Ишь, не обсохло еще! — ответил старик и, плюнув на ладонь, принялся грести с новым усердием.

Через несколько минут тяжелая лодка дотянулась до берега. Здесь не было ни набережной, ни мостовой, ни фонарей, ни будок. На откосах берега еще виднелись потемневшие остатки тощей травы. Здесь лежало множество почти негодных, опрокинутых лодок. По берегу, состоявшему из черной вязкой грязи не то земли, не то осаждавшейся от заводов копоти, валялись кирпичи, булыжники, каменный уголь, только не было тут ни одной щепочки, ни одного куска дерева,— все это, как клад, как сокровище, было давно выловлено, давно подобрано из грязи окрестными жителями. Где они жили — это было трудно определить сразу, так как по берегу тянулись почти одни бесконечные, сломанные заборы, среди которых то тут, то там выглядывало нечто вроде собачьих конур, украшенных вместо круглых дыр квадратными отверстиями, заклеенными бумагой, тряпками и отчасти стеклами. Несколько неуклюжих каменных домов попали сюда как бы случайно, стояли как-то боком, словно сторонились друг от друга. Все: и земля, и небо, и здания — было темно, теперь же даже черно от дождя и наступивших сумерек.

Мальчуган побежал, шлепая по грязи, домой. Старик остался близ лодки, неподвижно остановившись на берегу.

Он походил в эту минуту на мертвеца с застывшим выражением суровой одичалости; это лицо хранило теперь следы полнейшей апатии, полнейшего отвращения к жизни; можно было безошибочно сказать, что этому человеку теперь все равно, куда идти: на разбой, в тюрьму, в воду или в кабак. Если бы люди увидали этого человека в настоящую минуту и сжалились бы над ним, то они, вероятно, отправили бы его в больницу, в теплую комнату, на мягкую постель.

Но здесь не было сострадательных людей: здесь жили только нищие.

Минут через пять мальчик снова воротился к лодке.

— Что мать-то? — послышался глухой вопрос. В звуках этого голоса теперь слышалась уже не суровость, а какая-то болезненность, надорванность; таким тоном просят Христа ради «стакашик» спившиеся с кругу, дошедшие до белой горячки люди.

— Идет! — послышался тихий ответ.

— Ну, жди ее здесь.

Старик поплелся по грязи. Это был сгорбленный, отощавший, изнуренный и ревматизмом, и геморроем, и припадками белой горячки, и чахоткой человек. Он плелся медленно, неверными шагами, согнув колени. Только теперь, смотря на эту полумертвую фигуру, можно было удивиться, что у этого человека еще доставало силы из-за ничтожной груды дров и щепок объездить все устье Невы в эту бурную погоду, в этот холод, в этот дождь. Но что прикажете делать, если наступает зима, если не на что купить дров, если можно поколеть от холода в подвале, в конуре, с полувыбитыми стеклами, со щелями в каждом угле? Мальчик уныло смотрел на удаляющегося старика, он не смел его остановить, не смел спросить, куда он идет, за чем идет. Сумерки и туман между тем делались все гуще и гуще, заслоняя все окружающее: и небо, и землю, и дома, и людей. Через несколько мгновений мальчик стал видеть только какую-то смутную, медленно и беззвучно двигавшуюся, расплывавшуюся в тумане черную массу без всяких очертаний; еще через несколько секунд эта масса совершенно слилась с окружавшим ее туманом и исчезла, как бы растаяла среди болотных испарений без всякого следа, без всякого звука.

Постояв еще несколько времени в безмолвном и грустном раздумье, мальчик стал подпрыгивать около лодки и похлопывать руками от холода.

Проводив отца, он поджидал мать.

Наконец в тумане показалась какая-то странная фигура. Она была одета в ситцевые тряпки. Это не было ни платье, ни платок, ни кацавейка; это были тряпки от всех этих предметов. Фигура была бледна, высока, худа, как скелет, и только около талии поражала ее необыкновенная толщина. Она была бы смешна, если бы даже самый черствый человек мог рассмеяться над безобразием, одетым в подобные лохмотья, имевшим такое испитое, выцветшее, мертвенное лицо.

— Сам-то где? — лаконически и глухо спросила она у мальчика, через силу нагибаясь к куче щепок и дров.

— Ушел,— так же односложно ответил мальчик.

— Куда это? В кабак не мог уйти. Денег ни гроша.

— Вчера тоже денег не было, а напился,— заметил мальчуган, подбирая дрова.

— Напился, напился! — тоскливо вздохнула женщина и хотела собрать в подол щепки, чтобы отнести их в свою конуру.

— Ты постой, я снесу! Ты здесь постой,— проговорил сквозь зубы мальчик; его слова были грубо-односложны, но ими выражалась заботливая нежность.

— Ничего, я подсоблю.

— Где тебе!

Мальчуган поднял охапку мокрых дров и щепок и потащился по грязи. Женщина опустилась на скамью лодки и в совершенном изнеможении склонила голову на ладонь правой руки, подпертой левою. Прошло довольно много времени, женщина не выходила из своего раздумья. Наконец около нее послышался голос мальчика:

— Что же ты сидишь? Пойдем домой, я перетаскал дрова.

Женщина очнулась.

— И куда это он ушел? — проговорила она, как будто продолжая вслух свои размышления.

Мальчик ничего не ответил.

— Вот жизнь-то, каждый мужик лучше живет! — проговорила женщина, тяжело поднимаясь с места и через силу тащась за мальчуганом.

Через несколько минут спутники добрели до дома. Это был деревянный, длинный, ветхий дом с вросшими в землю окнами, покрытыми десятком заплат из синей сахарной бумаги и тряпок. Две ступени вниз вели в сени. Они походили на мрачное подземелье. Когда шел дождь, вода лилась по этим прогнившим ступеням. За темными сенями была темная кухня, с лавкою в углу, на которой ворочалось какое-то несчастное существо, издававшее хриплые стоны. Эта лавка была жилищем старой нищей, платившей полтину в месяц за пару досок для спанья. Огонь, разведенный на очаге в кухне, озарял каким-то фантастическим светом и темные углы, и ухваты, и кочерги, и возившуюся на своих досках старуху. В этой картине было что-то зловещее. За кухней была комната или, лучше сказать, чулан, едва освещаемый двумя окнами, наполовину скрывавшимися под землей. Днем из окон виднелся только черный во время дождей и серый во время засухи берег речки и ноги прохожих. Осенью и весною окна забрызгивались грязью, летом на них насаживался густой слой пыли, зимой они совсем заносились снегом, и по утрам приходилось отчищать этот снег, чтобы в конуру проникли хотя слабые лучи дня. В сырую погоду в окна проникала вода, стекавшая по веревкам в привешенные глиняные кувшины из-под сельтерской воды, подобранные на улице. Среди

хлама некрашеных табуретов, скамеек, стола и постели в конуре копошились двое ребятишек и сидела за шитьем девушка, лет девятнадцати, с бледным лицом, поражавшим контрастом матовой белизны кожи и вьющихся черных волос, тонких черных бровей и больших черных глаз. Девушка не была красавицей, но это было одно из тех немногих лиц, которые бросаются в глаза даже среди самых избранных красавиц. Она походила и на ребенка с большими, умными глазами, только что начавшего поправляться после тяжкой болезни, и на взрослое, вполне развившееся существо, у которого уже развивается страстность. В ее глазах были и недоумение, и тоска, и страсть, но чем полнее отражалась в них внутренняя жизнь, тем печальнее поражала бледность лица; здесь дух был, по-видимому, вполне жизнен, кипел жаждою жизни, а тело изнемогало, таяло под бременем этой жизни. При появлении мальчика в конуре девушка оставила шитье.

— Озяб? — спросила она, пристально всматриваясь в его лицо: ее большие глаза были близоруки.

Он вздрогнул и стал снимать свою кацавейку.

— Промок,— проговорил он.

— Сейчас чай заварю,— сказала она и пошла в кухню.

Через минуту на очаге, треща и выбрасывая искры, огонь запылал еще сильнее под черным таганом, на котором стоял такой же черный чайник. Перед печкой сидела на табурете девушка. Ее лицо ярко освещалось красноватым пламенем и поражало теперь еще более какою-то особенною, прихотливою красотой. Теперь ее черные большие глаза были как-то безжизненно, дремотно устремлены на огонь, зато ее лицо разгорелось и казалось совсем пламенным при отблеске огня. Это была одна из тех минут, в которые девушка невольно отдавалась горькому раздумью о прошлом, о настоящем, о будущем и всюду видела один только мрак, непроглядный мрак. В эти минуты более всего подтачивалось ее здоровье, бледнело ее лицо. Она боялась этих минут, она старалась скрыться от своей собственной мысли за работою, за разговором с детьми, с матерью, со старухой нищей. Но бывали случаи, когда не было сил скрыться от своей мысли, когда тяжело было вымолвить слово, когда горе подступало к самому горлу. Бывало, отец придет разбитый, пьяный, в белой горячке, похожий на беглеца из сумасшедшего дома и бредит чертями, видит их на голове жены, в кружке воды, за спиной детей; дети дрожат, плачут и забиваются в холодные сени,

под доски нищей, под печку,— и девушка, бледная, как полотно, перестает шить, не может шить; она смотрит с ужасом на пьяного отца, на рыдающую мать, и в ее голове неотступно, безотвязно, все сильнее и сильнее возникают вопросы: «Когда же этому будет конец? Где же исход? Или так и погибать до могилы?» И сколько таких дней, сколько таких вопросов пережила она. И еще один подобный день пришлось ей пережить сегодня: отец с утра увез ее брата, ее любимого брата, на поиски за дровами; хмурое утро превратилось в бурный день; она слышала выстрелы, слышала вой ветра; она десятки раз выходила на берег реки посмотреть, не едет ли брат; он не ехал, а ветер все крепчал и крепчал; не утонул ли он, не погиб ли? — думалось ей, и работа падала из рук. Наконец он приехал, иззябший, промокший, усталый. Тревоги должны были, по-видимому, кончиться, но в голове возникли опять мучительные думы: «Когда же это кончится? Долго ли он будет мучиться? До чего он домается в этой каторге?»

Она сидела неподвижно, как статуя, и даже не слыхала, как около нее появились и старший брат, и двое маленьких ребятишек, девочка и мальчик пяти и шести лет. Мальчик ухватился за подол старшей сестры и любопытными глазенками смотрел на веселое пламя; девочка вскарабкалась на колени сестры и, как мышонок, выглядывала из-под бессознательно обнявшей ее руки девушки. Старший брат, успевший освободиться от своей кофты, наушников и шапки, в одной рубашке и заплатанных панталонах стоял у самого очага и грел руки, почти касаясь ими огня. Теперь он уже смотрел не так испуганно, не так дико, как во время путешествия по Неве; не походил ни на кучу тряпья, ни на девочку. Его лицо было оригинально: сильно закругленный подбородок, большой лоб, ясные синие глаза, беспорядочно вьющиеся, падающие на лоб темные волосы, тонкие подвижные ноздри правильного носа, крупные, правильно очерченные губы — все обличало и ум, и силу и, может быть, слишком раннее развитие мальчугана.

— Отец опять ушел,— пробормотал он вполголоса, грея свои руки.

— Слышала,— машинально ответила девушка.

Оба замолчали.

— Завтра опять поедете за дровами? — спросила она через минуту.

— Нет; в последний раз, говорит, на вас, окаянные, работаю,— ответил мальчик.

Наступило опять тяжелое молчание.

— Мать в больницу хочет идти,— проговорила девушка.— Там лучше будет.

— Известно, лучше. Что сегодня не ушла? Опять пьяный бить ее станет. Измаялась совсем!

— С чего напьется-то?

В эту минуту в углу кухни снова завозилась старая нищая. В затишье послышался ее хриплый отрывистый голос.

— Не без добрых людей, не без добрых людей на свете, касатики!.. И подадут грошик, другой... Таким-то чиновникам-то и пятак иной раз сунут... О-ох, это не то, что нашей сестре — и гроша не дадут...

Брат и сестра молча слушали эти слова, прерываемые глухим кашлем и вздохами.

— Да ты нешто видела, как отец милостыню просил? — грубо спросил мальчик, полуобернув голову к старухе.

— Видела, родной, видела...— нараспев произнесла старуха.— Ведь не воровством же ему жить... К милосердию ближних прибегает...

Мальчик снова повернул лицо к огню и уже не слушал старуху. Девушка еще апатичнее, еще дремотнее смотрела на пламя.

— И с чего это он драться стал с третьего дня? — задумчиво прошептала она, качая головой.

— Видно, жизнь, голубка, не сладка стала,— вздохнула старуха на своей постели.

— Не веселее жилось и прежде,— отозвалась девушка.

Чайник начинал между тем шуметь, и несколько брызгов, попавших на горящие щепки, возвестили, что кипяток готов. Девушка бережно опустила на пол ребенка и поднялась с табурета за чаем.

— Тепленького-то, тепленького-то и мне, старушке божьей, дайте...— жалобно простонала нищая, поднимаясь на постели...— Целый день не ела сегодня... Разнемоглась, выйти силушки не было, —слышался стон из угла.

Мальчик при помощи спущенного рукава рубашки снял чайник с тагана и понес его в комнату. Через минуту в чайник была всыпана щепотка чаю, на столе появились кружки с отбитыми ручками. Хозяйка дома лежала на постели и тяжело, через силу поднялась к чаю. В конуре по-

слышалось тяжелое шарканье и шлепанье мягких башмаков, и у стола появилась вся закутанная в лохмотья, похожая на расползающийся студень старуха, с седыми всклокоченными волосами, с руками, похожими на когти хищной птицы. Все уселись пить чай. На дворе выла вьюга, в комнату врывались тонкие, пронзительные струи ветра и задували пламя единственного сального огарка, поставленного в помадную банку, наполненную песком. В этом жилье давно уже не было ни подсвечников, ни бутылок для вставки свечей— все это было продано. Чай был допит в полнейшем безмолвии. Девушка уложила детей, старуха побрела в свой угол, хозяйка снова легла в постель, не снимая платья; наконец, потушили и сальный огарок. Впотьмах укладывались спать последние члены семьи, старшие брат и сестра. Они спали вместе с детьми в углу, на полу.

— Отец-то все не идет,— шептал в темноте мальчик на ухо сестре.

Она не отвечала. Через минуту она спросила:

— Что ты дрожишь? Лихорадка сделалась?

— Да, зябну!

— На, прикройся еще.

В тишине послышалось шуршанье какой-то тряпки, передаваемой девушкою брату. Плотно прижавшись друг к другу, все четверо младших членов семьи уснули крепким сном. Не спала только их мать.

Она чутко прислушивалась к каждому шороху на улице, к каждому крику изредка проходивших фабричных. Она ждала мужа. Мучала ли ее жалость, что он где-нибудь погибнет, томил ли ее страх, что он придет и снова изобьет ее, как он избил ее накануне? Она уже давно перестала сознавать, чего она желает: смерти ли мужа или прекращения его пьянства. В ее запуганном, исстрадавшемся уме было только одно желание — желание какого бы то ни было конца этой жизни. Но кто же был виноват, что ее жизнь сложилась так страшно: она ли загубила своего мужа или он загубил ее? Я думаю, что они сами были виноваты менее всего.

Канцелярский служитель Александр Захарович Прилежаев женился на мещанке Марье Дмитриевне Завитаевой, когда ему было двадцать три года, а ей семнадцать лет. Он получал девять рублей жалованья; у нее не было ничего. Они бились, как рыба об лед, она шила, он занимался частною перепиской, и покуда не было детей, они

кое-как сводили концы с концами. Но вот у них пошли дети; родины, крестины, похороны, все это стоило денег, стоило здоровья Марье Дмитриевне, а главное, все это отрывало ее от частной работы и заставляло погрузиться вполне в роль хозяйки, кормилицы, няньки. Приходилось жить исключительно на деньги мужа, то есть на девять рублей жалованья и рубля на четыре его частных заработков. На это нельзя было жить, особенно когда семья состояла уже не из двух, а из четырех членов, потом из пяти, потом из шести. Плохая конура, плохая пища, сырость, холод, ежегодные родины, частые похороны, все это подточило здоровье жены, все это сбило с толку мужа и, наконец, начало его выгонять все чаще и чаще в трактир, в приятельскую компанию, потом в кабак.

— Дети! Что дети? — говорил он за косушкой водки.— Сердце они мое надорвали, сердце мое! Губители они мои! — вот они что!

И он был прав или, по крайней мере, не виноват в том, что не мог не потерять рассудка и самообладания при виде грязного угла, голодной семьи, больных и плачущих детей. Когда жена изредка, переполнясь горем, упрекала его за пьянство, он отвечал ей:

— Молчи! Я не ваше пропиваю, я вам все сполна отдаю, как батрак на вас работаю! Меня приятели угощают.

— Батюшка, да ведь начальство может заметить, повредить на службе может...

— Дура, дура! Кто меня на службе пьяным видел? А? Кто? Повредить может! Лучше мне было, что ли, когда не пил? Повышали, отличали от других, что ли? Все ту же лямку тянул! Ну и прах их побери! Я кланяться не стану, я подлецом не буду, это уж пускай брат мой любезный лбом да взятками путь себе пробивает.

Александр Захарович постоянно гордился своею честностью. И действительно, это была честность сурового, малоразвитого, одичавшего среди невзгод человека. Он работал, как вол, он никому не кланялся, он не брал взяток, он не пропивал ни гроша ни из своего жалованья, ни из своих частных заработков. Каким-то страшным логическим путем он дошел до того убеждения, что он сделал все зависящее от него, чтобы успеть по службе и обеспечить семью; но на службе не любили его угрюмого лица, его сурового тона и почти не повышали, не давая ему возможности обеспечить семью; и он пил с горя по первому приглашению приятелей, на каждой пирушке, в каждой

трактирной компании. Он даже не любил тратить много времени на пьянство; любил поздно вечером быстро осушить косушку, шатаясь, дойти до дому и завалиться спать. Приятели были готовы угощать его, но нельзя сказать, чтобы они не радовались, когда он скрывался за дверью с их попоек; он всюду вносил с собою какой-то могильный элемент угрюмого, молчащего отчаянья. Казалось, этот человек ничего не ждал от жизни и покончил с нею все свои счеты: он работал для семьи и пил для себя, для того, чтобы скорее заснуть мертвым сном.

— Пьяный что мертвый! — говорил он.

Если бы у него не было семьи, он, вероятно, не стал бы пить, а повесился бы где-нибудь в темном чулане. Жизнь для него была каторгой. Но он жил. В этом, может быть, выражалась, конечно, очень своеобразно, высокая, самоотверженная любовь к своей семье.

«Но зачем же он женился, не имея средств? — спросите вы, зачем вышла замуж она, не имея никакого имущества?» Потому что в молодые годы люди неизбежно должны или жениться или предаваться разврату. За что вы стоите: за женитьбу или за разврат? Вероятно, вы стоите за то, за что стоит закон, и боретесь против того, что преследует закон. Значит, женитьба этих людей была не только терпимым, но даже честным, высоконравственным поступком, как исход из неизбежного для молодых созданий разврата. Но прямым последствием этого честного, высоконравственного поступка и ясным доказательством неразвращенности, нравственной чистоты этих людей явились дети. Их надо поить, кормить, одевать, воспитать, за ними нужен уход. Все это требует рук и денег. У этих бедняков, при всех их усилиях, при всем их труде с утра до поздней ночи, ежемесячные доходы не превышали пятнадцати рублей. На эти деньги можно иметь только сырой и холодный угол, только нездоровую и скудную пищу, только оборванное и грязное платье. Нужно было или умирать медленною смертью или увеличить свои доходы каким бы то ни было путем. Но путь был один для увеличения средств: можно было, не имея никакого образования, добиваться повышения только подлостью, унижением перед начальством или, имея маленькое жалованье, добывать деньги воровством, взятками. Стоите ли вы за унижение, за подличанье, за низкопоклонство, за воровство, за взяточничество или нет? Вероятно, вы стоите за то, что поощряют законы нравственности и общества, то есть за честность.

Значит, эти бедняки за то, что они предпочли законный брак беззаконному разврату, должны были гибнуть медленной смертью. «Но зачем же он пил?» — спросите вы. А спрашивали ли вы, зачем пьют те люди, которые могут напиваться дорогими винами, знали ли вы, что этих вин привозится столько, что каждый, имеющий средства их пить, должен быть пьян по крайней мере сто раз в год. Вы этого не предполагали, вы с отвращением смотрите только на этого угрюмого бедняка, идущего из кабака. А между тем он, и только он один может оправдать свое пьянство тем, чем он и оправдывал его, говоря, что ему, отцу голодной и холодной семьи, «тошно смотреть на свет». Опьянение было его временной могилой, временной смертью. Неужели же вы настолько черствы, чтобы отнять у человека за всю его честность, за все его страдания право на смерть, на могилу? Дайте ему возможность полюбить жизнь или, со стыдом за свое бессилие, оставьте ему скорбное право этой смерти!

А он все не шел.

Проходила ночь, мучительная, тяжелая ночь после не менее мучительного дня. Накануне Марья Дмитриевна была прибита мужем. Это было во второй раз в ее жизни, во второй раз в течение двух дней. Накануне она провела весь день в слезах и тревоге за сына, уехавшего на лодке за дровами в сырую, холодную и бурную погоду. Теперь она не смыкала глаз, поджидая мужа, не зная, что с ним случилось. Наставало бледное, пасмурное утро. Его свет проскользнул бледными лучами в заплатанные окна конуры, и она казалась теперь еще грустнее, еще страшнее. Грязь и тряпье, скрывавшиеся ночью во мраке, теперь отовсюду бросались в глаза. На ободранной постели в дырявых лохмотьях лежала сама Марья Дмитриевна, больная, исхудалая, с заплаканными глазами. В углу на полу покоились, свернувшись клубком, двое ребятишек, прикрытые рваными кацавейками; рядом с ними лежала черноволосая бледная девушка, ее рука обвила плечо мальчугана, положившего к ней на грудь свою усталую головенку. Он был укутан разною ветошью, в числе которой было и платье девушки, жалкое ситцевое платье, едва ли способное хотя немного согреть мальчугана. Марья Дмитриевна все сильнее и сильнее чувствовала боль, невыносимую, страшную боль будущей матери нового ребенка. Дети спали еще крепким сном, когда начали все слышнее и слышнее раздаваться ее стоны.

— Ох, худо мне, худо! Конец приходит! — стонала она.

Девушка проснулась. Несмотря на всю осторожность, с которой она хотела приподнять голову брата, чтобы положить ее на подушку, он проснулся.

— Матери худо! — прошептала она и начала одеваться.

Мальчик тоже встал.

— Сбегай в часть за бабкою! — тихо промолвила девушка.

Мальчик наскоро оделся и ушел из конуры.

Прошел почти час. Около больной возились девушка и старая нищая. В конуре слышались вздохи и стоны. Наконец в кухне скрипнула дверь. Девушка поспешно вышла туда. Перед нею стоял брат.

— Бабки нет, уехала с вечера к больной,— сказал он.

— И не надо теперь,— ответила девушка.— Ты побудь здесь. Не ходи туда.

Он посмотрел на нее с испугом и только теперь заметил, что она была страшно встревожена. Он молча хотел сесть на скамью.

— Разведи огонь, чаем надо мать и детей напоить,— сказала сестра, скрываясь за дверью.

Он принялся за работу. Через несколько минут в кухне сверкал огонь. К старшему брату вышли дети.

— У нас блатец умел,— таинственно прошептал маленький брат.

— Какой братец? — с недоумением спросил старший брат.

— Маенький такой, на стоике лежит,— ответил ребенок.

Мальчик смутно понял, в чем дело. Через полчаса он вошел в комнату. Бледная и худая мать в полудремоте лежала на постели. На столе, закутанный в тряпку, лежал труп новорожденного ребенка...

А отец семейства все не шел.

Тяжелый, полный тревог прошел день. Появлялась на минуту в конуре и бабка, появлялся и священник, пришел какой-то сосед из фабричных, завернувший в тряпку маленький труп, положивший его в какой-то ящик и унесший тело под мышкой на кладбище. Настала и ночь, опять такая же мрачная, такая же бессонная для больной женщины. Так прошло три дня. На четвертый больная женщина поднялась с постели. Еще через несколько дней она могла выйти из дома, чтобы пуститься на поиски за мужем

среди этой массы улиц, площадей, домов, экипажей, людей всех званий, всех состояний, на поиски из квартала в квартал, из части в часть, из больницы в больницу.

— Я с тобой пойду,— проговорил старший сын, видя, что мать собирается идти.

— Куда ты. Устанешь. Холодно, голубчик,— тихо заметила мать.

Она в эти дни стала еще слабее, еще тише, покорнее.

— Свалишься еще где-нибудь одна,— промолвил он.

Мать вздохнула.

— Конечно, лучше идите с ним,— посоветовала старшая дочь.— Все-таки посмотрит. Только ты оденься потеплее,— обратилась она к брату.

Он стал быстро одеваться в свою кофту. Старшая сестра повязывала ему уши. Несколько минут спустя мать и сын тащились по грязи.

Они походили на нищих. Встречные люди глядели на них с любопытством и состраданием; какая-то барыня начала шарить в своем кармане при виде их и, кажется, удивилась, когда они прошли мимо, не протянув руки. Каждый мужик, каждый мелкий торговец выглядел счастливее, довольнее, богаче их.

Они заходили всюду, где можно было надеяться узнать о близком человеке... Здесь находились пьяные, покрытые кровью и грязью создания, поднятые в бесчувственном состоянии; там были исхудалые люди в белой горячке, вынутые из петли; в третьем месте попадались вполне трезвые несчастливцы, выловленные на горе, на несчастие себе из воды; далее лежали без чувств полураздавленные экипажами отцы и матери семейств, дочери и сыновья, кормильцы семьи. Но мужа бедной женщины не было нигде.

Наконец перед нею была клиника; длинные коридоры; занятые, отрывисто отвечающие люди; грубые, неразговорчивые солдаты; серенькое здание с трупным запахом, анатомический театр. Марья Дмитриевна толковала что-то о привезенном сюда человеке, «худеньком таком из себя, с небритым подбородком, с седенькими волосиками»; она толковала что-то о каком-то «сюртучке с двумя костяными пуговками на правой сторонке и с одною медною пуговкой на левой сторонке»; она рассказывала все это как-то смутно, сбивчиво, тоскливо, рассказывала всем проходящим, всем встречным, поминутно кланяясь в пояс и как-то бессмысленно повторяя:

— Не оставьте, отцы родные! Не оставьте!

Она почти не слыхала ответов, почти не понимала слов. Наконец ее поразил грубый голос сторожа:

— Что ж ждешь-то, тетка?

Она точно проснулась от долгого сна и испуганно огляделась кругом. Казалось, ее поразила мысль, что ей нечего больше ждать.

— Батюшка, тело-то где же, тело-то? — забормотала она глухо, не плача, не падая в обморок.

— Говорят тебе, испотрошили.

— Как же, где же я его найду? Ведь муж мне он, муж, из чиновников,— шептала она бессмысленно.

— Где? Нигде не найдешь...

Марья Дмитриевна присела на землю и как будто замерла. Сын понурив голову уныло стоял подле нее и не трогался с места.

II

ТЕМНОЕ ПЯТНО В СВЕТЛОЙ ЖИЗНИ СТАТСКОГО СОВЕТНИКА БОГОЛЮБОВА

Смерть Александра Захаровича была для Прилежаевых тем громовым ударом, при котором обыкновенно начинает креститься русский человек. Материальное положение семьи должно было теперь ухудшиться еще более и угрожало в близком будущем голодною смертью. Марья Дмитриевна не могла не заглянуть мысленно в это будущее, когда ей приходилось жить своим умом, быть старшею в доме. Она ясно поняла всю страшную сущность этого будущего и увидала необходимость спастись теперь или никогда. Откладывать попечения о завтрашнем дне в долгий ящик не было возможности: голод стоял у дверей. Нужно было хлопотать о пенсии, об определении детей, об устройстве своей судьбы, но прежде всего нужно было хлопотать о насущном хлебе. Заработать этот хлеб в настоящую минуту не было возможности, так как и до приискания работы и во время работы, до получения за нее денег, нужно же было есть. Приходилось идти за помощью ближних. Нечего говорить, как тяжело, как больно непривычному человеку идти за милостынею, но Марью Дмитриевну мучили и другие чувства: чувство страха перед теми, к кому она шла, чувство опасения, что ей откажут, что ее выгонят. И без того больная, слабая, забитая судьбою,

она выглядела еще более жалкою в то время, когда, ежеминутно крестясь, она неверными шагами поднималась по широкой лестнице одного из больших каменных домов, стоявшего в одной из многолюдных улиц Петербурга.

Во втором этаже этого дома помещалась квартира статского советника Данилы Захаровича Боголюбова.

Гремели ли на улице колеса экипажей, уносящих аристократию в театр на первое представление новой оперы, наделавшей шуму в Париже, или в собрание на блестящий обед в честь какого-нибудь минутного героя общественной жизни, или на шумное заседание нового комитета для обсуждения вопроса, не следует ли ввести в образование санскритский язык; валялась ли в ногах у домохозяина и исполнительной власти какая-нибудь бедная мать шестерых детей, жилица пятого этажа большого дома, не заплатившая в срок за квартиру и с ужасом смотревшая на опись своего имущества; жаловались ли жилицы подвалов на буйство своих спившихся с кругу мужей,— одним словом, раздувало ли общество с серьезным видом мыльные пузыри бесплодной деятельности, изнемогали ли отдельные личности под бременем нешуточного горя,— квартира Боголюбова оставалась тихою и спокойною, не интересовалась ничем, жила своею собственною жизнью, стояла, как отдельное государство, храня вооруженный нейтралитет среди общественных событий и частных сцен. В качестве нейтрального государства квартира получала газеты собственно для справок о том, не грозят ли ей какие-нибудь опасности со стороны ее соседей, не уничтожают ли статских советников, не налагают ли какого-нибудь особенного налога на жильцов вторых этажей, не дают ли какого-нибудь высшего назначения одному из начальников отделения — конкурентов хозяина этой квартиры. Интересовались в этой квартире и другими газетными сведениями, не имевшими никакого отношения к нейтральному государству, читали о количестве самоубийств и несчастий, о спектаклях и обедах, о неприязненных или дружественных отношениях кабинетов Франции и Англии, о восстании голодных рабочих в Манчестере, но все эти известия читались, собственно, для улучшения пищеварения, для назидательных размышлений о том, что среди этого хаоса страстей и глупостей, глухого рева бурного житейского моря и беззаботного шелеста пестреньких флюгеров, вертящихся на видных местах общественных кораблей, невозмутимо мирно, математически правильно сложи-

лась и идет изо дня в день, из года в год жизнь в крошечном нейтральном государстве этой квартиры.

Квартира была отделана богато и даже роскошно. Но наблюдателю сразу должно было броситься в глаза излишнее обилие бронзы и полнейшее отсутствие оригинальных картин, статуй и тому подобных художественных произведений. Это обстоятельство заставляло думать, что обитатели этой квартиры принадлежат или к купечеству, сидящему на своих кованых сундуках и знающему цену только тому, что можно продать на вес, или к тому разряду людей, которые медленно, по грязи, сквозь огонь и воду доползли до нескольких тысяч годового дохода и тоже метят в генералы. Люди последнего разряда обыкновенно накупают сначала бронзовых подсвечников и ламп, потом вешают в своей зале люстру с разными побрякушками, отделывают какую-нибудь одну комнату не для себя собственно, а более для виду, для гостей; через несколько времени они сознают возможность украсить еще одну или две комнаты; наконец, доходят до блаженной минуты — до отделки своей квартиры с белой залою, до отделки всех комнат, даже детской, и, самодовольно осматривая свое жилище, с восхитительною небрежностью замечают вскользь своим домочадцам: «Надо бы в гостиной обить мебель бархатом». На языке подобных Наполеонов семейной жизни это значит: «Надо увенчать здание!» В таких квартирах взгляд насмешливого и в то же время незлобивого наблюдателя человеческой комедии легко подметит следы разных формаций, разных наслоений, не вяжущиеся между собою точно так же, как не вяжутся между собою обстоятельства тех эпох, когда делались эти наслоения. В одном углу стоят массивные жирандоли с хрустальными побрякушками, сильно напоминающие и трактир, желающий преобразиться в гостиницу или даже в отель, и толстую фигуру русского купца, пускающего пыль в глаза и желающего показать, что, «мол, и мы живем, как баре»; в другом углу виднеется дорогой стол из розового дерева с отделкой из бронзы и фарфора, напоминающий древнюю беспутную, прихотливую, потонувшую в роскоши Францию времен последних Людовиков. Какая пропасть, какая борьба, какие надежды отделяют эти жирандоли от этого столика? Не лежит ли между ними целая драма или целая комедия человеческой жизни в ее стремлениях к обстановке, к устройству своего нейтрального уголка по образцу лучших соседних владений? И каким невозмутимым спокойствием

и самодовольством дышит лицо человека, когда он достигнет желанной обстановки! Не думайте, что эти жирандоли, столики, мягкие диваны стоят для него мрачными памятниками его кровавых усилий, его бессонных ночей, его унижений и нравственной ломки, что в этих блестящих хрусталиках люстры он видит застывшие слезы вдовицы, просившей его когда-то защищать ее в тяжбе с богатым врагом; что в этих неуклюжих бронзовых, покрытых позолотой подсвечниках он ясно рассматривает толстую фигуру нахального откупщика, нагло говорившего ему: «Это что-с: совесть! за деньги все можно обделать». Нет, все эти блестящие игрушки стали для него непроницаемыми ширмами, за которыми скрылось все пережитое, все выстраданное, которыми, как каменною броней, защитилась его душа от всяких непрошеных упреков и нападений совести.

Именно до этого окончательного устройства дел в своем нейтральном государстве дошел статский советник и член разных благотворительных комитетов Данила Захарович Боголюбов в ту пору, когда мы застаем его в богато убранной столовой, окруженного его семьей. Его жена, полная и красивая женщина, лет тридцати, с немного ленивым и томным выражением на лице, разливает чай. Около нее сидит девочка лет шести, прелестный живой ребенок с быстрыми глазенками, с головой, украшенною бесчисленными папильотками из газетной бумаги, издающими, как и ее сильно накрахмаленное платье, какие-то своеобразные звуки при каждом движении девочки. Это дочь Боголюбовой, Лидия. Напротив помещается на детском высоком кресле мальчик лет трех с пухленьким тельцем, одетым в кружева и прошивки. Это младший сын Боголюбовых, Аркадий. Около него читает книгу юноша двенадцати лет, стройный, высокий, голубоглазый блондин с немного женственным лицом, изящно одетый, к лицу причесанный, по-видимому, мягкий, предупредительный и сильно впечатлительный человечек. Это старший сын Боголюбовых, Леонид. Имена этих детей так романичны, и Боголюбова в восторге, что ее муж согласился дать детям именно эти имена, любимые ею уже во дни ее девической жизни, когда она среди вечного безделья зачитывалась всевозможными французскими и русскими романами. Немного в стороне от прочих членов семьи, как председатель в совете, сидит глава нейтрального государства Данило Захарович Боголюбов, плотный и видный, немного

слонообразный мужчина с сильною проседью в коротко подстриженных волосах, с строгим выражением на полном, гладко выбритом лице, с глубокомысленно сдвинутыми густыми бровями, с большим орденом на шее. Покойно поместившись в большом мягком кресле, он читает газету и изредка сообщает своим подданным новые сведения, могущие интересовать их, или свои соображения, могущие послужить им в пользу.

— Бельский в камер-юнкера махнул,— произносит он сквозь зубы, не отрывая глаз от газетного листа.— Повезло. И то сказать, в правоведении курс кончил!

— Ах, теперь еще более нос вздернут! — заметила томно хозяйка.— И без того земли под собою не слышали...

— Ну, как ни вздергивай нос, а без нашего брата не обойдется. Дела-то мы делаем,— твердо и с сознанием собственного достоинства произнес хозяин и отпил чаю.

Наступило молчание. Хозяин продолжал читать. Хозяйка задумчиво выводила ложечкой по подносу какие-то узоры из пролитого чаю.

— Холера опять из Турции идет. Народ только пугают,— проговорил сквозь зубы хозяин.— Мало ли какие болезни бывают, не высчитывать же всех. При мнительности черт знает что станешь думать.

— А что, приключений никаких нет? — спросила жена, очнувшись от своего ленивого раздумья.

Хозяин мельком окинул глазами страницу.

— Мальчишка какой-то застрелился,— ответил он, пробегая глазами строки.— Женщина потонула, бросившись с моста в Неву... Нашли в бесчувственном состоянии человека на выборгском тракте, умер по дороге в клинику, знаков насилия на теле не оказалось...

— Ах, это все от пьянства, все от пьянства! — с отвращением проговорила хозяйка.— Вот так-то ваш почтенный братец когда-нибудь умрет где-нибудь под забором. Я до сих пор не могу забыть последней встречи с ним. Ободранный, пьяный, встретился на Невском и еще осмелился назвать меня сестрицей. Я со стыда сгорела. Кругом люди, извозчики, а он называет меня сестрицей!

Хозяин хранил упорное молчание и, по-видимому, весь углубился в чтение газеты. Он не любил, когда говорили о его брате.

— Право, теперь на улицу страшно выйти,— продолжала хозяйка.— Это уже третий раз он меня скандализирует. И помяни ты мое слово, когда-нибудь он нас еще

осрамит как-нибудь в нашей собственной квартире или просто обворует.

— Глупости, брат никогда вором не был,— недовольным тоном пробормотал хозяин, еще сильнее углубляясь в чтение газеты.

— Не был, так будет. Пьянство до всего доводит,— возразила хозяйка.— Этому надо положить какой-нибудь конец.

— Э, матушка, что ты говоришь! — совсем раздражительно произнес муж, отхлебывая чай.— Ну, как я положу этому конец? Ведь не можем же мы запретить ему ходить по улицам?

— Выслать его надо из города. Такие люди опасны.

— Глупа ты и больше ничего!

— Вы прелестно выражаетесь! И еще при детях! — с едкой иронией заметила жена.— Выслать нельзя какого-нибудь одного пьяницу, когда стольких высылают. Это мило!

На несколько минут воцарилось полнейшее молчание. Наконец хозяйка заговорила снова:

— Я, право, была бы рада, чтобы ты сам встретил его. Тогда я посмотрела бы, что ты запел бы. Ведь я говорю тебе, что я просто со стыда не знала, куда деваться, смотря на его лицо, на его одежду. Да еще вдобавок этот-то, наш фанфарон, растерялся, стоит перед ним, как рак красный, и шарит в своем кармане. Я ему и глазами мигаю, и за рукав его дергаю, чтобы он скорее шел, а он стоит и роется в портмоне. Слышу, говорит: «Извините, дядюшка, вот все, что могу». Каково тебе покажется: «дядюшка!» На Невском проспекте публично говорит: «дядюшка!» И это при мне-то! Хорош дядюшка! Просто скандал, скандал!

Хозяин нахмурил брови.

— Что же тут дурного? — сквозь зубы пробормотал он.

— Как что дурного? — горячо заговорила жена.— Мать скандализировать, по-вашему, не дурно? Якшаться с пьяницами не дурно? Это прелестно! А все отчего происходит? От того, что учиться не учится, а добродетели свои выказывать хочет. Вероятно, по стопам дядюшки желает идти. Волю взял!

Отец оставил газету и обратил строгие глаза на старшего сына. Его задели за больное место, он был раздражен толками о брате, ему нужно было излить свой гнев. Сын еще ближе, еще пристальнее приник к книге и, казалось, не дышал, чуя приближение бури. Он, по-видимому, не

слышал ни рассказа матери, ни замечания отца; только яркий румянец, внезапно разлившийся по его лицу, как-то странно противоречил его безмятежному занятию чтением.

— Ты это что читаешь? — строго спросил отец, не называя сына по имени.

Мальчик быстро поднял голову от книги и молча устремил глаза на отца, его лицо пылало, глаза ярко блестели.

— Я тебя спрашиваю, что ты читаешь?

— Белинского,— ответил чуть слышно мальчик.

— Учебная книга? — отрывисто спросил отец.

— Критическая статья.

— Я тебя спрашиваю: учебная книга или нет?

— Нет.

— Дурак! — отец пожал широкими плечами.— Его велели взять из гимназии за лень. Его хотят отдать в новое училище, а он критическую статью читает! Да ты понимаешь ли, что ты читаешь? А?

Сын смотрел прямо на отца широко открытыми глазами; они были влажны, хотя из них и не катились слезы.

— Отвечай же: понимаешь ли ты, что ты читаешь? — отчетливо повторил отец.

— Понимаю,— тихо, но твердо ответил сын.

— Понимаешь? Что же ты понимаешь? — спросил отец уже несколько ироническим тоном.

— Все понимаю, что читаю,— ответил сын тем нерешительным тоном, каким отвечают на неопределенные вопросы.

— У дурака дурацкие и ответы! — произнес отец.— Ты ничего не понимаешь, ты не должен ничего понимать, ты не смеешь ничего понимать из этих книг! Твое дело — учебники, твое дело — прилежанье. Ты видел своего дядю? А?

Мальчик молчал.

— Осел! Тебя спрашивают: видел ли ты своего дядю?

— Видел,— ответил мальчик, не спуская глаз с отца.

— Да чего ты глаза-то на меня таращишь? Что у меня узоры на лице, что ли? — рассердился отец, пред которым потупляли глаза все люди, подпадавшие его гневу.

Но сын все-таки не потупил глаз, не отвернул лица. Казалось, он смотрел на своего противника не столько для того, чтобы быть готовым отскочить или защищаться в случае окончательного нападения, сколько для того, чтобы яснее понять весь сумбур неожиданных обвинений или

для того, чтобы смутить своим открытым, прямым взглядом без причины раздражившегося отца. Мальчик давно уже привык к этим бессмысленным бурям и знал их исход. Отвернувшись в сторону, отец продолжал внушительным тоном:

— Ну, если ты видел дядю, так ты знаешь, до чего он дошел: до пьянства, до нищеты, до голода, до позора. И дошел он до всего этого потому, что был таким же лентяем, как и ты. Ему нужно было учиться, а он чтением занимался; ему нужно было послушание оказывать перед высшими, а он с ними в прения вступал. Ну, и живет теперь нищим. Я не допущу, чтобы и мой сын когда-нибудь ходил нищим по городу с протянутою рукой. Я лучше тебя из своих рук задушу...

— Ах, Данило Захарович, что ты говоришь!— воскликнула хозяйка, не выносившая подобных человекоубийственных планов мужа.

— Да, лучше из своих рук убью, живого закопаю в могилу, чем увижу его нищим, пьяницей, бездельником! Мне легче будет его смерть, чем его позор! — торжественно закончил Данило Захарович, ударив широкою ладонью по столу, так что зазвенели чашки и зашуршали папильотки и юбки шестилетней девочки, прижавшейся от испуга к спинке стула.

С минуту длилось тяжелое молчание.

— Ты видишь, как мы живем,— уже спокойнее продолжал Данило Захарович.— Ты ведь не сидишь голодным, не ходишь без штанов и без сапог, тебе не отказывают ни в чем? А? отвечай.

— Нет,— отчетливо ответил сын.

— Ну, а почему тебе не отказывают, почему у тебя все есть? Потому что я не был лентяем, потому что я ночей не спал за работой, потому что я горб гнул над бумагами, потому что я не убивал времени не только на чтение разных Белинских, а даже на лишние часы сна. Ты видишь, меня уважают, ко мне идут с просьбами, ко мне обращаются за помощью. Я состою членом благотворительного комитета, я вытаскиваю из грязи несчастных. Я могу делать добро ближним. За меня молятся те, кого я из нищеты вытащил. Это потому, что я не сидел сложа руки.

Данило Захарович говорил уже почти спокойно, без раздражения, без желчи, он просто делал строгое отцовское внушение сыну, которому желал всего лучшего в жизни. С каждою новою фразой, с каждым новым воспоминанием

о своих увенчавшихся успехом усилиях, о своем значении, дающем возможность благодетельствовать даже посторонним, Данило Захарович становился все мягче и мягче. Так среди мелких будничных неприятностей утихает и делается добродушным старый моряк, вспомнив, после скольких лишений, бурь и невзгод успел он добраться до своего мирного уголка, до своей семьи, до своего благосостояния. Данило Захарович даже добродушно усмехнулся, видя, что его сын все еще не спускает с него глаз.

— Захлопни-ка лучше свои критические статьи да принимайся за латынь,— уже полушутливо произнес он.— Поучишься теперь, после веселее будет. Теперь ты вон дядюшке, без моего позволения, милостыню подаешь из денег, которые упали тебе самому с неба от меня. А ты выучись, свой грош заработай, да тогда и подавай помощь дядюшкам и тетушкам и всем, кому вздумаешь, чтобы они благодарили и благословляли тебя. А то вы все из готовенького, из чужого только умеете щедрость показывать. Вот, поди, еще щедрее станешь между графчиками в пансионе Добровольского, особенно когда крестная приедет да крестнику сунет десяток рублишек на карманные расходы. Баловни!

Боголюбов совсем повеселел и разнежился, как это всегда бывало с ним, когда ему удавалось громогласно рассказать, каким путем он дошел до благосостояния и до возможности помогать ближним.

— Кстати о крестной-то вспомнили,— промолвил он, принимая серьезное и озабоченное выражение и подвигая к жене пустой стакан.— Обойщики кончили отделку ее комнаты?

— Нет, сегодня кончат,— ответила жена.

— Закопались, закопались! — проговорил Боголюбов.— Надо торопиться. Не сегодня, так завтра Варвара Ивановна приедет в Петербург. Надо, чтобы ей было удобно у нас. Кто знает, может быть, и жить с нами останется. Давно, давно я ее не видал. Надо обласкать старуху. Мы ее успокоим, она нас не забудет.

Боголюбов умолк и задумался, вероятно, о старой родственнице, приезда которой ожидали в семье с часу на час, ожидали с нетерпением и отчасти со страхом, как обыкновенно ожидают приезда влиятельных, знатных или очень богатых родственников.

В столовой настало затишье, изредка прерываемое болтовней и шуршаньем папильоток и юбок шестилетней де-

вочки, обращавшейся к матери с различными вопросами. Мать отвечала нехотя, иногда лаконически замечала дочери: «Ты все пристаешь, надо сидеть смирно»,— и продолжала задумчиво рисовать узоры на подносе. Она была в сладком поэтическом настроении утренней полудремоты. Боголюбов молча прихлебывал чай и тоже о чем-то думал. Его лицо приняло свое обычное выражение строгости и озабоченности государственного деятеля.

Казалось, этот человек постоянно стремился всеми силами внушить каждому встречному, что он, Данило Захарович Боголюбов — глава дома и начальник отделения, что у него хлопот и обязанностей по горло, что без его зоркого глаза, без его указаний, выговоров и наставлений остановится и погибнет и канцелярия, и семья. В сущности, может быть, он был и добр, и недальновиден, но обстоятельства жизни заставили его казаться и строгим, и зорким. Давным-давно, с тех пор, как ему было дано впервые место столоначальника, он привык говорить директору департамента:

— Тут, ваше превосходительство, нужна строгость, чтобы дела не лежали без действия. Зоркий глаз важнее всего, когда надо уследить за подчиненными.

— И я то же говорю, братец, да, и я то же самое говорю,— глубокомысленно произносил директор.— Строгость и зоркость — это главное в начальнике, если он хочет, чтобы подчиненные были рачительны. Рачительность в подчиненном — это долг! Да, рачительность!

И Боголюбов очень хорошо знал, что директор, говоря с высшим начальством, постоянно замечал:

— О, я вполне надеюсь на одиннадцатый стол, там у меня сидит строгий и зоркий чиновник; от его глаз ничего не ускользнет, при нем все будут рачительно исполнять свои обязанности.

И вот за строгость и зоркость Боголюбову давались чины, кресты и видные места. Чем более наград получалось им, чем чаще ему приходилось говорить о благодетельных качествах начальника, тем глубже и глубже врезывалось в его лицо выражение строгости и зоркости; иногда оно даже доходило до комизма, когда Боголюбов смотрел строго и зорко, слушая какой-нибудь рассказ высших лиц о балете. Но если подобное выражение лица было необходимо на службе, то еще более необходимо было оно дома.

Его жена, Павла Абрамовна, вышедшая из достаточной

купеческой семьи, воспитывавшаяся в пансионе для «благородных девиц», была менее всего способна к роли хозяйки дома. Сначала она любила балы с офицерами, любила балет с красивыми декорациями, любила наряды с бесчисленными фалборами, бахромами, бантами, любила романы с несчастными любовниками и еще более любила, облекшись в атлас и кружева, лежать в своем будуаре и плакать в тишине о своей несчастной доле, несчастной потому, что Данило Захарович «статский», что ей теперь приходится, ради беременности, сидеть дома во время балов, что молодых «офицеров» у них не бывает в доме, а все «противные старики» в карты играют. Наплакавшись досыта, она засыпала и спала мирным и безмятежным сном до тех пор, покуда не являлся Данило Захарович и не делал ей строгого выговора за спанье днем в одежде. Вследствие своей дальновидности Данило Захарович соображал, что, вероятно, при такой вечно спящей хозяйке балуется и ворует прислуга, что обед не может быть хорошо приготовлен, и потому, без дальнейших справок, строго и внушительно выговаривал людям за их воровство, за дурное кушанье, хотя он и не был настолько зорок, чтобы указать, кто и что украл, не был настолько избалован пищею, чтобы сказать, какое кушанье испорчено.

Мало-помалу Павла Абрамовна начала свыкаться со своею жизнью, она начала полнеть, и это послужило главной причиной того, что она разлюбила балы, балеты и наряды: ей тяжело было подняться с места и она начала жить одними романами. Она привыкла к зоркости и строгости мужа и потому при каждом удобном случае все мелочные дрязги с прислугой и детьми, все промахи прислуги и детей передавала на усмотрение Даниле Захаровичу, чтобы он сделал должное распоряжение. И он так привык к своей роли, что ежедневно делал внушения и распекания. Так шла жизнь Боголюбовых совершенно тихо и мирно: супруги размежевались полюбовно, муж не мешал жене читать романы и спать, она не мешала ему целое утро просиживать в должности, ездить в клуб для составления партии с влиятельными людьми, принимать по пятницам этих влиятельных людей у себя. Жена жаловалась мужу на прислугу, муж распекал прислугу. Жена ежегодно приносила по одному ребенку, муж зарабатывал деньги на новорожденного члена семьи.

— Господи, как время-то летит, вот уже мы двенадцать лет как женаты! — восклицали супруги поутру в годов-

щину своей свадьбы, нежничая друг с другом по этому экстренному поводу.

— А ведь мы, матушка, тринадцать лет с тобой отмахали в супружестве! — удивлялся Данило Захарович на следующий год, опять пускаясь на нежности и поцелуи.

И долго, долго предстояло им удивляться быстрому полету времени. Оно шло, ничем не отмеченное, сегодня, как вчера, завтра, как сегодня. Утром строгость и зоркость в должности, в обед строгость и зоркость дома, вечером строгость и зоркость в клубе — это для мужа. Утром полудремотное слушание новостей от мужа и новые мечты, вечером полудремотное чтение романов или слушание новостей от знакомых — это для жены. Праздники, летние переезды на дачу, собрания по пятницам, впечатления от балетов и романов, родины и похороны детей, доклады в должности — все это было вылито в одни и те же формы, все это как будто совершилось вчера или за пятнадцать лет, все это как будто происходило вне времени. Вот выносят белый глазетовый гробик из квартиры Боголюбовых, мать тихо всхлипывает, припав рыхлым телом в поэтической позе на плечо мужа; муж смотрит строго и зорко, придерживая правою рукой спину жены, и шепчет ей: «Не плачь, не плачь, Полина, тебе это вредно, ты знаешь!» Он многозначительно смотрит на нее, и она понимает, что он намекает на ее положение: она скоро снова будет матерью. Но кого это хоронили: Аполлона, Валентина, Евгения? Чьего рождения ожидали: Евгении, Аполлинарии, Людмилы? Право, трудно определить: все эти названия исходящих и входящих бумаг и детей так однообразны, так часто повторяются в жизни. И все это вместе взятое называлось жизнью. Если бы хотя однажды Павла Абрамовна и Данило Захарович нашли минуту свободную для размышлений о своем существовании, если бы их натолкнуло что-нибудь на подобные размышления, то они, вероятно, сами изумились бы, как они могли вынести эту прозаическую прозу жизни. Но люди, отдавшись мелочным заботам дня и течению случайно сложившихся обстоятельств, менее всего склонны к анализу своей собственной жизни, к вопросам: да для чего я это делаю, нравится ли мне это дело, стоит ли из-за него убивать всю жизнь? Отнестись критически к своей деятельности, взглянуть на свою жизнь так, как мы смотрим на чужую жизнь, все это может сделать только недюжинная, только сильно развитая личность. Большинство же людей слагает свою жизнь под

влиянием ежедневно повторяющихся мелочных условий и нисколько не думает устранять эти условия, противодействовать им: попадется на его дороге какое-нибудь бревно, оно прокладывает около него дорожку, не замечая, что гораздо лучше раз и навсегда своротить бревно и не ездить в течение десятков лет окольными путями. Но большинство даже не способно и понять, что оно ездит окольным путем, ему даже было бы странно, если бы ему вдруг пришлось ехать другою, прямою дорогой. Это явление совершенно ускользает от глаз наблюдателей, и вот почему так часто являются недоразумения: иногда мы говорим, что такая-то женщина вполне честна по натуре и что только однажды она увлеклась, сделала непонятную ошибку, вступив в любовную связь при муже; иногда мы говорим, что такой-то человек радикал по убеждениям и что только раз он из чувства минутного страха спел гимн врагу своего направления. Но если бы мы поближе вгляделись в жизнь этих людей, если бы мы поняли, как мало сопротивления оказывают люди случайно сложившимся условиям жизни, то, может быть, мы увидали бы, что эта женщина была постоянно развратницей в душе, что она только поддавалась в течение долгих лет условиям своей жизни, мало способствовавшим разврату, что искренно, самостоятельно поступила она именно только тогда, когда свет увидал в ее действии не свойственную ее натуре ошибку, промах; мы увидали бы, может быть, что и мнимый радикал был просто врагом радикализма, но увлекался общим радикальным направлением близких к нему, поддерживавших его существование людей, что он сообразовался только с внешними условиями своей жизни и явился самим собою именно в ту минуту, когда сказал, что радикализм нужно вырвать с корнем. Зная очень хорошо все то, мы не станем утверждать, что строгий и зоркий Боголюбов и его верная жена, преданные только своему углу, своей лени, своему затишью, были именно такими людьми по натуре, какими они казались. Мы только говорим о том, чем они казались в данную минуту.

Боголюбов уже допил третий стакан чаю и готовился идти в должность, когда в комнату вошла горничная и доложила, что барина желает видеть какая-то женщина.

— Кто такая? — торопливо спросил Боголюбов и мельком заметил жене: не Варвара ли Ивановна?

— Не знаю-с. Говорит: родственница,— ответила горничная.

Муж и жена переглянулись и взволновались. Жена стала быстро оправлять свой наряд.

— Немолодая барыня? — спросил хозяин, торопливо вставая и поправляя орден на шее.

Горничная усмехнулась.

— Нет-с, не барыня, так какая-то...

Боголюбов сердито пожал плечами и опять сел в свое кресло.

— Ума не приложу, кто такая!

— Уж не его ли жена? — презрительно вымолвила Боголюбова.

— Посмотрим, проси! — решил хозяин дома.

Через несколько минут в комнату вошла бледная и худая женщина. Это была Марья Дмитриевна. За нею, выглядывая исподлобья, шел ее старший сынишка Антон. Он, видимо, дичился среди непривычной для него роскоши. И мать и сын были одеты в свое обыкновенное рубище — им не на что было шить траурную одежду. Сделав несколько шагов, они остановились посредине комнаты. Марья Дмитриевна едва держалась на ногах. Хозяин и хозяйка многозначительно переглянулись между собою, на их лицах промелькнуло выражение презрения и негодования.

— Я ведь говорила, что этим кончится! — прошептала хозяйка, по своему обыкновению подливая масла в огонь.

— Мама, это кто? — громко спросила шестилетняя девочка, встав со своего места и протянув свое личико к самому уху матери.

Мать погрозила ей пальцем и шепнула:

— Не надо соваться с расспросами!

Хозяин нахмурил брови и встал, откладывая на стол взятую им для чего-то газету.

— Что вам угодно от нас? — строго спросил он, останавливаясь перед посетительницей.— Мало того что ваш муж осмеливается останавливать мою жену и моего сына на улице, так еще вы осмеливаетесь позорить меня в моем собственном доме, говоря прислуге, что вы мне родня.

— Мама, папа их бранит? — снова послышался громкий вопрос девочки, сказанный на ухо матери.

— Молчи! — шепнула мать и толкнула от себя дочь.

Марья Дмитриевна стояла понурив голову; она не могла говорить, задыхаясь от сдерживаемых рыданий.

— Я положу этому конец,— продолжал хозяин, сильно

возвысив голос.— Я буду хлопотать, чтобы выслали и вас и вашего мужа.

— Умер он, умер он, батюшка! — воскликнула Марья Дмитриевна и залилась слезами.

— Мама, о чем она плачет? Кто умер? — опять заговорила девочка.

— Не твое дело! Я тебя сейчас выведу отсюда! Слышишь? — совсем сердито произнесла мать.

Девочка надула губенки и уселась на свое место, шурша папильотками и юбками.

Боголюбов изменился в лице, в его глазах выразились и испуг, и недоумение. Он машинально потер свой лоб рукою и прошелся по комнате.

— Сегодня? — лаконически спросил он, снова останавливаясь перед просителями.— На похороны просите?

— Что хоронить-то? Нечего хоронить! — простонала Марья Дмитриевна.

— Как нечего? Что вы такое говорите? — нахмурил брови Боголюбов.

— Нечего, хоронить нечего,— послышался новый ответ.

— Ничего не понимаю, ровно ничего! — пожал плечами хозяин и с недоумением посмотрел на рыдающую женщину и на ее сына.

Хозяйка и ее дети тоже смотрели любопытными глазами на странные фигуры посетителей и внимательно слушали еще более странные ответы бедной родственницы.

— Объясните вы мне толком... Да перестаньте плакать, слезами теперь не помочь... Это сын ваш, что ли? — начал хозяин.

— Сын, сын, Антоша,— всхлипывая, ответила Марья Дмитриевна.

Хозяин обратился к мальчугану, понуро стоявшему около матери.

— Ну, расскажи хоть ты... Когда умер отец?

— Пятого числа,— ответил мальчик, не поднимая глаз.

— Ах, это на третий день после того, как он нас остановил! — воскликнула хозяйка, обращаясь к своему старшему сыну.

— Ударом? — спросил хозяин.

— Не знаю,— ответил мальчик.

— Что же, вы хоронили его?

— Нет.

— Так кто же?

— Никто.

На лице хозяина снова выразилось недоумение.
— Так как же? — бессознательно спросил он.
— Испотрошили его.
— Где?
— В клинике.
— Ну, ну, а тело-то, тело-то где?
— Тела нет, испотрошили...
Хозяин большими шагами заходил по комнате.
— Не-ет, э-то ужа-сно! — нараспев произнесла хозяйка и закрыла глаза левою рукою, как будто перед нею пронесся образ испотрошенного трупа.

Боголюбов продолжал ходить по комнате. Он не жалел брата, они давно не видали друг друга, давно разошлись, но его как-то странно поразили все эти новости. Еще за несколько минут он сердился на этого человека, еще несколько минут он готов был хлопотать о высылке этого человека из города, а теперь не только не стало этого человека на свете, но даже нет его могилы, нет праха от его тела, нет следа от его жизни. Впрочем, нет! след от его жизни остался — вот он стоит, воплотившийся в образе двух живых, голодных, изнуренных и оборванных созданий. Они просят помощи, просят хлеба. Выгнать их? Но ведь это жена и сын того самого милого буяна Саши, с которым вместе рос, вместе играл, вместе плакал и радовался сам он, Данило Захарович Боголюбов, в дни далекого, далекого детства. Как давно были эти дни и как ярко они воскресли теперь перед глазами Боголюбова! Вот он и Саша вместе играют в бабки, вместе ловят рыбу на барках среди бурлаков, вот они вместе бегут в кабак за косушкою для своего отца, бегут на берег за щепками для матери, вот они поступают в бурсу. Как странно им, что они из Костровых вдруг превращаются, по воле преосвященного Филофея, один в Прилежаева, другой в Боголюбова. Эта перемена фамилий делает их сразу как будто чужими. Как часто, как беспощадно секут в бурсе дикаря и грубияна Сашу, как постепенно все больше и больше отстает Саша от брата, наконец, они расстаются совсем. Сашу выгоняют за неспособность, а его брат, получивший прозвище «ласкового теленка», уже переходит в академию... Уже более смутны, более чужды Боголюбову остальные проносящиеся в его голове картины встречи с братом, мелким чиновником, картины обоюдных упреков, картины окончательного разрыва. В сердце Боголюбова чувствовалась какая-то тупая, ноющая боль. На минуту ему показалось, что он

не статский советник, не начальник отделения, а просто младший, любимый, балованный, выросший на воле сын дьякона Захара Кострова, Данилка, тихо плачущий, лежа на одной постели со старшим братом, плачущий о том, что их завтра отдадут в учение. И среди этих воспоминаний в уме Боголюбова возникло что-то вроде упреков совести; безотчетных, беспредметных, смутных, похожих просто на какое-то недовольство собою. Но за что же ему упрекать себя? Разве он был виноват, что брат плохо учился, что брат был груб, что брат не умел покоряться, не умел подслуживаться, что брат пил с горя, что брат остался за штатом? Нет, нет, он ни в чем не виноват перед братом! Напротив того, сам его брат был для него, Данилы Захаровича Боголюбова, причиною вечных неприятностей, пятном в его светлом существовании. Откуда же это смутное недовольство собою, эта непрошеная мысль: «Эх, если бы начать жить сначала!» Чем дальше ходил Боголюбов, безмолвно отдаваясь своим размышлениям, тем сильнее и сильнее возрастало неприятное настроение духа. Ему нужно было высказаться, нужно было громко оправдать себя, хотя его никто не обвинял, никто не считал в чем-нибудь виноватым. Он остановился перед бедною родственницей.

— Что же вы думаете делать? — спросил он.

— Сама не знаю! Хоть бери детей да в воду! — в отчаянье проговорила она.

— Ну, полноте, полноте!.. Никто как бог! — вздохнул Боголюбов— Да вы сядьте... Что же вы стоите?

Боголюбов повел глазами по комнате, как бы отыскивая стул. В это время совершенно незаметно сошел со своего места старший сын Данилы Захаровича и тихо подвинул стул Марье Дмитриевне. Она совершенно растерялась и стала бессвязно благодарить мальчика; он, весь красный, как пион, неловко поклонился и отошел к окну, став спиною к действующим лицам сцены.

— Ах, брат, брат! Сколько горя, сколько горя наделал! — в раздумье бормотал Боголюбов, ходя по комнате.

— И как это все неожиданно, точно сон какой, точно роман какой-то,— мечтательно произнесла хозяйка, сентиментально качая головой.

— Надо пристроить детей, самим идти на место,— придумывал Боголюбов выход для родственников из тяжелого положения.

— Куда я их пристрою? Куда я пойду? Не возьмут ни их, ни меня,— вздохнула Марья Дмитриевна.— И куда я

могу идти? В кухарки? Кто возьмет меня с детьми? Кто возьмет чиновницу? Ведь я теперь не мещанка? Некуда идти, некуда!

Боголюбов все ходил из угла в угол.

— Я сам не богат,— в раздумье бормотал он.— У меня семья, мне надо поднять на ноги эту мелюзгу. Многого для вас я не могу сделать...

— Хлеба, хлеба насущного у вас пришла просить! — заплакала Марья Дмитриевна.— Вздохнуть, осмотреться мне надо. Я как в лесу, все чужое... Я города пять лет не видала, хоть и жила в нем...

Боголюбов тяжело вздохнул.

— Ах, брат, брат! Много он горя принес мне с вами! Вы знаете, я ни в чем не виноват перед ним. Он не умел служить, он женился на вас, когда ни у вас, ни у него гроша за душой не было; потом он стал пить, остался за штатом, нищенствовал. Видит бог, я готов был помочь ему, я давал ему советы, но он же оскорбил меня, глубоко оскорбил.. Я знаю, он мешал меня с грязью, он чернил меня везде за то, что я не таскался по миру, за то, что меня повышали, а не гнали со службы. Но бог с ним, бог с ним! Мне было тяжело. Я боялся, когда встречал кого-нибудь из нищих, похожего на него. Я боялся, когда кого-нибудь уводили с улицы в пьяном виде в полицию. Он был постоянно моим мучителем, пятном на нашей фамилии... Да, он был пятном в моей жизни!..

Боголюбов смолк; у него стало легче на душе, когда он громко высказал свои мысли. Он почувствовал, что он не только прощает виновного брата, но что даже в его сердце все сильнее и сильнее слышится теплое родственное чувство, заставляющее заплатить добром за зло.

— Я давно отрекся от брата,— заговорил снова хозяин.— Я не думал, что в этой жизни мне еще придется сделать что-нибудь для него или для его семьи; я его прощаю за все, я не помяну его лихом... Эх, Саша, Саша, жить бы нам вместе, идти бы по одной дороге!

Боголюбов тихо провел широкою рукой по влажным глазам.

— Что можно, то я сделаю для вас! — продолжал он через минуту.— Деньгами я много не могу помочь сразу, кое-что дам на первое время, потом похлопочем как-нибудь о вспомоществовании; одежонка детям, вероятно, найдется у жены... Паша,— несколько заискивающим тоном обратился он к жене,— ты поищи.

— Там есть гимназическое платье Леонида, оно теперь ему не нужно,— проговорила Павла Абрамовна,— можно будет отобрать.

— Ну да, ну да! — необычайно мягко и ласково проговорил Данило Захарович.— Вот от девочек что-нибудь возьмем... У вас ведь есть и девочка? — дружески обратился он к Марье Дмитриевне.

— Одна есть маленькая, другая девятнадцати лет.

— Ну для маленькой найдется кое-что...

— Да и для большой я дам свое платье,— заметила Павла Абрамовна.

— Ну спасибо! — промолвил Данило Захарович и поцеловал жену в лоб.— Все дадим кое-что, приоденем, накормим на первое время. Знаете: с миру по нитке — голому рубашка. Потом определим детей куда-нибудь в училища. Вы подайте просьбу об определении детей графине Дарье Федоровне Белокопытовой. Я вам дам ее адрес. Это мы устроим. Останетесь одни, легче будет работу приискать. Глядишь, детки подрастут, выучатся, поступят на службу,— ну тогда и заживете лучше, будете отдыхать под старость. Все уладится, все уладится! Бог не без милости!

Чем ласковее становился Боголюбов, чем мягче звучал его голос, чем более надежд на спасение подавал он, тем ближе подступали к глазам забитой судьбою женщины слезы, тем сильнее сознавала она в простоте душевной доброту этого человека, оскорбленного ее мужем и позабывшего зло. При последних его словах она бессознательно поднялась со стула и упала к его ногам.

— Благодетель, родной!.. Не оставьте... не оставьте сирот!.. Вам бог... бог заплатит за все... вам и детям вашим! — рыдала она.

Ее сын остался стоять за стулом с понуренною головой, опустив глаза вниз. Дети Боголюбова, за исключением старшего сына, по-прежнему стоявшего у окна спиной к действующим лицам, с любопытством и недоумением смотрели на эту сцену. Маленькая девочка в папильотках, сидевшая около матери, не угомонилась и снова обратилась с вопросом:

— Мама! она богу молится?

Мать снова погрозила ей пальцем и неодобрительно покачала головой.

— Она милостыньку просит? — продолжала расспрашивать неугомонная девочка.— Ты ей дашь?

Боголюбов между тем старался поднять бедную родственницу.

— Не надо, не надо унижаться! — бормотал он в необычайном смущении.— Я все сделаю, что могу, что могу!

Марья Дмитриевна тяжело поднялась с полу. Боголюбов обратился к жене:

— Поищи же, Паша, что-нибудь из платья.

Хозяйка томно поднялась со своего места, взяла на руки меньшого ребенка и скрылась за дверью столовой. Вслед за матерью пошла и шестилетняя девочка. Боголюбов попросил Марью Дмитриевну подождать и направился в свой кабинет. В столовой остались одни бедные родственники и Леонид. Мать и сын хранили молчание, потупив головы, как бы ожидая решения своей участи. Леонид в замешательстве как-то сбоку поглядывал на них и переминался на одном месте, поминутно шаря в своем кармане. Его лицо разгоралось все более и более. Наконец он нерешительно и неловко на цыпочках пошел по направлению к бедным посетителям. Обойдя Марью Дмитриевну, он тихонько дернул за рукав Антона. Тот вздрогнул и обернулся.

— На, это тебе! — пробормотал Леонид едва слышным голосом и неуклюже старался что-то всунуть в руку оборванному мальчугану.

— Мне не надо,— медленно, как бы спросонья ответил тот, отстраняя руку.

— Да возьми! — приставал Леонид, весь раскрасневшийся от застенчивости и волнения.

Марья Дмитриевна очнулась от раздумья и обернулась к детям. Она увидала, что ее сын не берет предлагаемых ему денег.

— Вы его извините, батюшка. Он у меня дикий,— тихо заговорила она.— Он людей не видал, от постороннего человека пряника не примет. Как в деревне рос.

Но ни Антон, ни Леонид не обращали на нее никакого внимания. Они стояли друг против друга, Антон с потупленною головой, с глазами, смотревшими исподлобья, Леонид с протянутою рукой, с красным лицом, покрывшимся каплями пота.

— Что же ты? — тихо приставал Леонид.

— Нищий я, что ли? — хмуро ответил Антон.

Леонид почти плакал.

— Послушай, ведь мы братья,— растолковывал он бедному маленькому дикарю.

— Какие братья? — спрашивал тот, не понимая детским умом своих родственных отношений с этим богатым мальчиком.

— Да, братья! Наши отцы были братья и мы братья. Ты возьми, голубчик. Ты мне после отдашь. Теперь у меня есть деньги.

На глазах Леонида сверкнули слезы. Он наклонился к маленькому дикарю и горячо обнял его. Антон совсем растерялся и безмолвно, с неловкостью крестьянского мальчика, взял деньги.

— Я, пожалуй, возьму... Только мне не надо,— еще раз пробормотал он в смущении.— Я матери отдам...

— Отдавай, кому хочешь. Это твои деньги,— весело и добродушно проговорил юный Боголюбов.

— Пошли вам господи всякого счастья в жизни! — промолвила Марья Дмитриевна.

Мальчик сконфуженно пожал ее руку, торопливо обнял еще раз маленького дикаря и пошел, пробормотав своему новому родственнику:

— Ты приходи ко мне.

Минуты ожидания проходили одна за другой в полнейшей тишине, нарушаемой только вздохами Марьи Дмитриевны; наконец в столовой появились хозяин и хозяйка дома. Боголюбов нес три десятирублевые бумажки и адрес графини Белокопытовой; его жена несла несколько обносков детского и своего платья и белья.

— Вот вам от всех нас,— проговорил хозяин.— Оставьте свой адрес, когда буду в состоянии, пришлю что-нибудь. Сами не ходите понапрасну. От вас сюда далеко. Детей надо отдать в приюты куда-нибудь. Напишите прошение графине и подайте его лично послезавтра так часу в четвертом или в третьем. Только не говорите, что вы меня знаете. Надо, чтобы она не знала, что мы родня. Подайте просьбу о вспомоществовании к митрополиту, все что-нибудь выйдет...

В эту минуту в комнате появилась шестилетняя девочка, ускользнувшая вслед за матерью из столовой. Она тащила в руках куклу и приблизилась к бедным родственникам.

— Маленькой девочке спеси,— тихо пробормотала она, протягивая Антону куклу.

— Ангелочек добрый! — заметила Марья Дмитриевна, отирая глаза.— Дайте ручку поцеловать. Что ж ты, Антоша, не поблагодаришь; поклонись барышне, поцелуй...

Мальчик опомнился, наклонился, поднял девочку на руки и звучно поцеловал ее в губы.

— Ах, глупый, глупый! — покачала головой мать.— Вы его извините, он совсем у меня как есть мужик необразованный. Чем бы ручку поцеловать у барышни, а он ее в губы лезет целовать...

— Ничего, ничего! — промолвил Боголюбов с добродушной улыбкой.— Теперь идите с богом!

Бедная женщина, изливаясь в благодарностях, завязав узел, приказав сыну поцеловать ручку у дяденьки и тетеньки, поплелась из богатого жилища.

Хозяева вздохнули свободнее, когда кончилось это тягостное свидание.

— Догулял! — проговорила Боголюбова.— Шутка ли, пятерых без куска хлеба оставил! Теперь будет нам еще возни с этой семейкой.

— Ну, какая возня! Выйдет лишний рубль, два, вот и все,— задумчиво промолвил Боголюбов.— Не обедняем, матушка. На сирот бог посылает. Детей пристрою как-нибудь в приюты.

— Пристроишь, а каковы еще дети выйдут. Ведь это какой-то волчонок,— заметила жена.— Ни одного раза никому в глаза прямо не взглянул, а туда же лезет целоваться в губы. Верно, в отца пойдет.

— Ну, матушка, трудно сказать, кто в кого пойдет! Наш-то вон, Леонид Данилович, пошел, кажется, ни в отца, ни в мать... На Невском, при народе, щедрость показывает, отдавая дядюшке последние деньги, а тут, когда все, даже Лидя, отдавали, что могли, голодной семье, он повернулся спиною к беднякам и поскорей улизнул, чтобы кто-нибудь не взял у него гроша для этих несчастных.

— Уж ты всегда на Леонида готов нападать! — вступилась мать, еще так недавно навлекшая на сына грозу.

— Да ведь больно, больно, что с этих пор от своего сына ждать нечего. Лентяй, барчонок, белоручка, хвастунишка... Ты вон про чужих толкуешь, еще не зная их, а лучше бы о своем подумала.

Боголюбов был не в духе.

— Я так и знала, что уж эти нищие принесут нам неудовольствие!

Боголюбов молча ушел в свой кабинет, хлопнув дверью. Впервые в жизни оказав благодеяние своим ближним, он не чувствовал полного удовольствия, не ощущал елейного настроения духа и как будто был недоволен собою. Похо-

див по своему кабинету, он взглянул на часы и начал собираться в должность.

— Что ж, не могу же я всего отдать. У меня у самого семья, своя семья! — пробормотал он вслух и со вздохом, взяв портфель под мышку, вышел из своей квартиры тихими и мерными шагами, как он обыкновенно ходил на службу, храня строгий и внушительный вид.

III
ПРОСЯЩИЕ ПОМОЩИ

Марья Дмитриевна вздохнула немного свободнее, получив пособие от Боголюбова. Кое-какие грошовые долги были отданы; Антону было куплено теплое пальто на толкучем рынке, сменившее его жалкую женскую кофту; Катерина Александровна перешила себе платье, подаренное теткой, и могла выйти из дому по своим делам, не обращая на себя внимания прохожих своими лохмотьями. Но эти мелкие улучшения не могли окончательно успокоить семью, у нее оставалось впереди еще много хлопот и забот: нужно было хлопотать о пенсии, об определении детей, о найме нового угла. Марья Дмитриевна, все еще слабая и больная, ежедневно уходила из дома в сопровождении Антона, своего неизменного телохранителя, толкалась по присутственным местам, по передним благотворительных лиц, по приемным филантропических комитетов. Среди этих скитаний Антон впервые знакомился с тою жизнью и обществом, среди которых ему придется проходить свой жизненный путь. Трудно сказать, что чувствовал в эти дни мальчуган; он молча, как будто безучастно смотрел на все; впечатления от тех или других сцен и встреч были, по-видимому, мимолетны и забывались через минуту. Но это были те капли, которые пробивают камень: никакой глаз не подсмотрит, насколько продолбила камень та или другая отдельная капля, но попробуйте оставить этот камень на несколько лет под влиянием этих падающих на него капель, и вас поразит изменение этой когда-то гладкой и ровной поверхности камня. То же бывает с человеком: когда-то он впервые услыхал о некрасивых проделках господина, выглядевшего очень честным,— этот слух смутил его на время, потом, по-видимому, совершенно исчез из его памяти; после он был обманут другом, в которого он глубоко и искренно верил,— это событие глубоко огор-

чило его, но и оно забылось, как забывается все, забылось, по-видимому, навсегда; завтра он узнает, что личность, которой он поклонялся с чистою любовью в годы светлой молодости, была черствым развратником, шулером, вором,— это открытие потрясет его душу, и, может быть, в его памяти вдруг нежданно-негаданно возникнут, как живые, казавшиеся забытыми воспоминания о тех людях, с которых он когда-то сорвал маску честности, и в нем надломится вера в людей. Вы скажете, что эта вера сломилась внезапно. Нет, она подтачивалась незаметно, постепенно, и, когда ее существование держалось на волоске,— довольно было одного нового явления, чтобы этот волосок оборвался. Так в душе нашего маленького героя покуда впечатления проходили только мимолетно, и было еще неизвестно, что подрывалось, что подтачивалось в этой душе.

На третий день после посещения к Боголюбову Марья Дмитриевна снова плелась со своим сыном через город. Было около трех часов пополудни. Дотащившись до одного из богатых домов в Сергиевской улице, около которого стояло несколько экипажей, Марья Дмитриевна вошла в ворота и скрылась во дворе.

Этот дом принадлежал графу Дмитрию Васильевичу Белокопытову. В то время, когда в него вошла Марья Дмитриевна, окна бельэтажа были ярко освещены десятками огней. Это был день рождения хозяина дома. Широкая роскошная лестница парадного подъезда, убранная тропическими растениями, озарялась мягким светом ламп с белыми матовыми шарами. Лампы поддерживались чугунными статуями, изображавшими негров и индейцев с угрюмыми лицами, как лица рабов, обреченных вечно стоять в одной и той же позе и держать лампы. Внизу лестницы стоял швейцар в пестрой ливрейной одежде с тяжелой булавой в руке, очень походивший на жалкого балаганного актера, одетого в костюм фантастического генерала и старающегося придать своему лицу суровое выражение, что, по мнению балаганного актера, должно быть непременным атрибутом высокого звания. Тут же на дубовых стульях с высокими резными спинками помещалось несколько лакеев с шубами и бархатными салопами в руках. Пестрота их одежд была невообразимая: здесь были гороховые, красные, темно-голубые — одним словом, все те цвета, из каких не принято шить сюртуков и шуб для мужчин, не имеющих несчастия быть лакеями. Одни из лакеев дрема-

ли, другие шепотом толковали про «наших», сообщая друг другу такие вещи, о которых толкуют только лакеи и не грезится нам с тобою, мой друг читатель. И бледный свет ламп, и невозмутимая тишина, заспанные лица лакеев придавали этой картине вид сонного сказочного царства, безучастно смотрящего на эти роскошные пальмы и на этих чугунных негров и индейцев, безучастно отражающегося по нескольку раз в этих широких зеркалах. Непривычный зритель удивился бы с первого раза и ширине этой картины, и бесчисленному множеству цветов, людей и статуй, поддавшись обману зеркал. Ему показалось бы, что это царство сна тянется на необозримое пространство и вмещает в себе столько народа, что его не пересчитаешь и в год. Только поприсмотревшись к этому царству сна, можно было убедиться, что оно далеко не так обширно и не вмещает в себе стольких людей, как это кажется при первом взгляде на него; только после внимательного наблюдения можно было сказать, что и ему есть конец, как и всему на свете.

По-видимому, совершенный контраст с этою безжизненною картиной представляли роскошные залы и гостиные, где помещались десятки пожилых и молодых мужчин и женщин. Здесь были лучшие искусственные зубы, лучшие фальшивые локоны и косы, лучшие корсеты на вате, лучшие румяна и белила, лучшие парики и накладки. Здесь были старые барыни с подтянутыми морщинами и седыми локонами на облезлых головах и молодые женщины, исчезавшие в волнах кружев, лент, шелка и газа, подобно манекенам, стоящим на окнах куаферов и модисток. Здесь были серьезные и холодные старики во фраках, старавшиеся держаться твердо на разбитых подагрою ногах, и молодежь, старавшаяся блеснуть разными позолоченными и посеребренными украшениями мундиров. Все это ходило, сидело, тихо разговаривало, громко спорило, четко произносило остроумные фразы и беззаботно смеялось. Особенное оживление охватило всех, когда кончились официальные визиты, когда кончился обед и остались одни близкие с хозяевами люди. Гости сидели отдельными группами. Толки шли самые разнообразные. Политика и внутренние дела России, балы и театры, планы путешествий на воды и филантропические затеи — все это давало неисчерпаемый источник для серьезных споров, для смеха, для остроумия. Впрочем, преобладающей темой разговоров была филантропия, так как хозяйка дома посвящала глав-

ным образом всю свою жизнь именно этому роду деятельности.

— Я вотирую за бал с аллегри,— говорила одна маленькая блондинка с беспечным херувимским личиком.

— А ваша кузина, вероятно, подаст голос за маскарад,— тихо ответил ей, красиво перегибаясь через ручку кресла, стройный гвардейский офицер с обольстительными черными усиками.

— Отчего это именно за маскарад? — невольно удивилось херувимское личико.

— Кузина очень эффектна, когда ее лицо под маской,— пояснил офицер.

— Вы не можете не злословить?

Офицер пожал плечами, как будто выражая этим: что прикажете делать, если у меня остроумие бьет через край?

— Скучны все эти балы с аллегри,— говорил на противоположном конце комнаты другой гвардеец лет двадцати пяти, лениво зевая,— это был сын хозяев дома, Алексей Дмитриевич Белокопытов.— Право, мы и веселиться-то не умеем. Я скоро совсем перестану ездить на балы.

— А на пикнике сегодня будешь? — спросил его кто-то.

— Конечно.

— Закончить бальную деятельность хочешь?

— А, ба! ведь это же не бал, а пикник, и притом без всякой аллегри в пользу бедных.

— Ну, аллегри-то будет и там, Аделаиду будем разыгрывать.

Собеседники рассмеялись и начали говорить тише.

— Неужели мы не устроим ни одного спектакля? — спрашивала одна барыня с резкими и подвижными чертами лица, приближавшаяся по летам к возрасту бальзаковских героинь и только что приехавшая откуда-то с вод, где украла и проиграла фамильные бриллианты своего мужа.

Ей никто не ответил.

— Я всегда говорил, что Софья Николаевна Белоусова ошиблась в своем призвании,— шептал неугомонный остряк с черненькими усиками, снова наклоняясь к херувимскому личику.— Ей нужно бы быть актрисой, а она сделалась сестрой милосердия больного мужа.

— Это, по крайней мере, дает ей возможность постоянно жить за границей.

— Да она и актрисой могла бы жить за границей, но тогда она собирала бы там деньги, а теперь ей приходится там оставлять все.

Херувимское личико улыбнулось.

За столом, около одного из небольших диванов, сгруппировалось менее легкомысленное и более солидное общество. Здесь шли разговоры совсем в другом роде. Тут лежало несколько довольно засаленных листов бумаги разного формата, исписанных то писарским, то неумелым детским или женским почерками. Один из присутствующих, в котором по зоркому и строгому выражению его лица нетрудно было узнать Данилу Захаровича Боголюбова, медленно пересматривал эти листы бумаги и откладывал их в разные стороны.

— Все больше об определении детей,— проговорил он, перебирая листы.

— Как всегда, осенью,— промолвила со вздохом крошечная пухленькая старушка с гладко причесанными седыми волосами, сидевшая на диване.

Это была княгиня Марина Осиповна Гиреева, одна из деятельниц по части благотворительности.

— О вспомоществовании тоже много просьб,— продолжал Боголюбов.

— Вы рассмотрите их, Данило Захарович,— промолвила пухленькая старушка.— Надо будет переслать некоторые в человеколюбивое общество.

— Теперь везде так мало сумм...

— Следует помочь, кому необходимее.

Старушка задумчиво начала перебирать просьбы о вспомоществовании.

— Двадцать просьб,— проговорила она почти шепотом.— Это удивительно, что у вас всегда бывает их такая масса. Я и трех в месяц не получаю. У вас есть какой-нибудь особенный магнит,— добродушно улыбнулась она, обращаясь к одной из сидевших у стола дам.

Женщина, к которой обратилась пухленькая старушка, не успела еще произнести ни одного слова, как из соседнего угла послышался резкий раздраженный голос мужчины,— этот мужчина был ее муж.

— Дело объясняется очень просто,— ироническим тоном заговорил он, перерывая свой серьезный спор с каким-то стариком,— моя Дарья Федоровна изволит ездить по городу и скликать всех нищих, всех оборванцев, всех тунеядцев: «Милые, ко мне идите; я вам, милые, последнее платье отдам; вы, милые, можете сидеть сложа руки, пока я жива». Конечно, милые и пользуются удобным случаем пожить на чужой счет. Я уверен, что у нас даже сегодня,

даже теперь где-нибудь в доме спрятано до полсотни этих «милых». Не хотите ли на них полюбоваться?

Пухленькая старушка и жена раздраженного господина сделали вид, что они не слышат его речей, и продолжали говорить, сильно понизив голос.

— Это оттого, что я сама принимаю просьбы,— ответила жена раздраженного господина.— По почте и через прислугу переданные просьбы могут пропасть.

— Но вы этим утомляете, убиваете себя, мой друг,— промолвила с участием пухленькая старушка.— Признаюсь откровенно, я не вынесла бы и месяца ежедневных встреч с этими людьми, а я постарше, почерствее, чем вы.

Старушка говорила ласковым искренним тоном. В ответ ей послышался только вздох.

— Здесь есть просьба одной вдовы, Прилежаевой, обремененной четверыми детьми,— произнес Боголюбов, просматривая просьбы.— Просит об определении детей. Кажется, это очень, очень бедная семья...

— Прилежаева, Прилежаева,— проговорила Гиреева, как бы вспоминая что-то.— Я знала одну Прилежаеву, милую черноглазую девочку...

— Надо похлопотать, надо похлопотать,— быстро заговорила та женщина, с которой несколько минут тому назад беседовала Гиреева.— Надо все сделать, что возможно. Я ее видела: она очень бедна и слаба. Вы подумайте, куда можно пристроить детей.

— Постараюсь. Ваша воля для меня закон! — ответил Боголюбов, придавая еще более строгое и озабоченное выражение своему лицу.

— Я пойду, там меня еще ждут,— шепотом произнесла собеседница Гиреевой, наклоняясь к самому уху последней и тихонько пожимая ей руку.

Она поднялась с места. Это была худенькая, низенькая женщина с мутными, как-то странно блуждавшими взглядами. Казалось, она старалась припомнить какую-то позабытую мысль или отыскать какой-то потерянный предмет. Ее до этой минуты было трудно заметить среди нарядных, говорливых, одушевленных вином гостей, хотя она имела полное право на внимание уже просто потому, что она была хозяйкой дома. Но были и другие причины, которые могли бы заставить наблюдателя остановить свой взгляд на ней. Она очень резко отличалась от всей этой пестрой и веселой толпы своим туалетом: он был не только прост, но даже странен и смешон своею неуклюжестью и

небрежностью. Темное шелковое платье с гладким лифом сидело на ней, как мешок, и болталось, как на вешалке, точно оно было сшито для нее в те годы, когда она еще дышала цветущим здоровьем и была свежа и полна. Гладкий воротничок из тонкого батиста был надет набок, такие же нарукавнички были надеты неровно,— на одной руке нарукавничек выбился из-под гладкого рукава чуть не на четыре пальца, на другой руке нарукавничек был едва заметен. Жидкие волосы этой женщины были причесаны просто, гладко, но словно поссорились между собою и рассыпались с одной стороны настолько, что сквозь них была видна бледная сухая кожа, точно это были высохшие «мертвые» волосы, не соединенные между собою даже помадой. Ее желтое, покрытое мелкими морщинами лицо было крайне озабоченно и выражало какое-то напряженное, но бесплодное усилие обдумать что-то, рассудить что-то. Она, немного сгорбившись, торопливо и неуклюже переплетая ногами, прошла через гостиную и, на ходу улыбаясь то тому, то другому из присутствующих какою-то жалкою, похожею на мучительную гримасу улыбкой, скрылась в других комнатах.

— Дарья Федоровна, кажется, понеслась с оливковым листом в ковчег спасающихся от потопа? — насмешливо спросил у пухленькой старушки хозяин дома.

Старушка сделала вид, что она ничего не слышит, и очень усердно и горячо продолжала толковать с Боголюбовым.

— Эти бедные, право, сделались для меня чем-то вроде bête noire [1],—промолвил своему товарищу Алексей Дмитриевич.— Если бы, кажется, вино пили для пользы бедных, я записался бы в общество трезвости; если бы люди оставались холостяками для пользы бедных, я завтра же женился бы на первой попавшейся навстречу старухе.

— Ну, это уж слишком! — засмеялся его собеседник.

— Да пойми же ты, что это становится невыносимым,— горячо заговорил молодой Белокопытов,— встречаешься с матерью утром — она убивается о бедных и отравляет чай; садишься за стол — у матери заплаканные глаза от встречи с бедными, и кусок не идет в горло; хочешь пройти к ней в комнату после обеда — встречаешь на пути баррикаду из десятка калек и убогих. Знаешь ли ты, почему я разошелся с Амалией? Она как-то оскорби-

[1] предмета ненависти *(фр.)*.

лась какою-то выходкой с моей стороны. «Я, говорит дочь бедных родителей, я бедная, но...» Дальше я уж и не слушал, схватил фуражку и больше не видался с ней.

Собеседник расхохотался.

А Дарья Федоровна между тем торопливо шла по освещенным комнатам, перегнувшись туловищем вперед и поминутно путаясь в болтавшемся на ней, подобно тряпке, шелковом платье. От всего ее существа веяло чем-то достойным улыбки и сожаления, смеха и слез. Графиня Белокопытова действительно была замечательною личностью по своей судьбе, по своему характеру.

Ее отец, Федор Павлович Маевский, слыл одним из первых богачей в Петербурге и некогда занимал очень видное место в свете. Она была его единственною наследницей. Конечно, при таком положении она должна была играть одну из первых ролей в так называемом свете. Но старик Маевский вместе со своим братом когда-то сильно прокутился в Париже. Брат его пустил себе пулю в лоб, а Федор Павлович был спасен от нищеты и, может быть, тоже от самоубийства только случайно полученным наследством. Эти события так сильно подействовали на него, что из отъявленного мота он сделался скрягою. Он перешел в гражданскую службу, он носил потертые мундиры, он ходил пешком, его дворня походила на стаю нищих, его обеды были похожи на жалкие обеды бедняка. Он брал с крестьян невообразимые оброки, сек их беспощадно за недоимку, вел торговые дела, давал деньги под большие залоги и за большие проценты. Про него носились слухи, что, управляя в былые времена одним из благотворительных учреждений, он не только распекал по-русски просителей, но даже прятал в свой собственный карман назначенные им пособия. В том кругу, в котором он вращался, его имя сделалось нарицательным; сказать: «это второй Федор Павлович Маевский» значило то же, что сказать: «это скряга». Он не только проклял сына за то, что тот, не получая ни гроша от отца, наделал на две тысячи долгов, не только допустил этого сына до тюрьмы и до самоубийства, не только уморил жену вечными и дикими сценами за каждый издержанный ею грош, но даже не позаботился о том, чтобы дать своей дочери порядочное образование. Какая-то кающаяся Магдалина из легитимисток с сильной наклонностью к ханжеству, лишенная всех средств даже и при помощи румян и белил для добывания денег, согласилась занять за скудную плату ме-

сто гувернантки при дочери Маевского. Французский язык, легитимизм, ханжество, выражавшееся в вечном вымаливании грехов у разгневанного бога и в раздаче грошей нищей братии, обязанной за эту плату молиться о прощении грехов благодетелей,— вот все, чем набивалась детская голова Маевской под руководством m-lle de Beauregard. Эта головка и от природы была не особенно сильно наделена умом, под влиянием же деспота отца, ханжи гувернантки и вечного одиночества в ней все окончательно перепуталось и сбилось. Маленькая девочка уже представляла себе бога не иначе, как разгневанным богом; она молилась не иначе, как со слезами, молилась только о прощении ее собственных и вообще людских грехов; она любила и жалела бедных людей, но не видала никакой возможности помочь им иначе, как раздачею грошей; иногда в ней проявлялось даже что-то суровое и беспощадное, когда она, слыша чьи-нибудь жалобы, говорила: «Христос с вами, Христос с вами, разве можно так грешить! Он страдал не менее вас, он сына своего отдал на распятие, а вы ропщете!»

Некрасивая собой, запуганная отцом, неловкая, плохо воспитанная, плохо одетая, семнадцатилетняя Дарья Федоровна с первого дня своего вступления в свет сделалась мишенью для шуток, оселком для острот, развлечением от скуки. Что-то черствое, что-то бессердечное таилось в этих отношениях света к молодой девушке, и эти отношения были тем более гнусны и отвратительны, что источником их была все-таки зависть: эта «дурнушка» должна была в конце концов сделаться обладательницей одного из самых крупных имений. Через год после первого выезда в свет она уже готова была отказаться от света, готова была идти в монастырь, когда внезапно на нее обратил внимание один из самых блестящих представителей тогдашнего высшего круга граф Дмитрий Васильевич Белокопытов. Немного нужно было ласковых слов, немного нужно было горячих уверений, чтобы запуганное, загнанное существо, не видавшее ни одной приветливой улыбки, ответило любовью на любовь. Месяца через два Дарья Федоровна была влюблена в Белокопытова или, вернее сказать, благоговела перед ним. Белокопытов решился просить ее руки и, конечно, получил отказ: старик Маевский никак не мог выпустить из рук имение своей покойной жены, которое, согласно завещанию, должно было перейти к дочери при замужестве последней. Дарья Федоровна не

вынесла удара и слегла. После долгой и тяжелой болезни она почти перестала выезжать в свет, но не перестала любить Белокопытова. Прошло около года мучительной одинокой жизни в доме отца, вечно упрекавшего дочь за то, что она хотела его ограбить, хотела подорвать его денежные дела, хотела промотать вместе с «мерзавцем» — иначе Маевский не называл Белокопытова — наследственное имение. Но Белокопытов, несмотря на неудачу, не отказался от своего плана; по-видимому, этот план был тою последнею картой, от которой зависело быть или не быть. Со свойственною всем любителям азартных игр ловкостью Белокопытов начал незаметно распускать под рукою слухи, что Маевский помешанный, что он хочет уморить дочь, что это чистейшее убийство, совершаемое в глазах всего света. История о сыне Маевского, о самоубийстве несчастного юноши, слухи о проделках старика в благотворительном заведении — все поднялось Белокопытовым со дна прошедшего, и общественное мнение было единодушно вооружено против деспота отца. Маевский сделался сказкой города, в толках о нем уже слышались более серьезные ноты, чем в простых сплетнях: «надо принять меры», «подобных вещей нельзя допускать», «мы живем не во времена варварства» носилось в салонах. Чем бы кончилось все это волнение, поднятое искусным агитатором, неизвестно; известно только то, что однажды, среди самых оживленных толков о Маевском, в гостиной княгини Марины Осиповны Гиреевой появился Белокопытов, приходившийся ей дальним родственником и живший в ее доме, и объявил, что он только что получил известие о смерти Маевского. Это известие поразило всех своею неожиданностью, поразило тем более, что через несколько минут приехал какой-то новый посетитель и объявил, что Маевский жив. Общество окончательно растерялось, а какой-то остряк даже заметил при этом, что Маевский возродился и проживет еще шестьдесят лет. Действительно, в этом происшествии было что-то странное, требовавшее разъяснения, и потому был отправлен лакей в дом Маевского разузнать обо всем случившемся.

— Изволили-с умереть, только помешали им, так они-с и ожили,— доложил возвратившийся посланный.

Последовало всеобщее изумление, начались расспросы. Оказалось, что действительно в течение часа все считали Федора Павловича мертвым и уже на радостях поспешили обмыть и положить его на стол, как вдруг он тихо

вздохнул и открыл глаза и вот уже в течение четырех часов продолжает от времени до времени дышать, хотя и не двигается и не спукает глаз с одной и той же точки. В обществе поднялись новые толки. Но толки уже шли не в одном каком-нибудь доме княгини Гиреевой, а дошли до разных захолустьев. Несколько бедняков, когда-то обиженных Маевским и ожидавших его смерти, пробрались в его дом посмотреть, «как бог смерти не дает кощею!». Это была возмутительная и в то же время грустная сцена. Дарья Федоровна, суеверная и трусливая, заперлась в своей комнате; прислуга, ненавидевшая барина, оставила его на столе и через черную лестницу впускала разных черносалопниц посмотреть «на наказание божие». Черносалопницы уже рассказывали, «что они своими ушами слышали, как хрипит и стонет кровопивец, и своими глазами видели, как его живого едят черви». Только появление Белокопытова и доктора положило конец этому показыванию живого трупа. Доктор объявил, что переносить Маевского на постель невозможно, что надо ждать исхода. Исход был один — смерть, последовавшая через несколько часов. Эти события так сильно повлияли на Дарью Федоровну, что она была готова раздать все имение нищим, опять собиралась уйти в монастырь и хотела отказаться от замужества. Белокопытову пришлось сильно хлопотать и убеждать ее, чтобы не выпустить из рук выгодной партии. Наконец дело было обделано и долги Белокопытова были заплачены деньгами Маевского. Белокопытов вздохнул свободно — гора свалилась с плеч. Любовь и нежность графа продолжались ровно до того времени, когда в его руки была отдана Дарьею Федоровной значительная часть ее имения. Муж начал относиться к жене очень бесцеремонно, называя ее при прислуге дурою, ханжою, говорил при ней о своих любовных связях, жил на отдельной половине, устраивал в своих комнатах «холостые» вечера. Дарья Федоровна, привыкшая считать всякое горе наказанием за свои грехи, за грехи отцов, не употребляла никаких средств для борьбы с мужем, для завоевания себе его уважения или независимого, почетного места в доме. Она безмолвно выносила свое тяжелое положение и все сильнее и сильнее, все с большим страхом перед разгневанным богом молилась и старалась помогать нищим, голодным, чтобы и они присоединили свои молитвы к ее молитвам. Она даже не замечала, что она все глубже и глубже раскапывает своими собственными руками ту про-

пасть, которая разделяет ее с мужем и которая, быть может, могла бы сгладиться при известном уменье держать себя с мужем со стороны жены и при неизбежной усталости, долженствовавшей явиться в муже среди вечных кутежей. Но Дарья Федоровна не обладала умением понимать земные интересы и была предана всецело небесным помыслам. Поуставший среди оргий муж действительно попробовал раза два сойтись с женою поближе, но от нее «несло», по его выражению, «ладаном, деревянным и постным маслом»; «ее устами говорили», по его же выражению, «сонмища черносалопниц, полчища монахов и целый кагал прошедших, настоящих и будущих затворников, схимников и юродивых нашего любезного отечества». Дарья Федоровна, нагнав тоску на мужа своими речами, упустила удобную минуту для сближения с ним и окончательно оттолкнула его от себя. Уставший от оргий и ищущий более спокойных наслаждений, он обзавелся постоянной любовницей, разбитной, ловкой и веселой, но крайне алчной до денег немкой. Матильда Францевна Геринг взяла его в свои руки и высасывала из него последние его деньги, пристраивая через него на теплые места своих соотечественников и более молодых поклонников. Уже через год или через два после замужества Дарья Федоровна была известна в самых отдаленных закоулках столицы под именем «блаженненькой» и под именем «матушки-благодетельницы», еще через несколько лет люди ее круга, особенно члены разных благотворительных комитетов, зная ее тяжелую жизнь, видя ее безропотность, слыша о ее популярности среди бедных, стали смотреть на нее не то с удивлением, не то с благоговением. Не благоговели перед нею только ее муж и ее подраставший сын. Последний, подобно отцу, отшатнулся от матери уже с детских лет, когда ему приходилось простаивать всенощные, заутрени, ранние и поздние обедни, во время которых мать ежеминутно дергала его за рукав, напоминая ему, что нужно креститься и класть земные поклоны. Первое вступление в кружок товарищей показало мальчику, что есть более привольная, более свободная, более интересная жизнь, и он ринулся в эту жизнь с головою, отдался ей с тем жаром, с которым отдается человек свободе после выхода из тюрьмы. Отец и сын уже успели промотать все, что было передано им Дарьею Федоровной. Но они уже успели не только промотать свои деньги, а даже наделали долгов везде, не отказываясь выдавать крупный век-

сель за небольшую сумму денег, занятую ими у ростовщика, и не гнушаясь прихватить сто рублей у своего повара, у своего камердинера, у полкового вахмистра или унтер-офицера, пользовавшихся в виде процентов различными поблажками. Вступив на этот путь, отец и сын незаметно очутились в руках разных темных личностей и должны были потакать их проделкам, определять на места их protégés. Они, вероятно, сами ужаснулись бы глубине той пропасти, в которую они снизошли, если бы у них оставалось время на подобную проверку своей жизни. Дарья Федоровна между тем видела, что ее благосостояние висит на волоске, что оно чисто призрачное, что при сведении концов с концами в итоге получится нуль, и начинала дрожать над каждой копейкой, считать количество сожженных свечей, съеденных цыплят, истребленных дров, начала отдавать штопать и чинить старое белье, переделывать и выворачивать свои платья, носить чищеные перчатки, дробить свои подаяния до микроскопических частей. Ее несчастный, непрактический слабый ум не мог сообразить, что никакие грошовые сбережения не могут пополнить брошенных на ветер тысяч.

Она оставалась все тою же несчастною, искалеченною женщиной, но уже не по-прежнему смотрели на нее ближние люди: прислуга, обожавшая щедрых графов Белокопытовых, начала ненавидеть ее как скрягу. «Видно, кровь-то отцовская заговорила»,— толковали про графиню в людской. Черносалопницы и бедняки, хотя шли к ней по-прежнему, зная ее влияние на разных благотворительниц, но уже ругали ее за ее мелкие, иногда просто оскорбительные подачки. Она же молча переносила все. В этой выносливости было что-то похожее на фанатизм: только фанатик может так твердо и неуклонно, несмотря на все мучения света, несмотря на все враждебные отношения, оставаться верным себе.

И в эту минуту, когда застает ее наш рассказ, она по-прежнему твердо продолжала свой образ жизни, хотя ей уже изменяли физические силы. Минуя ряд освещенных зал, загасив ради экономии по дороге несколько свечей в канделябрах, она отворила дверь небольшой комнаты, тускло освещенной одной свечой, стоявшей на окне. Эта комната была оклеена дешевенькими темными обоями; около всех четырех стен стояли невзрачные темные стулья; над спинками стульев были видны почти черные круглые пятна, казавшиеся при тусклом освещении голо-

вами сидящих на стульях невидимых призраков. При появлении Дарьи Федоровны в дверях в комнате что-то завозилось, зашуршало, закопошилось, и около темных стен поднялись какие-то причудливые разнообразные тени. Это были странные создания, стоявшие безмолвно, понурив головы. Их то худые, то опухшие, бледные, иногда зеленовато-желтые, порою синевато-багровые лица выглядели тупо, нагло, угрюмо или болезненно. В выражении некоторых лиц замечалась жалкая забитость, в других проглядывала рабская хитрость. Тут был какой-то отставной штабс-капитан с деревянною ногой, с всклокоченными седыми волосами, с толстым синевато-красным, испещренным черными крапинками носом; воин был одет в потертый лоснившийся мундир; тут стояла еще довольно молодая женщина в оборванном платье с ребенком на руках, которого она кормила грудью; тут помещалась дряхлая полуслепая старуха в темном капоре и теплом салопе; тут были люди всевозможных возрастов и сословий, но все одинаково образованные, одинаково голодные,— голодные вследствие своей неумелости, вследствие лени, вследствие пьянства. Единственная свеча тускло озаряла это отребье человечества, и казалось, что это сидит ряд мертвецов, ожидающих своей очереди на место в могиле. Как только отворилась дверь, все они закопошились, поднялись и выстроились около стены: это было войско Дарьи Федоровны. Торопливыми шагами, перегнувшись туловищем вперед, блуждая тусклыми взглядами и улыбаясь своею бессмысленною, не то приветливою, не то конвульсивною улыбкой, похожею на гримасу, прошла пред ними хозяйка дома.

— Сейчас, сейчас, милые! Сейчас, сейчас, родные! — бормотала она на ходу и через минуту скрылась в другую дверь.

В комнате раздался один общий вздох, снова послышалось шуршанье лохмотьев, снова началось движенье этого трепья, и через мгновенье тяжело заскрипели стулья под тяжестью опустившихся на них людей.

— Ох, господи владыко, царю небесный! — вздохнула одна из теней подпольного мира: это была Марья Дмитриевна; около нее сидел безмолвно Антон.— Нутро все изныло.

— Что говорить, что говорить! — прошамкала в ответ ей старуха в ваточном капоре.— Шутка ли сказать, с третьего часу дежурим. Испарилась совсем...

— Сейчас видно, что женщина командует! По-военному бы: раз, два, налево кругом — марш! — промолвил штабс-капитан, постукивая деревяшкой о пол.

— И погода-то какая, а мне еще на Пряжку тащиться,— проговорила Марья Дмитриевна со вздохом.

— Всем, мать моя, не близко, всем не близко,— пробормотала старуха в капоре.— Видно, ты еще впервые тут дежуришь. А я-то кажинный месяц эту муку мученскую терплю. Вот еще погоди, завтра велит прийти.

— Это все женская привычка-с, доложу вам,— произнес штабс-капитан.— За раз женщина ничего не может сделать. Вы взгляните, как женщина какую-нибудь этакую вещь в лавке покупает: зайдет она в десять лавок, в каждой весь товар перероет, все вверх дном перевернет и уж только потом скажет: позвольте мне образчик, я к вам на днях зайду! Выправки нет, и опять же женщина сама не знает, чего ей нужно. Ну возьмите нашего брата: нужно мне черное сукно на панталоны, с позволения сказать, и на сюртук, я и иду за черным сукном, а женщине и ленточка для бантика нужна, и какая-нибудь этакая шляпочка, и чепчик, и юбочка, и разные этакие финтифлюшки невозможного цвета, ну, а в кармане не очень густо, на все не хватит, надо что-нибудь одно выбрать,— вот она и суется и мечется. И хочется и ко...

Философские рассуждения штабс-капитана оборвались на полуслове, так как в комнату снова отворились двери и в них появилась фигура хозяйки дома. За нею с недовольным лицом шла горничная, нагруженная какими-то тряпками.

— Сейчас, милые, сейчас! — торопливо заговорила хозяйка.— Вы штабс-капитан Флегонт Матвеевич Прохоров? — спросила она, обращаясь к отставному философу.

— Он самый-с, имел честь докладывать вашему сиятельству! — отрапортовал штабс-капитан, молодцом вытягиваясь перед графиней.

— Вспомоществования просите?

— Точно так-с, имел честь докла...

— Передала, передала вашу просьбу,— быстро перебила его графиня.— Наведайтесь, обещали похлопотать. Вы бы в богадельню просились...

— Имею семью-с, ваше сиятельство. Привязан в некотором роде узами родственных отношений к грешному миру сему. Не могу...

— Так, так! — снова перебила его графиня.— Так на-

ведайтесь. Вот вам покуда. Дай, Танюша,— поспешно обратилась хозяйка к горничной.— Вот тут чай на два раза, вот сахар, это на булку десять копеек. Вот белье...

Графиня, поспешно передав штабс-капитану деньги и небольшой бумажный сверток с спитым чаем и четырьмя кусками сахару, взяла из рук горничной рубашку, растянула ее против свечи и стала рассматривать.

— Танюша, ты не то отобрала, не то отобрала! — быстро заговорила Дарья Федоровна.— Это для переделки Алексею Дмитриевичу отложено. Давай другую.— Горничная порывисто передала барыне другую рубашку. Белокопытова снова стала рассматривать полотно, растянув его против свечи.

— Вот вам; это пригодится; это тонкое полотно,— заговорила она, передавая рубашку штабс-капитану.— Вот две пары шерстяных чулок.

— Имею одну ногу, как докладывал вашему сиятельству,— развязно начал штабс-капитан.

— Ну, все равно, все равно; я тороплюсь, тороплюсь! Наведайтесь на днях.

— Ваше сиятельство, окажите милость, день назначьте. Живу далеко и имею одну ногу, тоже...

— Ах, не могу, никак не могу дня назначить,— перебила графиня штабс-капитана.— Не от меня зависит. Наведайтесь!

— Удручен годами, ваше сиятельство, имею одну только ногу...

— Ну здесь отдохнете, в тепле посидите. Дня не могу назначить,— отрывисто говорила графиня, уже подошедшая к старухе в капоре.

— Нельзя ли письменно известить? — совершенно хладнокровно приставал неугомонный философ.

— Не могу, не могу! — каким-то мучительным тоном отозвалась графиня, торопливо говоря старухе: — Вот чай, вот сахар, вот на хлеб. Приходи на будущий месяц.

— Матушка, ваше сиятельство, вспомоществования прошу,— заговорила старуха, кланяясь в пояс.

— Не могу, не могу ничего сделать! К митрополиту подай прошение.

Графиня быстро перешла к Марье Дмитриевне.

— Вы Прилежаева? — спросила она и, не дожидаясь ответа, заговорила скороговоркой,— детей просили определить? Будут приняты. Старшего мальчика, надеюсь, в школу бедных сирот, младшего и девочку в приют графов

Белокопытовых. За них похлопочет и добрейший Данило Захарович Боголюбов. Наведайтесь! Покуда возьмите это. Чайку напейтесь. Малютка, спать хочешь? — потрепала графиня по щеке понуро стоявшего Антона и перекрестила его.— Христос с тобой, Христос с тобой! Вот белье для деток. Это от моего сына. Наведайтесь.

Хозяйка дома быстро перешла к следующей просительнице, до сих пор ни одним словом не заявившей о своем присутствии в комнате. Это была высокая, худая женщина, лет сорока, с резкими чертами лица, с черными, несколько поседевшими, беспорядочно сбившимися на лоб волосами. Что-то лихорадочное и раздраженное было в выражении ее черных глаз и в стиснутых сухих губах. Она все время сидела молча, не отвечала ни на один вопрос своим собеседникам и только от времени до времени откидывала со лба сбившиеся волосы. Голяки, собравшиеся в этой комнате, посматривали на нее как-то подозрительно, как смотрят на сумасшедших. Старушонка в капоре даже успела шепотом заметить Марье Дмитриевне, что у этой странной женщины «на чердаке должно быть не ладно». Это замечание заставило Антона попристальнее взглянуть на молчаливую просительницу, и ее мертвенно-бледное лицо, воспаленные глаза, всклокоченные черные волосы с проседью как-то неприятно подействовали на него, почти испугали его и сильно врезались в его память.

— Вы титулярная советница Постовская? — спросила графиня.

— Я,— сухо ответила просительница, глядя на Белокопытову сверху вниз.

— Вы должны к митрополиту подать.

— Подавала уже.

— Ну и что же?

— Отказали. Пенсию получаю...

— Ах, так вы пенсию получаете...

— Два рубля в месяц.

— Что делать, что делать! У других и того нет. Роптать грешно. Вот вам чай, вот...

— Да я не милостыню пришла просить,— грубо перебила графиню просительница, не протягивая руки за подачкой.— Я прошусь в богадельню...

— Ах, нельзя, нельзя, у вас пенсия, вы чиновница...

— Ну, в тюрьму, в острог посадите,— с тою же резкостью перебила хозяйку просительница.— Мне все равно

куда. Все равно, только бы не умереть на улице, под забором. Понимаете: не хочу на улице валяться. У меня угла нет, у меня хлеба нет.

— Вы же пенсию получаете, мой друг,— воскликнула Дарья Федоровна.— Ну наймите себе уголок, работайте...

— Чем? — с горечью и иронией спросила просительница и тяжело приподняла свои руки.

Это были страшные руки, худые, жилистые, костлявые, с распухшими оконечностями пальцев.

— Отсохли, отмерзли, проклятые! — с бесконечною злобой в голосе произнесла несчастная женщина; в ее глазах сверкнуло что-то похожее на бешенство.— Работать! Я их поднять не могу, а она говорит: работать! Она говорит: работать! — воскликнула Постовская, тяжело дыша от раздражения.

— Их полечить надо, ступайте в больницу,— продолжала давать свои советы Белокопытова, не замечая, что она говорит с сумасшедшею.

— Что вы мне говорите! — крикнула просительница, ближе подступая к графине.— В больницу не принимают с такими болезнями. Я с этою болезнью могу десятки лет пролежать. Я уже три года с нею живу.

— Что ж делать, что делать! — в замешательстве проговорила графиня.— Я буду хлопотать, но бедных так много, так много! Наведайтесь!

— А теперь? — воскликнула просительница.— Куда я пойду теперь? Меня с квартиры сегодня выгнали. Говорят, я сумасшедшая! Говорят, что меня и за деньги держать не станут. У меня есть нечего. Что же, мне на улице околевать? Велите меня хоть в полицию отправить...

— Что вы, что вы, Христос с вами! Христос с вами! Вот вам покуда чай, сахар, на булку.

Графиня быстро протянула просительнице деньги и сверток с чаем и сахаром. Лицо Постовской все исказилось каким-то судорожным выражением горя, иронии и злобы. Она с трудом протянула левую руку, взяла поданный ей сверток и, скомкав его рукою, швырнула в Белокопытову.

— Вот тебе! — сквозь зубы проговорила она и быстро повернулась спиной к окончательно растерявшейся хозяйке дома...

— Господи, прости строптивых и позабывших тебя! Господи, отпусти им грехи их, не знают, что творят! —

перекрестилась Дарья Федоровна, обращая испуганные глаза к висевшему в углу образу.

Жалкая комната начала пустеть. Кряхтя и охая, тащились эти живые мертвецы по черной, неосвещенной лестнице, ощупывая руками перила и стены, чтобы не упасть. Гулко раздавались в затишье звуки, производимые штабс-капитанским костылем и его деревянною ногой; печально шлепали стоптанные башмаки Марьи Дмитриевны, неслышно шебаршили сплетенные из сукна башмаки стурушонки в капоре. На небольшом квадратном дворе, окруженном со всех сторон стенами дома и похожим на мрачный колодезь, было черно, как в могиле. Снег, валивший хлопьями, тотчас же таял и превращался в липкую грязь. Порывистый ветер выл в воздухе.

— Господи владыко, погода-то какая ненастная, как дотащимся! — вздохнула Марья Дмитриевна.— Измучился ты, голубчик Антошенька!

— Что ж, не дотащимся — костям покой будет,— пробормотала старуха в капоре.

— Выпить бы теперь с холоду. Чего-нибудь этакого бальзамного, желудочного! Жаль, компании нет, все дамы,— развязно произнес штабс-капитан, с очень важным видом поднимая воротник своей оборванной шинели.

— Вишь, греховодник, о чем думает! — прошамкала старуха.

— Дьяволы, дьяволы окаянные! Не будет вам ни дна ни покрышки! — вдруг зазвучало над их ушами.

Они обернулись. За ними стояла какая-то высокая женская фигура. Несмотря на темноту Антон сразу узнал в ней молчаливую просительницу, пробудившую в его душе нечто вроде безотчетного страха.

— Отсохни моя нога, если я к вам когда-нибудь через порог переступлю! — продолжала сумасшедшая женщина.— Чай спитой дает, два куска сахару дает! Подавись ими, окаянная, спрячь их для детей и для внучат своих, чтобы они промочили пересохшее горло, когда промотают твои проклятые деньги! Под забором околею, как собака издохну, а к тебе не пойду!

Как-то дико и страшно звучали в воздухе эти проклятия сумасшедшей. Марья Дмитриевна вздрогнула, Антон невольно прижался к ней.

— Не бойся, голубчик, не бойся! — шептала ему мать, боязливо отстраняясь от Постовской.

— Видно, нужды, родимая, не видала! — хладнокровно промолвила старуха.

— Не видала? Я не видала? — резко воскликнула высокая женщина, наклоняясь к самому лицу старушонки.— Дура! дура! я год бьюсь, как рыба об лед, год! Не ходила к ним, не оббивала их порогов. Дураки надоумили, подавала прошение — ничего не получила. Пенсию получаю. Пенсию! Три дня теперь не ела. К ней пришла — спитой чай вынесла, гривенник предлагает! Что мне гривенник! Что мне гривенник! Дура! дура! Что я с ним стану делать? Завтра сыта буду, лишний день проживу? Что мне лишний день? Я ей в рожу его кинула. В воду — вот и конец!

— Полно, мать, что судьбу-то гневить! — проговорила старушонка, безмятежно продолжая беседу с безумною.

— Чем гневлю? Что она мне дала? — с яростью заговорила Постовская.— Детей отняла, мужа отняла, руки параличом разбила... Чем гневлю? Если места нет ни в монастыре, ни в богадельне, ни в остроге, ни у добрых людей — иди в воду!

Женщина грубо раздвинула стоявших на крыльце бедняков.

— Чего ждете? — насмешливо проговорила она.— Дураки, снегу боитесь? Ждите, вот он для вас сейчас остановится!

В ее голосе, в ее фигуре было что-то дикое, что-то бешеное. Она быстро зашагала по двору к воротам. Антона била лихорадка. Марья Дмитриевна глубоко вздыхала и крестилась.

— Совсем помешанная, совсем помешанная! — шептала она как бы про себя.

— Видно, что женщина,— ничего не боится,— произнес штабс-капитан со свойственной ему склонностью к философствованию.— Шутка ли, подаяние благодетельнице в лицо бросила! А все оттого, что над женщинами начальства нет. С них и присяги не требуют. Баба везде сама командирша. Вот и моя благоверная супруга, когда развоюется, бывало...

— Пойдем, Антоша, видно, погоды не переждешь, голубчик,— вздохнула Марья Дмитриевна, не слушая отставного философа.— Извозчика, что ли, прихватим. Далеко тащиться-то, да и поздно уж. Чай, наши-то заждались, все глаза проглядели.

Прилежаевы тихо потащились по грязи со двора бар-

ского дома. Антон был молчалив и испуган: перед ним носилось мертвенно-бледное лицо со сверкающими черными глазами.

Между тем последняя просительница оставила убогую комнату богатого дома; графиня велела горничной взять свечу, на минуту прошла в свою просто убранную и беспорядочно выглядевшую спальню, стала на колени перед киотом с образами и сделала несколько земных поклонов, крестясь широким крестом, занося руку на темя, на оконечности плеч и ниже груди.

— Благодарю тебя, господи! Благодарю тебя, создатель мой. Сподобил, сподобил! — бессвязно бормотала она и, торопливо поднявшись с коленей, поспешила в ярко освещенные комнаты. Там уже поднимались с мест некоторые из гостей.

— Замешкалась... Извините...— отрывисто говорила хозяйка, неуклюже улыбаясь своей похожей на гримасу улыбкой.— Столько бедных, столько голодных... Всех переспросила. Отпустила. Хоть обогрелись немножко в тепле... Вы не забудьте, Марина Осиповна,— обратилась графиня к пухленькой старушке.— Насчет чаю вспомните... Ведь это им такое благодеяние. Вы все говорите, что это неважно. Но вы подумайте, что они какую-нибудь траву грушевую пьют, а тут хороший чай...

— Хорошо, хорошо! — крепко пожала ей руку Гиреева.— Но вы себя не бережете. Вы так бледны, утомлены!

— Ничего, ничего... Он больше нас страдал, больше терпел! — вздохнула хозяйка и с горячею верой и испуганно обратила свои блуждающие глаза к углу, где под самым потолком блестел золотым венчиком едва заметный образ Христа.

Гости начали разъезжаться.

— Старенького, старенького чего-нибудь,— шептала хозяйка, пожимая чью-то руку.— Теперь зима, холод. Это все для них благо! Похлопочите же о детях, о малютках бедной Прилежаевой,— ласково говорила хозяйка, прощаясь с Боголюбовым.— Вас бог наградит в ваших детях.

— Непременно, непременно, ваше сиятельство. Сочту священой обязанностью! — говорил Боголюбов, благоговейно наклоняясь к руке хозяйки.

Гиреева между тем прощалась с Алексеем Дмитриевичем.

— Береги ее. Она так слаба, так изнуряет себя,— шептала ему старуха на прощанье, указывая на его мать.— Ей нужно отдохнуть. На ней лица нет.

— Что ж мы можем? — небрежно пожал он плечами.— Это какая-то мания...

— Что ты, что ты! — с упреком произнесла старая барыня.— Твоя мать святая женщина, святая! Она забыла себя, забыла все ради ближних.

— Всех, ma tante[1], нельзя ни одеть, ни накормить, а себя разорить можно,— раздражительно развел руками Алексей Дмитриевич.

Гиреева с упреком покачала головой и пошла в сопровождении своей молоденькой племянницы, девушки с херувимским личиком, по направлению к парадной лестнице.

— Несчастная, несчастная женщина! — тихо говорила старуха, спускаясь с лестницы.— Ты видела, как она истомлена? Как воск тает, как воск! А сынок, а муж доматывают ее последние деньги и еще смеют говорить, что она их разоряет! И ведь говорила я ей, что Дмитрий негодяй, что ей не замуж нужно было идти, а жить на пользу ближних...

Залы в доме Белокопытовых начинали пустеть; у подъезда слышались крики лакеев, шум отъезжающих экипажей, быстрые звуки голосов:

— Вы завтра в опере?

— Ты едешь на пикник?

— Я заеду за тобой.

Хозяйка дома между тем ходила по комнатам и осматривала свечи.

— Завтра не ставь новых; эти еще могут прогореть,— говорила она лакею.— Ты запер фрукты? Дюшес надо обернуть бумагою.

Лакей хмуро слушал распоряжения и отвечал односложным: «Слушаю-с».

— Попроси ко мне Дмитрия Васильевича,— приказала наконец графиня, сделав необходимые распоряжения.

— Граф уже изволили уехать,— ответил лакей.

— Как уехал? Разве был заложен экипаж?

— Точно так.

— Куда же?

— Не изволили сказывать,— усмехнулся едва заметной нахальной улыбкой лакей.

Графиня растерянно посмотрела куда-то в сторону и тихо проговорила:

[1] тетушка *(фр.)*.

— Ну, так Алексея Дмитриевича попроси...

— Сейчас справлюсь. Они тоже изволили приказывать подавать сани,— ответил лакей.

В эту минуту мимо отворенных дверей мелькнула фигура Алексея Дмитриевича.

— Алексей! — позвала его мать.

— Извините, меня ждут! — послышался ответ сына.

— Ты мне нужен на несколько минут,— проговорила мать, но сын, не слушая ее слов, быстро спустился с лестницы и исчез.

По губам лакея опять скользнула усмешка.

Графиня сделала несколько торопливых шагов по направлению к парадной лестнице, потом вдруг повернулась назад и скороговоркой резко сказала лакею:

— Гаси свечи!

Она торопливо направилась в свою спальню. Ее лицо было более обыкновенного желто и измучено. Она вошла в свою спальню, зажгла восковую свечу, прилепила ее к полу и стала на колени. Ее желтое лицо выглядело болезненно, глаза уже не блуждали теперь, но сосредоточенно смотрели на образа, сверкавшие в углу золотом, бриллиантами и изумрудами. В этих глазах было выражение испуга, недоумения и какой-то напряженной, неразрешимой думы.

— Господи, спаси нас! — шептали ее бледные уста.— Не допусти нас погибнуть!.. Отврати гнев свой!.. Господи, прости забывших тебя!..

Она плакала и била себя в грудь. Казалось, ее мозг испытывал страшнейшую пытку. Измученная и беспомощная, она схватилась за молитвенник, как утопающий за соломинку, и торопливо начала читать подряд все молитвы, чтобы отделаться от мучительных дум и опасений за будущее. Шли минуты, часы, она все еще читала молитвы, делаясь все спокойнее и спокойнее. Ее глаза уже слипались, она уже не стояла, а сидела на коленях, и в ее голове иногда слабо мелькала мысль: «Господи, прости ленивую рабу твою». Наконец восковая свеча затрещала и, на минуту вспыхнув, погасла. Графиня в последний раз распростерлась на полу и потом с большим усилием встала. Она была похожа на выходца из могилы; в ее лике было не одно утомление, но что-то страдальческое.

— Танюша! — едва слышно позвала она горничную.

Никто не откликался.

— Танюша! — еще раз повторила она.

Ответа не было.

Графиня тихо, шатаясь, прошла в соседнюю комнату, там, сидя на стуле, спала горничная.

— Спит! — прошептала графиня.— Спит! Господи, прости их согрешения! Милосердный, прости нас, забывших тебя!

Она тихо вошла обратно в свою спальню и, кое-как раздевшись, сунулась на свою неловкую, одинокую постель. Ее дыханья почти не было слышно; ее тело, худое, изнуренное, слабое тело лежало неловко почти поперек кровати и было неподвижно; в комнате царствовала глубокая тишина; все было в беспорядке, как будто здесь только что умер человек и его ближние еще не узнали об его смерти; только тусклый свет лампады озарял эти разбросанные предметы, озарял постель и это почти бездыханное тело.

IV

КАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ПРИЛЕЖАЕВА

Стоял ясный, морозный зимний день. Под яркими лучами солнца снег сверкал, как серебро. По улицам торопливо сновал народ, неслись экипажи, поднимая снежную пыль. Господа, раскрасневшиеся от мороза, кутались в шубы, шагали быстрее, порою потирали себе носы, щеки и уши. Думы о теплом угле, о веселом огоньке в печке или в камине, о сытном обеде с добрым стаканом вина, вероятно, мелькали не в одной голове, вызывая на лица светлые улыбки. Но плохо приходилось тем, у кого не было ни шуб, ни теплого угла, ни стакана вина, ни сытного обеда — одним словом, ничего, что могло бы согреть и оживить иззябшее тело. Именно в таком положении находилась Катерина Александровна Прилежаева, когда она, усталая и иззябшая, тащилась из своего захолустья на Литейную. Она уже не впервые переходила в последние дни из одного конца города в другой, стучалась или звонила у тех или других незнакомых дверей, получала неутешительные ответы и снова, с поникшею головой, пускалась в путь. Она не обращала внимания ни на погоду, ни на свой наряд, ни на прохожих и шла по улицам, погрузившись в свои тяжелые думы. Ее лицо было серьезно; в нем выражалась упорная сосредоточенность мысли, энергическая настойчивость. Казалось, девушка,

наперекор судьбе, наперекор всем неудачам, решилась исполнить какой-то план и добиться победы или пасть окончательно в непосильном бою. Она, по-видимому, забыла и голод и холод и шла от одного дома к другому, из одной улицы в другую, не зная, где и когда кончатся ее скитания. Иногда ее можно было принять за помешанную, когда она, спускаясь с лестницы какого-нибудь дома, вынимала из кармана смятую бумажку, исписанную мелким, но твердым почерком, и вслух бормотала:

— Теперь ближе будет пройти на Знаменскую, потом пройду на Загородный проспект.

Прохожие не без удивления поглядывали на эту плохо одетую молодую личность, так громко разговаривающую с самою собой. Еще более удивлялись некоторые из них, когда девушка, подняв глаза от исписанного лоскутка бумажки, спрашивала первого встречного, где находится та или другая улица. Она предлагала эти вопросы таким тоном, как будто говорила не с незнакомыми людьми, а с самою собой, со своей изменившей памятью. Но какими бы удивленными глазами ни смотрели на нее прохожие, ей не было до этого никакого дела. В последнее время она столько пережила, столько передумала, так твердо решилась действовать по-своему, что никакие посторонние ее целям явления, никакие мелкие столкновения с людьми не могли ни развлечь, ни смутить ее.

Со смертью ее отца, как мы говорили, должна была прекратиться та жизнь в стороне от остального света, которой жила семья Прилежаевых до сих пор. Все взрослые члены семьи почувствовали, что надо как-нибудь иначе устроить свое существование и позаботиться о будущем. Уже в течение нескольких недель с утра и иногда до позднего вечера ходила Марья Дмитриевна со своим неизменным спутником Антоном по разным присутственным местам, прося о пенсии, о вспомоществовании, обивая пороги домов разных благотворительных и влиятельных лиц. Тяжелые впечатления ложились в эти дни камнем на душу Антона. Маленький дикарь, не видавший ничего, кроме своего родного захолустья, вдруг очутился в шумных улицах, среди торопливо снующих людей, среди гремящих экипажей. Он, как совершенно верно заметила его мать, стыдливо и дико смотревший на предлагаемый ему посторонним человеком пряник, вдруг увидал, что его мать плачет, кланяется в ноги каким-то незнакомым людям, выпрашивая помощь, что эти люди или грубо отно-

сятся к ней или сострадательно дают ей гривенники, лохмотья старой одежды, спитой чай, что в числе этих черствых, упрекающих за что-то его мать, грубых людей, есть его близкие родные, живущие счастливо и богато; что, наконец, один из этих родных, мальчик лет двенадцати, стройный, красивый, цветущий, протянул ему, Антону, свою руку, назвал его братом, дал ему денег. Антон не понимал ни ненависти этих людей, ни внезапно пробудившейся любви этого мальчика. Он одинаково дико смотрел и на брань этих людей, и на ласки этого барчонка.

С недоумением, иногда с откровенной детской злобой, порой с задушевными, горькими слезами передавал Антон в почном затишье свои впечатления любимой сестре, и у нее сжималось сердце, ныла грудь. Катерина Александровна с давних пор привыкла жить жизнью своего брата, радоваться его радостями, печалиться его печалями. Он был с самой колыбели единственной отрадой Катерины Александровны. Она долго росла одиноко в своей семье, когда наконец родился Антон; он был живой игрушкой, вечным собеседником маленькой Кати; через год после его рождения она поступила в одну из «патриотических» школ; но и там, среди чужих людей, среди ученья, среди шитья, ее мысли постоянно неслись к маленькому дорогому существу. Зато какой радостью, какой любовью светились синие глазенки мальчика, когда вечером накануне праздников в подвале появлялась Катя! На своем детском языке, едва начав лепетать, оп уже передавал любимой сестре все свои мелкие радости и крупные огорчения. Каким восторгом исполнилось все его маленькое существо, когда Катя после пятилетнего пребывания в школе совсем возвратилась домой! Она научилась немногому в школе — там учили шить, читать, писать, считать и петь. Кое-какие отрывки из географии и истории запали в голову молодой девушки, кое-какие понятия о литературе мельком дошли до нее. Но малютке брату казалось, что сестра его удивительно умная, удивительно ученая. И как же было не думать этого ребенку, когда сестра его умела петь такие чудесные песни, когда она рассказывала, что на свете есть теплые, теплые земли, где живут нерусские люди, ходящие без одежды, живущие без домов, не знающие ни голоду, ни холоду, поющие песни и пляшущие около зажженных костров, когда она наизусть читала брату: «Птичка божия не знает ни заботы, ни труда, хлопотливо не свивает долговечного гнезда» или: «Вчера я растворил

темницу воздушной пленницы моей, я рощам возвратил певицу; я возвратил свободу ей». И многое, многое еще знала Катя и про цыган, весело кочующих где-то шумною толпой, водящих с песнями медведя, живущих не в городе, не в подвалах, а среди широких, широких полей, и про медного всадника, выстроившего Петербург на берегу пустынных волн, где прежде был приют убогого чухонца. Антон вполне был уверен, что Катя знает и еще более, но только не говорит всего, и, может быть, он был прав; может быть, Катя действительно знала гораздо более того, что она рассказывала брату о Татьяне Пушкина, о Тамаре Лермонтова и других героинях прошлого.

Брат и сестра жили душа в душу, и потому глубокой болью отзывались теперь в сердце Кати все тяжелые впечатления, вынесенные Антоном из его первых столкновений с обществом. Она чуть не плакала, когда Антон рассказывал ей о своей встрече с двоюродным братом.

— Я стою ни жив ни мертв после того, как сам-то накричал, и не вижу, что он ко мне подъезжает,— передавал Антон детски-бессвязно события этой встречи.— Козлом подошел да и дергает меня за рукав, гляжу: он денег мне сует в руку. А я не нищий. Мне деньги на что? В школу куда-нибудь упекут... Ты, говорит, мне брат. А какой же я ему брат? Я его и не знаю. Разве такие братья-то бывают? На нем сюртук новый, а на мне вон кофта твоя была! Пальта-то тогда еще не было...

Катерина Александровна чувствовала, что нужно спасти брата, сделать его умным и богатым. «Неужели так ему и погибать, как отец погибал? — думалось ей.— Ведь живут же другие и весело и счастливо. Неужели он хуже всех? И за что он муку эту терпеть всю жизнь будет? Уж если гибнуть, так гибнуть сразу! И отчего это не всем одинаковое несчастье? За грехи родителей, что ли, детей бог наказывает? Да разве он станет невинных за виновных наказывать? Или это для испытания нашего посылается, для спасения души? Да ведь и те, которые счастливы, не все же будут мучиться в той жизни; ведь и они будут там блаженствовать: их грехи панихидами отмолят. За что же одни должны мучиться здесь, чтобы блаженствовать там, а другие блаженствуют и здесь и там? Разве богу не все равны люди? Да что я об этом думаю! Надо подумать, как спасти его, как его счастливым сделать. Будет он счастлив — он и Мишу, и Дашу, и мать не оставит. Бедные они, слабенькие; сил у них нет!..» И Кате-

рина Александровна строила планы, рассчитывала, соображала. Во всех ее думах на первом плане стоял брат, стояло его счастие. Казалось, что этим счастьем обусловливается все ее существование, что без брата, без мысли о необходимости спасти его она и не задумалась бы ни на минуту о себе самой и разом покончила бы свои собственные муки, нашла бы исход. По-видимому, это было самоотречение, но это было только по-видимому: Катерина Александровна очень хорошо знала себя, знала, что она не успокоится ни в каком хорошем положении, покуда она не будет знать, что ее мать, ее сестра, ее братья точно также успокоились, как и она. Она помнила, как, бывало, в школе за каждым обедом, за каждым куском хлеба ее мучила мысль о том, что, может быть, у ее семьи в эту минуту нет еды, что, может быть, мать и Антон плачут и не знают, что делать. Теперь, привязавшись к семье еще более, она, вероятно, еще сильнее чувствовала бы несчастия этой семьи даже при самых счастливых условиях своей собственной жизни. Для помощи семье, то есть для успокоения себя, она не находила другого средства как спасение брата: «поднимется он на ноги, всем будет хорошо; вдвоем мы сумеем зашибить грош».

Катерина Александровна шла к своей цели без особенной боязни. В ней уже с детских лет развилась энергия и уменье властвовать над людьми, по крайней мере, над теми, которые до сих пор окружали ее. Она не помнила того времени, когда она не была бы старшей в доме. Уже семилетним ребенком она умела утешать слабую, забитую Марью Дмитриевну и не падала духом. Конечно, это была детская храбрость: каждый, наблюдавший детскую жизнь, знает, что дети первые смельчаки: они без страха идут по тонкой льдине, когда мы чуть не падаем в обморок за них; они отважно снуют между экипажами около самых ног лошадей, когда мы не смеем двинуться через улицу; они не сторонятся и отмахиваются при встрече с бешеною собакой, когда мы бежим без памяти от страшного зверя. Непонимание всего ужаса предстоящей опасности нередко делает человека храбрым, тогда как пуганая ворона и куста боится. Эта самая храбрость дала сначала маленькой Кате возможность утешать слабую мать в каждом горе. Эта же храбрость научила Катю обегать все окрестные лавки во время безденежья с просьбой отпустить хлеба в долг, и, когда беготня и хлопоты увенчивались успехом, девочка говорила матери:

— Ну что? Вот видишь: я хлеба-то достала. А ты все сидишь да плачешь. Хлеб-то не придет сам.

Говоря это, Катя уже начинала смутно сознавать, что действительно хлеб не придет сам, что, сидя на месте, сытым не будешь. Мало-помалу ее детская храбрость начинала закаляться еще более и делаться сознательной смелостью в столкновениях с пьяным отцом. Марья Дмитриевна встречала пьяного мужа слезами, слабыми упреками и жалкими словами. Это только еще более сердило его и вызывало брань.

— Покою нет! В своей семье покою нет! — кричал он пьяным голосом.

— А ты ее не слушай. Ты спать ложись! Ишь глаза-то слипаются. Умаялся! — говорила Катя, смело таща отца за рукав от плачущей матери.— Я тебе постель приготовила.

— Дочь, только одна дочь понимает Александра Прилежаева! — театральным тоном произносил пьяный отец, сваливаясь на постель.

Только на одну Катю не наводили страха сцены белой горячки, когда отец искал повсюду чертей. Она привыкла к этим сценам и очень хладнокровно поддакивала отцу и делала вид, что ловит мнимых демонов, стараясь в то же время поскорее уложить его спать. В семье давно уже никто не помнил, чтобы Катерина Александровна когда-нибудь плакала. В самые тяжелые минуты она только нахмуривала брови, сжимала губы и делалась грубой, если кто-нибудь тревожил ее расспросами и нарушал ее молчаливое раздумье. Действительно в эти минуты она предавалась раздумью, как помочь горю. «Мать уже сама ничего не придумает: все мысли-то слезами зальет»,— постоянно думала в эти минуты Катерина Александровна. Нередко ей удавалось что-нибудь придумать для устранения той или другой беды, и тогда она торжествовала, делалась веселой, шутливо говорила матери: «Много ли выплакала?»

— Уж что про тебя и говорить: ты у нас умная,— ласково говорила мать.— Ты не то что я! Меня ветер с ног свалит. Обдумать я ничего не могу. Жизнь-то тяжелая мысли все повышибла.

Мать и дочь нежно, горячо любили друг друга. Мать во всем безусловно подчинялась дочери; дочь употребляла всю свою власть на то, чтобы успокоить мать, и относилась к матери как-то покровительственно, как к боль-

шому ребенку. Семья жила бы совершенно мирно, если бы в нее не вносились бури главой дома. Но этот человек не только вносил в дом бурные сцены, но и начинал мешать разным планам Катерины Александровны. Она в последний год начала подумывать о поступлении на место, но как оставить братьев и сестру на руках слабой матери и буйного отца? Она очень ясно сознавала, что только ее энергией держится порядок в доме, что отец, поддававшийся прежде ее детским увещаниям, теперь просто боится ее и утихает при ней; что мать только вследствие ее выразительных взглядов и жестов не вступает в прения с пьяным мужем и не раздражает его еще более; что, наконец, Антон может учиться грамоте только при ней, так как отец не станет с ним заниматься,— в школу его не на что отдать, а мать безграмотна. Катерина Александровна начала делаться угрюмее и раздражительнее, она реже смеялась и шутила с матерью. В ее уме впервые зароились вопросы, которых она совершенно не могла осилить и которых она боялась, как чего-то преступного, чего-то бесчеловечного. Действительно эти думы были такого рода, что могли испугать хоть кого. Дочь думала о том, что у нее, у ее семьи лежит поперек дороги один человек, что при его жизни невозможно семье выбиться из нужды, что для счастия семьи он должен умереть. Но этот человек был ее отец. Эти думы были тем страшнее для Катерины Александровны, что она понимала отца лучше, чем кто-нибудь из знавших его. Она знала, как он страдал, почему он пил. Она слышала не раз и его исповеди, когда он бывал под хмельком; она видела и его слезы, когда ему приходилось слишком тяжело жить на свете. В эти минуты он трогал ее до глубины души, казался ей достойным слез и теплого участия. И все-таки она сознавала теперь, что он загородил дорогу своей семье, что только его смерть развяжет руки ей. Иногда в ее голове вдруг рождался мучительный вопрос: «Когда же это кончится?» Она бледнела и хваталась за голову, понимая, что ее вопрос переводится простыми, но тем не менее страшными словами: «Когда же умрет мой отец?» В ее обращении с отцом стала проявляться какая-то нервная неровность: она то была очень ласкова с отцом, то делалась с ним очень резкою, грубою. Однажды он особенно сильно бушевал в доме в припадке белой горячки и потом пропал из дома на два дня. Измученная вознею с ним, Катерина Александровна не вытерпела и заметила матери:

— Хоть бы уж умер он, руки бы развязал!

Марья Дмитриевна взволновалась.

— Что ты, что ты, Катя! — в испуге проговорила она.— Да как тебе не грех говорить-то это! Шутка ли, отцу смерти желаешь! Грех тебе, грех!

— А их губить не грех? Их век заедать не грех? — воскликнула Катерина Александровна, указывая на детей.— Что он из них сделает? Пьяниц, воров, мошенников, каторжников! Их в ученье на казенный счет при живом отце не примут. Они неучами вырастут, а если и выучатся чему, так разве только грамоте. Куда они с нею пойдут? Лакеями, что ли, будут служить? Да кто в лакеи-то возьмет детей чиновника? А пример-то здесь какой...

— Полно, Катя! — тихо заговорила Марья Дмитриевна.— Ты бы его-то пожалела. Ведь ты посмотри на него. На нем самом лица нет, остов один остался. Разве он от радости пьет? разве он в жизни-то хоть денек счастливый видел?

Катерина Александровна бросила на мать мучительный взгляд; у нее сжалось сердце: она ясно видела, что мать ее не понимает.

— Да разве я его не люблю? Разве я его не жалею? — воскликнула она страстным голосом и стиснула свои руки.— Поймите вы, что я люблю и жалею его больше, чем вы. Вы вон укоряете его, вы плачете при нем, а у меня за него сердце исходит кровью! Я готова у ног его на коленях ползать, чтобы он пить перестал; я жизнь, жизнь свою готова отдать, чтобы он счастлив был. А вы говорите, что я его не жалею!

Катерина Александровна как-то безнадежно махнула рукой, облокотилась на стол и сжала свою голову. Она не плакала, но была близка к обмороку. Впервые поняла она, что может наступить и такая минута, когда она и мать окончательно перестанут понимать друг друга и пойдут, может быть, в разные стороны в своих стремлениях, или, вернее сказать, мать останется на месте и будет мешать дочери привести в исполнение планы насчет будущности детей. Катерина Александровна уже давно решилась в случае необходимости просто вырвать детей у отца, теперь же ей начало казаться, что на сторону отца при подобной мере встанет и мать и не отпустит детей. Молодой девушке становилось невыносимо тяжело; она уже отчаивалась в счастливом исходе их семейной жизни, ко-

гда судьба разом и совершенно неожиданно разрубила гордиев узел. Катерина Александровна горячо принялась за дело.

Подобно матери и брату она успела в эти дни исколесить весь город. Она искала себе места швеи, горничной, няни. Но прежде чем отправиться в поиски случайных мест у частных лиц, она решилась обратиться с просьбой о казенном месте к одной влиятельной особе, посещавшей в качестве попечительницы ту школу, где воспитывалась Катерина Александровна. Эта особа оставила в Катерине Александровне самые отрадные воспоминания. Девушка отчетливо помнила эту низенькую, пухленькую старушку с седыми, гладко причесанными волосами, с добродушно улыбавшимся лицом, покрытым старческим румянцем; она помнила эту мягкую руку, гладившую ее по голове, и этот приветливый, кроткий голос, лишенный крикливых или сиплых нот, спрашивавший у девочки:

— Ну что, черненькие глазки, хорошо ли идет работа?

Черненькие глазки теперь смотрели с надеждой, когда Катерина Александровна подходила к старинному барскому дому княгини Марьи Осиповны Гиреевой. Пухленькая старушка была именно эта уже отчасти знакомая нам особа.

V

ЛИЦОМ К ЛИЦУ С БЛИЖНИМИ

Катерина Александровна отворила тяжелую дверь парадного подъезда и очутилась в обширных сенях перед широкой лестницей. Около одного из окон, бывших по обе стороны дверей, у ясеневого стола сидел с газетой в руках высокий худощавый старик в долгополом черном сюртуке и белом галстуке. Услышав шум отворившихся дверей, он неторопливо повернул голову, приподнял брови и через очки посмотрел на посетительницу.

— Куда? — лаконически спросил он.

— Могу ли я видеть княгиню? — произнесла Прилежаева.

— А вам зачем? — снова спросил старик.

— Я воспитывалась в школе под ведением княгини и ищу места,— проговорила в замешательстве Катерина Александровна, на которую пристально смотрел через очки старик.

Спокойно выслушав ее ответ, он неторопливо отложил

газету на стол, сдвинул очки на лоб и поднялся с места. Глядя на него, можно было подумать, что у этого человека четыре глаза, так как его настоящие глаза были от старости почти такими же бесцветными, как его очки, блестевшие на темном лбу.

— Вот что я вам скажу, моя милая,— наставительно начал старик, подходя к Катерине Александровне и положив ей на плечо свою костлявую руку.— Если вы хотите через ее сиятельство княгиню Марину Осиповну достать место, то напишите вы... Писать-то умеете?

— Умею.

— Ну да,— успокоился старик, разрешив возникшее в его голове сомнение.— Так возьмите вы, сударыня моя, напишите просьбу и пришлите ее по городской почте или сами передайте ее в домовую контору, дворецкому нашему, Константину Ивановичу Воронову. Потом, когда он примет это самое ваше прошение, вы спросите его, когда он велит прийти за справкой. Ее сиятельство княгиня Марина Осиповна ангел, а не женщина, она все сделает, что возможно, коли просьба попадет к ней в руки...

— Я знаю, что она добрая, но...

— Вы знаете! — усмехнулся старик добродушно-насмешливой улыбкой и неторопливо вынул табакерку.— Весь город это знает! — внушительно произнес он, пощелкивая пальцем по табакерке.— Да, весь город!

— Но это так долго придется ждать ответа. Мне бы хотелось лично видеть княгиню,— промолвила Катерина Александровна.

— Мало ли бы чего! — покачал головою старик, поднося к носу открытую табакерку и нюхая табак так, как, вероятно, нюхал его в старые годы сам покойный князь Гиреев.— Если бы ее сиятельству княгине Марине Осиповне принимать всех лично, то у нее и времени бы свободного не осталось, да и здоровья-то не хватило бы. Тоже ведь всякий народ с просьбами ходит, иной совсем без пути идет, беспокоит ее сиятельство княгиню Марину Осиповну. Где же бы ей самой со всеми объясняться? Константин Иванович наш уж на что здоровый мужик, а и он иногда из сил выбьется с этими просителями. Ведь иногда просто умопомрачение о чем люди просят; недавно одна барыня приходила просить ее сиятельство княгиню Марину Осиповну о разводе. Да разве ее сиятельство княгиня Марина Осиповна митрополит? Вы только то рассудите...

Катерина Александровна поняла, что старик никогда не кончит своих рассказов, и потому поспешила поблагодарить его и уйти. Но отделаться от скучавшего в одиночестве швейцара было не так легко: он снова начал объяснять ей, как написать просьбу, куда подать и когда прийти за справкой. Вырвавшись из общества добродушного телохранителя княгини Гиреевой, Катерина Александровна пошла домой, написала просьбу и на следующий день снова отправилась в дом Марины Осиповны, в домовую контору.

Домовая контора помещалась на дворе гиреевского дома при квартире Константина Ивановича Воронова, бывшего дворового княгини, испробовавшего на своей спине не одну сотню ударов розгами, служившего казачком, лакеем, камердинером и потом получившего звание дворецкого и вольную. Увидав на дверях одного из надворных подъездов надпись на медной доске, гласившую, что тут находится контора, Катерина Александровна переступила порог этих дверей, поднялась по лестнице во второй этаж, где снова увидала медную доску с той же надписью, и вошла в двери. Перед нею была просторная комната, заставленная шкапами и столами. На столах и в шкапах были кипы деловых бумаг; в углу комнаты стояло множество пробных голов сахару, присланных с заводов княгини. Прежде чем успела оглядеться Катерина Александровна, из-за груды бумаг, лежавших на одном из столов, послышался грубый вопрос.

— Куда вы?

— Я просьбу к княгине,— начала Катерина Александровна.

— Чего ж таскаетесь в контору? — еще более грубо перебил ее сердитый голос.— Не знаете разве, что в моей квартире принимают просьбы. Ступайте. Напротив дверь.

Катерину Александровну немного смутил этот прием. Она вышла из конторы и вошла в другую дверь, на которой была медная доска с надписью: Константин Иванович Воронов. Квартира начиналась темной передней, из которой вела дверь в небольшую гостиную, убранную старомодной мебелью, литографированными картинами и портретами князей Гиреевых; картины и портреты были обделаны в темные гладкие рамы из красного дерева с потемневшими бронзовыми звездами на углах. Здесь Катерина Александровна встретила множество народу, сидевшего в ожидании Воронова. Большая часть из этих лич-

ностей были старики и старухи в поношенных одеждах, с сонными лицами, не выражавшими ничего, кроме тупого привычного терпения. Катерина Александровна обвела глазами присутствующих; она не думала встретить здесь кого-нибудь, кто был бы хоть сколько-нибудь знаком ей; но ей нужно было отыскать свободное место, что было не очень легко сделать, так как при ее близорукости ей казалось, что в комнате нет ни одного свободного стула. Прежде чем она успела оглядеть всю комнату, из противоположного угла послышался чей-то любезный и предупредительный бас:

— Вам, сударыня, место нужно? Не угодно ли воспользоваться, здесь есть пустой стул и местоположение приятное — у окна.

— Благодарю,— промолвила молодая Прилежаева и направилась к окну.

— Теперь единственная роза поместится подле цветов,— любезно произнес тот же бас и, в восторге от своей галантерейной фразы, притопнул ногою.

Этот звук был настолько резок, что Катерина Александровна взглянула на пол и увидала деревянную ногу своего любезного соседа. Она невольно улыбнулась и взглянула на его лицо: синевато-багровый нос с черными крапинками разогнал ее последние сомнения насчет соседа, она узнала в нем штабс-капитана, о котором с таким смехом рассказывал ей брат.

— Простите невольное любопытство отставному служаке,— развязно начал штабс-капитан Прохоров.— Какая случайность, какие превратности судьбы могли занести вас, прекрасная роза, в воронье гнездо?

— В воронье гнездо? — удивилась Катерина Александровна.

Штабс-капитан лукаво усмехнулся.

— Я хотел сказать: в гнездо Воронова,— любезно произнес он более ясную остроту.

Катерина Александровна снова улыбнулась.

— Я пришла просить княгиню о месте.

— О месте? Вы пришли просить о месте в каком-нибудь приюте, за каким-нибудь черным столом классной комнаты! Несправедливость фортуны, гонения рока! — горячо возразил штабс-капитан.— Знаете ли вы, сударыня, что если бы фортуна была справедлива, если бы у нее не было повязки на глазах, то не вам бы пришлось просить о месте, а люди должны бы были прийти к вам и на

коленях просить вас осчастливить их и занять подобающее вам место. Это место — простите солдатскую откровенность старого инвалида — это место под венцом подле какого-нибудь из первых вельмож и первых красавцев империи!

Штабс-капитан окончательно воодушевился и стучал и деревянной ногой и костылем. Катерина Александровна была отчасти рада его болтовне, так как эта болтовня успела несколько разогнать скверное впечатление, произведенное на девушку приемом Воронова.

Штабс-капитан еще продолжал ораторствовать, когда в комнату быстро вбежал приземистый, коренастый старик с обстриженными под гребенку седыми волосами и с рысьими, перебегавшими с предмета на предмет глазами, сверкавшими очень недружелюбно из-под густых бровей.

— Эк вас натащилось! Продохнуть нельзя! — проговорил он грубым голосом, в котором Катерина Александровна тотчас узнала голос, слышанный ею в конторе.

Она встревожилась. Это не ускользнуло от внимания штабс-капитана, и он, ловко наклонясь к ее уху, любезно шепнул ей:

— Воронье карканье не всегда перед дождем.

В голове молодой девушки при этой штуке промелькнула мысль о том, что и в самом деле не съест же ее Воронов, и она улыбнулась, очень ласково взглянув на отставного философа.

Воронов между тем отбирал просьбы и ругался с просителями, из которых, впрочем, большая часть вовсе не имела никаких просьб и пришла за получением пенсий, выдававшихся ежемесячно княгиней и задерживавшихся Вороновым иногда на десять, иногда на пятнадцать дней, порою же на целые месяцы и даже совсем: он отдавал деньги в рост, и потому эти пенсии нужны были ему для оборотов. Накричавшись вдоволь на разных стариков и старух, Константин Иванович подошел к штабс-капитану.

— А вы, ваше высокоблагородие, опять здесь,— прошипел он ироническим тоном, которым старался прикрыть кипевшую в нем злобу.— Зачем изволили пожаловать?

— Все за тем же, все за тем же, почтеннейший,— развязно произнес философ, не поднимаясь с места перед Вороновым и закинув конец деревяшки на сапог своей единственной ноги.— За деньгами.

— Да давно ли вы получили пенсию?

— Недавно, недавно, ровно месяц тому назад,— шутливо произнес штабс-капитан.

— Помилуйте, вы, кажется, недели две тому назад были.

— Ах вы, шутник, шутник! — проговорил штабс-капитан.— Ведь у меня книжка, почтеннейший, книжка. Мне нельзя из году одиннадцать месяцев сделать.

Штабс-капитан неторопливо вынул из кармана своего потертого сюртука засаленную книжку, передал ее Воронову, подбоченился и насмешливо уставил свои глаза на дворецкого.

— Читать умеете, почтеннейший, значит, видите,— промолвил он.

— Забыл, забыл! Тут память потеряешь, как с утра до вечера с вами возишься,— проговорил сквозь зубы Воронов и пошел к столу вписывать в книжку число, когда выдана пенсия. Воронов не кричал на штабс-капитана и, по-видимому, немного побаивался его.

— Что ж поменяемся местами, почтеннейший,— промолвил штабс-капитан.— Я, пожалуй, не рассержусь.

Воронов ничего не ответил на это предложение и молча передал штабс-капитану книжку и три рубля. Штабс-капитан развернул книгу и, защурив левый глаз, стал рассматривать правым, что записано в книжке.

— Ну, а как делишки? — промолвил он, засовывая книжку в карман.— Детишкам на молочишко в нынешний месяц осталось?

Воронов молча бросил на него свирепый взгляд и обратился к Катерине Александровне.

— Под Варной, батюшка, были! — проговорил штабс-капитан, спокойно встретив молниеносный взгляд Воронова.

— Что вам? — спросил Константин Иванович у Катерины Александровны.

Она объяснила и подала просьбу.

— Придите через месяц,— сухо ответил он.

— Через месяц! — воскликнула Катерина Александровна.

— Ну да. Глухи вы, что ли? — грубо проговорил Воронов.

— Нельзя ли пораньше...

— Что вы думаете, что у княгини только и заботы что о вас...

— Но место мне необходимо теперь. Нельзя ли...

— Да вы уж не думаете ли, что княгиня так сейчас и даст вам место? Места-то у нее не в кармане сидят,— проговорил Воронов и повернулся спиною к Катерине Александровне.

— Да вы-с, сударыня, у него толку не добьетесь,— спокойно проговорил штабс-капитан.— Он в военной службе не бывал и не знает, что значит военные действия. У него все через месяц. А вы лучше обратитесь к графине Белокопытовой и через нее добейтесь аудиенции у княгини.

Катерина Александровна взглянула на штабс-капитана и совершенно не понимала, для чего он так усиленно моргает ей глазами и кивает головой на Воронова.

— Вы можете обжаловать решение почтеннейшего Константина Ивановича,— продолжал штабс-капитан, поднимаясь с места.— А теперь пойдемте, нам по пути.

— Эй! как вас,— крикнул Воронов, обращаясь к Катерине Александровне.— Если вы непременно хотите скорее знать решение княгини, то заходите через неделю.

— Охота вам, почтеннейший, так беспокоить себя,— добродушно заметил штабс-капитан.

— Вы, ваше высокоблагородие, шли бы своею дорогой и не вмешивались бы в чужие дела,— прошипел Воронов.

— И, батюшка, с той поры, как мы поганых турок колотили, в привычку вошло в чужие дела мешаться,— ответил штабс-капитан.— Честь имею кланяться.

Спустившись с лестницы, Катерина Александровна с искренней благодарностью пожала шершавую руку штабс-капитана. Он ловко приподнял фуражку и сделал какое-то движение деревяшкой, как будто желая расшаркаться перед своею собеседницей.

— Главное: не унывать! — произнес он.— Ведь это хамы и трусы. У нас кто кого перекричал, тот и прав; это, знаете, с позволения сказать, как у шулеров: кто кого в игре пересмотрел, тот и выиграл. Вам куда? осмелюсь спросить.

— Далеко. На Пряжку,— ответила Катерина Александровна.

— А! у меня там есть одни короткие знакомые,— промолвил штабс-капитан.— Вдовушка одна, такая славная бабенка, с сынишкой живет. Надо будет как-нибудь на днях завернуть к ним.

Катерина Александровна промолчала, не находя ни-

чего странного в том, что у штабс-капитана есть знакомая вдовушка, живущая со своим сыном на Пряжке; но каково же было ее изумление, когда штабс-капитан начал ей рассказывать историю вдовушки, оказавшуюся ни более ни менее, как историею матери самой Катерины Александровны.

— Да это значит, вы говорите про мою мать,— улыбнулась Катерина Александровна, выслушав историю своей семьи, сильно разукрашенную пылким воображением философа.

— Неужели? Очень рад, очень рад познакомиться! — промолвил воин, нисколько не смущаясь, что он назвался коротким знакомым матери своей собеседницы.

Сказав еще несколько любезных фраз и спросив подробный адрес Прилежаевых, штабс-капитан расстался с Катериной Александровной на углу Невского проспекта. Он жил за Невским монастырем, так как там, около Невы, как он говорил, и воздух лучше и все-таки есть в некотором роде природа.

Возвращаясь домой и раздумывая о том, что ей пришлось видеть в это утро, молодая девушка не могла не сознаться, что случайная встреча с штабс-капитаном не только рассеяла в ней тяжелое впечатление, произведенное Вороновым, но и помогла ей в том отношении, что Воронов месячный срок ожидания сменил на семидневный. Молодую девушку даже заинтересовал этот беспечный инвалид, этот философствующий нищий, и она не могла понять, почему она сразу, подобно своему брату, почувствовала к нему симпатию, тогда как она вообще не любила нищих и считала последним делом протягивание руки. В ней была не только простая нелюбовь к попрошайству, но она чувствовала, что она сама скорее согласилась бы украсть, чем попросить Христа ради. Ей было тяжело и горько, что ее мать должна была кланяться дяде, что ее мать приняла спитой чай от графини. Но, несмотря на все это, она все-таки не могла смотреть на штабс-капитана так, как она смотрела на старуху, живущую у них в кухне. Почему? Этого она не могла объяснить себе.

Прошла неделя. Катерина Александровна снова отправилась в домовую контору княгини Гиреевой. Прождав час в приемной комнате Воронова, молодая девушка наконец удостоилась свидания с дворецким. Он подошел к ней и объявил, что нужно подождать еще неделю. Кон-

стантин Иванович действовал в этом случае по своему обыкновению: он решился пригласить просительницу явиться к нему через неделю, чтобы потом снова сделать то же предложение и продолжать подобный образ действий до тех пор, пока просительница не устанет ходить к нему или не предложит ему вознаграждение за его хлопоты. Вознаграждения обыкновенно принимались им через жену, которая с участием расспрашивала просителей об их участи. Катерина Александровна увидала, что из ее хождений к дворецкому княгини выйдет очень мало толку и решилась наведаться к нему еще раз, а покуда похлопотать снова о частном месте. У нее были захвачены с собою адресы тех лиц, которые требовали через газеты прислугу, и она отправилась на поиски. Она уже не в первый раз решалась на подобные поиски и выносила из них очень безотрадные впечатления. Но несмотря на это она все-таки надеялась чего-нибудь добиться. Отыскав дом, означенный в одной из публикаций, Прилежаева позвонила у дверей, на которых красовалась визитная карточка с надписью: Николай Егорович Шершнев. Перед нею не скоро отворилась дверь.

— Могу ли видеть госпожу Шершневу?— спросила Катерина Александровна у растрепанной толстой служанки, отворившей дверь.

— Вы, верно, место ищете? — спросила служанка.

— Да.

— Ну, идите вон прямо: барыня у себя в спальной.

— Как же так? Вы лучше доложите,— нерешительно промолвила Прилежаева.

— Чего докладывать! У нас нешто как у людей? У нас без докладу прет всякий сброд,— небрежно ответила служанка, по-видимому, очень мало уважавшая своих господ.

Катерина Александровна сняла салоп и тихо пошла по указанию служанки. Перед нею была отворенная дверь в спальню Шершневой. Эта комната была отделана светлыми обоями и обставлена мебелью, обтянутой розовым лощеным коленкором, покрытым вязаными кружевами. На окнах стояли цветы, когда-то очень дорогие, но теперь сильно повысохшие. Между цветами распевала канарейка в роскошной, но запачканной клетке. Чем-то крайне молодым веяло от этой спальни; казалось, она была отделана для новобрачных. Но в то же время в этой мило отделанной комнате царствовал невообрази-

мый хаос: на украшенной кружевом и кисеею кровати лежали крошечные, затейливо отделанные ботинки и спала болонка; на мягком розовом кресле, походившем на раковину, лежало светло-зеленое шелковое платье, на полу валялись две игрушки, на одной из свечей висела легкая наколка из блонд и цветов; на розовом диване лежали черные панталоны и фрак. Казалось, что эта комната только что оставлена проснувшимися после бала хозяевами и ожидает, когда ее приберет не очень рачительная прислуга. Но было уже около второго часа и потому этот беспорядок еще сильнее бросался в глаза и заставлял думать, что хозяйка дома встает очень поздно. Катерина Александровна еще с порога заметила хозяйку этой квартиры. Шершнева была очень молода, почти походила на девочку; она сидела у большого туалетного зеркала, украшенного кисеей. Перед нею на столе были разбросаны браслеты и стояла открытая коробка с конфектами. Молодая женщина сидела в легкой блузе, закрыв платком глаза. Она, по-видимому, плакала. Смущенная Катерина Александровна хотела было уйти, когда Шершнева быстро отерла глаза, бросила в сторону батистовый платок, топнула с детскою досадой ножкой и засмеялась, взглянув на себя в зеркало. Она, как будто разговаривая со своим отражением, сделала такую детски-капризную, смешную гримасу, что Катерина Александровна не могла удержаться от улыбки. Шершнева только в эту минуту увидала в зеркало, что она не одна в своей спальне. Взяв из коробки конфекту и положив ее в рот, она обернулась к посетительнице и вопросительно посмотрела на нее.

— Вы публиковали о горничной,— начала Катерина Александровна.

— Ха, ха, ха! — захохотала детским задушевным смехом Шершнева.— Это все Nicolas напутал. Публикует: нужна горничная, а нам нужна няня. Ха, ха, ха! Как он еще не написал, что нам гувернантку нужно или компаньонку.

Катерина Александровна совсем растерялась от этого шаловливого смеха.

— Но я могу занять и место няни,— начала она через минуту.

— Вы? Дитя? Вас самих еще нужно нянчить, милочка! — весело и добродушно улыбнулась Шершнева, желая в то же время принять вид серьезной женщины, а не шаловливой институтки, три с половиной года тому назад

вставшей со школьной скамьи для того, чтобы отправиться под венец.

— Я не так молода, как вы думаете,— промолвила Катерина Александровна.

— Может быть, может быть! Только в ня-ни я вас не возь-му,— протяжно произнесла Шершнева, качая головой.

— Я привыкла к уходу за детьми. В моей семье у меня было трое детей на руках.

— Не-ет, такую хорошенькую нельзя в няни взять,— задумчиво продолжала Шершнева.

— Кто станет смотреть на мое лицо!

— Ах, боже мой, все, все! Мой Nicolas первый на вас засмотрится! — наивно воскликнула Шершнева и надула губки.— Вы думаете, он теперь в должности? Нет, он по Невскому ходит и смотрит на хорошеньких. Вот видите,— указала Шершнева на какие-то клочки разорванной бумаги, валявшейся на полу,— это у него все были портреты всех хорошеньких актрис. Я взяла, подобрала сегодня ключ к его столу, отыскала их и — вот!

Шершнева с комическим трагизмом указала на груду бумажных лоскутков. Катерина Александровна едва удерживалась от улыбки, хотя ей было тяжело сознавать, что, по-видимому, и здесь ее ждет неудача.

— Вы видели, я плакала, когда вы вошли,— продолжала Шершнева жалующимся тоном обиженного ребенка.— А в мои годы даром не плачут! Я очень, очень несчастлива! Я вас не могу взять к себе, потому что Nicolas станет еще меньше любить меня!

— Поверьте, что я сумею держать себя скромно,— заметила Катерина Александровна.

— Ах, милочка, я нисколько не сомневаюсь! — горячо ответила Шершнева.— Но что же вы станете делать с мужчинами, если они не могут пропустить без внимания таких черненьких глаз, как ваши.

— Да разве я виновата, что у меня такие глаза! — воскликнула Катерина Александровна.

— Не думаете ли вы, что я в этом случае виновата! — снова надула губки Шершнева.

В эту минуту из-за дивана послышался детский лепет:

— Мама бяка, бяка!

— Сама бяка, сама бяка! — с детскою горячностью ответила Шершнева.— Скверная девчонка, скверная девчонка, опять начала!

Из-за дивана вылезла крошечная девочка с пухленьким личиком и, приблизившись к Шершневой, начала хлопать ее ручонкой по платью.

— Бяка, бяка, тьфу! — плевалась девочка.

— Скверная, скверная! — раздражительно кричала Шершнева, хлопая рукой по руке ребенка.— И на тебя тьфу! Пошла прочь, пошла в кухню, к Александре.

Девочка, накричавшись досыта, упала на пол и начала колотить по полу руками и ногами.

— Лежи, лежи! злая, злючка! — дразнила ее Шершнева.

Катерина Александровна с немым изумлением глядела на эту сцену.

— Это просто невыносимая девчонка,— раздражительно говорила Шершнева.— Мне с нею покоя нет!

— Если бы вы взяли меня, то поверьте, что я справилась бы с ней,— заметила Катерина Александровна.

— Нет, нет, вас я не возьму,— проговорила Шершнева.

— Если бы вы знали, как я нуждаюсь в месте,— сказала Катерина Александровна.

— Вы, милочка, верно, очень, очень бедны? — спросила ласковым тоном Шершнева.

— Да.

— Ну, вот я поищу вам место. Оставьте свой адрес.

Катерина Александровна оставила свой адрес и пошла. Она еще не переступила порога этой комнаты, когда за нею послышался голос молодой женщины.

— Послушайте! — начала Шершнева каким-то заискивающим тоном.— Скажите мне откровенно, вас Nicolas подослал? Вы его знаете?

Катерина Александровна вспыхнула.

— Как вам не стыдно! — сказала она.

— Не сердитесь, не сердитесь! — заговорила Шершнева.— Но вы такая хорошенькая, а от Nicolas всего можно ждать.

Катерина Александровна уже не слушала ее и вышла в переднюю.

— Ну что, определились? — спросила ее толстая служанка.

— Нет,— сухо ответила Катерина Александровна, надевая салоп.

— И слава богу! — произнесла служанка.— У этих вертопрахов и жить-то никто не станет. Сама хороша, а

он еще лучше. Кругом должны, а по балам да по тиятрам скачут, как сороки, прости господи...

Катерина Александровна, не слушая болтовни служанки, вышла на улицу. Она пошла по направлению к Миллионной, по новому адресу. Ей недолго пришлось искать дом и квартиру генеральши Оболенской, напечатавшей в газетах, что ей нужна горничная. Дом был велик, Оболенская жила широко, и в Миллионной каждый лавочник мог указать на жилище этой госпожи, тридцатипятилетней вдовы старого генерала. Позвонив у дверей, Катерина Александровна была встречена лакеем в черном фраке и белом галстуке. Он окинул глазами одежду Катерины Александровны и спросил, чего ей надо. Она объяснила и попросила доложить барыне. Через минуту ее попросили войти в комнату. Пройдя по мягким коврам, среди полумрака двух больших комнат с тяжелыми и темными драпри, Катерина Александровна очутилась в отделанном малиновым шелком будуаре, где царствовал красноватый полусвет, очень эффектно освещавший фигуру немолодой женщины и в то же время не дававший возможности рассмотреть подробно резкие черты, может быть, давно отцветшего лица. Женщина, с книгою на коленях, в волнах кружев и шелку, лежала на мягкой кушетке. Это была Оболенская, скучающая барыня, убившая свою молодость со старым мужем и стремящаяся теперь найти человека, который решился бы убить свою молодость со старою женой. Оболенская почти не пошевелилась на своей кушетке. Она сощурила глаза, медленно поднесла к ним лорнет и осмотрела с ног до головы посетительницу. Через минуту она сухо проговорила:

— Извините, милая, мне нужна горничная из порядочного дома.

Оболенская опустила лорнет и придвинула ближе развернутую книгу. Катерина Александровна побледнела более обыкновенного. Ее обдало каким-то холодом от этого приема.

— Мой отец был чиновник,— в смущении проговорила она.

— Вы меня не поняли,— лениво и небрежно проговорила Оболенская, не поднимая глаз от книги.— Мне нужна горничная, жившая в порядочном доме.

Барыня подняла свои глаза и еще раз с пренебрежением осмотрела наряд Катерины Александровны. Последняя только теперь поняла, что ее платье действительно

могло сразу обличить, что она еще не успела обворовать никаких порядочных господ.

— Но я, поверьте мне, я могу все...— начала она.

— Я вам верю, но вы понимаете, что мне такая горничная, как вы, совсем не нужна,— перебила ее барыня заметно раздраженным голосом.— Я даже не понимаю, как вас впустили сюда.

Катерина Александровна поняла, что если Оболенская раскаивается, что прислуга впустила такую невзрачно одетую посетительницу, то легко может случиться, что прислуге будет отдан приказ выгнать непрошеную гостью. Прилежаева неслышно вышла из кабинета.

— Что, не взяли? — спросил у нее молодой лакей.

— Нет!

— Эх, жаль! — промолвил он.— Я так и думал, глядя на ваше платье, да уж впустил наудалую, думал, сова-то не рассмотрит в темноте... А все бы повеселей было с вами, хорошенькая барышня.

Он подмигнул Катерине Александровне своими маслянными глазами. Она ничего не ответила и задумчиво вышла из дома. Она шла потупив голову тихими шагами. Завернув еще в один дом, не застав там хозяев, она пошла домой по направлению к Большому театру.

— Так прекрасны и так печальны! — раздался позади ее молодой голос.

Она не оборачивалась, она почти не слыхала этого восклицания. Ее мысль была занята вопросом, что делать, как выйти из тяжелого положения. Чем более думала Катерина Александровна, тем менее оставалось у нее надежды на получение частного места без рекомендации. Она уже успела побывать после смерти отца не у одних Шершневых и Оболенской, она стучалась и в другие жилища. Неудачи следовали одна за другой, и каждый раз Катерину Александровну поражали те причины, вследствие которых ее не брали на место. Шершнева боялась ее красоты, Оболенская смотрела с презрением на ее наряд, купчиха Микулина испугалась, что она из благородных, и заметила прямо, что ее и обругать будет нельзя; чиновница Макарова объявила, что ей старушку няню нужно, которая и детское белье стирала бы, и полы подмыла бы, и помогла бы кухарке постряпать, и повязала бы вечером чулочки для детей; иногда причины, по которым получался отказ, были еще нелепее, еще смешнее.

Молодая девушка задавала себе вопросы: может ли

быть верным служение у подобных господ, не будет ли это зависеть от самых нелепых капризов, от чисто случайных, бессмысленных выходок этих людей, не будет ли оно простою станцией после минутного отдыха, за которой придется снова нуждаться и искать таких же неверных мест; но если это так, то можно ли на таком шатком основании осуществить свои планы воспитания Антона, на которое потребуется и много денег, и, может быть, много лет.

— Послушайте, что же вы молчите? К чему такая суровость, прелестная незнакомка! — снова раздался над ухом молодой девушки все тот же неотвязчивый молодой голос.

Катерина Александровна по-прежнему не обратила на него внимания и продолжала думать. Она видела невозможность ожидать чего-нибудь верного от частных мест и решилась во что бы то ни стало искать казенного места. В ее голове созрел какой-то новый план. «Никакие Вороновы не запугают меня,— думалось ей.— Чего бы ни стоило, а уж я добьюсь встречи с княгинею».

— Так вы так-таки и не хотите говорить со мною? — настойчиво продолжал молодой голос.

Катерина Александровна подняла голову и взглянула на лицо своего спутника. Это был молоденький, красивый, стройный прапорщик, с едва пробившимся черным пушком над верхнею губой и на щеках. Его прелестное пухленькое личико походило на женское лицо или на лицо шаловливого мальчугана, только что оставившего классную скамью и желавшего казаться уже хлыщом и фатом, чтобы его не звали красной девушкой и милым мальчуганом. Катерина Александровна весело улыбнулась.

— Я привыкла ходить без лакеев,— промолвила она.— Если вам хочется принять на себя эту должность — идите. Но вам придется идти очень далеко.

Девушка замолчала и пошла своей дорогой. Она была не только покойна, но даже чувствовала прилив веселости, как это всегда бывало с нею, когда ей удавалось окончательно решиться на что-нибудь. Уличный шалопай между тем не отставал и начинал переходить из любезного тона в нахальный.

— Вы не только лакеем хотите быть, но желаете и с полицией иметь дело? — промолвила Катерина Александровна, снова взглянув на непрошеного спутника.— Я могу, если угодно, позвать первого попавшегося городового.

— Дура! — пробормотал прапорщик, увидав, что Катерина Александровна тем же спокойным и ровным шагом переходит к будке.

Молодая девушка осталась одна и, пройдя еще несколь улиц, добралась до дома.

— Где ты запоздала? — промолвил Антон, встречая ее на улице.— Я уж хотел идти отыскивать тебя. А мы тоже сегодня находились с матерью. Кланялись, кланялись,— завтра, говорят, покланяйтесь...

Сестра нагнулась к брату и поцеловала его.

— Погоди, все скоро кончится, все кончится,— проговорила она.

Брат посмотрел на нее и удивился, что его Катя так весела.

— Да ты нешто место достала? — спросил он.

— Кажется! завтра узнаешь,— успокоила она брата.

На следующий день она снова шла к дому княгини Гиреевой. Подойдя к парадному подъезду, она стала ходить у дома. Погода была довольно ясная, хотя и холодная. Но Катерина Александровна, по-видимому, решилась не обращать внимания на холод. Она уже раз десять прошлась мимо дома, когда наконец ее заметил старый телохранитель княгини. Он начал следить за нею из окна. Молодая девушка не переставала мелькать перед его окном. Старик покачал головою и неторопливо вышел на подъезд.

— Что вы, голубушка, тут прохаживаетесь? — спросил он у Катерины Александровны, когда она поравнялась с ним.

— Княгиню жду,— ответила она.

— Что же, разве ее сиятельство княгиня Марина Осиповна назначила вам, чтобы вы ее здесь ждали? — спросил старик.

— Нет, не назначала,— послышался ответ.— Но до нее иначе не добраться. Вот я и решилась ждать ее здесь.

— А если она не поедет никуда сегодня?

— Завтра приду.

— Ну, а если вас гнать станут?

— Посмотрим, авось и не прогонят.

— Гм! вот как! — промолвил старик.— А холодно! Ишь солнце-то нынче светит, а не греет. Вы войдите-ка на подъезд.

Катерина Александровна вошла в теплые сени. Старик вынул табакерку и пощелкал по ней пальцами.

— Так-так, вы и решились ждать ее сиятельство княгиню Марину Осиповну на улице? — глубокомысленно произнес он, поднося открытую табакерку к носу.

— Да.

— Это вы на днях заходили сюда?

— Я.

— Ну что же: просьбу подавали?

— Подавала, только ответа нет, да, кажется, и не будет; Воронов у вас никого не допускает к княгине.

— Не велено, значит,— со вздохом качнул головою старик.

— Неужели княгиня не желает помочь тем, кому она может помочь?

— Ее сиятельство княгиня Марина Осиповна — ангел,— внушительно произнес швейцар.— А принимать посетителей она сама не может, потому что их как собак нерезаных, а она одна. Вот и заведен такой порядок, чтобы в домовую контору просьбы подавались.

— А Воронов о них и не докладывает!

— Это его дело! — как-то уклончиво произнес швейцар.— Ее сиятельство княгиня Марина Осиповна ангел.

— Ну, так вот вы и дайте мне возможность ее видеть,— попросила Катерина Александровна.

— Ни-ни! Не могу,— замотал головою старик.— Не приказано! Сверху не приказано!

— Ну так я буду ждать ее на улице,— решила Катерина Александровна, направляясь к двери.

Старик пристально посмотрел на нее и молча, с какой-то таинственной миной, остановил ее за рукав салопа.

— Стойте!..

Он неторопливо подошел к дверям, замкнул их на ключ и, возвратясь к Катерине Александровне, провел ее в низенькую дверь под лестницей. Они очутились в маленькой комнатке с небольшим окном, это была чистенькая крошечная конура старика.

— Слушайте,— тихо заговорил он.— Очень мне вас жаль стало, понапрасну вы будете здесь пороги обивать. Поедет ее сиятельство княгиня Марина Осиповна, выйдут с нею два лакея и отгонят вас от кареты. И я помогу им, а она скажет вам на ходу: обратитесь в домовую контору. Так ничего и не выйдет.

Старик стал нюхать табак. Катерина Александровна начала терять всякую надежду. Ее собеседник встал, вы-

глянул из дверей своей конурки, осмотрел сени и потом снова возвратился на свое место.

— А если вы хотите чего-нибудь добиться и если только вы меня не выдадите, так я вам скажу, что делать.

Молодая девушка дала честное слово старику, что она не выдаст его.

— Вы воспитывались под ведением ее сиятельства княгини Марины Осиповны,— заговорил он.— Так, может, вы знаете камер-юнгферу нашу, Глафиру Васильевну. Она к вам в школу ездила.

Прилежаева ответила утвердительно.

— Чего ж вы к ней-то не шли? Думали-то чего?

— Из памяти она вышла.

— То-то: из памяти она вышла! — повторил старик.— А ее надо помнить: как она что скажет, так тому и быть. Ее сиятельство княгиня Марина Осиповна ангел! Ну так вот идите вы к нашей камер-юнгфере Глафире Васильевне и просите ее. Да смотрите, ни гугу о том, что я это вам совет дал.

Старик встал, снова осмотрел сени и тайком выпустил Катерину Александровну на улицу.

Через пять минут девушка уже сидела в комнате худенькой высокой старушки в темном шелковом платье, в тюлевом чепце. Старушка ласково хлопала Катерину Александровну по плечу и поила ее кофеем. Эта старушка была Глафира Васильевна, бывшая крепостная, выросшая вместе с княгиней и оставшаяся навсегда в девушках только потому, что княгиня не хотела ее отпустить от себя и говорила, что без Глафиры она, княгиня, не может жить. Глафира Васильевна, как бы в вознаграждение за жертву, принесенную ею барыне, пользовалась сильным влиянием на Гирееву. Она, усадив Прилежаеву, поминутно выбегала из своей комнаты в комнаты только что проснувшейся княгини и каждый раз говорила Катерине Александровне:

— Погодите, погодите! Сейчас вернусь! Ах, бедная, бедная!

Катерина Александровна рассказывала старушке свою историю. Наконец история была досказана. Глафира Васильевна допила кофе.

— Ну, повернитесь-ка передо мною,— обратилась она к Прилежаевой и начала оправлять ее платье.— Так хорошо! Теперь ступайте к княгине.

— Как же без доклада? — удивилась Катерина Александровна.

— Как без доклада? Да я уж ей и историю-то вашу всю рассказала, она уж с четверть часа ждет, когда вы кофей допьете.

Катерина Александровна не могла прийти в себя от изумления. Миновав небольшую гардеробную и раздвинув двойные тяжелые занавесы, отделявшие вместо дверей эту комнату от следующей комнаты, Катерина Александровна очутилась в уютной, убранной цветами спальне княгини. Княгиня сидела на маленьком диванчике и быстро поднялась с места, увидев Катерину Александровну.

— Черненькие глазки, милые черненькие глазки! — заговорила она и, взяв своими пухленькими руками голову молодой девушки, поцеловала ее в лоб.— И не стыдно забыть меня! столько горя перенести и не обратиться ко мне!

— Я боялась...—начала Прилежаева.

— Меня-то, меня-то боялась? — быстро перебила ее княгиня, качая своею седою головой.

— Боялась беспокоить вас.

— Да кого же вам и беспокоить, как не меня. Я должна быть матерью тех детей, которые воспитывались у меня.

— Я подавала вам просьбу...

— Когда?

— Неделю тому назад.

— Глафира, Глафира! — позвала княгиня.

— Я здесь! — отозвалась из гардеробной Глафира Васильевна.

— К нам опять письмо не дошло. Каково это тебе покажется?

— Что ж тут удивительного! — отозвалась Глафира Васильевна, гремя ключами.

— Она ничему не удивляется! — добродушно махнула рукой княгиня.— Как же вы, мой друг, послали просьбу, хорошо ли написали адрес?

— Я сама ее передала господину Воронову.

— Глафира, Глафира! — позвала княгиня.— Ты слышишь, она сама Воронову отдала просьбу. Это он опять позабыл передать.

— Ну да, позабыл! — сердито отозвалась Глафира Васильевна и хлопнула дверцами шкапа.

— Сердится! — тихо проговорила княгиня.

— Он вам и никогда ни одной просьбы не передаст,— послышался голос Глафиры Васильевны.

— А я его выгоню, вот и все! — ответила княгиня.

— Вы выгоните! — с упреком отозвалась Глафира Васильевна.

— Ну, теперь пойдет ворчать! — добродушно промолвила княгиня.— Ведь он мой крестовый брат,— обратилась она к молодой девушке.— Он пятьдесят лет нам служит. Сколько он тоже вынес на своем веку! — вздохнула старушка и задумалась.

Прошло около двух часов с той минуты, когда Прилежаева вошла в комнату Глафиры Васильевны, а между тем в эти два часа судьба девушки уже совершенно переменилась. Она уже имела верную надежду получить место помощницы в приюте графов Белокопытовых; она уже могла не заботиться о своей одежде, так как у нее в руках был целый узел довольно дорогих нарядов; она уже могла не бояться голодной смерти, так как в ее кармане было пятьдесят рублей денег и ей было дано позволение обращаться со всеми просьбами к княгине.

— Только в контору не ходите,— говорила ей Глафира Васильевна.— Там ведь псы наши да телохранители стерегут княгиню. Она, видите, добра, так к ней на шею и насели разные родственники. Вот, слышите, заливаются в ее спальне,— это племянники, племянницы, сиротки. У самих тысячи, сами в пажеском корпусе воспитываются, в гвардии служат, а у тетушки на шее сидят. Они с Вороновым, с холопами стакнулись, каменную стену около княгини выстроили, чтобы она бедным гроша не могла дать лишнего. И на меня зубы точат, ну, да это еще углем в трубе писано, кто кого переселит. Небось, когда она больна, так ночей-то я не сплю, а они по балам рыскают.

Еще долго говорила Глафира Васильевна в этом тоне, и только к трем часам удалось Катерине Александровне уехать домой с радостной вестью, с веселым лицом. Молодая девушка приехала домой и очень удивилась, застав в своей конуре неожиданного гостя, покуривавшего с очень важным видом грошовую сигару и о чем-то ораторствовавшего таким тоном, каким говорят только в самом избранном кругу. Около гостя стояли, разинув рты, маленькие дети и сидел Антон, облокотясь обеими руками на стол и внимательно вслушиваясь в то, что говорил гость. Этот гость был штабс-капитан Прохоров. Завидев

Катерину Александровну, он ловко раскланялся и проговорил:

— Можно ли поздравить с успехом? Пришел осведомиться о результатах наших военных действий против хищной птицы.

— Все кончилось счастливо, очень счастливо! — промолвила Катерина Александровна с улыбкой, пожимая шершавую руку философа.

— Очень рад, очень рад,— произнес он, потрясая ее руку.

Катерина Александровна начала по порядку рассказывать свои похождения. Она настолько смешно передала свои столкновения с Шершневой, с Оболенской, с швейцаром Гиреевой, что Антон и штабс-капитан хохотали от всей души, а Марья Дмитриевна только вздыхала и нередка утирала навертывавшиеся на ее глаза слезы. Когда же Катерина Александровна начала рассказывать, как швейцар запер ее в свою каморку, чтобы дать ей благой совет, как встретила ее Глафира Васильевна, как приняла Гиреева, Марья Дмитриевна окончательно расчувствовалась и расплакалась, поминутно крестясь и благословляя «добрых людей».

— Я рада одному, что матери теперь не придется больше ходить по разным передним и канючить о помощи,— закончила Катерина Александровна.— Я бы, кажется, ни на минуту не задумалась и отказалась бы от подарков княгини, если бы эти подарки не были так необходимы теперь. Они дадут нам возможность не просить более ничего.

— Ну, прелестнейшая Катерина Александровна,— начал своим философским тоном штабс-капитан,— при всем моем уважении к прекрасному полу я не могу согласиться с вами. Отчего же и не просить у тех, кто может дать?

— Да что ж за радость унижаться? — возразила молодая девушка.

— Какое же тут унижение! У одного есть, у другого нет, ну, последний и идет к первому и говорит: поделись-ка, братец ты мой, со мною. Это просто круговая порука между своими.

Штабс-капитан затянулся сигарою, пустил клуб дыма и начал развивать свою философию.

— Вот-с, возьмите вы хоть, например, меня,— начал он дидактическим тоном.— Я военный человек. Я сражался. За что я сражался? Солдат защищал свой дом, свою де-

ревню, где жили его отец и мать, его сестры и братья. У меня не было ни кола, ни двора, ни родных. Но я сражался, сражался потому, что я был дворянин, и защищал свое отечество, то есть богатых коммерсантов, чтобы они могли спокойно продолжать свою торговлю, моих собратьев дворян, чтобы они могли спокойно улучшать свои имения, я защищал спокойствие всех тех, которые не были на войне. И говорю вам как честный инвалид, я никогда не думал, что я им оказываю милость. Я исполнял свой долг. Но я не успел дослужиться до полной пенсии, не успел обеспечить себе кусок хлеба на старые годы. Благодарное отечество за мои услуги определило моих детей в корпуса; но все же оно не могло дать мне столько хлеба, сколько мне было нужно. Конечно, я ни на минуту не задумался и пошел к тем, кого я защищал, объявил, что так и так, проливал кровь, теперь не имею пропитания, прошу поделиться чем можете. Чего же мне краснеть? Мы просто оказывали друг другу взаимные услуги, и уж если считаться услугами, так я с гордостью могу сказать, что я оказал услугу первый.

Штабс-капитан снова затянулся сигарой и пустил клуб дыма, вполне довольный своею философиею. Катерина Александровна улыбалась, слушая эти странные речи. Она не возражала штабс-капитану и только шутливо заметила:

— Вы, может быть, и правы, капитан, но мы-то с матушкой в военной службе не служили и крови за благодетелей не проливали.

— Прелестнейшая Катерина Александровна, я только что хотел перейти к обсуждению этого вопроса,— произнес штабс-капитан.

Марья Дмитриевна, исчезавшая на время из комнаты, возвратилась теперь к собеседникам и подала на стол кофе, булки и сухари. Все придвинулись к столу и заранее наслаждались возможностью напиться кофе, то есть попировать так, как семья давно уже не пировала. Штабс-капитан вынул вторую грошовую сигару и вежливо попросил позволения закурить ее; позволение, конечно, дали, хотя конура Прилежаевых уже вся переполнилась табачным дымом. За столом присутствовала и старая нищая, с которою очень развязно раскланялся старый служака.

— Вы совершенно справедливо изволили заметить,— начал штабс-капитан, обращаясь к Катерине Александровне,— что вы и ваша матушка не проливали крови за

своих благодетелей и не оказывали им услуг, за которые вы имели бы право пользоваться их благодениями. Но положим, что у вашей матушки нет никаких средств к жизни, никакой работы. Что она станет делать? Воровать или...

— Что это вы, батюшка, Флегонт Матвеевич, да разве я воровка какая! — обидчиво воскликнула Марья Дмитриевна.— Да избави меня бог! Я...

— Почтеннейшая Марья Дмитриевна,— быстро перебил ее штабс-капитан.— Ведь это мы отвлеченно, отвлеченно обсуждаем вопрос. Тут ни вы, ни кто-нибудь другой, а вообще, понимаете, вообще бедный человек служит, так сказать, предметом нашей беседы. Итак, говорю я, бедный человек, не имея почему-либо ни средств, ни работы, должен воровать или умереть с голоду или даже решиться на самоубийство. Теперь-с, что же делает он, если он не ворует, не умирает с голоду, не убивает себя, а обращается к благодетелям? Он дает благодетелям, так сказать, один из самых прекрасных случаев не только избавить его от греха и гибели, но и спасти их собственные души, оказать услугу и отечеству, и себе, и богу.

Катерина Александровна улыбнулась.

— Нет-с, вы не смотрите так легко на этот предмет, прелестнейшая Катерина Александровна,— возразил с горячностью штабс-капитан, заметив улыбку молодой девушки.— Это вопрос серьезный. Бедняк должен гордиться, именно гордиться тем, что он не смалодушествовал, а пошел к своим ближним и за какие-нибудь три рубля дал им возможность совершить великое дело спасения человека от греха, избавления отечества от преступника, возвращения в лоно божие чистой души.

Марья Дмитриевна прослезилась, а старуха нищая прошамкала:

— Известно, молитвами нашими живут благодетели.

— И теперь вот если благодетели дадут, например, средства вашей уважаемой матушке воспитать детей,— продолжал философ,— какая это будет достойная умиления картина! Достойная мать не гибнет с голоду, она воспитует детей наилучшим образом, она приготовляет будущих честных граждан отечеству. Они делаются воинами, докторами, судьями, они охраняют интересы своих богатых собратьев. А кто эти собратья? Это дети тех, которые подали руку помощи их матери. И эти люди, и мать

этих детей давно уже на небесах и смотрят с любовью на новые поколения, поднятые их взаимными усилиями!

Штабс-капитан торжественно затянулся сигарой и, развалившись на ветхом стуле, начал самодовольно пить кофе.

— Это, Катя, истинная правда! — вздохнула Марья Дмитриевна.— И где это вы, батюшка, так говорить научились?

— Житейский опыт, странствования по белому свету! — промолвил штабс-капитан и весело обратился к детям с какою-то шуткою.

— Жаль только, капитан, что богатые-то совершенно иначе смотрят на нас,— усмехнулась Катерина Александровна.

— Помилуйте, прелестнейшая Катерина Александровна, что нам за дело, как на нас смотрят другие,— воскликнул философ.— Вот посмотрели бы вы, как турки на нас смотрели; по вашему мнению, пожалуй, нам и бить бы их не следовало?

Вечер прошел быстро и незаметно. Семья была счастлива и с надеждой смотрела на будущее. Прощаясь с штабс-капитаном, все, и даже Антон, просили старика не забывать их.

VI

ПОСЛЕДНИЙ ВЕЧЕР В РОДНОМ УГЛУ

Начинало смеркаться. На улице снег валил хлопьями, покрывая все своим белым саваном. В квартире Прилежаевых уже давно горела сальная свеча. Катерина Александровна торопливо дошивала себе новое платье; ее маленькие братишка и сестра копошились в углу, играя какими-то тряпками. Их по обыкновению почти не было слышно. Они сидели смирно и серьезно шептались, как взрослые, боящиеся помешать своим занятым работою ближним. В этой сдержанности было что-то болезненное, в этой серьезности было что-то старческое. В комнате царствовала убийственная тишина. От времени до времени девушка вставала, оставляя работу и направляясь в кухню поправить дрова на очаге и посмотреть на чайник, давно уже бурливший кипевшею водой.

— Что, касатка, мать-то с братишкой все не идут? — сиплым голосом спрашивала нищая, лежавшая на кухне.

— Да, запоздали где-то,— задумчиво отвечала девушка.

— Видно, опять у благодетельницы своей дежурят.

— Должно быть. И что она их держит до поздней ночи!

— Блаженненькая она, как есть блаженненькая,— вздохнула нищая.— А добрая, добрая, нечего господа бога гневить. Вот если на улице какую-нибудь старушку божию с узлом встретит, остановит, расспросит, в свою коляску посадит, по пути довезет. Все, говорит, отдохнешь немного... Не гнушается бедным человеком...

— Она вон и чай спитой дает, все, говорит, будет чего напиться поутру,— заметила девушка, и в ее словах прозвучала ирония.

— Как же, как же, всегда даст, с пустыми руками никого не отпустит,— добродушно проговорила старуха, не замечая иронического тона девушки.— Вот и вам тоже благодеяния оказывает.

— А что вы-то к ней не ходите, если она такая добрая? — уже совсем сердито промолвила Катерина Александровна.

— Далеко, родная, далеко,— простонала старуха.— Ноженьки не таскают... Я больше по своему приходу... Благодетели здешние грошик, другой дают на хлебец старушке; все купечество больше...

— Видно, эти грошики-то выгоднее собирать, чем спитым чаем угощаться,— заметила девушка.

— И, мать моя, нам нельзя разбирать, что дают. Грошик дадут, и за то благодарение богу. Чайку щепоточку сунут, и то милость господня. Мы, как птицы небесные, не сеем, не жнем и по зернышку собирать должны, и за кажинное зернышко должны славословить господа. И на что мы, нищие-то, нужны бы были, если бы мы не славословили господа? Молода ты, горя горького мало ты видела, а доживешь до моих годов — будешь знать, что всякое даяние благо. Чайку тебе сунут — это твой грошик сберегут, хлеба тебе в суму положат — это твою копейку на черный день отложат. А черных-то дней, черных-то дней, мать моя, у тебя еще непочатой угол... Ты вот говоришь, деньги, видно, выгоднее сбирать. Ох, мать моя касатка, много ли бы денег-то ты собрала, кабы тебе пришлось и хлебушка купить, и за уголь деньги отдать. Тоже ведь даром никто не станет держать... Вот полтину вам за доску плачу, а полтину-то не легко по грошику со-

брать. Узнаешь, касатка, все узнаешь, как старость уму-разуму научит.

Молодая девушка уже совершенно безмолвно стояла у огня и слушала эту прерывавшуюся от кашля, сиплым голосом произносимую речь, выходившую из темного угла, как из пропасти. Что-то зловещее было в этих пророческих словах, в этих удушливых сиплых звуках, в этой полутьме, в этой печальной обстановке. Темная конура, едва видневшаяся угрюмая фигура нищей, сидевшей среди лохмотьев на постели, стройная фигура бледной девушки с большими черными глазами, с вьющимися черными волосами, озаренная ярким огнем — все это было достойно кисти художника. Огонь ярко и резко озарял молодое лицо, а слова старухи делали все мрачнее и мрачнее его выраженье. «Доживешь до моих годов, будешь и щепоткой спитого чаю дорожить»,— звучало в ушах девушки. Но неужели и впереди, в этом длинном ряде дней, месяцев и лет, десятков лет будет все та же нищета, все то же горе? Неужели не настанет светлых дней, не настанет полной перемены? Первые столкновения девушки и ее семьи с обществом не обещали ничего особенно отрадного, не пробуждали никаких особенно светлых надежд на будущее. Эти столкновения ясно показали молодому существу, что у общества придется завоевать каждый шаг, каждый грош, каждую пядь земли, завоевать в тяжкой и упорной борьбе с глупостью, с черствостью, с враждою. Хватит ли сил на эту борьбу без всякой поддержки, без всякой надежды на победу? На эти вопросы у Катерины Александровны не было ответов, но она сознавала теперь только одно то, что она будет бороться за себя, за сестру, за братьев,— бороться до последней капли крови. В последние дни она как будто выросла, возмужала; в ней вполне укрепилось сознание, что она не может дольше выносить эту жизнь, как выносила ее Марья Дмитриевна, что ей легче в могилу лечь, чем безропотно сознаться в безысходности положения и покориться своей доле. Смерть отца дала еще больший толчок ее недюжинному уму, и теперь этот ум работал, не зная покоя. Удастся ли ему успокоиться, достигнув желанной цели, или придется ему вечно волноваться, мучиться, терзаться и быстро догореть среди неисполненных желаний, среди неудавшихся планов, среди осмеянных жизнью светлых грез?

Девушка вдруг вздрогнула: ей послышался какой-то шум, стук дверей, и через минуту перед нею стояли две

знакомые, покрытые снегом, иззябшие фигуры матери и брата.

— Занесло, родные, снежком занесло? — пробормотала старуха.— Касатка-то наша ждала, не дождалася...

— Умаялись,— тихо проговорила Марья Дмитриевна.

Антон быстро разделся и подошел к сестре погреться у огня.

— Устал? — спросила сестра.

— Иззяб,— отвечал брат.— Мы ведь приехали.

— Чаем сейчас напою. Где были?

— У Белокопытихи! Измаяла, окаянная! — лаконически ответил мальчуган.— Конец! Не стану больше по городу шляться, пороги обивать.

— Не станешь? — вопросительно взглянула на него сестра.

— В школу бедных сирот упрячут,— ответил он.

— Скоро?

— Завтра.

Сестра вздохнула и быстро завозилась около чайника, стараясь скрыть слезы. Через пять минут все общество собралось около стола за чаем.

— Ну, детки, последний раз родительского чайку вечером напьетесь,— проговорила Марья Дмитриевна, наливая кружки и чашки.— В последний...

Она смолкла, глотая слезы и не поднимая глаз. Все как-то особенно притихли. В сердце каждого присутствующего слова матери отдались тупою, давящею болью. По-видимому, никто и ничего не терял, покидая этот смрадный подвал, где были пережиты годы голода, холода и брани пьяного отца, где слышались стоны больных детей, виделись трупы умиравших братьев и сестер, появлялось бледное, изнуренное до немой безропотности лицо матери, раздавались сиплые оханья и стоны старухи нищей. Каждому предстояла, по-видимому, лучшая участь: старшего брата завтра хотят свести в «школу бедных сирот», меньших брата и сестру отдадут в приюты, старшая сестра через два дня уходит на место, помощницею в приют, мать переезжает в более чистый угол... О чем же эта грусть? Но о чем тоскует, о чем вспоминает с замиранием в сердце эмигрирующий бедняк? Не о том ли строе жизни, к которому он привык! не о тех ли людях, с которыми он уладился, размежевался? Привыкать к новой обстановке, менять известное на неизвестное, сживаться с незнакомыми людьми — это так тяжело. Я не знаю такого нового поло-

жения, переходя к которому не вздрогнул бы человек, не поддался бы хоть на минуту той мысли, что не лучше ли остановиться и жить старою жизнью! Но если бы поглубже взглянуть на дело, то будущее наших героев не могло казаться им и лучшим. Голодные, они жили в своем углу, жили, вместе страдая, жалея друг друга, и пользовались тою свободой, которою может пользоваться человек в своем углу. Теперь им приходилось ломать свои характеры, свои привычки, свое настроение духа сообразно с уставами, приказаниями и целями других людей. Теперь их могут заставить говорить и молчать по воле других, их могут кормить и поить, когда это захочется другим; может быть, никто не захочет слушать и во всяком случае никто не заинтересуется их личными впечатлениями. Здесь страшный сон, виденный кем-нибудь из них ночью, вызывал сочувствие всех,— там опасная болезнь, серьезные тревоги за участь родных не вызовут никакого участия. Здесь редкие, но теплые поцелуи матери, братьев, сестер,— там сухие приказания начальства. Даже старуха нищая сидела печально,— она оставалась в том же углу, переходила как необходимая принадлежность этого угла в наследство новым жильцам,— но она не знала, каковы будут эти люди, напоят ли они ее чаем, дадут ли ей порою кусок хлеба, не станут ли ругаться, не обокрадут ли — потому что нет такого человека, которого не мог бы обокрасть его ближний.

Но сильнее всех чувствовалась разлука с родным гнездом Антоном. Он не только расставался с любимою сестрой, но покидал дорогие ему места и образ жизни, с которым он успел сродниться. Антон рос странным ребенком. Его мать говорила, что он похож на деревенского мальчика. Это было отчасти правдой. Он был дик при встречах с чужими людьми, особенно с господами; он никогда не решался принять какой-нибудь пряник, предлагаемый ему каким-нибудь добродушным встречным в лавке; он не умел толково отвечать на вопросы незнакомых людей и был, по-видимому, очень неразвитым созданьицем, смотревшим хмуро и исподлобья на посторонних людей. Эти люди называли его букой. Но он не был ни глуп, ни угрюм, ни неразвит, когда он находился в своей сфере. Он был даже нежным, веселым, смешливым ребенком, когда ему приходилось жить своею обыкновенною жизнью, к которой он привык чуть не с колыбели. Мы видели, что он жил в сыром и грязном подвале, что он нередко голо-

дал, что его отец был груб и пил до белой горячки, но мы сказали бы неправду, если бы стали утверждать, что в мраке этой жизни ребенок не сумел создать свой светлый своеобразный мирок. Лет пяти или шести Антон уже начал сопровождать свою мать летом на речку, где бедная женщина обыкновенно полоскала белье. Откос берега, покрытый травою, опрокинутые на берегу лодки, утки, кувыркающиеся в мелкой речонке в поисках за червями, взъерошенные куры, забирающиеся под лодки, и, как бы окаменевший в глубокомысленном раздумье петух, стоящий на берегу,— все это интересовало ребенка. Еще более радовало его, когда он мог поднять выше колен рваные панталоны и ходить вместе с детьми соседей около берега в воде, шаловливо брызгая ею во все стороны или отыскивая в вязкой земле букашек. Целые дни проводились мальчуганом на этом берегу в течение всего лета. Наступала зима — мальчуган катался на рогоже с обледеневшего откоса, скользил по расчищенному льду, воображая, что он катается на коньках. По целым часам стаивал он в праздничные дни перед какой-нибудь кучкой разгулявшихся фабричных и, заложив за спину ручонки, с разинутым ртом слушал и их удалые песни, и развеселые звуки гармоники, иногда внезапно переходившие в какие-то мучительные, медленные не то стоны, не то вздохи. Такие же точно переходы замечались и в самом веселье этого люда,— оно иногда начиналось бесшабашно удалым смехом и беззаботными шутками, потом гулякам как будто становилось все тяжелее от этого смеха, от этих шуток, и они все чаще заглядывали в ближайший кабачок; наконец, в сумерках уже слышались крупная брань, проклятия, плач и женский визг. С каждым годом все шире и шире делалась область наблюдений Антона. Скоро он узнал, как весело смотреть на рыбную ловлю на бердовских тонях и сам смастерил себе удочку, с которою, забравшись куда-нибудь на судно, на плот, на барку, просиживал целые часы, добывая иногда к ужину изрядное количество мелкой рыбы. Познакомился он и с «голубятнею». Под этим именем был известен окрестным жителям один каменный дом, выходивший фасадом на речку. Его можно было узнать издали, так как он сплошь, от крыши до мостовой, по карнизам и окнам был покрыт голубями. Ни днем, ни ночью они не слетали с него; никогда не было на нем ни одного местечка, свободного от них. Издали он казался почти черным. Ежедневно из года

в год, зимой и летом, хозяин дома кормил своих пернатых гостей, знавших его так же хорошо, как знали его окрестные жители. Но не голуби привлекали здесь внимание Антона. У этого дома собирались и другие «птицы» — это были оборванные, грязные дети с рогоженными мешками и палками с железными крючьями на плечах. Бледнолицые, иногда голодные, злые, дерзкие и наглые, переругиваясь между собою, высыпали они из ворот «голубятни» и расходились в разные стороны, в далекое странствование по задним дворам и помойным ямам города. Каждый из них уже успел быть заподозренным в воровстве, каждый из них уже испытал, как тяжелы кулаки дворников, каждый из них уже знал, как выглядят арестантские покои при полиции. Некоторые из них были уже действительными ловкими ворами, другие уже умели тянуть сивуху, третьи давно уже искусились в разврате. Часто видел Антон, как они возвращались по вечерам к «голубятне» усталые, сгорбленные под тяжестью вонючих мешков. Его поражала зеленоватая бледность их лиц, поражал запах, царивший около голубятни, поражали ожесточеные драки и отборная брань этих исхудалых детей, когда они выходили из этого дома, на котором уже давно дремали, словно приросшие к стене, жирные голуби. Быть может, он не раз сравнивал этих воркующих сытых голубей с этой озлобленной голодной толпой, быть может, у него не раз сжималось детское сердце, когда эти бледные дети медленно тащились в далекий путь для отыскивания в помойных ямах, в грязи тряпок, за которые им дадут жалкий кусок хлеба, тащились в то время, когда голуби с веселым мелодическим шумом большими стаями слетались вокруг насыпанного им корма. Через долгие годы Антон сам не мог дать себе отчета, задумывался ли он в детстве над этим контрастом: но он сознавался, что жизнь «голубятни», виденная им ежедневно в годы детства, играла не последнюю роль в направлении его развития. Особенно ясно врезались в память Антона слова, сказанные его отцом, когда однажды отец и сын проходили мимо «голубятни». Поравнявшись с «голубятнею», Александр Захарович мотнул головой и пробормотал:

— Ишь, птиц людьми кормят!

Антон не понял тогда слов отца, но он невольно вздрогнул, когда масса голубей, испуганная ими, с шумом приподнялась с земли и закружилась черною сетью над их головами. Его детскому воображению представилось, что

он никак бы не справился с этою стаей птиц, если бы они напали на него. Под влиянием невольного страха он побежал вперед.

— Что, испугался, что отдам им на съедение? — послышался ему вслед вопрос отца.— Небось еще не годишься, в тело не вошел.

Эти слова отца, его безнадежно холодный тон навсегда остались в памяти Антона. А сколько подобных фраз уцелело в памяти Катерины Александровны!

Мальчик начал довольно рано работать. Ловля рыбы, приносившая очень незначительную пользу, считалась им просто забавой. Но у него был и более серьезный труд. На восьмом году жизни он не только помогал матери таскать корзины с бельем, но и начал ездить с отцом на взморье, на ловлю дров, помогал отцу пилить небольшие доски. Рано утром, забрав с собою хлеба и луку, иногда огурцов, если огурцы были уже дешевы, отец и сын отправлялись в путь. Пробираясь среди кораблей, пароходов и лайб, они направлялись к островам и забирали в свою лодку каждую щепочку, каждое полено, каждый кусок березовой коры. Нередко попадала их лодчонка на мель, иногда наталкивалась на мертвые тела, раздутые и посиневшие, тихо плывшие по течению; порою заставали их буря и дождь, но, несмотря на страх и опасности, Антон любил этих поездки. Любил их и за то чувство приволья, которое разливалось во всем его существе, когда они приставали где-нибудь около пустынного зеленого острова, где совершалась ими их скудная трапеза, где отец ложился отдохнуть, где мальчик бродил по малорослому лесу, отыскивая ягоды или грибы или сидел на берегу и любовался широкою гладью ясного и тихого залива, облитого яркими лучами солнца. Любил он, освободившись от своих лохмотьев, купаться в этой прозрачной воде, бросать рикошетом камушки, считая, сколько раз прыгнут они по воде, рыться в песке, отыскивая отполированные водою древесные угли и обломки кирпичей, представлявшие иногда такие красивые черные и красноватые шарики или плоские овалы. Любил он эти поездки и за то, что его отец делался здесь добрее, сообщительнее, человечнее и под внешнею грубостью сказывалась и любящая душа, и природная честность этого человека. Во время этих поездок Антон успел даже узнать отчасти историю своего отца, и хотя не понял ее, но она запала в его память и потом через долгие годы воскресла снова, во всех подробностях.

И вся эта жизнь, голодная, холодная, но свободная жизнь, прошла безвозвратно. Нельзя сказать, чтобы Антон не любил и прежде отца, он просто не любил пьянства отца; он боялся, когда отец бывал пьян, теперь же, при разлуке с родным домом, в сердце ребенка вдруг проснулась страстная, болезненная любовь к отцу. Он скорбно думал: «Эх, если бы отец-то был жив, не пришлось бы нам идти по миру». Его детскому воображению представлялось, что они покидают родное гнездо именно затем, чтобы идти по миру.

— Вот теперь по разным углам разойдемся,— прервала тишину Марья Дмитриевна.— И где предел, предел-то где господь положит? Вот, Митревна, думаю я теперь, подрастут детки, куда их судьба занесет — бог весть; может, на край света уйдут. И придется мне, как тебе, одной где-нибудь в углу век доживать. Тяжело это, больно, голубушка!

Старуха вздохнула.

— Не говори лучше, Марья Дмитриевна, знаю, мать моя, все знаю,— глухо пробормотала она, качая всклокоченной головой.— И я не без детей век прожила, сама их поила, сама грудью кормила... И отнял господь всех, и все ушли, и одна осталась... Сын в Сибирь пошел... при мне и клеймили за разбой... Молодец был, в гвардии бы служить, а не в каторжной работе молодость загубить... Дочь в больнице умерла... Сперва в каретах ездила... потом в больнице умерла... Она, мать моя, всем дорога...

Опять как-то глухо, как-то пророчески звучали слова полубезумной седой старухи в мертвом затишье среди опечаленной семьи. Старуха говорила о своих страшных несчастиях, о гибели своих когда-то любимых детей с тою ледяною холодностью, с тем невозмутимым спокойствием, с которыми говорит иногда старый инвалид об отнятых у него за десятки лет тому назад руке и ноге. В этой холодности, в этом спокойствии есть что-то роковое, леденящее кровь слушателя. Действительно, сколько страданий, сколько потерь нужно перенести, чтобы говорить с невозмутимым хладнокровием об оторванном у нашего собственного тела куске мяса, о вырванных из наших объятий любимых существах? Еще страшнее становится слушателю, когда старый инвалид, рассказывая свою историю, хладнокровно пророчит такой же исход новобранцу, только что идущему в битву, черпающему силы к борьбе в одних надеждах на победу.

— За собой, касатка, смотри, за собой смотри,— еще глуше заговорила старуха, обращая к Катерине Александровне свое морщинистое, серо-желтое лицо.— Ишь очи-то у тебя черные, волосы кудрявые, как ночь темные: ночью-то греха бы не было!.. За собой смотри!

Все молчали. Катерина Александровна смотрела хмуро. Она не любила старую нищую и не возражала ей только потому, что не хотела ссориться с ней в последний вечер.

— И паренек-то твой, вот как мой Ваня, огонь,— продолжала старуха, указывая Марье Дмитриевне на Антона.— Как раз погасят, как раз погасят!

— Полно, Дмитриевна, мои дети скромные,— начала Марья Дмитриевна.— Бог помилует их; он их заступник...

— У всех один заступник; у всех один заступник, мать моя, да не всем одно счастие! — глухо проговорила старуха.— Или ты думаешь, мать моя, что у других-то дети так с ножом в руках и из утробы матери на свет божий вышли? Не-ет, не-ет, голубушка ты моя: все ангелами христовыми в колыбели-то были... С Вани-то моего, как он махоньким был, богомаз один на Васильевском острову целителя Пантелеймона списывал. Похож, видишь, Ванюша на батюшку Пантелеймона был... Я потом и свечку ставила сама за Ванюшу этому самому образу... Не помогло, мать моя, ничего не помогло...

Женщины опять смолкли. Катерина Александровна и Антон не вмешивались в разговор, хотя по выражению их лиц было видно, что он задевал их за живое и пробуждал в них неприятные чувства. Чай был допит как-то тоскливо, почти с боязнью.

— Все ли приготовила ты ребятишкам? — спросила мать у старшей дочери.

— Что же приготовлять? В казенную одежду оденут,— коротко ответила старшая дочь.

— И то правда, и то правда, в казенную,— вздохнула мать.— Ну, детки, ложитесь. Рано вставать надо завтра.

Мать начала крестить и целовать детей; казалось, она хотела в этот вечер обласкать и благословить их на всю жизнь, за все то время, когда они не увидят ее ласк, не примут ее благословлений. Скоро в подвале настало полное затишье и мрак. Свеча была погашена. Все улеглись. Давно уже спала старуха нищая; давно отмолилась хозяйка, стоявшая на коленях перед темным образом; давно крепко спали маленькие дети. Но не спали старшие брат и сест-

ра. Они по обыкновению лежали вместе у стены, тесно прижавшись друг к другу.

— Ты ходи ко мне,— протяжно шептал брат задушевным, ласковым голосом сестре, обвивая ее рукой.

— Буду, буду ходить,— торопливо шептала она, целуя его.— Ты не бойся... Тебе худо не будет...

На его лицо упали горячие слезы. Он еще крепче обнял сестру и поцеловал ее в губы.

— Что же ты плачешь? Полно. Не плачь,— снова шептал он протяжным голосом.

— Я тебе все, все отдам,— тихо говорила она.— Ты вырастешь умным, ученым...

Брат притаил дыхание и внимательно слушал сестру, не понимая ее странных для него речей. Он не мог себе представить, что отдаст ему она, ничего не имеющая, такая же нищая, как он.

— Ты не будешь таким, как отец,— продолжала она страстным, глубоко убежденным тоном.— Не будешь таким, как сын этой колдуньи... Ты не пойдешь в Сибирь; ты не умрешь на улице... Я тебе все отдам, все, все...

Она на минуту замолкла: ей показалось, что ее брат уснул. Ей не пришла бы в голову эта мысль, если бы она могла видеть его широко открытые глаза, как будто силившиеся рассмотреть что-то в этой непроглядной тьме.

— Ты спишь?

— Не-ет,— послышался медленный, в раздумье произнесенный ответ.

— Я все думала,— продолжала сестра,— долго думала... Теперь я знаю, что делать... Учиться тебе надо, умным быть надо, чтобы не умереть с голоду... В училище тебя надо отдать...

— Я завтра и по-ойду в шко...

— Не то, не то ты говоришь,— живо перебила его сестра.— Эта школа что! Это нищих учат! Надо тому учиться, чему богатых учат. Я тебя в гимназию отдам. В этой школе ты недолго пробудешь.

Брата так поразили эти неожиданные слова, что он поднялся и сел на постели, стараясь всмотреться в сестру. Но кругом царила тьма и не было ничего видно. Он снова опустил голову к самому лицу сестры.

— Да, в гимназию! — продолжала она.— Пусть тебя научат всему, всему, что знают они, что знают ребятишки дяди... Да! чем они лучше тебя? За что тебе гибнуть, хороший мой!

Сестра покрыла горячими поцелуями лицо мальчугана.

— А где же ты денег возьмешь? — спросил он в раздумье.— Ведь денег-то, поди, много надо.

— Где? — переспросила сестра.— Не знаю еще, не знаю, но дай подумать, дай осмотреться. Все отдам, что достану, все, а ты не погибнешь! Только люби меня, не забывай никогда, никогда, какая бы я ни была, где бы я ни была. Будь всегда со мною, чтобы мне не жить, как мать прожила весь век, брошенная, чтобы мне не ходить по миру, как эта старая колдунья ходит!

Брат впотьмах нашел руку сестры и впервые поцеловал ее с каким-то чувством благоговения. По тону сестры он понимал, что она хочет сделать что-то такое, что сделает его богатым и барином, но что именно и как она сделает — этого он не понимал вовсе.

— Вот тебе крест,— проговорил он тем убедительным тоном, каким обыкновенно говорят простые дети, несправедливо в чем-нибудь заподозренные, и перекрестился, сидя на постели,— я тебя не забуду, и мать не забуду, и их не забуду,— указал он на младших детей, забывая, что сестра не видит его жеста.

— И соберемся мы все вместе, все соберемся, и мать-старуха будет с нами, и дружны мы будем и счастливы, и ни к кому мы за милостыней не пойдем, а ты будешь вместо отца в семье! — говорила сестра, увлекаясь картиной, которая, быть может, уже не раз представлялась ее воображению в последние дни, во время ее страстных стремлений завоевать счастье, завоевать во что бы то ни стало.— Я долго думала, все эти дни думала, как нам жить, что нам делать, чтобы никому не кланяться,— продолжала она.— По мне лучше не жить, лучше света не видеть, чем эту каторгу терпеть, которую мать наша, отец наш, мы сами до сих пор терпели. Что мне в жизни, если в ней одно горе, да один позор, если тебя никто и за человека не считает, наругается над тобой?.. Помнишь, отец говорил: вы меня связали, без вас давно бы порешил с собой. Ведь это он оттого говорил, что и он не умел терпеть, как вон мать терпит... И что терпеть, если надежды нет?.. Уж лучше один конец! Отец-то у нас умный был...

Еще долго, долго слышался страстный шепот двух молодых существ, прерываемый то слезами, то поцелуями, и когда они уснули, они были вполне спокойны, вполне счастливы. Им казалось, что будущее так светло, так отрадно.

Они, как бойцы, шли в мир на завоевание счастья.

Быть может, это были несбыточные, детски-незрелые, безумные мечты, но за эти мечты отныне должен был начаться тяжелый, неотступный, напряженный бой; это были те капли, которые, ударяя в одно и то же место, пробивают камень. Цель жизни была найдена, и чем бы ни кончилась борьба — все равно; герои умирают спокойно даже тогда, когда победа остается за их коварными врагами, и посаженный в клетку лев все-таки прекраснее, более достоин удивления, чем его оборванный, полупьяный вожак, праздно добывающий хлеб показыванием толпе зевак измученного каленым железом, пленного царя лесов.

И на что жизнь, если в ней одни муки, позор и неволя?

КНИГА ВТОРАЯ

I

ДЕТСКИЙ ПРИЮТ ГРАФОВ БЕЛОКОПЫТОВЫХ

В одной из отдаленных от центра города местностей, где гнездится небогатый люд, где редко слышится шум экипажей, где вечером тускло светят масляные фонари, стояло довольно большое здание самой невзрачной архитектуры, лишенное всяких украшений, похожее на выкрашенный желтою краской ящик с десятками окон. Двери подъезда этого дома были постоянно заперты и иногда не открывались в течение целого дня, как будто в этом доме давным-давно умерли все его обитатели и никто посторонний не решается и не считает нужным заглянуть, что делается за этими желтыми голыми стенами. Впрочем, если бы кто-нибудь посторонний и вздумал постучаться в эти двери не в урочный час, не в определенный день, то ему навстречу появилась бы грубая фигура старого отставного солдата, облеченного в звание швейцара, и сухо ответила бы: «Сегодня нет приема». Прежде чем посетитель успел бы что-нибудь возразить, перед ним снова захлопнулась бы дверь и загадочный дом снова стоял бы, как могильный склеп, пугая своими закрашенными до половины белою краской окнами, как глазами, у которых зрачки покрыты бельмами.

Не веселое выглядел дом внутри. Большие комнаты и длинные коридоры со сводами были выкрашены голубовато-серой краской; нижняя часть стен, покрытая масляной краской, выглядела почти черной. Здесь слишком жидкая краска, положенная на серые стены, уже во время крашения расползлась пятнами, окаймленными сотнею бурых зигзагов, змеек и ручейков, делавших эту часть стен похожею на фантастические, темные географические карты или на исписанное иероглифами пространство. Стены коридоров и большей части комнат были лишены всяких украшений и убивали своим однообразием, своим мутно-голубым колоритом, похожим на цвет вечернего осеннего неба. В крайних комнатах дома помещались два ряда железных кроватей, покрытых грубыми шерстяными одеялами. Между кроватями стояло по небольшому шкапику и табурету неуклюжей формы; и шкапики, и табуреты, и кровати были выкрашены темно-зеленой краской. Эта смесь серого и темно-зеленого цветов придавала картине холодный колорит, усиливавшийся еще более при помощи замазанных пожелтевшей белой краской окон. Вглядевшись попристальнее в эти окна, вы увидали бы, что чьи-то руки усиленно и настойчиво постарались процарапать тонкий слой краски, плотно приставшей к стеклам. Как трудно было достигнуть каких-нибудь благоприятных результатов в этих усилиях, было уже видно из того, что царапины появлялись в сотне различных мест и почти нигде не были сделаны настолько удачно, чтобы сквозь них можно было действительно рассмотреть что-нибудь. Только в трех, в четырех местах настойчивые руки, по-видимому, добились желанной цели и отскоблили довольно большие куски краски, но следы их работы были тотчас же уничтожены: замазаны новым слоем краски. В этих проскобленных местах, в этих пятнах была целая потрясающая история тщетных усилий со стороны неизвестных и темных человеческих личностей, стремившихся взглянуть на жизнь своих ближних, на живой мир; над этими проскобленными местами и пятнами можно было так же серьезно задуматься, как над каким-нибудь подземным ходом, прорытым без помощи инструментов, прорытым в бессонные ночи, прорытым одним арестантом, в течение долгих лет жившем одной мыслью о свободе, о бегстве из острога.

Еще мрачнее выглядела одна небольшая комната. В ней вместо кроватей стояли черные матовые столы и черные скамьи, походившие на половинки тех катафалков, кото-

рые приносятся гробовщиками в дом, где лежит покойник. Сходство с катафалками и напоминание о смерти могли тем скорее броситься в глаза, что именно в этой комнате стены были увешаны десятками картин, походивших на образа преддверия бедной сельской церкви. Эти картины, покрытые пожелтевшим лаком, изображали «потоп», «изгнание Адама и Евы из рая», «смерть Авессалома», «казни Египта», «распятие Христа» и тому подобные мрачные события священной истории. Перед скамейками стоял черный же квадратный стол, как будто приготовленный для панихиды. В этой комнате царствовал особенно холодный воздух; ее почти не топили.

Рядом с нею была большая зала с большим столом посередине и с табуретами около стен; рядом с этой залой была другая зала с несколькими узкими столами, со скамейками вокруг них и с гравированными портретами каких-то важных и надутых личностей, грозно смотревших со стен. И везде, куда бы мы ни взглянули, царствовали все те же серые, черные и темно-зеленые цвета, убийственно однообразные, убийственно холодные.

Но здесь жили люди, даже очень много людей.

Тсс! вот идут они. Подобранные в сырых подвалах, на темных чердаках, среди кабачных оргий, брошенные пьяными отцами и голодными матерями, выросшие среди грязи и разврата темных углов, уже знающие все мерзости и тайны трущобной жизни, наделенные с детства задатками будущих страшных недугов — чахотки, золотухи, ревматизма, готовящиеся в будущем встретить нужду, непосильный труд, грубое обхождение, быть может, преждевременную смерть в больнице или каторжную жизнь в домах терпимости,— эти люди-дети, пробужденные оглушительным звонком колокольчика, идут по мрачному, холодному коридору в мрачную большую залу. Зимнее темное утро еще не пропустило в комнаты ни одного дневного луча; тьма, унылая, серая тьма еще охватывает мир; в комнатах еще теплятся тусклые масляные лампы. Где это мы: в остроге, в тюрьме, в монастыре, в исправительном доме?

— Нет! Мы в благотворительном заведении.

Какой-то остов женщины с отцветшим и исхудалым лицом землистого цвета, с гладко причесанными жидкими волосами, в синем шерстяном платье открывает шествие. За нею идут попарно подобранные под рост дети, начиная с едва видных от земли пятилетних девочек и кончая взрослыми шестнадцатилетними девушками. У всех у них оди-

наково причесаны волосы: на всех надеты узенькие холстинковые платья голубовато-серого цвета с коротенькими рукавами и вырезными гладкими лифами, на всех надеты узенькие холщовые длинные нарукавники и такие же пелеринки. Они идут попарно, стуча грубыми башмаками, и представляют странную картину. Это какая-то коллекция детей всех возрастов, до крайности похожих друг на друга. Их трудно узнать в лицо, так как почти все лица выглядят одинаково тупо, одинаково скучно; все они большею частью бледны, почти прозрачны. За ними идет толстая краснощекая женщина в синем шерстяном платье, очень похожая на гренадера в юбке или на зажиревшую торговку с толкучего рынка. Чем-то нахальным и грубым веет от ее самодовольной, красной и лоснящейся физиономии; по-видимому, у нее не существует нервов и вся она состоит из жира и мяса. Девочки сходят в залу с узенькими столами и становятся лицом к переднему углу. В комнате раздается чей-то детский голос, и вслед за ним поднимаются другие голоса. «Отче наш, иже еси на небесех» оглашает комнату и среди однообразных тоненьких голосов звучит особенно сильно один контральто, силящийся перейти в нечто вроде мужского баса.

— Зачем ты, Скворцова, так басишь! — произносит худенькая женщина, обращаясь к высокой девушке с черными глазами и румяными щеками.

Скворцова бросает насмешливый взгляд на худенькую женщину и молчит.

Все, дрожа от холода, садятся пить чай из глиняных кружек и жадно накидываются на куски черного хлеба. В комнате слышится говор; едва можно расслышать, что в одном конце говорят:

— Отдай мне свой хлеб. Я тебе завтра отдам свой, вот те Христос! Сегодня страсть как есть захотелось.

— Да, а ты думаешь, я не хочу есть!

— Скаред! Жидоморка!

В другом конце гораздо явственнее слышится разговор, переходящий в ссору:

— Это ты мой хлеб украла? — говорит один голос.

— Чего мне воровать? у меня свой кусок был.

— Неправда. Ты и свой и мой съела!

— Тише! — кричит худенькая женщина в синем платье.

— Марья Николаевна! Скворцова мой хлеб украла! — слышится пискливая жалоба.

— Я и не думала воровать! Суслова врет,— отзывается контральто.

— Да, да, украла! Ты быка съешь! — кричит Суслова.

— А ты семь коров съела, а все толще не сделалась! — отзывается контральто.

— Вы обе станете на колени во время занятий,— произносит худенькая женщина в синем платье.

— За что же я стану стоять на коленях? Я не брала ее хлеба! Вы рады ко мне придираться,— отозвался контральто.

— Ты, Скворцова, без свидания с родными останешься на две недели.

— Нет-с, я буду жаловаться Анне Васильевне! Вы все на больших нападаете,— снова отозвался контральто.

Женщина, которую Скворцова называла Марьей Николаевной, быстро изменилась в лице. Оно приняло странное выражение гнева и в то же время мучительной горечи. На пожелтевших щеках выступили багровые зловещие пятна. Она быстро встала со своего места, подошла к Скворцовой и, дрожа всем телом, нервно сдернула ее с табурета.

— На колени! Сейчас на колени! Стой до прихода Анны Васильевны! — задыхающимся голосом произнесла она.— Ты жаловаться хочешь, жаловаться! Ты думаешь, что мне за тебя, за девчонку, за нищую, дадут выговор! Вы все думаете, что мы ваши горничные, что мы ваши служанки! Вы на голову нам сесть хотите! Подлые!

Марья Николаевна, не помня себя, схватила за ухо Скворцову и пригнула ее чуть не к самому полу.

— Здесь, здесь, у моих ног настоишься, наползаешься, прежде чем мне дадут из-за тебя выговор! — проговорила она, едва сдерживая подступавшие к ее горлу слезы.

Она неверной походкой удалилась на свое место, но уже не могла пить поданный ей чай.

— Вы бы воды выпили,— хладнокровно заметила с другого конца стола толстая женщина, одетая в такое же платье, как и Марья Николаевна.— Вам вредно сердиться!

Марья Николаевна Постникова промолчала. Она от всей души ненавидела это толстое создание, занимавшее, подобно ей, место приютской помощницы. Толстое создание — Ольга Никифоровна Зубова — в свою очередь тоже не любила «ледащую» Марью Николаевну, не любила, впрочем, только потому, что она никого не любила, кроме своей собственной особы.

— Старая девка... завидно, что я молода! — злобно ворчала между тем Скворцова.— Ты думаешь, я не пожалуюсь? Еще как пожалуюсь-то! Распекут еще, голубушка; опять истерика сделается! Женихи не сватаются, так и бесишься, что в девках приходится сидеть.

Дети между тем допили чай и встали. В комнате снова раздалось заунывное пение молитвы. Только теперь уже не слышалось контральто Скворцовой. Она сердито молчала и не молилась. Через минуту все перешли в залу с большим круглым столом. Здесь начиналась раздача работ. Дети, кроме шитья на заказ, должны были, как гласил приютский устав, «заниматься постройкой своей одежды». Работами распоряжалась Зубова. Все разместились по табуретам. Сидеть на этих табуретах без спинок было крайне неловко; девочки невольно горбились, и в комнате поминутно раздавались возгласы двух помощниц: «Как вы сидите!» Утренняя тьма между тем начинала рассеиваться; белый, мутный день вступал уже в свои права и налагал на все свой болезненный отпечаток. Лампы были погашены. Все маленькие и большие девочки казались теперь еще бледнее, болезненнее; они шили и вязали, вязали и шили. Зубова раздавала работу и показывала, как и что делать. Не шили только Скворцова и Суслова. Они стояли на коленях.

— Ступайте шить! — промолвила им несколько успокоившаяся Марья Николаевна.

Суслова поспешно вскочила с коленей и пошла за работой, но Скворцова не трогалась с места.

— Я тебе говорю: иди шить! — промолвила Марья Николаевна, уже снова начинавшая раздражаться.

— Вы велели стоять на коленях до прихода Анны Васильевны,— отозвалась Скворцова.

— А теперь я велю тебе шить! — приказала Марья Николаевна.

— Уж я лучше подожду Анну Васильевну. Пусть посмотрит, как я стою на коленях.

— Так ты не хочешь слушать меня? Так ты не хочешь? — снова вспылила Марья Николаевна, и опять на ее желтом лице появились багровые пятна и мучительное выражение.

Постникова подбежала к Скворцовой и, по-видимому, была готова прибить девушку.

— Что это вы, Марья Николаевна, на весь дом кричи-

те? Точно на базаре! — послышался ленивый голос, звучавший тоном пренебрежения.

В комнате начался шум: девочки раскланивались с начальницей, видимо, радуясь возможности хоть на мгновенье выйти из своей неподвижности. Марья Николаевна съежилась, понурила голову и потупила глаза перед высокою, полною седоволосою женщиной в роскошном чепце и шелковом платье.

На первый взгляд лицо старухи казалось очень добродушным, и только всматриваясь в него, наблюдатель мог заметить в опущенных углах губ выражение брезгливости, презрения и недовольства, да в глазах замечалось что-то убийственно холодное.

— Скворцова, ты на коленях? — промолвила старуха.— Это за что?

— Не знаю-с, Анна Васильевна,— скромно ответила Скворцова, невинно потупляя лукавые глаза.

— Как же не знаешь? Ведь за что-нибудь поставили тебя? — брюзгливо проговорила Анна Васильевна.

— Она отняла хлеб у Сусловой; та пожаловалась,— в замешательстве начала объяснять Марья Николаевна.

— Вы сами видели? — пренебрежительно спросила Анна Васильевна.

— Не видала, но...— начала Марья Николаевна.

— Что же, Скворцова сама созналась?

Прежде чем Марья Николаевна успела ответить на этот вопрос, Скворцова проговорила:

— Марья Николаевна об этом не спрашивали-с, а прямо велели мне стать на колени и заставили в ноги им кланяться, когда я сказала, что вы не позволяете ставить больших на колени! Марья Николаевна не любит выпускных.

— Она мне нагрубила,— начала Марья Николаевна.

— Да разве можно не грубить вам, если дети составили о вас такое мнение? — с пренебрежением произнесла Анна Васильевна.

— Марье Николаевне полечиться бы надобно,— вмешалась Зубова.— Она, бедненькая, нездорова все.

— Здесь не больница и не богадельня! — с раздражительностью произнесла Анна Васильевна.— Если вы чувствуете себя дурно, если вас все волнует, то кто мешает вам оставить место? Вы знаете — здесь насильно людей не держат.

Анна Васильевна велела Скворцовой встать и, с прене-

брежением взглянув на Марью Николаевну, отошла к другим воспитанницам посмотреть их работы; около нее вертелась и юлила толстая Ольга Никифоровна, тихим и вкрадчивым голосом передававшая начальнице разные мелкие сплетни.

Прошло около получаса, когда в комнате появился какой-то приземистый и довольно коренастый господин с большим орденом на шее, с гладко выбритым лицом, с коротко остриженными волосами, тщательно приглаженными на висках вперед в виде шор, и с оловянными глазами. Что-то сухое, деревянное и черствое было во всей фигуре этого господина. Это был доктор Федор Федорович Грохов, обрусевший немец, член благотворительных обществ и казначей приюта. Анна Васильевна встретила его с заискивающей улыбкой, на которую не последовало никакого ответа. Густые брови обрусевшего немца хмурились попрежнему угрюмо и сердито.

— Есть больные? — обратился он к Зубовой на ломаном русском языке; Грохов презирал этот язык «татар» и потому в течение сорокалетней жизни в России не выучился говорить по-русски.

— Маленькая Иванова нездорова,— ответила Зубова.

Доктору представили маленькую бледную девочку. Он посмотрел на нее своими бесстрастными оловянными глазами и сквозь зубы промолвил:

— Язик.

Девочка с испугом и недоумением взглянула на доктора; ей еще впервые приходилось лечиться.

— Покажи свой язык,— пояснила Зубова.

Девочка повиновалась не без некоторого смущения. Доктор взял ее руку, вынул часы и как бы замер в этом положении. Через минуту он приложил руку к голове девочки и грубо потыкал ее указательным пальцем в живот.

— Ленивий лихорадка,— процедил он сквозь зубы.— Ставить горшишник на затилок. Покрепше. Пусть покусаэт.

Он медленно перевел свои глаза на Зубову и снова спросил:

— Еще есть больний?

— Нет, больше нет,— ответила Зубова.

Доктор мелкими, но твердыми шагами, не сгибая толстых, коротеньких ног пошел по комнате. Его провожала Анна Васильевна.

— У вас опять передержка,— сухо заметил он начальнице.— Этак нельзе, этак нельзе!

— Я, доктор, решительно не могу содержать детей на отпускаемые деньги,— заискивающим и извиняющимся тоном ответила Анна Васильевна.— Теперь все так дорого.

— Надо давайт то, что дешево,— произнес доктор.— Их нельзе приучайт к роскош. Это нишие, это слюжанки, их нельзе кормить, как господ. Я богаче их, но я все ем, все ем. Ви дров много тратите, ви их так в пешь бросайт, без счету.

— Вы знаете, доктор, как холоден и сыр этот дом,— оправдывалась Анна Васильевна.

— Холод здоров для детей. Это только русский мушик к бане привик, на пешке любит валяться ленивый свинья. Ви дольшни приучайт их к порядошной жизни, шеловеками сделайт... Но я еще не смотрел ваш отшет подробно. Потом у вас в кухне, я слишал, они не шистят посюды, они не стирайт в прашешной, они поли не моют.

— Доктор, они слабы, и, кроме того, черная работа огрубляет руки; им будет трудно шить тонкое белье.

— Глюпости! Моя мать и моя шена все сами делают, все! Это у вас, русских, кашдая бариня стидится работать на кухне. Это негодяйство, это лень! Ви дольшни заставляйт девшонок все делать. Ви не барышен воспитует. Им палка нужна. Русский шеловек без палька шить не может. Это скот, грязний скот.

Доктор сухо протянул два пальца Анне Васильевне и, не кланяясь, вышел в переднюю.

Анна Васильевна возвратилась в свои комнаты в тревожном состоянии духа. Она уже предчувствовала, какая буря разразится над нею, когда Грохов вполне просмотрит ее отчет и увидит, что она передержала сто рублей в год. Ей придется добавить эти сто рублей из своего жалованья или лишиться места, последнего источника, поддерживавшего последние дни ее когда-то бурного существования.

В рабочей комнате продолжались между тем занятия; скука царила здесь невообразимая. Зевота и сон одолевали всех. Наконец раздался звонок и настал желанный час обеда. Кислые щи и поджаренный на горьком масле картофель были двумя блюдами, составлявшими на этот раз обед. Только Ольга Никифоровна и Марья Николаевна, хотя и обедали с детьми, но наслаждались более изысканными и более здоровыми блюдами, так как эти личности были помощницами, а не нищими, не будущими служан-

ками, и потому их не нужно было приучать к нездоровой пище. После обеда был час свободного времени, потом для взрослых воспитанниц наступал класс русского языка. Тотчас же по выходе из-за стола в комнатах начался невообразимый гам. Все дети бросились, толкая друг друга, в кухню с небольшими кофейниками варить свой собственный цикорный кофе. Брань, толкотня, хохот смешались вместе и не давали возможности разобрать, кто о чем говорил. У некоторых девочек появлялись целые груды булок, колбасы, ветчины. Все спешили насытиться, насладиться более питательной едой, чем казенные щи. Пить свой кофе, есть свои булки и колбасы — все это было запрещено высшим начальством. Но Анна Васильевна понимала, что дети могли бы умереть с голоду на одной казенной пище и потому разрешила им варить их собственный кофе и есть купленные ими съестные припасы. Только через час, мало-помалу, утих весь этот гам и старшие воспитанницы пошли в холодный класс ожидать учителя.

Учитель русского языка Антон Антонович Рождественский был человек лет двадцати пяти, очень некрасивый собой, постоянно небогато одетый и неловкий, как большинство людей, вышедших из семинарии. Несмотря на это его «обожали» все воспитанницы. Он был единственным молодым мужчиной, появлявшимся в этом монастыре два раза в неделю, за что ему выдавалось восемьдесят рублей в год. Кроме Рождественского сюда имели доступ из мужчин необъятно толстый красноносый дьякон Зубцов — учитель пения, отец Иона, дряхлый и глухой священник,— учитель закона божия, зоркий и строгий Боголюбов — делопроизводитель приюта, неподвижный и грубый доктор Грохов и, наконец, Иван Демченко, пьющий и дерзкий отставной солдат, исполнявший обязанности швейцара. Не мудрено, что взрослые воспитанницы, давно уже проскабливавшие краску на окнах, давно уже задыхавшиеся от скуки за бессменным шитьем и вязаньем, радовались, когда два раза в неделю наставал урок русского языка и к ним появлялся «душка» Рождественский. Уже между ними не раз слышалось: «Душка, уступи мне Рождественского: я тебе на будущей неделе все свои булки отдам».— «Да, так я и соглашусь! а у меня-то кто останется? Иона, что ли?» Сильнее всех волновалась перед появлением Рождественского Скворцова. В этой крепкой и неподатливой натуре долгие годы затворнической жизни, ежедневные придирки, сиденье за шитьем, еда щей, картофеля и каши не

могли убить ни здоровья, ни страстности, ни настойчивости характера. Напротив того, ее страстность только разгоралась все сильнее и сильнее среди скучных занятий, невольно наводивших ее мысль на более отрадные предметы; ее настойчивость и резкость укреплялись все более и более при каждом новом притеснении. Теперь, ожидая Рождественского, Скворцова вся горела, как в огне. Ее щеки пылали ярким румянцем; ее глаза то подергивались как бы туманом, то ярко светились и сверкали. Заслышав шаги Рождественского, она проскользнула в коридор и в полутьме быстро сунула что-то в руку учителю. Он испуганно отшатнулся в сторону, взглянул на девушку, потом на сунутую ему бумажку и поспешно опустил руку в карман. Все это совершилось так быстро, что не было замечено даже Марьей Николаевной, тоже торопливо вышедшей в коридор навстречу к учителю. Она встретила его с томной улыбкой и мягким голосом спросила о здоровье.

— Ничего-с! — неуклюже раскланялся Рождественский.

— А я вот все нервами страдаю,— проговорила Марья Николаевна, закатывая глаза.

— Да-с! — некстати ответил Рождественский и в совершенном замешательстве спросил: — Ученицы в классе-с?

— В классе... они всегда ждут вас с таким нетерпением, вы...

— Сейчас, сейчас иду-с,— произнес Рождественский, полагая, что помощница торопит его идти в класс.

Марья Николаевна вздохнула глубоким вздохом, и в ее голове промелькнула мысль: «Как он скромен. Божественный!»

При входе Рождественского в классе поднялся шум. Девочки лезли к нему с вопросами, с просьбами, с тетрадями. Учитель находился буквально в осадном положении, от которого его не могло спасти даже вмешательство Марьи Николаевны, кричавшей девочкам:

— Садитесь по местам! Тише, тише!

Это был глас, вопиющий в пустыне; девочки перестали шуметь только тогда, когда учитель принялся за диктовку. Он диктовал очень плохо, путался на каждом слове и, по-видимому, думал совсем не о том, о чем говорил. Бедняга был совершенно смущен полученной им запиской от Скворцовой. Это была уже не первая записочка, сунутая ему в руку смелой девушкой, но тем не менее он волно-

вался, не зная, чем кончится вся эта переписка. Сначала он не хотел открывать эту историю начальнице, не желая навлекать неприятностей на влюбившуюся в него девушку. Теперь же он уже не мог этого сделать, так как буря разразилась бы и над ним и, может быть, повлекла бы за собой его отставку из приютов Белокопытовых. Не бояться подобного конца этой истории Рождественский не мог, потому что, кроме ста шестидесяти рублей в год, получаемых из двух приютов, у него не было никаких определенных доходов и были только случайные заработки. Но разыграться история должна была скоро: содержание записочек делалось все решительнее. Рождественскому хотелось теперь поскорее вырваться из класса. Продиктовав несколько строчек стихов, отобрав тетради и спросив уроки, он, несмотря на сентиментальные вопросы и нежные взгляды Марьи Николаевны, торопливо ушел из класса, как только прошел урочный час. За этим часом следовал чай и отдых. В большой рабочей зале девочки играли и отдыхали от дневных трудов. Эта большая комната, довольно слабо освещенная большой лампой, выглядела в эти вечерние часы не очень весело. В среде детей не было никакого оживления; старшие воспитанницы собрались отдельными группами и о чем-то шептались; младшие неслышно играли; обе помощницы сидели за своей собственной работой в какой-то полудремоте и, уж конечно, не думали о том, что по уставу они должны «занимать играми маленьких воспитанниц». В комнате начинало по обыкновению делаться все холоднее и холоднее. Все кутались в зеленые байковые платки и, по-видимому, нетерпеливо ждали только ужина и сна. Сон был здесь единственным благом для людей, единственной целью, к которой стремились эти люди, вставая утром с постели.

Еще ужин не был подан, когда в залу вошла просто одетая, бледная девушка с черными вьющимися волосами. При ее появлении в комнате к ней бросилась навстречу маленькая, худенькая девочка. Они обнялись и горячо поцеловались. Это были две сестры Прилежаевы. Катерина Александровна, поцеловав сестру, поздоровалась с помощницами.

— Котик, а я без вас так соскучилась! — воскликнула Марья Николаевна, целуя старшую Прилежаеву и оттопыривая свои поблекшие губы.

— Что так рано из гостей воротились? — спросила с гримасой Ольга Никифоровна.

— Я не в гостях была; ходила домой, к матери,— заметила Катерина Александровна, садясь около Марьи Николаевны.

Зубова окинула глазами ее наряд.

— А это платье совсем не идет к вам, милейшая Катерина Александровна,— проговорила она.— Вам бы нужно лиф попышнее делать: у вас плечи узенькие.

— Я не забочусь о том, идет или не идет ко мне мое платье: было бы чисто,— холодно ответила Катерина Александровна.

Она почти не поднимала глаз, устремленных с любовью на маленькую Дашу, сильно похудевшую и окончательно притихшую в приюте.

— Что ж, ведь одним лицом нельзя удивить! — продолжала Зубова.

— Мне некого удивлять,— промолвила Катерина Александровна, задумчиво лаская свою сестренку.

— Какая скромница! какая скромница! — громко засмеялась Ольга Никифоровна, придавая добродушное выражение куску мяса, носившему название лица.

Ольга Никифоровна отошла от Катерины Александровны и Марьи Николаевны.

— Успела уже обидеть вас, кисынька! Змея, просто змея! Не огорчайтесь, пупенька,— шепотом промолвила Марья Николаевна, горячо сжимая руку Катерины Александровны.

— Меня трудно огорчить,— спокойно сказала Катерина Александровна.— После того горя, которое я видела, я, право, и не чувствую всех этих мелких царапин.

— Вы ангел, божественная! — воскликнула Марья Николаевна и чмокнула Катерину Александровну в щеку.— У-у, кисенок!

Катерина Александровна рассеянным взглядом посмотрела на детей и молча продолжала ласкать свою сестренку, которая прижалась к ней, как маленькая птичка под крыло матери.

— Здорова ли ты, моя голубка? — тихо спросила Катерина Александровна.— Ты такая бледная.

— Я здорова, сестрица! — как-то уныло ответила Даша.

— Ты скажи мне, если у тебя что-нибудь болит, если тебе скучно...

— У меня ничего не болит, сестрица,— с убийственной, недетской покорностью ответила Даша.

Катерина Александровна тяжело вздохнула и задумалась.

— Вы, цыпенька, не можете себе представить, что здесь за жизнь идет! — шептала между тем Марья Николаевна.— Это ад, это ад! Здесь все притесняют, давят друг друга. Я, кажется, не смотрела бы ни на кого: так противны мне эти люди. У меня сил не хватает терпеть эту жизнь!

— Разве вы думаете выйти в отставку? Как же придумали жить? — с оживлением спросила Катерина Александровна, полагая, что Марья Николаевна додумалась до каких-нибудь новых средств к жизни.

— Нет! Чем же я стану жить? Ведь у меня ничего нет... Но здесь, котик, я умру, непременно умру!

По лицу Катерины Александровны пробежала грустная и в то же время насмешливая улыбка.

— Вот вы какие, милочка, вы смеетесь, когда я страдаю! — упрекнула ее Марья Николаевна.

— Я не тому смеюсь,— заметила Катерина Александровна.— Но вы так смешно сказали, что вы здесь умрете, как будто в другом месте вы не умерли бы.

— Попочка, я не то хотела сказать. Я хотела сказать, что я умру здесь прежде времени. Здесь ведь ад, ад!

— Где же лучше? — спросила Катерина Александровна, и на ее лице снова отразилось выражение любопытства.

— Где? — растерянно переспросила Марья Николаевна.— Разве вы, киса, думаете, что везде так же дурно жить?

Катерина Александровна нетерпеливо пожала плечами.

— Я этого не думаю. Я сделала этот вопрос, чтобы узнать, куда вы хотели попасть, чтобы быть счастливою...

— Я, милочка, и сама не знаю,— наивно произнесла Марья Николаевна.— Я ведь совсем не знаю жизни... Ах, кисанька, сегодня был у нас Рождественский: какой он котик! Бука такой, оттопырил губы и исподлобья глядит, бяшка! У-у!

Катерина Александровна снова улыбнулась, но в ее улыбке промелькнуло легкое выражение презрения.

В эту минуту позвонили к ужину. Раздалось пение девочек, началась еда гречневой каши с прогорклым маслом и с черным хлебом, потом снова пение и отход ко сну.

Нежно поцеловав свою сестру и холодно подставив свою щеку под страстные поцелуи Марьи Николаевны, Катерина Александровна пошла спать.

В доме водворилась полнейшая тишина: живые мертвецы разместились по своим постелям-могилам. Бог знает, какие сны снились Зубовой, Марье Николаевне, Скворцовой, бледной маленькой Ивановой, поевшей и щей, и картофелю, и каши, несмотря на лихорадочное состояние и головную боль. Но как бы ни были страшны и несбыточны их сны, эти ночные грезы были все-таки менее призрачны, менее бессмысленны, менее дики, чем их жизнь днем.

Дом погрузился во мрак и выглядел еще угрюмее, чем днем. Только в четырех окнах на половине Анны Васильевны горели яркие огни. Здесь собралось веселое общество праздных стариков и старух и шла игра в карты, за которою почти постоянно проводила вечера Анна Васильевна.

— Maman, а ты и не сказала мне, что в твоем вертограде появилась новая гурия,— говорил Анне Васильевне господин с довольно большими черными усами, наглыми маслеными глазами и разбитными манерами. Это был тридцатилетний сын Анны Васильевны, Александр Иванович Зорин.

— А ты уж успел рассмотреть? — засмеялась Анна Васильевна, шутливо качая головой.

— Как же не рассмотреть? — воскликнул Александр Иванович.— Удивительно огненные глаза, черные, как ночь, волосы, поэтическая бледность лица...

— Пожалуйста, не входи в подробности; я ведь знаю, до чего ты способен дойти. Пожалуйста, поменьше смотри на моих помощниц,— игриво заметила Анна Васильевна, слегка ударив сына картами по лицу.— Я ведь тебя знаю!.. Все такой же шалун, как и прежде,— обратилась она к одному из партнеров, седому старику с воинственной физиономией и «Георгием» в петлице.

— Ну, ты уж и испугалась! — неприятным смехом засмеялся Александр Иванович.— А в самом деле, кто сия одалиска?

— Нищая какая-то. По протекции гиреевской горничной заняла место помощницы,— с пренебрежением произнесла Анна Васильевна.— Успела уже сделаться предметом обожания этой старой девы Постниковой.

— Ты все знаешь! — засмеялся сын.

— Нельзя же не справляться, что делается в среде этих девчонок.

— Тебе бы полком командовать,— промолвил с наглой иронией Александр Иванович.

— Командовали, командовали, батюшка,— засмеялся густым басом седой господин.

— И все твой верный плац-адъютант Ольга Никифоровна рапортует? — продолжал ироническим тоном Александр Иванович.

— Я ей очень благодарна, что она передает мне, что делается там,— сухо промолвила Анна Васильевна и обратилась к одной из игравших с нею дам.— Вы не можете себе представить, что это за вертеп... У меня постоянно голова разболится, когда я там пробуду хоть час.

— Ну, признайся, что ты никогда не пробовала там пробыть часу,— засмеялся сын, поддразнивая мать.

— Ах, боже мой, не сидеть же мне целый день между этими солдатками и будущими прачками.

— Уступи мне свое место и, клянусь тебе гробами всех моих отцов, я никогда ни на минуту не отлучусь от них,— драматическим тоном произнес сын.

— Ты все дуришь! — покачала головой мать, погрозив пальцем.

— Вы опасный человек! — смеялась барыня, игравшая в карты и очень радовавшаяся, что ей удалось во время разговора приписать сотню фишь в своих записях за партнерами.

— Почему же опасный? — небрежно спросил Александр Иванович.

— Ну да, ну да, уж сами знаете почему.

— Ей-богу, не могу и представить, почему я опасен, и даже для вас,— пожал плечами Зорин.

— Потому что говоришь под руку! Я ремиз вот из-за тебя поставила,— сердито произнесла Анна Васильевна, чувствуя, что ее сын сейчас начнет грубить.

Еще долго шли в ее гостиной подобные интересные разговоры. Но и на половине детей не все спали. Там не спала Катерина Александровна. Она, лежа на своей постели, прислушиваясь к храпению и бреду детей, размышляла о своей судьбе и о судьбе своей семьи. Не очень веселы были ее думы.

II

«ПЕРЕДАЙТЕ СОСЕДУ» — СТАРАЯ ИГРА В ЕЕ ПРИМЕНЕНИИ К УПРАВЛЕНИЮ

Уже прошло около двух недель с тех пор, как Катерина Александровна впервые переступила порог этого невеселого дома, с тех пор, как впервые она уснула в общей спальне под звуки детского храпенья. Но только теперь она могла дать себе ясный отчет о той среде, о тех личностях, среди которых ей приходилось жить. В предшествовавшие дни она ко всему присматривалась, прислушивалась, собирала обо всем сведения,— теперь ей было вполне ясно, какой мирок окружает ее. Вывод был не очень веселый, хотя в то же время склонный к юмору ум девушки и увидал, что все окружающее ее крайне нелепо, смешно и комично.

Приют графов Белокопытовых был одной из сотен тяжелых обуз, оставленных в наследство графу Дмитрию Васильевичу Белокопытову и его родственникам одним из их предков. Этот предок когда-то получил в течение пяти или шести лет до пятнадцати тысяч душ крестьян в виде подарка. Он не мог проживать всех получаемых им оброков с крестьян, несмотря на то, что он содержал сотню дворовых людей, десятки музыкантов, множество любовниц, целые своры собак, давал балы и обеды на целую губернию. Вследствие этого он задумал потешить себя новыми затеями, настроил из крестьянских денег богаделен, приютов, завел пансионеров-бедняков и, делая духовное завещание, поставил наследникам в обязанность продолжать начатые им филантропические затеи. Шли годы, в среде пансионеров, в богадельне и в приютах по-прежнему звучали молитвы за благодетелей, но сами благодетели были уже не те и не так смотрели на своих прихлебателей, как их предшественники. Дело в том, что имение дробилось, прокучивалось по частям; потомкам привередливого богача делалось все труднее и труднее поддерживать учреждение предка и выдавать, согласно завещанию последнего, ежемесячные пенсии. Такие личности, как граф Дмитрий Васильевич Белокопытов и его сын, не только не гордились тем, что в основной капитал разных филантропических учреждений положены их фамилией десятки тысяч, но просто раздражались, вспоминая, что на эти десятки тысяч было бы еще возможно устроить порядочную оргию, подарить пару рысаков любовнице и, может

быть. уплатить кое-какие мелкие долги разным вахмистрам, унтер-офицерам, камердинерам и тому подобным людям, очень бесцеремонно требовавшим отдачи своих денег или прикрытия своих грабительских проделок. Граф Дмитрий Васильевич, принужденный выжимать из своих крестьян последние соки и все-таки не имевший возможности свести концы с концами, настолько ненавидел все благотворительные учреждения, носившие его фамилию, что никогда не пользовался своим правом заседать вместе со своими родственниками в комитетах, управлявших делами этих учреждений. Большинство его родственников мужчин смотрели на дело не лучше, и потому делами учреждений управляли главным образом женщины — Дарья Федоровна Белокопытова, Марина Осиповна Гиреева и тому подобные личности.

Но у всех этих барынь было чрезвычайно мало свободного времени; они должны были делать и принимать визиты, ездить на официальные балы и обеды, так как пропустить какой-нибудь бал или обед было невозможно, не возбуждая толков о своих отношениях к тем лицам, на чьем балу или обеде они вздумали бы не появиться; им приходилось проводить утренние часы за рассматриванием модных материй, привезенных из английского магазина, за примеркою платьев, доставленных от модисток, за просматриванием счетов, принесенных их управляющими, и устройством своих чисто семейных дел. Эти барыни в то же время занимались общественной деятельностью, заседали в разных филантропических комитетах, посещали богадельни, приюты и тюрьмы. В тюрьме между арестантами Гиреева даже успела сделаться популярной настолько, что однажды у нее там вытащили на память из кармана кошелек и отрезали золотые часы. Кроме того, княгиня Гиреева, имевшая близких родственников в дипломатическом мире, принимала живое и деятельное участие в судьбах Европы, переписывалась с Гизо и Монталамбером и очень ревностно занималась вопросом о сближении англиканской церкви с православною, видя возможность этим путем тесно связать Россию с Америкой. Графиня Белокопытова, хотя и была младенчески несведуща в политических вопросах, но так же, как и Гиреева, заботилась о делах православия; она вела деятельную переписку с несколькими архиереями, вводившими православие между евреями, поляками, кавказскими народами и инородцами Сибири. Отказав себе в самом необходимом, она пожертвовала для

раздачи киргизам тысячу посеребренных крестиков, несколько тысяч картинок духовного содержания и сшила сто воздухов из собранных ею у знакомых поношенных шелковых платьев. Все это отнимало у Гиреевой и Белокопытовой возможность управлять своими собственными благотворительными учреждениями. Кроме того, эти женщины были отлично образованы, но почти безграмотны: Гиреева, хотя и переписывалась о судьбах Европы с Гизо и Монталамбером, хотя и знала первые четыре правила арифметики, но очень плохо умела писать по-русски и делала довольно крупные грамматические ошибки. Дарья Федоровна, хотя и вела душеспасительную переписку с разными архиереями, хотя и писала правильно по-русски с тех пор, как отбросила окончательно буквы ѣ, э и ь, но зато она не знала даже первых четырех правил арифметики и приходила в полнейшее смущение, когда ей нужно было свести самые несложные счеты. Особенно пугали ее дроби, и она никак не могла понять, каким образом $^1/_7$ может быть меньше $^1/_3$.

Вследствие всего этого благотворительницы устроили целую администрацию, целый департамент управления своими филантропическими учреждениями. Здесь были попечители, казначеи, правители дел, секретари, писцы, взятые из того слоя общества, в котором более всего грамотных людей, к которому принадлежали действительный статский советник Боголюбов и доктор Грохов, люди, дошедшие от нищеты до благосостояния при помощи труда, действительных знаний и уменья удить рыбу в мутной воде. Боголюбов и Грохов вертели делами, представляли попечительницам невообразимо сложные отчеты с точными указаниями на какие-нибудь израсходованные $^2/_9$ частей копейки, и попечительницы оставались вполне спокойны, не умея проверять счетов и оставляя за собою только право посещать в высокоторжественные или свободные дни свои приюты и богадельни и определять туда детей, стариков, помощниц и начальниц.

Но, доставляя отчеты барыням, Боголюбовы и Гроховы никогда не забывали, что для них гораздо больше значения имеют определившие их на места мужья и родственники этих барынь, чем сами барыни, и потому стремились сообразоваться в своем управлении делами с целями мужской половины фамилий Белокопытовых и Гиреевых. Стремления же мужчин сводились к одному: соблюсти формальную сторону и тратить как можно меньше денег

на дело. Вследствие этого вся деятельность Боголюбовых и Гроховых направилась на то, чтобы в уставах благотворительных учреждений появлялось как можно больше громких и жалких слов для утешения барынь и как можно меньше статей расходов для успокоения мужчин. Так, в уставе приюта говорилось, что детям должна даваться сытная и здоровая пища, по полуфунту говядины и по полутора фунта хлеба в день, два раза чай с хлебом, ужин из одного блюда и тому подобное, а в смете значилось, что на воспитанницу отпускается только девять копеек в сутки. Барыни восхищались словами о сытной и здоровой пище, о полуфунте говядины в день и, вследствие отсутствия арифметических знаний, никак не понимали, что на девять копеек нельзя приготовить обеда, ужина и чая, если бы даже за говядину платилось только 10 коп. за фунт. Мужчины пропускали без внимания громкие фразы и выражали свое удовольствие за то, что бюджет доведен до minimum'а. В бюджете действительно появлялись очень интересные статьи; так, например, для 50 воспитанниц на канцелярские принадлежности, учебные пособия и медикаменты отпускалось только 60 руб. в год; на мыло и прачешные потребности 50 руб. в год; на одежду, обувь и белье по 13 руб. на воспитанницу; на еду служителей по 7 коп. в день. Одним словом, Боголюбовы и Гроховы довели бюджет до того, что призреваемые умерли бы с голода, если бы они не ели своей пищи, не пили своего кофе, не насыщались бы где-нибудь вне приюта в праздники. Конечно, администраторы не забыли себя и довольно щедро назначали суммы на ремонт здания, на разъезды себе. Так, например, за разъезды Боголюбов получал до 350 рублей в год и посещал приют не более как раз в месяц! Мужская половина фамилий Белокопытовых и Гиреевых таким образом была вполне довольна и всеми силами старалась выводить в люди Боголюбовых и Гроховых, платя этим дешевым способом за их усердие. Барыни тоже были в восторге и прославляли Боголюбовых и Гроховых за самоотверженные заботы о бедных, за служение на пользу бедных людей без жалованья. Боголюбовы и Гроховы с достоинством несли звание «друзей бедных», с благодарностию принимали то чин, то доходное место или награду от казны и благодушно предоставляли начальницам филантропических учреждений сводить концы с концами из выдаваемых по смете сумм.

Если Боголюбовым и Гроховым нелегко было состав-

лять уставы, удовлетворяя и барынь и мужчин, то начальницам богаделен и приютов предстояла не менее трудная задача накормить на 9 копеек каждого из призреваемых. Однако от кандидаток в начальницы не было отбою. Это было, по-видимому, странно. Но дело в том, что кандидатки в начальницы как женщины совершенно не умели рассчитать заранее, выгодно ли будет их место; кроме того, они знали, что старые уставы, составленные предком Белокопытовых, назначали еще меньше денег на еду и что, несмотря на это, первые правительницы не только сводили концы с концами, но даже и наживались. «Если они наживались, значит, и мы можем нажиться»,— рассуждали они, не понимая того, что бюджеты старых уставов были простою формальностью: в приюты и богадельни в старые годы неслась и везлась провизия из деревень старого Белокопытова, и этой провизии было столько, что призреваемые не могли ее истребить и начальницы просто торговали ею. Мука, крупа, гуси, куры, мед, сушеные грибы — все это было предметами торговли, и начальницы уподоблялись помещицам, собиравшим оброк со своих деревень. Теперь же провизии, привозимой крестьянами Белокопытовых, не хватало и для самих господ, так как они все оброки перевели на деньги. В приюты и богадельни не перепадало ничего. Учредитель этих благотворительных заведений постоянно присылал в них экстренные суммы, теперь же Белокопытовы старались всеми силами только об ограничении средств этих учреждений и даже выставили кружки для сбора подаяний у прохожих; но прохожие шли своим путем, а кружки так и стояли пустыми. Только какой-то негоциант, живший рядом с приютом и потерявший счет деньгам, ежегодно при получении из-за границы транспорта с фруктами присылал в приют ящик апельсинов. Но что значат апельсины там, где недостает хлеба. При таком положении дел новым начальницам благотворительных заведений нечего было и думать о наживе. Приходилось при поступлении на место заботиться только об одном: чтобы не попасть в долговое отделение.

Начальницы определялись на места, как мы сказали, через барынь, но очень хорошо знали, что им нужно более всего дорожить благорасположением Боголюбовых и Гроховых, так как последние могли в своих отчетах по воле и скрывать и выставлять на вид передержанные суммы, утраченное белье, разбитую посуду и тому подобное. Если начальницы успевали заслужить расположение Боголю-

бовых и Гроховых, то они могли спокойно спать, так как не только не всплывали наружу никакие из их промахов, но даже плохое содержание детей не могло броситься в глаза барыням при посещении ими своих филантропических учреждений. Боголюбовы и Гроховы, выпытав у барынь, когда они посетят то или другое из этих учреждений, давали знать излюбленным начальницам о том, что нужно в течение таких-то и таких-то дней быть наготове и держать все в чистоте и порядке. Белокопытовы и Гиреевы приезжали, находили чистое белье на постелях, чистую одежду на девочках или призреваемых старцах, чистые щи и свежее масло,— и успокаивались, выразив свое удовольствие начальницам.

Начальницы по большей части выбирались из вдов полковников и подполковников, из женщин, воспитывавшихся в институтах, проживших в довольстве половину жизни, игравших роль важных барынь и вследствие того не сумевших скопить гроша на черный день. Богадельня или приют, вверенные их надзору, должны были сделаться, в сущности, филантропическими пристанищами и для них самих. Но увы! теперь в этих учреждениях шло все наоборот, и вместо теплого местечка женщины попадали в ловушку, доводившую их до окончательного разорения. Именно в таком положении находилась и Анна Васильевна Зорина.

Ее муж был когда-то адъютантом покойного князя Гиреева; она была ловкою полковою дамой. В ее доме молодежь высшего круга не находила ни холодной сдержанности аристократических салонов, ни буржуазного скопидомства чиновнической среды, ни мужицкой неразвитости купеческого круга. Здесь можно было под конец веселой пирушки расстегнуть нижнюю пуговицу у мундира и завести интрижку на пару дней с хозяйкой; здесь можно было напиться и насытиться, не отравляя себя рублевым лафитом и начиненными капустой гусями; здесь можно было говорить на чистом французском языке, говорить о литературе, об общественной жизни, о театрах и балах, а не о белой арапии и не о небесных знамениях. Хозяева жили сегодняшним днем, никогда не вспоминая о том прошлом, когда у них, быть может, не было хлеба, и не думая о будущем, когда им, быть может, придется ходить с протянутой рукой. Муж и жена не стесняли друг друга и не спрашивали, почему он бросает нежные взгляды на жену ротного командира, а она слишком часто принимает к себе новоиспеченного прапорщика. Шли годы; у Анны Василь-

евны уже было несколько взрослых детей, имевших поразительное сходство с офицерством того полка, где служил ее муж; у нее было еще более седых волос и морщин и при этом совершенно не было денег. Ее муж умер, дослужившись до чина подполковника, умер скоропостижно в день ревизии; говорят, что при ревизии оказался большой недочет во вверенных ему суммах, но полк не задумался ни на минуту и заплатил за Зорина недостающие деньги: это было вполне благородно, так как нужно же было отплатить товарищу за его пиры и за любезность его жены. Но Анна Васильевна все-таки была без средств к жизни и должна была кормить не только себя, но и своего старшего сына. Этот сын был «enfant terrible»[1] Анны Васильевны. Он воспитывался в корпусе, когда его семья вела еще разгульную жизнь; он рано сделался сердцеедом и любимцем полковых дам; мать восхищалась баловнем, вспоминая свою молодость; иногда она журила его за кутежи, но он целовал ручку милой maman, напоминал ей имена каких-то прапорщиков; maman трепала его по щеке, произносила «шалун, шалун», и мир заключался снова; все шло отлично до того рокового дня, когда Зорин-père[2] окончил смертию свою жизнь. В этот день Зорин-fils[3] остался без всякой поддержки и значительно потерял цену в глазах своих кутящих собратьев. Ему пришлось кутить на чужой счет; этого как честный дворянин он не мог делать, по крайней мере, покуда, с непривычки. Не раздумывая о том, что привыкнуть можно ко всему, даже и к кутежам на чужой счет, он вышел в отставку и переселился к своей матери. Жить на ее счет не значило жить на чужой счет: с родными церемонии и счеты обыкновенно отбрасываются в сторону. Отставной полковой петух и отставная полковая барыня — на что они годятся? В надзиратели и в надзирательницы за чьей-нибудь нравственностью, самое лучшее. По крайней мере, так думают у нас.

Именно подобное назначение и было дано Анне Васильевне: Гиреева дала ей место начальницы в приюте Белокопытовых. Мать и сын зажили мирно: мать окружила себя тесным кружком отставных и пообедневших полковых кутил и барынь и жила воспоминаниями за пульками преферанса; сын, будируя на несправедливую судьбу, едко подсмеивался надо всем и всеми, лениво позевывал в об-

[1] ужасным ребенком *(фр.)*.
[2] отец *(фр.)*.
[3] сын *(фр.)*.

ществе стариков, говорил либеральные фразы о бесплодной деятельности у нас в России и делал глазки горничным, сознавая, что для них он еще сохранил в себе достаточную дозу обаятельной прелести и что здесь его деятельность, наверное, принесет плоды.

А управление приютом?

— Ах, эти девчонки мне так надоели! — говорила Анна Васильевна.— Это какие-то дети вертепов и омутов. Я просто теряю с ними голову. И что же я могу поделать с ними? Я даже накормить их не могу. Их надо накормить на какие-нибудь девять копеек. Ведь этих денег нам с Александром на булки не хватило бы... Ну и пришлось опять сделать передержку!..

Вследствие этого Анна Васильевна, не желая под конец жизни расстраивать своих нервов и портить своего характера, предоставила надзор за детьми помощницам и заботилась только о том, чтобы детям позволяли пить свой кофе, есть свои булки и чтобы в праздники отпускались к родителям все воспитанницы, хотя по уставу отпускать детей к родителям позволялось только в том случае, если родители этих детей известны начальнице за порядочных людей. Хозяйственная часть всецело передалась в руки кухарки, горничной и швейцара, так как эти люди умели лучше Анны Васильевны купить тухлую говядину, горькое масло, сырые еловые дрова и тому подобные дешевые предметы, дававшие возможность соблюсти экономию, свести концы с концами. Анна Васильевна — надо ей отдать справедливость — еще могла волноваться, видя, какою отравой кормят детей, но прислуга давно уже потеряла эту способность; вследствие этого Анна Васильевна не выходила в кухню и столовую в то время, когда избранные ею отравители спокойно делали свое дело. Иногда отравляемые возмущались; иногда они слишком бесцеремонно вырывали друг у друга куски хлеба; порою, проскользнув перед ужином в столовую, похищали весь поданный картофель, не оставив своим менее ловким ближним ничего,— в эти минуты все трудное дело усмирения бунтующих взваливалось на помощниц.

Но что же могли сделать помощницы?

Знаете ли вы, что значит помощница?

Это нуль, носящий какое-нибудь женское имя.

Я не встречал в жизни ни одного более жалкого создания, чем классные дамы, помощницы и тому подобные девственницы закрытых учебных заведений. Монахиня вы-

носит свою затворническую жизнь, убивает свою плоть во имя убеждения; бедняк терпит свою нужду, вечно питая надежду на лучшее будущее. Ни того ни другого нет у этих жалких существ для возбуждения их энергии. Эти женщины поступают на свои места не потому, что они любят детей, не потому, что они любят дело воспитания, но потому, что у них нет куска хлеба, нет возможности и уменья заработать этот кусок хлеба каким-нибудь другим способом. По большей части эти девушки поступают на свои места в том возрасте, когда женщина теряет надежду на замужество. Они уже при поступлении на свои места носят в себе порядочный запас разочарований, желчи, расстройства нервов, и все эти задатки начинают здесь развиваться все сильнее и сильнее. И днем и ночью эти женщины не принадлежат себе. Ежеминутно им приходится усмирять детей, смотрящих на них неприязненно. Ежеминутно они должны опасаться выговоров начальницы, в глазах которой классная дама или помощница отвечает и за свои ошибки, и за проделки детей. Даже в так называемый свободный день классная дама не принадлежит себе: в ее комнатке, помещенной между дортуарами, почти не могут быть приняты гости, не только мужчины, но даже и женщины, так как начальница станет косо смотреть на ту из своих помощниц, у которой часто бывают собрания. Здесь ярче всего проглядывает различие взглядов общества на мужчину и женщину. Гувернер может быть женатым человеком, классная дама или помощница не может быть замужнею; гувернер может в своей квартире принимать не только мужчин, но и женщин; он может устраивать в ней не только обеды, но и оргии, классная дама или помощница не только не имеет права принимать мужчин у себя, но даже не имеет квартиры; ей отводится комната около спальни детей; по большей части даже ее кровать помещается не в ее комнате, а в спальне детей, так что она не имеет возможности даже в ночном затишье остаться без свидетелей. Классная дама или помощница окружена шпионами; за ней следят дети, большинство которых, ненавидя ее и не имея никаких жизненных вопросов, пристращается к сплетне; за нею следит прислуга, желающая выслужиться перед начальницей; за нею следят ее подруги, или завидующие ей, если она моложе их, или ненавидящие ее, если она старше их; за ней следит начальница, стремящаяся поддерживать в своем учебном заведении чистейшую нравственность. Среди этой сплошной

сети шпионов и врагов несчастная женщина не имеет даже отрадной надежды, что ее положение есть только переходная ступень к лучшей жизни. Нет, классная дама или помощница знает, что ее положение не может измениться к лучшему никогда, что оно будет длиться до гробовой доски, что если оно и сменится, то сменится местом в какой-нибудь богадельне. О замужестве ей нечего и думать: она — старая дева. А что же может быть в глазах пошлого света смешнее, чем старая дева! Холостяк — это человек, который не хотел выбрать жены, который дорожил более всего волей, который отличался очень вкусом и потому не нашел равной себе женщины. Он может гордиться тем, что он остался холост. Старая дева — это создание, от которого отворачивались все мужчины, которому никто не хотел предложить своего сердца, с которым никто не хотел связать своей судьбы, это залежавшийся товар. Она или стыдится своего положения, или негодует на весь свет, в котором она является каким-то пятым колесом, ненужной спицей. Еще сильнее отчуждается старая дева от всего живого, попадая в воспитательное заведение. Среди замкнутой от остального света жизни, среди рокового сознания, что их жизнь не изменится, эти создания лишаются всякого понимания действительных интересов, делаются крайними идеалистками, привязываются — так как в них еще жива неудовлетворенная потребность любви — к какому-нибудь одному существу платоническою любовью, в их характере появляется что-то детское, что-то идиотичное, что-то напоминающее разжижение мозга. Кто долго вращался в этом мире, кто знаком с его внутреннею закулисною жизнью коротко и близко, тот знает, что в домашнем языке этих женщин появляются даже такие слова, которых вы не встретите нигде: «пупенька», «киса», «кисочка», «котик», «бяшка», «бяка», «цыпа», «цыпенька», «цыпулька» и тому подобные претящие эпитеты даются друг другу этими женщинами, иногда давно уже пережившими свои роковые тридцать лет. Даже их обоюдные поцелуи — хотя это замечание и покажется смешным — звучат совершенно иначе, чем поцелуи простых смертных,— в них есть что-то приторное, что-то тошнотворное; это медленные, сочные поцелуи; эти женщины скорее лижутся, чем целуются. Пробыть в их интимном кругу несколько времени невыносимо, отвратительно... Впрочем, это заповедный для общества мир, и только случай может дать простому смертному возможность проникнуть в этот мир весталок.

Долгие наблюдения непременно заставят наблюдателя разделить этих женщин на четыре разряда: к первому разряду принадлежат забитые, безмолвные, отупевшие создания с вечными нервными болями, флюсами, слезами, страдающие малокровием и кого-нибудь обожающие, это овцы, идущие на заклание; ко второму принадлежат желчные личности, едко смеющиеся, иногда злобно остроумные, вечно огрызающиеся, сухие и несколько желтые; к третьему разряду принадлежат толстые, полнокровные, заплывшие жиром женщины, словно лишенные нервов, вечно сплетничающие, роющие другим яму, имеющие вид не то базарных торговок, не то оставивших свое ремесло и сколотивших гроши содержанок; к четвертому разряду причисляются женщины, поступившие на подобные места только для того, чтобы приискать поскорей другое положение; эти люди сидят здесь, как на станции, как в клетке, ожидая, когда перед ними распахнется дверь их временной тюрьмы. Да не обманет судьба их надежд!

В приюте графов Белокопытовых были две помощницы до вступления в него Катерины Александровны. Одна из них была Марья Николаевна Постникова, забитое и больное существо, вечно дрожавшее за свою участь, вечно обожавшее кого-нибудь, вечно переходившее от слез к поцелуям, от страха к беспредметным надеждам. Другая помощница была Ольга Никифоровна Зубова,— нечто вроде куска мяса. Она могла бы ужиться во всяком положении: торговать на Сенной вареным картофелем или гнилыми апельсинами, содержать дом терпимости, быть смотрительницей в тюрьме, состоять сиделкой при больном, исполнять должность палача. Еда примирила бы ее со всяким положением, и во всяком положении она занималась бы только одним — шпионством. Шпионство, по ее внутреннему убеждению, было единственным средством стать выше всех равных с нею. Шпионством она держала всех равных себе и низших в страхе; шпионством она выслуживалась перед высшими. Она шпионствовала с любовью, с веселым лицом, с юмором. Предметов для шпионства у нее было неограниченное число; резкая фраза, сказанная про высших лиц, и слишком кокетливый наряд, невинный поцелуй двух девушек и записочка, переданная учителю, невнимательно положенный крест во время молитвы и слишком громкий смех двух шепчущихся личностей,— все это принималось к сведению и передавалось кому следует.

К этим двум личностям присоединилась и Катерина

Александровна в качестве третьей помощницы. Тотчас же по вступлении в этот мирок она подверглась обожанию Марьи Николаевны и мелким нападениям Ольги Никифоровны, старавшейся открыть какую-нибудь слабую сторону в новенькой помощнице.

Катерина Александровна не привыкла к дружбе и была очень сильно занята своими планами, а потому не могла отвечать ни на страстные поцелуи Марьи Николаевны, ни на придирки Ольги Никифоровны. Она держала себя холодно, неприступно и всматривалась в окружающую ее жизнь. В ту бессонную ночь, когда мы застаем ее в приюте, она уже вполне сознавала, что это место в приюте, эта постель в общей спальне будут только станцией, временным помещением для нее. Она видела, что не Гиреева, не Боголюбов, не начальница, не помощницы ведут здесь хозяйственные дела, а в сущности швейцар, кухарка, прачка и вообще прислуга. Они распоряжаются закупкой провизии; они изобретают дешевые обеды; они же берегут белье, посуду и тому подобное или способствуют уничтожению этих предметов. Но кроме хозяйственной части эти люди захватили в свои руки и право наблюдения за нравственностью живущих в приюте: они наблюдают и за детьми, и за помощницами и передают прислуге Боголюбова, Грохова, Гиреевой обо всем происходящем в доме. При помощи сплетен этих личностей Гиреева, Белокопытова, Грохов, Боголюбов и сама Анна Васильевна узнают все, что случается в приюте. Подвергнуться опале этих лиц — значит навлечь на себя неприятности со стороны властей. Катерина Александровна поняла, что ее деятельность должна ограничиться одними полицейскими обязанностями, что она не могла принести никакой пользы воспитанницам, так как не от нее зависело изменить их пищу или дать им лучшее образование или внести разнообразие в их жизнь. Она видела, что и ей самой никогда не освоиться с поцелуями и слезами Марьи Николаевны, с ехидною злобой Ольги Никифоровны или с холодным пренебрежением Анны Васильевны. Она начала задумываться о том, что предпринять, как выйти из этого мирка пошлости и глупости. Покуда в ее голове еще не было никакого определенного плана об исходе, но она уже начинала убеждать себя в том, что она вырвется отсюда при первой возможности, и в ее отношениях ко всем неприятностям нового положения начало проглядывать невозмутимое спокойствие. Так обыкновенно встречают люди жизненные невзго-

ды, когда они твердо убеждены, что эти невзгоды пройдут. В ее взгляде на все происходившее кругом явился оттенок юмора. Она с улыбкой слушала колкости Зубовой и слезливые излияния Постниковой; она без раздражения выносила презрительные взгляды Анны Васильевны и даже не оскорбилась, когда сын Анны Васильевны назвал ее «милочкой». Молодая девушка еще не знала, как тяжело будет ей сохранять хладнокровие и спокойствие, когда неприятности и обиды будут длиться не день, не два, а целые месяцы и, может быть, года. Но покуда она еще не падала духом. Ее поведение отчасти озадачивало окружающих, и они уже начинали смотреть на Катерину Александровну подозрительными глазами, стараясь узнать, не имеет ли она каких-нибудь слишком близких и важных благодетелей, связь с которыми дает ей возможность не бояться никого. Все знали, что ее определила на место княгиня Гиреева, все видели, что однажды к ней на минуту заехала Глафира Васильевна, и потому предположениям не было конца.

— Она там с прислугой княгини, кажется, знакома,— заметила как-то Анна Васильевна Зубовой, делая пренебрежительную гримасу.

Зубова поняла, что нужно сейчас же навести справки.

— Вы, милая Катерина Александровна, давно знакомы с Глафирой Васильевной? — спросила как бы мельком Зубова, делая самое невинное лицо.— Верно, мамаша ваша дружна была с ней?

— Нет, матушка не была дружна с ней,— ответила Катерина Александровна.

— Так это вашего покойного батюшки знакомство?

— Отец ее не знал...

— Неужели! А она так любит вас, так любит; верно, вы выросли под ее тепленьким крылышком?

Катерина Александровна улыбнулась.

— Я росла в своей семье,— ответила она.

Зубова начинала сердиться.

— Странно что-то. Не знакомы, никогда не видали друг друга, а между тем она справляться о вас как о дочери приезжала!

Катерина Александровна ничего не ответила.

— Вы уж очень скрытные,— некстати проворчала Зубова.

— Это вам так кажется,— засмеялась Катерина Александровна.— Мне нечего рассказывать, потому я и молчу.

Вечером Марья Николаевна таинственно шептала Катерине Александровне:

— Кисочка, у вас, верно, есть какая-нибудь тайна.

— Тайна? — удивилась Катерина Александровна.

— Ну да. Утром вы так ловко увернулись от ответов этой противной Зубовой. Я сейчас же поняла, что вы не хотите, чтобы знали о ваших отношениях к княгине.

— Марья Николаевна, вы ничего не поняли,— промолвила Катерина Александровна.— Мои отношения к княгине ограничиваются тем, что я воспитывалась в ее школе, потом попросила у нее места и была определена сюда.

Марья Николаевна надула свои бледные губы.

— От меня-то, кажется, не для чего скрывать! — воскликнула она.— Вы холодная, холодная! Я вас так люблю, так обожаю...

— За что же, Марья Николаевна? Вы так мало меня знаете.

— Неприступная! — нахмурилась Марья Николаевна и сделала детски-обиженное лицо.

В тот же вечер Зубова говорила Анне Васильевне:

— Прилежаева-то не через служанку княгини попала к нам в помощницы. Ее, кажется, знает сама княгиня. Это просто к нам шпиона подослали.

— Ну и пускай подсылают! — раздражительно промолвила Зорина.— Мне нечего бояться. Я с княгиней сама знакома; мы домами знакомы!

— Да я ведь знаю, Анна Васильевна. Не станет же княгиня вас равнять с какой-нибудь девчонкой,— простодушно заметила Зубова.— Конечно, может быть, эта девчонка и станет сплетничать на вас, да не поверит же ей княгиня.

— Что сплетничать-то? — раздражалась снова Зорина.

— Конечно, нечего! — успокоила ее Зубова.— Разумеется, можно выдумать что-нибудь, да ведь это все пустяки. Если она и станет рассказывать, что вот у вас живет добрейший Александр Иванович, то ведь это будет пустая сплетня. Княгиня сама может убедиться, что он не у вас прописан, что он только в гости к вам ходит.

— Что же вы думаете, что уж и сыну запретят ходить к матери! — воскликнула Анна Васильевна.

— Как можно, как можно! Это ни с чем не сообразно! — распиналась Ольга Никифоровна.— Разумеется, эта девчонка не постыдится утверждать, что он у вас безвы-

ходно живет, что он только для виду прописан на другой квартире.

— Да она разве об этом что-нибудь говорила?

— Нет, нет, не говорила. Но все же, знаете, уж сейчас видно, что она под нас подкопаться хочет.

— Ну, мы еще посмотрим, кто кого выживет отсюда. Я не люблю, чтобы за мною следили! — твердо промолвила Зорина.

— Конечно, конечно, у вас связи-то покрепче! — успокоила ее Зубова.

Обе женщины обманывали друг друга. Зубова намекала на незаконное житье Александра Ивановича у матери для того, чтобы дать понять Анне Васильевне, что и она, Зубова, видит очень хорошо грешки начальницы и только по своей преданности молчит о них. Анна Васильевна гордо заметила, что никто не может запретить сыну бывать у матери, но в глубине души начала сильно тревожиться, вполне сознавая, что не сегодня, так завтра до Гиреевой и до Белокопытовой могут дойти слухи о пребывании мужчины в женском приюте и что, пожалуй, не только ее Александру придется оставить свою мать, но и самой матери трудно будет усидеть на месте.

Катерина Александровна, конечно, и не подозревала, что ее считают шпионом княгини, что ее боятся, но она ясно видела, что с ней обращаются как-то странно. Она не понимала, почему к ней пристают с расспросами Зубова и Постникова, почему Зорина говорит при ней особенно многозначительным тоном о своей силе, о том, что под нее трудно подкопаться, что ее уже пробовали сжить с места некоторые люди, но сами слетали с мест прежде нее. Если бы Катерина Александровна знала все тайные причины этих сцен, то ей показались бы еще смешнее все эти жалкие, пошлые и глупые личности.

Смотря на них, молодая девушка сознавала одно то, что она не уживется с ними, что ей тяжело между ними, и вследствие этого сознания стремилась вырваться из их среды хотя на время, в свободные дни, вырваться в свой уголок, к матери. Этот бедный уголок начинал делаться ей особенно дорогим, особенно милым, и молодая девушка употребила все свои усилия, чтобы в нем дышалось легко и свободно всем, кто заходил в него отдохнуть, а в особенности маленькой Даше, начинавшей не на шутку беспокоить старшую сестру своей бледностью и недетской серьезностью.

III
ЗАТИШЬЕ

Марья Дмитриевна нанимала небольшую квартиру во втором этаже деревянного дома, против школы гвардейских подпрапорщиков. Этот дом уцелел до сих пор. В квартиру вели довольно крутая лестница и галерея. Помещение состояло из трех комнат, кухни и темной передней. Две комнаты выходили окнами на улицу; окна третьей комнаты и кухни выходили на галерею. Марья Дмитриевна не могла оставить за собою все это помещение и потому отдавала две комнаты жилицам, оставив себе третью. Эта комната была в два окна, довольно светлая.

При взгляде на эту комнату можно было сейчас же заметить, что чья-то заботливая женская рука трудилась над ее убранством. Дешевенькая, подержанная мебель была чиста и подновлена; на подоконниках красовались горшки с дешевыми гераниями и белыми китайскими розами; на столе была разостлана белая вязаная салфетка. Все это было бедно, крайне просто, но какое праздничное чувство разлилось в душе Катерины Александровны, когда она окончательно обставила этот уголок!

— Ну, мама, теперь и ты будешь жить как люди! — говорила она, целуя свою слабую, беспомощную мать.

— Пошли тебе господь силы, Катюша! — промолвила в ответ Марья Дмитриевна.— Тяжело тебе будет нас содержать.

— И, мама, что за тяжело? Все работать будем...

— Будем, будем, Катюша,— вздохнула Марья Дмитриевна.— Что-то господь пошлет в награду.

И действительно, мать и дочь принялись усердно за работу. Они и прежде не сидели сложа руки, но теперь работа спорилась лучше. Катерина Александровна была спокойнее, зная, что у нее есть обеспеченное жалованье, двенадцать рублей в месяц. Из этих денег она отдавала половину матери, половину оставляла себе па мелкие расходы или откладывала для того, чтобы скопить кое-какие гроши на образование брата. В свободные дни она занималась шитьем белья дома или в приюте и заработанные деньги тоже делила на две части, отдавая одну часть матери и оставляя другую у себя. Ее лицо в эти дни дышало спокойствием, энергией и веселостью. Она была убеждена, что так или иначе, несмотря на все неприятности, испытываемые в приюте, она дойдет до своей цели, спасет свою се-

мью, выведет на хорошую дорогу этих слабых людей. Молодость делала свое дело и гнала все черные предчувствия, все мрачные думы. Не с такою твердою верой в светлое будущее, но тем не менее спокойно принялась за свое дело и Марья Дмитриевна. Она впервые почувствовала, что после долгих лет страданий и она стала жить как люди, не в собачьей конуре, не в подземном погребе. Ей нечего было беспокоиться о плате за квартиру, так как на это доставало ее небольшой пенсии и платимых ее жилицами денег за две комнаты. Ей оставалось работать, чтобы добыть на кусок хлеба. Деньги, даваемые Катериною Александровною, шли на мелкие расходы и главным образом на воскресные обеды, когда в квартире Марьи Дмитриевны собирались младшие члены семьи. Мать отказывала себе во всем, чтобы получше накормить детей в праздник. Она тоже засела за шитье белья.

В полнейшей тишине, в невозмутимом безмолвии шила она по целым дням, предоставив своим жилицам почти в полное владение кухню, где был едва заметен суповой горшок самой квартирной хозяйки. Жилицы не могли достаточно нахвалиться своею хозяйкой, ее спокойствием, ее кротостию. Вообще Марья Дмитриевна принадлежала к числу тех запуганных людей, которые своими отношениями к ближним как бы говорят: «Моя изба с краю, ничего не знаю; лишь бы меня не тронули, а уж я никого не задену». Она заботилась только о том, чтобы ей не мешали сидеть в ее теплом углу.

Кому случалось заниматься в одиночестве с утра до ночи ручным шитьем, тот знает, как постепенно разыгрывается среди этого занятия воображение человека, как сильно начинает работать мысль. Одинокая швея шьет, а воображение рисует перед нею одну за другой картины прошлого, воскрешает давно исчезнувшие лица, давно промелькнувшие сцены, уносит ее в далекий, далекий мир, где солнце светит ярче, где люди — уже полузабытые люди — смотрят ласковее, где самое горе — уже давно пережитое горе — имеет какую-то необъяснимую мягкую прелесть. Стоит в эти минуты пригреть теплым лучам солнца бедную труженицу, стоит где-нибудь в отдалении заиграть тоскливой шарманке или зачиликать какой-нибудь птице, и эти картины станут еще ярче, еще поэтичнее. И вдруг кто-нибудь хлопнет дверью в соседней комнате, кто-нибудь крикнет на улице,— работница приходит в себя, с недоумением осматривается кругом: все пусто, все тихо и

только лучи солнца, прорвавшись сквозь тусклые стекла окна, играют на полу, на стульях и столах. Еще минута — и швея снова шьет, шьет, а ее мысль уже занята вопросами: «Отчего это жизнь сложилась так, что в ней радости нет? Не будет ли лучше в будущем? Не приближается ли это будущее?» Мысль снова работает, снова носится далеко от жалкой каморки, где проходят рабочие часы. Порой воображение разыгрывается так сильно, так горячо охватит душу, что с языка невольно льется песня, тихая, мурлыкающая песня швеи, составившаяся из отдельных строф, выхваченная из разных поэтов, порой сложившаяся в голове самой работницы. В этих мечтах и думах есть много прелести, много поэзии; только они спасают работницу от одуряющей скуки и отупения, неизбежных при однообразии труда. Эти мечты знавала когда-то и Марья Дмитриевна, и теперь они снова охватили ее. Сколько раз уносилась она теперь к той поре, когда она была девочкой, когда она, сиротка, росла, пригревшись под крылом доброй богомольной старухи тетки, среди подруг, таких же, как она сама, небогатых мещаночек небольшого уездного города. Низенькие комнаты с старинной тяжелой мебелью, ослепительно белые скатерти на столах, десятки теплящихся в углах лампад, темные образа, пяльцы с натянутым бархатом и вышиваемыми золотыми цветами, небольшой садик, золотошвейная работа в будни, стоянье у обедни утром в праздники, девичье веселье по вечерам в воскресные дни, сиденье за воротами или игра в горелки, гаданье в Рождество, торжественная тишина великого поста, говенье и исповедь с крупными слезами за мелкие, мелкие грехи — все это так же ярко воскресало в памяти Прилежаевой, как тот теплый весенний день, когда она шла за гробом скоропостижно умершей тетки, рыдая и не зная, куда приклонить голову, когда она осталась на свежей насыпи могилы, забытая всеми и не желающая идти к ненавидевшим ее жадным родственникам покойной тетки, когда к ней подошел молодой «приказный» Александр Захарович Прилежаев... Давно он засматривался на ее цветущее, кроткое и милое лицо, давно хотел просить ее руки, но не смел, зная, что Маша слывет за богатую невесту, за единственную наследницу старой тетки. Теперь это уже была не богатая наследница, а такая же нищая, как он. Теперь он мог смело жениться на ней... И вспоминались Марье Дмитриевне и первые дни любви и счастья, и рождение первого ребенка... Все мрачнее и мрачнее

становились воспоминания: нищета, пьянство мужа, непосильный труд, бессонные ночи... Кажется, этой тьме и конца не будет; но вот слышится чей-то ласковый лепет, раздаются чьи-то детские поцелуи, кто-то шепчет: «Чего же ты плачешь, мамочка... я хлеба достала!» Это говорит Катя; это она ласкается к матери; это ее поцелуи осушают слезы и вызывают улыбку бедной женщины. И все ярче и ярче обрисовывается образ этого ангела-хранителя матери, этой няньки младших детей, этой властительницы семьи. «Спаси ее господи, охрани ее под щитом своим!» — шепчут бледные губы Марьи Дмитриевны и, очнувшись от дум, озирается она кругом: в комнате пусто и тихо. Ее сердце сжимается; ей грустно, что с нею нет детей. «Что-то они делают? Когда-то они придут домой? Что у нас сегодня? Пятница, кажется? Завтра, значит, придут вечером. К чаю буду ждать. Да здоровы ли, не провинились ли — храни их господи! — в чем-нибудь? В воскресенье-то пирожок изготовлю. Антоша, батюшка мой, любит пирожки. Ох, что-то из него, моего родного, выйдет. Добрый он у меня мальчуган. Пошли ему, господи, счастья! Кабы вырос, обучился всему, служить бы стал, всех бы нас пригрел. Вздохнули бы мы. Даша-то вот только меня пугает — бледная, печальная все такая. Не жилица она у меня. И то сказать: тяжело ей в чужом месте. Вон Миша — тот что! Бойцом таким стал: с ним и не справишься!» И бесконечной нитью тянутся снова думы Марьи Дмитриевны, думы о детях, об их будущем. Она живет не своею жизнью; она живет их радостями и печалями, их надеждами и их опасениями. Не будь их, она, может быть, не стала бы работать, взяла бы посох в руки, надела бы котомку за плечи и пошла бы, побираясь Христовым именем, куда-нибудь на богомолье, отмаливать свои грехи и грехи своего покойного мужа... А вот и суббота пришла. Марья Дмитриевна сидит и шьет, но шьет тревожно, часто поглядывает на часы. Время идет так медленно! Наконец-то бьет пять часов! Марья Дмитриевна оставляет работу, прячет ее в комод и начинает прибирать в комнате. Но в комнате и без того все прибрано, все в порядке. Марья Дмитриевна стирает пыль, но пыли почти нигде нет; она хочет оправить салфетку, занавеси, но все это оправлено, все выглядит по-праздничному; кажется, вся эта мебель, все эти чистенькие листья цветов говорят бедной женщине: «Мы уже давно готовы к принятию твоих детей; что же они не идут?» — «В самом деле, что же они не идут?» — мель-

кает мысль в голове Марьи Дмитриевны. Она поспешно накидывает на голову платок, надевает салопчишко и выходит.

— Куда это вы, Марья Дмитриевна? — спрашивает одна из жилиц, нанимающая комнату, выходящую окном на галерею.

— За ворота: посмотреть хочу, не идут ли наши. Запоздали что-то,— отвечает Марья Дмитриевна.

Она выходит за ворота и смотрит в ту сторону, откуда должны были прийти дети. На улице темно, фонари едва горят; все тихо, только в ближней кузнице ярко сверкает огонь и раздается стук молота. Вот кто-то идет около соседнего дома,— Марья Дмитриевна спешит навстречу. Нет, это не Катя! Опять ожидание. Опять кто-то двигается по тротуару.

— Катюша, это ты? — окликает Марья Дмитриевна.

— Мама, здравствуй! — отзывается ласковый знакомый голос.

Марья Дмитриевна бросается к дочерям, целует Катерину Александровну, целует Дашу.

— Ты, мама, шла куда-нибудь по делу? — спрашивает Катерина Александровна.

— Да, Катюша... в лавочку шла,— лжет Марья Дмитриевна.— Только так, не очень нужно было... Я ворочусь... И завтра куплю, что надо.

— А то ты иди, если нужно.

— Нет, нет, Катюша! так... соли прихватить хотела,— защищается Марья Дмитриевна от предложения идти в лавку.

Она теперь никуда не пойдет, ни на минуту не оставит своих детей. У нее наступает такой великий праздник: воскресенье. Это не просто седьмой день в неделе; нет, это воскресенье для матери и ее детей.

Путники входят в квартиру.

— Как у вас, мамочка, тепло! — тихо говорит Даша, видимо, довольная теплом.

Даша все более и более начинает походить лицом на мать; даже в ее манерах, в ее тихом голосе есть что-то общее с матерью.

— Грейся, грейся, голубка, у своей мамы,— целует ее Марья Дмитриевна.— Вот тут куколки твои спрятаны. Играй, маточка. Я пойду, самоварчик поставлю. Антоша сейчас придет с Мишей. Озябли они, поди, в уксусных-то шинелишках.

— Я, мамочка, буду чашки собирать с сестрицей,— тихо произносит Даша.

— Ну, хозяйничай, хозяйничай, большая хозяйка! — смеется мать и мелкими шажками бежит в кухню.

Проходит минут двадцать. Марья Дмитриевна уже раз пять успела взглянуть на «галдарейку», посмотреть, не идут ли дети. Вдруг на галерее раздается шумный, шаловливый детский топот.

— Идут, идут наши воеводы! — восклицает Марья Дмитриевна.

Через минуту в комнате уже раздаются голоса Антона и Миши, слышится смех Катерины Александровны, шумит самовар на столе. Марья Дмитриевна забывает о своей чашке с чаем, забывает обо всем и только любуется детьми, только подкладывает им ломти «ситного хлеба» и подливает чаю.

— Что, у вас хорошо в школе? — спрашивает Катерина Александровна у Антона.

— Какое хорошо! — отвечает он.— Кормят тухлятиной; все ходят, как мухи осенью; учителя почти не бывают, только козлиную бороду и видим да дерем горло за пением. А уж пуще всего одолел нас этот тамбур. Пропадай он совсем!

— Какой тамбур? — спрашивает Катерина Александровна.

— Вязанье такое есть, тамбуром называется,— поясняет Антон.

— Это, знаешь, такое — что ни клади, все провалится,— бойко смеется Миша, очевидно, повторяющий слышанную им остроту.

— Да разве вы вяжете?

— А нешто нет? Вяжем. Я тамбуром, а Минька чулочницей стал, чулки вяжет.

— Вот дурят-то! — говорит Катерина Александровна, пожимая плечами.

— Это, Катюша, как в мое время у помещиков дворовых людей приучали чулки вязать, чтобы они не спали,— кротко замечает Марья Дмитриевна.

— Ну, а так ничего, не притесняют? — спрашивает Катерина Александровна у Антона.

— Нет, ничего! Только одолела меня наша помощница поцелуями. Жмет, точно нутро выдавить хочет. Желтая, кащеем смотрит, а туда же, как коза скачет. Уж я когда-нибудь ей нос откушу.

— Это Марья Николаевна, верно,— тихо соображает Даша.

— Какая Марья Николаевна? — с удивлением спрашивает Антон.

— Постникова; она у нас тоже помощница.

Катерина Александровна смеется и рассказывает, что Марья Николаевна тоже такая желтая, худая и постоянно всех целует и сжимает в объятиях. Марья Дмитриевна тоже смеется.

— Ах ты, глупушка, глупушка, что выдумала,— произносит она, целуя Дашу.— Ты думаешь, что худая да желтая только и есть одна Марья Николаевна.

Чаепитие продолжается довольно долго. Наконец Катерина Александровна подымается с места.

— Идешь уж, Катя?

— Пора!

— Завтра-то придешь?

— Приду, приду!

— И что это вам ночевать не позволяют дома?

— Детей нельзя одних оставить в спальне.

— А уж как бы я тебя уложила, голубка,— говорит Марья Дмитриевна, словно пытаясь узнать, не соблазнится ли и не останется ли на ночь Катерина Александровна.

— Да, мама, я и сама с охотой ночевала бы дома. Неудобно спать там. Ну, да будем когда-нибудь и в своем углу спать.

Катерина Александровна торопливо прощается с семьей и уходит. Антон выбегает проводить ее до ворот. Еще с час идут толки и рассказы в квартире Марьи Дмитриевны. Потом все ложатся спать, и позже всех ложится сама Марья Дмитриевна. Поставив опару, она опускается на колени и тихо молится. «Не оставь, господи, детей своих. Благослови сирот малых!» — шепчет она. Благоговейно, любовно осеняет она крестным знамением своих детей, спящих на одной постели, и, налюбовавшись на них, выходит из-за ширм и ложится на диван со спокойным сердцем, с просветленным лицом. Так сладко спит Марья Дмитриевна только раз в неделю. Для этих минут она готова перенести все лишения, всю скуку остальных дней недели.

Рано поднимается она в воскресенье; взглянув на детей, она спешит в кухню. Через несколько минут к ней присоединяется и Антон. Он по старой привычке помогает матери класть дрова в печку; он колет ей подтопки, ставит самовар.

— Вот работника себе нового наняла,— шутит Марья Дмитриевна, обращаясь к жилицам, появившимся с кофейниками в кухне.

— Я думаю, жалованья много потребует,— так же шутливо замечает одна из жилиц.

— Нет, покуда из хлебов держу,— смеется Марья Дмитриевна.

Еще несколько минут — и в квартире слышится топот шалуна Миши, около подола матери жмется молчаливая Даша.

— А, и старушка наша встала,— смеются жилицы, встречая Дашу.

Ее уже все успели прозвать старушкой.

Утро летит быстро; приходит Катерина Александровна, садится за шитье; дети играют; в двенадцать часов подают обед.

— Что-то сегодня придут ли наши? — замечает Марья Дмитриевна после обеда.

— Верно, придут, погода хорошая,— решает Катерина Александровна.

— А и далеко же они живут. И что за охота была под Невский забраться. То ли бы дело, если бы сюда перебрались.

— Я думаю, они и переедут в наши края: здесь воздух тоже чистый.

— Уж на что лучше! И жизнь тоже здесь. В будни-то, Катюша, иногда я просто засмотрюсь на юнкарей, как они играют у себя в саду. Ну тоже и рабочий народ здесь целый день мимо ходит к Лихтенбергскому. Тут же и к Митрофанию...

Но Марья Дмитриевна не оканчивает своей похвальной речи, заслышав шаги на галерее и стук деревяшки.

— Ну, вот и наши! — произносит она и идет навстречу гостям. Эти гости — Флегонт Матвеевич Прохоров и два краснощекие, неловкие юноши с добродушными лицами и открыто смотрящими глазами. Это сыновья Флегонта Матвеевича, воспитывающиеся в корпусе; одному пятнадцать, другому четырнадцать лет; одного Флегонт Матвеевич зовет Александром Македонским, другого — Иваном-воином. Других различий между ними почти нет, если не считать сильным различием то, что один ростом в два аршина пять вершков, а другой — в два аршина пять с половиною вершков. У обоих был отличный аппетит; у обоих были очень развиты мускулы; у обоих была способность

садиться на стулья таким образом, что стулья трещали; у обоих был дар громко и задушевно смеяться, быть в гостях как дома и в то же время совершенно теряться, краснеть до ушей, не понимать своих слов при появлении незнакомого лица и, в особенности, при появлении женщины или офицера. Глядя на этих юношей, нетрудно было сразу определить, что из них может выйти. Это были непочатые, цельные и несложные натуры. Если преобладающим влиянием в их жизни будет грубая физическая сила, суровая дисциплина, затворническое прозябание среди казарм — из них выйдут грубые этапные начальники, чуждающиеся среды умственно развитых личностей, свободно дышащие только среди своих загрубелых собратьев, дико сторонящиеся от всякой хотя несколько развитой женщины и кончающие женитьбой на какой-нибудь бабе, которая будет бегать им за водкой, будет не только выносить их побои, но при случае и сама станет укладывать их спать после попойки с помощью своих здоровых кулаков. Если же в их молодой жизни возьмет верх смягчающее и греющее влияние добрых и сочувствующих им личностей, из них выйдут, может быть, не особенно гениальные, но честные работники; это будут добрые малые, которые хотя и не выдумают пороху, но сумеют приготовить не только этот порох, но и пушку, изобретенную более развитыми умственно, но менее их способными к физическому тяжелому труду людьми; они не только осуществят идеи этих более развитых людей, но и подставят за них грудь, лягут за них костьми. Теперь это были еще взрослые дети. Они с первого дня знакомства сошлись с семьей Прилежаевых и каждое воскресенье неизменно тащили своего отца к своим новым знакомым. Здесь они чувствовали себя вполне свободными; их забавляло, что Миша щеголяет в их тесаках; их веселило, что Даша любит покачаться на их широких ногах; им было очень приятно засесть со всею компанией за игру в дураки и мельники; им было так хорошо, когда Марья Дмитриевна угощала их чаем и говорила им: «Да вы, батюшки, расстегните мундирчики: здесь все свои; Катюша не осудит». Последняя фраза прибавлялась всегда, потому что и Иван-воин и Александр Македонский при предложении Марьи Дмитриевны расстегнуть мундирчики краснели и бросали смущенные взгляды на Катерину Александровну. Только ее согласие давало им смелость расстегнуть две нижние пуговицы у мундиров, и при этом по лицу юношей разливалась яркая краска. Вооб-

ще их отношения к Катерине Александровне были совершенно иными, чем их отношения к другим членам прилежаевской семьи. Каждый раз, отвечая на вопросы Катерины Александровны, юноши вскакивали с мест, как бы желая предварительно расшаркаться перед нею. Довольно было молодой девушке поискать что-нибудь глазами, чтобы оба брата, толкая друг друга и роняя стулья, бросились на поиски за понадобившейся ей вещью. Но самый сильный восторг возбудила Катерина Александровна в молодых сердцах в тот памятный им день, когда она однажды обратилась к Антону и сказала ему:

— Подержи-ка моток: я размотаю нитки.

— Позвольте-с, я подержу,— вскочил с места Александр Македонский.

— Ты не умеешь, лучше я подержу,— перебил его Иван-воин.

Возник спор.

— Ну так держите оба,— засмеялась Катерина Александровна.

Юноши подняли руки и находились в совершенном блаженстве, когда маленькие пальчики Катерины Александровны касались их могучих рук, надевая на них моток ниток. Глядя на них в эту минуту, можно было подумать, что они присягают верой и правдой служить молодой девушке.

— Вы очень высоко держите нитки,— заметила Катерина Александровна.

— Позвольте-с... Вы не рассердитесь? — пробормотали братья, переглянувшись между собою.

— За что?

— Мы на колени встанем...

— Вставайте... только устанете,— засмеялась молодая девушка.

— Ничего-с, мы привыкли! — с увлечением воскликнули молодые люди и вспыхнули до ушей.

В комнате раздался смех, но братья уже стояли на коленях перед Катериной Александровной и ощущали такое блаженство, что не слыхали смеха или не могли понять его значения. К величайшему их восторгу, нитки были спутаны и Катерине Александровне поминутно приходилось касаться рук своих покорных рабов.

— Вы не будете у нас на балу? — умильно спросил Александр Македонский, бросив многозначительный взгляд на брата.

— Нет, где же мне по балам ездить,— рассмеялась Катерина Александровна.

— Жаль, право, жаль! — вздохнул Иван-воин.

— Отчего же? Там и без меня весело будет.

— Да-с... Только вы...— начал Александр Македонский и смолк, потупив свои добродушные серые глаза.

— Что я?

— Вы первые были бы там,— прошептал сконфуженный кадет.

— Каков, каков! — воскликнул Флегонт Матвеевич.— Отдерите-ка его за вихор, чтобы не любезничал.

— Руки заняты! — засмеялась Катерина Александровна.

— Нет-с, это вы потому не дерете, что вам меня жалко,— промолвил довольно храбро Александр Македонский.

— Ну, вот еще выдумали!

—Право, так-с! Ну докажите, что пе жалко,— еще смелее настаивал юноша.

— Не хочу!

— Нет, пожалуйста!

— Ах, вот привязались! Ну вот вам!

Катерина Александровна тихонько дернула Александра Македонского за вихор и, прежде чем она успела опомниться, он словил и горячо поцеловал ее руку.

— Ах, Саша, что вы шалите: нитки все спутали! — проговорила она ласковым тоном.

Юноша торжествовал. Он не только впервые поцеловал эту дорогую, милую руку, но впервые же слышал, что его назвала Сашей эта чудная, эта восхитительная девушка.

— Вот-то счастливый ты! — говорил Иван-воин, когда оба юноши возвращались в корпус.— Я бы, кажется, бог знает что дал, чтобы поцеловать ее руку.

С этого дня братья окончательно сделались рабами Катерины Александровны и не только помогали ей разматывать нитки, подавали воду, держали ее шитье, чтобы ей ловчее было шить, но даже во время игры в карты подтасовывали ей козырей и оставались за нее мельниками и дураками. Чем чаще виделись две семьи, тем сильнее настаивали юноши, чтобы отец переехал куда-нибудь поближе к Прилежаевым. Однажды Флегонт Матвеевич заметил Марье Дмитриевне:

— Знаете ли, почтеннейшая Марья Дмитриевна, какой у меня превосходный план созрел в голове?

— Право, батюшка, не знаю.

— А вот, я вам сообщу. Мы бобыли, нас дурно кормят. Положим, я кой-как недельку перебьюсь один, поем разной дрызготни, но в воскресный день хотелось бы чего-нибудь этакого получше поесть. Ну тоже и мои герои любят поесть по-геройски.

— Это так, батюшка. Уж когда же и кушать, как не в их возрасте,— со вздохом произнесла Марья Дмитриевна.— Мы, старые люди, как-то так святым духом живем.

— Ну, так вот-с, я и надумал. Возьмите-ка нас на хлеба на воскресные дни.

— И-и, батюшка, да чего же об этом и говорить! — воскликнула Марья Дмитриевна.— Ведь наши двери для вас, кажется, никогда не заперты.

— А! это другое дело! — возразил Флегонт Матвеевич.— В гости ходить к ближнему или объедать ближнего — две вещи разные. Мы не богачи какие-нибудь, чтобы стол держать для приходящих...

— Да, как же это, батюшка?

— А так же, добрейшая моя Марья Дмитриевна,— перебил ее штабс-капитан.— Условимтесь насчет платы и конец весь.

— Да мне, право, совестно!

Штабс-капитан начал исчерпывать свои доказательства. Как известно, доводы штабс-капитана были его тяжелой артиллерией и запас его выстрелов был неистощим. Он мог осаждать и штурмовать неприятельскую крепость в течение целых часов и, когда крепость сдавалась, воин продолжал еще пальбу, торжествуя победу и как бы желая показать, что он далеко еще не истребил всех своих зарядов. Так было и теперь. Несмотря на то, что Марья Дмитриевна совершенно невольно разыграла роль Коробочки, не понимающей, как можно брать с знакомого, с гостя деньги за хлеб-соль,— штабс-капитан все-таки вышел победителем. Условившись в цене с Марьей Дмитриевной и отирая со лба обильно катящийся пот, он продолжал уже ради собственной потехи рассуждать на тему, что «иначе и быть не могло», что «это вполне разумно и практично», что «дружба дружбой, а денежка счет любит».

С этой поры штабс-капитан стал забираться по воскресным дням со своими сыновьями с утра к Прилежаевым. Все теснее и теснее сближался небольшой кружок бедных людей. Иногда в воскресные вечера, по желанию Катерины Александровны, общество начало менять карты на книгу: читались вслух романы; был прочтен «Юрий

Милославский», «Ледяной дом»; Александр Македонский достал где-то Гоголя и прочел, чередуясь с братом, «Мертвые души». Чтения не были скучны, так как в это время штабс-капитан строил домики из карт для Миши и Даши, иногда отпускал остроты и делал замечания по поводу читавшихся произведений, которые, как оказалось, были очень хорошо известны ему, перечитавшему на своем веку множество книг, впрочем, больше «философского содержания», как он выражался; Марья Дмитриевна во время литературных занятий вязала чулок, вздыхала, иногда отирала слезы при чтении патетических мест романов и вообще принимала такое участие в участи героев, что порою выказывала явное намерение научить того или другого героя уму-разуму и, видя его окруженным врагами, замечала: «Да уж развязался бы он с ними лучше; недаром говорится: отойди от зла и сотвори благо». Это, впрочем, не мешало Марье Дмитриевне выбегать в кухню, распоряжаться по хозяйству и иногда шепотом вступать в продолжительные разговоры с штабс-капитаном. За чтением обыкновенно следовал чай, смех и усиленный говор после долгого молчания.

Дети Марьи Дмитриевны заметно росли, развивались, и в их характерах уже стали проглядывать своеобразные черты. Несколько месяцев жизни в кругу новых людей не прошли бесследно над ними. Антон уже не был тем молчаливым дикарем, каким мы видели его в первые минуты нашего знакомства с ним. Поступив в «школу для бедных сирот», где дела шли не лучше, чем в приюте графов Белокопытовых, он скоро почувствовал скуку. Вставать по звонку, сидеть большую часть дня за вязаньем, гулять в строю воспитанников, петь духовные песни, защищаться от сорванцов-товарищей, подставлять свое лицо под поцелуи отжившей желтой помощницы, протягивать руку под удары линейкой, расточаемые другой помощницей, не сметь сделать ни одного шага без дозволения — все это было невыносимо для мальчика, привыкшего к физическому труду и к самостоятельной жизни уличного мальчишки. Дисциплина для большей части этих детей невыносима. Они, полузабытые трудящейся семьей, оставленные на произвол судьбы, очень рано привыкают к самостоятельности. Антон, по-видимому, мог только отдыхать в школе, а между тем он чувствовал утомление. Ему было гораздо труднее сидеть навытяжку, вязать или петь, чем ездить за щепками, собирать дрова, таскать корзины

с бельем, нянчиться с младшими членами семьи, колоть подтопки. При прежнем образе жизни он не замечал, как летит время; теперь он считал часы, томился скукою, ждал только ночи. Более всего сердило его то, что он должен был только «бить баклуши», так как вязанье и пенье, главные предметы школьных занятий, казались ему совсем не нужными... Не мог же он знать тех мудрых соображений, по которым вязанье должно было служить громоотводом, спасающим детей от шалостей, неизбежно связанных с полнейшею праздностью, а пение должно было служить к смягчению нравов и развитию мягких чувств. Он в детской простоте не видел никакой существенной, осязательной пользы от этих занятий, тогда как вся его предшествовавшая жизнь научила его инстинктивно любить не самый труд, а результаты этого труда. Он знал, что набранные дрова и щепки дадут его семье возможность не сидеть в холоду; он видел, что наловленная им и его отцом рыба приводит в восторг его маленьких брата и сестру, всегда готовых и полюбоваться живою рыбкой, и насладиться вкусной пищей; он понимал, что, стащив вовремя корзину с бельем к давальцам, он ускорит получение денег за стирку. Теперь же работа была бесцельна; все его товарищи по школе презрительно говорили про нее, что «от безделья и она рукоделье». И что это была за работа? «Нешто горло-то драть нужно учиться? — наивно говорил Антон про пенье.— Фабричные-то почище нас поют, а, поди, их никто не обучал». Прежде Антон любил учиться и довольно бойко выучился читать и писать под руководством старшей сестры. Теперь же он начинал зевать и за уроками. Раз в неделю появлявшийся в школе Рождественский и здесь, как в приюте графов Белокопытовых, ограничивался тем, что диктовал детям отрывки из каких-то дидактических сочинений и строфы из стихов Державина и Ломоносова. Потом мальчики должны были зубрить эти отрывки и отвечать их наизусть, ничего не понимая из высокопарного набора слов. Кроме этого учитель иногда задавал по три, по четыре строки из грамматики Греча и потом считал свои обязанности поконченными. Но девятилетние дети ровно ничего не понимали в то время, когда они десять раз повторяли: «русская грамматика учит правильно», «русская грамматика учит правильно» или долбили: «О Ты, пространством бесконечный!», «О Ты, пространством бесконечный!» Два раза в неделю появлялся священник, преподававший закон божий. Он задавал без

всяких объяснений по нескольку строк из «Краткого катихизиса» и по нескольку строк из «Краткой священной истории», посвящая все время урока на спрашиванье заданных отрывков. Непонятные фразы и мысли, сухая номенклатура имен, необъяснимые и необъясняемые чудеса — все это не могло особенно заинтересовать ребенка и только нагоняло на него скуку, когда ему приходилось в классе двадцать раз прослушивать из уст товарищей одни и те же фразы, уже выдолбленные им самим. Но этого мало: со второго же урока мальчик увидал, что, по-видимому, этим занятиям никто не придает никакого значения, так как ученики отвечали уроки, считывая их с книги, а учитель делал вид, что не замечает плутовства, и только в крайних случаях захлопывал книгу, открытую перед спрашиваемым учеником. Занятия арифметикой, еще не шедшие далее сложения, были тоже не особенно интересны. Рядом с этою официальною жизнью шла в школе и неофициальная жизнь: мальчики воровали друг у друга все, что могли; они дрались между собою при первом удобном случае за неимением других телесных упражнений; они слыли в околотке за первых сорванцов и головорезов; они, несмотря на то, что самые старшие из них достигали только двенадцатилетнего возраста, были развращены и быстро шли по пути, который ведет не к добру. Ни официальная дисциплина, ни закулисная разнузданность не приходились по душе Антону. Он стремился домой, к своей семье. Школа повлияла на него только с одной стороны: он стал бойко защищаться от нападений и сделался, по собственному его выражению, «зубастым». Не так влияла школа на Мишу. Миша был еще мал и потому не учился петь, вязал, и то изредка, только чулки, не сидел у русского учителя, не посещал классов священника и кое-как, под руководством помощниц, царапал на грифельной доске буквы и цифры. Хорошенький и добрый ребенок сделался любимцем помощниц и двух или трех из самых старших по возрасту мальчиков. Последние весьма быстро научили его различным остротам, пошлым прибауткам, очень неприличным фразам; все это произносилось мальчуганом без всякого сознания, но все-таки входило в привычку и даже делалось чем-то вроде предмета детской гордости, так как каждая подобная фраза вызывала смех и одобрение более взрослых его товарищей. Свободное время проходило среди никем не руководимых игр, бессмысленных, нередко грубых и диких, состоявших из битья друг друга твердым

узлом жгута, из ловкого плеванья между сложенными кольцом большим и указательным пальцами и тому подобных диких затей. Эти игры и заступничество взрослых покровителей сделали из Миши шалуна и забияку. Даже самые ласки помощниц послужили ему во вред и он, это маленькое созданьице, уже кокетничал по-своему и в минуту капризного настроения говорил ласкавшим его помощницам: «А вот не хочу целовать вас, не хочу». В семье никто не замечал еще дурной перемены в ребенке: видели только, что ребенок стал бойчее. Но это скорее радовало, чем огорчало семью, и в особенности Катерину Александровну, так как ее уже и без того тревожила кротость третьего из младших членов семейства — Даши. «Хозяйка», «старушка», «монашенка» — вот прозвища, данные Даше людьми, видевшими ее хоть раз. Эта девочка, слабенькая от природы, запуганная в детстве пьянством отца, окончательно растерялась, попав в целую массу самого разнообразного народа, в среду буйствующих девочек, под надзор воюющих помощниц. Ее пугали большие комнаты; ее заставлял вздрагивать звонок; ее слабое тельце дрожало от холода и сырости; ее спина болела от сидения навытяжке на табуретах и скамьях, лишенных спинок; ей не шла впрок тяжелая, неудобоваримая пища — картофель, капуста, каша и постное масло, обильно изливавшееся в желудки детей два раза в неделю. А между тем Даша не жаловалась, не плакала, не охала. Боялась ли она, что ее слезы огорчат ее сестру и мать, или полагала она, что за ее слезы ее накажут, выбранят, как это делал иногда пьяный отец,— это неизвестно. Но как бы то ни было, она молчала и таяла, как воск. Катерина Александровна часто спрашивала ее о здоровье,— она со вздохом отвечала:

— Я здорова, сестрица!

Катерина Александровна обратилась к Грохову и попросила его освидетельствовать Дашу, чтобы узнать, не больна ли она. Грохов нахмурился, но все-таки осмотрел девочку.

— Это тяшелий рост! — проговорил он, кончив осмотр.

— Вы думаете, что она здорова?

— Как ми з вами.

— Но не вредно ли ей постное?

— Напротив, постний масло ошень полезно ей. Ви больше давайт ей его. Детей надо ко всему приушайт.

Он кивнул головой Катерине Александровне и вышел.

Но молодая девушка не успокоилась и снова тревожно допрашивала девочку о здоровье.

— Я, право, здорова, сестрица, совсем здорова,— уверяла маленькая Даша.

Приходилось верить.

Только дома маленькая девочка как будто оживала, особенно в те минуты, когда появлялся штабс-капитан с сыновьями, когда Катерина Александровна сажала ее к себе на руки, когда слабое дитя полудремотно улыбалось, слыша веселый говор и смех и пригревшись у сестриной груди. Но как печальна была эта детская улыбка! Так улыбаются тихо и без особенных острых страданий приближающиеся к могиле люди. «Неужели она вырастет такою, как наша мать?» — думалось в эти минуты Катерине Александровне, и ей становилось грустно за Дашу. Катерина Александровна уже сознавала, что мать вносит в их молодой кружок какой-то могильный элемент. Она чувствовала, что лучше не жить, лучше умереть, чем жить таким забитым, придавленным, вздыхающим даже в минуты радости существом, каким сделалась вследствие тяжелой жизни Марья Дмитриевна.

Так проходила жизнь Прилежаевых, тесно связавшаяся с жизнью Прохоровых.

Но молодые Прохоровы, не довольствуясь тем, что проводили у Прилежаевых воскресные дни, все сильнее и сильнее настаивали, чтобы отец перебрался куда-нибудь поближе к этой семье. Эта семья была первым знакомством юных кадет. Старик души не слышал в своих детях, однако упорно отказывался от исполнения их желания. Сначала предлог был один и тот же — чистота воздуха под Невским. Потом, когда было доказано, что у школы гвардейских подпрапорщиков воздух не хуже,— старик, по-видимому, поддался детям и стал говорить, что он, пожалуй, и переехал бы, но только не к незнакомым людям, а в квартиру самой Марьи Дмитриевны; последнее же было невозможно, так как Марье Дмитриевне нельзя было отказать без всякой причины той или другой из жилиц. Он так пространно доказывал сыновьям всю нечестность подобного изгнания бедных жилиц из квартиры, что молодые люди должны были поневоле согласиться, хотя на словах. На время старик был уверен, что он отвоевал себе право жить под Невским, и успокоился, когда совершенно неожиданно Марья Дмитриевна сообщила ему, что одна из жилиц, нанимавшая комнату на улицу, поступает в богадельню.

— Ну, вот и прекрасно и отлично! — воскликнули в один голос Александр Македонский и Иван-воин.

Старик против всякого ожидания нахмурился и почесал кончик носа.

— Слишком скоро, слишком скоро. По-военному,— пробормотал он.

— Что ж! чем скорее, тем лучше,— возразили сыновья.

— Ну, конечно, конечно! — пробормотал старик и против своего обыкновения не стал философствовать и распространяться насчет близкой перемены образа жизни.

Молодые члены двух семейств стали толковать о будущем прекрасном житье и совершенно не обращали внимания на задумчивость старика. Они не заметили и того, что он тихонько выбрался из комнаты, увидав, что Марья Дмитриевна вышла на галерею.

— Что вы? — спросила она, заметив выходившего к ней штабс-капитана.

— Поговорить надо, добрейшая Марья Дмитриевна,— проговорил он необычайно тревожным тоном и тяжело вздохнул.— Приходится жить вместе. Не ожидал, не приготовился!

— Что ж, батюшка, Флегонт Матвеевич, если вы не хотите...— начала Марья Дмитриевна своим приниженным тоном.

— Не то, добрейшая моя, не то! — горячо произнес штабс-капитан, как бы боясь обидеть свою добрую знакомую.— Хочу, очень хочу жить у вас. Ваша семья стала для меня... Ну, да что тут толковать,— махнул он рукою.— Сошлись, по душе сошлись, вот и все. У меня ведь лет семь не было никого знакомых. Все не хотелось как-то сходиться с людьми.

Он пожал руку Марьи Дмитриевны своею широкою рукой.

— Но вот что,— начал он снова и взглянул как-то в сторону,— мы с вами старые люди, всего видели на свете, знаем, что у каждого есть свои грешки, свои недостатки.

Он замолчал на минуту, видимо, не умея объяснить того, что так сильно тревожило его в эту минуту.

— Ну, скажите мне, пожалуйста,— начал он не без усилия,— стали ль бы вы скрывать от своих детей или нет, если бы у вас был, ну, положим, какой-нибудь этакий недостаток, грешок, что ли?

Марья Дмитриевна ровно ничего не понимала: у нее, у

этой бедной женщины, не было ни одного недостатка, который она хотела бы скрыть от детей.

Штабс-капитан махнул рукою.

— Что же я говорю! — воскликнул он.— Какие грешки, какие недостатки могут быть у вас! Впрочем, позвольте!.. Вы говорили, что у вашего мужа был грешок...

— Пил он, пил, голубчик мой! — вздохнула Марья Дмитриевна.— С горя, батюшка, с горя горького!

— Ну, известно, кто же с радости пьет! — грустно заметил философ.— Так вот, говорю я, не старались ли вы скрыть этот грешок от этих детей?

— Батюшка, да какая же мать не станет укрывать пьяного отца от детей! — воскликнула простодушная Марья Дмитриевна.— Да и сам он, голубчик мой, совестился; бывало, на цыпочках крадется, как выпьет; шепчет: «Детей, Маша, спрячь, детей спрячь!» Потом уж это он и скрывать не мог: втянула водка-то; известно, это зелье врагом человеческим создано и уж кто к нему пристрастился, тому не спастись от дьявольского наважденья...

Штабс-капитан хмуро слушал свою собеседницу и потирал нос. Ее удивило это молчание говорливого старика; она взглянула на него и как-то случайно ей бросился в глаза его сизо-красный нос, потираемый рукою. В ее голове вдруг промелькнула мысль, что штабс-капитан пьет. Но она тотчас же вспомнила, что он никогда не пил ни одной рюмки за обедом, хотя в то же время ей пришла на ум первая встреча с штабс-капитаном, когда он говорил, стоя на дворе дома Белокопытовых, что не дурно бы выпить чего-нибудь горячительного. Бедная женщина не то с испугом, не то с недоверием смотрела на своего будущего жильца.

— Нет, это неправда! — вдруг произнес он, не то отвечая на ее рассуждения о неотразимо увлекающей силе вина, не то громко заканчивая целый ряд промелькнувших в его голове размышлений.— Так вот что, добрейшая моя Марья Дмитриевна: вы должны понимать, что каждый порядочный и честный человек желает скрыть от детей свои недостатки, не только от своих детей, но и от детей вообще. У меня тоже есть грешки, есть странности, которых я не желал бы выставлять на вид ни перед своими, ни перед вашими детьми.

— Да вы, батюшка, пьете? — совсем робко спросила Марья Дмитриевна.

— Как вам сказать? — задумчиво произнес штабс-капитан.— Я из военных. Не бегал от врага, не убегу и от бутылки. Может быть, когда-нибудь случайно заверну домой в более веселом настроении... Но пьяным вы меня не увидите... Впрочем, я вас попрошу не говорить детям даже и о том, что вы когда-нибудь видели меня навеселе...

У Марьи Дмитриевны отлегло от сердца.

— Но главное дело не в том,— продолжал старик.— Я, изволите ли видеть, иногда люблю отлучиться дня на три, на четыре к знакомым, которых не знают дети. Это может показаться вам странным, так как я уезжаю неожиданно, случайно... Но вы не беспокойтесь: не пришел я ночевать, значит, закатился к друзьям... Оно, может быть, покажется странным, что человек в мои лета пропадает из дома, но ведь у каждого свои странности. Прошу вас об одном: не говорите детям, что я уезжаю иногда на время, и не думайте, что я погиб, если меня не будет дома три, четыре дня.

— Да что ж тут, батюшка, предосудительного, если вы поедете погостить к знакомым? — произнесла совсем успокоенная Марья Дмитриевна.

— Ну да, ну да: конечно, ничего предосудительного,— поспешно согласился Прохоров.— Но просто я не хотел бы, чтобы дети приставали ко мне, куда и зачем я уезжаю, почему не вожу их с собою... Это, знаете, старые приятели: молодежь туда не стоит возить; ей там делать нечего... Так по рукам: из избы сора не выносить и друг друга укрывать от высшего начальства. Оно, я думаю, и теперь подозревает нас в чем-нибудь, видя нашу отлучку.

Штабс-капитан снова повеселел и явился в комнату с шутками и прибаутками. Теперь и он уже разделял мечты молодежи о будущей счастливой жизни и даже заходил гораздо дальше в своих планах. Молодежь упустила из виду возможность напиться чаю у Митрофания; она забыла о возможности покачаться на качелях в Екатерингофе; она совершенно не знала, как весело красить лоскутками яйца перед Святой и отличать, чья работа выйдет удачнее. Вообще штабс-капитан был очень опытный человек в деле дешевых или, лучше сказать, ничего не стоящих удовольствий, именно тех удовольствий, без которых была бы невыносима жизнь бедняков. Впрочем, он был опытен во всем. Штабс-капитан умел придавать крылья времени и дружить людей; в этом красноносом полунищем было так много человечности, что при первой

встрече с ним наблюдатель поражался одной характерной чертой старика: старик умел сразу сойтись и со старым, и с малым, и с чиновным, и незначительным человеком. Это не было подлаживанье под чужой тон; нет, штабс-капитан говорил почти одним тоном со всеми, почти одинаково относился ко всем; он просто видел в каждом встречном человека и потому не старался ползать перед ним, как перед каким-то высшим созданьем и не думал пинать его ногой, как какое-нибудь негодное животное. Эта способность быть на своем месте и своим в каждом кружке бросалась в глаза даже недальновидной Марье Дмитриевне. В дни первого сближения с штабс-капитаном она, удивляясь его красноречию, спросила его, где он научился так хорошо говорить; теперь, познакомившись с ним поближе и глядя, как он, окруженный детьми, представляет из пальцев тени зайчика и молящегося на коленях монаха, она невольно спросила его:

— И как это вы, Флегонт Матвеевич, со всеми-то обойтись умеете?

— Опыт, скитанья по белу свету всему научат, добрейшая Марья Дмитриевна,— ответил отставной философ.— Людей я много видел, ну, и пришел к тому убеждению, что все они люди,— шутливо промолвил старик.— Ведь я, матушка, всю нашу Россию пешком исходил с полками, как вышел из корпуса. Приходилось иногда живать по целым месяцам в деревне, где, кроме мужиков, баб, ребятишек, солдат да меня, никого и не было. Ну вот тут и попробуй смотреть на людей с высоты офицерского чина — язык проглотишь. Поневоле и пойдешь к мужику как к человеку,— глядишь, и ничего... не скучно, и компания есть,— и также беседуешь, также по-человечески живешь, не идолом каким-нибудь, а своим человеком, знакомым, членом всей деревни. У меня одних крестников да крестниц, я думаю, с сотню наберется по деревням. А то, бывало, попадешь к помещику на дом. Сам-то он заскорузлый; жена расплылась, как опара. Что тут делать? Стараешься вникнуть в их жизнь, узнать, нет ли и в них кусочка живого,— глядишь: непременно найдется. У жены когда-то сын-любимец был, умерший в корпусе; у мужа сохранились воспоминания о тяжелом детстве или забубенной молодости. Поскоблишь, поскоблишь грязь, а там и заблестят эти кусочки-то, кусочки-то золота-человека. Вот помню я тоже случай. Был у меня вестовой в роте — так себе, ничего солдатик. Только раз и попутал его лу-

кавый, проворовался он. Кто его знает, с чего проворовался: может, на вино понадобилось, может, в самом деле деньги нужны были на дело, только как бы там ни было, а согрешил. Дело вышло неладное, гласное; скрыть было нельзя, а надо вам заметить, что полковой наш был зверь человек. Перспектива-то, знаете, для солдатика была незавидная; порка-то поркой, этого тогда уж и в счет не ставили, а могло дело-то разыграться и арестантскими. Ну-с, жалко мне было солдатика, а делать нечего; нужно было довести до сведения. Только, к счастию этого солдатика, узнаю я, что у полкового сынишка при смерти болен, и осенила меня этакая гениальная мысль. Иду я прямо к командиру. Говорят, не принимает. Говорю — по важному делу. Вышел он, зеленый весь, зверем смотрит. «Что еще?» — спрашивает, и в голосе, знаете, такое рычанье. Рассказываю. «Запороть, бестию, надо!» — прохрипел командир.— У него жена недавно родила, говорю я, а сам смотрю прямо в глаза полкового.— Ребенок умирает. Может быть, для него хотел... Полковой только глазами сверкнул и, повернувшись на каблуках, зашагал по комнате. Я стою и жду, что будет. Прошло этак с полчаса, наконец полковой обратился ко мне. «Посадить его под арест, пусть молится, чтобы сын был жив»,— проворчал он мне.— У него дочь,— возразил я. «О моем сыне пусть молится!» — отрывисто пояснил полковой и вышел в кабинет. Ну, думаю, попался теперь, голубчик, и тотчас же толкнулся к нашему доктору.— От тебя, говорю, теперь зависит спасти Хоменку,— это солдатика-то так звали,— вылечи во что бы то ни стало сына полкового командира». «Ну, брат,— говорит,— это штука нехитрая: у него уже кризис давно прошел; не застудят — не умрет». Полетел я к Хоменке, выругал его, как каналью, посадил под арест и строго-настрого велел говорить, если полковой спросит, что он для своей новорожденной дочери украл... А у него и дочери-то, кажется, не было, а сын был, да и тот в это время здоров был... Так дело и обошлось: сын у полкового выздоровел; Хоменко просидел под арестом; потом полковой собственноручно ткнул его раза два в зубы, обругал его непечатно, да тем и ограничился... Кусочек человека, добрейшая Марья Дмитриевна, в каждом этаком заскорузлом куске мяса отыскать нужно — вот и вся мудрость.

— Нет, Флегонт Матвеич, это уж потому вас так любят, что сердце у вас доброе,— заметила Марья Дмитриевна.

— Да кто его знает, доброе оно или злое,— промолвил философ.— Просто человек как человек. Люди всегда люди; можно, так сядут на брата, а нет, так на себе его повезут.

Катерина Александровна рассмеялась штабс-капитанской шутке и спросила:

— А вы, Флегонт Матвеич, на других ездите или сами возите?

— Где мне, добрейшая Катерина Александровна! — ответил старик.— Первое не по чину, второе не по летам. Прежде, бывало, всего: и на себе возил, и на других ездил. Ну, а теперь на другого не сяду, на себя не посажу, а рядом хотите идти — идите: в компании веселее. Как думаете, отцы командиры, в компании веселее? — шутливо обратился старик к детям и, получив утвердительный ответ, принялся возиться с ними.

Дней через пять он переехал в квартиру Прилежаевых; я чуть было не сказал: перешел, так как имущество Флегонта Матвеевича можно было с удобством перенести в одном чемодане.

IV
НЕПРИЯТНОЕ СОБЫТИЕ В ПРИЮТЕ ГРАФОВ БЕЛОКОПЫТОВЫХ

Над Петербургом повеяла весна. Солнце светило ярко; снег быстро таял; на улицах началось более усиленное движение. В некоторых домах уже выставлялись рамы и в комнаты врывался веселый шум. Несмотря на грязь и большие лужи воды, разлившейся по улицам, солнечный свет и тепло звали на воздух из душных комнат. Никогда в течение целого года не чувствовалось детьми так сильно стремление вырваться на свободу из мрачных стен приюта, как теперь. Девочки за несколько недель толковали об отпусках домой на время Пасхи и ждали праздника с таким нетерпением, как будто им придется сменить унылую приютскую жизнь на шумную, полную развлечений и довольства жизнь дома, как будто им не придется разбрестись по подвалам и чердакам, где гнездились их отцы и матери. Но как бы ни были жалки притоны этих бедных отцов и матерей, как бы ни была печальна обстановка в этих притонах, а девочки все-таки имели основание радоваться отпускам домой; дело в том, что дома их ожидала

воля. Там резкий звон колокольчика не прервет их утренних грез; там, может быть, не станут их ругать за желание понежиться лишних пять минут на постели и даже будут рады, что дети лежат и не мешают взрослым; там не погонят их гулять в урочный час, несмотря на пасмурную погоду, и не удержат их в четырех стенах в минуту солнечного блеска ради того, что эта минута назначена не для гулянья; там не заставят их сидеть навытяжке и шить, шить до одуренья. Может быть, и там они встретят брань, принуждены будут работать, станут есть такую же плохую и даже худшую пищу, но зато все это будет случайными неприятностями, а не бессменным гнетом, возведенным в систему. Приютский гнет страшен именно потому, что он продолжается изо дня в день, что он надавливает одни и те же наболевшие места, что каждое его проявление известно заранее и что против него нет никакой возможности ни бороться, ни защищаться. В этом состоит его главная разница с семейным гнетом, который вообще в наших семьях редко возводится в правильную систему, в простых же бедных семьях решительно никогда не бывает систематичным. В этих семьях колотушки и ласки, порядочная и плохая пища — все зависит от внешних случайных обстоятельств.

Чем больше было оживления и толков среди воспитанниц, готовившихся вырваться на время из своей тюрьмы, тем более омрачались лица тех несчастных молодых созданий, у которых не было ни родных ни знакомых. Они знали по опыту, как скучны, как невыносимы праздники в приюте. Время в праздности идет здесь еще медленнее; скука среди полуопустевших зал и спален делается еще ощутительнее; помощницы, принужденные дежурить и томиться на своих местах только ради небольшой кучки этих бездомных сирот, делаются еще придирчивее и злее и, считая по привычке необходимым ничего не делать в праздники, развлекают себя грызней с воспитанницами. Зная по опыту всю неприветную сторону приближающихся праздников, бездомные дети ходили как в воду опущенные и с завистью смотрели на своих более счастливых подруг. Но если близкое будущее тяжело влияло на настроение маленьких девочек, то тем сильнее оно действовало на настроение взрослых. Сильнее развитое воображение рисовало в более ярких красках темные стороны предстоящего положения; сильнее работавшая мысль, пробуждающаяся страстность предъявляли более

требований жизни и не могли примириться с невеселым положением за один какой-нибудь праздничный обед. Раздражение в подобных несчастных созданиях проявлялось очень заметно: они придирались сильнее к подругам; они больше грубили помощницам; они иногда безотчетно плакали и начинали браниться, когда их спрашивали, о чем они плачут. Именно в подобном состоянии находилась Скворцова. В ее движениях, в ее поступках, в ее фигуре было что-то ненормальное, лихорадочное. Иногда она задумчиво сидела над работой и, по-видимому, была совершенно спокойна; но стоило только прикоснуться к ее плечу или громко кликнуть ее по имени, и девушка вся вспыхивала до ушей ярким румянцем, точно ее поймали не за работой, а на месте преступления. Иногда она ни с того ни с сего откидывала свои гладко причесанные волосы, проводила рукой по лбу, выпивала две-три кружки воды. Была одна ночь, когда все слышали бред девушки; другую ночь она проплакала напролет и встала утром с распухшими глазами. Перемена в ней была так сильна, что подруги начали приставать к ней с вопросами, что с нею случилось.

— Отстаньте! Вам-то что? — грубо отталкивала она их от себя.

— Да ты не больна?

— Ну да, в чахотке помру в один день с Марьей Николаевной; в одном гробу и хоронить будут.

Единственным утешением, единственной поддержкой для Скворцовой были мечты о близком выходе из приюта, из «проклятого приюта», как она называла его. Но и это утешение было случайно отнято у девушки. Однажды приют посетила графиня Белокопытова. Посещение по обыкновению произвело переполох: везде на скорую руку было все прибрано; девочкам поспешно переменили пелеринки и нарукавники; потом детей выстроили, как солдат, перед графиней, и она беглым шагом произвела им смотр, на ходу обращаясь то к той, то к другой с разными вопросами. Поравнявшись со Скворцовой, графиня спросила ее:

— Ты выпускная?

— Да,— послышался ответ.

— Родные есть?

— Нет, она сирота, графиня,— вмешалась Анна Васильевна в разговор.

— Надо будет позаботиться о месте, а до тех пор пусть

живет здесь: Христос с ней, Христос с ней! — решила графиня.

— Как здесь? я на место пойду-с! — воскликнула Скворцова, бледнея.

— Разве у тебя есть уже место, милая?

Скворцова опустила голову.

— Мы тебя так не бросим! — продолжала графиня.— Сперва надо приискать хорошее место, справиться, куда ты поступаешь. До тех же пор я оставляю тебя здесь. Живи, милая, живи! Бог велел нам заботиться о сиротах.

Скворцова хотела возражать, но графиня, подставив к ее губам свою руку, пошла далее, не обращая на нее внимания. Эта новость была громовым ударом для девушки: она впервые поняла, что ее могут продержать в приюте еще год, и два, и три... одним словом, столько, сколько вздумается графине. Приют был не срочною тюрьмой.

Когда графиня уехала, Марья Николаевна застала Скворцову в классной комнате в слезах.

— Что это ты разнежничалась? — язвительно спросила Постникова.— Не обидел ли кто тебя?

— Это тех обидеть можно, которые на ладан дышат,— грубо ответила Скворцова, быстро отирая слезы.

— Дура!

— Что ж делать, если никто умному ничему не учил.

— Держала бы язык за зубами, так и была бы умной.

— Да ведь я, Марья Николаевна, не лошадь; это только ту бьют, а она все молчит да глазами хлопает.

Марья Николаевна отошла.

— Дурища! сама дурища! — бормотала ей вслед Скворцова.— Туда же расфуфырится на праздниках, к разной сволочи в гости поедет хвостом вилять. Шкура! Шелковое платье тоже сшила! в цепочке ходит!

Девушка снова закрыла лицо и опять расплакалась.

— Скворцова, что с тобой? — раздался над нею ласковый голос, и по ее волосам скользнула чья-то маленькая рука.

Девушка не отвечала ни слова и только прижала свое лицо к талье стоявшей перед нею Катерины Александровны. Прилежаева не трогалась с места и как бы бессознательно продолжала ласкать бедную воспитанницу. Она по собственному опыту знала эти минуты безотчетного горя, когда мы радуемся присутствию сочувствующего нам человека и в то же время желаем только одного, что-

бы он нас ни о чем не расспрашивал, ни в чем не утешал. Прошло минут пять; наконец Катерина Александровна почувствовала, что Скворцова поднимает голову. Глаза двух девушек встретились. Лицо Скворцовой еще было покрыто слезами, но она уже улыбалась.

— Глупая я, совсем глупая! — проговорила она, качая головой.— Разревелась и сама не знаю, о чем. Вот и платье вам испортила своими слезами,— по-детски перешла Скворцова к другому предмету, увидав на платье Катерины Александровны пятна от своих слез.

— Ну, новое велю купить, когда разбогатеешь,—улыбнулась Катерина Александровна.

— А вы думаете, что я не купила бы? Да если бы я богата была, я такое, такое платье вам сделала бы, что наши аспиды лопнули бы от злости!

— А ты и обрадовалась бы этому?

— Еще бы. Да я просто бежала бы отсюда, за версту обходила бы, чтобы их не видеть!

— Зачем же бежать? Ты и без того скоро выйдешь отсюда.

— Нет, вы этого не говорите! Вон стращают, что будут держать, пока места не сыщут мне.

— Что же! прямо на место выйти хорошо.

— А лето-то, лето-то здесь жить? Что вы? Да я просто руки на себя наложу.

— Ну, полно. Летом проживем как-нибудь. Отпускать будут в гости.

— Да куда же?

— Ну, хоть ко мне...

— Нет, не будут! Они ведь меня извести хотят; завидно, что я молодая.

— Ты совсем дитя, Наташа.

— Нет, вы этого не говорите! Я вот как исповедоваться шла, так всю ночь о своих грехах плакала.

— Ну, и сдала их все?

Скворцова как-то странно взглянула на Катерину Александровну и отрицательно покачала головой. В эту минуту раздался звонок, призывавший к ужину. Скворцова быстро встала, схватила руку Катерины Александровны и поцеловала ее. Молодая девушка наклонилась и поцеловала воспитанницу в губы. Скворцова как будто забылась от этого поцелуя, сжала в своих объятиях Катерину Александровну и покрыла ее лицо бесчисленными поцелуями.

— Голубушка, красавица моя ненаглядная! — страстно шептала она.— Если бы вы знали, как я вас люблю!

Скворцова еще раз сжала в объятиях Прилежаеву и выбежала из комнаты. Все это было так неожиданно, так необыкновенно, что Катерина Александровна опомнилась не вдруг. Она машинально поправила волосы, задумчиво провела рукой по лбу и тихо пошла в столовую. Она понимала, что в душе Скворцовой происходило что-то необычайное, что-то тяжелое, но что именно — этого Прилежаева не могла объяснить себе. Во всяком случае она решилась попытаться и разузнать тайны бедной девушки.

Следующий день был днем отпусков на Пасху. В приюте все шло вверх дном. Все суетились, бегали, шумели; в приемной толпились бедные матери детей с узелками принесенной одежды; дети стремглав носились на половину Анны Васильевны, отпрашивались в отпуск, переодевались из приютского платья в свое, снова являлись к Анне Васильевне, торопливо, на ходу целовались с подругами, прощались с помощницами и улетали из своей клетки с такой быстротой, что их престарелые матери и тетки были не в силах догонять своих детей. Среди этой возни помощницы тоже утомились не на шутку, считая одежду, оставленную детьми, осматривая отпускаемых воспитанниц и объясняясь с их родителями. Впервые в течение долгих месяцев оставшиеся воспитаницы шли к обеду не попарно; впервые в течение нескольких месяцев за столом не только не было недостатка в пище, но был даже остаток ее. Приют на один день принял оживленный вид, и после постоянного казарменного порядка было просто отрадно видеть разбросанные по полу лоскутки, обрезки бумаги и тому подобные предметы, оставленные детьми. Приютские комнаты походили на казематы, из которых после долгого заключения узники вырвались на свободу.

— Ну, кажется, сегодня можно будет и отдохнуть,— заметила Ольга Никифоровна, раскрасневшаяся, как вареный рак, и облитая крупным потом.— Ноги совсем притоптались.

— Я тоже устала,— томно промолвила Марья Николаевна.— Впрочем, сегодня и без нас посидят дети.

— Кто-нибудь из старших присмотрит,— решила Ольга Никифоровна.— Скворцова может.

Ольга Никифоровна знала, какой эффект это произведет на Марью Николаевну.

— Ну, уж нашли на кого положиться! — ядовито воскликнула Марья Николаевна.

— Отчего же на нее и не положиться? — спросила Катерина Александровна.— Впрочем, и я не пойду отдыхать; значит, можете быть покойны.

Катерина Александровна радовалась, что ей представится случай поговорить со Скворцовой, не боясь соглядатаев.

— Да где же Скворцова-то? Я ее не вижу,— произнесла Ольга Никифоровна, обводя комнату глазами.

Все осмотрелись.

— Вот видите: из-за стола без позволенья вышла,— едко заметила Марья Николаевна.— Хороша помощница!

— Она не была-с за столом,— отозвался чей-то голос из среды воспитанниц.

— Сходите за ней кто-нибудь! — велела Ольга Никифоровна.

Три воспитанницы выскочили из-за стола. Дети считали за счастие возможность пробежаться.

— Вернитесь! Ступай ты, Кононова! — приказала Зубова.

Две воспитанницы с постными физиономиями вернулись на место, а третья, подпрыгивая, побежала на поиски.

— Она, верно, лежит в спальне: ей давно нездоровится,— промолвила Катерина Александровна.

— Помилуйте, у нее щеки лопнуть хотят,— ответила Марья Николаевна.

— Ее с утра-с нет,— снова раздался чей-то голос с конца стола.

— Как с утра нет?

— Да-с, она и чаю не пила с нами.

Катерина Александровна побледнела как полотно; в ней пробудилось предчувствие чего-то недоброго.

— Это мило! Да она просто бежала! — воскликнула Марья Николаевна.— Верно, Новиковой подражать вздумала: та тоже два года тому назад убежала! Негодная, развращенная девчонка! Нашла какого-нибудь...

— Ну, Марья Николаевна, я вам не позволю,— прерывающимся голосом произнесла Катерина Александровна и поднялась с места.— Здесь дети!

— Ах, что вы мне говорите, будто они не знают, что она развратная.

— Говорю вам: молчите! — еще более взволнованным

тоном произнесла Катерина Александровна, не помня, что она говорит.— Она, может быть, руки на себя наложила, а вы смеете ее ругать! Стыдитесь! Вы сами женщина; вы сами вон до какого цвета лица дожили в этой каторге.

— А, так вам мой цвет лица не нравится! — уже со слезами в голосе забормотала Постникова язвительным тоном.

— Не о том я говорю, что он некрасив, а о том, что он не от сладкой жизни явился.

В эту минуту явилась Кононова и объявила, что Скворцовой нигде нет, что ее никто не видал с утра.

Катерина Александровна в волнении, почти шатаясь, пошла по направлению к дверям.

— Надо дать знать Анне Васильевне,— решила Зубова.— Ведь она и казенное платье, значит, унесла. Мало что бежала, так еще обворовала.

— Я и иду к Анне Васильевне,— отозвалась с порога Прилежаева.

— Что за форс явился! — иронически произнесла ей вслед Зубова.

— Это за мою любовь плата, за мою любовь! — хныкала Постникова.

Катерина Александровна, бледная и взволнованная, вошла в гостиную Анны Васильевны. Лицо молодой девушки было настолько встревожено, что Зорина невольно обратилась к ней с вопросом:

— Что с вами?

— У нас несчастье: Скворцова пропала,— ответила Катерина Александровна.

— Как пропала? Не может быть! Да когда же?

— Ее с утра никто не видал.

— Боже мой! Боже мой! Да что же это такое? — воскликнула Анна Васильевна.— Что я скажу Боголюбову? Ведь это уж третий случай! Он меня со свету сживет. Этого только недоставало! Это награда к праздникам!

Зорина в волнении заходила по комнате.

— Надо принять меры, Анна Васильевна; надо ее отыскать, спасти,— проговорила Катерина Александровна.

— Ах, что вы мне о ней толкуете! — вспылила Анна Васильевна.— Есть мне дело до этой негодницы! Низкая тварь, она губит меня. Я бы, кажется, ее из своих рук задушила! А я еще всегда заботилась о ней, принимала ее сторону. Это недаром; это ее настроили; это кто-нибудь под меня подкопаться хочет. Боже мой, и за что же это

все на меня обрушивается в этом вертепе, в этом аду! — Анна Васильевна была вне себя от тревоги.— Ну, что я скажу Боголюбову? Что? — взволнованно восклицала она.— Ведь, может быть, он уже все знает; может быть, она прямо к нему прошла, наговорила на меня... У нас каждую кухарку слушать станут... Всем верят... Надо ехать, ехать надо! Нет, я не дам погубить себя так; я прежде всех погублю... я... я...

Анна Васильевна в изнеможении опустилась на кресло. Видно было, что под влиянием сильного страха она сама не сознавала, что говорила. В душе эта отставная полковая барыня была вовсе не злой, но чувство самосохранения заставляло эту уже близкую к бедности женщину делаться беспощадной в отношении тех, кто каким бы то ни было образом содействовал уничтожению ее последних средств к жизни.

— Не ездите, Анна Васильевна; лучше прежде отыскать ее... Может быть, все уладится! — произнесла Катерина Александровна.— Позвольте мне...

— Что вы толкуете? Да разве я могу не ехать? Разве эта история не будет завтра же известна и Боголюбову, и графине, и всему городу? Это все на меня обрушится... Разве вы думаете, что мне приятны эти объяснения?.. Вы, кажется, должны были понять мой характер, мое стремление избежать дрязг и ссор...

— Дело, во всяком случае, принесет вам неприятности,— проговорила Прилежаева.— Так лучше устроить его так, чтобы спасти ребенка, а потом смягчить поступок бедной девочки.

— Ребенка!.. Девочки!..— воскликнула Анна Васильевна с негодованием.— Знаю я их: это развратницы, выкидыши вертепов! А вы называете ее ребенком, девочкой! Милая рекомендация для вас самих!

Катерина Александровна на мгновение вспыхнула и потом побледнела сильнее прежнего.

— Анна Васильевна, Скворцова поступила в приют семи лет,— с усилием проговорила она и сдвинула брови; ее лицо приняло злое и суровое выражение.

— Ну, так что же? — перебила ее с нетерпением Зорина, уже начавшая переодеваться.

— Она жила с тех пор безвыходно под этой кровлей... Где же она могла развратиться?..

Зорина окинула глазами Прилежаеву.

— Так не думаете ли вы, что мы ее развратили? — гневно крикнула она.

— Это подумают Боголюбов, графиня и княгиня. Они подумают, что вы не умели смотреть за приютом, что вы...

— Прошу вас, не делайте мне дерзостей! — топнула ногой Зорина.— Вы думаете, что я уже вишу на волоске, что меня выгонят, что меня нечего бояться! Вы ошибаетесь; вы жестоко ошибаетесь! Я останусь начальницей и не только останусь, но и выгоню всех, которые думали сжить меня!

— И прекрасно сделаете,— сдержанно ответила Катерина Александровна.— Но теперь дело не в том; теперь нужно спасти Скворцову и по возможности не разглашать дела.

— Ступайте! Вы сделали свое дело! Теперь я поеду к Боголюбову,— решила Зорина.

— Ради бога, ради всего святого не ездите! — горячо воскликнула молодая девушка и сжала с мучительным выражением свои руки.— Вы сами были матерью; у вас были дочери: сжальтесь над этою сиротой... Ведь это дело дойдет до полиции; о ней подадут объявку... На ней даже казенное платье... Позвольте прежде отыскать ее. Вы доброе дело сделаете! Вам бог заплатит за это!..

Анна Васильевна с не свойственными ей в обыкновенные минуты черствостью и подозрительностью взглянула на Катерину Александровну и иронически спросила ее:

— Да уж вы не заодно ли с нею?

Эти слова заставили очнуться Прилежаеву и понять, с кем она имеет дело.

— В моей жизни нет пятен, и за себя я не боюсь,— твердо проговорила она.

— Ах, боже мой, какая святость! — с иронией воскликнула старуха.— Я это сказала потому, что вы вчера еще разнежничались что-то со Скворцовой.

Катерина Александровна широко открыла глаза: она до сих пор и не подозревала, что даже у приютских стен есть глаза.

— Я именно потому-то и хлопочу о Скворцовой, что не далее, как вчера, я застала ее в слезах, в таком состоянии, в каком может быть человек перед самоубийством,— произнесла Прилежаева.

— Трогательно! — иронически заметила старуха, надевая шляпку.— Чувствительные кухарки... Впрочем, мне надо ехать... Ступайте!

Катерина Александровна молча вышла из комнаты. В ее голове шумело; ей казалось, что она находится в каком-то чаду; она не помнила, что она говорила; она не могла обсудить, как она будет действовать дальше. В такие минуты человек идет напролом, бьет, может быть, не в то место, куда надо бить, но что же делать, если внутреннее волнение и быстрота совершающегося неожиданного события не дают возможности для строгого начертания плана действий. Катерина Александровна быстро прошла в залу и позвала одну из подруг Скворцовой.

— Не знаешь ли ты, куда она ушла? — тихо спросила Катерина Александровна у девочки.

— Не знаю-с! — отвечала та, видимо, прилагая все усилия, чтобы прямо смотреть в глаза Прилежаевой.

— Ты не бойся. Ни ей, ни тебе худо не будет, если ты скажешь...

— Я не знаю-с,— быстро и отчетливо ответила воспитанница, как отвечают отпирающиеся от преступления арестанты.

— Но как ты предполагаешь? — начала Прилежаева, ласково смотря на девочку.— Ты, может быть, своим предположением дашь возможность спасти ее...

— Я не знаю-с! — еще бойчее ответила воспитанница.

Катерина Александровна нетерпеливо отошла от нее и пробралась в спальню детей. В ее голове мелькнула новая мысль. Прилежаева вошла в спальню: там не было ни души; она подошла к постели Скворцовой и отперла ее шкаф. Там было несколько книг, несколько ленточек и цветных лоскуточков. Катерина Александровна с минуту оставалась в нерешимости; потом торопливо начала осматривать каждую вещицу, перелистывать каждую книгу, каждую тетрадь. Осмотр продолжался долго, но результатов не было никаких. Катерина Александровна уже начинала отчаиваться в успехе, когда на пол из одной тетради упал какой-то лоскуток бумаги: это был очень маленький кусочек почтовой бумаги, на нем стояли буквы: *лой Ник.* Катерина Александровна начала быстро рыться в тетради, но в ней не было больше ничего. Молодая девушка снова начала вынимать из шкафа и перетряхать лоскутки, книги и тетради. После долгих усилий перед Прилежаевой упало еще два лоскутка почтовой бумаги; один из них подходил к нижней части найденного ею прежде клочка, но на этом лоскутке не было ничего написано. Прошло еще минут пять в тщетных поисках, и у молодой девушки

очутилась в руках еще полоска бумаги с буквами: *Ивано.* За этими буквами следовало чернильное пятно. Катерина Александровна сидела над этими лоскутками и уже догадывалась, что они составляют первую строку недописанного письма, разорванного и брошенного, вероятно, вследствие упавшей на него чернильной капли. Прилежаева стала машинально перелистывать краткий катехизис, покрытый пометками, исписанный рукой Скворцовой. На одной из страниц этой ветхой книги молодой девушке бросилась в глаза надпись: «милой Коля!» Катерина Александровна стала еще прилежнее искать в книге объяснения загадки, но его не находилось. Среди различных заметок в книге поражали только постоянно встречавшиеся большие заглавные буквы: Н. И. Р., переплетенные в самые затейливые вензеля. Она поспешно уложила вещи в шкаф и, вся раскрасневшаяся, пошла в рабочую комнату. В коридоре ей попалась одна из взрослых воспитанниц.

— К кому писала письма Скворцова? — неожиданно спросила Катерина Александровна.

— К Рождественскому-с,— ответила скороговоркой девушка и вдруг вся покраснела до ушей.— Я не знаю-с; она ни к кому не писала-с... Ей-богу-с,— забормотала она.

— Мне больше ничего не надо! — проговорила Катерина Александровна.

— Это я так... Вот вам Христос-с! — клялась чуть не плача девочка.

— Полно,— перебила ее Катерина Александровна.— Что ты боишься? Разве я стану рассказывать?

Прилежаева торопливо вошла в залу. Там сидели Постникова и Зубова, окруженные несколькими из младших воспитанниц.

— А, адвокат Скворцовой идет! — засмеялась Зубова своим грубым смехом.— Нечего сказать, за хорошего человека заступаетесь. Вон послушали бы, что дети-то говорят: она записочки Рождественскому передавала. Верно, к нему и в гости пошла.

Тайна, которую с таким трудом старалась открыть Катерина Александровна, была уже известна другим двум помощницам через маленьких шпионов.

Катерина Александровна ничего не ответила Зубовой и прошла в свою комнату. Через несколько минут она вышла из приюта. Она дошла до первого извозчика и, не торгуясь, как бы бессознательно села на дрожки. Она все еще не могла прийти в себя. Она опомнилась и испугалась

предпринятого ею дела только тогда, когда ей удалось найти жалкую и темную переднюю квартиры, в числе жильцов которой был и Рождественский. Катерину Александровну поразил тяжелый воздух этой передней: здесь пахло водкой, жженым кофе, постным маслом. Это была какая-то трущоба. В конце коридора слышались шумные мужские голоса, принадлежавшие, по-видимому, порядочно охмелевшим собеседникам. Спросив у какой-то чухонки, отворившей дверь, в которой комнате живет Рождественский, Катерина Александровна ощупью пошла по темному коридору.

— Николай Иванович, к вам еще гостья,— крикнула чухонка.

Эти слова заставили Прилежаеву вздрогнуть. Она быстро отворила дверь и почти натолкнулась на хозяина комнаты, заслонившего ей дорогу.

— Что вы-с? Как вы сюда попали? — пробормотал он, неуклюже стоя перед посетительницей.

— Я приехала за Скворцовой,— решительно проговорила Катерина Александровна, глядя прямо в глаза совершенно растерявшемуся молодому человеку.

Он был бледен; его волосы были в беспорядке. По всему было заметно, что и для него прошел этот день недаром.

— За какою Скворцовой? Я не знаю-с...— пробормотал он, окончательно растерявшись.

— Что вы мне говорите, когда все знают, что она ушла к вам! — перебила его Катерина Александровна.

— Как-с? все? — воскликнул он, отступая на шаг.— Господи, что же это такое? Погубила, совсем погубила и меня и себя. Я ведь говорил, говорил! — Он схватился за голову.

— Как вам не стыдно было обольстить бедного ребенка! — с упреком промолвила Прилежаева.

— Помилуйте! Я-с... я тут ни при чем,— заговорил он прерывающимся голосом.— Что же я мог сделать?.. Я ее отсылал; я говорил... Не мог же я силой... Боже мой, что же это со мною будет... Ведь вот не послушалась... Погубила...

Катерина Александровна с невольным отвращением смотрела на этого человека.

— Если бы вы знали, как я противился...— бормотал он.— Это она сама во всем виновата...

В эту минуту за ширмами послышались задушаемые

рыдания. Катерина Александровна быстро подошла к ширмам. За ними на смятой постели, уткнув голову в подушку, сидела Скворцова. Ее тело конвульсивно вздрагивало от подавляемых рыданий.

— Наташа, полно! Это я,— проговорила с состраданием и лаской Прилежаева.— Не бойся, никто не знает, где ты...

— Я не пойду, не пойду... я умру здесь,— бормотала девушка, судорожно выбиваясь из рук Катерины Александровны.

— Полно, бедная! — ласково шептала Прилежаева.— Поедем... Я скажу, что встретила тебя на дороге... У себя в квартире... Что-нибудь придумаем... Торопись: не то будет поздно.

— Слушайтесь же... Вам они добра желают... Не губите ни меня, ни себя,— бормотал Рождественский.— Вот ваш капор...

Катерина Александровна обернулась к нему бледным лицом.

— Подите прочь! — тихо произнесла она.

— Войдите в мое положение... Я готов бы ее оставить, если бы... Как же бежала...

— Подите прочь! — настойчиво произнесла еще раз Прилежаева и обратилась к Наташе.— Поедем же! Торопись. Надо скорее.

— Голубушка, родная! Лучше я руки на себя наложу! — рыдала девушка.

— Полно, полно: все обойдется! — утешала ее Катерина Александровна.— Я не дам тебя в обиду.

— Не хочу я жить, не хочу!.. Если бы вы знали!..— девочка снова зарыдала еще сильнее.

Это была тяжелая, мучительная сцена. Катерина Александровна дрожала, как в лихорадке.

— Я выйду из приюта, я не хочу быть там! — говорила Скворцова.

— Пойми ты, что тебя заставят вернуться, что у тебя ни паспорта нет, ни права выйти из приюта. Тебя могут с полицией взять, могут за воровство наказать,— объясняла Катерина Александровна.

— Я не раба им, не крепостная! — кричала девочка.

— Дитя, ты сама не знаешь, что говоришь,— с горечью произнесла Катерина Александровна.— Они могут силой взять тебя...

Прошел целый час. Катерина Александровна сделала

нечеловеческие усилия, чтобы объяснить Наташе необходимость возвратиться в приют. Наконец Скворцова с распухшими глазами, покрытым пятнами лицом, едва стоя на ногах, вышла из комнаты Рождественского.

— Ради бога, не выдайте-с меня! — проговорил он, обращаясь к Прилежаевой.

— Позаботьтесь, чтобы вас не выдали в вашем доме,— сказала Катерина Александровна.

— Здесь только служанка знает-с...

— Ну, так и не велите ей говорить...

Она вышла с Наташей на улицу. У ворот стоял извозчик.

— К школе гвардейских подпрапорщиков,— сказала ему Катерина Александровна, садясь с девочкой на дрожки.

Обе молодые девушки ехали молча. Так же безмолвно поднялись они на лестницу и вошли в квартиру, где жила Марья Дмитриевна.

— Катюша, что с тобою? На тебе лица нет! — воскликнула Марья Дмитриевна, всплеснув руками.

— После, мама, после! Теперь приготовь чаю и дай умыться ей и мне,— проговорила Катерина Александровна и вздохнула широким вздохом, словно желая облегчить стесненную грудь.

Марья Дмитриевна совсем растерялась и не знала, за что взяться. Катерина Александровна тихо промолвила ей:

— Ты не бойся: со мною ничего не случилось: я просто устала, исполняя поручение начальницы. У этой бедной девочки несчастие случилось.

— Господи, а я уж думала, не с тобой ли что, храни владыко, сделалось,— проговорила Марья Дмитриевна с облегченной грудью и более спокойно принялась за дело.

Наташа между тем машинально умылась и стала приглаживать волосы. Она безмолвно и покорно повиновалась Катерине Александровне.

Штабс-капитан, заслышав голос Катерины Александровны, спросил, можно ли войти.

— Нет,— отозвалась Катерина Александровна.— Я зайду к вам сама.

Она вошла в комнату старика.

— Что это вы, милейшая Катерина Александровна, сами на себя не похожи? — спросил старик.

— Неприятности случились! — проговорила Катерина Александровна, опускаясь на стул.

— С вами?

— Нет.

Молодая девушка тихо передала старику в немногих словах всю историю.

— Проклятие! проклятие! Совсем погубили! — пробормотал старик.— Теперь надо отстаивать, непременно отстаивать!

— Разумеется! Не знаю только, как сказать, где я ее встретила? — задумалась Катерина Александровна.

— Ну, да скажите, что встретили на улице. Тут придумывать ничего нельзя. Станут наводить справки... Лишь бы от наказания отстоять...

— Меня, право, в жар бросает, как подумаю, что с нею будет! — вздрогнула Катерина Александровна.

— А вы не думайте! Вперед тут ничего не придумаете. Надо действовать, соображаясь с обстоятельствами. Только не унывайте!

Старик еще несколько минут ободрял Катерину Александровну; наконец Марья Дмитриевна позвала ее к чаю. Выпив наскоро чашку чаю, осмотрев костюм Наташи, Катерина Александровна поднялась с места и отправилась в приют. Ей хотелось, чтобы дороге не было конца. Ее давила мысль о встрече Наташи с Постниковой, Зубовой, Анной Васильевной и детьми. Впервые Катерина Александровна не просто не любила приют, но ненавидела его, как каторгу, как вертеп гибели. Как гадки казались ей эти обнаженные желтые стены с сырыми темными пятнами! как страшны казались ей эти окна с белой краской — эти покрытые белилами, не видящие света и жизни глаза! Она вошла с Наташей в переднюю и прошла в свою комнату как-то воровски.

— Сиди здесь покуда! — тихо сказала она Наташе и поцеловала ее в лоб.

Через минуту она была у Анны Васильевны.

— Анна Васильевна, я привезла Скворцову! — проговорила Прилежаева.

— А! у Рождественского изволили быть? — спросила Анна Васильевна, которой уже были переданы все приютские толки и сплетни.

— Нет, зачем мне было к нему ездить! — промолвила Катерина Александровна.— Я просто поехала домой освежиться, напиться у матери чаю. Вдруг... гляжу,— по доро-

ге идет Скворцова, вся в слезах, совсем ослабевшая. Я ее окликнула. Она остановилась, и мне удалось взять ее с собою. Я едва ее успокоила. Она, должно быть, нездорова. Дети говорят, что она недавно всю ночь бредила. Раз я сама слышала, как она плакала ночью...

Катерина Александровна говорила торопливо, бессвязно.

— Ах, да что вы мне все это рассказываете? — перебила ее Зорина.— Посадите ее в классную комнату, заприте там, и пусть сидит на хлебе и воде, покуда придет распоряжение от графини...

— Как? Разве она уже знает? — воскликнула Катерина Александровна.

— Конечно. Боголюбов тот час же поехал к ней,— ответила Анна Васильевна.— Ступайте. Распорядитесь.

Катерина Александровна молча вышла из комнаты. Ее сердце замирало от боли. Она не знала, не могла предугадать, что ждет Скворцову, но хорошего ожидать было нельзя. Катерина Александровна знала графиню Белокопытову, знала, что за благочестивой внешностью, за мягкими фразами скрывались крайне черствое сердце и крайне узкий ум, какие могут быть только у женщины, не знающей действительной жизни. В приюте все дети боялись графини, как пугала. Они дрожали, когда она, сгорбившись и торопливо перебирая ногами, проходила перед ними и скороговоркой бормотала: «Хорошо ли молитесь, милые?», «Батюшку не обманываете ли?», «Бог все видит, за все наказывает позабывших его». Что-то сухое и черствое слышалось в словах графини, когда однажды, узнав о смерти одной из воспитанниц, она сказала матери умершего ребенка:

— Это счастье: умереть в детстве — милость божия. Надо молиться, а не плакать, когда умирают дети.

Катерина Александровна слышала эти слова и понимала, что мать умершей думала не так, как графиня, смотря на исхудалый труп своего ребенка. Этой-то полусумасшедшей женщине предстояло решить участь Скворцовой. Наташа была посажена в класс; Катерина Александровна принесла ей подушку и чаю. Бедная девочка все еще находилась в каком-то полузабытье. В ней трудно было узнать ту строптивую и дерзкую Скворцову, которая еще накануне готова была огрызаться со всеми. По-видимому, удар, перенесенный ею, был слишком силен и оглушил ее, как удар грома. Катерина Александровна с свойственной

молодым существам деликатностью не спрашивала у девушки никаких подробностей. Тревожную, тяжелую ночь провела Катерина Александровна, ожидая, что за вести получатся на другой день от графини.

Рано утром по приюту разнеслась новость, гласившая, что Анну Васильевну приглашает графиня к себе. В десятом часу Зорина уехала. Катерина Александровна не могла спокойно посидеть на месте, ожидая ее возвращения. Она десятки раз подходила к окну, прислушиваясь к стуку экипажей, вздрагивала при звуках колокольчика в передней. Наконец в зале появилась Анна Васильевна. Старуха раскраснелась и в ее движениях было что-то порывистое, раздражительное. Было сразу заметно, что она выдержала не совсем приятную сцену.

— Не выпускайте Скворцову в течение всех праздников,— обратилась она на ходу к Зубовой.— Дайте ей Евангелие: пусть читает.

Старуха уже хотела пройти на свою половину, когда Катерина Александровна спросила ее:

— На сколько времени назначен арест?

— До Фоминой недели, когда все дети соберутся,— ответила Зорина.— До них не велено наказывать.

— Как наказывать?

— Высекут ее при всех...

Катерина Александровна сделала шаг вперед с широко открытыми глазами, с полуоткрытым ртом и поспешила опереться о первый попавшийся предмет.

— Что это с вами? Вам, кажется, дурно? — насмешливо спросила Зубова.

Катерина Александровна провела рукой по лбу.

— Нет, этого не будет! это варварство! она не крепостная! — решительным тоном проговорила она.

Зорина, направившаяся к дверям своей половины, обернулась к Прилежаевой.

— Не вы ли не позволите? — спросила она с удивлением.— Неужели вы думаете, что я очень рада возможности высечь большую воспитанницу? Я, кажется, реже всех наказываю детей. Если же Скворцову я велю высечь, то это, уж конечно, будет сделано потому, что отстоять ее было нельзя.

В голосе Анны Васильевны было что-то горькое. Действительно старуха не притесняла детей, не притесняла их уже просто потому, что не любила дрязг, плача и криков. Она бранила Скворцову, узнав о бегстве последней,

но если бы это бегство могло не отозваться дурно на ней самой, то она, верно, и за него только пожурила бы девушку и тем покончила бы дело. Старая полковая барыня очень снисходительно смотрела на то, что она называла «шалостями»; она очень не любила наказаний и слез наказываемых; она более всего была склонна смотреть на все сквозь пальцы, если только поступки посторонних людей не грозили отнятием у нее последнего куска хлеба, то есть ее места. Старуха круто повернулась к дверям и вышла. Дело было в Страстную пятницу. Дети под предводительством помощниц пошли в церковь. В приюте осталась одна Скворцова и Катерина Александровна. Последняя ходила в грустном размышлении по комнате и еще не решалась идти к Скворцовой, чтобы подготовить ее понемногу к печальным новостям и ободрить надеждой на отмену тяжелого наказания, о котором, наверное, в этот же день поспешат сообщить ей и Постникова и Зубова. Было около двух часов, когда к приюту подъехала карета. Катерина Александровна не обратила на нее никакого внимания и все еще ходила по зале, когда перед нею широко распахнулись швейцарской рукой обе половинки дверей и в комнату торопливыми шагами появилась графиня Белокопытова. Она кивнула головой Катерине Александровне и на ходу проговорила:

— Здравствуйте, милая! Где Скворцова?

Катерина Александровна молча повела графиню по направлению к классу. Ее сердце замирало от боли; молодой девушке казалось, что она ведет инквизитора в темницу несчастного узника. По ее телу пробежала дрожь, когда под ее рукой щелкнул замок дверей.

— Благодарю! — пробормотала графиня и прошла в двери, притворив их за собою.

Катерина Александровна как бы приросла к месту. Она совершенно бессознательно стояла у дверей и слушала.

— Здравствуй, милая, здравствуй! — послышался голос графини.— Так это ты решилась на такое дело? И тебе не стыдно? Подумала ли ты, в какие дни ты это делаешь? Куда ты хотела бежать? Зачем?

Наступила минута молчания.

— Что же ты молчишь, милая? Ты плакать должна; ты каяться должна! — снова заговорил сухой, надтреснутый голос графини.— Господи, спаси позабывших тебя, умягчи сердца грешников! Ты руки на себя наложить хо-

тела? Да? А ты знаешь ли, кто наложил на себя руки на Страстной неделе? Иуда, предатель! Читала в Евангелии?.. Да ты во всю жизнь не отмолишь этого греха; ты не смоешь его никакими слезами, только милосердие божие одно может спасти тебя. И с чего это, с чего тебе в голову пришло?

Опять прошла минута безмолвия.

— Ты обута, одета, в тепле, сыта,— заговорил сухой голос.— Ты с улицы подобрана. Ты, может быть, замерзла бы где-нибудь, если бы тебя не подобрали; ты должна бы вечно благодарить создателя, не оставившего и тебя, ничтожную сироту, по своей неизреченной благости. А ты как отблагодарила его? Ты своими грехами снова распинала его; ты, как Иуда, хотела уничтожить свою жизнь, дарованную тебе им, нашим отцом небесным, или шла на дорогу разврата...

Опять воцарилось гробовое затишье.

Среди этой мертвенной тишины Катерина Александровна, вся обратившаяся в слух, услышала едва заметный шорох. Она не могла двинуться с места и с трудом повернула голову: к ней приближалась на цыпочках Анна Васильевна.

Молодая девушка замахала ей рукой; Зорина кивнула головой, как будто отвечая ей, что она понимает ее мысль, и тихо остановилась около нее.

— Я сейчас из храма господня,— заговорил глухой голос.— Я удостоилась, грешная, лобызать его раны. Я слезами омочила его покрытые кровью ноги. Я плакала над его пречистым телом, плакала о тебе. И он озарил меня мыслью, он благословил меня идти к тебе, вдохнуть в твое сердце раскаяние. Молись, и он помилует тебя! Перед тобой теперь целых десять дней для оплакивания твоего греха. Читай его Евангелие, читай об его муках, принятых им на себя для нашего спасенья, и твое сердце умягчится, на него снизойдет благодать свыше. Я решилась наказать тебя, строго наказать. Но ты помни, милая, помни, что это наказание, эти телесные муки снимут грех с твоей души, избавят ее от тех мучений, которые ждут тебя в загробной жизни. Тебя не для того высекут...

— Высекут! — вдруг раздался раздирающий крик в классной комнате и как-то дико, где-то далеко под сводом отдался тяжелым стоном.

В этом крике был ужас, было негодование, была резкая болезненность. Казалось, что после этого крика долж-

на была надорваться человеческая грудь, из которой он вылетел. По телу Катерины Александровны пробежала дрожь.

— Да разве тебе еще не говорили? — спросил сухой голос графини.— Тебя высекут перед твоими подругами, чтобы не только ты искупила свой грех, но чтобы и они знали, что...

— Никогда! Никогда! — послышались дикие, резкие ноты.— Меня? Сечь? Перед приютом? Я выхожу вон; я не хочу здесь быть!

— Полно, полно, милая,— произнес глухой голос графини.— Разве ты имеешь право выйти отсюда? Ты вспомни, что я приняла на себя обязанность матери; я перед лицом бога решилась воспитать твою душу; я приняла на себя ответственность за твои поступки. Я не отступлюсь от своей тяжелой обязанности; я не отдам тебя врагу человечества и спасу тебя. Ты видишь: я слаба; я больна; мне тяжело нести взятый мною на себя крест, но я несу, со смирением, с покорностью несу. Я вам всем мать!

— У меня нет матери! — раздирающим воплем пронеслись звуки молодого голоса.— Я не дам себя сечь! Я выйду, выйду! Я не раба; я не крепостная вам досталась!

— Господи, просвети ее душу! — тихо промолвил сухой голос.— Не крепостная, не раба, но взятая мною на воспитание дочь, заблудшаяся овца. Послушай...

— Пустите, пустите меня!

— Успокойся...

— Лучше убейте, лучше убейте меня сразу! Я не хочу жить. Слышите, не хочу жить!

— Господи, обрати на нее взор твой!.. Молись ему!

— Не хочу, не хочу молиться! Что мне молиться!

В классной комнате зазвучали истерические рыдания. Это были такие звуки, от которых могло задрожать самое черствое сердце.

— Плачь, плачь, бедное дитя! — слышался там глухой шепот графини.— Благодарю тебя, господи! Благодарю! Сподобил! Сподобил!

Катерина Александровна не вынесла до конца этой сцены. Она без слез, без звука тяжело зашаталась. Около ее тальи обвивалась чья-то рука.

— Пойдемте,— тихо произнесла Анна Васильевна, поддерживая молодую девушку.

Они пошли на половину Зориной.

— Выпейте воды! — говорила старуха и дрожащей рукой поднесла Прилежаевой стакан.

Лицо старухи было смочено слезами. Она добродушно стояла около Прилежаевой и успокаивала ее. Наконец молодая девушка как будто пришла в себя и горько заплакала.

— Ведь это хуже пытки; это невыносимо! От этого можно с ума сойти! — шептала она, рыдая.— Нет, я пойду туда; я покончу эту пытку! — вдруг поднялась она с места.

— Полноте! Пройдите в мою спальню, прилягте! Я крепче вас; я пройду к ним,— проговорила Анна Васильевна таким мягким, таким ласковым голосом, что Катерина Александровна покорилась ей, как ребенок.

Анна Васильевна провела ее в свою спальню и направилась к классной комнате, отирая на ходу слезы. Она решительно отворила дверь в классную комнату и в остолбенении остановилась на пороге; в углу лежала без чувств Скворцова, а перед образом на коленях вслух молилась Дарья Федоровна. Анна Васильевна поспешила спрыснуть водой и привести в чувство девушку. Заслышав шум, графиня тяжело поднялась с коленей и обратилась к Анне Васильевне.

— Ничего, ничего: это просто обморок!.. Какое черствое сердце!.. Какая закоснелость души!.. Господи, просвети ее... Евангелие ей дайте!.. Я еще зайду на днях!.. Надо спасти ее... До свиданья!..

Графиня, вся пожелтевшая, утомленная, пошла из классной комнаты, с трудом перебирая ногами и согнувшись еще более, чем обыкновенно. Анна Васильевна не обратила никакого внимания на графиню, словно забыла, что эта женщина хозяйка приюта. В старухе пробудились все добрые человеческие чувства, и ее мысль была устремлена только на то, как бы привести в чувство, успокоить бедную девочку и облегчить ее участь. И то сказать, Анна Васильевна не была каким-нибудь безгрешным существом; она просто была отставной полковой маркитанткой. Скворцова не скоро пришла в себя. При помощи возвратившихся из церкви девочек Анна Васильевна перенесла Скворцову в свои комнаты, уложила ее на диван и оставила на время одну. В своей спальне она застала расхаживавшую взад и вперед Катерину Александровну.

— Ну, кажется, успокоилась немного? — спросила ласково Зорина.— А то уж я думала, что у меня совсем лазарет будет. Вот денек-то выдался!

— Ее непременно надо спасти,— проговорила Катерина Александровна, как бы не слыша слов Анны Васильевны.— Я поеду к княгине.

— Ничего не выйдет!

— Как ничего! я настою! Я скорее места лишусь, а ее спасу! — тревожно говорила Прилежаева.

— Дай бог, чтобы удалось! — вздохнула Анна Васильевна.— Но прежде всего надо совершенно успокоиться самим. Я и крепче вас, а у меня голова разболелась. Оставайтесь пить чай у меня,— радушно обратилась она к Прилежаевой.— Вместе поволновались, вместе и успокаиваться будем,— улыбнулась старуха.— Горячая вы голова! Я вас только вчера да сегодня вполне поняла. В этом вертепе на всех подозрительно смотришь. Мне уж успели и вас как шпиона отрекомендовать.

Старуха начала хлопотать с чаем и перебрасывалась с Катериной Александровной отдельными фразами. Впервые они беседовали как знакомые, а не как начальница с подчиненной.

— Что это, maman, у нас за субъект лежит в гостиной? — спросил у Анны Васильевны, появляясь в комнате и бросая фуражку, Александр Иванович.

— Больная одна,— неохотно ответила мать.

— Очень миленькое созданье!

— Ну, пожалуйста, отложи эти наблюдения хоть сегодня,— сухо заметила мать.— Мне сегодня совсем не до них.

— Мы сегодня, кажется, не в духе?

Анна Васильевна, обратилась к Прилежаевой.

— Право, я завидую людям, которые могут жить, сложа руки,— заметила она.— Им все праздник.

— Эта-с шпилька предназначена мне,— пояснил ироническим тоном Александр Иванович, обращаясь к Катерине Александровне, присутствие которой в комнате Анны Васильевны, кажется, немало изумило его.— Maman иногда умеет быть очень деликатной дамой.

— Да, я иногда даже умею заставлять людей молчать, когда они сами не умеют краснеть за свои слова,— отозвалась Зорина уже совершенно резким тоном.

— Тебя в полку слишком избаловали послушанием! — желчно засмеялся Александр Иванович.

Зорина тихо вздохнула и обратилась к Катерине Александровне:

— Взгляните, что наша больная.

— Не желают делать вас свидетельницей семейной драмы! — нагло засмеялся Александр Иванович.

Катерина Александровна бросила на него какой-то странный взгляд, как на сумасшедшего, и вышла в гостиную. Ей впервые стало жаль Анну Васильевну. Наташа в гостиной лежала в полудремоте. Увидав Катерину Александровну, она сделала усилие, чтобы улыбнуться, и притянула к себе ее руку. Прилежаева присела около нее на диван и тихо провела рукой по ее волосам.

— Мне было очень худо? — спросила Скворцова, как бы не помня, что с нею было.

— Да, тебе дурно сделалось...

— Катерина Александровна, это правда, что меня наказывать будут? — совсем боязливо и едва слышно спросила девушка.

— Никто тебя не будет наказывать...

— А графиня?..

— Ты знаешь, что она сумасшедшая...

Скворцова пытливо смотрела на Катерину Александровну.

— А Анна Васильевна? — недоверчиво спросила она.

— Анна Васильевна сама перенесла тебя сюда. Она прислала тебя спросить, не хочешь ли ты чаю или чего-нибудь.

— Добрая она,— как-то по-детски проговорила Скворцова.— Она только горячая... А я совсем гадкая, совсем гадкая... И зачем это он сделал!..— она закрыла лицо руками.— Я его не люблю... Я ненавижу его,— тихо прошептала она.

— Полно, Наташа; не думай ни о чем,— ласково промолвила Катерина Александровна.— Тебе надо отдохнуть, поправиться!.. Не говори никому ничего...

— Я вам только! Вы как мать мне, родная моя! — прошептала девушка и припала губами к руке Катерины Александровны.

В эту минуту раздались в гостиной сердитые мужские шаги и Александр Иванович, не обращая ни на кого внимания, в фуражке на голове, прошел по комнате. Через несколько минут из спальной вышла Анна Васильевна. Ее глаза были красны от слез, но она старалась скрыть свое волнение и подошла к двум девушкам с ласковой улыбкой. Вся ее фигура в эту минуту как-то принизилась и выглядела далеко не так величественно, как обыкновенно.

— Ну что наша путешественница? — шутливо проговорила она, потрепав Наташу по щеке.— Лучше?

— Благодарю вас, теперь лучше! Извините меня, огорчила я вас,— отозвалась Скворцова.

— Поправляйся, поправляйся! Сейчас пришлю тебе чаю! Это полезно.

Анна Васильевна удалилась с Катериной Александровной в спальню.

— Ее узнать нельзя; совсем другая стала,— заметила Зорина про Скворцову.

— Такое тяжелое горе хоть кого изменит.

— Ах, друг мой, да какое же горе легко! — вздохнула Анна Васильевна.— В молодости только привычки нет скрывать то, что гложет сердце. С годами и к этому привыкаешь. Тяжело, невыносимо жить, а ничего... живешь, смеешься, точно и в самом деле на душе не кошки скребут, а одно веселье слышится.

Вечер прошел тихо в задушевных беседах, в рассказах о прошлом.

Что-то глубоко грустное, недосказанное, но понятное без слов слышалось в речах обеих собеседниц. Несмотря на разницу лет, положений и образования они вдруг тесно сблизились в этот вечер. Он как-то освежительно повеял на Катерину Александровну, как затишье после бури. Она понимала, что в этот день в Анне Васильевне нашелся и ярко блеснул тот кусочек золота-человека, о котором говорил, которого везде искал штабс-капитан. Из слов Анны Васильевны молодая девушка узнала, что старуха занимает место начальницы по необходимости, что она презирает помощниц и знает все их дурные стороны, что она окружена шпионами, которые не только сообщают ей обо всех мелочах, но доносят и на нее.

— Вы здесь не уживетесь,— заметила между прочим старуха.— Чтобы ужиться здесь, нужно иметь каменный лоб и черствое сердце. К сожалению, даже и я не могу поддерживать вас, потому что на вас начнут наушничать Боголюбову, и Грохову, и графине.

Старуха еще долго распространялась о приюте и сетовала на необходимость жить в этой среде, членов которой в былые времена она не пустила бы на порог своего дома. Уходя от Анны Васильевны в грустном, но мягком, не лишенном сладости настроении, Катерина Александровна застала в рабочей комнате Зубову и Постникову. Обе старые девы о чем-то горячо разговаривали вполголоса и тот-

час же смолкли при появлении Прилежаевой. До ее слуха долетели только слова: «Сама графиня ведь!» Молодая девушка поняла, что тут еще шли толки о событии дня, которое своею таинственностию должно было заинтересовать и взволновать мелкие душонки двух девственниц. Катерина Александровна молча шла через залу.

— Засиделись у Анны Васильевны. Мы уже думали, что вы и ночевать у нее будете,— проговорила Зубова.

Катерина Александровна не нашла что ответить и молча вышла из комнаты.

— Ну, совсем нос подняла! И что у них тут случилось? Наташка тоже у Анны Васильевны! — говорила Зубова.

— Уж не на мое ли или не на ваше ли место готовят помощницу? — тревожно заметила Постникова.

— Что же мудреного! Оно бы и кстати наградить за то, что начала гулять! Пример хороший. Будем живы, так еще и плоды увидим всей этой истории...

В полумраке раздался грубый смех Зубовой, долетевший до слуха Катерины Александровны, и в ее голове промелькнула мысль: а есть ли в этих женщинах какая-нибудь частица золота-человека?

V

СТАРАЯ БАРЫНЯ И СТАРАЯ РАБА

Рано утром, повидавшись с Анной Васильевной и Наташей, которую снова перевели в классную комнату, Катерина Александровна пошла домой. Ее лицо так сильно изменилось в последний день, что Марья Дмитриевна тревожно спросила дочь о здоровье.

— Ничего, мама, я здорова,— ответила Катерина Александровна.— Неприятности только у нас случились там со Скворцовой!

— Слышала я, слышала от Флегонта Матвеевича,— вздохнула Марья Дмитриевна.— Да ты не принимай, голубушка моя, все к сердцу, береги себя.

— Нельзя, мама, не волноваться, когда человека губят.

В эту минуту в комнату вошел штабс-капитан, услышавший голос Катерины Александровны.

— Ну что, добрейшая моя фея? — спросил он, пожимая руки молодой девушки.— Как дела?

— Плохи, Флегонт Матвеевич, очень плохи,— ответила Катерина Александровна.

Она в коротких словах передала о случившемся. Марья Дмитриевна тяжело вздыхала во время рассказа и тихо шептала: «Изверги, изверги! Жалости в них нет! Бога они не боятся!» Флегонт Матвеевич слушал молча и изредка ерошил свои волосы под влиянием внутреннего волнения.

— Теперь надо попытаться съездить к княгине,— промолвила Катерина Александровна, окончив рассказ,— и во что бы то ни стало нужно спасти девочку.

— Ах, Катюша, не повреди ты себе,— проговорила Марья Дмитриевна с опасением.— Ты человек маленький, недолго и себя погубить. Всех, маточка, не спасешь.

— Ну, мама, если все о себе думать, так придется на все сквозь пальцы смотреть!

— Да что ж делать-то, маточка моя? Поневоле будешь сквозь пальцы смотреть, когда и самим не сладко живется. Что чужую крышу крыть, когда и сквозь свою каплет?

— Я так не могу жить.

— В отца ты пошла, в отца! Вон он также все спачала кипятился. А что поделал? До чего дошел?

— Хорошо, что подлецом не сделался.

— Так-то оно так, да ведь и радости-то немного принесла его честность. Вон Данило-то Захарович шел себе своею дорогой, ни во что не мешаясь, так теперь и человеком стал. А отец-то твой... Ну, да что и говорить; сама знаешь, до чего дошел, до чего нас, горемычных, довел...

Катерина Александровна нахмурила брови. Ее задели за живое слова матери; ей было больно, что мать так безучастно смотрит на чужое горе.

— Мама, у вас у самих дочь в том же приюте. Что бы вы сказали, если бы с ней случилось то же самое и если бы никто не вступился за нее? — спросила молодая девушка.

— Что ты! Что ты! Христос с тобою! — воскликнула Марья Дмитриевна и обняла маленькую Дашу, стоявшую около нее.— Да разве это может с нею случиться! Что ты!

Бедная женщина совершенно растерялась и прижимала к себе свое дитя, как будто боясь, что эту малютку тотчас вырвут из ее объятий и повезут сечь.

— Вот вы одной мысли о наказании Даши боитесь, а каково же смотреть, когда не только хотят наказать, но и

губят взрослую девушку? — промолвила Катерина Александровна.

— Да ведь неприятности можно нажить себе,— слабо возразила Марья Дмитриевна.

— Эх, почтеннейшая Марья Дмитриевна, без неприятностей прожить трудно,— вмешался в разговор Флегонт Матвеевич.— Известно, где лес рубят, там и щепки летят. Или так и живи спустя рукава и путайся в трущобе, или если уж захотел, чтобы дышалось вольнее, чтобы простору было больше, так и не охай о том, что труда много, что мелких неприятностей куча... Нет, это вы благое дело начали, Катерина Александровна. Бояться вам нечего: вынесете неприятность, потом весело станет; а будете сидеть, не шевеля пальца о палец,— сами после каяться будете.

— Так-то это, батюшка, так... Да ведь места она лишиться может,— вздохнула Марья Дмитриевна.

— Не лишится. Ну, а если лишится, так что же? Перебьемся как-нибудь, общими силами перебьемся, а все-таки никто не скажет, что перед нами человек тонул, а мы спокойно смотрели на него да чайком прохлаждались.

— Хорошо вам, батюшка, говорить! — с упреком промолвила Марья Дмитриевна.— Мы с вами век доживаем, а у Катюши еще жизнь-то впереди. Невесело будет, если с сумой придется ходить под старость.

— И-и, почтеннейшая Марья Дмитриевна, что вы говорите! — протяжно произнес Флегонт Матвеевич.— Вы взгляните на меня: я хоть с сумой не хожу, а живу тоже только тем, что дадут из милости богатые люди. А между тем и сплю я спокойно, и прямо в глаза всем смотрю, и головы не гну ни перед кем. Нищим могут назвать, подлецом — не смеют. Придется под забором с голоду умереть, поверьте, что и тогда, если кто покраснеет, если кто-нибудь должен будет покраснеть, то уж, верно, не я...

В голосе Флегонта Матвеевича звучали серьезные ноты, не слышавшиеся в обыкновенных разговорах отставного философа.

— А вам сладко, батюшка? — спросила Марья Дмитриевна, начинавшая сердиться, что штабс-капитан «подбивает» ее Катю на опасное дело.

Флегонт Матвеевич сдвинул брови.

— Как вам сказать? — задумчиво промолвил он.— Не сладко, а все же с богатым подлецом теперь местами не поменяюсь...

— Ну, батюшка, тоже, я думаю, не раз сердце-то

кровью обливалось, да кошки на нем скребли, когда богатый-то подлец в карете по городу катался, а вы у его подъезда на своей деревяшке от холоду подпрыгивали, поджидая его,— проговорила необычайно задорным тоном Марья Дмитриевна, не на шутку сердясь на старика.

— Бывало и это,— грустно ответил Флегонт Матвеевич.— Бывало и то, что себя ругал за свою честность, ругал за неуменье гнуть спину... Всего бывало, добрейшая Марья Дмитриевна: ведь и я тоже не плешивым да седым родился. С непривычки-то, да когда еще кровь горяча, куда как трудно гордиться своею честностью, прикрытою лохмотьями, да презирать подлость, разукрашенную золотом...

— Мой-то вот покойный Александр Захарович с этого-то и пить, батюшка, начал,— не без едкости заметила Марья Дмитриевна.— Вот она сладость-то в этом какая...

— Что ж, и я...— начал Флегонт Матвеевич и вдруг замолчал.— Ну, Катерина Александровна, кажется, не испугается нужды,— произнес он после минутного молчания,— и каяться не будет. А если поступить иначе, а с девочкой-то что-нибудь дурное случится, так, пожалуй, Катерина Александровна всю жизнь себя упрекать станет. Вы помните ли, милейшая Марья Дмитриевна, какие у нас теперь дни?

— Не басурманка, батюшка, не басурманка я: нечего и спрашивать,— необычайно сердитым тоном ответила Марья Дмитриевна.

— Ну, так вы и должны знать, что в эти-то самые дни ради того, что Пилат умыл руки, Христа распяли.

Флегонт Матвеевич смолк, Марья Дмитриевна как-то растерянно развела руками и понурила голову.

— Да, впрочем, что это мы на похоронный лад поем: нищета да голод, гибель да смерть! — с поддельною веселостью промолвил Флегонт Матвеевич.— А, может быть, впереди-то ничего кроме счастья да радости и не будет? А мы уж и панихиду по себе служим! Эх, это все вы, Марья Дмитриевна, напугали нас...

— Пуганая ворона, батюшка, и куста боится,— вздохнула Марья Дмитриевна, и на ее глазах навернулись слезы.

— Ну, вот вздумали к кому себя приравнивать? уж хоть бы с наседкой сравнили, а то на вот — ворона! Неподходящее дело! — шутил штабс-капитан, хотя с его лица не сходило выражение грусти и задумчивости.

— Шутки у вас все, батюшка, и не поймешь, как это вы на все смотрите,— пробормотала Марья Дмитриевна.

— На душе спокойно, так отчего ж и не пошутить,— ответил старик.

Марья Дмитриевна, задумчиво качая головой, пошла с Дашей хлопотать насчет кофе; Катерина Александровна осталась с штабс-капитаном. Они говорили вполголоса. Старик ободрял молодую девушку. Впервые в его речах, всегда добродушных и спокойных, слышалось в этот день раздражение и проглядывала желчность. Слушая его, Катерина Александровна невольно припомнила свое отдаленное детство и первые уроки отца, первые беседы с ним. Тогда еще Александр Захарович не пил так сильно, как впоследствии, и был в состоянии давать наставления дочери. Он смотрел на многие людские отношения почти так же, как штабс-капитан, и тоже нередко говорил, что лучше быть честным нищим, чем богатым подлецом. Не ускользнуло от внимания молодой девушки и то, что штабс-капитан высказывал свои мысли спокойно и твердо, тогда как ее отец обыкновенно придавал своим речам какой-то театральный, трагический характер. Она, конечно, не могла понять причины этого различия в выражении убеждений. Она не знала, что ее отец еще в юности, познакомившись по книгам с известными убеждениями, шедшими вразрез со всем совершавшимся вокруг него, вообразил себя славным героем, идущим на борьбу с миром, и сначала любил пощеголять своими еще не вошедшими в плоть и кровь убеждениями; потом же, когда пришлось на деле отстаивать эти убеждения, когда пришлось отстаивать их в мелкой, жалкой среде канцелярского мира, а не в какой-нибудь полной шума и славы борьбе, Прилежаев, хотя и не отрекся от своей роли, но не мог вынести хладнокровно тех насмешек и того презрения, с которыми относились к нему, к мелкой мошке, его сильные враги, считавшие его даже и не врагом, а просто плохим подчиненным. Он запил с горя, сделался угрюмым и молчаливым и только под пьяную руку перед своею семи-восьмилетнею дочерью тоном покойного Каратыгина декламировал об участи честного человека и, снова воображая себя героем, грозил своим врагам, пророчил честным людям победу и говорил, что лучше есть черствый хлеб, но быть честным человеком, чем ездить в каретах и быть подлецом. Совсем иным путем дошел почти до тех же убеждений штабс-капитан. Выпущенный из корпуса с неболь-

шим запасом знаний и не выработавший никаких твердых убеждений, он столкнулся лицом к лицу с действительною жизнью без всяких предвзятых взглядов на нее. Путем различных столкновений, ошибок и неприятностей добродушный и честный здоровяк офицер дошел до того убеждения, что все пройдет,— неприятности и невзгоды, радости и наслаждения; но не пройдет в человеке только сознание, что в том или другом случае он поступил дурно или хорошо. И враги и друзья умрут, решил он в своем уме, но не умрет наша совесть, пока не умрем или не сойдем с ума мы сами. Значит, нужно заботиться только о ее спокойствии. Богатство и чины — дело наживное, случайное; значит, они случайно и погибнуть могут. Спокойствие же совести случайно не погибает; этого утешения никто не отнимет; значит, прежде всего и следует заботиться о нем. Эти убеждения вырабатывались медленно: прежде чем они созрели, штабс-капитан успел увидать гибель гнавших его начальников, падение перегонявших его по службе товарищей, успел пережить вражду разошедшихся с ним по недоразумениям людей, которые, после долгих лет, хладнокровнее взглянув на прошлое, сознали свои ошибки и снова подали ему руку; он сам успел поддаться множеству увлечений, которые прошли и оставили в его душе неизгладимые следы печальных воспоминаний. Чем дольше он жил, тем спокойнее, тем бесстрастнее смотрел он на свои личные огорчения, на неприятности, доставляемые ближними, и все с большею уверенностью говорил: «Перемелется рожь, мука будет». Только изредка нападала на него тоска, невыносимая, давящая тоска и он отлучался из дома дня на три, на четыре. Куда? этого никто не знал. Смотря на него теперь, Катерина Александровна вспомнила, что и ее отец остался таким же честным, но не вынес нужды и спился от горя, и ей показалось, что штабс-капитан в этом отношении стоял гораздо выше ее отца, бодро вынося свое тяжелое положение. Кончив беседу со стариком и напившись кофе, молодая девушка отправилась к княгине Гиреевой в более спокойном настроении, чем можно было ожидать. Она решилась во что бы то ни стало не отступать от своей цели и добиться победы. По обыкновению радушно и покровительственно встретила ее Глафира Васильевна, ласково попрекнувшая молодую девушку, что та так редко бывает у них. Прилежаева тотчас же объявила старухе, что она и теперь пришла недаром, что у нее есть просьба к княгине.

— Что, что такое? Сделаем все, что можно,— скороговоркой проговорила Глафира Васильевна.— Мы теперь не при деньгах: племянники пьянствуют без просыпу, изволили долгов наделать; так мы расплачиваемся за них, но и по этой части кое-что найдется.

Глафира Васильевна всегда говорила *мы*, когда дело шло о княгине.

— Я не об этом хочу просить,— промолвила Катерина Александровна.— Дело посерьезнее.

Она передала историю Скворцовой и решение графини.

— Да ведь она у нас полоумная, совсем полоумная. Она бы прежде своего сына на конногвардейской улице выпорола! — раздражительно заговорила Глафира Васильевна.— Ну, нечего сказать: хороши благодетели! крепостных себе понаделали! Ай да молодцы! А наша-то, наша-то... миндальничает со своими объедками и не знает, что в приюте делается. Подождите!

Глафира Васильевна понеслась своею утиною походкой в кабинет княгини. Через минуту Катерина Александровна услыхала довольно крупный разговор.

— Нет, вы послушайте, что там-то делается, вы послушайте! — раздался голос Глафиры Васильевны, через минуту она просунулась в дверь и позвала Прилежаеву.

Катерина Александровна прошла через гардеробную комнату, раздвинула тяжелые портьеры и очутилась лицом к лицу с княгиней.

— Здравствуйте, черненькие глазки! — ласково промолвила старуха и поцеловала в лоб Прилежаеву.— Вы привезли какие-то дурные вести. Я ничего не поняла из слов этой сумасшедшей,— с улыбкой указала княгиня на Глафиру Васильевну.

— Ну, кто еще сумасшедший-то, это бабушка надвое сказала! — проворчала Глафира Васильевна.

— Садитесь,— указала княгиня Катерине Александровне на кресло и опустилась на кушетку, сохраняя свой мягкий, благодушный вид.— Ну, послушаем, что у вас за история разыгралась.

Катерина Александровна села и начала рассказывать. Когда она дошла до того места истории, где приходилось сказать, как она нашла Скворцову, она невольно остановилась. В ее голове мелькнула мысль: говорить или нет о Рождественском? С одной стороны, ее пугало то обстоятельство, что как-нибудь ложь может открыться и тогда княгиня станет относиться к ней самой, к Катерине Алек-

сандровне, недоверчиво; с другой — Катерина Александровна чувствовала необходимость добиться изгнания Рождественского из приюта. После минутного колебания она решилась говорить все.

— Княгиня, я говорю с вами, как говорила бы со своей матерью, с матерью тех девочек, об одной из которых я пришла просить вас,— в волнении произнесла Катерина Александровна.— Я уверена, что все, что я скажу вам, останется между нами...

— Ну, конечно, конечно, дитя,— с добродушною улыбкой промолвила княгиня, на которую уже повлиял довольно сильно рассказ Прилежаевой о тревожном состоянии Скворцовой, предшествовавшем ее бегству.

Катерина Александровна продолжала рассказывать все подробности события.

— Ну, приют устроили! — ворчала между тем Глафира Васильевна, стоявшая около портьеры.— Это уж не первая бегает!

— Не мешай, пожалуйста! — замечала ей княгиня.

Наконец дело дошло до решения графини, до ее приезда.

— Тьфу! сумасшедшая! — не выдержала Глафира Васильевна.

— Глафира, ты забываешься! — проговорила княгиня.

Она молча дослушала рассказ и опустила голову на руку.

— Что же делать, что делать теперь? — тревожно проговорила она.— Зачем вы раньше не известили меня? Да вы, дитя, не плачьте... Я не могу видеть слез... Ведь Дарья Федоровна отчасти права... Это такой серьезный поступок... Что же вы поделаете без наказания? Пример нужен, а то ведь и все дети...

— Ну, одолжили! — не выдержала Глафира Васильевна.

— Глафира, я тебя прошу не мешаться не в свое дело! — раздражительно проговорила княгиня, видимо, находившаяся в крайне затруднительном положении: ее добродушие, с одной стороны, а с другой — ее убеждение в необходимости наказания за проступок подняли в ее душе необычайную тревогу.

— Нет-с, уж извините! да тут каждый человек вмешается! — заговорила Глафира Васильевна.— Погубили девочку, да ее же пороть будут для примера. Да вы бы

лучше ее не брали. А то берут людей, чтобы их потом стегать для примера!

— Да что же это в самом деле такое! — горячо произнесла княгиня с не свойственным ей раздражением.— Тут люди о серьезном деле толкуют, а она со своими дурацкими замечаниями лезет.

— Ну, да уж где нам умными быть! — резко произнесла Глафира Васильевна.— Вот графиня — это другое дело: отлично распоряжается. И вы-то...

— Я тебе говорю: молчи! Ты уж совсем командовать мною вздумала,— перебила ее княгиня, начинавшая терять терпение.— Ты и приютом управлять не хочешь ли? Ступай и не изволь являться сюда! Волю взяла!

Княгиня прошлась в волнении по комнате и несколько сухо обратилась к Катерине Александровне.

— Очень жаль, дитя, что я тут ничего не могу сделать! Дарья Федоровна святая женщина. Если она что делает, то поверьте, что это делается во имя чистой христианской любви к ближним и спорить с нею не нам с вами. Не наказывать детей за их проступки — это значит потакать их новым шалостям. Если бы ваша воспитанница не была сиротою, то ее можно бы отдать к родным, теперь же было бы еще хуже, если бы Дарья Федоровна вытолкнула ее на улицу. Вы еще молоды и потому вы утрируете последствия этого наказания. Но, верьте мне, дело не так страшно. Скворцову накажут; она поплачет, погорюет и, бог даст, исправится. На счет же Рождественского я приму меры; конечно, я не выдам ни вас, ни его...

— Ну, вот вам и шемякин суд! — воскликнула Глафира Васильевна.

— Ты все-таки еще здесь? — топнула ногой княгиня, делавшая вид, что она не замечает своей домоправительницы.

— Не ажитируйтесь! не ажитируйтесь! Вредно вам это! Уйду! — проговорила Глафира Васильевна.— И давно надо было уйти, а то еще и меня на старости лет для примера выдерут. Драли же сперва, как молода была...

Глафира Васильевна широко раскрыла портьеру и вышла из кабинета.

— Волю взяла! — проговорила княгиня.— Этот народ удивительно способен забываться! Добрая девушка, а взбалмошна так, что с нею терпенья не хватит... Пользуется тем, что росла со мною, что я привыкла к ней...

Катерина Александровна, уже поднявшаяся со своего места, находилась в лихорадочном состоянии.

— Княгиня, неужели вы ничего не сделаете для спасения этой девочки? — спросила она едва слышно у Гиреевой, тревожно ходившей по кабинету.

— Я вам сказала, что тут нечего делать,— холодно ответила княгиня.— Ее нужно наказать; нельзя же потакать подобным поступкам. Вы сейчас видели пример, до чего доходят эти люди, когда им потакаешь...

— Она и без того наказана, жестоко наказана! — проговорила Катерина Александровна.— Подумайте, что бы вы сказали, если бы вашу взрослую дочь стали наказывать при всех ее...

— Да вы забываетесь, моя милая! — вдруг остановилась княгиня перед молодой девушкой и смеряла ее с ног до головы глазами.— Кого вы сравниваете? Что могло бы быть общего между моею дочерью и этой девчонкой? Ступайте!

В глазах княгини блеснул какой-то недобрый огонек. Эта маленькая старушка казалась теперь выше своего роста; это всегда добродушное лицо дышало теперь бесчувственной холодностью. Но Катерина Александровна не трогалась с места. Она как человек, действующий не по расчету, а под влиянием сильного чувства, забыла все и помнила только одно, что теперь или никогда нужно спасти Скворцову.

— Позвольте по крайней мере ей выйти из приюта,— проговорила она.— Я возьму ее к себе.

Княгиня уже совсем надменно и свысока взглянула на Прилежаеву.

— Во-первых, ее не выпустят,— резко и отчетливо заговорила она,— а во-вторых, если бы ее и выпустили к вам, то вам пришлось бы оставить вместе с нею приют.

— О, я вполне согласна на это! — обрадовалась Прилежаева, забыв все последствия своего бессознательно высказанного решения.

— Вы просто нездоровы! — проговорила княгиня, пожимая плечами.— Идите и, пожалуйста, избавьте меня от подобных сцен! Вы дерзкая и сумасбродная девочка и больше ничего. Идите! — Княгиня отвернулась и пошла из кабинета в другую комнату.

Катерина Александровна едва удерживалась от слез, едва удерживалась на ногах; она видела, что ее хлопоты здесь не кончились ничем. Что-то вроде ненависти и от-

вращения к княгине закралось в ее сердце. У нее осталась теперь одна очень слабая надежда на Боголюбова, к которому она и решилась идти от княгини. Утомленная и измученная, с поникшей головой вошла она в комнату Глафиры Васильевны.

— Сейчас завтрак подадут! — сердито проговорила Глафира Васильевна, тревожно расхаживавшая по своей комнате.

— Мне надо идти...

— Ну, вот еще! Подождите!

— Чего ждать? Я буду хлопотать у Боголюбова.

— Не нужно: и здесь гнев положат на милость,— решила Глафира Васильевна.

Катерина Александровна вопросительно посмотрела на нее.

— Неужели вы так думаете? Княгиня решительно отказала...

— Э, ведь мы эту канитель из года в год с лишком тридцать лет тянем,— сердито махнула рукой Глафира Васильевна.

В это время в комнату вошел лакей и принес завтрак. В ту же минуту из комнаты княгини раздался звонок.

— Скажи, Петр, Надежде, что княгиня зовет. Я нездорова,— проговорила Глафира Васильевна.

Лакей вышел.

— Пусть повозится с камер-юнгферой молодой барышни,— произнесла Глафира Васильевна, принимаясь за завтрак.

Через несколько минут в комнату вошла щегольски одетая девушка в светлом платье и черном шелковом переднике.

— Мне некогда, Глафира Васильевна,— скороговоркой проговорила она.— Княжне надо приготовить платье.

— Ну, мать моя, у меня и есть время, да охоты нет. Делайтесь там, как знаете. Тоже в шестьдесят лет притопчешь ноги-то,— небрежно ответила старуха, продолжая завтракать.

— Мне тоже не разорваться!

— А я вот, матушка, разрывалась на своем веку!

— Я так княжне и скажу, если платье не будет готово, что вы...

— Да ты не таранти здесь, а ступай делать дело,— строго произнесла Глафира Васильевна, нахмурив брови.

Она обращалась с прислугой чисто по-барски и не терпела возражений.

Нарядная горничная хлопнула дверью и вышла.

— Верно, старухе-то труднее служить, чем княжне,— желчно усмехнулась Глафира Васильевна.— Ведь вы не поверите, каких-каких претензий у нас нет. Утренние чепцы у нас по дням распределены. Во вторник не смей подать того чепца, который в среду надевается. Десять пар карманных часов у нас хранятся,— все память чья-нибудь,— ну, и заводи их каждый день и выверяй их и, коли спросят: «Помнишь Глафира, когда эти часы мне подарили?» — так ты сейчас и рассказывай, что вот когда мы то-то делали, когда у нас тот-то и тот-то ребенок родился или умер, так эти часы нам и достались как подарок от отца ребенка или как воспоминание от покойного князька. А мыться мы станем, так тут надо уметь воду подать, мыло принять, полотенце растянуть, все это так, как делалось изо дня в день в течение с лишком сорока лет. Пусть послужат, пусть послужат другие! Что ж... я стара стала, не умею служить, волю взяла!

Глафира Васильевна все сильнее и сильнее возвышала тон. В нем слышалось что-то глубоко желчное и глубоко грустное. Старуха, как это нередко с нею случалось, переживала в минуту разлада с княгиней все свое прошлое, сознавала все перенесенное и возмущалась своим положением. В ее душе в эти минуты странным образом смешивались вместе и любовь, рабская любовь, к княгине и горькая ненависть к своему рабскому положению. Слушая ее речи, можно было подумать, что она жаждет всеми силами души только вырваться из этого дома, но в то же время ее слезы ясно говорили, что она боится именно того, что ей придется наконец покинуть этот дом, что ей найдут преемницу. По-видимому, она вполне сознавала, что она необходима княгине, как воздух, и в то же время чувство рабы подсказывало ей, что, может быть, обойдутся и без нее. Это ее пугало: она не перенесла бы своего горя, если бы княгиня обошлась без нее.

— И точно волю взяла,— заговорила она с горечью,— получила вольную и сижу в этой комнате пятнадцать лет: из своей комнаты в кабинет сорок раз в сутки сную; к обедне не смею выйти, ночью не смею совсем раздеться, к родным раз в год съездить не могу на три, на четыре часа. Разве это не воля!.. Зазналась старая дура, холопка! Жаль, что на конюшню нельзя отправить, как

раз отправили, когда старому барину ночью оплеуху дала...

Глафира Васильевна опустила голову на обе руки и тихо заплакала.

— Теперь что им Глафира? старая ненужная тряпка!..— говорила она дрожащим голосом.— А было время, когда эта Глафира, как старый князь-отец к ней ночью забрался, могла бы не только вольную купить, а всем домом ворочать, тысячи нажить. У этих ног Глафира князя-то видела; эти руки князь-то целовал. Когда секли-то Глафиру по его приказу, так он, бешеный, волосы на себе рвал. А кто «нам» замуж помог выйти за Гиреева? Все та же Глафира. Забыли, видно, чем она за согласье-то старику сумасшедшему заплатила. Вещички там храним на память о покойных детях; Глафира вспоминай с «нами» об этих детях, а того и знать не хотят, что никогда бы, может быть, и не любоваться «нам» этими детьми, кабы Глафира не купила согласия на свадьбу... Бог с ними, пора на покой; заездили...

Старуха, по-видимому, не обращала никакого внимания на слушательницу и говорила сама с собой, говорила о том, что постоянно ныло и болело в ее душе. Катерина Александровна, вполне сочувствуя горю старухи, чувствовала себя неловко, тем более, что она сама послужила невольной причиной этого горя.

— Княгиня просит вас к себе,— доложил появившийся в комнате лакей.

Глафире Васильевне вся прислуга говорила «вы».

— Скажи княгине, что Глафира Васильевна, мол, едет и не может, мол, прийти к ней,— резко ответила Глафира Васильевна, отирая слезы.

— Княгиня чувствует себя нехорошо,— промолвил лакей.

— Ажитация это, ажитация, батюшка! — пусть за доктором пошлют: я, батюшка, не лекарка!

Лакей вышел. Катерина Александровна уловила на его лице усмешку, ясно говорившую, что он уже привык к подобным сценам. Глафира Васильевна в волнении поднялась с места и заходила по комнате.

— Глафира! — раздался голос княгини из соседней комнаты.— Иди сюда на минуту.

Глафира Васильевна быстро толкнула Катерину Александровну за ширмы.

— Вы же сами, ваше сиятельство, не велели мне боль-

ше являться к вам на глаза,— проговорила Глафира Васильевна.— Я тоже не маленькая, чтобы со мною играть! В гробу, слава богу, одной ногой стою. Надо ехать искать, не найдется ли где-нибудь угла у добрых людей.

— Ну, пожалуйста, без капризов!

— Где нам, холопам, капризничать! Известно, нас будут гнать, а мы ручки должны целовать.

— Ты действительно совсем забылась,— раздражительно отозвалась княгиня.— Обойдусь и без тебя!

В соседней комнате послышались шаги удалявшейся княгини.

— Ну, теперь пойдет история на целый день! — произнесла Глафира Васильевна, махнув рукой.— В самом деле лучше уезжайте! — обратилась она к Катерине Александровне.

— Извините, я невольно наделала вам столько неприятностей,— извинилась Прилежаева.

— Э, ничего! Мы когда крупно поссоримся, так потом на полгода мирно живем! — проговорила Глафира Васильевна, уже отчасти успокоенная начавшимися переговорами с княгиней.— Дело ваше сделается. Уж я не отступлюсь, коли начала. Ведь у нас из-за одного «Вороненка» баталий не пересчитаешь. Держут подлеца и сказать о нем ничего не смей. Ну, да я-то уж душой кривить не стану... Голова вот только и впрямь разболелась. Сама себе напророчила.

Катерина Александровна вышла из дома Гиреевой в каком-то чаду. Она была свидетельницей такой комической сцены, которой она не могла себе и представить. Успокоенная отчасти насчет участи Скворцовой, она смеялась в душе, вспоминая комедию, так неожиданно разыгранную перед нею двумя старухами. По возвращении домой она застала и Антона, и Мишу, и юных кадет, сыновей штабс-капитана, и рассказала им обо всем случившемся. Рассказ был настолько комичен, что в комнате раздавались взрывы хохота. Семья после обеда уселась за крашение яиц и уже совершенно углубилась в это занятие, когда, часов в шесть, Марья Дмитриевна сказала, что за Катериной Александровной приехал лакей от княгини Гиреевой и просит ее приехать к барыне. Молодая девушка поспешно собралась; ее ждала княжеская карета. Минут через двадцать Прилежаева входила через парадные комнаты в кабинет княгини.

Княгиня лежала на постели. Около нее хлопотала Гла-

фира Васильевна. Глафира Васильевна, обыкновенно называвшая все недуги княгини «ажитацией», была самым главным врачом старухи, щупала ей ежедневно пульс, изобретала лекарства и вообще прибегала к советам иных врачей только в крайних случаях.

— А я вот расхворалась, дитя,— произнесла слабым голосом Гиреева.— Но все же не хотела, чтобы вы встречали праздник в слезах. Пусть он будет для всех светлым праздником, как и для нас с Глафирой. Погорячились мы утром.

Княгиня протянула руку Катерине Александровне. Молодая девушка наклонилась и поцеловала ее.

— Поезжайте к Скворцовой и утешьте ее,— проговорила княгиня.— Да вы сядьте.

Катерина Александровна села.

— Графиня изменила свое решение,— продолжала старуха.— Я уже виделась с нею. Пусть девочка будет покуда в приюте, потом в мае, когда будет выпуск, ей найдут место... Все обойдется без наказания... Все злая Глафира настояла,— шутливо заметила княгиня.— Она ведь у меня всем командует.

Поблагодарив княгиню, Катерина Александровна встала.

— Завтра приезжайте похристосоваться,— ласково промолвила старуха.— А и вы тоже огонек! — не то с упреком, не то в шутку погрозила она Прилежаевой пальцем.

Молодая девушка вышла и в другой комнате горячо стала благодарить Глафиру Васильевну.

— Ну, ну, полноте! Еще бы для такого праздника не сделать! — промолвила старая княжеская домоправительница.— А вот это вам на красное яйцо от княгини.

Катерина Александровна почувствовала, что Глафира Васильевна сует ей в руку деньги, и вся покраснела.

— Мне не надо,— с замешательством отказывалась она.— Зачем это?..

— Ну, ну, полноте! Деньги всем нужны. Чего вы совеститесь? Не вы возьмете, так наши соколики на шампанском пропьют...

— Да я...

— И не говорите — поссорюсь! — решительно возразила Глафира Васильевна.

Приходилось взять. У молодой девушки сжалось сердце. Она видела необходимость не ссориться с Глафирой Васильевной и в то же время не могла помириться с ее ло-

гикой и брать деньги княгини потому только, что их все равно пропьют на шампанском. Она сознавала, что эти подачки ставят ее в положение княжеской прихлебательницы.

Это обстоятельство отчасти испортило хорошее настроение Катерины Александровны, вызванное радостной вестью о прощении Скворцовой. Она заехала в приют, обрадовала Скворцову, поговорила с Анной Васильевной и, дружески пожав ей руку, отправилась домой.

— Ура! — кричал штабс-капитан, встречая ее и угадывая по ее лицу о результатах поездки.— Это первая победа! Ну, что, Марья Дмитриевна, небось теперь и самим весело? А еще трусили.

Марья Дмитриевна отерла глаза.

— Да ведь я мать, мать, батюшка! — прошептала она, целуя Катерину Александровну.— Она помощница наша, кормилица наша.

VI

МЕЛКИЕ ЧУВСТВА ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА

Его превосходительство Данило Захарович Боголюбов только что кончил официальный визит к княгине Марине Осиповне Гиреевой и садился на дрожки. Торжественность праздника, полученная к Пасхе звезда, благосклонные речи ее сиятельства, почтительные поздравления прислуги, раскланивавшейся за рубли его превосходительства,— все это должно было привести душу его превосходительства в то настроение, при котором люди, как говорится, земли под собой не слышат. Но было совсем не так. Под новой звездой сердце его превосходительства било тревогу и волновалось теми самыми мелкими чувствами, которыми оно волновалось в давно прошедшие годы, когда его превосходительство был еще мальчуганом бурсаком и боялся быть пойманным за сделанную им шалость. Дело в том, что среди разговоров ее сиятельство коснулось совершенно неожиданно для своего собеседника одного очень щекотливого вопроса.

— Кстати, вы знакомы с новой помощницей в приюте графини? — спросила княгиня, заговорив о приютских событиях.

— То есть, как вам сказать, ваше сиятельство, я видел ее,— в смущении ответил Боголюбов и устремил на княгиню зоркий взгляд, желая угадать, не знает ли она об его отношениях к Прилежаевым.

Но, к несчастью, на добродушном лице старухи не было написано ни мелкими, ни крупными буквами, знает она или не знает тайну своего собеседника.

— Удивительно милая девушка,— продолжала княгиня.— Золотое сердце, прямая душа и совсем недюжинный ум. Да если бы образование было у бедняжки, не то бы из нее вышло. Вот кому я от всей души желаю счастья. Хоть бы женишок ей нашелся. Право, я взялась бы за роль свахи. Вот поищите у себя в департаменте; вместе и сватать будем.

Княгиня добродушно рассмеялась, и Данило Захарович счел долгом тоже рассмеяться, хотя его смех вышел каким-то жалким. Он поспешил переменить разговор, поспешил откланяться. Но слова княгини клином засели ему в голову. «Ну, а что как она знает, что я родной дядя этой девушке? — думал он.— Что будут говорить, как посмотрят на то, что я не помогаю этой семье? Ведь не станешь рассказывать им всей подноготной, всех своих семейных дел. Надо будет все это как-нибудь устроить, обделать». В голове Данилы Захаровича возникали различные планы, как он поможет семье, как он введет в свой дом Прилежаевых. После долгих размышлений он даже находил, что ему нечего совеститься своей прислуги, которая видела раза два Марью Дмитриевну в самом жалком виде и, вероятно, станет теперь в душе не особенно уважительно относиться к своим господам, узнав, что эта оборванка, эта черносалопница находится в самых близких родственных отношениях с господами. До сих пор от прислуги скрывались эти родственные отношения. Марья Дмитриевна была известна под именем бедной «кумы»; скрывалось от прислуги и то, что сам Боголюбов был когда-то далеко не таким богатым барином, был даже вовсе не барином, а жалким чиновником, перебивавшимся со дня на день. Это делалось зорким Данилом Захаровичем для того, чтобы «люди» относились к нему уважительнее и не смели бы говорить, что и он был не лучше их. Теперь, ввиду могущих возникнуть неприятностей между ним и княгиней, он готов был утратить долю своего значения в глазах прислуги и принять в свой дом Прилежаевых как родных. Но его смущала главным образом не прислуга: прислугу можно было заставить молчать; прислугу можно было выгнать; но в его доме было еще одно существо, которое нельзя было заставить молчать или выгнать, это существо была Павла Абрамовна. Павла Абрамовна как «женщина образованная»,

как «женщина хорошего тона» смотрела с презрением «на этих оборванцев», «на этих нищих», «на этих милых родственников». Бесплодно придумывая средства, как бы убедить жену в необходимости сближения с Прилежаевыми, Данило Захарович мысленно воскликнул: «Э, да что тут думать! Разве я не господин в своем доме?» И вдруг словно какой-то бес насмешливо шепнул ему на ухо: «Да, конечно, не господин». Эта мысль так сильно задела за живое Данилу Захаровича, что он громко проговорил:

— Ну, так я им покажу!

Кучер, услыхавший эти слова, невольно обернулся к его превосходительству, но его превосходительство строго нахмурило брови и проговорило:

— Чего зеваешь по сторонам? Тут народ: того и гляди, задавишь кого-нибудь, а он в стороны смотрит!

Но спокойствие не возвращалось к его превосходительству даже и после того, как гнев был сорван на кучере. Уже не раз, особенно в последнее время, Данилу Захаровича поражали подобные мысли о ничтожестве его значения в доме, и теперь в его голове чрезвычайно ярко прошли некоторые из мелких будничных сцен в его семье. Данило Захарович с свойственными ему зоркостью и строгостью управлял домашним государством, как и следует главе жены, которая да боится своего мужа. Павла Абрамовна, согласно с супружескими законами, не выходила из повиновения у мужа. Подобные отношения даже давали право Даниле Захаровичу довольно метко подсмеиваться над теми мужьями колпаками, которых жены держат под своим башмаком. Эта благодушная вера в силу своего самодержавия в семье, эта уверенность, что «у меня все моего взгляда боятся», «по одной половице пройдут, если велю», «пикнуть не посмеют, если чего захочу»,— все эти светлые иллюзии были нарушены в тот памятный день, когда Боголюбовы узнали о смерти Прилежаева и встретились с Варварой Ивановной, которую поджидали с таким нетерпением. Варвара Ивановна, вдова двоюродного дяди Боголюбова, одного из благочинных Москвы, была очень богата, бездетна и потому представлялась очень лакомым куском для всех ее знакомых, друзей, свойственников и родственников. Многое множество рук тянулось за этим куском, но рука Боголюбова оказалась ловчее всех других рук и наконец этот лакомый кусок уже находился в доме его превосходительства. В ожидании приезда Варвары Ивановны в семье шли рассуждения о ласковом приеме, который

нужно оказать родственнице, шли предположения об ее щедрости, делались соображения о духовном завещании, и даже сам Данило Захарович расшалился до того, что картавым голосом говорил, «бодая» своего еще ничего не понимающего сына: «Ах ти, фуфлига! знаешь ли ти, кто тебя нянчить-то будет? Твоя бабуська Вальваля Ивановна!» Наконец бабушка Варвара Ивановна, сморщенная, как печеное яблоко, с темным, как старый пергамент, лицом, закутанная в какие-то ветхие шали, капоры и косынки, приехала к своим «ненаглядным» родственникам. Ее костюм немного «шокировал» Павлу Абрамовну, но приходилось помириться с этой «странностью» старухи. Добрые родственники, не видавшие друг друга почти никогда, прослезились, обнялись, начали со вздохами расспросы о покойном дядюшке, об его смерти. Варвара Ивановна, шамкая и охая, сообщила, как «отец благочинный на одре без языка лежал», как «ему, батюшке, бог ни смерти, ни живота не давал в течение полугода», как «его, родного, десять раз приобщали и семь раз к нему Иверскую поднимали», как «сжалился господь и успокоил его душеньку в лоне Авраама», как, «наконец, осталась она, Варвара Ивановна, сирота горемычная, без приюту на белом свете». Добрые родственники выразили свое глубокое сочувствие к горю шестидесятилетней сироты и объявили, что их дом к ее услугам.

— Спасибо вам, спасибо, отцы родные! По миру пришлось бы идти,— вздохнула Варвара Ивановна и отерла сухие глаза.

— Ну, по миру-то не пошли бы, за свои деньги приют нашли бы; ласки родственной — вот чего не найти за деньги! — с чувством произнес Боголюбов.

— Да какие деньги-то у меня, голубчик ты мой? — как-то испуганно произнесла старуха.— Жили мы с отцом благочинным вольными даяниями благочестивых людей и теперь приходится подаянием жить. Не оставь ты меня, отец родной! На тебя вся моя надежда!

— Помилуйте! Что вы, тетушка! Располагайте моим домом как своим,— торопливо произнес Боголюбов, немного нахмурив брови, и через минуту довольно осторожно спросил:— Но неужели дядя ничего не успел скопить вам на старость?

— Батюшка, да из чего же? — прошамкала старуха.— Вольными подаяниями благочестивых людей жили, яко нищие. Вот как перед истинным Христом...

Старуха подняла свои тусклые глаза и стала осматривать углы комнаты.

— А где же, батюшка, образа-то у вас? — прошамкала она.

— Там, в спальнях, тетушка,— ответил Боголюбов и подумал: «А ведь старуха-то врет, что у нее ничего нет. Знаем мы их».

— А здесь-то нешто сарай у вас, голубчик?

— И тут, тетушка, есть образ.

Боголюбов указал на маленький образок, едва видневшийся под потолком.

— Да что ж, батюшка, ты в экую-то большую комнату образа-то побольше разве не мог повесить? И лампадочки-то приткнуть нельзя; висит он у вас, как сироточка, в угол заброшенная.

Старуха вздохнула и покачала головой, снова отерев сухие глаза своими костлявыми пальцами.

С этого дня для Павлы Абрамовны начались бессменные пытки. Старуха охала и вздыхала о маленьком образке и отсутствии лампады до тех пор, пока наконец в столовой повесили большой образ и затеплили лампаду; потом начались вздохи о скоромной пище в пятницы и среды, вследствие чего пришлось готовить в эти дни рыбу на скоромном масле, выдавая ее за постное блюдо; затем дом Боголюбовых сделался местом сходок для каких-то неведомых до сих пор поповичей и поповских вдов, родственников и родственниц старухи, вносивших с собой в семью какой-то погребальный тон и смущавших хозяйку своими манерами, нарядами и речами; далее старуха вздыхала о том, что «немчура», подготовлявший Леонида в пансион Добровольского, сидит весь вечер и «стрекочет» с Павлой Абрамовной «на птичьем языке»... Павла Абрамовна стала хмуриться не на шутку. Ей житья не было, как она говорила, от этой «ведьмы». Между женщинами начались сцены: Павла Абрамовна «шпиговала» старуху; старуха «донимала» ее вздохами и возведением очей к небу. Данило Захарович в это время сделался козлищем очищения: старуха говорила ему, что он «не по закону живет»; жена ежедневно решительным тоном заявляла, что она не желает видеть в своем доме эту старую каргу.

— Пойми ты, что она необходима нам,— строго и внушительно говорил Данило Захарович.— Наши дела в таком положении, что мы должны держать тетку у себя до ее смерти.

— Да когда она умрет, это еще вопрос!

— А все же нужно ждать.

— Ну, я не намерена.

— А я этого хочу! это необходимо по моим соображениям.

— Какое мне дело до твоих соображений?

— Я знаю, что тебе ни до чего нет дела, а она все-таки будет жить у нас!

— Ну, уж нет! Я выживу эту нищую.

— Не нищую, а старую скрягу, скопившую тысячи. Ты думаешь, они не награбили?

— Это еще бабушка надвое сказала! Впрочем, мне нет никакого дела до ее денег.

— Будет, матушка, дело, когда увидишь, что мы не по карману жили.

— Это не я ли так жила? — восклицала Павла Абрамовна.— Я в четырех стенах сидела. Я молодость свою загубила. Я не бесприданницей вышла за тебя; меня и не такой бы взял за себя! А ты что принес в дом? Теперь-то ты получаешь три тысячи, а было время, что на мои деньги жил, разорял меня...

— Прошу тебя кончить этот разговор,— строго замечал Данило Захарович.— Ты дура и больше ничего!

— Прекрасно, прекрасно! Вы как крепостную меня третируете! — рыдала Павла Абрамовна.

Муж сердито уходил от обиженной жены, а обиженная жена начинала сцену с Варварой Ивановной. Эти сцены дошли до того, что Варвара Ивановна, охая и вздыхая, объявила о своем решении переехать к каким-то «добрым людям». Боголюбов метался в отчаянии: он уговаривал старуху, он бегал к жене, приказывая ей упрашивать старуху остаться. Но старуха только вздыхала и охала, а Павла Абрамовна переходила от одного истерического припадка к другому, не имея вследствие этого сил войти в переговоры со старухой.

— Жаль мне тебя, батюшка, жаль! — охала старуха.— Уж это последнее дело, когда муж не глава в доме, когда им баба командует!

— Я докажу, тетушка, что я хозяин у себя! — кричал Данило Захарович.

— Где уж, батюшка, спустя лето по малину ходить! — вздыхала Варвара Ивановна.— Ты вот за немцем-то смотри! Кто его знает, о чем он лепечет с твоею сударыней-то по вечерам.

— Да вы подождите, тетушка: я объяснюсь с ней! — волновался Данило Захарович и бежал к жене; жена лежала в истерике и потому ничего не могла слышать из того, что говорил ей муж.

— Старый дурак! старый дурак! — ругал себя Боголюбов, когда уехала тетка.— С бабами не мог справиться! И что эта старая скряга толковала про Карла Карловича? Тоже, дура, к сплетням привыкла! Только дом весь вверх дном перевернула! Конечно, жена отчасти права; с этакой дурой подлой нелегко возиться. Ишь всю квартиру в молельню обратила: так и несет везде деревянным маслом! И я-то хорош,— к себе пригласил! Надо было нанять ей отдельную квартирку. Да кто же ее знал, что она урод этакой. И дядя хорош! Знал, что племянник есть, а духовной не сделал, не отказал ничего...

Данило Захарович строил планы, как бы снова сойтись со старухой теткой. Но надо заметить, что, создавая эти планы, Данило Захарович ни разу не вспомнил, что у старухи есть еще родственники, с которыми, быть может, было бы не худо познакомить ее. Впрочем, может быть, Боголюбов и помнил это, но сообразил, что Прилежаевы слишком бедны для того, чтобы им давать в руки такой лакомый кусок, как Варвара Ивановна: пожалуй, еще приберут его совсем к рукам и даже объедков не оставят для самого Данилы Захаровича. Он отчасти оправдывал уже жену за ее отношения к тетке, и только легкое облако неудовольствия оставалось в его душе через несколько дней, когда Павла Абрамовна заметила ему, что Карл Карлович Габлиц, учитель Леонида, не надеется приготовить мальчика в школу.

— Как не надеется? Чего же он раньше думал? — нахмурился Данило Захарович.

— Да ведь он уже несколько раз говорил, что трудно приготовить Леонида, давая три урока в неделю.

— Ну, матушка, больше я платить не стану!

— Да отчего же не взять его в гувернеры? Кусок хлеба расчета не сделает, а комната свободная есть.

Данило Захарович зорко и строго посмотрел на жену: в его уме шевельнулись воспоминания о словах тетки.

— Я не намерен впускать в свой дом жильцами всяких сапожников,— сердито проговорил он.

— Как это мило! Зачем же было и брать его в учителя, если он сапожник? — иронически усмехнулась Павла Абрамовна.

— Ну, уж это мое дело.

— Ах, боже мой, делай как знаешь и избавь меня от сцен! — воскликнула Павла Абрамовна оскорбленным тоном.— Я ведь в доме ничего не значу и потому не имею права заботиться даже о сыне. Пусть не выдержит экзамена; пусть останется неучем, как твой милый братец,— мне все равно. Я предупреждала, и моя совесть чиста.

Павла Абрамовна заплакала.

— Да что у тебя нынче за тон! Ты забита, ты унижена, ты ничего не значишь! — вспылил Данило Захарович, хотя в душе он и одобрял смирение жены.— Дело не в том, чтобы Леонид неучем остался. Но взять в дом чужого человека — не шутка; на подобный шаг нельзя вдруг решиться.

— Ах, да и не решайся совсем! Уж испытала я, что значит чужой человек в доме. За себя я буду очень рада, если у нас не будет никаких гувернеров и гувернанток!

— Ну, матушка, ради тебя не стану же я оставлять детей без образования!

Павла Абрамовна встала и направилась в другую комнату.

— Да ты говорила об этом с Карлом Карловичем? — спросил Данило Захарович.

— Как же я стану говорить, когда я не знаю, желаешь ли ты этого,— ответила Павла Абрамовна.

— Ну да,— серьезно задумался Данило Захарович.— Ты его попроси завернуть ко мне в кабинет, когда кончит урок.

Прошло дней пять или шесть, и Карл Карлович был уже гувернером в доме Боголюбова. Это был юный, похожий на застенчивую девушку немец с полными и розовыми щеками, с мягкими черными волосами, с ямками на щеках, с мягкой улыбочкой и детски-невинными карими глазами. Предупредительность, веселость среди веселого кружка, печальная мина среди опечаленных собеседников, способность краснеть при каждой двусмысленной фразе, почтительность в отношении к старикам и заслуженным лицам и благодарность за каждый ласковый взгляд, за каждую ничтожную услугу — все это привлекало к юному Габлицу сердца людей. Еще в гимназии он получил названия «красной девушки» и «сдобной булки». Но в университете уже первокурсники стали как-то подозрительно смотреть на него, когда он краснел при каждой несколько скоромной фразе, тогда как его глазки подергивались

словно маслом. Еще подозрительнее смотрели на него, когда он неожиданно попал в дом профессоров и разных аристократиков студентов, когда он, сын разорившегося булочника, стал щеголять в дорогой одежде и появляться в первых рядах кресел в балете. Но хотя на него и смотрели подозрительными глазами, однако он как вполне чистый и невинный человек не замечал этих взглядов и радушно, крепко пожимал руки тех, у кого шевелились в голове самые грязные подозрения на его счет. В дом Боголюбова он попал по рекомендации одного из студентов, родственника Гиреевой. Боголюбов после намеков тетки стал пристальнее вглядываться в Габлица, но зоркие глаза Данилы Захаровича встречали только прямодушный, детски чистый взгляд честного бурша и невольно принимали мягкое выражение покровительственной улыбки. Данило Захарович даже повеселел, когда было окончательно решено, что Габлиц переедет к ним в дом. Иметь при себе подобное чистое и мягкое существо в качестве наставника детей и постоянного собеседника — это немалое счастие. Может быть, это благодушное настроение продолжалось бы долго, если бы Данило Захарович не вздумал посещать свою тетку. Старуха, поместившаяся у «добрых людей», не переставала пилить племянника и нашептывать ему про жену. Она, решившись «доехать» жену племянника, опять указывала ему на необходимость смотреть за женой и немцем и добилась того, что зоркий и строгий Данило Захарович обратил все свое внимание на юного немца. В отношениях Павлы Абрамовны и Карла Карловича, повидимому, не было ничего особенного; посторонний человек не мог бы найти в них ничего подозрительного, но, вглядываясь в эти отношения ежедневно, можно было уловить в них кое-что, ускользавшее от случайного наблюдателя. Во-первых, Данило Захарович стал замечать, что Павла Абрамовна каждый день выбирает для Карла Карловича лучший кусок за обедом.

— Что это ты, матушка, ухаживаешь за ним и подсовываешь ему все лучшее за столом? — строго заметил Боголюбов жене.

— Да ведь он чужой человек, и если не предложишь ему хорошего куска, так он из совестливости возьмет какую-нибудь кость,— отвечала Павла Абрамовна.— Ты знаешь, какой он застенчивый.

— Ну, а все-таки ухаживать нечего!

— Извини, я не знала, что тебе неприятно, когда я ста-

раюсь сделать приятным наш дом посторонним людям. Ты, вероятно, хочешь, чтобы мы все лучшее обирали сами, а посторонним оставляли объедки. Это будет очень прилично!

Павла Абрамовна говорила таким ироническим тоном, что зоркий Данило Захарович понял, как нелепа была его выходка.

Потом он начал тревожно замечать, что после обеда Карл Карлович очень крепко целует руку его жены.

— Что это, матушка, он у тебя руки лижет? — строго спросил Боголюбов.

— Что за выражения! — воскликнула Павла Абрамовна.— И когда ты видел, чтобы он целовал мои руки?

— Как когда? Да он постоянно целует твою руку после обеда...

— Ха, ха, ха! Так не у тебя же ему целовать руку! Кажется, ты должен понимать, что если он пожимает твою руку, благодаря за обед, то может поцеловать мою.

— Ну, можно и без поцелуев...

— Ах да, я и забыла, что я нуль в доме! Ты уж лучше бы ему самому сказал, чтобы он совсем не благодарил меня, как не благодарил нашу прислугу, так как я и прислуга в этом доме одно и то же.

— Вечно какую-нибудь чепуху выдумаешь!

— Да разве я могу что-нибудь умное сказать? Ведь я дура в твоих глазах! Ведь хуже и ничтожнее меня никого нет! Господи, когда кончатся эти пытки! И за что это все обрушивается на меня! Откажи, пожалуйста, и Габлицу, и всем, кому хочешь, только оставь меня в покое.

Данило Захарович хлопнул дверью, скрываясь от трагической сцены. Но в душе его не было спокойно: с одной стороны — он прозревал что-то странное в отношениях жены и Габлица, с другой — он уже не видел возможности освободиться от Габлица. Во-первых, придраться в сущности было не к чему; во-вторых, нужно было кончить подготовление к экзамену сына; в-третьих, Габлиц был приятелем юных родственников Гиреевой и эти родственники были даже раза два у Боголюбова вследствие переезда Габлица в его дом. Что скажут они, если круто поссориться из-за пустых подозрений с их приятелем? Но и примириться вполне со своим положением было трудно; Данило Захарович тревожно размышлял о своей участи вообще и о словах тетки, говорившей, что Павла Абрамовна держит его в руках. Действительно он начал прозревать, что Павла Абрамовна, если и не держит его в руках,

то все-таки многое делает по-своему. Он распекает в доме прислугу и детей. Но в каких случаях распекает? Только в тех, когда его вооружит Павла Абрамовна. Она, оставаясь постоянно дома, представляет мужу те или другие происшествия из семейной жизни в таком свете, в каком ей вздумается. Он, сидя в должности и не зная, что делается дома, поневоле смотрит на все домашние дела глазами жены. От этих размышлений он перешел к воспоминаниям о ссоре с теткой, о принятии Карла Карловича в гувернеры, и везде ему стала представляться руководящая власть жены. Подобная история повторяется не в одной семейной жизни...

Эти же самые мысли в высшей степени тревожили его, когда он ехал домой от княгини Гиреевой и размышлял о сближении с Прилежаевыми. Он ясно сознавал, что его жена не допустит этого сближения. «Да что же я, тряпка, что ли? Прикажу, и будут их принимать!» — рассуждал он мысленно, но в этих рассуждениях уже не было уверенности. Глава семьи чувствовал, что ему трудно растолковать жене всю необходимость сближения с Прилежаевыми. Он, впрочем, не сознавал, что сам был причиной того, что Павла Абрамовна не понимала его соображений. Он до сих пор, как глава дома самодержавно управлявший семьей, не считал нужным сообщать жене о своих «делах»; вследствие этого она не имела возможности понять, насколько нужно ее мужу держать в руках скрягу тетку, насколько нужно было ему принимать в дом разных старичков, насколько нужно было ему сблизиться с Прилежаевыми, чтобы не выставить себя в дурном свете в глазах княгини Гиреевой. Вообще все великие и глубокие соображения зоркого мужа, смотревшего в корень вещей, были совершенно непонятны и чужды его жене. Конечно, винить за это следовало только его, а никак не ее; этого никак не мог понять зоркий Данило Захарович, обвинявший мысленно жену за то, что «она, как и все женщины, только о тряпочках, о бирюльках думает, только дрязгами кухонными занимается, а не рассудит того, что не этими тряпками да дрязгами нужно пробить путь в жизни, сделать карьеру и найти лазейку для спасения в критическую минуту какой-нибудь ревизии». Предчувствие не обмануло Данилу Захаровича: первое его слово о сближении с Прилежаевыми вызвало в доме бурю. Трудно было разобрать, что говорили разгорячившиеся супруги; слышно было только, что они кричали: «Пойми ты, что это необ-

ходимо», «Пойми ты, что это невозможно», «Да что ты носишься со своим званием; тоже не больше, как дочь торгаша», «Ну, да и ты ведь тоже не из графов вышел». В конце этой сцены слышался истерический плач и хлопанье дверями, шумные шаги по комнате, крики на детей и на прислугу; потом послышались слова Данилы Захаровича: «К чаю не ждать меня»; потом раздался слабый голос Павлы Абрамовны: «Попросите ко мне Карла Карловича».

Совершенно неожиданно на третий день праздников в квартиру Прилежаевых заехал Боголюбов. Это событие было настолько внезапно, что Марья Дмитриевна растерялась окончательно и перепачкала мукой руку его превосходительства, забыв впопыхах вытереть свои руки, только что трудившиеся над приготовлением теста. Его превосходительство благосклонно улыбнулось, еще благосклоннее потрепало по щечкам Дашу, Мишу и Антона и даже изволило спросить детей:

— Ну, как веселитесь на праздниках, фуфлыги?

Потом его превосходительство соблаговолили сесть на диван, вследствие чего Марья Дмитриевна поспешила смахнуть с дивана пыль, которой, впрочем, на диване не было, и спросила: «Чем угостить такого дорогого гостя». Гость снисходительно заметил: «Что за угощения!» — и спросил:

— А где же ваша старшая дочь?

— В приюте, батюшка, в приюте. Дежурная сегодня,— ответила со вздохом Марья Дмитриевна,— и первый день провела, голубка, на службе. А уж как она жалеть-то будет, что не имела счастия вас у себя видеть.

— Мне самому жаль, очень жаль, что не мог повидаться с нею,— произнесло его превосходительство.— Собирался все заехать к вам, да дела, дела... Тоже подневольный человек... Своей семьи почти не вижу.

— Уж известно, батюшка, ваше дело не то, что наше, государством ворочаете.

— Ну, не государством,— снисходительно улыбнулось его превосходительство,— а все-таки есть над чем поработать... Да, да, досадно, что она дежурная. Она у вас, кажется, славная девушка.

— Да, батюшка, я хоть и мать, мне и не под стать бы хвалить ее, а правды не могу утаить,— примерная девушка: не я одна говорю.

— Да, да, слышал. Сама ее сиятельство княгиня Марина Осиповна изволила с похвалой отзываться: это, говорит, алмаз без всякой отделки! Ну, а эта мелюзга... что вы с

ней думаете делать? Впрок посолить хотите? — снисходительно пошутило его превосходительство.

— Что же, батюшка, делать? — растерянно развела руками Марья Дмитриевна.— Вот в приютах покуда учатся.

— Ну да, ну да, это покуда! С одним приютским воспитанием далеко не уйдешь. Надо о дальнейшем подумать...

— Это у меня Катюша обо всем печется,— смиренно произнесла Марья Дмитриевна.— Я, батюшка, человек темный. Они даром что малы, а и теперь ученее меня. Катюша что-то все о гимназии говорит,— вот Антошу, кажется, отдать хочет.

— Да, но средства, средства надо отыскать,— глубокомысленно сообразило его превосходительство.— Я рад бы помочь, но у меня семья... Вот теперь гувернера пришлось взять... Все расходы... И рад бы помочь, да сил нет...

— За меня сестра сама платить будет,— проговорил Антон, все время молча слушавший речи его превосходительства.

— А ты бы справился, есть ли у сестры средства на это,— внушительно заметило его превосходительство, сдвинув брови.

— Верно, уже есть, если она хочет платить,— резко ответил мальчик.

Его превосходительство окинуло глазами юного смельчака и обратилось к Марье Дмитриевне с вопросом:

— Это тот самый, что с вами у нас был?

— Тот самый, батюшка,— Антоша,— робко ответила Марья Дмитриевна и сделала какие-то телеграфические знаки Антону, но он, вероятно, не понял их и не спешил ни обдернуться, ни подойти к ручке к дядюшке.

— Он тогда таким дикарем смотрел,— хмуро заметило его превосходительство.— В школе-то, верно, разнуздался...

— Он, батюшка, у меня работничек,— произнесла Марья Дмитриевна, отстаивая провинившегося сына.— И дрова колет, и посуду чистит... Любимчик Катюши; уж чуть что у нее там случится — ему первому расскажет; как два голубя живут.

— А ты это цени! Твоя сестра умная девушка. Вот не далее как третьего дня княгиня Марина Осиповна удивлялась ее сердцу и здравому уму. Ты беречь должен сестру!

Антон прямо смотрел на его превосходительство, и по его губам скользила усмешка, точно он хотел сказать: «Да что ты мне сказки-то рассказываешь, нешто я сестру-то хуже тебя знаю». Его превосходительство, видимо, пута-

лось и уже думало только о том, как бы скорее окончить визит. Боголюбов, со свойственной ему проницательностью, ожидал очень чувствительной сцены при своем появлении у Прилежаевых. Ему почему-то казалось, что вся семья бросится навстречу к дорогому дядюшке, что начнутся целования рук, что Катерина Александровна скажет: «У меня одна надежда на вас», что Марья Дмитриевна прослезится, и он осушит эти слезы, сказав: «Хорошо, хорошо: что могу, то сделаю». Но, к величайшему своему удивлению, он ошибся в своих верных расчетах. Катерины Александровны не было дома и, как можно было заключить из разговоров, она вовсе не думала прибегать к помощи его превосходительства по делу определения брата в гимназию. Марья Дмитриевна хотя и обрадовалась его приезду, но не плакала и была, по-видимому, довольна своей участью и не опасалась за будущее; дети дичились его как незнакомого человека, а Антон даже непочтительно вмешался в разговор дяди с матерью. Его превосходительство было недовольно своим первым визитом к бедным родственникам. Сунув в руку Марье Дмитриевне десятирублевую бумажку, Данило Захарович уехал и дал слово навестить родных еще раз.

— Я вас не приглашаю к себе,— промолвил он на прощанье.

— И, батюшка! уж где нам, черным людям, беспокоить вас, нашего благодетеля,— с низкими поклонами произнесла Марья Дмитриевна.

— Почему же нет? Я буду очень рад,— пробормотал Данило Захарович, нахмурив брови от неожиданного оборота разговора.— Но я только потому заметил, что не приглашаю вас, что вам, я думаю, некогда ходить по гостям.

— Уж какие мы гости! — снова приниженно воскликнула Марья Дмитриевна.

— Но все же, если что-нибудь понадобится, обращайтесь ко мне,— продолжал Данило Захарович.— Я всегда готов помочь. Я еще буду у вас. Хочу повидаться с племянницей. Надо о детях подумать.

Данило Захарович ушел, провожаемый Марьей Дмитриевной до самого двора.

На следующий день Катерина Александровна была встречена в своей квартире словами матери:

— А знаешь ли, кто у нас был вчера? Угадай-ка!

Катерина Александровна не старалась отгадывать, так

как у них не было ни одного человека в мире, приход которого мог бы особенно обрадовать их.

— Не знаю, мама! — ответила молодая девушка, целуя детей.

— Нет, ты угадай.

— Право, не угадаю!

— Дядя, Данило Захарович! — воскликнула Марья Дмитриевна.

— Что он позабыл здесь что-нибудь или так, от жиру беситься начал? — усмехнулась Катерина Александровна.— То так писал ко мне, чтобы я никогда не упоминала в приюте, что мы родня, не поклонился при встрече в приюте, а то так с визитом приехал...

Марья Дмитриевна как-то растерянно посмотрела на дочь и подумала: «Верно, там у нее что-нибудь вышло, что не в духе она».

— Не приглашал ли к себе на обед? — иронически промолвила молодая девушка.

— Ну, Катюша, уж где нам! — начала Марья Дмитриевна.

— Нет, он даже не велел приходить к нему,— перебил ее Антон.— Я, говорит, вас не приглашаю... Звезда, Катя, у него набоку.

Катерина Александровна молча принялась разбирать свою работу. Ее лицо выглядело хмуро. Она, видимо, была недовольна посещением дяди. В ее голове вертелись вопросы: зачем он был? что ему надо? Не хочет ли он благодетельствовать им рублевыми подачками? Не придется ли принимать эти подачки и унижаться перед ним или поссориться с ним, отказавшись от подаяний?

— Гиреиха говорила ему про тебя,— шепотом передавал Антон новости сестре.— Умной тебя называла. Он говорит: «Я похлопочу о вас». Мне наказывал любить тебя. Петухом индейским таким сидел. Матери потом что-то сунул...

— Ну, я так и думала! — проговорила Катерина Александровна, опуская работу.

Ей было очень тяжело, что ее семье помогает тот самый человек, которого ее отец называл подлецом и вором, тот самый дядя, который при ее вступлении в приют прежде всего похлопотал о том, чтобы она не проговорилась о своем родстве с ним. Она в душе сердилась на мать за то, что та не отказалась от его денег, в которых не было особенно сильной нужды. Молодое, вспыльчивое сердце силь-

но билось в груди, и Катерина Александровна чувствовала, что при первом слове матери в защиту дяди она не выдержит и выскажет все, что волнует ее. Это слово не заставило себя ждать; когда дети ушли погулять, Марья Дмитриевна подсела к дочери и шепотом заговорила с нею.

— Десять рублей привез, благодетель...

Этой фразы было довольно для того, чтобы Катерина Александровна вспыхнула, как порох.

— Как вам не стыдно брать от него! — проговорила она.— Он нас знать не хотел; он на нас как на нищих смотрит, а вы берете! Разве у вас чего-нибудь недостает?

— Что это ты, Катюша! — да разве деньги бывают лишними? — робко заговорила Марья Дмитриевна.

— Этих денег нам не нужно! — резко произнесла Катерина Александровна.— Если вам все равно, как добывать деньги, так почему же вы на улицу не идете с сумой? почему не воруете?

— Что ты! что ты!..

— Это хуже, чем украсть! Его отец ненавидел, он нас презирает, а вы от него берете! Вы бы хоть меня пожалели. Для чего я работаю, бьюсь с утра до ночи? Не для того ли, чтобы вы по миру не ходили? Ведь не будь у меня ни вас, ни братьев, ни сестры — я могла бы половину недели сложа руки сидеть... Я хочу, чтобы вы не нуждались; вы и не нуждаетесь, а все-таки христарадничаете...

Марья Дмитриевна поникла головой.

— Ну, Катюша, не ожидала, чтобы ты меня когда-нибудь попрекнула своей работой,— заговорила мать со слезами.

— Я вас не работой попрекаю; я готова вдвое больше работать; но я попрекаю вас за то, что вы милостыню берете от тех, кто на порог нас не принимал, кто гнал моего отца...

— Спасибо, спасибо, дочка! — продолжала плакать Марья Дмитриевна, ничего не слушая и не понимая.— Мать все, что ни сделает, глупо выходит! Ее поедом едят...

— Кто это вас ест поедом? Уж не я ли? — с горечью воскликнула Катерина Александровна.— Грех вам, грех говорить это!

Молодая девушка поднялась с места и отошла от матери. Ее лицо побледнело; ее била лихорадка. Ей еще в первый раз пришлось договориться с матерью до такого пол-

ного непонимания друг друга; мелкие раздоры, происходившие между ними прежде, оканчивались довольно скоро; теперь же ей сделалось просто страшно. Она вспомнила, что зачатки подобных сцен уже не раз проскальзывали в их семейной жизни; теперь же вполне обнаружилось, что в будущем придется перенести еще множество подобных столкновений. Это было тем тяжелее для Катерины Александровны, что она считала своим единственным неотъемлемым благом семейный мир. Ей вспомнилось и недавнее столкновение с матерью по поводу хлопот о Скворцовой, и молодая девушка поняла, что при всех подобных случаях мать встанет против нее. Прошло около получаса; наконец послышались по галерее шаги и в комнату с шумом ввалилась вся компания детей под предводительством штабс-капитана. Он взглянул на Марью Дмитриевну и на Катерину Александровну и удивился, увидав их печальные лица.

— Что с вами, милейшая Катерина Александровна? — спросил он тревожным тоном.

— Голова что-то разболелась,— ответила молодая девушка.

— Да и вы, милейшая Марья Дмитриевна, как будто нездоровы? — промолвил старик, глядя на Марью Дмитриевну.— Уж не угарно ли здесь? — старик потянул носом воздух.

— Что нам, батюшка, делается! — уныло ответила Марья Дмитриевна.— На нас и смерти-то нет! Чужой век заедаем, а все живем...

Штабс-капитан нахмурился.

— Мама, вы уж лучше не начинайте снова,— проговорила Катерина Александровна, изменяясь в лице.

— Где уж мне начинать! Известно, я молчать должна! — вздохнула Марья Дмитриевна.

Этот тон резал по сердцу Катерину Александровну. Но она не сказала ни слова и поспешила начать с штабс-капитаном другой разговор. Вечер прошел тяжело и грустно. Улучив удобную минуту, штабс-капитан спросил у Катерины Александровны:

— У вас вышли неприятности с матушкой?

— Да,— ответила она.

— Из-за чего?

— Не понимаем одна другую.

Штабс-капитан вздохнул.

— Попробовали бы объясниться вполне.

— То-то и худо, что чем более объяснялись, тем больше не понимали друг друга.

Старик задумчиво покачал головой, но не мог продолжать разговора, так как в комнату вошла Марья Дмитриевна. Оба кадета тоже заметили грустное настроение своей любимицы и наперерыв старались угодить ей и развеселить ее. Она не могла не заметить их усилий и была очень благодарна им в душе за то, что они не давали ей времени впасть в тяжелое раздумье.

VII
ТЯЖЕЛЫЕ ДНИ

Катерина Александровна еще не опомнилась от первой крупной размолвки с матерью, как наступили более крупные и еще более неприятные события. Нельзя сказать, чтобы эти события были внезапными, они подготовлялись в течение долгого времени, но все-таки они были страшно тяжелы и обрушились на голову Катерины Александровны совершенно неожиданно для нее.

Наставал май, лед на Неве давно уже прошел, деревья начинали зеленеть, в приюте дети готовились к летним вакациям, взрослые девочки приготовлялись к выпуску. Оживление и надежды ворвались и в эту тюрьму. Не радовалась весне и яркому солнцу только Даша. Возвратившись после Пасхи в приют, больное дитя еще сильнее почувствовало все отравляющее влияние сырого и холодного воздуха в приюте, неудобоваримость приютской пищи, невыносимость сидеть навытяжке. Одна быстрая перемена постной пищи на скоромную, на самую тяжелую скоромную пищу гибельно действует даже на здоровых людей, а для больного ребенка эта перемена является чистой отравой. Даша же страдала не от одной этой перемены, а вообще от всех условий приютской жизни. Она уже не просто худела, но не могла стоять на ногах. Ее кожа сделалась синевато-бледной, словно прозрачной. На ее руки было страшно взглянуть, это были тонкие кости, обтянутые кожей. Девочка тихо покашливала. Катерина Александровна испугалась не на шутку и тотчас же объяснилась с Гроховым.

— Это худосочий, пищеварений неисправно,— сухо проговорил он.

— Что же вы думаете, что ее надо взять домой или в

нашу больницу отправить? — спросила Катерина Александровна.

Грохов глубокомысленно нахмурился.

— Это не помошет,— процедил он сквозь зубы равнодушным тоном.

— Как не поможет? Что же делать? — воскликнула молодая девушка.

— На всэ воля бошия! — вздохнул доктор, тупо глядя на нее своими оловянными глазами.

— Да, но что же делать? — тревожно приставала она.

— Теперь невозмошно помогайт.

— Как? — вырвалось восклицание из груди Прилежаевой.

— Ну да, она неизлешима...

— Что же вы не сказали раньше? Ведь я спрашивала вас? Я просила вас сказать мне, не больна ли она, не нужно ли ее лечить?

— Ну-да, ну-да,— нетерпеливо перебил ее Грохов.

— Вы меня успокоили!.. Вы меня обманули!..

— Зашем же было беспокоить! Ей помощь было нельзе,— бесстрастно возразил эскулап.— У нас в больнице только дешевое лекарство, дешевая пища, этим нельзе попровляйт здоровье. Ви тоше небогатий, а тут нужны большие средства. Помошь било нельзе никак!

— Да ведь это бесчеловечно, что вы меня не предупредили! Я бы все, все сделала, чтобы спасти ее,— говорила Катерина Александровна, чуть не рыдая.

— Но ведь ви небогатий, ви ее не могли отправляйт на юг... В этом слюшае бедним детям нельзе помогайт.

— Так, значит, они так и должны гибнуть?

— Что ш делайт! Это лишний бреме,— холодно пожал плечами тупой немец, безучастно смотря на плачущую девушку своими неподвижными глазами.— Вам ше легше будет!

— Дай бог, чтобы вы... чтобы вы сами испытали...— заговорила Катерина Александровна и не кончила начатой фразы, заливаясь слезами.

Грохов нахмурил брови и с негодованием отошел от Прилежаевой.

На следующий день она взяла Дашу домой и пригласила другого доктора. Доктор объявил, что девочка едва ли поправится; расстройство организма было полное. Перемена климата, самые лучшие гигиенические условия, пожалуй, еще могли бы на время поправить то, что было испор-

чено сначала подвальной жизнью, потом приютом. Обыкновенные лекарства были вполне недостаточны. «Денег нужно, денег нужно!» — вот все, что понимала Катерина Александровна теперь, а денег, необходимых на подобное дорогое лечение, не было и не могло быть. Катерина Александровна в отчаянии умоляла доктора спасти ее сестру, сделать все, что возможно. Доктору было, видимо, тяжело смотреть на это горе.

— Я сделаю, что могу,— проговорил он.— Но я не бог. Ручаться ни за что нельзя.

Во время хлопот с больной Катерину Александровну пригласили к княгине Гиреевой. Она удивилась этому неожиданному приглашению и не могла придумать, зачем ее приглашают к княгине.

— А я, черненькие глазки, вас по делу звала к себе,— ласково встретила ее княгиня.— Я вас замуж подумываю выдать.

Катерину Александровну поразило это неожиданное вступление.

— Где мне думать о замужестве, княгиня! — сухо проговорила она.

— Отчего же не думать? — улыбнулась старуха.— Вы молоды, хороши собой, добры, вы можете быть хорошей женой. Кстати, у меня и жених есть...

Катерина Александровна широко открыла глаза.

— Все наш добрейший Данило Захарович хлопочет,— ласково промолвила княгиня.

При этих словах по лицу девушки разлился яркий румянец. Ей было больно и обидно, что ее ненавистный дядя и тут вмешался в дело.

— У него есть один помощник... столоначальника, кажется; молодой еще человек...

— Княгиня, он меня не знает: как же можно толковать об его женитьбе на мне...

— Ах, дитя, дитя! Мы все устроим: он вас увидит. Конечно, вы ему понравитесь. Вы не можете не понравиться!.. Эта партия даст вам возможность не биться из-за куска хлеба... Он, правда, ничего не имеет кроме жалованья; но ведь он служит под начальством нашего доброго Данилы Захаровича и моего двоюродного брата. Мы общими силами выведем его в люди... Еще превосходительной будете! — пошутила княгиня, ласково потрепав Катерину Александровну.

Молодая девушка едва сдерживала свое негодование.

— Я уверена, что он не захочет жениться на незнакомой,— начала она, не сознавая, что говорит.

— Ах, дитя! Поверьте, что никто от своего счастья не убежит,— с уверенностью произнесла старуха.— Мы сваты хорошие,— засмеялась она.— Он будет рад, что его станут отличать по службе.

— Вероятно, его отличали бы и без того, если он порядочный человек...

— Ну да; впрочем, это не идет к делу!.. А вот вы мне скажите, когда вы готовы повидаться с ним.

— Княгиня,— в волнении заговорила Катерина Александровна,— у меня умирает сестра и покуда мне не до женихов, не до надежд на счастие... Я теперь отдала бы все, чтобы только спасти ее.

— Не упускайте и своего счастия... Я на днях уезжаю в деревню и потому хорошо бы теперь устроить все это...

— После, после, княгиня! — прошептала Катерина Александровна.— Благодарю вас. Но теперь я слишком сильно расстроена... Вы меня извините...

— Полноте, дитя,— с участием проговорила старуха, заметив на глазах Катерины Александровны слезы.— Ваша сестра еще малютка; дети часто хворают; это к росту; авось поправится.

— Нет, княгиня, ей не поправиться!..

Катерина Александровна закрыла лицо и разрыдалась. Она плакала в эту минуту не о сестре; она плакала о себе, о том, что ее уже считают вещью, что ею торгуют, что ее судьбой распоряжаются без ее воли. Она встала и начала прощаться с княгиней.

— Вы добрая сестра; вы примерная дочь,— проговорила старуха на прощание, целуя молодую девушку,— и я буду в восторге, устроив вашу судьбу, потому что вы будете и примерной женой, и любящею матерью!

Катерина Александровна вышла в комнату Глафиры Васильевны.

— Что это вы плачете? — спросила княжеская домоправительница.— А я надеялась, что вы, как солнышко ясное, выйдете от княгини, узнав об ее плане.

— Что мне до ее планов, когда у нас в доме скоро покойник будет! Моя сестра умирает,— проговорила Катерина Александровна.

— Ну, она младенец еще! Тоже, может быть, не сладкая жизнь была бы,— со вздохом произнесла Глафира Васильевна.— Кто раньше умер, тот и счастлив. Сами знае-

те, не сладка наша жизнь!.. Не надо ли ей чего?.. При деньгах ли вы?..

— Благодарю вас: мне ничего теперь не надо...

— Вы не скрывайтесь. Вы знаете, что мы готовы помочь. Княгиня вас как родную полюбила... Вы знаете, она старуха хоть и взбалмошная, а добрая...

Катерина Александровна не слушала рассуждений Глафиры Васильевны и поспешила выйти из княжеских палат. Ей было невыносимо тяжело. Какие-то смутные, гнетущие думы роились в ее голове. Ей казалось, что ее закрепостили, что ей трудно теперь вырваться на свободу. И по какому праву эти люди распоряжались ею? Она просила у них одного — места себе. Они насильно навязали ей несколько рублей; если бы она отказалась от этих денег, они рассердились бы на нее. Она взяла эти деньги, и они подумали, что они уже могут распоряжаться ее судьбой. Теперь приходилось дать отпор им, и за этот отказ они, быть может, станут мстить ей, лишат ее места, этого верного куска хлеба. Даже если они не будут мстить, то все-таки они перестанут оказывать ей покровительство, а между тем держаться на месте можно только при помощи покровительства или при помощи подкапывания под других, как держатся на своих местах Зубова и Постникова. Катерина Александровна сознавала, что для нее во всяком случае настают тяжелые дни, и хуже всего было то, что ей приходилось немедленно составить план действий. До сих пор события ее жизни слагались как будто сами собою; теперь приходилось обдумывать, как поступить в том или другом случае. Чтобы зрело обдумать это, нужно было иметь хотя кое-какое знакомство с жизнью, а этого знакомства еще не было у Катерины Александровны. Она пришла домой от княгини расстроенная и смущенная.

— Ну что, Катюша? — спросила Марья Дмитриевна у нее.— Зачем княгиня призывала?

— Жениха нашли! — ироническим тоном и с горечью ответила Катерина Александровна.

— Пошли им, господи, здоровья! Все о нас, бедных, заботятся! — вздохнула с умилением Марья Дмитриевна.— Да хороший ли человек-то?

— Какое мне дело, хороший он или нет! — сухо ответила дочь, предчувствуя, что она снова разойдется с матерью во взглядах на это дело.

— Да как же, Катюша? Ведь тебе с ним жить,— прого-

ворила Марья Дмитриевна.— Обвенчаться недолго, а потом уж и не развенчаешься.

— Нам теперь не о свадьбе думать надо, а вот о ней,— указала Катерина Александровна на лежавшую в забытьи за ширмами Дашу.

— Уж что, маточка, думать! — заплакала мать.— Не жилица она на белом свете... Христова невеста!.. Господи, и за что ты меня наказуешь?..

Марья Дмитриевна как-то беззвучно, беспомощно и приниженно плакала, опустив голову на грудь и сложив на коленях руки. Катерина Александровна вышла из душной, пропитанной запахом лекарства комнаты на галерею, чтобы подышать свежим воздухом, и задумчиво стала смотреть на расстилавшийся за забором двора плац. Невесело было у нее на душе. Минут через пять к ней вышел штабс-капитан.

— Что вы, милейшая Катерина Александровна, все тоскуете? — ласково заговорил он.— Слезами да вздохами горю не поможете!

— Да что же делать, Флегонт Матвеевич, если горе выше головы выросло,— проговорила Катерина Александровна, проводя рукой по щекам, покрытым слезами.— Все это так неожиданно, так случайно делается.

Штабс-капитан нахмурил брови.

— Вы этого не говорите,— задумчиво произнес он, качая головой.— Это не случайно делается... То-то и худо, что горе у нас постоянно по пятам идет, а случайностью в жизни бывает только радость. В том-то вся и штука, чтобы было наоборот, чтобы радости и счастье были постоянными нашими спутниками, а горе было бы только случайностью...

Старик смолк на минуту и облокотился рядом с Катериной Александровной на подоконник галереи.

— Вон есть страны, где солнце постоянно светит, где реже ненастье бывает, где ночные морозы не губят того, что распустилось за день, где дурные дни только случайность, а хорошие обыкновенное явление,— в раздумье заговорил он.— Там лучше жить человеку, чем у нас, где такой ясный да теплый денек, как нынче, только редкий гость, а зимние морозы, дождливое лето, весеннее да осеннее ненастье — постоянные спутники нашей жизни...

Катерина Александровна молчала: она не то внимательно слушала старика, не то передумывала свои собственные думы под мерное течение его речи.

— Взгляните-ка на свою жизнь,— неторопливо говорил старик, что-то обдумывая.— Не умри ваш отец, и жили бы вы до сих пор в подвале, никто не помог бы вам, не позаботился бы о вас, может быть, даже детей не взяли бы в приюты, где отдается предпочтение сиротам... Положим даже, что вы поступили бы на место, ваши деньги пропивал бы отец или вам пришлось бы совсем бросить семью. Только его смерть случайно заставила людей обратить на вас внимание и уделить вам хоть грош... И как часто, милейшая Катерина Александровна, повторяются подобные случаи: гибнет семья, голодает, живет в холоде и в сырости,— никто и не думает о ней; так идут для нее долгие, безрассветные дни,— вдруг отец или мать семьи не вынесут гнета нужды, утопятся или удавятся — и все общество заволнуется, через газеты сборы делают для семьи, люди тащут ей гроши, старое тряпье и из этих ниток с мира шьется голому рубашка. А разве до этой минуты легче было семье? Разве до этой минуты она не состояла из большого числа горемык?.. Эх, что и говорить! Кому это не известно: малый ребенок это поймет!.. Да, да, горе у нас не случайно, случайно только счастье.

Штабс-капитан опять смолк и задумался, слегка барабаня пальцами по подоконнику.

— Да вот возьмем для примера хоть историю вашей Скворцовой,— продолжал он через минуту.— До чего мог довести ее белокопытовский приют? До могилы, до разврата... Ведь вы хорошо знаете теперь приютскую жизнь: дети болеют и мрут в приюте, как мухи; другие выходят на места горничными и развращаются; третьи не выносят приютской жизни и бегут, их ловят и жестоко наказывают, секут взрослых при всех воспитанницах, сразу убивают девичью стыдливость палачи. Скворцова бежала — ей грозило законное наказание. Все это не случайности; все это обыденные явления вашей приютской жизни. Ведь там и бегство не редкость и порки при всех воспитанницах не диво. У этих извергов жалости не ищите. Белокопытовы губят детей среди белого дня, нагло именуя себя человеколюбивыми людьми. Но вы заступились за Скворцову, и чисто случайно ваши отношения к княгине помогли вам спасти ее от розог... Ну, а дальше что? Спасете ли вы ее от будущей нищеты, или от разврата, или от горькой жизни горничной у мелких господ?.. Вот и ваша Дашурочка умирает теперь, а разве это что-нибудь неожиданное, случайное? Ведь вы, я думаю, сами, милейшая Катерина Александров-

на, уже давно предчувствовали, что она стоит одною ногой в гробу...

Лицо Катерины Александровны делалось все серьезнее и серьезнее; речи штабс-капитана уясняли ей многое, что до сих пор только смутно бродило в ее уме. Она уже не просто слушала его, но и сама мысленно дополняла его примеры неслучайности горя и случайности счастья. Наконец она как будто что-то вспомнила и обернула лицо к старику.

— Но, Флегонт Матвеевич, у меня есть и не обыденное, а случайное горе,— проговорила она.— Совершенно неожиданно княгиня распорядилась моею судьбой и сватает мне жениха. Послушать ее я не могу; не послушать — значит нажить себе неприятности.

— Что же тут неожиданного? — спросил старик.— Или вы думали, что вам даром дают деньги? Или вы думали, что вам даром протежируют? Нет, милейшая Катерина Александровна, этими деньгами, этими протекциями люди делают бедняков своими крепостными, своими шутами, своими шпионами, своими приживалками, своими молельщиками. Возьмете вы деньги и захотите быть вполне свободной, вздумаете запретить благодетелям врываться в вашу домашнюю жизнь, в ваш угол — вас назовут неблагодарной и вышвырнут вон. Я видел, милейшая Катерина Александровна, на своем веку и таких благодетельниц, которые не только сами приезжали осматривать квартиры своих приживалок, но возили туда своих знакомых; показывали конуры своих облагодетельствованных нищих, как логовища диких зверей; распоряжались в этих конурах; приказывали убрать в каморках то или другое тряпье; приказывали выкинуть с окна какой-нибудь горшок с бальзамином, чтобы он не заслонял доступ света в конуру, хотя, может быть, бедняку был гораздо дороже этот бальзамин, чем несколько лишних лучей света...

Катерина Александровна с упреком взглянула на старика.

— И вы, вы сами советовали мне не отказываться от помощи ближних! — с горечью воскликнула она.

— Я и теперь советую вам выжать все, что можно, из них,— спокойно ответил штабс-капитан,— а потом, потом вы можете плюнуть на них, если они этого стоят...— Послушайте, милейшая Катерина Александровна,— мягко проговорил он, с отеческою лаской положив ей на плечо руку,— наша жизнь сложилась так дурно, что бывают ми-

нуты, когда приходится человеку или утонуть, или взяться за доску, которую случайно подает ему с берега благодетельный человек... В такие минуты я всегда посоветую взяться за доску... Да, впрочем, тут и советовать нечего: каждый дорожит своею жизнью и не только за доску схватится, но если нужно, то купит свое спасение убийством ближнего... Я дольше вас жил на свете и мне не раз приходилось хвататься за подобные доски; потому я знаю, как тяжело сознавать, что ты, ни в чем не повинный, может быть, даже принесший услуги ближним, имеющий законное право на бестревожную жизнь, ничем не застрахован от гибели, брошен в море, на жертву волнам, без спасительной лодки, без всякой защиты... Это сознание тяжело вам, но поверьте, что оно еще тяжелее тому, кто и передумал многое, и перечитал немало, и видел на своем веку виды и, вдобавок ко всему, щеголяет на одной ноге не ради собственного удовольствия, а ради того, что и он когда-то честно и смело служил на пользу общую. Но все же жить хочется и поневоле берешься за доску, протянутую ближним... Я вот иногда пьянствую, как вспомню все это...

Штабс-капитан проговорил эти слова как-то глухо и, нахмурив брови, умолк на минуту. Катерина Александровна с изумлением и участием взглянула на старика. Ее поразило неожиданное открытие, и снова ей вспомнился ее отец. У нее сжалось сердце. Она впервые сознавала, что и как переживал этот, по-видимому, невозмутимо спокойный, вечно добрый философ.

— Но этого мало,— спокойнее продолжал старик через минуту.— Мало того, что мы брошены в море без кормила, без весла, мало того, что мы вечно должны хвататься за доски благодетелей, я должен вам сказать, что эти благодетели не что иное, как ростовщики, дающие свой грош за большие проценты: они хотят за свой грош купить вашу волю и в то же время приобрести себе угол в царстве небесном. Не рубль на рубль они берут, а душу человека и вечное спасение за рубль выторговать думают. Стала бы вам помогать графиня Белокопытова — она начала бы справляться, теплится ли у вас лампада, ходите ли вы к заутрене и к ранней обедне, ведете ли вы отшельническую жизнь, едите ли постное по средам и пятницам. Помогла бы вам какая-нибудь любящая сплетни барыня, вы были бы обязаны передавать ей все, что делается в приюте, что делается в вашей семье, что делается между знакомыми вам бедняками, вы были бы должны собирать вести ото-

всюду и приносить их к ней. Помогала бы вам скучающая барыня, вы были бы должны веселить ее чем-нибудь, являться к ней с вечной улыбкой. Ваша благодетельница — добродушная княгиня Гиреева; она хочет окончательно устроить вашу участь и потому сватает вам жениха. Ей нет дела, что вы, может быть, уже любите кого-нибудь, она знает только то, что предлагаемая ею партия выгодна, что она не допустит вас до гибели, если вы повинуетесь ей, и потому выдает вас замуж, как выдавала своих дворовых. «Ведь дворовые были обеспечены, были сыты, обуты и одеты, значит, были и счастливы,— думает она,— ну, и Прилежаева будет обеспечена, сыта, обута и одета, а значит, будет и счастлива». Она ведь права, она купила вас своими рублями.

В ровном голосе штабс-капитана звучала едва уловимая горькая ирония.

— Что же делать, что делать? — воскликнула Катерина Александровна.

— Сделать ненужными доски благодетелей,— проговорил штабс-капитан.— Сделать по крайней мере то, чтобы эти доски были нужны как можно реже.

— Я вас не понимаю,— промолвила молодая девушка.

— Вы же сами начали это делать, стремитесь это сделать,— произнес старик.— Вы хотите дать образование детям, то есть дать им один из более верных способов зарабатывать кусок хлеба. Вы сами по себе знаете, что без образования не очень-то широкий путь открыт человеку... За какое дело можете вы взяться? В горничные, в няньки идти, швеей быть, в приюте служить — вот и все. Не можете вы ни школы открыть, ни в гувернантки идти, ни акушеркой быть.

Катерина Александровна вздохнула.

— Знаете ли вы, Флегонт Матвеевич, что я теперь начинаю бояться, что и все мои мечты об образовании детей так и останутся мечтами,— проговорила она.— Я думала поднять их на свои деньги; я копила, копила, а теперь у меня уже почти ничего нет: все уходит на леченье Даши... Мне страшно становится, как подумаю, что начну опять я копить, а там вдруг сама заболею или мать сляжет и все снова уйдет на лекарства...

Штабс-капитан задумался.

— Не так вы начали,— проговорил он.— Вы начали дело как дитя, не знающее жизни. Нужно было прямо хлопотать об отдаче детей в казенные заведения. Антона в

гимназию пристроить, Мишу ну хоть в гатчинское училище отдать, Дашу в николаевский институт... Самим вам не вытянуть их на свет божий. Да если бы и вытянули, так потом пришлось бы на их шее сидеть. Вам надо для себя копейку сберечь, хоть кое-как добыть более верный кусок хлеба. На песке строить здание не приходится. Вот и я тоже хотел бы своих воинов под своим крылом воспитывать, а все-таки отдал на казенные хлеба. Все мы под богом ходим: сегодня живы, завтра умрем; тогда дети-то что станут делать?

Собеседники смолкли. Катерине Александровне было очень тяжело: она сознавала, что до сих пор она действительно увлекалась несбыточными и детскими мечтами. В то же время ей было невыносимо сознавать, что ей придется снова кланяться и просить благодетелей похлопотать об ее семье.

— Покланяйтесь-ка еще,— промолвил старик, как бы угадывая ее мысли.— Авось это будет в последний раз. Даше уже не поправиться; нужно только обеспечить участь Антона и Миши.

— Так это я так и убила попусту все эти месяцы! — воскликнула с горечью Катерина Александровна.— Почти год даром убила! Вместо пользы делала только вред. Может быть, и Даша была бы жива, если бы я сразу начала хлопотать об определении ее в институт.

— До всего, милейшая Катерина Александровна, опытом доходят...

— Хороши и они, эти благодетели! — желчно произнесла молодая девушка.— Сунули детей в приюты, когда дети имели право на поступление в казенные училища! Ведь я не знала, что их могут принять в казенные школы, а они-то знали...

Штабс-капитан махнул рукой.

— Не о них теперь толковать надо! — промолвил он.— Хлопочите, покуда на вас еще не разгневалась Гиреева и покуда можно запречь дядюшку. После и он не поддастся.

Между стариком и молодой девушкой завязался разговор о том, как надо действовать, чтобы поскорее определить детей. Штабс-капитан предложил свои услуги в качестве учителя для приготовления Антона в гимназию. С этого дня для Катерины Александровны начиналось трудное время: ей пришлось снова беспокоить княгиню и впервые увидаться с дядей без свидетелей в его доме как родственнице. Рядом с хлопотами об определении детей шли горь-

кие впечатления от усиливавшейся болезни Даши, от плача матери. Наконец уже в конце мая болезнь Даши кончилась: девочка больше не страдала; ее худенькое тело не дрожало от холода; в ее глазах не блестели слезы от боли; она спокойно и мирно лежала в белом гробике и не слышала воплей безутешной Марьи Дмитриевны...

Уныло и тихо было в маленькой квартирке Прилежаевых после похорон Даши. Штабс-капитан только что проводил в лагери своих сыновей; Антон молчаливо зубрил грамматику, арифметику и священную историю; Марья Дмитриевна беззвучно плакала или уходила к Митрофанию посидеть на могиле дочери; даже Миша как-то притих, словно боялся чего-то. В один из таких печальных дней Катерина Александровна сообщила матери, что хлопоты об определении Миши идут к концу.

— Не отдам я его, моего голубчика, не отдам на чужую сторону! — зарыдала Марья Дмитриевна, соглашавшаяся прежде пристроить Мишу в гатчинское училище.— Одну бог отнял, а уж другого своими руками не выдам! Пусть растет около меня, пусть не гибнет без материнской ласки!

— Мама, да ведь он здесь неучем останется,— ласково промолвила Катерина Александровна.

— Бог с ним, с образованием! — раздражительно воскликнула Марья Дмитриевна.— И мы и отцы наши без этой учености прожили и за себя перед людьми не краснели. Мне мое дитя дорого! Ты не мать — ты не понимаешь этого!

— Мама, я для него же стараюсь...

— Ну, матушка, не знаем мы, где найдем, где потеряем. Да у меня все сердце выболит за него, вся душа исстрадается... Все разойдутся — одна я останусь, как сирота какая...

— Надо о нем, а не о себе думать...

— И не говори ты мне!.. Ты меня не жалеешь; ты все по-своему делаешь!.. Тебе легко братьев бросить, а мне они — дети!

Катерина Александровна опустила голову. Она не знала, что делать. Оставить Мишу на произвол судьбы, оставить его около матери неучем — это было невыносимо; воспитывать же его на свои средства было невозможно, так как этих средств было недостаточно и для одной одежды Антона, которого можно было определить в гимназию даровым вольноприходящим воспитанником. Меж-

ду матерью и дочерью снова начались тяжелые сцены взаимного непонимания, не приводившие ни к каким благим результатам. Неизвестно, чем бы кончилась вся эта семейная будничная драма, если бы в один прекрасный день не приехал к Прилежаевым Данило Захарович Боголюбов с известием, что Мишу нужно вести на баллотировку.

— Батюшка, да я не желаю его отпускать от себя! — смиренным тоном произнесла Марья Дмитриевна, усаживая дорогого гостя.— Я ведь мать, мне...

— Глупости, глупости! — нахмурил брови Боголюбов.— Не расти же ему дураком! Поскучаете, а потом веселее станет, как он важным барином сделается.

— Уж где, батюшка, важным барином ему быть! — вздохнула Марья Дмитриевна.— Дал бы бог глаза матери закрыть и то счастье... Нет, уж вы не взыщите, а я его не отдам...

— Ну, этими вещами не играют! — внушительно произнес Данило Захарович.— Вы его отдадите и конец весь! Или вы хотите, чтобы он вышел таким же, каким был его отец?

— Батюшка, да ведь я мать, мать,— не могу я отдать своими руками свое родное детище,— заплакала Марья Дмитриевна.

— Ну что же вы думаете, что вы его на съеденье, что ли, отдаете? — строго спросил Боголюбов.— Как мать, вы должны бы были заботиться только об его счастье.

— Уж какое счастье в чужих людях жить, матери не видеть!

Еще долго плакала Марья Дмитриевна, смотревшая на отдачу сына в отдаленное училище точно так же, как смотрят простые люди на помещение своих родных в больницу. Ей казалось, что она отдает сына на верную гибель. Наконец было решено, что она поведет Мишу на баллотировку в воспитательный дом. Боголюбов не любил шутить и умел командовать. Вздыхая и поминутно отирая слезы, отправилась Марья Дмитриевна с Мишей в Большую Мещанскую, в то здание, где помещается ломбард. Там в большой зале во втором этаже уже было множество народу. Плохо одетые женщины, старики в потертых мундирах, дети всех возрастов — все это сновало, толпилось и шепталось в зале. Каждый с сердечным замиранием ожидал, чем решится судьба того или другого ребенка. Одни молились в душе, чтобы их дети были приняты; другие, почувствовав близость разлуки с детьми, желали только

того, чтобы их детей забаллотировали. Посредине залы громко выкликались фамилии детей. Наконец произнеслась фамилия Прилежаева. У Марьи Дмитриевны замерло сердце. «Господи, не попусти, не накажи меня, грешную!» — шептали ее уста. Прошла томительная минута.

— Не попал! — раздался около Марьи Дмитриевны голос Миши.

— Слава тебе господи! Родной мой, родной! — воскликнула она, крепко прижимая к груди своего сына.— Пойдем, батюшка, пойдем скорее домой,— говорила она, как бы боясь, чтобы его не отняли у нее.

С сияющим лицом возвратилась она домой и объявила, что Миша не принят.

— Еще хоть годик поживет у меня, ненаглядный, хоть годик! — говорила она, обнимая и целуя сына.

Катерина Александровна не безучастно смотрела на радость матери; она хотя и не особенно радовалась тому, что брат не попал в училище, но в то же время ее и не очень сильно огорчал результат баллотировки, так как она уже знала, что Миша зачислен кандидатом и через год или через два года все-таки попадет в училище. Главный вопрос для нее состоял в том, примут ли ее брата в училище, а не в том, когда именно его увезут из дома. Он еще был мал и потому было можно ждать его определения, не боясь, что он «выйдет из лет», как выражаются о поступающих в казенные воспитательные заведения детях.

Для Катерины Александровны, после душевных бурь и волнений, наступали летние дни затишья; она вся должна была погрузиться в хлопоты по службе, которые оставляли очень немного времени для размышлений, для вопросов и сомнений. Приют принимал летом более оживленный вид, чем зимой: в нем шли переделки и крашенье комнат и полов; дети под руководством помощниц занимались «постройкой» белья и одежды, Зорина и помощницы хлопотали над счетом и рассматриванием разных принадлежностей детской одежды и столового белья, сортировали эти предметы по степени их годности и негодности, назначали одежду выросших воспитанниц младшим детям, для выросших же воспитанниц шили новое платье. Ежедневно приходилось наблюдать за перемещением кроватей воспитанниц из переделывавшейся спальни в столовую, за переселением столов из перекрашиваемой рабочей комнаты в классную. Пыль, известка, масляная краска — все это наполняло комнаты и заставляло особенно наблюдать за

детьми, чтобы они не портили себе одежды; говор свободных от зимних занятий детей, шум колес и крики торговцев, доносившиеся с улицы в отворенные окна, своеобразное, монотонное пение штукатуров и маляров в коридорах, в комнатах и около наружных стен — все это вносило необычайное оживление в стены приюта. Порой Анна Васильевна, чувствовавшая скуку по случаю отъезда на дачи ее обычных партнеров, приглашала к себе на чай Катерину Александровну, и девушке было отрадно провести с работой вечерок в светлой и мило убранной спальне начальницы за мирными беседами с неглупою и опытною женщиной. Единственным темным облаком в эти дни жизни Катерины Александровны было опасение за участь Скворцовой, пробудившееся во время выпуска кончивших курс учения воспитанниц. По обыкновению, в это время в приют являлись разные барыни, искавшие горничных, и в числе их приехала какая-то статская советница Булычева, не то немка, не то еврейка, лет сорока пяти, в светлом шелковом платье, в белой с перьями шляпке. Она объявила мягким голосом и поминутно улыбаясь, что ей нужна горничная. Ей представили трех воспитанниц, искавших места. Она с улыбочкой поговорила с каждою из них, потрепала их по щечкам, назвала «милочками» и, наконец, остановилась на Скворцовой.

— О, я намерена похитить у вас этот бутончик,— шутливо обратилась она к Зориной, дружески коснувшись до ее плеча рукой.

Зорину немного смутил этот фамильярный тон, напоминавший развязность вышедшей в люди кухарки, и она нахмурила бровп.

— Вы, кажется, и прошлого года взяли у нас одну воспитанницу к себе в дом,— сухо заметила старуха.

— О, она вышла замуж, ма шер матам,— развязно произнесла веселая дама.— Я удивительно сшастлива или несшастлива, назовите как хотите — но мои девушки так скоро виходят замуж... Рука легкий!

— Я, право, не могу вам дать сегодня решительного ответа,— сказала Зорина и попросила развязную даму оставить ее адрес.

Когда веселая дама уехала, Зорина дала совет Скворцовой не брать предлагаемое ей место. Тот же самый совет дала девочке и Катерина Александровна. И Зориной и Прилежаевой казались подозрительными в этой женщине развязность манер, чересчур черные и слишком пра-

вильные брови, чрезмерно яркий румянец на щеках, излишняя любезность с воспитанницами и щедрое предложение большого жалованья рядом с очень ограниченными требованиями.

— Смотри, Скворцова, не лучше ли подождать другого места,— посоветовала Зорина.

— Вам она, верно, тоже не нравится? — спросила Катерина Александровна.

— Да,— ответила старуха.— У нее манеры... немки из Риги... что-то слишком беззастенчивое и наглое... ты подумай, Скворцова.

— Мне, Анна Васильевна, хотелось бы поскорей выйти отсюда,— промолвила Скворцова.— Вы знаете, каково мне здесь жить... проходу нет...

— Ну, потерпи немного!

Старуха задумчиво пошла с Катериной Александровной в свои комнаты и с грустью, намеками объяснила молодой девушке, что она охотно взяла бы на время Скворцову в свои комнаты, но что и тут бедной девушке нельзя быть, так как Александр Иванович очень «ветреный» человек.

— Я, впрочем, удержу ее в приюте до лучшего места,— решила Зорина.

У Катерины Александровны сжималось сердце, она чувствовала, что она легко могла бы помочь Скворцовой взять ее к себе в дом, где девушка кое-как прокормила бы себя в первое время работой, но в то же время какой-то голос тайно предсказывал ей, что этот план не осуществится. Дня через четыре в приют по обыкновению заехал Грохов справиться о больных. Со свойственной ему грубостью он спросил при встрече со Скворцовой:

— А ты еще здесь?

— Да, она еще не нашла места,— ответила за нее Анна Васильевна.

— Ее панимал кто-то...

— Да, но я боюсь отпустить ее на это место,— объяснила Зорина, чувствуя, что Грохову уже все передано,— это какая-то подозрительная особа...

— Слюшанке нэт никакого дела до того, какой ее бариня,— сухо произнес Грохов.— Тут нешего разбирайт. Нушно освободить приют от этой девшонки. Она сама подозрительный шеловек... Приют не богаделен. Даром всех нельзе кормить. Прошу вас сделать распоряшепий. Мы ошеп, ошеп педоволен з вами!

Зорина как-то съежилась и дала обещание обделать

дело. Когда Грохов удалился, старуха начала с горечью жаловаться Катерине Александровне на своих шпионов и на необходимость отпустить Скворцову в услужение к подозрительной статской советнице. Катерина Александровна встревожилась: молодое, еще не уставшее и не приглядевшееся к жизни сердце забилось сильнее. Молодая девушка не могла хлопотать за Скворцову у княгини, так как Гиреева уже уехала в деревню на лето; оставалась одна слабая надежда на помещение Скворцовой у Марьи Дмитриевны. Катерина Александровна решилась переговорить с матерью.

— Что это ты, Катюша, выдумала. Мы сами едва перебиваемся,— возразила Марья Дмитриевна.

— Она, мама, будет работать,— заметила Катерина Александровна.

— Какая работа летом? У нас у самих работы теперь нет, а где же еще для нее достать! Да и бог с ними, с чужими людьми! Дай бог самим перебиться!

— Да ведь она погибнуть может! нам бог пошлет на ее долю,— уговаривала Катерина Александровна.

— Нет, уж ты мне и не говори! Не стану я чужой крыши крыть, когда сквозь свою каплет. Всех голодных да холодных не соберешь к себе и не накормишь, когда и сами голодны. Молода ты, так тебе и кажется, что всех пригреть можно; а я пожила, так знаю, что и самим-то не выбиться из нужды.

Катерина Александровна вспылила и снова наговорила матери резких слов. Но на этот раз борьба окончилась не победой. Марья Дмитриевна плакала, жаловалась на дочь, но непоколебимо стояла на своем и кончила свою речь словами:

— Что ж, выбирай, кто тебе дороже — я или она. Возьмешь ее в дом, я уйду. Конечно, ты вольна меня выгнать; я на твоей шее сижу... Ну перебьюсь как-нибудь, Христовым именем побираться буду, у добрых людей угол найду...

— Не найдете! — резко произнесла Катерина Александровна.— Если все добрые люди похожи на вас, так не найдете себе угла так же, как и Наташа.

Молодая девушка вышла из комнаты и с горькими слезами присела на галерее.

— Не плачь, Катя,— тихо прошептал Антон, ласкаясь к ней.— Ты подожди; выросту я, деньги будут; мы всем помогать будем...

— Милый мой, а сколько людей до тех пор погибнет перед глазами! — проговорила Катерина Александровна.

— Матери тоже не сладко,— через минуту заметил Антон.— Она вон работает, работает, а взглянешь на нее — у нее слезы по щекам текут...

— Знаю, знаю, голубчик,— вздохнула Катерина Александровна и отвернулась, чтобы скрыть слезы.

В этот день словно что-то оборвалось в груди Катерины Александровны. Она сознала вполне, что она не может ничего сделать для ближних, что ей волей-неволей нужно смотреть сквозь пальцы на их гибель. «Нельзя чужую крышу крыть, когда сквозь свою каплет»,— звучало в ее ушах, и она сознавала, что это правда, но такая правда, с которой никогда не помирится молодая, живая душа. Катерине Александровне казалось, что в эту минуту она решилась бы на всякое унижение, согласилась бы продать себя, если бы этой ценой можно было спасти Наташу. Такое настроение охватывает человека, когда он, может быть, не имея сил или не умея плавать, бросается в воду для спасения погибающего...

За этим днем снова пошли для Катерины Александровны дни хлопотливой работы в приюте и какого-то сонного, вялого затишья дома. Антон учился, колол дрова, собирал щепки; Миша по целым дням играл в саду школы гвардейских подпрапорщиков с уличными знакомыми; Марья Дмитриевна шила, стряпала, целовала детей, ходила на кладбище; Катерина Александровна тоже не отрывалась от работы; даже штабс-капитан выглядел как-то хмуро: его дети были в лагере; на другой день после их отъезда он ушел из дома и пропадал в течение недели, возвратившись совсем больным. В день последней ссоры Катерины Александровны с матерью старик немного подгулял, поговорил очень крупно с Марьей Дмитриевной, вступившись за ее дочь, и назвал Марью Дмитриевну «бесчувственной», а потом снова пропал дней на пять, после которых его лицо выглядело опухшим и измятым.

— Ох, уж, видно, к хорошим знакомым ездит, что рожу-то после каждой поездки во все стороны раздувает,— сердито заметила Марья Дмитриевна про старика, против которого в последнее время у нее закралось в сердце неприязненное чувство.

— Ну, не нам судить его: ведь наш-то отец из кабака не выходил,— вскользь промолвила Катерина Александровна.

— Что это ты кости-то отца шевелишь в могиле,— упрекнула Марья Дмитриевна.

— Я это к тому сказала, чтобы вы людей-то не судили, когда мы сами не лучше их...

В комнате наступила тишина. Эта давящая, мучительная тишина наставала теперь нередко в квартире Прилежаевых. Члены семьи наконец договорились до того, что уже боялись сказать еще лишнее слово, зная что за этим словом может последовать новый раскат бури. Вольнее дышалось всем только тогда, когда семья изредка уходила с штабс-капитаном к Митрофанию и здесь, усевшись где-нибудь в тени, вела тихую, грустную беседу о житейских делах... Тут, на кладбище, на могилах отживших поколений из уст отжившего философа, искалеченного инвалида жизни, услышал Антон не одну серьезную мысль, не одну горькую истину, незаметно запавшие в молодую, впечатлительную душу.

Конец первой части



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

КНИГА ТРЕТЬЯ

I

ОЩУПЬЮ

В жизни, как в море, нередко случаются внезапные бури, смущающие ее будничный покой. Мы приходим в замешательство, спешим отстоять себя, бросаемся из угла в угол, сталкиваемся с ближними, воюем за свое существование, теряем рассудок... Но вот мало-помалу буря стихает, ее следы исчезают, мы успокаиваемся и хладнокровнее осматриваемся кругом. Кое-что из нашей прежней обстановки погибло, кое-что надорвалось и в нас самих, но наступившая тишина все-таки дает нам возможность плыть дальше и с обломанными мачтами, и с попорченным рулем, и с ослабевшими силами — и мы снова пускаемся в путь. Такое затишье настало в семье Прилежаевых, когда замолкли последние раскаты бури, начавшейся с того памятного осеннего дня, когда погиб Александр Захарович. Иногда Катерина Александровна мысленно оглядывалась на это недавнее прошлое, и ее изумляло разнообразие пережитых в это время событий, цеплявшихся одно за другое, сплетавшихся в один пестрый и прихотливый узор. Еще год тому назад ее семья прозябала где-то в подвале, неведомая никому и не знавшая никого, кроме какого-нибудь соседнего лавочника или мелкого чиновника, отдававшего ей в стирку свое белье, и вдруг перед этой семьей прошли Боголюбовы, Гроховы, Гиреевы, Белокопытовы, Прохоровы, Зорины, Скворцова и еще десятки самых разнохарактерных личностей, из которых каждая влила свою каплю меду или дегтю в жизнь этой семьи. Какие неожиданные сближения возникли в эти дни: какой-то полунищий Прохоров сделался другом, спутником Катерины Александров-

ны и Антона; из-за какой-то Скворцовой пришлось договориться Катерине Александровне до сильного разлада с матерью... Чем больше задумывалась Катерина Александровна над недавними событиями, тем яснее становилось ей, что не она управляла этими событиями, а они управляли ею. Они, подобно волнам потока, несли ее за собою, наталкивали на песчаные мели, наносили на острые камни и влекли все далее и далее, а она ни разу не попробовала выбраться из потока куда-нибудь на берег, но старалась только как-нибудь расчистить этот поток, чтобы потом иметь возможность плыть вперед без препятствий. Но — дальше в море, больше горя — едва успевала она выбросить из потока задевший ее камень, как течением уносило ее еще дальше и наталкивало на новые препятствия. Утомленная этой борьбой, молодая девушка впервые не стала хлопотать над уничтожением попавшегося ей на пути камня, а просто отстранилась от него и вышла на берег именно в ту минуту, когда Марья Дмитриевна решительно отказалась принять в свой дом Скворцову. Катерине Александровне в эту минуту стало вполне ясно, что тут нельзя ничего поделать, так как приходилось или пожертвовать матерью или Скворцовой. Молодой девушке было тяжело и больно согласиться с матерью, что нельзя крыть чужую крышу, когда сквозь свою каплет. Но между тем приходилось поступить именно так. Впервые в этом молодом создании началась та роковая борьба чувства и рассудка, которая так часто губит молодые существа. Чувство говорило: «Иди и спасай ближних»; рассудок подсказывал: «едва ли ты спасешь их, сама же непременно погибнешь». Мучительное чувство сжимало сердце, пробуждало упреки совести за черствость, за холодность, а рассудок подыскивал оправдания, говорил, что, живя на кладбище, всех покойников не оплачешь, что надо прежде всего позаботиться о себе, завоевать ту силу, при которой возможна борьба. Катерине Александровне не нужно было быть героиней для того, чтобы бороться изо всех сил ради спасения Скворцовой, но ей нужно было выдержать страшную душевную борьбу для того, чтобы не вмешиваться в подобные истории в будущем и смотреть сквозь пальцы на подобные события, твердо решившись преследовать только одну цель — свое собственное спасение. Горячность и доброта являются почти постоянными качествами молодого здорового существа; напротив того, сдержанность и рассудочная холодность, эти атрибуты долголетней опытности,

усваиваются в молодые годы с величайшим трудом и почти всегда влекут за собой или полнейшую нравственную ломку или чисто физическое расстройство.

Когда Катерина Александровна впервые сделала уступку матери и отказалась взять к себе Скворцову, ей стало невыносимо тяжело и больно. Она не обвиняла мать; она сознавала, что мать права, но именно это сознание более всего заставило ее упасть духом. Этот случай как будто явился роковым приговором судьбы, гласившим, что отныне Катерина Александровна должна холодно глядеть на погибающих и думать только о том, как бы не погибнуть самой. Но где же найти запас такого хладнокровия, такой черствости, чтобы иметь возможность идти мимо утопающего и думать: «Тони, брат: мне нужно прежде о себе позаботиться!» Как приучить себя холодно смотреть, как давят человека, и говорить: «Ну, что ж... пусть его давят: ведь и меня тоже давят; так мне нужно прежде свое горло освободить». Поступать так было тем труднее, что молодость, вечно смелая и надеющаяся ради своей неопытности и веры в свои силы, утешала себя тем, что «все можно уладить как-нибудь», «авось удастся и других спасти, и самой выйти победительницей из борьбы», «волка бояться, так и в лес не ходить». Эти неопределенные, не подкрепленные никакими практическими соображениями надежды на авось, на как-нибудь могли быть разбиты только беспощадными доводами опытности; но подобной опытности не было и не могло быть у Катерины Александровны. Молодой девушке приходилось увлекаться, наэлектризовываться своими светлыми надеждами, а потом мало-помалу вырывать их с болью из своей головы под влиянием убеждений более опытных людей или под влиянием горькой деятельности. Участь Катерины Александровны походила на участь слишком рано вынесенного на воздух нежного растения. Оно приготовляет почку за почкою, но ночные заморозки и холодные утренники губят эти почки. Оно собирает новые силы и снова приготовляет почки, а те же внешние враги губят их, как и прежде. Наконец, силы растения уже начинают истощаться и его враги губят уже не одни его почки, но и его самого: оно хиреет и начинает увядать. Так идет эта борьба между внешними обстоятельствами и естественными проявлениями жизненной силы и, смотря на это бедное созданьице, вы невольно задумаетесь над тем, перенесет ли оно это тяжелое для него время, дождется ли теплых, живительных дней лета

или греющие лучи летнего солнца озарят окончательно засохший стебель?..

Летние свободные дни Катерина Александровна проводила почти постоянно в обществе братьев и штабс-капитана. Она присутствовала на уроках Антона, смотрела, как штабс-капитан поверял ошибки в тетрадях мальчика, слушала, как он объяснял мальчугану арифметику, как переводил с учеником легкие французские и немецкие фразы. Иногда она со вздохом замечала, рассматривая какую-нибудь тетрадь:

— А я до сих пор и не знала, что слово «звезда» пишется через ѣ! А тоже маленьких детей учу! Хорошо они будут знать грамоту!

Порой она слушала, как штабс-капитан диктовал Антону несложную задачу и с нетерпением ждала, как решит ее братишка.

— Вот какой ты молодец,— говорила она, когда задача выходила удачно,— а я и сообразить бы не могла, как ее сделать.

— Ну, подумали бы — сделали бы! — замечал штабс-капитан.

— Уж как ни думай, а не сделаешь того, чего не знаешь,— вздыхала Катерина Александровна.

— Погоди, я тебя научу,— ободрял ее Антон.

Катерина Александровна впадала в раздумье.

— Удивляюсь я, как это люди сами подготовляют гибель для своих ближних,— задумчиво произнесла она как бы про себя, присутствуя однажды на уроке брата.

— Вы это о чем, моя милейшая фея? — спросил штабс-капитан.

— Да вот хоть бы о своей судьбе,— отвечала Катерина Александровна.— Училась я в школе, где не научили ничему, ни грамоте, ни арифметике, ни истории — ничему. К чему же нас готовили? Горничными быть или швеями? Но ведь они знали, что в горничные трудно попасть благородной, дочери чиновника, а шитьем жить нельзя, особенно если не обучалась в магазине. Работая у себя дома, не найдешь много работы: кто станет отдавать нищей хорошую работу; а в магазине не возьмут — там свои ученицы, свои мастерицы из простых... Для чего же, значит, тратили они деньги на нашу школу? Для чего морили нас несколько лет? Для того, чтобы мы погибли?

— Ну, они ведь не изверги какие-нибудь! — промолвил штабс-капитан.— Просто от безделья устроили шко-

лу, не рассуждая, для чего она нужна и какая в ней польза... Впрочем, если бы и рассуждать стали, так лучше не вышло бы. Ведь вы вон ни по-французски не говорите, ни географии не знаете, ни истории не обучались, а спроси вас, что вам нужно, чтобы заработать хлеб — вы скажете. А они все науки изучат, а все-таки не поймут вот хоть бы того, что, научившись шить белье в их школе, вы все-таки будете без хлеба... И если скажут им, что вы сидите без хлеба, так они заметят: «Верно, ленива, оттого и без хлеба сидит, со здоровыми руками от голоду не умирают; работы на всех хватит». Вот вы тут и объясняйте им, что в городе есть тысячи магазинов, то есть школ, где обучают специально шитью, и что нерасчетливо при таком множестве специальных швейных школ устраивать еще школы, где ничему не научат, кроме шитья, да и то далеко не так хорошо, как в магазинах... Они не умеют даже сообразить, какой сумбур вышел бы, если бы, например, всех мальчиков стали обучать портняжному искусству. Ведь портных вышло бы больше, чем заказчиков...

Штабс-капитан еще долго распространялся в этом же духе, а в голове Катерины Александровны уже давно бродили новые мысли, новые планы. Эти мысли, эти планы десятки раз воскресали в ее голове; иногда она стыдливо краснела, поддаваясь им; порой она печально решала, что это «одни мечты»; подчас ей казалось, что слишком поздно пришли ей в голову эти мысли и представилась возможность для их исполнения.

— А что, если бы я начала учиться? — тихо произнесла она, глядя куда-то в сторону и краснея, как человек, подозревающий, что он высказывает ребяческую мысль.

— Ну что ж, и учились бы! — шутливо ответил штабс-капитан.

— Я не шучу, Флегонт Матвеевич,— уже более смело промолвила Катерина Александровна.

— И я не шучу, Катерина Александровна,— ответил старик.

— Нет, вы шутите! — улыбнулась она.— Я спрашиваю, выйдет ли из этого что-нибудь, не поздно ли начинать...

— Учиться никогда не поздно! — серьезно отвечал старик прописной истиной.— Выйдет ли что-нибудь из

этого — это покажет время. А вот вы-то скажите, откуда вы время возьмете на ученье?

— О, об этом нечего думать! Захочу — найду время.

— Ну, так за чем же дело стало? Помолитесь Козьме и Дамиану, да и за книжку,— пошутил старик.— Учителей будет много. Я буду инспектором, мои воины репетиторами, а гимназические учителя станут давать вам бесплатные уроки...

— Гимназические учителя! — изумилась Катерина Александровна.

— Ну да, они объяснять будут не прямо вам, а станут через Антона задавать уроки.

Катерина Александровна усмехнулась.

— Этак семь лет придется учиться!

— А вы в годик думали? Скоро-то бывает не споро.

Этот, по-видимому, шутливый разговор имел для Катерины Александровны очень серьезное значение. Она уже давно рвалась хотя немного образовать себя. Она еще не сознавала, какую материальную пользу извлечет она из учения, но ее привлекало к учению уже одно желание не быть «глупой», как она говорила о себе; ей было «интересно узнать то, что знают другие». Правда, иногда молодость рисовала в ее воображении заманчивые картины будущего; ей казалось, что она «научится всем наукам» и сделается умной, как все «образованные», что потом она может выйти из приюта и «сделаться учительницей», что, наконец, «ей не стыдно будет перед людьми за свою необразованность». Эти молодые грезы вызывали на ее щеки яркий румянец и волновали ее кровь до тех пор, покуда их не отравлял какой-нибудь мелкий неприятный факт ее будничной жизни, навевавший сомнения в успехе, в осуществимости всех этих грез. Тогда ей думалось: «Уж где нам, голодным, сделаться учеными! Хорошо и то, если и так поучусь чему-нибудь, чтобы детей в приюте учить. Умным тот может быть, кто с детства учился, а мне уж двадцать лет скоро будет».

Несмотря на ничтожность цели, которой думала достигнуть молодая девушка, она не отказывалась от своего плана и уже прежде поступления Антона в гимназию принялась за ученье. Как человек, никогда не выезжавший из своего родного города и не учившийся географии, не может ясно представить себе объема земли, так Катерина Александровна, едва знавшая русскую грамоту и кое-какие отрывки истории и географии, не могла воо-

бразить, как велик, как бесконечен тот путь, на который она вступала. Это отчасти послужило к ее счастью, так как в противном случае она испугалась бы трудности принимаемого на себя подвига и, может быть, отказалась бы от своего плана. Теперь же она смело пошла на избранный путь. Это была смелость неопытности. Ее уроки шли довольно оригинально. Она, сидя за шитьем, внимательно слушала, как Антон читал ей первые арифметические понятия и правила, как он передавал ей первые параграфы грамматики или говорил, как называется по-французски и по-немецки отец, мать, сын, дочь и т. д. Ложась в постель, не принимаясь несколько времени после обеда за работу, сидя за утренним чаем, молодая девушка не оставляла учебников. Она дорожила ими, как дитя новой игрушкой. Каждый человек, которому по воле случая приходилось начинать ученье не в годы детства, а на шестнадцатом или на девятнадцатом году жизни, знает, как дорог и как сладок каждый новый шаг, сделанный по этому пути. Затвердив какое-нибудь грамматическое правило, разрешив какую-нибудь арифметическую задачу, уже мечтаешь, что ты бог знает как далеко ушел вперед и что остается очень немного шагов для достижения цели, то есть до изучения всей той мудрости, которая доступна людям. Ни один ребенок не может так сильно радоваться своим успехам в учении, как взрослый человек; взрослый в этом случае становится более ребенком, чем сам ребенок. А первые трудности ученья? Ребенок иногда падает духом, встречая их на своем пути, или с детским легкомыслием обходит их, не преодолев их и не помышляя о том, что эти трудности явятся перед ним когда-нибудь снова и послужат тормозами при усвоении высших положений науки. Взрослого же эти трудности только сильнее побуждают к борьбе; они как бы дразнят его самолюбие; он не может успокоиться, не победив их; он хватается именно за них, как за самую суть знания. Только тот поймет все эти молодые восторги по поводу побежденных трудностей учения, кто сам прошел эту скорбную школу самоучки. Если бы в эти дни на Катерину Александровну посмотрел посторонний человек,— не простодушная Марья Дмитриевна, не любящий Антон, не добряк Прохоров, а совершенно чужой человек,— то он, наверное, улыбнулся бы насмешливой и даже презрительной улыбкой, слыша, как эта девушка, молодая, страстная и полная жизни, горячо толкует о грамматике, об арифметике и тому подоб-

ных предметах, точно в этих сухих предметах для нее заключаются все ее стремления, вся суть жизни. Он улыбнулся бы еще насмешливее, услышав, что она самодовольно говорит:

— А я очень способна к арифметике: я теперь вполне знаю первые четыре правила; мне они совсем ясны! Я наверное выучу всю арифметику! У нас в школе, бывало, ничего не объясняли; ставишь, бывало, какие-то цифры, а зачем — и сама не знаешь. А теперь вот я все это понимаю!

Эти слова сочлись бы за самохвальство и даже за глупость; ведь хвалить себя вообще считается глупым, а хвалить себя за то, за что не считает возможным хвалить себя даже ребенок, еще глупее. Но как бы ни взглянули на это дело посторонние люди, а Катерина Александровна все-таки увлекалась именно этими сухими предметами и хвалила себя за эти мелкие, ничтожные успехи. Она была такой же самоучкой, как и все самоучки.

Но, отдавшись всецело своим новым стремлениям, восхищаясь своими успехами, она не замечала главного: она не вполне понимала, что именно эти занятия спасли ее от того тревожного состояния, которое пробудилось в ней после последней истории с Наташей. Она была весела, бодра; она сделалась спокойнее, легче смотрела на мелкие приютские неприятности, точно она за эти дни поднялась на недосягаемую высоту над этим болотом, где копошились разные гады вроде Зубовой и Постниковой. Их сплетни, их колкости, делавшиеся все более и более сильными вследствие ее сближения с Зориной, казались ей крайне мелкими и не отняли ни одной минуты у ее занятий, не помешали ей при решении какой-нибудь задачи. Те светлые планы, которые она называла прежде мечтами, снова зароились в ее голове, и она уже не старалась гнать их от себя, не стыдилась их, как глупых сновидений, но лелеяла их, развивала, старалась сделать их все более и более осуществимыми.

Лето неслось быстро, прошли вакации в приюте, наступил экзамен для Антона в гимназии, возвратились и кадеты из лагеря. Оба сына Флегонта Матвеевича были на несколько дней отпущены домой. Они уже давно ожидали этих торжественных дней, чтобы отдохнуть от летних маршировок, учений и маневров, чтобы снова побыть под крылом своего заботливого отца, чтобы наглядеться на свою любимицу, Катерину Александровну. Встреча мо-

лодых людей с Катериной Александровной была самая дружеская, искренняя. Молодые люди, несмотря на свою неопытность, несмотря на свою недальновидность, подметили что-то новое в Прилежаевой. Она, казалось, расцвела и похорошела еще более за последнее время. Ее черные глаза сверкали жизнью; на ее щеках вспыхивал горячий румянец.

— Ну, как вы лето проводили? — спрашивали ее братья, пожимая и целуя ей руки.

— Ничего, хорошо! — весело отвечала Катерина Александровна.— Я вот учиться начала. Не одним же вам быть учеными!

— Чему же вы учиться будете? — с любопытством спросил Александр Прохоров; он выглядел необычайно степенно и серьезно.

— Да всему. Разве я знаю, какие науки есть? Чему брата будут учить, тому и я буду учиться.

— Это хорошее дело вы надумали,— серьезно заметил он.

— Соскучитесь! — засмеялся брат Иван.

— Отчего соскучусь? Вы же учитесь?

— Ну так разве мы по своей охоте учимся! Я, кажется, на тысячу кусочков разорву всякие тактики и фортификации, когда выйду в офицеры.

— Да разве Катерина Александровна будет этому учиться? — заметил Александр Прохоров, пожимая плечами.

— А что это за наука: тактика? — полюбопытствовала Катерина Александровна.

Иван Прохоров залпом произнес вызубренное определение тактики.

— А форн...— начала Катерина Александровна и засмеялась.— Вот я даже и назвать не умею этой науки. Сейчас же забыла, как вы сказали.

— Фортификация,— подсказал брат Александр.

— Ну да, форти-фи-кация,— с усилием повторила Катерина Александровна.

Иван Прохоров отчетливо произнес определение науки.

— Ну, я действительно тоже не стала бы учить таких наук. Да мне они и не нужны. Я ведь воевать не пойду.

— Да, вам хорошо. А вот нам, кажется, придется идти прямо под пули,— заметил старший Прохоров.

Катерина Александровна вздрогнула.

— Ну-у! — как-то недоверчиво произнесла она.

— Право! Говорят, что будущей весной даже усиленный выпуск будет ради войны.

Штабс-капитан нахмурил брови.

— Мало ли что болтают ваши мальчишки! — пробормотал он.— До весны еще далеко: может быть, все до тех пор кончится. Из-за пустяка началось, пустяком и кончится!.. Выдумали тоже мальчишки... Усиленный выпуск... под пули...

Старик взволновался.

— Что ж тут невероятного? Все может быть. Пошли в военные, так от войны не приходится отказываться,— заметил младший Прохоров.— Мы не бабы!

— Да разве я тебе говорю, что отказываться надо? — произнес старик.— Только глупости у вас болтают кадетишки: какие вы служаки, когда еще ничего не знаете. Что толку-то было бы в вас, хоть бы десять усиленных выпусков сделали? Вы думаете, что войску такие комары нужны? По-вашему, пожалуй, и грудные младенцы войску нужны? И какие бы вы были офицеры? Со школьной скамьи, с плац-парада, не зная ни солдат, ни службы, не привыкнув к дальним походам, к лишениям военной жизни, вы только путались бы между ног у солдат, сбивали бы их с толку да падали бы, как мухи осенью... А туда же толкуете: усиленный выпуск, под пули... Прежде рассуждать научились бы...

Старик не на шутку рассердился на слова сыновей.

— Да ведь это не мы, папа, выдумали. Товарищи толкуют,— заметил старший сын.

— Ну, и пусть их толкуют, типун бы им на язык, а вы не повторяйте! — промолвил штабс-капитан.— Вы думаете, это так легко слышать отцу: под пули!

— Да ведь ты, отец, я думаю, очень хорошо знал, что не для одной мирной маршировки отдаешь нас в военную службу,— серьезно и несколько резко заметил старший сын Прохорова.

— Да, знал и теперь знаю, что вы отданы в военную службу и для того, чтобы маршировать, и для того, чтобы воевать. Но ни я, ни кто-нибудь другой, кроме каких-нибудь молокососов, ветрогонов, болванов, не станет утверждать, что я вас отдал или что вас взяли для того, чтобы подставить под пули. Для этого и деревяшки можно взять, для этого и картонные куклы годятся...

Штабс-капитан зашагал по комнате. В выражении его

лица было что-то болезненное, он как будто осунулся. Сыновья с удивлением глядели на его тревогу. В сердце старшего сына Флегонта Матвеевича шевельнулось глубокое, честное чувство уважения и любви к отцу, не той безотчетной любви, которой обыкновенно любят дети добрых отцов, а той разумной любви, которую мы чувствуем и к посторонним честным и добрым людям.

В комнате воцарилось молчание. Катерина Александровна впала в тяжелое раздумье, ей было жаль старика, волновавшегося от первой вести о том, что ему придется, быть может, проститься с сыновьями.

— Ваш отец очень огорчился,— заметила она старшему сыну штабс-капитана, когда старик вышел из комнаты.

— Да ведь и нам нелегко было бы бросить его,— ответил задумчиво старший Прохоров.— Но делать нечего, мы должны кончить курс нынче. Я охотно поучился бы еще или отказался бы от военной службы ради отца. Ему пора бы успокоиться; ему нужна поддержка, а из жалованья армейского офицера немного можно уделить... Да и самая разлука с нами будет тяжела для него...

— Это неизбежно! Не расстанемся через год, придется расстаться через два,— заметил младший брат.— Теперь по крайней мере отличиться можно. Не заржавеем в глуши; может быть, сразу шагнем далеко вперед...

— А, может быть, уйдем так далеко, что и вернуться будет нельзя,— проговорил старший.— Нет, я охотно бы остался здесь... Вот если бы в доктора можно идти...

— Это он трусит, Катерина Александровна,— засмеялся младший брат.— Его все товарищи трусом прозвали в нынешнее лето...

Катерина Александровна посмотрела на Александра Прохорова вопросительным взглядом. Ее удивили слова Ивана Прохорова.

— Разве вы точно трусите? — как-то несмело спросила она.

— Да, трушу,— хладнокровно ответил он.

— Ему бы только штафиркой быть! — шумно засмеялся брат Иван.— Он, я думаю, целый век будет ругаться да охать, если ему на войне оторвут руку или ногу.

— Еще бы! — невозмутимо ответил брат Александр.

Катерина Александровна смотрела на здоровяка кадета с возрастающим удивлением. До сих пор она считала его, так же, как и его брата, силачом, смельчаком, «голо-

ворезом», как называл его Флегонт Матвеевич; теперь же ей было странно слышать его хладнокровное признание в трусости и малодушии.

— А я вас таким храбрецом считала,— проговорила она, обращаясь к старшему Прохорову.

— Да я ведь и не говорю, что я трус,— ответил он.— Это вон они, мальчоночки, выдумали. Им, видите ли, поскорей мундирчики офицерские надеть хочется да подраться тоже желательно; вот они и шумят о войне. Ваня уже практикуется, расписываясь прапорщиком Прохоровым. Мальчуган еще! У нас нынче в лагерях только и разговоров было что о войне; на все лады обсудили, кто до какого чина дойдет...

— Ну да, а он, старичок, только о том и печалится, что у него ручку или ножку оторвать могут,— заметил брат Иван с петушиным задором.

Александр Прохоров выглядел по-прежнему добродушно и спокойно и, ничего не возражая брату, обратился к Катерине Александровне.

— Просто дрожь пробирает, как подумаешь, что, может быть, в первый же год службы придется остаться калекой, подобно отцу,— задушевным тоном заговорил он.— Ни на какое дело не способен; ничего не знаешь кроме военных наук и вдруг останешься без руки или без ноги и без куска хлеба. Право, я пулю бы пустил себе в лоб, если бы это случилось.

— Струсишь! — вызывающим смехом засмеялся брат Иван.

Александр Прохоров не обратил ни малейшего внимания на замечание брата и продолжал тем же откровенным, спокойным тоном:

— Я, право, не знаю, как перенес отец свое положение...

— Отец не был таким трусом, как ты,— резко вставил свое слово брат Иван.

— Он мне с Ваней никогда не говорил, но я знаю, что ему приходилось выносить тысячи унижений из-за каждого куска хлеба... До нынешнего лета я очень редко думал об этом... А вот теперь все эти толки о войне заставили призадуматься серьезно. Видно, своя рубашка к телу ближе. Покуда он терпел, нам и горя мало было, а теперь, как увидел я, что и самому, может быть, придется так жить, то просто дух захватило. Терпел, терпел он, и вдруг придется еще не только за себя страдать, а и кормить

калеку сына... Нет, уж до этого я не доведу дела. Лучше пусть он поплачет один раз о том, что я умер, чем медленно будет страдать, глядя на не годного ни на что дармоеда...

В словах Александра Прохорова звучали совершенно новые ноты: это уже был не прежний мальчик, беззаботно ухаживавший за Катериной Александровной, это уже был не прежний добродушный толстяк кадет, по-видимому, нисколько не заботившийся о будущем. Во всем складе его ума произошла заметная перемена. Юношеские толки о начинавшейся войне впервые заставили его серьезно взглянуть в будущее. Его брат и некоторые юные товарищи исполнились воинственного пыла и толковали об отличиях и победах; но среди этих страстных толков некоторым юношам приходила иногда в голову и мысль о ранах, о лишениях, которые придется вынести в военное время. Эта мысль остановила на себе внимание и Александра Прохорова, и у него невольно возникли вопросы: что будет, если он, подобно своему отцу, на первых же порах останется без ноги или без руки? За что нужно будет приняться в этом случае, куда идти, каким образом добывать хлеб? Юноша перебирал все роды известной ему деятельности и пришел к заключению, что он не способен ни к какому роду занятий, что у него нет никакой подготовки, никаких знаний, кроме запаса сведений по части военного искусства. Тогдашнее корпусное образование действительно не походило на образование современных нам военных гимназий и не давало почти никакого общего образования, сосредоточиваясь исключительно на специальных военных науках. До сих пор недостаток знаний не замечался Александром Прохоровым; теперь же он ярко бил в глаза юноше и вызывал горькое сознание того печального положения, в котором придется ему остаться, если не будет возможности продолжать военную службу. Юноша, со свойственными ему откровенностью и прямотою, высказал товарищам свои тревожные мысли и вызвал бесконечные споры. Большинство горячих мальчуганов назвало Прохорова трусом и глумилось над тем, что он готовится к войне с мыслью о ранах, а не с мыслью о победах.

— Идет сражаться, а думает только о том, как его самого поколотят! — кричали они со смехом.

— О чем же больше и думать? — серьезно возражал Александр Прохоров.— О том, что я поколочу других, нечего думать, так как в этом будет вся моя цель. Пригото-

виться же нужно только к тому, что надо будет делать, если не удастся поколотить других.

— Ну, брат, тебе не военным бы быть, а штафиркой,— кричали задорные герои.

— То-то и худо, что ни вы, ни я не можем служить в гражданской службе,— спокойно замечал Александр Прохоров.— В гражданской службе одними носками ничего не возьмешь; там нужно, чтобы и в голове что-нибудь было.

— Еще бы! Чтобы быть хапугой, нужно также уменье?

— Да ведь для того, чтобы грабить, не нужно быть непременно статским.

— Ишь, как своих-то отстаивает! Ах ты философ!

Но среди этих расхрабрившихся птенцов нашлись немногие, которые перешли на сторону Александра Прохорова и вместе с ним обсуждали интересовавшие их вопросы. В несколько недель они передумали гораздо больше, чем в несколько лет предшествовавшей корпусной жизни. И не мудрено: события общественной жизни впервые задели их существенные личные интересы. В их умах уже бродило не одно довольно смутное чувство неудовольствия на мелкие будничные неприятности, но явилось отчетливое и резкое негодование на весь склад их жизни, на все ее направление. Юношество разделилось на кружки, спорило, шумело, волновалось, а несколько юных практиков уже кропáли тайком воинственные стишки. Особенно удачным должно было выйти одно стихотворение, начинавшееся следующей картиной:

Заря пылает на востоке,
День разгоняет мрак глубокий.
И скоро, скоро крест святой
Надломит рог луны златой.

Среди этих волнений, споров и тревог молодежь шла ощупью к уяснению тех или других идей. Литература молчала или тоже изредка толковала о том, что

...Скоро, скоро крест святой
Надломит рог луны златой,—

и далее этого не заходила. Тщетно стал бы искать в ней тогда какой-нибудь Александр Прохоров указания на то, что ему делать, если крест святой не сломит рога златой луны.

Но если она не отвечала на его вопросы, вызванные не одними его личными интересами, но интересами сотен лю-

дей, стоявших в таком же ожидании развязки, как и он, то еще менее склонности замечалось в обществе к разрешению таких смутных для самой спрашивавшей вопросов, как вопросы Катерины Александровны, задававшейся мыслью: как ей выбиться из нужды, как дойти до лучшего положения? Общество предлагало ей шить, служить в приюте, выйти замуж, не спрашивая ее, может ли она прожить шитьем, может ли она считать верным место в приюте, хочет ли она идти замуж. Таким образом, и тут приходилось идти ощупью, не зная, куда приведет избранный путь и достанет ли сил идти по этому пути без указаний, без поддержки.

II
ТРЕВОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

Общественные события, по-видимому, очень отдаленные от маленького мира наших героев, не прошли для него даром и внесли нечто новое в его однообразную жизнь. Вести о войне волновали и его, как они волновали весь Петербург и всю Россию.

Флегонт Матвеевич в последнее время стал пристально следить за газетами и интересовался известиями о военных событиях. Так как в то время еще не существовало розничной продажи отдельных нумеров газет, то старый воин довольно аккуратно два раза в неделю относил свою дань ближайшему трактиру за право выпить стакан «брандахлысту», как называл штабс-капитан трактирный чай, и за возможность почитать «Ведомости». Старик так часто и так пространно рассуждал о военных действиях, что наконец в скромной квартире Прилежаевых чаще всего стали слышаться имена разных героев и главнокомандующих, как будто эти люди были здесь своими людьми. Некоторые из них стали не только любимцами, но даже предметами гордости семейного кружка; другие же, напротив того, вызывали очень строгие замечания и выговоры со стороны отставного служаки, который как-то выразился про одного сплоховавшего генерала: «Ну, осрамил! На весь мир осрамил нас!»

Впрочем, в рассуждениях старого инвалида о войне не было ничего необыкновенного, тем более что его интересовала война даже не просто как бывшего военного, но и как отца будущих офицеров. Гораздо более странным могло показаться то обстоятельство, что война заинтересовала и

такую живущую своими узенькими интересами миролюбивую личность, как Марья Дмитриевна. Однако случилось именно так. Марья Дмитриевна вся погрузилась в глубокие соображения о том, «кто кого поколотит», «возьмут ли француз и англичанин Петербург или опять в Москву пойдут с двунадесятью языками», «разобьют ли поганого турка» и «утрут ли нос австрияку за то, что он нам гадит подвохами». Марья Дмитриевна выказала даже необыкновенное жестокосердие, говоря, что, кажется, «если бы ей этот самый француз попался, так она бы ему, голоштанному, своими руками глаза выцарапала, а этому турке поганому по волоску, по волоску всю бороду выщипала бы». Политические соображения Марьи Дмитриевны вообще оказались довольно своеобразными и получали свое направление большею частью из мелочной лавочки. Мелочная лавка, помещавшаяся под квартирой Прилежаевых, сделалась клубом для политиков подвалов, чердаков, углов и «комнат с мебелью». Здесь находились великие знатоки истории, утверждавшие, что Бонапарт, видимо, отогрелся после того, как его заморозили в Москве; некоторые утверждали, что это он злобу хочет сорвать за то, что его на острове царицы Елены с двенадцатого года на цепуре держали. Здесь находились такие мудрые географы, которые трусили, что враги уж в Черное море пришли и, значит, близко к Москве подходят. Опасения этих мудрецов встречались с иронией барскими лакеями и офицерскими денщиками, доподлинно знавшими, что теперь уже не старый Бонапарт колобродит, а молодой, и что Черное море от Москвы далеко, а подходит к Киеву. Сведения некоторых заходили так далеко, что они утверждали, будто бы Бонапарт в амбицию вломился за то, что наш царь с ним породниться не захотел, а написал ему: «Ты, любезный друг, управляйся как знаешь со своими голоштанными французами, а в мои хрестьянские дела не мешайся». Впрочем, несмотря на более или менее высокую степень образования и различие «политических убеждений», все ораторы сходились в одном том, что «мы всех шапками забросаем» и что «француз жидок». Марья Дмитриевна со свойственным ей смирением выслушивала всех и вздыхала, чуя что-то недоброе. Возвращаясь домой, она сообщала слышанное Флегонту Матвеевичу и кротко выслушивала его бесконечные замечания.

— А к нам-то, батюшка, думается, не придут? — боязливо спрашивала она каждый раз, наслушавшись рассуждений старого воина.

— Где же прийти! Теперь зима скоро,— успокаивал ее герой.

— Да, а вон они в Черном море высадились. Шутка ли! Пройдут в Белое, а тут и пустынь Валаамская недалеко...

— Эк вы хватили, почтеннейшая Марья Дмитриевна! К нам не придут теперь. Вот что будущее лето скажет... Впрочем, может быть, война до весны кончится...

— Ох, в раззор разорят, если придут,— вздыхала Марья Дмитриевна.— Вот говорят, что и служащих всех в Москву переведут... Что же я без Катюши-то стану делать?

— Ну, это все бабьи толки!

— Не попусти, господи,— вздыхала Марья Дмитриевна, поднимая глаза к образу и осеняясь крестным знамением.

Война сделалась настолько интересной для нее, что она иногда без всякой видимой надобности раз пять заходила в лавочный клуб «отвести душу» и послушать, «что люди-то говорят». Флегонт Матвеевич крепился некоторое время и не посещал клуба — так иногда завернет туда за «сигарками» или папиросами, перекинется двумя-тремя небрежными фразами с местными политиками и уйдет домой. Но наконец и он не выдержал. Марья Дмитриевна раза три принесла из клуба какие-то новости, еще не напечатанные в газетах и слышанные ею от денщиков из школы гвардейских подпрапорщиков. Она, конечно, не умела передать этих известий с точностью специалиста в военных делах и как дилетантка перепутала все слышанное. Это заставило Флегонта Матвеевича самолично спуститься в клуб и навести справки о новостях. С этого дня он стал все чаще и чаще посещать клуб и даже был единодушно избран без всякой баллотировки председателем этого клуба как человек, опытный в военном деле, как воин, дравшийся с туркою, как образованный барин. Заседания происходили в клубе обыкновенно в то время, когда в клубе получалась газета. Надо заметить, что клуб был очень небогат и потому получал только полицейскую газету, из которой, конечно, о войне трудно было что-нибудь узнать; но члены клуба очень часто приносили в него номера других газет, взятые украдкой с барских столов. Конечно, члены могли бы прочесть эти нумера дома, но, к счастию клуба, большинство из этих членов было или совсем безграмотно или читало так медленно, что могло прочесть нумер газеты не менее как в неделю, и то только в том случае, если не требовалось понимания прочитанного. Вследствие этих уважительных причин члены клуба несли газетные нумера

в клуб, кто-нибудь из их среды, сильный в грамоте, читал новости вслух. Довольно долго клуб находился в мучительном положении и даже можно было сомневаться в продолжении его существования. Дело в том, что грамотнее всех был один двенадцатилетний «казачок» статского генерала Киселева. Но казачок этот не всегда присутствовал в клубе и пребывал в нем недолго, жалуясь, что дома генерал дерет его за вихры за долгое пребывание в клубе; кроме того, он совершенно не умел отыскивать необходимые новости и начинал чтение с заголовка газеты, с объявления об ее цене, о том, что она выходит ежедневно, за исключением дней, следующих за ста двадцатью воскресными и праздничными днями, о месте подписки на нее, о плате за напечатание в ней объявлений. Иные члены клуба, прослушав два-три раза одно и то же, теряли терпение, махали рукой и уходили из клуба: «Заладили, мол, одно и то же, да ничего больше и не пишут». Но если одни негодовали на писателей за то, что они пишут все одно и то же, то другие потеряли уважение к самому юному председателю клуба и во всем обвиняли его. Кто-то из недовольных даже заметил ему:

— Ишь смотришь в книгу, а видишь фигу!

— Читай сам, если я не умею,— обидчиво огрызнулся юный председатель.

— Эко диво! Да кабы я читать-то умел, так уж почище тебя прочитал бы! — презрительно возразил недовольный член.

Появление штабс-капитана в клубе было великим событием. Он сразу завоевал уважение и полное доверие всех членов; ему даже не смели говорить «ты» и постоянно величали его «вашим благородием», так что в нем сейчас можно было узнать важное лицо. Чтобы не пребывать постоянно на своем председательском месте, штабс-капитан согласился устроить домашним способом телеграф: из спальной лавочника, находившейся под комнатой штабс-капитана, стучали в потолок кочергой, штабс-капитан стучал в пол деревяшкой, временно исполнявшей должность его ноги. Стук кочерги означал «газету принесли»; стук деревяшки означал «сейчас явлюсь». Штабс-капитан спускался в клуб, читал вслух газеты, пояснял, ораторствовал и руководил прениями клубистов. Кроме газетных новостей, в клуб заносились новости закулисные, не подлежащие сомнению известия, слышанные денщиками полковника и генерала, достоверные слухи о каком-то филине,

«не перед добром» залетевшем на какую-то крышу, о каком-то таинственном старце, явившемся кому-то с каким-то пророчеством, о каком-то орле, преследовавшем какую-то голубку, о каком-то небесном видении, представлявшем тьму тем идущих в облаках воинов, одним словом, достоверным и знаменательным рассказам не было конца в клубе. Председатель клуба в несколько недель сделался самой популярной личностью околотка, и даже содержатель клуба, то есть лавочник Трофимов, стал приглашать председателя к себе на пирог.

— Много вами довольны, ваше благородие,— говорил он.— Не побрезгайте нашим угощением.

Действительно, Трофимов мог быть доволен председателем, так как число клубистов значительно прибавилось в лавке после появления в ней штабс-капитана. Зато соседний трактир окончательно лишился одного посетителя и продавал в течение каждой недели чаю на два стакана меньше прежнего. Рыжевато-серая шинель штабс-капитана, его фуражка с пятнами табачного цвета, с потрескавшимся козырьком и потемневшею кокардой, его деревянная нога, его сизо-красный нос сделались чем-то родным для всех окрестных жителей, знавших, что под этими ветхими доспехами хранится неиссякаемый источник военной премудрости и ораторского красноречия. Даже Марья Дмитриевна, скромная Марья Дмитриевна, озарилась лучами славы своего жильца и сделалась известной под именем «хозяюшки капитана». Почти незнакомые ей люди раскланивались с нею и справлялись о здоровье капитана.

Война, как мы уже сказали, сильно возбудила толки и в среде кадет: эти толки еще более усилились при начале учебного года. Они уже происходили не между одними кадетами; в них принимали участие и дежурные офицеры, и учителя. Общественные события, волновавшие в равной степени все слои общества, начиная с каких-нибудь клубистов из мелочной лавочки Трофимова и кончая важными членами гиреевских и белокопытовских салонов, засевшими за щипанье корпии и изготовление бинтов,— эти общественные события послужили как к сближению разных сословий, так и к сближению отдельных личностей, стоявших на различных ступенях иерархической лестницы. Если штабс-капитан снизошел до мелочной лавочки, то не было ничего удивительного, что какой-нибудь батальонный командир Фитилькин снисходил до кружков выпускных

кадет и, трепля по плечу какого-нибудь бравого юношу, густым басом говорил:

— Готовься, готовься, брат, к бранному полю!

Прежние натянутые и угловатые отношения между кадетами и начальством стали быстро получать интимный характер, обыкновенно царствующий между членами одной семьи. В обращении офицеров с выпускными кадетами было даже что-то заискивающее, что-то слишком снисходительное. Так обыкновенно относятся старшие члены семьи к последним проказам юноши, идущего в трудный поход, готовящегося к мучительной разлуке с родным гнездом, обреченного, быть может, на смерть. Так относятся тюремщики к арестантам накануне их казни. Учителя тоже стали снисходительнее к старшим воспитанникам, а учитель артиллерии, ставя однажды семь ничего не знающему ученику, шутливо заметил:

— Ну, уж так и быть, семерку вам поставлю. Летом под свист ядер поймете все, чего из лекций не поняли.

В среде самих учителей уже начали в это время более резко выступать вперед не совсем бесцветные, не совсем бессловесные личности. События дня, вызвавшие толки об общественных вопросах, показали каждому, что у него есть какие-то другие интересы, кроме его семейных именинных пирогов и жениных объятий, кроме входящих и исходящих бумаг, кроме раз навсегда установленных форм и программ, кроме отбывания службы и сведения итогов в его приходо-расходных книгах. Под влиянием этих событий начал вырисовываться, если можно так выразиться, гражданский характер отдельных личностей: один говорил, что мы всех шапками закидаем,— это был гражданин-патриот; другой толковал, что мы во всем отстали от Европы,— это был гражданин-западник; третий многословно толковал, что русский народ велик смирением и глубокой верой, которая поможет ему одержать верх над гнилым Западом и даже в тяжелую годину испытания не дойти до того растления нравов, до которого дошел Запад,— это был гражданин-славянофил. Все эти черты гражданского характера уже начинали все ярче и ярче обрисовываться среди толков об общественных событиях, хотя еще и не могли достаточно резко отразиться в литературе. Но среди разных гражданских характеров всех этих помещиков, чиновников и образованных пролетариев чаще всего появлялся характер недовольного и потому либеральничающего гражданина. Недовольный либерал первой

половины пятидесятых годов — годов, следовавших за временем глубокого сна,— имел совершенно особый характер. Тогдашний либерал был недоволен всем, хотя иногда казалось, что он ничем не недоволен. Дело в том, что он своим образом жизни ничем не отличался от самых крайних ретроградов и не смущал их какими-нибудь противными помещичьим, чиновническим и вообще светским традициям выходками. Кроме того, он был крайне сдержан даже в речах и совершенно чужд той экспансивности, которой отличались либералы конца пятидесятых годов. Он больше хмурился, чем жаловался; он чаще говорил с насмешливым пожиманием плечами, с горькой улыбочкой: «Помилуйте, у нас все так отлично идет!» — чем решался обличить не только квартального надзирателя, но просто какого-нибудь будочника. Патриоты и ретрограды недаром говорили про него, что он просто сердит на дождь и на свое дурное пищеварение. Некоторые шутники из них даже говорили, что стоит одного из подобных либералов переселить из дождливого и способствующего желудочным катарам Петербурга в какое-нибудь другое, более благорастворенное место, и он тотчас же превратится в гражданина маниловца, то есть полюбит более всего супружеские наслаждения, халат, надетый на нижнее белье, сельскую идиллию с тысячью душ оброчных крестьян и, pour la bonne bouche[1], после сладкого сна под разнеживающими лучами солнца, вдали от взоров супруги, где-нибудь в кустах на берегу родной речонки легкие шалости с молоденькими крепостными пейзанками. Мы думаем, что ретрограды и патриоты были правы только отчасти, что характер либерала был более прочного закала, что недовольство его было не так беспредметно, что Петербург если и был причиной этого недовольства, то никак не вследствие одного климата. Подобные либералы стали встречаться и между корпусными учителями. В числе их особенно выдавались учитель математики Левашов и учитель химии Медников. Первый из них, дюжий артиллерист с рыжими большими усами, со здоровым голосом, с размашистыми манерами, был знатоком физико-математических наук и владел обширным запасом знаний по самым разнообразным предметам. При первом взгляде на него в нем можно было узнать барина в полном смысле этого слова; его развязность и ловкость говорили об его привычке вращаться в дамском кру-

[1] на закуску *(фр.)*.

гу; его разговор блестел остроумием, напоминавшем остроумие салонных ораторов; он пересыпал свою речь ссылками на различных писателей, и эти ссылки обличали, что он знаком так же хорошо с романами Дюма, как с произведениями Декарта, с повестями Бокаччио, как с творениями Лейбница. Он был страстным поклонником энциклопедистов и преклонялся перед женщинами, приписывая им громадную долю влияния на исторические события. Иногда, слушая его, можно было подумать, что он не пропустил ни одной среды, не пообедав у сдержанной и холодной эгоистки мадам Жофрен, что он ежедневно заходил между пятью и девятью часами к небогатой, но радушной мадемуазель Леспинас, чтобы отдохнуть от всяких стеснений в домашнем кругу энциклопедистов, что он познакомился с мадам Ролан еще тогда, когда она, вполне неизвестная, с оружием в руке, шла 30 мая 1790 года с толпою лионцев к храму Согласия, и потом не разлучался с нею вплоть до той минуты, когда покрытая славой повелительница Жиронды стояла в белой одежде, с распущенными черными волосами на подмостках эшафота и говорила своему спутнику Ламаршу: «Идите первым, у вас не хватит духа видеть мою казнь». Преподавая геометрию, Левашов рассыпал целый ряд беглых замечаний о жизни и идеях Эвклида, Пифагора, Платона, Кеплера, Декарта, Паскаля, Ньютона, Лейбница, Лагранжа, Монжа и тому подобных личностей. Эти замечания делались à propos[1], по-видимому, небрежно, но они не могли не заронить в головы молодежи массы некоторых сведений, которых эта молодежь не могла почерпнуть в сухих лекциях истории.

— Говоря о начертательной геометрии, мы не можем не отдать должной справедливости Монжу,— говорил своим шумным голосом Левашов.— Вы, вероятно, не слыхали еще этого имени на целомудренных лекциях истории. Монж был сын бедного купца и воспитывался в лионской коллегии. На девятнадцатом году он уже был профессором математики и потом физики. Это было в то время, когда во Франции душили всякую мысль, когда даже ученые трактаты сжигались рукой палача. Люди, преданные знанию, стремящиеся к истине, не выносят подобного гнета. Конечно, силой можно заставить Галилея стоять два дня на коленях в застенках инквизиции, но нельзя заставить его отречься от той истины, за которую он стоит. Монж не вы-

[1] кстати *(фр.)*.

держал гнета и пристал, как большинство его собратьев по развитию, к революционной партии. С 10 августа 1790 года он уже был морским министром и подписал смертный приговор старому порядку...

Таким образом, лекции математики были иллюстрированы историческими эскизами, и иллюстрации занимали юношей гораздо более, чем самый текст.

Точно то же случилось с лекциями Медникова. Медников был угрюмый, черноволосый, несколько желчный господин. Про него сложились в корпусе целые легенды. Одни рассказывали, что он был до того рассеян, что однажды ошибся этажом, вошел в чужую квартиру, снял сюртук и жилет и стал кричать, что ему не подают обедать. Другие выдавали за достоверный факт, что он делает опыты влияния кислот на человеческую кожу на руках своего старого слуги, равнодушно выносящего эти пытки. Третьи утверждали, что Медников любит выпить в компании, но, не имея знакомых, пьет обыкновенно в компании того же старого слуги и дворника. Появиться на урок с нечесаной головой, в выпачканном платье, забыть дома носовой платок или галстук — все это было самым обыкновенным делом для Медникова. На его лице редко появлялась улыбка. Говорил он грубо; резко обрывал каждого, кто плохо отвечал урок. Но баллы ставил он хорошие — не ставил ниже 7, хотя редко ставил 12. Лекции он читал в лаборатории своим сиповатым, отрывистым тоном и постоянно хмурился, когда вокруг него раздавались взрывы хохота. А между тем удерживаться от смеха не всегда было возможно. Дело в том, что объяснения Медникова постоянно сопровождались самыми курьезными сравнениями и примерами.

— Мы постоянно выделяем угольную кислоту,— отрывисто говорил Медников, сильно напирая на букву *о*.— Это воздух портит. Вентиляторы нужно устраивать для того, чтобы это наше произведение нас же самих не убило. Ну, где экономов нет, там вентиляторы и устроены.

В лаборатории раздавался смех, а Медников хладнокровно продолжал лекцию.

— Азот необходим для питания и потому следует есть свежее мясо,— замечал он в другой раз.— Протухлое тоже пользу приносит, только не тем, кто его ест, а тем, кому поручено его закупать.

Подобным намекам не было конца. К Медникову и Левашову присоединилась еще третья личность — учитель

русской словесности Старцев. Жиденький, заботливо выбритый, гладко причесанный, плотно обтянутый в форменный вицмундирчик с болтающимися фалдочками, вечно улыбающийся не то сладкой, не то ехидной улыбочкой, Старцев составлял резкую противоположность с размашистым колоссом Левашевым и с косматым медведем Медниковым. Но, несмотря на противоположность личных характеров, эти люди были братья по своему гражданскому характеру и потому сблизились между собой: рыбак рыбака видит в плесе издалека. Все они были недовольные, все они с иронией относились к существовавшему порядку дел, все они были безукоризненно честные люди; зная все это, нисколько не удивишься, встретив эти три совершенно различные физиономии снятыми на одном портрете в кружке кадет. Эта группа, из которой были исключены все остальные учителя и начальство, долженствовала иметь значение протеста. Подобные протесты были в духе либерализма того времени. Кадеты любили этих трех человек. Их либерализм теперь, быть может, покажется или смешным, или жалким, так как он ограничивался одними едкими насмешками, колкими замечаниями, прозрачными анекдотами, тонкими намеками и не давал слушателям ничего, кроме каких-то кончиков и хвостиков тех идей, которые считались в то время идеями не для публики. Юношам было трудно составить себе какое-нибудь цельное понятие об этих идеях из этого фейерверка фраз; им было трудно найти прямой путь к истине среди этих зигзагов и путаницы отрывочных указаний. Но этот либерализм все-таки задел юношество за живое и, как струя свежего воздуха, сильнее взволновал молодую кровь,— как сильна была потребность свежего воздуха, видно было уже из того, что юношество сильно обрадовалось и этой слабой струйке. Старцев, конечно, должен был играть первую роль. Юноши, очень мало интересовавшиеся до той поры литературой, теперь взялись за газеты и за разные воинственные стишки, появлявшиеся в отдельных книжечках или на отдельных листиках. От чтения газет молодежь очень скоро перешла к чтению журналов, и книжки «Отечественных записок» и «Современника», очень редко появлявшиеся здесь, быстро сменили книжки «Журнала для военно-учебных заведений». В этих книгах, конечно, перечитывалось все, что даже не имело ничего общего с военными известиями. Юношество, знавшее до сих пор по лекциям русской словесности русских писателей только до

Пушкина, читавшее и списывавшее преимущественно непечатные произведения Пушкина, Лермонтова, Полежаева и Баркова, теперь знакомилось с именами Тургенева, Авдеева, Л. Толстого, Григоровича, Писемского и других деятелей послегоголевского периода русской литературы. Одно какое-нибудь из произведений этих писателей заставляло молодежь обращаться к учителю русской словесности с вопросами, не написал ли тот или другой полюбившийся ей писатель и еще чего-нибудь, и она иногда не без удивления узнавала, что заинтересовавший ее писатель успел уже написать многие томы и завоевал себе видное место в литературе. Мало-помалу лекции русской словесности приняли новый характер. Учитель задавал и спрашивал уроки о Державине и Фонвизине, а толковал о «Записках охотника» и «Обыкновенной истории».

Еще недавно этот господин, уже с год преподававший в корпусе, слыл за «насмешника» и не очень нравился кадетам своей язвительной улыбочкой, своими шуточками над юными воинами, своими замечаниями о том, что они только рапортуют уроки, не заботясь о смысле того, что учат. Еще недавно у Владимира Ивановича Старцева было только два-три любимчика, которые брали у него тайком книги для прочтения,— теперь же он не мог удовлетворить всех требований и должен был замечать юношам, чтобы они осторожнее читали, так как посторонние книги могут помешать серьезным занятиям. Говоря это, он улыбался своей двусмысленной усмешкой и — удивительное дело! — теперь эта усмешка сделалась особенно по душе некоторым ученикам. Они уже видели в ней особенный смысл.

— Как же это вы не приготовились,— замечал он в классе кому-нибудь из воспитанников, усмехаясь своими тонкими губами.— Произведения такого великого поэта, как Державин, следует изучать. У вас все, я думаю, повестушки разные на уме, а вы лучше вникните в смысл оды на возвращение полков гвардии:

Бессмертной, громкой чада славы,
Которы за Россию кровь
Толь храбро лили у Полтавы,
Как и под Кульмом ныне вновь!
Так! вам, герои хвал достойны,
Петра и Александра войны,
Победна рать царя,
Ура! ура! ура!

Или вот проникнитесь чувствами, выраженными в оде на коварство французского возмущения и в честь князя Пожарского:

Доколь владычество и славу,
Коварство, будешь присвоять;
Весы, кадило, меч, державу
В руках злодейских обращать?
. . . .
Для властолюбия, богатства,
Для пагубных своих страстей,
Не раз, преодолев препятства,
Достигло цели ты своей;
Не раз ты честность очерняло,
Не раз ты святость порицало
И высило чрез них свой рог.
. . . .

Правда, язык немного устарел, но мысли новы и свежи. Теперь в этом духе тоже пишутся отличные стишки.

Старцев цитировал стихотворения, написанные по поводу войны, сохраняя невозмутимо спокойный вид и все ту же мягкую, вкрадчивую улыбочку. Впечатление выходило странное: юноши, подобно Ивану Прохорову, увлекавшиеся войной и военными одами, хмурились, а союзники Александра Прохорова разражались неудержимым хохотом.

— А ведь, знаете ли, кто написал эти стишки? — спросил однажды Старцев, прочитав одно стихотворение, оканчивавшееся припевом: ура, ура, ура! — Одна институтка. Вот такую жену заполучить невыгодно! Загоняет, спартанка!

Дальше этих шуточек Старцев не шел. Прямо и резко он ничего не высказывал и только двусмысленно подсмеивался над чем-то. Юноши начинали прозревать в этом кое-что серьезное и называли Старцева «человеком себе на уме», «ехидным», «продувным». Каждому его намеку придавалось особое, иногда преувеличенное значение, и над этими намеками долго ломались молодые головы, как над разрешением трудных задач. Даже то, что прежде выставлялось как недостаток учителя, теперь было признано за достоинство. Так, несколько месяцев назад, кадеты, видя, как Старцев мягко улыбается и низко раскланивается с начальством, говорили: «Ишь штафирка сейчас и хвост поджал». Теперь же товарищи в этих же случаях подталкивали друг друга локтями и шептали: «Гляди, гляди, наш-то как извивается! Усмешечка-то какая! просто бес!» А бес все продолжал шутить.

— Вы, господа, о постороннем-то не толкуйте,— говорил он сладеньким голосом.— Какое вам дело до разных этих описаний быта мужиков, в избах которых вам и без того надоест стоять с полком; какое вам дело до рассказов о взяточничестве и крючкотворстве людей, которые, может быть, набьют вам оскомину, решая ваши тяжебные и тому подобные дела. Вы должны серьезным делом заниматься, изучать классические красоты классических произведений, вы должны вникать в великие мысли, высказанные в оде «Бог», в «Послании к Фелице». Вот это для вас важно — без этого на экзамене нуль получите. Конечно, в жизни это не пригодится, ну, да жизнь в программу русской словесности не входит.

Старцев опять говорил невозмутимо и серьезно, а в головах юношей роились какие-то вопросы. Александр Прохоров решился однажды предложить один из таких вопросов Старцеву.

— Вы спрашиваете, отчего у нас так мало пишут о военных,— произнес Старцев, выслушав Прохорова.— Да ведь вы, батюшка, сами военным будете, так для чего же вам еще писать о военных?

Александр Прохоров с удивлением взглянул на учителя; его несколько коробила манера Старцева отвечать на вопросы намеками.

— Ведь вот расскажи вам вперед, что в театре будут играть,— продолжал с улыбочкой Старцев,— вы, может быть, и не пойдете в театр; а так как вы не знаете, что там изображают, то, может быть, и полюбопытствуете, пойдете и отдадите свой кровный четвертак, чтобы посмотреть пьесу.

— А, может быть, пьеса и не стоит четвертака?

— Может быть, может быть.

Александр Прохоров нахмурился.

— Вы все загадками говорите, Владимир Иванович!

— Не следовало бы совсем говорить с вами. Разговоры в программу не входят.

Александр Прохоров заинтересовался странной личностью учителя и выискал первый удобный случай, чтобы познакомиться с ним покороче. Дома Старцев оказался более сообщительным человеком, говорил уже не все загадками, а прямее; хотя и не изменял тона и с серьезным видом произносил двусмысленные шутки. Он прямо сказал Прохорову, что лекции нужно учить только для экзамена, что сила русской литературы теперь не в Державиных и не в Фонфизиных, что следует читать и не повестушки, а

приняться за критики Белинского. Он, к величайшему удивлению Прохорова, шутливо сказал, что война, может быть, кончится скверно и что это будет, может быть, не скверно. Когда Прохоров попросил разъяснить эти загадочные слова, Старцев спросил:

— До которых пор русский мужик не перекрестится?

— Покуда гром не грянет...

— Ну, эта война и будет громом, после которого мы перекрестимся.

Александр Прохоров с увлечением стал читать статьи Белинского, но с первых же страниц его остановило несколько темных для него мест. Отчасти незнакомые слова, отчасти темные мысли были причиной того, что чтение туго подвигалось вперед. Юноша прибегнул к помощи Старцева. Старцев поверхностно объяснил кое-что и заметил ему:

— Начало трудно; потом вчитаетесь.

Прохоров покорился своей участи и стал вчитываться. Это было нелегкое дело, потребовавшее немало времени. Однако он не унывал и верил покуда, что рекомендованное ему умным учителем чтение принесет ему большую пользу.

Привыкнув делиться всеми радостями, невзгодами и надеждами с Катериной Александровной, Александр Прохоров поделился с нею и книгами, взятыми у Старцева.

В одно из воскресений он стал читать ей одну из статей Белинского. Катерина Александровна слушала с напряженным вниманием. Прошло с полчаса. Вдруг девушка положила руку на книгу и прервала чтеца.

— Не читайте дальше, Саша. Я ровно ничего не понимаю,— промолвила она со вздохом.— Я совсем глупая...

Прохоров сконфузился от этого неожиданного признания.

— Нет... Что вы выдумали! — заговорил он.— Это не потому, что вы... не умны... Я тоже не сразу понял... Мне уж сам Владимир Иванович должен был объяснить... Тут слова непонятные, а когда их поймете, то все станет ясно... Это прежде, говорит он, все так писали, когда немецкая философия была в ходу...

— Ну, вот вы говорите: философия. А я и не знаю, что такое философия,— смеясь, заметила Катерина Александровна.

Александр Прохоров смешался и молчал.

— Да вы, верно, и сами не знаете, что такое филосо-

фия? — спросила Катерина Александровна, подметив его смущение.

— Не то чтобы совсем не знал, а объяснить хорошо не умею вам,— ответил Прохоров, растерявшись окончательно и краснея до ушей.

— Ну, вот видите ли. Где же мне знать это, если и вы не знаете,— произнесла Катерина Александровна.— Нет, уж я лучше поучусь сперва, а эти книги потом читать буду.

Александр Прохоров задумался.

— Это вы правду говорите,— промолвил он через минуту в раздумье.— Нам еще много учиться нужно... Это очень хорошие статьи, Владимир Иванович их очень хвалил, только...

Он замолчал, как будто не находя слов для выражения своей мысли. Его размышления были прерваны внезапным смехом Катерины Александровны.

— Что вы смеетесь? — спросил изумленный Прохоров.

— Да мне... ха, ха, ха!.. Петрушка Гоголя вспомнился... Вы не сердитесь на меня, Саша... ха, ха, ха,— смеялась Катерина Александровна.— Вот мы... ха, ха, ха... мы тоже читаем, а не понимаем, что читаем...

Катерина Александровна заливалась самым задушевным смехом: Александр Прохоров опечалился.

— Вот вы смеетесь надо мной,— с укором произнес он.— А разве это смешно, что нас ничему не учили?

— Ай, Саша, какой вы смешной! Чему же вы обиделись? Разве я вас виню? — говорила Катерина Александровна, сдерживая свой смех.— Мне смешно на вашего Старцева, что он вам такие книги дает...

— Владимир Иванович очень неглупый человек,— слабо вступился Прохоров за учителя.

— Так зачем же он не спросил, поймете ли вы то, что он дает вам читать!

— Он не виноват, что я не понимаю...

— Все же лучше дал бы что-нибудь другое... А то какая польза, что вы будете с этими книгами возиться.

Александр Прохоров уныло закрыл книгу. Он был недоволен чем-то; разговор с Катериной Александровной только уяснил ему вполне все то, что уже смутно бродило в его голове. Дня через два, снова принявшись в свободное время за чтение Белинского и опять не вполне понимая статью, Прохоров крепко задумался. Он оставил книгу и долго ходил по корпусному коридору, усиленно размыш-

ляя о чем-то. На следующий день он подошел к Старцеву.

— А я, Владимир Иванович, пришел к вам с просьбой. Дайте мне что-нибудь другое почитать. Белинский мне не под силу.

— Ну так читайте романчики; это кушанье, знаете, для слабых умственных желудков,— усмехнулся Старцев своей насмешливой улыбочкой.— Время убьете по крайней мере...

— Мне хочется не время убить, а чем-нибудь полезным заняться,— сухо ответил Прохоров.

— А шагистика-то? Разве это не полезно?

— У вас все шуточки, Владимир Иванович,— промолвил Прохоров резко откровенным «кадетским» тоном.— Я не насчет шагистики прошу у вас мнения и совета, а насчет книг. О шагистике я уж лучше с теми буду говорить, кто это дело знает...

— Да, это наука головоломная; не всякий тоже способен быть в ней специалистом,— заметил с улыбочкой Старцев.— Вот тоже гимнастика...

— Ну, гимнастикой-то нетрудно заниматься,— грубо оборвал Старцева Прохоров,— по крайней мере, гимнастикой языка все на перебой занимаются... Вы о книгах-то мне все еще ничего не сказали...

Старцева как-то передернуло, по его лицу пробежала на мгновение тень неудовольствия, потом оно снова засияло мягкой улыбочкой.

— Да каких же вам полезных книг дать, если и Белинского вы не понимаете? — промолвил он.— Его барышни-с читают.

— Ну, барышни и «сонники» читают! — пробормотал Александр Прохоров.

— Оригинальное сравнение! — с иронией промолвил Старцев.

— Мне бы хотелось,— продолжал Прохоров, не обращая внимания на замечание Старцева,— заняться такими книгами, которые были бы для меня понятнее Белинского. Барышни, может быть, читают и его сочинения, и сонники для процесса чтения, а у меня другая цель... Мне хотелось бы сначала прочитать что-нибудь хорошее по русской истории...

— Вот Устрялова знаете? — сощурил глаза Старцев.— Поучительное чтение! Тоже Державин в своем роде.

Лицо Прохорова сделалось совсем хмурым; он начинал терять терпение.

— А по иностранной истории? — спросил он.

— Смарагдова почитайте... Это тоже одописатель.

— Все-то вы смеетесь...

— Не плакать же мне...

— А лучших книг по истории нет?

— Не отпечатаны еще.

— Неужели же по истории так-таки и нет ничего хорошего?

— Как не быть! Только не на русском, а на немецком и на французском языках есть...

— Что же?

Старцев назвал несколько исторических сочинений.

— Ну, да это, батюшка, не про вас писано,— заключил он.— Если по-русски плохо понимаете, так на иностранных языках поймете еще меньше.

— Да вы, кажется, не поняли меня,— проговорил Прохоров и усмехнулся такой улыбкой, которая была обиднее улыбочек Старцева.— Я не смысла данных мне вами книг не понимаю, до него я заставил бы себя добраться,— я цели этого чтения не понимаю.

Старцев взглянул на Прохорова не то с презрением, не то с неудовольствием и отошел прочь.

— А из Прохорова славный бурбон выйдет,— проговорил он, заговорив с кем-то из воспитанников.— Туп, угловат и нахален — далеко пойдет!

Прохоров между тем, оставшись один, стал ходить из угла в угол по коридору. В его голове на минуту промелькнули вопросы о том, что за человек Старцев. «Э, размазня с перцем!» — почти вслух проговорил Прохоров и быстро перешел к размышлениям о том, как подготовиться к серьезному чтению, за какие книги приняться и на чем сосредоточиться. Ему казалось, что для него нужнее и полезнее всего будет история, так как она может дать верный взгляд на общественную жизнь народов и на устройство тех или других государств. Он сознавал, что для него пропадает большая часть намеков Левашова именно потому, что он не знает истории или знает ее в таком виде, который хуже незнания. Прохоров проходил довольно долго и наконец, по-видимому, решился избрать известный путь. Дня через два он передал Старцеву все остававшиеся у него книги «Отечественных записок».

— Что же, так и не будете больше читать, господин будущий офицер? — спросил Старцев.

— Так и не буду,— лаконически ответил Прохоров.

— Конечно, военному человеку нужно о выправке думать, с тяжелой головой маршировать неудобно.

— Вы точно про чемодан говорите, про голову-то,— усмехнулся Прохоров.— Я прежде думал, что голова тяжелеет от пьянства, а вы вон говорите, что она и от чтения тяжелеет. Впрочем, вы это по опыту должны знать.

— О, да вы нынче совсем по-армейски острите! — сердитым тоном, но с улыбочкой заметил Старцев.— Впрочем, праздного времени много — можно или в потолок плевать или остроумие изощрять.

— Я ни того, ни другого не могу делать,— ответил Прохоров.— Я вот занялся изучением французского языка.

— А-а! даже не просто учением, а изучением! Верно, в плен думаете попасть, чтобы даром путешествовать?

— Нет, французские книги думаю читать...

— Вот-с как!

— Жаль, что вы мне прежде не посоветовали сделать это,— заметил Прохоров,— а то я столько времени даром убил: читал критические отзывы и философские рассуждения об исторических явлениях, а самих исторических явлений не знал... Это ведь все равно что слепому лекцию о цветах посоветовать слушать!

Старцев хмуро взглянул на Прохорова: с одной стороны, ему было досадно, что этот нахал смеет свое суждение иметь, с другой стороны, он считал своим долгом допускать молодежь до свободного выражения ее мнений. В Старцеве как будто сидели два совершенно враждебные одно другому существа: учительствующий чиновник и либеральничающий гражданин.

— Так вы серьезно хотите теперь заняться историей? — спросил он.— Я не могу дать вам...

— Нет,— перебил его с улыбкой Прохоров,— я хочу теперь серьезно заняться французским языком и в этом случае мне более других будет полезен Адольф Адольфович Пуаре...

— Желаю успеха! Только вам нелегко будет изучать историю,— ироническим тоном заметил Старцев, сделав сильное ударение на слове *вам.*

— А вы еще так недавно думали, что я могу основательно научиться чему-нибудь даже по критическим статейкам,— ответил Прохоров, впадая в тон Старцева.— Нашему брату, бурбону, дай бог и по прямому пути добраться к цели, а уж не то что по разным лабиринтам подходить к ней.

Старцев в глубине души окончательно почувствовал отвращение к нахальному мальчишке и вследствие этого стал делать все усилия, чтобы быть с ним предупредительнее.

— Да-с, это новая молодежь растет,— говаривал он в кругу Медникова и Левашова.— Надо дать ей свободу развиться в том направлении, в каком она хочет развиться. Посмотрим, что будет!

В тоне его последней фразы слышалось сомнение в том, что из этой молодежи что-нибудь выйдет.

— Но что бы ни вышло,— добавлял он,— а нас не упрекнут, что мы тормозили развитие молодых сил или ломали его направление. Довольно и без нас ломающего элемента!

В сношениях с Прохоровым он стал предупредительно-вежливым, хотя в этой вежливости проглядывало что-то ироническое: так снисходительно относятся очень сильные люди к своим бессильным собратьям, когда те пробуют показать свою силу. Когда Прохоров плохо отвечал на уроках, Старцев замечал:

— Э, батюшка, как это вы такого пустяка не в состоянии вызубрить и объяснить. Это ведь ребенок поймет! Ведь тут и дело-то идет о том периоде литературы, который можно назвать младенческим. Тогда не бог знает какие премудрости проповедовались в ней. Это не то что в наше время. Тогда были в обращении две-три жиденькие идейки — вот и все. Не особенно мудрено понять! Садитесь.

Потом Старцев ставил Прохорову балл.

— Я, впрочем, ставлю вам десять,— замечал он.— Мне жаль повредить вам из-за такой мелочи. Только вы приналягте, постарайтесь все это понять или хоть вызубрить ко времени экзаменов.

Прохоров молча выслушивал все эти ехидные речи и хладнокровно садился на место. Он смотрел на Старцева и относился к нему теперь очень просто: раз порешив, что Старцев *размазня с перцем,* Прохоров холодно выслушивал все замечания, все шутки, все намеки Владимира Ивановича, пропуская их мимо ушей, как шум какой-нибудь трещотки или флюгарки. Более внимательно выслушивал Александр Прохоров замечания Медникова и Левашова, но и к ним он уже начал относиться критически и редко смеялся над их остротами. Эти отношения были скоро подмечены кружком, в котором вращался Александр Прохо-

ров, и юноши напали на своего собрата, отстаивая своих любимцев.

— Да разве я вам мешаю слушать их балясы,— отвечал он.— Мне только кажется, что Левашов сделал бы лучше, если бы вместо своих исторических анекдотов посвящал все время объяснению математики и физики; да и Медникову не худо бы не тратить времени на либеральные замечания, чтобы можно было делать побольше опытов. Это все развлекает только.

— Ну, брат, ты просто формалист! хочешь только, чтобы никто из программы ни на шаг не выходил,— кричали друзья.

— Пусть выходят, если это пользу принесет,— спокойно возражал Александр Прохоров.— А баклуши бить во время уроков не приходится. Лучше уж немногое знать, да знать основательно, а то в голове сумбур какой-то делается: один неизвестно за что шпильку ставит старому французскому правительству, другой темный намек делает на нашего эконома, третий тонко глумится над Державиным, а меня распекает, что я после того вяло отвечаю об этом же Державине...

— Так что же ему, по-твоему, следует хвалить Державина? — сердились друзья.

— Да пусть лучше хвалит. А то глумится над тем, что преподает, да потом сам же и упрекает за то, что другие не считают нужным тратить время на изучение ерунды. По-моему, только тот человек и хорош, который идет прямо по какой бы то ни было дороге.

— Так, по-твоему, Фитилькин, пожалуй, лучше Старцева? — допрашивали друзья, говорившие, что, по понятиям Фитилькина, весь мир состоит из плац-парадов, поддерживается церемониальными маршами и стремится к выправке носков.

— Да, лучше,— смело утверждал Прохоров.— Он усвоил известные понятия и стоит за них, а Старцев — ни богу свечка ни черту кочерга.

Прения и споры стали с каждым днем делаться все серьезнее и серьезнее. В этих спорах начала выясняться все сильнее и сильнее главная отличительная черта характера Александра Прохорова. Он не знал середины: он прямо называл людей или подлецами или честными, или глупыми или умными. Человек «так себе», человек «ни то ни се», человек «золотой середины» для него не существовал. Это резкое разграничение людей на две половины,

бывшее следствием молодости, неопытности и страстного стремления к правде, не могло не привести к различным столкновениям и сделало то, что в сношениях с юношею всеми чувствовался какой-то острый угол, не допускавший до тесного сближения с этим человеком. Совершенно незаметно для самого себя Александр Прохоров стал оставаться одиноким: уже давно он разошелся с друзьями брата Ивана; теперь же его стали покидать и его собственные друзья. Начнут они спорить с ним о Старцеве, о Медникове, о Левашове, о статьях, рекомендованных Старцевым, и мало-помалу станут расходиться, говоря спорщику: «Ну да ведь с тобой не сговоришь». И сам Александр Прохоров порой стал уклоняться от своего кружка: желание поскорей изучить французский язык, неохота бесплодно спорить, стремление сосредоточиться и обсудить те вопросы, которые пробуждались в голове вследствие ежедневных столкновений,— все это увлекало его куда-нибудь в уединенный уголок.

— Ты уж не собираешься ли на Афон, чтобы избавиться от военной службы? — смеялись над ним друзья брата Ивана, прозвавшие Александра Прохорова сначала трусом, а теперь пустынником.

— Как же, думаю! — усмехался Александр Прохоров.— Теперь вот учусь панихиды служить, чтобы уметь вас отпеть, когда вас перебьют.

— Ну, поклонник официальных программок и формализма, много ли интересного вычитал из французского лексикона? — спрашивали его с иронией его собственные недавние друзья, прозвавшие его «филистером», заметим кстати, что они очень полюбили это новое, услышанное от Старцева слово, которого они совершенно не понимали.

— Да что же может быть интересного в лексиконе,— с улыбкой замечал Александр Прохоров,— тут так же, как и в ваших спорах, только слова, слова и слова.

Но с каждым днем удаляясь все более и более от своих товарищей, Александр Прохоров все сильнее и сильнее привязывался к одному существу — Катерине Александровне. Его прямая и добродушная натура страдала от тех неприязненных и натянутых отношений, в которые он стал к своим товарищам, и требовала удовлетворения своих инстинктивных стремлений. Ему хотелось откровенно поговорить с кем-нибудь, ему хотелось услышать искреннее слово одобрения или порицания, высказанное без всякой задней мысли. Брат Иван, хотя и жил с ним дружно, но

расходился с ним во взглядах, и потому между ними не могло быть полной откровенности. Отец, хотя и был другом своих сыновей, но по привычке он невольно принимал стариковский дидактический тон в разговорах с ними. Только одна Катерина Александровна соединяла в себе все, чего жаждал Александр Прохоров. Она была молода, относилась к нему просто, чувствовала к нему искреннюю дружбу, никогда не стеснялась прямо высказать ему правду. В ее участии было так много теплоты, в ее смехе было так много заразительной веселости, в ее выговорах было так много безобидной искренности, что Александр Прохоров отдался всею душой своей молодой подруге. Ему ни разу не пришло в голову, что он влюблен в нее; нет, он относился к ней, как к другу-юноше; в этой простоте отношений не было ничего удивительного: Александр Прохоров первый раз сошелся с девушкой, сошелся в то время, когда он, к своему счастию, еще не был заражен никакими грязными взглядами на женщину и еще не находился ни разу ни в каких двусмысленных отношениях к ней. Он переживал пору того светлого юношеского идеализма, когда мы беззаветно можем любить друга без зависти к его превосходству, без стремления господствовать над ним, без поползновения держать на случай камушек за пазухой и когда мы можем дружиться с девушкой без клубничных поползновеньиц, без эротических представлений в своем воображении ее прелестей, без фривольных заигрываний с нею. Это недолгая пора в жизни нашего юношества, да и на короткий-то срок она является в жизни только избранного, здорового и духом и телом меньшинства.

Такой здоровой натурой был Александр Прохоров, переживавший теперь во всей полноте поэтическую пору юности.

III

«МАЛЬБРУГ В ПОХОД ПОЕХАЛ...»

Покуда штабс-капитан и Марья Дмитриевна разрешали политические вопросы в лавочном клубе, покуда Александр Прохоров и Катерина Александровна шли ощупью к какой-то еще смутной для них самих цели, в кружках знакомых нам личностей, как и во всем русском обществе, происходили разные события, разные толки, тоже вызван-

ные отчасти войной. У княгини Гиреевой уехали на войну два племянника, за которых ей пришлось заплатить порядочные суммы по предъявленным ко взысканию векселям; в деревни посылалось письмо за письмом с требованиями, чтобы управляющие немедленно, какими бы то ни было способами, собрали деньги с крестьян. Кроме волнения по поводу хлопот о деньгах добродушная старуха испытывала всю тягость разлуки с этими хотя и беспутными, но во всех отношениях дорогими ей родственниками и стала не на шутку прихварывать. Это обстоятельство заставило собраться в ее дом всевозможных родственниц, желавших развлечь старуху и завоевать себе уголки в ее духовном завещании. Весь этот нежный родственный кружок погрузился в толки о политических событиях, в чтение газетных известий, в щипание корпии, приготовление бинтов. Здесь изгнан был французский язык и царствовал русский; даже платья некоторых из молодых родственниц Гиреевой получили новый покрой и носили название «патриоток» и русских сарафанов, хотя их сходство с русскими сарафанами было более отдаленное, чем сходство лубочных портретов с их оригиналами. Среди этих тревог и волнений княгиня совершенно забыла о своем проекте выдать Катерину Александровну замуж, и так как последняя не напоминала о себе, то этот проект и не появлялся на свет божий.

Еще менее думал об этом проекте Боголюбов. Война коснулась и его интересов. Уже с самого начала войны он был в постоянных хлопотах, и хотя еще хмурился, что ему пришлось упустить из рук богатую тетку, но мало-помалу стал забывать даже и об этой утрате: его дела, висевшие на волоске и известные только ему, стали поправляться с каждым днем. В заботах о них он даже не обращал внимания на все возраставшую дружбу жены и Карла Карловича. Наконец он дождался давно желанной поры и отправился в командировку на юг по поручению комиссариата. Конечно, расставание Павлы Абрамовны с супругом не обошлось без истерических рыданий, без закатывания глаз к небесам. Сам же Данило Захарович крепился. Он даже позабыл, какой опасности подвергает он свое семейное счастие, оставляя свою жену под одной кровлей с Карлом Карловичем. Но долг прежде всего. Данило Захарович решился свято исполнить этот долг и как достойный гражданин мужественно отдавал себя на жертву общественному служению.

— Что делать, что делать! Долг службы! — многозначительно бормотал он.— Береги детей! Слушайте мать! Для вас, для вас тружусь! — лаконически обращался он к домочадцам, целуя их на платформе николаевской железной дороги.

Домочадцы рыдали. Даже Карл Карлович не выдержал, и на его масляных глазах блеснули слезы. Наконец обер-кондуктор дал свисток, домочадцы замахали платками, Данило Захарович приподнял фуражку, поезд тронулся и — Мальбруг в поход поехал...

— Ах, у меня ноги подкашиваются! — рыдала Павла Абрамовна и томно оперлась на руку предупредительного Карла Карловича.

— Берегите себя, ваше здоровье так дорого,— шептал Карл Карлович.

— Ах, кому оно дорого! — отчаивалась Павла Абрамовна.

— Как вам не грех говорить это! — упрекал Карл Карлович, подсаживая Павлу Абрамовну в карету.

Далеко за полночь пришлось Карлу Карловичу утешать неутешную жену, когда они возвратились домой.

— Ах, эта роковая война положительно губит семейное счастие,— вздыхала Павла Абрамовна,— разлучает всех, оставляет нас без защиты.

— Друг мой, разве я не с вами,— тихо прошептал Карл Карлович, припав к руке Павлы Абрамовны.

— Но вы... вы тоже, может быть, бросите меня,— проговорила она.— Вот Леонид поступит к Добровольскому... вы уйдете...

— О, прикажите мне, и я останусь навсегда здесь у вас, у ваших ног!..

Карл Карлович опустился перед Павлой Абрамовной на колени.

— Друг мой, верный мой друг! — обвила она руками его шею.

А Данило Захарович между тем ехал и глубоко соображал, какие плоды принесет ему военное время...

Военные события почти не коснулись только приюта... Это болото благотворительности по-прежнему невозмутимо продолжало свое грязное существование. Жидкие щи из серой капусты, скверная каша с прогорклым маслом, сечение воспитанниц, сплетни помощниц, наушничество каждой на всех и всех на каждую — все это шло неизменным, раз навсегда заведенным порядком. Только характер

работ изменился; теперь девочки шили халаты, готовили бинты и работали с утра до поздней ночи всю эту срочную работу, отправлявшуюся через комиссариат на поля битв. Кроме этих признаков военного времени можно было заметить влияние войны в приюте на настроении Зубовой и Постниковой. Зубова сделалась воинственнее и, ругая воспитанниц, говорила им:

— Я бы вас всех под пушки послала! Уж, право, жаль, что женщин в солдаты не отдают, а то не сносить бы вам своих голов.

Сантиментальная Марья Николаевна хотя и не сделалась воинственнее, но почувствовала особенную нежность к военным и при виде проходивших по улице офицеров, подпрыгивая и хлопая в ладоши, говорила, как-то особенно оттопыривая поблекшие губки:

— Ах, амы какие, амочки!

— Что это вы в какой телячий восторг приходите от каждого офицера! — едко замечала ей Зубова.

— Да как же,— печально надувала губки Марья Николаевна,— они, кисаньки, за нас пойдут на смерть.

— Ну да, так за вас именно и пойдут! — желчно возражала Зубова.— И то сказать: не все же им гранить мостовую.

— У вас, душа моя, сердца нет, сердца нет! — возмущалась Марья Николаевна.

Впрочем, наплыв сантиментальности не мешал Постниковой по-прежнему драть за уши, ставить на колени воспитанниц и дуться на Катерину Александровну. Прилежаева продолжала стоять в стороне от обеих девственниц и служила мишенью для их злобных выходок. Они всеми силами старались теперь делать ей колкости и вооружить против нее Зорину. Подсмотрев как-то, что Катерина Александровна читает французскую грамматику, Зубова спросила молодую девушку:

— Вы уж не приготовляетесь ли к тому, что французы возьмут Петербург?

— Из чего вы это заключили? — удивилась Прилежаева.

— Да вот вы по-французски учитесь.

— А-а! — улыбнулась Катерина Александровна и не сочла нужным объяснять, для чего она учится по-французски.

Через несколько дней приютские шпионы подметили, что Катерина Александровна занимается арифметикой.

— Вот наша Катерина Александровна скоро наследство надеется получить,— заметила Зубова.

Катерина Александровна с недоумением посмотрела на нее.

— Неужели? — с любопытством спросила Постникова, уже завидуя в душе Прилежаевой.

— Как же! Она уж начала арифметике учиться, чтобы вернее сосчитать, сколько денег ей достанется,— сострила Зубова, расхохотавшись своим грубым смехом.

— Ах, шутница, право, шутница! — засмеялась Постникова.

Катерина Александровна не сказала ни слова. Это взбесило Зубову: она поняла, что ее насмешки и шпильки не задевают за живое ее врага.

— Этой дуре все как об стену горох,— злобно проговорила она, когда Катерина Александровна вышла из комнаты.

— На недосягаемой высоте стоит! — ироническим тоном произнесла Постникова.

— Ну, за то и в грязь знатно шлепнется,— саркастически захохотала Зубова.— В какого-то мальчишку тоже врезалась...

— Что вы? Вот мило, вот мило! Да не может быть?

— Ей-богу! Еду это я на днях мимо их дома к Митрофанию, а она с ним воркует у окна, головки склонили друг к другу, точно целоваться хотят... Потом встретила их на улице вместе... Так в глаза ему и смотрит, так и смотрит...

— Кто же он?

— Кадетишка еще! Ну, да ведь плоды-то одни и те же и от кадета что от офицера.

— Шутница, шутница!

— Да, вот она гуляет, а слава-то пойдет не про нее одну, а про всех помощниц... Вот тут и служи с такими шлюхами... И удивляюсь я Анне Васильевне, что она с нею нежничает...

Грязные слухи, конечно, не ускользнули от слуха Анны Васильевны, но старуха вообще старалась смотреть сквозь пальцы на «шалости», то есть на известную долю ветрености помощниц; в настоящее же время, если бы она и хотела вникнуть во что-нибудь, то ей было бы очень трудно это сделать: она была всецело поглощена своими личными делами.

Александр Иванович Зорин уже давно скучал в бездействии в «келье игуменьи женского монастыря», как он называл комнаты своей матери. Ему уже давно хотелось развернуться и хотя отчасти вспомнить и воскресить свое прошлое житье-бытье. Война послужила ему предлогом для того, чтобы поразнообразить свою жизнь и снова войти в тот круг, из которого он так рано вышел.

— Я, кажется, толстеть начинаю,— рассуждал он.— Это просто скверно! Надо поразмяться...

Чтобы поразмяться, он подал прошение о принятии его на службу. Он решился служить, и для этого нужны были деньги или, вернее сказать, ему нужны были деньги, и он решился служить. Пришлось выжать из своего кошелька все, что было возможно, кошелек же Александра Васильевича, по его собственному остроумному выражению, была его мать. Анна Васильевна была рада освободиться от сына; когда-то она горячо любила его, теперь же она с нетерпением ждала, когда он окончательно определится на службу; в ней даже не шевельнулось материнское чувство боязни за участь сына, шедшего на войну. Но радость радостью, а деньги деньгами: она могла радоваться его определению в полк, но не могла дать ему многого на обмундировку, тогда как он желал добыть от своего «кошелька» не только на обмундировку, но и на кутежи с приятелями по случаю определения на службу. Между матерью и сыном начались дикие сцены споров, обоюдных упреков, цинических напоминаний о старых грехах.

— Вы на разных прапорщиков промотали отцовское состояние, вы обмундировывали новоиспеченных офицеров, а отцу пришлось казну грабить, пришлось нищими нас оставить,— кричал сын.

— Стыдись! Не ты ли проигрывал по триста рублей в вечер? Не ты ли бросал сотни рублей под ноги разным тварям! — кричала мать.

— А с кого же я брал пример? С вас и с любимых ваших прапорщиков. С кем я играл? Не с ними ли? И кого вы называете тварями? Тех женщин, по следам которых шли вы сами,— бушевал сын.

— Вон из моего дома! — слышались гневные слова матери.

— Ну, это я сделаю после, а теперь мне нужны деньги,— решительно возражал сын.— И какая же вы мать, когда вы не можете, не хотите помочь сыну выйти на честную дорогу труда? Когда я ел ваш хлеб, вы попрекали

меня каждым куском; когда я хочу сам добывать кровью этот кусок хлеба, вы заграждаете мне путь.

— Да пойми ты, что у меня нет, нет денег.

— А! У вас денег нет! — иронически восклицал сын.— А чтобы в шелковых платьях франтить — на это есть деньги, а чтоб браслетки носить — на это находятся средства? У вас серебро есть, у вас жалованье и пенсия есть, заложите, продайте все это. Или вы думаете, что я вам не отдам? Полноте! Вы сами знаете, что у меня поперек в горле стоит каждый кусок, купленный на ваши деньги. Если я прошу у вас, так это потому, что вы должны мне помочь. Вы изволили произвести меня на свет, вы воспитали меня среди тунеядства и разврата, вы промотали состояние и пустили меня по миру. Я не милости у вас прошу: я требую своего. Вы обокрали меня и нравственно и материально, и я требую возвращения мне моей собственности.

— Господи, господи, до чего я дожила! — рыдала старуха.

— Полноте ныть! Вы так же плакали перед каждым прапорщиком, когда он бросал вас! Я знаю цену этих слез!

— Бери, бери все, только уезжай, уезжай навсегда.

— О, я знаю, что вы были бы рады, если бы я не только что уехал, но и умер бы. Я единственный свидетель вашего прошлого; я тот позорный столб, к которому приговорила нас судьба!

— Пощади, пощади меня ради моих седых волос! — рыдала старуха, склоняя свою голову.— Бери серебро, продай мое жалованье, все, все продай, но пощади меня!

Александр Иванович шумно ходил по комнате и ждал, когда мать сама передаст ему серебро, когда она ему даст доверенность на получение ее жалованья и пенсии: как истинно честный человек он не хотел грабить свою жертву, но ждал, когда она своими руками отдаст ему все свое убогое имущество. Серебро было заложено, жалованье и пенсия на полгода были проданы какому-то торговцу, поставлявшему на приют дрова и занимавшемуся в то же время ростовщичеством. Этот услужливый и изворотливый человек приобрел от Анны Васильевны доверенность на получение ее жалованья и пенсии в течение шести месяцев; конечно, эта услуга обошлась недешево и за каждый рубль было выдано только по шестидесяти копеек, впрочем, услужливый человек рисковал своими деньгами и потому не мог же не взять за риск приличного вознагражде-

ния. Наконец Александр Иванович обделал свои дела и мог спокойно отправиться в полк, чтобы принести на алтарь отечества свои услуги, может быть, свою кровь и даже самую жизнь. Без слез, замирания в сердце прощалась Анна Васильевна со своим когда-то любимым сыном. Почти с пренебрежением и ненавистью прикоснулся он к ее губам и, насвистывая какую-то арию, вышел из дому. Мать не провожала его на крыльцо, не смотрела в окно, как он садился в экипаж, не склонилась перед образом с молитвой за него, но тяжело опустилась на диван и склонила на руки свою седую голову; долго сидела она, не трогаясь с места, покуда укладывали чемоданы сына; потом, когда загремели колеса отъезжавшей коляски, поднялась и глубоко вздохнула всею грудью, как будто с этой груди свалился тяжелый гнет; принизившаяся старуха снова выпрямилась и подняла голову: ее позорный столб исчез... На долго ли? «Господи, если бы он остался там!» — тихо прошептала она и вдруг вздрогнула: в ее голове промелькнула мысль, что остаться там — значит быть убитым...

Иные сцены, иные впечатления занимали в это же время семейства Прилежаевых и Прохоровых. С напряженным вниманием продолжали они ожидать, не кончится ли война до весны, а дни летели за днями, не принося известий об окончании роковых событий.

— Господи, как время-то летит! — удивлялась иногда Марья Дмитриевна,— вот уж и рождество близко.

— Да, да,— хмуро соглашался штабс-капитан.— Рождество близко, а о мире все еще ни слуху ни духу... Не увидим, как и весна подкатит.

— Ну, батюшка, вот, может быть, еще к новому-то году и выйдет милостивый манифест,— успокаивала Марья Дмитриевна.

— Какой манифест? — спрашивал штабс-капитан.

— А о замирении-то...

— Эх вы! — безнадежно махал рукою штабс-капитан.

— Да что ж, батюшка, ведь на все воля божия. Может, и смилуется.

— Ждите, ждите,— вздыхал старик.— Пока вы ждать будете, весна на двор прикатит.

— И с чего это нынешний год-то такой короткий,— задумывалась Марья Дмитриевна.— Ведь, слава создателю, не первый год живу на свете, а такого короткого года еще не видала...

Время действительно летит необыкновенно быстро в

семье Прилежаевых среди напряженных ожиданий и усиленной работы. Антон ходит в гимназию; Катерина Александровна по-прежнему дежурит в приюте, шьет и учится: братья Прохоровы подготовляются к выпуску и с различными чувствами считают дни, остающиеся до получения чинов; Марья Дмитриевна по-прежнему вздыхает, справляется, близко ли подошли враги к Петербургу, шьет без устали солдатское белье и хлопочет за приготовлением обедов; штабс-капитан почитывает газеты и ораторствует в клубе, все, по-видимому, обстоит благополучно и новый день не приносит новых событий. Но среди этого затишья каждый из наших героев уже начинал чувствовать, что все ближе и ближе приходит то время, когда эти новые события встревожат мирное течение их жизни. Сильнее всех сознавал неотразимость близкой перемены в жизни Александр Прохоров. Он уже тосковал не об одной приближавшейся разлуке с отцом, он с замиранием в сердце помышлял и о разлуке с Катериной Александровной. Эта девушка, как мы сказали, сделалась его лучшим другом, самым дорогим для него существом. Совершенно незаметно для самих молодых людей между ними установились отношения любящих друг друга младшего брата и старшей сестры. Эта дружба была чиста, Александр Прохоров относился к Катерине Александровне с каким-то благоговением, Катерина Александровна смотрела на него покровительственно, как на милого мальчика. Они, быть может, изумились бы, если бы кто-нибудь подсказал им, что они влюблены друг в друга, так как Катерина Александровна видела в Александре Прохорове почти ребенка и уж никак не молодого человека, да и сам Александр Прохоров смотрел на себя как на неопытного школьника в сравнении с этой молодой девушкой, уже несколько лет управлявшей домом и зарабатывавшей кусок хлеба для всей семьи. Им ни разу не пришло в голову, что разница их лет совсем не так велика, как казалось с первого взгляда. Это различие отношений друг к другу проглядывало даже в том, как молодые люди называли один другого. Она звала его Сашей, он называл ее Катериной Александровной; она иногда говорила ему *ты*, он никогда не сказал ей иначе, как *вы*. Даже перевес знаний, бывший на стороне молодого человека, не сгладил этого различия в отношениях, хотя в последнее время Александр Прохоров и играл порой роль учителя Катерины Александровны; но и в эти минуты скорее она управляла учителем, чем он ею. Чем более

сокращалось время, оставшееся до выхода из корпуса, тем теснее сближались молодые люди.

— Катерина Александровна, вы пишите ко мне, когда я уеду,— говорил Александр.

— Вы-то только пишите, а я уж не заленюсь,— отвечала она.— Вы свет увидите, в кружок новых товарищей попадете, так вам не мудрено будет не найти времени для писем... Вы хоть несколько строк присылайте...

— Как бы хорошо и мирно мы жили, если бы я мог остаться здесь,— говорил он в другой раз.— Вы учились бы, я служил бы и подготовился бы к университету, кончил бы там курс и вы к тому времени выдержали бы экзамен, и тогда нам было бы нечего бояться нужды...

— Что мечтать о том, чего не может быть,— вздыхала она.— Дай бог, чтобы только все мы живы остались, а там что будет, то будет...

Иногда он читал о военных событиях, она молча слушала чтение, опустив голову.

— Катерина Александровна, что с вами? — тревожно спрашивал Александр, видя слезы на ее побледневших щеках.

— Мне тяжело, Саша, как я подумаю, сколько там убитых, сколько жен, матерей и сестер осиротело... Господи, отчего это люди не могут жить без войны, не убивая друг друга!.. Сколько горя, сколько слез льется теперь во всех концах России... Я, кажется, не перенесла бы, если бы моего брата убили... я сама пошла бы туда... пошла бы облегчить участь хоть одного раненого. Вот мужчины счастливее нас в этом отношении, они докторами могут быть, могут хотя кого-нибудь спасти... Я, Саша, все буду бояться за вас, когда вы уедете,— ласково клала она свою руку на его плечо.

— Вы сестрой мне сделались, я вас после отца больше всех на свете люблю,— шептал он и припадал губами к ее руке.— Берегите отца, утешьте его, если что случится...

— Что вы, что вы, Саша! Зачем предполагать дурное! — тревожно говорила она.

Порой к ним присоединялся штабс-капитан, Марья Дмитриевна и Антон. В их кружке шли тихие и грустные речи о будущем. Штабс-капитан угрюмо хмурил брови и шагал по комнате. Он стал неузнаваем, его лицо похудело, обвисло. Его речи сделались немногословны, иногда он просиживал молча по целым часам. По временам он стискивал зубы, когда Марья Дмитриевна начинала почти

причитать над молодыми людьми, готовившимися к войне.

— Скоро, скоро, дорогие мои, проводим мы вас в путь,— вздыхала она.— Как красное солнышко, закатитесь вы, и бог знает, когда вернетесь к нам, старикам...

— Генералами приедем! — шумно смеялся брат Иван.

— Ох, батюшка, не до поживы, а были бы живы! — вздыхала старуха.

— Ну, мама, что вперед тосковать! — вмешивалась в разговор Катерина Александровна.

— И то тоску нагнали! — бормотал штабс-капитан.— Авось все кончится до той поры... Будем живы — увидим... Да, я вот счастливее их был,— задумчиво шептал он.— Бобылем был... Ни отца, ни матери не было... никто не заплакал бы, если б...

Он не договаривал начатой фразы, а по его обвислым грубым щекам катились крупные слезы.

— Ну, полно, отец! — ласково говорил Александр.— Неужели нет других разговоров? Еще и живы будем и счастливы... Ты не волнуйся, у тебя вон вместо дочери останется покуда наша Катерина Александровна, а там и мы приедем...

Александр, обняв одной рукой старика, тихо ходил с ним по комнате и утешал его, как слабую женщину. В эти минуты в мягком, задушевно говорившем юноше трудно было узнать того резкого кадета, который возмущал Старцева своею мужиковатой грубостью.

Безмолвным, но не безучастным свидетелем всех этих мелких сцен являлся Антон. Тихо склонив голову на плечо матери или сестры, он задумчиво следил за действующими лицами, всматривался в выражение их физиономий, вслушивался в звуки их голосов. От его больших, умных глаз не ускользала ни тихая грусть сестры, ни слезливая мина матери, ни мужественная печаль Александра Прохорова, ни крупные слезы старого инвалида, ни беззаботная, удалая веселость и беспечность Ивана Прохорова. В детской голове мальчика мелькали мысли о том, что старому штабс-капитану, должно быть, очень тяжело, что Александр Прохоров очень, очень любит отца, что Иван Прохоров совсем мальчишка, что сам он, Антон, горько, горько заплакал бы, если бы ему пришлось оставить мать и сестру. В эти минуты он начал отдавать себе полный отчет в своих чувствах к своей семье; он понял, что он горячо, всей душой любит эту семью. В эти минуты он стал сознательно уважать штабс-капитана как доброго

отца и Александра Прохорова как доброго сына. Иногда он думал: «У меня был тоже добрый отец!» — и ему вспоминалось, как его отец тешился его играми на пустынных островах во время поездок за щепками, как его отец говорил ему заботливым голосом, смотря на его купанье в заливе: «Не заходи далеко, там глубоко, оступиться можешь». Теперь он как будто слышал снова не только эти слова, но тот тон, которым они говорились, и в этом тоне ему слышалась любовь: «И я ведь любил, очень любил отца, я бы тоже горевал, если бы мне пришлось идти от него на войну»,— думал мальчик, и перед его глазами восставал образ сгорбленного, больного старика, исчезающего бесследно среди тумана осеннего вечера... Голубые глаза мальчугана подергивались слезами, и он крепче прижимался к матери или к сестре. Иногда в эти минуты Александр, обняв Антона, тихо говорил ему:

— Ты тоже пиши мне обо всем, об отце, о себе... о сестре пиши. Они, может быть, скроют что-нибудь, а ты откровенно пиши все, хотя бы и не радостные вести... Мы мужчины с тобой, мы должны смотреть прямо в глаза всякому горю...

— Я буду писать! Что мне скрывать,— серьезно отвечал мальчуган и в душе гордился, что он будет переписываться со своим взрослым другом, что этот взрослый друг полагается на него.

IV

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕЙ

А дни все летели и летели вперед...

Наступала весна, тяжелая, грустная, полная тревожных ожиданий весна; казалось, что для всех решался вопрос: быть или не быть. Все как будто находились в томительном недоумении и спрашивали: что будет теперь? Ответа еще не было, и покуда во всем и на всех преобладал черный цвет: одни носили траур по убитым родственникам, другие по умершем государе, третьи облачились в черное ради моды. В самом приюте Белокопытовых вместо голубых и красненьких гарусных кисточек на головах девочек появились кисточки из черной шерсти; кроме того графиня Белокопытова, рыдая и поминутно сморкаясь, обратилась к воспитанницам с речью о том тяжелом времени, которое настало. «Благодетеля, благодетеля на-

шего мы похоронили!» — говорила она и раздала собственноручно по черному ситцевому платочку на каждых двух воспитанниц, которым велено было разрезать эти платочки на косыночки и носить их на шее. В магазинах недоставало черных материй, и вещи этого цвета поднялись в цене до невообразимой степени; в феврале самый простой креп стоил вчетверо дороже, чем в январе. Даже мелочи, даже безделушки женского туалета напоминали о войне; браслеты с замками в виде пушек, черные цепи и черные кресты, булавки с мертвыми головками, брелоки в виде ядер, все это говорило: memento mori [1]. Шутихи модного света нашли возможность играть в общественную печаль и обшивали белым кружевом черные платья. В городе царствовала тишина: на улицах не слышалось привычных звуков шарманок, в домах не раздавалось звуков фортепиано, нигде не давалось балов, театры были закрыты. Случайные обстоятельства прекратили наконец разные пиры бессмысленных кутил и заставили город принять тот серьезный вид, который шел более к поре общественных бедствий, чем шум пьяных обедов и вакхических балов. Теперь все затихло. Что это было: слезы ли перед радостью или предчувствие грядущих бед?

В эту скорбную пору в корпусе шли экзамены, то есть наступило тревожное и деятельное время. Одни воспитанники платили сторожам гривенники, чтобы их будили в четыре часа; другие тайком не спали до трех часов; третьи забивались в какой-нибудь отдаленный угол со своими тетрадями и лекциями; все «зубрили» все пройденное и дрожали за свою участь, боясь «провалиться». В корпусе, несмотря на необходимость, несмотря на желание приготовиться к экзаменам, не позволялось заниматься дольше указанного срока, точно каждый юношеский мозг обязан был усвоить все необходимое в отмеренный для всех промежуток времени. На молодых лицах были видны следы утомления и усталости. Александр Прохоров тоже заметно побледнел и похудел, иногда даже его глаза были припухшими и красными. Перемена в его лице была так сильна, что ее не могли не заметить даже посторонние люди.

— Что это вы, батюшка, кажется, совсем заучились, — заметил ему при встрече Старцев, считавший своим долгом любезничать с «новым поколением».

---

[1] помни о смерти *(лат.)*.

— Нельзя же не приготовляться к экзаменам,— уклончиво ответил Александр Прохоров.

— Э, да вы не налегайте очень,— посоветовал Старцев.— Теперь не такое время, чтобы заниматься разными формальностями и строгостями. Теперь люди нужны; вон из академии медиков почти без экзаменов выпускают.

— Я не намерен получать хорошие баллы Христа ради,— ответил Александр Прохоров,— и дураком стоять на экзаменах не привык.

— Да ведь результат-то будет один и тот же,— усмехнулся Старцев.— Или из чувства гражданской гордости хотите свято исполнить свой кадетский долг?

— Просто краснеть не хочу, как краснел прежде, когда вы упрекали меня за непонимание всей глубины великих произведений любимого вашего Державина,— с усмешкой ответил Александр Прохоров.

— Э, батюшка, другие времена — другие нравы! — похлопал Старцев по плечу Прохорова.— Для России наступает великое время.

— Люди те же, Владимир Иванович,— промолвил Александр Прохоров.

Старцев пожал плечами и отошел прочь.

Дня через два начался первый экзамен. Слова Старцева оправдались, экзаменаторы, занятые другими соображениями, заваленные делом, были снисходительнее обыкновенного и торопились кончить официальную часть выпусков. Учителя довольно бесцеремонно и добродушно облегчали ответы, поясняли темно высказанное воспитанниками, подсказывали в затруднительных случаях забытое экзаменующимся. У всех были на уме гораздо более важные заботы и расчеты, чем дурной или хороший ответ того или другого ученика. После первого же экзамена большая часть выпускных воспитанников оживилась и наполовину оставила лекции. В тот же день вечером в пустой мертвецкой, то есть в комнате, куда относились умиравшие в лазарете воспитанники, был устроен пир и на большом столе появились разные яства и чай. Надежда на успех оживила даже и тех, которые дрожали за свою участь и не мечтали даже о выходе в «гарнизон». Подобные пиршества нередко тайком устраивались кадетами, хотя и не в таких размерах, как теперь, и строго преследовались начальством. Но на этот раз батальонный командир Фитилькин сделал вид, что он ничего не подозревает о пире и в течение всего вечера ни разу не загля-

нул на лазаретную половину. Кто-то из офицеров попробовал заметить ему о происходившем, но он махнул рукой.

— Недолго-с, недолго-с теперь,— проговорил он отрывисто.— Выйдут, развяжут руки; нечего поднимать истории; не такая-с пора.

Действительно пора была не такая, чтобы обращать внимание на мелочи.

Александр Прохоров не принимал никакого участия в пирушке, и его лицо не оживилось радостью, глаза не заблестели весельем, когда он убедился на деле, что экзамены оказались менее строгими, чем ожидали воспитанники. По-видимому, причина его бледности и задумчивости была более глубокой, чем страх перед дурным баллом. Он сдавал один экзамен за другим самым блестящим образом, получал лучшие баллы, шел первым, а его лицо все не прояснялось. Печать глубокого раздумья и серьезной грусти глубоко врезалась в каждую черту его физиономии, и это еще так недавно казавшееся детским и беззаботным лицо приняло такое осмысленное выражение, так возмужало, что им нельзя было не залюбоваться. Это был уже не мальчик, не пухленький херувимчик с розовенькими щечками и глупенькими большими глазами. Это был умный, вполне развившийся юноша, вступавший в жизнь с полным сознанием того, что его ожидает впереди. Во всех его движениях пропала кадетская угловатость и суетливость; его фразы сделались сжатыми, точно он скупился изливать перед другими все дорогие для него чувства и мысли, которые роились в его голове. Он уже не так волновался, говоря о предстоящей ему службе в действующей армии, хотя он еще глубже чувствовал всю тяжесть разлуки с отцом и всю печальную сторону той участи, которая, быть может, выпадет ему на долю в первом же сражении. По-видимому, он уже обдумал, как и что он сделает в том или другом случае и уже не боялся, по крайней мере, лично за себя. Как-то мельком, в разговоре с Катериной Александровной, он заметил:

— Мне кажется, что каждый человек должен взять за руководство одну великую идею: или со щитом, или на щите. Всякий другой путь ведет только к заблуждениям, к мелким тревогам, к жизни разных Адуевых.

— Я вас не понимаю, Саша,— сказала Катерина Александровна.— Вы говорите: каждый человек... Но ведь это только те могут сделать, которые на войне. Они мо-

гут или победить или умереть, а как же мы-то: мы ни с кем не воюем...

— Как же не воюете? — возразил Александр Прохоров.— Вы тоже вон воюете с Зубовой, с Постниковой...

— Ну, Саша, их не победишь. Одни уйдут, другие такие же явятся.

— Да тут дело не в людях, а в том, чтобы добиться своего, своей цели достигнуть... Мне кажется, каждый человек должен задаться известной целью и или умереть, или достигнуть ее, победив всех врагов, мешающих достижению этой цели.

— Ну, Саша, вы совсем к войне приготовились,— улыбнулась молодая девушка.— Можно ли так хладнокровно говорить об этом? Вы идете убивать людей и говорите про это так, как будто дело идет о каких-нибудь комарах...

— Отчего же и не так? — спросил Александр Прохоров.— Ведь вы убиваете же комара, если он вас ужалит? А он тоже, я думаю, хотел бы жить и питаться вашей кровью.

Катерина Александровна как-то боязливо взглянула на своего молодого друга.

— Я думаю, Катерина Александровна, вы охотно изгнали бы из приюта Зубову и Постникову, если бы могли? — спросил он после минутного молчания.

— Еще бы не изгнать таких злых женщин; они всех детей поедом едят,— горячо отвечала молодая девушка.

— А как вы думаете, чем бы они стали жить, если бы к ним все так отнеслись, как вы? — спросил Александр Прохоров, пристально взглянув на нее.

Она молчала.

— Им пришлось бы идти по миру; но, может быть, ни вы, ни другие женщины, смотрящие на них так же, как вы, не подали бы им ни гроша, так как эти гроши нужны для более близких вам людей. Зубовой и Постниковой по вашей милости пришлось бы умереть с голоду. А ведь это уже не комары.

Катерина Александровна задумалась.

— Саша, вы, значит, очень охотно идете воевать? — с непонятным для ней самой волнением спросила она через минуту.

— Я, как и все, желаю, чтобы поскорей кончилась война и чтобы люди не резали друг друга,— спокойно ответил он.

Впервые во время этого разговора Катерина Александровна смутно почувствовала, что ее друг уже не мальчик, что она сама вдруг сделалась как будто моложе его. Она хотя и не совсем ясно, но все-таки сознавала, что он впервые высказывал ей мысли, не просто вычитанные им из книги или слышанные от учителей, а свои собственные, созревшие в его голове, и в то же время она поняла, что она никогда не додумывалась до этих мыслей, никогда не отдавала себе отчета, к чему, собственно, она стремится в борьбе с такими личностями, как Зубова и Постникова. «Саша знает больше меня, оттого он и умный»,— мелькнуло в ее голове.

— Учитесь, Катерина Александровна,— промолвил Александр Прохоров, как бы угадывая ее мысли.— Изберите образование своей целью и идите к ней во что бы то ни стало. Без образования ничего не поделаете. Я сам сознаю, что я теперь никуда не гожусь, кроме военной службы, и что придется много работать, чтобы стать человеком. Вы тоже дальше приюта без образования не пойдете.

— Я это знаю, Саша,— вздохнула Катерина Александровна.— Я и учусь, да многому ли можно выучиться при посторонней работе?

— Погодите, кончится война, я помогу вам...

— Вы?

— Ну да. Чему же вы удивляетесь? Сам буду учиться и помогу вам. Без помощи ничего не сделаете; у вас вон семья на хлебах. А вы тоже мне помогите: не оставляйте покуда отца, берегите его. Он слаб, ему нужна поддержка, нужна ласка...

Александр Прохоров задумался.

— Запивает он иногда,— проговорил он печально.

— Разве вы знаете? — изумилась Катерина Александровна.

— Еще бы! Когда мы жили еще под Невским, я знал это, хотя он и скрывал это от нас... Знаете ли, я прежде осуждал его в душе, я гнушался им, я краснел, когда он появлялся в корпусе и мальчишки смеялись над его носом...

Катерина Александровна смотрела на Александра Прохорова с возрастающим удивлением.

— Я, может быть, и продолжал бы так относиться к нему, если бы не один случай,— продолжал Александр Прохоров.— Это было два года тому назад, во время осенних отпусков, незадолго до знакомства с вами. Приятели

зазвали меня к себе на пирушку. Мне тогда только еще недавно минуло пятнадцать лет. Мои приятели были гораздо старше меня, но любили меня, называли своим другом, ухаживали за мной и просто нянчились со мной, как с ребенком. Я был пухленьким, здоровым, розовым и веселым мальчуганом. Отчасти я гордился тем, что меня чуть не на руках носят, отчасти я привязался к ним из потребности чьей-нибудь ласки, чьего-нибудь приветного слова. Именно в эту пору я менее всего дорожил ласками отца, к которому я несколько охладел, узнав о том, что он пьет, и стыдясь его бедной одежды, его неказистой физиономии, его цинического нахальства — так под влиянием друзей начал я в ту пору называть его манеру развязно заговаривать со всеми, его невнимание к своему костюму, его веселость под нищенскими лохмотьями. Веселая пирушка, на которой я был, специально устроилась для меня. Меня угощали, поили; шутки и смех лились вместе с вином. Я пил впервые, не замечая, как пустел и снова наполнялся мой стакан. Среди этого бесшабашного разгула, когда я был совершенно пьян, один из моих друзей, хозяин квартиры, где мы были, вздумал проделать со мной одну из возмутительнейших штук. Хотя я едва стоял на ногах, но все же во мне осталось настолько смысла, чтобы прийти в негодование и подняться с места. Я начал ругаться и сказал, что я иду домой. Надо мной стали смеяться, говоря, что я не в состоянии пройти по комнате. Я ругался и утверждал противное. «Ну, черт с ним, пусть идет, если хочет»,— крикнул кто-то, и меня перестали удерживать. Я не в состоянии был застегнуть свой расстегнутый мундир, я кое-как накинул шинель и пошел. Друзья мои знали, что я никогда не имел денег, что я живу очень далеко, что ночью я могу попасть в полицию и угодить в кантонистское училище, в юнкера, могу быть выгнанным из корпуса. Но никто не тронулся с места, никто не проводил меня и не нанял мне извозчика. Ночь была темная, ненастная. Как я шел, как я добрел до дому, я теперь и сам не знаю. Должно быть, я несколько раз падал в грязь, потому что мое платье было все перепачкано. Вероятно, я спасся от глаз полицейских только потому, что мне пришлось идти по пустынным улицам Ямской и около Конной площади, где пьяные люди не возбуждают особенного внимания. Но как бы то ни было это путешествие, совершенное в несколько часов, останется навсегда в моей памяти; оно стоило долголетне-

го путешествия блудного сына, вернувшегося после долгих разочарований и потерь к порогу родного дома. С трудом добравшись до квартиры, я вошел в комнату отца и тяжело опустился на первый попавшийся стул. Я уже был не столько пьян, сколько измучен ходьбой и инстинктивным страхом. Отец еще не спал. Взглянув на меня, он сразу понял все. «Неужели они одного тебя отпустили?» — тревожно спросил он. «Одного»,— угрюмо и бессвязно ответил я. «Негодяи»,— проворчал отец и хлопотливо стал раздевать меня. Я сидел неподвижно в полудремоте и дал ему полную волю распоряжаться моей особой. Он раздел меня, снял с меня сапоги, снял чулки, вытер мои ноги, одел меня в сухое белье и, как ребенка, уложил в постель. Ни одного упрека, ни одного вздоха не долетело до меня. У меня началась икота, отец молча и заботливо принес мне воды, укутал меня в теплое одеяло и сел около постели. Я уснул тяжелым сном.

— Я воображаю, как тяжело было ему,— промолвила Катерина Александровна,— он в вас души не слышит...

— Когда я открыл глаза, было уже позднее утро. Отец сидел у моей постели, опустив на грудь голову. Как только он заметил, что я проснулся, он принял веселый вид и торопливо заговорил: «Сейчас чайку приготовлю. Ты не вставай, Саша. Ведь дома не в корпусе, можно и понежиться, не для чего с петухами подниматься. Ты в постели чайку напейся, это, знаешь, иногда хорошо. Надо же и посибаритничать!» Он суетился и шутил, но это были не его обыкновенные суетливость и веселость, это была маска, которой он хотел прикрыть от меня свои настоящие чувства. Я хотел было встать, но моя голова была тяжела, я чувствовал, что мое тело как будто разбито. Со стыдом в душе я должен был остаться в постели и видеть, как мне услуживал отец. Мне было бы легче вынести в эти минуты целую бурю брани и упреков, чем видеть его ласку, его хлопоты, его услужливость. Он наказывал меня своей добротой.

— Но теперь, Саша, вы не обвиняете его за это? — спросила Катерина Александровна.

— Я и тогда не обвинял его; я просто стыдился его и чувствовал, что никакие наказания не могли бы подействовать на меня так, как подействовала его ласка,— ответил Александр Прохоров.— Почти весь день пролежал я в постели. Отец читал мне вслух какую-то книгу, развлекал меня рассказами о местных новостях, шутил и острил,

как будто не случилось ничего особенного, как будто я не лежу с похмелья в постели. О прошедшей ночи не было и помину. Я был окончательно подавлен, унижен. Я не слышал, что он читал, я не понимал, что он рассказывал. В моей голове впервые зароились вопросы: действительно ли друзья мне эти люди, которые нянчутся со мной; имел ли я право променять на них своего отца и стыдиться его; не является ли он моим единственным другом, видящим в моем счастье все свое счастье, живущим моей жизнью? Мне вспомнилась возмутительная сцена, происходившая на глазах всех моих друзей; мне вспомнилась вся их бессердечная черствость, высказавшаяся ясно в ту минуту, когда они отвернулись от меня за то, что я не подчинился грязной выходке их патрона; мне вспомнилась встреча с отцом... Для меня все сделалось ясным. А в душе поднялись между тем упреки за то, что я, напившийся вчера мальчишка, так часто обвинял в душе за редкие случаи пьянства своего отца; упреки за то, что я, взлелеянный и вскормленный на последние гроши отца, стыдился его лохмотьев; упреки за то, что, в отплату за все его жертвы, за всего его лишения, я не только не отвечал ласками на его ласки, но старался даже избежать этих ласк, этого «миндальничанья», этого «сахарничанья», как выражались мои друзья, миндальничавшие и сахарничавшие со мной. Мне болезненно, мучительно хотелось попросить прощения у отца, хотелось покаяться перед ним во всем, но не хватало духу.

Александр Прохоров на несколько минут остановился. Катерина Александровна, опустив голову на руку, сидела в безмолвном раздумье. Каким-то теплом и светом повеял на нее этот рассказ, какое-то новое чувство к Александру Прохорову незаметно закралось в ее душу. Если бы этот человек в эту минуту вздумал обнять и прижать ее к своему сердцу, она беззаветно отдалась бы ему, она прижалась бы к этой теплой и честной молодой груди, как ребенок прижимается к груди матери. Теперь Александр Прохоров уже вполне казался ей не мальчиком, не младшим братом, но сильным и твердым мужчиной; он как будто вырос в ее глазах в эти минуты.

— Но подобные физические потрясения и нравственные переломы не всегда легко сходят с рук,— продолжал Александр Прохоров.— К вечеру у меня сделался жар и начался бред. Я захворал не на шутку. Отец совершенно растерялся; он почти не отходил от меня; он продал по-

следние крохи, чтобы добыть деньги на лекарство; он кланялся в приемных благотворителей, чтобы вырвать копейку для меня. Как он пережил это время, как он не сошел с ума, не запил с горя, это можно объяснить только силой любви, которая, мне кажется, может сделать труса героем, слабого человека мужественным бойцом. И никто, решительно никто во все время моей болезни не справился, жив ли я, не случилось ли чего-нибудь со мной, не нуждаюсь ли я в чем-нибудь. И то сказать — здоровый я мог интересовать друзей, больной я сделался им ненужен. Я, пожалуй, извинил бы их, если бы они были дети, но они были гораздо старше меня; они понимали свои отношения ко мне и лгали о своем бескорыстном расположении ко мне сознательно. Когда я поднялся с постели — я был уже здоров не только физически, но и нравственно. Я уже не помышлял даже об извинениях перед отцом, как помышлял об этом в начале болезни: я просто искренно и горячо отдался своей любви к нему, и я знаю, что эта горячая любовь лучше всяких извинений могла загладить прошлое и заслужить его прощение, если только он когда-нибудь сердился на меня.

Молодой человек умолк. Выражение его лица было оживленно, его серые глаза блестели, щеки слегка зарумянились, и в то же время каким-то светлым и мягким спокойствием веяло от всей его фигуры. Взглянув на его физиономию, можно было не ошибаясь сказать, что в его душе тепло, что в его голове нет ни одного грязного помысла, что в его речах нет ни слова лжи и лукавства. В эту минуту его можно было назвать красавцем.

— Берегите же отца, моя добрая,— проговорил он и поцеловал ее руку.

— Не бойтесь, я его не оставлю,— искренно промолвила Катерина Александровна.— Что бы ни случилось, я не расстанусь с ним.

Он не выпускал ее руки и тихо сказал:

— Теперь я совершенно спокоен. Он вас любит как дочь, и ваша ласка поддержит его...

Настало минутное молчание.

— Как тихо, как хорошо сегодня,— сказал он.— Кажется, давно уже не было такого ясного вечера... Когда-нибудь мы, может быть, будем вспоминать, как нам хорошо жилось в этот вечер.

— Да, Саша, я его не забуду,— тихо прошептала она.

Он пожал ей руку. В это время в комнату вошел Ан-

тон. Александр Прохоров быстро встал и подошел к мальчику.

— Наработался, голубчик? — спросил он и, притянув к себе мальчугана, покрыл его лицо горячими, страстными поцелуями.

Он снова сел к окну против Катерины Александровны и, обняв одной рукой Антона, усадил его к себе на колени.

— Вот так хорошо,— говорил он, лаская мальчугана.— Теперь мы все трое проведем последний вечер старой жизни.

— Разве ты уже завтра уезжаешь? — спросил Антон.

— Нет, но теперь начнутся хлопоты и едва ли нам удастся остаться снова втроем,— ответил Прохоров.

Все опять умолкли. У каждого роились какие-то смутные думы; им не хотелось говорить; им просто хотелось молча посидеть вместе в тесном кружке. Они не слышали, как заглянула в комнату Марья Дмитриевна, как она начала возиться с самоваром, как возвратился из гостиного двора штабс-капитан со своим младшим сыном.

— Что присмирели, птахи? — весело проговорил он, появляясь в свою комнату.— Опять затосковались?

— Нет, отец, мы, напротив того, отбросили всякую тоску и наслаждались затишьем,— проговорил Александр Прохоров.— Вечер чудесный.

— Да, да, теплынь стоит,— сказал штабс-капитан и подсел к кружку.— А маленькое дитятко на ручки забралось,— пошутил он, трепля по плечу Антона.

— Да, вот как ты меня в его годы иногда усаживал к себе на колени,— с ласковой улыбкой промолвил Александр Прохоров.

Старик улыбнулся.

— Да, тоже баловень был,— шутливо заметил он.

Всем было как-то особенно хорошо.

— Самовар готов,— сказала Марья Дмитриевна, появляясь в комнату.

— Ну, сегодня мы здесь напьемся,— сказала Катерина Александровна.— Не правда ли, Флегонт Матвеевич, здесь лучше?

— Да, да, у меня в гостях,— обрадовался старик и торопливо стал открывать ломберный стол.

— Посмотри же, что мы закупили с отцом,— сказал младший Прохоров брату.

— Чего же смотреть? — ответил тот.— Все, вероятно, отлично.

— Тряпочки, тряпочки разные,— проговорил Флегонт Матвеевич, махнув рукой.— Успеем еще заняться ими. Теперь главное гостей угостить,— шутил он.

Вечер шел живо и весело, это был действительно последний вечер, которым оба семейства бестревожно и празднично закончили свою дружескую жизнь вместе. В следующие дни начались хлопоты, беготня, заботы о мелочах, необходимых для двух уезжающих в полк братьев; все суетились, бегали и сходились вместе как-то урывками, на минуту.

Наконец настал день отъезда. Все старались быть бодрыми, хотя у всех щемило сердце; все старались улыбаться, хотя у всех были красные глаза. Марья Дмитриевна бегала более всех и все заботилась, не забыли ли чего уложить. Равнодушнее всех относились к укладке вещей Александр Прохоров и Катерина Александровна. Наконец все было уложено, все было переговорено, все уселись...

— Ну, прощай, отец! — произнес Александр Прохоров и обнял старика.

Тот так и замер на груди сына. Сын безмолвно прижал свои губы к его седой голове. Когда старик поднял голову и крепко поцеловал сына в губы, грудь на пальто Александра Прохорова была вся смочена слезами.

— Прощай! Береги брата, брата береги! — с усилием пробормотал старик, отрываясь от старшего сына, и обнял младшего.

Прощаясь с ним, он не мог удержаться от рыданий и целовал и крестил его, как ребенка.

Марья Дмитриевна, Миша, Антон — все горячо и со слезами обнимали уезжающих. Наконец Александр Прохоров подошел к Катерине Александровне. Он протянул ей руку и притянул ее к себе, обвив ее талью левой рукой. Они как будто замерли в долгом горячем поцелуе. Александр Прохоров забыл всех и все; он целовал глаза и руки молодой девушки; он не мог наглядеться на нее.

— Никто как бог, никто как бог,— задушевно проговорил штабс-капитан, подходя к ним,— увидитесь... все увидимся.

Старику, по-видимому, все стало ясно. Он взял Катерину Александровну и обнял ее одной рукой.

— Мы с нею будем поджидать тебя,— ласково промолвил он старшему сыну.

Тот сжал руки отца и тихо наклонился к Антону.

— Пиши, милый,— проговорил он почти шепотом, едва удерживая душившие его слезы.

— Уж ты не бойся, буду писать,— ответил мальчуган.

— И об отце и о ней также,— тихо добавил Александр Прохоров.

— Хорошо!

Все вышли из квартиры. Никто не хотел отпустить дорогих уезжающих, не проводив их...

Когда семья Прилежаевых и штабс-капитан возвратились домой и уселись вечером за чай, им показалась както пустынна и безлюдна их квартира, точно они осиротели. Тихо лились их речи.

— Где-то теперь наши? — говорил штабс-капитан.

— А долго ли им, голубчикам, ехать-то придется? — спрашивала Марья Дмитриевна.

— Я думаю, и они теперь нас вспоминают,— заметила Катерина Александровна, стараясь угадать, что думает, о чем говорит тот, которого она так горячо любила.

— Погоди, узнаем все, он мне обо всем напишет,— успокоил ее Антон, не без гордости упомянувший о своей будущей переписке с юным офицером.

Далеко за полночь шли эти толки, никто не думал о сне; казалось, что все старались сплотиться теснее и боялись разойтись по своим углам, чтобы не остаться совершенно одинокими.

Молчаливее и задумчивее всех была Катерина Александровна; порой ей казалось, что, если бы Александр Прохоров мог взять ее с собой, она бросила бы всех и все и ушла бы за ним.

Она уже не сомневалась, что она его любила, любила больше матери, больше брата, больше всего на свете.

V

НАЧАЛО КОНЦА

Опять настало лето, опять начались переделки в приюте, наступила пора «постройки» одежды. Среди хлопот и волнений особенно озабоченной выглядела Зорина; она часто совещалась с Зубовой, и последняя приняла какой-то зловеще-торжествующий вид. Катерину Александровну старуха Зорина перестала приглашать к себе и как-то старалась избегать ее. Из разных намеков и колкостей Зубо-

вой молодая девушка поняла, что Зубова сильно интригует против нее. Она вообще привыкла равнодушно относиться к приютским сплетням и интригам, и ее удивляло только то, что Зорина, ненавидевшая Зубову, по-видимому, поддалась последней. Привыкнув давно к разным случайностям, Прилежаева не старалась ломать голову над разрешением вопроса, почему произошла перемена в обращении Зориной с ней и с Зубовой. Катерину Александровну занимали теперь более близкие ее сердцу и более светлые мечты и думы. Она думала о *нем,* думала, как он вернется, как они вместе будут работать, как он поможет ей выбиться из тяжелого и необеспеченного положения в приюте. Несмотря на тревоги за его участь, несмотря на постоянное волнение при каждом известии с поля военных действий, молодая девушка была счастлива, и светлое чувство редко покидало ее. Она как будто расцвела в это время, сделалась еще прекраснее; ее лицо дышало жизнью и энергией. Она любила. Эта любовь охватывала и оживляла все ее существо. Но порой рядом со светлыми мечтами пробуждались в ней и мрачные предчувствия. Она старалась разогнать их, усиленнее работала, перечитывала письма, полученные от него, избегала одиночества и окружала себя детьми, развлекавшими ее своей болтовней. В эти минуты наблюдатель мог бы легко заметить, что у этой, по-видимому, веселой и беспечной девушки нервы находятся не в порядке, что ее душа неспокойна и напряженно ждет чего-то. При таком настроении все дрязги будничной жизни казались ей слишком мелкими, слишком ничтожными.

— Милочка, посмотрите вы, пожалуйста, на нашу «красавицу»,— желчно говорила Постникова Зубовой,— она земли под собой не слышит.

— Как же, офицершей скоро сделается,— смеялась Зубова.— Ведь ее кадет-то в полк вышел, мне наша прачка говорила.

— Да что это, душа моя, она ведь, верно, завивается. Вы взгляните, какой завиток у нее на лбу.

— Как же, нельзя не пококетничать! — хохотала Зубова.— Может быть, другого еще подцепить на случай хочет.

Обе девственницы возмущались и красотой, и кокетством, и «развратом» Катерины Александровны. А она продолжала не обращать на [illegible] внимания. Впервые при-[illegible] ей снова столкнуться с ними при сдаче постельного

и детского белья. Пересчитывая белье, Катерина Александровна заметила Зубовой, что белье еще не все, так как недостает всего по одной смене.

— Ну, уж это не ваше дело,— возразила Зубова насмешливым тоном.

— Кроме того, вы старое белье смешали с новым,— промолвила Катерина Александровна.

— Значит, так надо, вас ведь не спросят. Это мое и Анны Васильевны дело.

— Я не думаю, чтобы Анна Васильевна стала отдавать детям лохмотья вместо нового белья.

— А вы спросите ее,— рассмеялась Зубова.

— Конечно, спрошу.

Прилежаева отправилась к Зориной и объяснила ей, в чем дело.

— Ах, что вы мешаетесь не в свои дела,— раздражилась старуха.— Нельзя же все новое шить детям.

— Но мы должны же сделать законное число перемен белья.

— Мы, мы! — сердито повторила старуха.— Кто это мы? Уж не вы ли? Кажется, белье лежит на моей ответственности и на ответственности Зубовой.

— Я думаю, мы все должны заботиться о детях.

— Ну, предоставьте это мне как начальнице. И вообще я попрошу вас не мешаться в мои дела. Вы слишком своевольничаете.

Катерина Александровна пожала плечами и вышла. Она поняла, что тут просто-напросто совершается кража. Приходилось или молчать и оставить детей ходить в дырявых рубашках и юбках, или донести на начальницу. Всевозможные подкопы и интриги были не в характере Катерины Александровны; ей самой пришлось испытать много неприятностей от шпионов, и потому она чувствовала отвращение ко всякого рода доносам. Но ее все-таки сильно волновала совершаемая в ее глазах кража. Она стала пристальнее вглядываться во все и с удивлением заметила, что положение приюта в последнее время значительно ухудшилось. Воспитанницам не сменяли белья по две недели, пища сделалась еще хуже, чем прежде, иногда от нее просто тошнило. Кроме того, Зубова, сделавшаяся первым министром Зориной, воевала в приюте на каждом шагу. Зорина, за каждую шалость воспитанниц нападавшая прежде на помощниц, теперь, напротив того, смотрела сквозь пальцы, как помощницы притесняли вос-

питанниц. Уже в самом начале лета Зубова собственноручно высекла одну маленькую девочку; потом был еще один подобный случай; наконец в один прекрасный летний день, по распоряжению Зубовой, должен был собраться весь приют для присутствования при экзекуции, которую хотели совершить над взрослой воспитанницей Поповой. Катерина Александровна, еще не забывшая историю Скворцовой, не выдержала и отправилась к Зориной.

— Что это, Анна Васильевна, у нас делается? — проговорила она в сильном волнении.— Приют обратился в какой-то съезжий двор, где только порют людей.

— Пожалуйста, выражайтесь поосторожнее,— заметила старуха, рассерженная резким тоном Прилежаевой.— Если секут девчонок, значит, они стоят того...

— Совсем не значит. Попову секут за то, что она сказала вчера, что в приюте всякой дрянью из помойных ям кормят. Но ведь действительно обед был отвратительный.

— Ах, боже мой, не трюфелями же кормить из девяти копеек!

— Но и не гнилой капустой. Прежде вы сами...

— Да, пожалуйста, не рассуждайте! Эта мерзавка всех всполошила вчера. Бунтоваться вздумали туда же.

— Еще бы не бунтоваться, если их отравляют!

— Идите вон!

— Я этого так не оставлю! Приют не притон для воров...

— Да вы... да вы... знаете ли, с кем вы говорите! — воскликнула Зорина.— Я вас уничтожу, я завтра же вышвырну вас отсюда.

— Ну, посмотрим! Если дело дойдет до этого, то я не остановлюсь ни перед чем.

Зорина побледнела.

— Что же: уж не доносить ли станете? — саркастически спросила она.

— Я буду только платить той же монетой, которой платят мне,— сухо ответила Прилежаева.— Но прежде чем я выйду отсюда, вы должны отменить наказание Поповой.

— Этого не будет!

— Анна Васильевна, вы подумайте,— серьезно произнесла Прилежаева.— У меня в руках есть доказательства, которые заставят серьезно взглянуть на дело... Я вам го-

ворю, что я не остановлюсь ни перед чем... Вы знаете, я в прошлом году не испугалась самой графини, а вас-то уж, конечно, я не побоюсь...

— Ну, княгиня увезла с собой вашу покровительницу горничную...

— Вы ошибаетесь, что мне нужно чье-нибудь покровительство; за меня в настоящем случае будут говорить мои доказательства...

— Ну, мы посмотрим, кто выиграет... Одно могу сказать вам, что вы здесь не останетесь более...

Катерина Александровна вышла. Через несколько минут Зорина потребовала к себе Зубову. Прошло около часу, Зубова не являлась с совещания; в приюте царствовала гробовая тишина, все ждали чего-то недоброго, видя встревоженное лицо Катерины Александровны и зная, что через час должно начаться сечение. Наконец в класс явилась Зубова; она была красна, как вареный рак, и на ее лбу выступил пот.

— Тебя прощает Анна Васильевна,— проговорила она, обращаясь к Поповой.— Ступай в класс и сиди там на хлебе и на воде до вечера,— толкнула она воспитанницу в спину.

У Катерины Александровны как гора свалилась с плеч.

— У нас нынче новое занятие нашли себе некоторые люди: доносы писать вздумали,— злобно прошипела Зубова, обращаясь к Постниковой.

— Фи, мерзость какая! — ужаснулась Постникова.

— Это совсем не новое занятие,— промолвила Катерина Александровна.— У нас только этим да кражею и занимаются.

— Ах, я боюсь с вами говорить! — насмешливо воскликнула Зубова.

— А я нисколько не боюсь, но не хочу говорить с вами, и попрошу вас не только не говорить со мной, но даже не говорить и обо мне,— сухо произнесла Прилежаева.

— Ну, ведь и про царя говорят!

— А про меня я все-таки попрошу вас не говорить.

Катерина Александровна вышла.

— Подлая, подлая! Мерзавка! — разлилась Зубова в ругательствах.— Доносить вздумала, доносить!

— Неужели же ее испугаются! — воскликнула Марья Николаевна.

— Да попробуйте не испугаться, когда по горло в долги вошли и не можем даже белья пополнить.

— Можно сказать, что оно не готово еще...

— А вы разве не знаете, что на старом белье вытравлены клейма и на место их наложены новые? Разве трудно доказать? Ведь она не посовестится, подлая тварь, прачек в свидетельницы позовет...

— Ну, душа моя, им стоит по рублю подарить, и они против нее же пойдут.

— По рублю! Да одной Анисье Анна Васильевна двадцать пять рублей должна! Что же для Анисьи рубль-то значит? Нет, мерзавка знала, какое время выбрать, чтобы запугать нашу-то... Мне, конечно, чего бояться, я суха выйду, мне приказывали так делать — я и делала.

— Ах, какая низкая, низкая она! И как можно было этого ожидать? А я так ее любила.

— Ну, да вы уж всех обожаете!

— Нет, вы не говорите!.. Я просто не знаю, как можно было так маскироваться... У нее просто ничего святого нет...

— Чего святого! Безбожница просто!

Обе девственницы не знали, что выдумать про Катерину Александровну, и ругали ее взапуски. А время ежегодной ревизии между тем было уже на носу. Зубова, Постникова и Зорина ежедневно совещались между собой, как бы устроить дело. Наконец Зубова придумала средство удалить Катерину Александровну. Она посоветовала Зориной дать помощницам недельные отпуски и сначала отпустить Катерину Александровну, чтобы она провела время ревизии вне приюта. Зорина обрадовалась этому плану. Несчастная старуха в сущности очень сильно страдала в это время. До сих пор она кое-как сводила концы с концами и иногда из собственного жалованья и пенсии дополняла передержки против сметы по приюту. Теперь же у нее не было ни жалованья, ни пенсии и были неоплатные долги. Ее гордость сильнее всего страдала при мысли, что ее, Зорину, сочтут воровкой, что ее позорно изгонят из приюта, если откроют все, что она старалась скрыть. Кроме того ей самой было гадко, что она поневоле попалась в грязные руки таких ненавистных ей женщин, как Зубова и Постникова, и что она отдалилась от Прилежаевой, которую в душе она все-таки считала вполне честной и хорошей девушкой. План Зубовой подал ей кое-какую надежду спастись от позора, хотя он и не при-

мирил ее с собственной совестью. Оставалось только объявить об отпусках. Но как это сделать? она была не в силах лично переговорить с Прилежаевой; Постникова с институтским жеманством и брезгливостью отказывалась от переговоров с этой «низкой, низкой женщиной»; пришлось прибегнуть к помощи ничем не брезгующей Зубовой. Она взялась уладить дело и в тот же день заговорила за ужином:

— А нам нынче, Марья Николаевна, добрая Анна Васильевна дает недельные отпуски!

— Ах, добрая, добрая! Вот это мило! — по-детски зарадовалась Марья Николаевна, хлопая в ладоши.

— Сначала Катерина Александровна получит отпуск с нынешней субботы, потом вы, а там и я отдохну.

Катерина Александровна удивилась этому необычайному известию и обрадовалась в душе возможности отдохнуть. Но через минуту ее поразили особенная веселость и добродушие Зубовой. В ее уме зародилось какое-то подозрение. «Отчего же это меня первую хотят отпустить? Уж не новые ли интриги затевают они? Может быть, скажут, что я небрежно служу и все гуляю? Не лучше ли сначала предложить им взять отпуски?»

— Я желала бы после всех воспользоваться отпуском,— проговорила она.

— Ну нет, этого нельзя, вы моложе всех, вам первым и дают отпуск,— ответила Зубова.

— Ну, это пустая причина; можно начать со старших, то есть с вас.

— Да понимаете, что мне нельзя; я должна здесь быть при ревизии,— запальчиво возразила Зубова.

Катерину Александровну озарила новая мысль; она яснее поняла, в чем дело. «Так и есть,— промелькнуло в ее голове.— Отпускают меня, чтобы нажаловаться на меня ревизорам во время моего отсутствия».

— Ну, так, значит, мне не придется воспользоваться отпуском,— равнодушно сказала она.— Отпуск был бы для меня приятен только в конце лета, а не теперь.

— Ну, да уж если дают отпуск, так нужно его брать,— резко произнесла Зубова.— Добрая Анна Васильевна хлопочет о нас, а уж нам не приходится огорчать ее.

— Я очень ей благодарна и не думаю, чтобы она огорчилась тем, что я не уеду отсюда.

— Вы все хотите по-своему делать!

— Ведь и вы не пляшете под чужую дудку,— холодно ответила Прилежаева.

Зубова пришла в ярость.

— Вас заставить бы нужно взять отпуск,— заговорила она, выходя из себя.— Вы все наперекор хотите делать... Вам бы совсем следовало выйти отсюда...

— Так вам, значит, очень нужно, чтобы я удалилась на две недели ревизии? — нервно засмеялась Катерина Александровна, вставая из-за стола.— Ну так знайте, что я именно потому и не беру отпуска, что в это время будет ревизия.

Зубова побагровела от злости.

— А, так вот оно что! — прошипела она.— Опять за старое хотите приняться. Посмотрим!

— Да, да, посмотрим,— улыбнулась Катерина Александровна.

Через пять минут Зориной передали все. Она упала духом. В первую минуту она готова была позвать Катерину Александровну и объясниться откровенно, но самолюбие одержало верх над минутной решимостью и старуха, приняв холодный вид, промолвила Зубовой:

— Ну что ж, пусть остается, если хочет...

— Но ведь она донесет на вас,— возразила Зубова.

— Что ж делать? Пусть доносит! — махнула рукой старуха.— Скорей бы все это кончилось!.. Надоел мне этот омут!..

Прошло дней пять, Зорина ездила повсюду занимать деньги, но все попытки оказались тщетными. Она и без того была должна всем и за все. Настал день ревизии. В приюте появились угрюмый, озабоченный своими биржевыми спекуляциями Грохов, престарелый, едва передвигающий ноги генерал Свищов со звездой на груди и юный, суетливый помощник Боголюбова Ермолинский, служивший где-то чиновником по особым поручениям и числившийся с недавнего времени секретарем благотворительных заведений Белокопытовых. В приюте все было тихо и торжественно. Помощницы скромно потупляли глаза, Зорина приняла важный официальный вид. На столах и на постелях виднелись связки белья. Начался пересмотр и счет вещей. У Катерины Александровны замирало сердце, точно для нее решался вопрос жизни. Она была с воспитанницами в рабочей комнате и не знала, что делалось в спальне, где собрались ревизоры.

— Здесь недостает одной смены,— хмуро проговорил Грохов, рассеянно рассматривая белье.

— Да еще не успели построить,— ответила Зорина.

— Нато било торопиться. Ведь ви знайт, что в это время будет ревизовка,— внушительно ответил эскулап.

— Детей мало осталось в приюте, все в отпуску, не поспевают шить,— оправдалась Зорина.— Впрочем, работа уже роздана, вот и еще кусок холста, приготовленного для белья...

Она показала на тощий кусок нераскроенного холста. Во все время этого разговора престарелый господин со звездой на груди апатично и безучастно стоял у стола и только похлопывал глазами, ожидая, скоро ли кончится осмотр всех принадлежностей детского белья и настанет минута отъезда. Юный вертлявый помощник Боголюбова между тем углубился в рассматривание какой-то простыни и поворачивал ее во все стороны, смотрел на свет, подносил к самым глазам и возился с ней, как с какой-нибудь антикварской редкостью. Он был новым лицом в администрации благотворительных заведений и еще не успел ничем отличиться. Наконец он взял простыню в виде портфеля под мышку и быстро бочком направился с нею к господину со звездой.

— Ваше превосходительство,— послышался его тихий голос.

— Гм,— кашлянул господин со звездой, словно очнувшись от тяжелой дремоты, и заморгал усиленнее глазами.

— Посмотрите, ваше превосходительство,— шептал молодой человек.

— Гм, гм,— два раза кашлянуло его превосходительство и попробовало, не моргая, вперить свои глаза в простыню.

— Пятно, ваше превосходительство,— шептал молодой человек, извиваясь с простыней в руках перед его превосходительством.

— Угу,— пробормотало его превосходительство и сочло нужным нахмурить брови и поднести к глазам лорнет.

— Это знак, ваше превосходительство,— проговорил молодой человек и что-то быстро зашептал на ухо его превосходительству.

— Зна-ак,— повторил наконец генерал, как будто до его слуха только теперь долетело первое слово предупредительного молодого чиновника по особым поручениям.

— Холст ветхий... очевидно, старое... подлог... Нельзя допустить... грабеж,— шептал молодой человек, растягивая перед носом его превосходительства роковую простыню.

— Н-да... грабеж,— апатично повторил генерал Свищов и вдруг усиленно заморгал глазами и выпрямился.— Как же это? — заговорил он густым басом и принимая грозный, внушительный вид.— Грабеж... этого нельзя допустить... это очевидно... Я не могу этого допустить... А? — громко спросил он вдруг, обернувшись к безмолвно стоявшему сзади него молодому человеку с простыней, точно спрашивая, что говорить дальше.

— Его превосходительство находят, что эта простыня старая, на ней уничтожено клеймо и положено новое,— вкрадчиво и вежливо заговорил молодой человек, несколько боком выдвигаясь вперед.— Его превосходительство и я, мы думаем, что нужно внимательнее пересмотреть каждую простыню, может быть, это не единичный факт.

— Гм... да... может быть, это не единичный...— отрывисто пробасил генерал.— Не единичный... А? — снова обратился он к молодому человеку, тупо глядя ему в глаза.

Зорина тихо взялась за спинку кровати, чувствуя, что ей изменяют ноги. Для нее было все потеряно.

Зубова кусала себе губы, Постникова стыдливо опустила глаза. Генерал, убежденный, что он распек кого следует, снова задремал, устремив взоры куда-то вдаль и моргая отяжелевшими веками.

— Пойдемте, ваше превосходительство,— вежливо обратился к генералу молодой человек.

— А, да!.. Фу!.. кончили,— пробормотал старец, глубоко вздыхая после непомерных трудов по ревизии.

— Нет-с, ваше превосходительство, мы еще только начинаем,— с тонкой и безобидной улыбочкой проговорил молодой ревизор.— Белье нужно подробно осмотреть.

— Да... белье...— пробормотал генерал и вдруг оживился.— А знаете, это нужно бы дамам поручить,— проговорил он на ухо юному ревизору.— Белье, разные этакие тайные принадлежности... Хоть и дети, а все-таки женский пол... Нескромно немножко...

Старческое лицо генерала осклабилось сладкой полудетской улыбкой, и в его тусклых глазах блеснул слабый огонек.

— Что делать, ваше превосходительство, долг службы! — пожал плечами молодой человек.

— А, да!.. Долг службы! — многозначительно подняло его превосходительство кверху указательный палец и, шаркая ногами, потащилось за юным чиновником.

Одна роковая простыня натолкнула ищейку ревизора на все остальные упущения. Юный чиновник чуть не лазал под кровати в пылу ревизорского рвения. Он переворачивал каждый платок, каждую юбку, с его лица катился обильный пот. Самой блаженной минутой в этот день была для него та минута, когда он нашел недосмотры в связках белья, уже осмотренных Гроховым.

— Помилуйте, да вы совершенно поверхностно осматривали все это,— обратился он к Грохову.

Доктор тупо заморгал глазами.

— Я уверен, ваше превосходительство, что и в прошлые годы многое было недосмотрено,— обратился юный делец к генералу Свищову.— Вот-с эти простыни, эти юбочки...

— А, юбочки,— машинально пробормотал генерал.— Ну, покажите мне юбочки...

Молодой ревизор предупредительно исполнил желание генерала. Старик как-то особенно повертел перед собой поданную юбку и для чего-то опустил ее так, что ее пояс пришелся как раз у края его жилета.

— Коротки,— лаконически заметил генерал, заглядывая сверху на закрывавшую его немного пониже колен юбку.

— Это ведь детская,— заметил юный ревизор.

— А, да, детская!

Вероятно, ревизия никогда не кончилась бы, если бы юный ревизор не решился оставить генерала Свищова. Он, по-видимому, мысленно махнул рукой на старика и стал распоряжаться вполне самостоятельно. Он проюркнул в рабочую комнату, где были собраны воспитанницы, и тонко стал расспрашивать, довольны ли они пищей.

Дети молчали.

— Что же? Довольны? — спросил юный ревизор.

Молчание продолжалось. Девочки толкали одна другую в бок и жались, как стадо испуганных овец. Вдруг из толпы детей выступила вперед одна девочка и бойко проговорила:

— Мы недовольны.

— Да, недовольны, недовольны! — наперебой заговорили разные голоса.

— Говори же, что недовольны,— слышался чей-то

громкий шепот.— Что же ты молчишь? — раздавалось в другом конце.

— Нам гнилой картофель дают... Масло горькое... Щи, как помои...

В эту минуту в рабочую комнату вошли Грохов и старый генерал, сопровождаемые властями приюта.

— И дети недовольны пищей, ваше превосходительство,— поспешно обратился к генералу юный чиновник.— Скажите хоть вы, что вам дают,— обратился он к бойкой девочке, заявившей прежде других неудовольствие.

Это была Попова, которую недавно хотели сечь за бунт.

— К сожалению, вы выбираете такую воспитанницу, которая недовольна мной за то, что я ее недавно наказала за дурное поведение,— вмешалась Зорина.— Я сама могу вам сказать, что пища детей, конечно, не походит на ту пищу, которую привыкли есть мы с вами. Но ведь на девять копеек нельзя покупать дичи.

— А тут дело-с не о дичи идет,— скороговоркой заговорил юный ревизор.— Если нельзя кормить на эти деньги, зачем же вы брались?.. Вы знали-с, что вам придется не на рубль, а на девять копеек кормить...

— Говорите его превосходительству, чем вы недовольны,— обратился он к Поповой.

— Да, да, говорите, милочка! — пробормотало его превосходительство, захватив тремя пальцами подбородок Поповой и впиваясь в ее смуглое личико своими заблестевшими глазами.

Попова раскраснелась и сбивчиво начала говорить. Когда дело дошло до того, как ее хотели наказать за жалобу на дурную пищу, Зубова не выдержала и вмешалась в разговор.

— Ее, ваше превосходительство, совсем не за то хотели наказать. Она, к сожалению, очень дурно себя ведет,— начала она задыхающимся голосом.

— Это неправда! — резко прозвучал голос Катерины Александровны.

Все обратили на нее глаза. Генерал, с не свойственной в его лета живостью, поднял дрожащей рукой к глазам лорнет и вперил взоры в молодую девушку.

— Ее хотели сечь именно за то, что она пожаловалась на дурную пищу. Она ведет себя отлично,— горячо продолжала Катерина Александровна, не обращая внимания на лорнирующего генерала.— Ее хотели сечь при всех.

— Как при всех?.. И при мужчинах? — широко открыл засверкавшие глаза генерал.

— Нет, при детях...

— А, ну да, ну да! — пробормотал старец.— Но это неприлично... неприлично...

— Так вы тоже сознаете, что в приюте дурно кормят? — спросил юный ревизор у Катерины Александровны, щуря глаза.

— Я сознаю, что здесь все дурно,— ответила она.— Хотя трудно сделать, чтобы здесь что-нибудь было хорошо при тех средствах, которые отпускаются на приют.

— Однако вы изволили молчать о том, что все идет здесь дурно,— колко заметил юный ревизор, решившийся не спускать никому и сразу выдвинуть себя в глазах высших лиц.

— Напротив того, я все уже объясняла несколько раз княгине Гиреевой.

— Ну, видите, видите, объясняли,— заступническим тоном проговорил генерал.

— И ваши жалобы на начальницу остались без последствий? — спросил юный ревизор.

— Я жаловалась не на начальницу,— сухо ответила Катерина Александровна.— Начальница ничем не виновата, а я просто в разговорах с княгиней говорила, что приют не может содержаться на свои скудные средства.

Юного чиновника поразил холодный тон молодой девушки.

— Вы знакомы с княгиней?

— Да, я бываю у нее,— уклончиво ответила Катерина Александровна.

— Очень жаль, что вы действовали помимо управления, помимо нас,— внушительно заметил юный ревизор, считавший долгом вежливо распечь всех и за все.— Вы должны были знать, что у вас есть ближайшее начальство. Тут нужно не подпольные интриги заводить, а прямо исполнять свои обязанности... Вы должны были объяснить все нам...

— С вами я не говорила, так как вы только вчера, кажется, вступили в управление, но я уже несколько раз говорила обо всем этом с моим дядею,— ответила Катерина Александровна, увидав необходимость осадить расходившегося юношу.— И это все-таки не повело ни к чему.

— С каким дядею? — нахмурился юный чиновник.

— С Данилом Захаровичем.

Ермолинский широко открыл глаза и не вдруг нашелся, что ответить. У него внезапно пропала охота распекать Прилежаеву.

— Вы, вы племянница нашего милого Данилы Захаровича,— скороговоркой заговорил генерал по-французски.— Очень рад, очень рад!.. Как это он не познакомил... Ах, греховодник!

Старик оживился и крепко сжал руку Катерины Александровны.

— Надеюсь, надеюсь, что мы будем знакомы... Ах, греховодник, греховодник!.. Прятал от меня, прятал!

Генерал совершенно расцвел и позабыл про ревизию, про приют, про оказавшиеся оплошности. Зубова, Постникова и Зорина с различными чувствами, но с одинаковым изумлением смотрели на Катерину Александровну. Юный чиновник и Грохов снова занялись продолжением ревизии, но Свищов уже не мог оторваться от Прилежаевой. Он рассыпался в французских фразах и любезностях.

— Я, генерал, очень плохо понимаю французский язык,— заметила Катерина Александровна.

— О, ваша русская речь лучше всех языков в мире! — воскликнул старый волокита.— И как это наш старый греховодник забыл вас показать нам!

Свищов, по-видимому, был очень важным лицом и смотрел на Данилу Захаровича покровительственно.

— Я почти не бываю у дяди,— заметила Катерина Александровна.

— Ну да, ну да, вероятно, тетушка боится, что вы ее затмите... Между нами, она ведь совсем не хороша. Вульгарное что-то, знаете, во всем... во всем... знаете...

Генерал повертел в воздухе рукою, желая яснее высказать, в чем заключается вульгарность Павлы Абрамовны.

— Но зачем же вы здесь? Разве здесь ваше место? — начал он.

— Что ж делать, если лучшего места не могу занять! — ответила Катерина Александровна.

— Ну-у! — усмехнулся генерал.— Не говорите, не говорите этого!

— Ваше превосходительство, мы кончили,— почтительно объявил Ермолинский.

— Хорошо, хорошо!.. Так уж будто и нельзя найти лучшего места? — нежно промолвил Свищов Катерине

Александровне, щуря масляные глаза и в волнении играя лорнетом.

— Нельзя,— пожала плечами Катерина Александровна.

— А может быть, и можно.

— Вы едете, ваше превосходительство? — нетерпеливо спросил юный ревизор.

— А, да, да! — очнулся генерал от сладких ощущений.— Нечего делать, надо ехать... Надеюсь, что будем знакомы? — обратился он к Катерине Александровне.— А я распеку старого греховодника, распеку, когда приедет... Цветок, цветок, а он скрывает, прячет! И от кого же? От меня?

Генерал сжал руку Катерины Александровны, подержал ее в своих дрожащих руках и с сияющим лицом вышел из приюта. Он был доволен ревизией.

— Я этого никак не ожидал,— говорил ему юный чиновник, сидя в его карете.

— И я, и я! Мы сошлись с вами. Это удивительно, просто удивительно! — говорил генерал.

— Не удивительно, а возмутительно, ваше превосходительство!

— Ну да, возмутительно, если хотите! Знал, под рукой имел и ни слова, ни намека... Да я просто сердит, сердит на него...

— На кого это, ваше превосходительство?

— Да на кого же, как не на Боголюбова...

— Вы разве думаете, что он все знал?

— Да как же, батюшка, не знал?.. Кому же и знать, как не ему... Она его родная, слышите, родная племянница, а вы сомневаетесь в том, что он ее знал?

Юный чиновник с удивлением вытаращил глаза.

— Мы, кажется, о различных предметах говорим,— почтительно возразил он.— Я насчет упущений. Я очень недоволен сегодняшним днем...

— Ну, нет-с, этого я не могу сказать. Я доволен этим случаем,— заспорил генерал.— Очень доволен!

— Конечно, им можно будет воспользоваться.

— А! вот это верно! Это удачно сказано! Именно воспользоваться! — обрадовался генерал.— Не правда ли, это восхитительное явление, это что-то... что-то... неземное... А?

Юный чиновник захлопал в недоумении глазами и мысленно послал к черту своего спутника.

— А ведь признайтесь, у вас сердчишко тоже не па месте! — снисходительно пошутил генерал.— Только, батенька, нет!.. Гуляйте подальше!.. Я первый открыл...

— То есть, как же, ваше превосходительство? — опечалился Ермолинский.

— Да, да, да!.. Я первый — мне и лавры победы...

— Но я хотел от себя составить доклад обо всех упущениях,— несмело произнес начинающий делец.

— Об упущениях? Да, да, составьте! Об упущениях? Да составьте! — поощрил генерал.— Вы удивительно способны к этого рода деятельности. Я первый, я первый засвидетельствую. Соображение это у вас... помните... знак, на простыне знак? А, это гениальная черта!.. Все смотрим, никто ничего не замечает, а вы: знак!.. Удивительно!.. Я вам очень, очень благодарен.

Этот интересный разговор продолжался довольно долго и, выходя из кареты, юный чиновник был уверен, что он склонил генерала не присваивать себе его заслуг, а генерал был убежден, что он своим обещанием протежировать возникающему дельцу подкупил его в свою пользу и заставил отречься от видов на юную обольстительницу.

В приюте началось смятение. Все чуяли что-то недоброе. Анна Васильевна затворилась в своих комнатах; дети не то боялись, не то радовались, ожидая, что сменят начальницу; две старые девственницы, сидя у окна, перешептывались между собой. Неспокойна была и Катерина Александровна: она понимала, что открытые плутни могут кончиться изгнанием из приюта Зориной, но не радовалась этой перемене, зная очень хорошо, что лучше в приюте не будет, что улучшение участи детей зависит не столько от личности той или другой начальницы, сколько от самого устройства приюта. Действительно, какова бы ни была начальница, в приюте все-таки будут учить только шитью, будут кормить только дрянью из девяти копеек, будут сечь детей, так как именно этого требуют попечители приюта, смотрящие с презрением на «этих испорченных девчонок». Сидя в раздумье за своею работой, Катерина Александровна внезапно была поражена восклицанием Зубовой:

— Смотрите, смотрите, Марья Николаевна, в коляске едет!

— Ах, срамница! И шагом, шагом едет, чтобы мы видели,— всплеснула руками Марья Николаевна.— Отлич-

но, отлично! Нечего сказать, по хорошей дорожке пошла! Молодчика подхватила...

Катерина Александровна взглянула в окно и замерла: перед домом ехала коляска, в ней сидел какой-то небрежно развалившийся юноша рядом с роскошно одетой девушкой; в этой девушке нетрудно было узнать Скворцову. Она что-то рассказывала своему спутнику, со смехом указывая на приют. Он лениво улыбался.

— Что же вы не кланяетесь? Это ваша протеже,— обратилась Зубова к Катерине Александровне.— Вот теперь всех нас погонят отсюда, так попросите у нее пристанища: хорошие знакомые!

Катерина Александровна не ответила ни слова; у нее болезненно сжималось сердце. Она поняла участь Скворцовой.

— Распутница, стыда нет! Туда же шляпку с перьями надела... Наглость-то какая!.. Другая бы на ее месте за версту объезжала наш дом, чтобы не знали люди, до чего она себя довела,— ораторствовала Зубова.— А вы-то, вы-то за нее заступались. Теперь самим краснеть нужно...

— Она при мне недолго была здесь и если кто довел ее до этого, так уж, верно, не я, а те, которые воспитали ее с детства,— тихо ответила Катерина Александровна, едва сдерживая свое волнение.

— Скажите, пожалуйста! Уж это вы не на нас ли намекаете? — воскликнула Зубова.— Да как вы смеете?

— Оставьте меня в покое! — нервно промолвила Катерина Александровна.— Я вам высказала свое мнение потому, что вы высказали свое. Кто из нас доводит воспитанниц до разврата — это, кажется, ясно. Я отношусь к ним хорошо и ласково, а вы унижаете и срамите их, убивая в них и стыд, и мягкость. Вы думаете, что наставница, воспитательница должна быть палачом, шпионом и полицейским сыщиком; я думаю, что она должна быть матерью...

— Ну, я любовников не заводила и потому матерью не могу быть; может быть, другие надеются скоро детей иметь, так и приготовляются разыгрывать роль матерей.

Катерина Александровна судорожно передернула плечами. Говорить с этими личностями не было никакой возможности. Она пропустила мимо ушей все дальнейшие колкости и ругательства Зубовой и сидела молча. Ей было невыносимо грустно. У нее сильно расстроились нервы; грудь давило, как в тисках. В такие минуты обыкновенно

все представляется в черном цвете, припоминаются все невзгоды, пугают все предстоящие события. Думы молодой девушки становились все мрачнее и мрачнее. Ей начинало казаться, что и ее ждет невеселая участь, что и с *ним*, может быть, случилось какое-нибудь несчастие, что и ее мать, может быть, не перенесет предстоящую разлуку с Мишей, уезжавшим в училище, что и штабс-капитан, может быть, запьет, если из действующей армии получится какое-нибудь дурное известие о сыне,— одним словом, все, что занимало ее ум, представлялось ей теперь в черном цвете и вызывало опасения... Сотни раз старалась она отогнать эти тяжелые мысли, но они не покидали ее и роились в голове помимо ее воли. Ей хотелось плакать, хотелось поделиться с кем-нибудь своими тревожными, болезненными чувствами, но она была одна или хуже, чем одна: вокруг нее говорила и сновала толпа людей, которым не было до нее никакого дела: если бы она заплакала, ее осмеяли бы; если бы она вздумала рассказать им хоть одну свою мысль, они выдумали бы целую грязную историю про ее отношения к Прохорову.

А на дворе стоял невыносимо жаркий июльский день; солнце раскалило стены домов; над городом висело какое-то серое, тяжелое небо; дым, выходя из труб, медленно расстилался над домами; пыль, казалось, стояла в воздухе. Что-то давящее, удушливое было во всем этом. Открытые половинки окон во всех домах, во всех этажах невольно напоминали целые массы истомленных зноем людей, которые простерли на улицы свои руки и кричат: «воздуху, воздуху!» А воздуху нет. Но вот наконец повеял ветерок, поднялась и закрутилась пыль, небо быстро начало темнеть и сплошная неясная, серая масса, тяготевшая над городом, сплотилась в угрюмые, темные тучи. На улицах послышалось пугливое щебетание птиц; прохожие прибавили шагу, и где-то в отдалении одна из туч озарилась ярким зигзагом молнии; в воздухе пронесся удар грома.

— Господи! гроза, кажется, начинается,— послышался в притихнувшей комнате испуганный голос Зубовой, боязливо осенявшей себя крестным знамением.

В это мгновение порывом ветра с шумом захлопнуло одно окно — и на улице, как из ведра, полил ливень и раскатился удар грома. В комнате вдруг сделалось свежо.

— Закрывайте окна! Закрывайте окна! — кричали помощницы.

В зале начался шум.

Катерина Александровна, бледная и взволнованная, поднялась с места, прошла в классную комнату, почти машинально заперла за собой на ключ двери и опустилась на стул перед открытым окном. Она склонила на руки голову и зарыдала. Она не сознавала даже, о чем она плачет, чего она боится, что ее взволновало. Ревизия? Встреча со Скворцовой? Боязнь за мать, готовящуюся к разлуке с сыном? Страх за Александра Прохорова? Может быть, слова Зубовой? Может быть, гроза? Она этого не понимала, она не спрашивала себя об этом,— она плакала, потому что слезы уже давно душили ее, потому что, несмотря на кажущееся спокойствие, на кажущуюся веселость, она с каждым днем все более и более волновалась и тревожилась, и довольно было самого ничтожного случая, чтобы это мучительное состояние безмолвной внутренней тревоги закончилось слезами.

Следующий день она провела дома; там штабс-капитан беспокоился, что давно нет писем от молодых воинов. Марья Дмитриевна охала, что нужно скоро вести Мишу в училище. Молодой девушке невольно приходилось выслушивать все эти чужие тревоги, хотя у нее было довольно и своих волнений и забот.

— А ведь ты, Катя, нездорова,— заметил ей Антон.

— Нет, милый, я здорова,— ответила она.

— Лжешь-то зачем? — покачал он головой.— Ты береги себя: не то я пожалуюсь Саше...

— Ради бога, ради бога, не беспокой его! — живо воскликнула Катерина Александровна.— Ему и без того нелегко. Его нужно беречь, не смущать пустяками. Господи, когда же это кончится, когда кончится!

Катерина Александровна сжала руками свою пылающую голову. Антон угрюмо смотрел в сторону; он чисто по-детски сердился на войну, приносившую столько горя и тревог любимым им личностям. На его детскую, впечатлительную душу сильно действовало то нехорошее, унылое настроение, которое воцарилось в его семье и как будто веяло в воздухе. Это настроение тяготило и Катерину Александровну. Не находя спокойствия в приюте, она не находила его и дома. Вести с поля военных действий делались все более и более неутешительными и заставляли ждать какой-то катастрофы, грозы, которая закончила бы все мучительные события, как гроза, бывшая накануне, закончила несколько томительных дней невыносимого,

удушливого зноя. Но дни шли, а катастрофы все не было...

Вот в приюте появились снова высшие начальствующие лица; Зорина получила отставку и была оставлена только на месяц или на полтора до приискания новой начальницы; на ее половину засновали какие-то темные личности, кредиторы; там слышались их грубые голоса и молящий голос старухи; началась продажа ее мебели и разных безделушек. В приюте было какое-то междуцарствие: старая начальница еще была тут, но на нее уже не обращали внимания; ее министры еще правили детьми, но в душе уже трепетали и за свою участь.

Княгиня Гиреева, тотчас по возвращении из деревни, узнала о приютской истории и послала за Катериной Александровной. Катерина Александровна очень обрадовалась этому случаю и решилась обратиться к княгине с просьбой дать ей место учительницы в приюте. Она сознавала, что без этого ее роль в приюте будет постоянно пассивной и что она может сделать на пользу детей хоть что-нибудь только тогда, когда ей дадут право учить их. Молодая девушка изумилась при виде печальной Глафиры Васильевны, утратившей долю своей живости и болтливости. Еще сильнее удивилась она, увидав Гирееву: Гиреева лежала на кушетке, обставленная разными склянками и примочками; она постарела на десять лет и выглядела уныло.

— Очень рада видеть вас, черненькие глазки,— тихо проговорила она, ласково кивая головой Прилежаевой.— Я вот все хвораю... Слышали вы: внука моего и племянника убили... как я это перенесла... чем-то все это кончится...

Катерина Александровна вздохнула.

— Да, о чем я хотела поговорить с вами? — потерла старуха свой лоб.— Память совсем изменила... Эти удары... Ах, да!.. У вас тоже передряги какие-то в приюте... Начальницу сменяют... Все это без меня сделалось.

— Очень жаль, княгиня,— заметила Катерина Александровна.— Начальница ничем не виновата. На те средства, которые отпускаются на приют, трудно что-нибудь сделать... Нищие тратят больше на своих детей...

— Что делать, что делать! Приют и без того дорого стоит... Вы расскажите мне, что это за история... Я читала отчет Ермолинского, но вы сами мне расскажите... Я не понимаю теперь, что читаю... Совсем убита...

Катерина Александровна передала старухе все, что знала.

— Теперь, княгиня, по крайней мере нужно бы позаботиться, чтобы будущая начальница лучше вела дела, чтобы она не позволяла оставлять детей без присмотра и без образования...

— То есть как это без присмотра и без образования? — переспросила старуха.— Вы яснее мне говорите... подробнее растолкуйте...

— Нужно, чтобы помощницы более заботились о развитии детей. У нас все ученье ограничивается двумя-тремя уроками в неделю... Я с охотой занялась бы с детьми русским языком и арифметикой... Учитель приносит мало пользы...

Княгиня тоскливо смотрела куда-то вдаль. Ее, видимо, очень мало занимал разговор с Катериной Александровной. Вообще в последнее время ее не занимало ничто.

— Я была бы очень благодарна вам, княгиня, если бы вы позволяли мне в определенные часы заниматься с детьми,— продолжала Катерина Александровна.

— Да, да, занимайтесь! — рассеянно ответила старуха.

— Но тут моего желания мало, нужно, чтобы на нас официально возложили обязанность учить детей... Пусть сделают запрос, кто из помощниц согласится давать уроки детям... Иначе начальница не позволит и скажет, что я отнимаю у детей время, в которое они должны шить... Их грамоте учить надо; их нужно хоть чему-нибудь научить... С одним уменьем шить нельзя уйти далеко...

— Да, да, я скажу Дарье Федоровне,— проговорила княгиня.— Вы за что возьметесь?

— За русский язык и за арифметику...

— Скажите, мой дружок, Глафире, чтобы она напомнила мне... Память у меня слаба стала... Вот вы мне говорили, а у меня в голове все смутно, смутно... Ах, Мишель, Мишель!.. Да, дитя, до какой поры мы дожили: старики хоронят молодежь, цвет молодежи... и для чего, для чего все это началось?.. Кто выиграл?..

Старуха опустила голову и впала в полудремоту. Катерина Александровна тихонько вышла.

— Ну что? — уныло спросила Глафира Васильевна.

— Она, кажется, уснула! — ответила Катерина Александровна.

— Теперь всегда так: велит то того, то другого позвать, а сама и заснет... Ведь вот и из деревни в Москву, к

Троице-Сергию уехали, оттуда опять в деревню, потом сюда прискакали: места нигде найти не можем... это не перед добром... Перед смертью так человек мечется... Измучили ее, совсем измучили: пока живы были — она покоя не знала; умерли — еще хуже стало... И то сказать, свои были! Ну уж времячко! Все горюют, все ждут чего-то... А чего ждать?..

Катерине Александровне стало тяжело. Она поспешила переменить разговор и начала объяснять Глафире Васильевне свое желание занять место учительницы в приюте.

— Это пустяк! — возразила Глафира Васильевна, выслушав ее.— Тут и просить нечего. Пришлют бумагу, и конец весь. Надо сказать, чтоб жалованья прибавили.

— Ну из чего же станут прибавлять?..

— Э, найдутся деньги! Не даром же работать... А знаете ли, если б я была на их месте, так я взяла бы и закрыла бы этот самый приют: ведь он вот у них где сидит. Глафира Васильевна указала на затылок.

Поговорив несколько минут с княжеской домоправительницей, Катерина Александровна отправилась домой. Она радовалась тому, что, по-видимому, ей удастся вступить в более деятельную роль в приюте; но эта радость была не настолько сильна, чтобы заглушить в душе девушки те тяжелые впечатления и чувства, которые волновали ее в последнее время и которые пробудились еще сильнее при виде скорби старой княгини. В эту пору общественные события отравляли каждую радость. Это было в августе. Катерина Александровна задумчиво шла по улицам и не торопилась домой, желая подольше подышать свежим воздухом. Ее теперь не манило домой: она знала, что и там она услышит те же вздохи, те же печальные речи.

Вдруг около нее послышался голос штабс-капитана.

— А я к вам навстречу шел,— проговорил он.— Слышали?

— Что такое? — спросила Катерина Александровна, с испугом глядя на тревожное лицо старика.

— Севастополь взят! — проговорил старик в волнении.

Катерина Александровна побледнела. Они прошли шагов сто, не говоря ни слова, хотя у каждого была потребность высказать друг другу свои опасения.

— Подробностей нет? — спросила Катерина Александровна.

— Ничего неизвестно,— хмуро ответил старик.

Опи снова пошли молча.

— Лег бы теперь в могилу и пролежал бы так, ничего не зная, ничего не слыша, до их приезда,— послышался безнадежный голос старика.

— Не падайте духом,— произнесла Катерина Александровна, захлебываясь от слез.

Они дошли до ворот.

— Дождались горя, Катюша, дождались,— слезливо произнесла Марья Дмитриевна, стоявшая у ворот с двумя-тремя лавочными знакомыми.

— Что случилось? — с испугом почти вскрикнула Катерина Александровна.

— Севастополь-то сдался,— вздохнула Марья Дмитриевна.

— А, да! — свободнее вздохнула Катерина Александровна, как-будто ожидавшая услышать от матери более страшную для нее весть.

— Где-то теперь наши голубчики? В плену, может быть...

— Полноте, мама! Нужно молчать и ждать...

Катерина Александровна медленно поднялась в сопровождении своей семьи на лестницу и вошла в комнату. В семье воцарилась мертвая, мучительная тишина.

— Нет, пойду я... Не могу я сидеть! — поднялся с места штабс-капитан, махнув рукой.

В его лице было какое-то мучительно-безнадежное выражение: казалось, что этот человек готов затопить свои тяжелые чувства хоть в вине, чтобы забыться и уснуть, уснуть до лучшей поры.

— Ну, полноте! Лягте,— ласково промолвила Катерина Александровна и положила руку на плечо старика.— Не ходите никуда... Зачем вам идти?.. Разве будет легче?.. Останьтесь ради них!..

Старик закрыл лицо руками и заплакал, как ребенок.

— Господи, господи, пощади их!

VI

НОВЫЕ СОБЫТИЯ

Флегонт Матвеевич не ушел размыкать свое горе за чаркой вина, он остался дома по просьбе Катерины Александровны, но легче ему не стало. Его тянуло из дома,

ему хотелось забыться, заснуть. Он бродил как тень из угла в угол, не находя нигде места. Страх за тех, чья жизнь была для него дороже его собственной жизни, томил старика. Он считал дни и часы, ожидая известий; он дрожащими руками развертывал газетные листы и искал в них испуганными, изменявшими ему глазами дорогих ему имен. На него было тяжело смотреть. Не менее тревожно было состояние Катерины Александровны: она ходила в какой-то тягостной полудремоте в эти роковые дни ожидания, хотя и старалась утешать старика, старалась казаться бодрой. В ее голове пробуждались вопросы, за что люди губят друг друга, неужели народам мало места, что они идут войной один на другого, за что они воюют, могут ли они желать войны, почему они должны, против своего желания, покидать родные дома, родные очаги и жертвовать всеми благами по чужой воле. В молодой душе начало закипать чувство негодования, чувство злобы. Тщетно искала теперь эта девушка успокоения: кругом нее были только сумрачные и печальные лица. Марья Дмитриевна, менее дочери и штабс-капитана тревожившаяся об участи молодых воинов, тоже тосковала по сыне, которого пришлось наконец отправить в училище.

— Вот и я простилась со своим голубчиком, также сиротой осталась,— причитала она.— Куда пошлют, что велят делать, то и будет: подневольным стал человеком. И спи, и ешь, и гуляй, когда другие велят, а не тогда, когда самому хочется... Уж в бедности мы жили, голодали, да командовать нами никто не мог, а тут и сыт будет, да волюшки не найдет...

Эти речи тяжелым гнетом давили сердце Катерины Александровны. Она была отчасти согласна с матерью. Она сама уже испытала, что значит неволя, что значит жизнь, сложившаяся по чужой воле, по чужому уставу. Порой в те недолгие минуты, когда в ее голове снова воскресали надежды на будущее, ей казалось, что нужно устроить свою жизнь именно так, чтобы ничья чужая воля не могла сказать: иди туда, поступай так, делай то-то,— чтобы только свой ум и своя воля решали, куда идти, как поступать и что делать. «И кто имеет право командовать нашей волей? — думалось молодой девушке.— Если приказываешь, так нужно и заботиться о тех, кому приказываешь, кто страдает по нашей воле. А разве о нас кто-нибудь заботится?»

Среди этих волнений и дум проходили дни за днями — газеты не приносили известий о дорогих личностях, почта не приносила писем от них. Ожидание делалось все более и более напряженным. В семье шли бесконечные толки и предположения насчет молодых воинов. Спрашивалось: почему они не пишут? Не взяты ли они в плен? Не ранены ли? Или, быть может, письма не доходят, затерялись на почте? Однажды, в минуту этих толков, из лавочного клуба послышался стук в комнате штабс-капитана. Все уже давно привыкли к этому условному сигналу, но в последнее время он постоянно заставлял всех вздрагивать в испуге.

— Газету принесли,— промолвила Катерина Александровна, подавляя невольное волнение.

— Не могу я, маточка, идти,— сил нет. Пусть Антон за нею сходит,— промолвил штабс-капитан.

— Антоша, батюшка, в сарае дрова колет,— отозвалась из кухни Марья Дмитриевна.— Я сама сейчас сбегаю.

— Ну, уж побеспокойтесь, замените мою старость...

— Сейчас, сейчас. Мне кстати и мучки прихватить надо.

Марья Дмитриевна вышла из квартиры; штабс-капитан поднялся с места, прошелся по комнате и снова сел к столу.

— Да вы не волнуйтесь! Авось все обойдется счастливо,— заметила Катерина Александровна, видя тревогу старика.

— Не могу, не могу, маточка,— вздохнул старик.— Вот так-то каждый день дух захватывает, когда получается газета... Ведь это, может быть, мой смертный приговор несут... Все: и радость, и счастие, и жизнь, и надежды, все для меня только в них... Без них давно лежал бы я в могиле, умер бы где-нибудь под забором, у дверей кабака... Моя жизнь не дорога: оторвали ногу, отняли возможность жить своим трудом, оставили нищим — вот вся моя жизнь. Что же мне было дорожить ею? Для них я жил, для их счастья гнул я старую военную спину, для них таскался по передним тех, кого не уважал, кого ненавидел... Вы вот видели меня балагуром, веселым нищим, так и думали, что мне легко живется, что я не понимаю своего положения... Нет, маточка, нет, в этом сердце кошки скребли, в этой голове проклятья шевелились...

Старик встал и в волненье прошелся по комнате.

— Все перенес, все перенес,— заговорил он снова.— Перенес для них, для их счастья... Хотелось, чтобы они были честнее, лучше других, чтобы им досталась на долю лучшая судьба... А теперь, может быть... И за что? За что?

Старик опустил голову. Катерина Александровна задумчиво молчала. Прошло несколько минут.

— Эх, что это Марья Дмитриевна не идет! — воскликнул Флегонт Матвеевич.— С мучкой со своей замешкалась...

Прошла еще минута.

— А знаете,— снова заговорил старик,— я бы рад теперь совсем не видать этих проклятых газетных листов, не видать их до тех пор, покуда не получится писем от *них*...

В это мгновение послышались шаги Марьи Дмитриевны.

— Давайте, давайте газету, матушка! — крикнул штабс-капитан.— Ну, что нового, что нового?

Он трепещущими руками торопливо стал развертывать газетный лист. Все смолкли и ожидали новостей. Марья Дмитриевна присела на диван со свертком муки в руках и в платке, накинутом на голову. Катерина Александровна стояла у стола. Старик пробегал слабыми глазами страницу.

— Ничего нового,— говорил он, просматривая военные известия.— По-видимому, тише стало...

Он уже готовился сложить лист, когда его глаза обратились на первую страницу листа. Его руки дрогнули, глаза остановились, газетный лист заколебался и медленно опустился на стол. Вслед за листом опустилась и голова штабс-капитана.

— Убит! — невнятно прошептал он, теряя сознание.

— Саша!? — вырвался из груди Катерины Александровны пронзительный крик, и она схватилась рукой за стол.

Одним быстрым движением она рванула к себе газету и впилась в нее глазами. Буквы и строки, казалось, прыгали перед нею, она искала большой буквы *П*. Наконец ей бросилось в глаза лаконическое известие: «Убитый подпоручик Прохоров 2-й исключается из списков». Она читала и перечитывала эту строку, и мало-помалу ее грудь начинала дышать свободнее. Из ее похолодевших рук выпала газета. «Не он!» — радостно мелькало в ее голове, а из глаз катились крупные, неудержимые слезы.

Марья Дмитриевна между тем совалась из угла в угол, не зная, что делать. Наконец она бросилась на галерею и крикнула, выглянув на двор:

— Антоша, голубчик Антоша, Флегонт Матвеевич умирает! Иди сюда!

Антон быстро выбежал из сарая, вбежал в комнату и притащил воды. С помощью матери и несколько оправившейся Катерины Александровны он уложил старика на диван и поспешил за доктором. Старик лежал без чувств.

— Да кто убит-то, Катюша, кто? — допрашивала Марья Дмитриевна дочь, суясь из угла в угол.

— Ваня, несчастный Ваня! — тихо и сквозь слезы ответила Катерина Александровна.

Антон между тем возвратился с доктором. У штабс-капитана сделался паралич. Доктор сомневался, что старик встанет с постели. Семья Прилежаевых не отходила от Прохорова; тяжелое предчувствие чего-то недоброго сменилось теперь не менее тяжелой действительностью. Ни у кого почти не было денег, а они были теперь нужнее, чем когда-нибудь.

— На что мы лечить-то его, бедного, будем? — плакала Марья Дмитриевна.— И на свою семью не хватает, а тут еще он, горемычный, у нас на руках остался... В больницу бы его, что ли, пристроить...

— Что вы! — воскликнула Катерина Александровна.— Пусть лежит здесь, в своей семье... Не весело лежать в больнице...

— Знаю, Катюша, знаю! Да где денег-то взять,— охала Марья Дмитриевна.

— Для него я добуду денег,— решила Катерина Александровна.

В выражении ее лица, в ее голосе появилась какая-то особенная энергия — это была энергия озлобления. Молодая девушка негодовала на войну, на людей, начавших эту войну, на тех, которые холодно смотрят на гибнущих братьев — на всех, кто беспечно и весело разъезжает в экипажах мимо тех углов и подвалов, где гнездится нищета со своим безысходным горем. Впервые это чувство злобы и негодования охватило ее всецело, и в этом чувстве было что-то беспощадное, жесткое. В памяти молодой девушки навсегда сохранилось воспоминание о той минуте, когда ей показалось, что у нее отняли *его*, ее Сашу,— о той минуте, когда она поняла, что значит потерять навек любимого человека. В эту минуту в ее душе впервые ше-

вельнулись проклятия всему окружающему, которые и теперь волновали ее кровь. Она необычайно мужественно, без всякого раздумья, отправилась к княгине Гиреевой и объявила старухе, что в квартире ее матери лежит человек, у которого убили сына.

— Он и сам искалечен на войне, теперь у него убили сына, а между тем у него нет куска хлеба,— говорила она с хмурым выражением лица.— Каждая цепная собака, сторожившая дом, пользуется под старость лучшим положением, а тут человек умирает с голоду, хотя он честно служил всю жизнь.

— Я похлопочу,— отозвалась болезненным голосом княгиня, примачивая голову каким-то спиртом.— Пусть Глафира напомнит... память у меня ослабела... Надо в богадельню его.

— Помилуйте, княгиня! — воскликнула с негодованием Катерина Александровна.— Тут идет речь не о богадельне. Разве там станут ходить за ним? Я думаю, за то, что человек жертвовал своей жизнью и жизнью своих детей, ему можно дать более спокойный угол, чем постель в богадельне... Я прошу вас о деньгах для старика... У вас есть связи...

— Да, я постараюсь... похлопочу,— проговорила Гиреева.— Вот покуда...

Она дала Катерине Александровне двадцать пять рублей. От княгини Катерина Александровна отправилась к генералу Свищову. Она не заметила двусмысленной улыбки генеральского лакея при входе в кабинет старика и очень смело, очень бойко объяснилась со старым волокитой насчет штабс-капитана. Александр Николаевич Свищов совершенно растаял, видя перед собой, в своем кабинете это оживленное, бойкое и резко говорящее молодое существо; он рассыпался перед молодой девушкой в любезностях, пожимал ей руки и даже сказал ей: «Приказывайте, ваша воля будет для меня законом».

Ей были гадки эти заигрывания, но она смело и без смущения шла к своей цели. В этой девушке было трудно узнать прежнюю робкую и застенчивую Катерину Александровну.

Заручившись деньгами и обещаниями Свищова, она вернулась домой с веселым лицом.

— Ну что, Катюша? — робко спросила Марья Дмитриевна.

— Ничего, все хорошо... Надо купить кровать, перину

и подушки для Флегонта Матвеевича. У него все жесткое. Довольно ему па диване валяться. Ему надо теперь поудобнее лежать.

— Дали, значит, благодетели?

— Еще бы! С лихой собаки хоть шерсти клок,— ответила Катерина Александровна.— Доктора надо получше пригласить. Наш частный — коновал какой-то для бедных...

Катерина Александровна быстро и деятельно принялась за устройство комнаты штабс-капитана.

— В богадельню хотели упрятать! — с раздражением говорила она за вечерним чаем.— Самих бы в сумасшедший дом засадить! Потеряют сами какого-нибудь шалопая, так потом целый век носятся со своим горем, докторами себя окружат, на воды ездят, а тут человек, умирающий с голоду, пожертвовавший всем, лишился своей единственной опоры — в богадельню его! Нет, увидим, удастся ли им его в богадельню упрятать! Я все сделаю, а по-моему будет...

— Ох, Катюша, не сляг ты у меня сама! Хлопочешь ты все, да тревожишься,— с опасением заметила Марья Дмитриевна.— Вон лицо-то как горит у тебя...

— А вы много добыли без хлопот-то, сидя дома? — резко спросила Катерина Александровна.— Нет, к ним стучаться надо, им надоедать нужно, пороги у них обить нужно,— тогда только что-нибудь и сделаешь... Вы подумайте, что сталось бы со стариком, если бы не хлопотать за него? Умер бы с голоду, умер бы, как собака. А за что? Преступник он, что ли? Негодяй какой-нибудь? А сколько таких-то найдется в разных подвалах, на разных чердаках...

— Что и говорить, голубка! Да ты себя-то береги!

— Молода еще, вынесу!

Прошло дня два. К дому, где жили Прилежаевы, подъехала карета. Из нее вышел генерал Свищов. Катерина Александровна была дома и встретила старика.

— А я заезжал в приют, думал вас найти там,— заговорил он, пожимая ей руку.— Я к вам с радостной вестию... Не хотел никому поручить... Сам хотел вас обрадовать, видеть вашу улыбку... Вашему старику назначено триста рублей.

— Благодарю вас,— проговорила обрадованная Катерина Александровна, пожимая руку Свищова.— Я думаю, у него в течение всей жизни не было в руках такой суммы...

— Ну, это малость,— небрежно произнес Свищов.— Теперь, знаете, наши финансы хромают. Для такой милой просительницы я рад бы гораздо, гораздо более сделать...

— Грустно, что он даже не может поблагодарить вас. Если бы я знала вас прежде, то, вероятно, вы раньше помогли бы ему. А то служил, служил человек, а вспомнили о нем только перед смертью.

— Что делать, что делать! — пожал плечами Свищов.— В свете не ищите справедливости. Люди забывчивы... Все дело случая. Если бы мы не встретились, то, может быть, ему и теперь не дали бы ничего... Но как вы далеко живете!.. Вы, кажется,— извините за нескромность — и сами нуждаетесь?

— Как вам сказать? — улыбнулась Катерина Александровна.— Мы не богаты, но нуждаться — я не нуждаюсь. На мои потребности мне хватает моих денег... Большего мне не нужно...

— А не говорите так, не говорите! — загорячился Свищов.— Вы молоды, вам надо более удобств... более, знаете, этого... Свищов повертел рукою в воздухе, не находя слов для выражения своей мысли.— Как это ваш дядя не позаботится о вас...

— Я не просила ни у него, ни у кого другого. Я живу работой и хочу жить работой, а не подаяниями.

— Но все же эта обстановка...

— Не будемте говорить о ней... Впрочем,— улыбнулась Катерина Александровна,— к вам у меня есть еще просьба. Мне хотелось бы получить место наставницы в приюте. Я уже говорила об этом княгине Гиреевой, но она так больна, что едва ли сделает что-нибудь... Вот вы, Александр Николаевич, принимаете во мне горячее участие,— сделайте, чтобы меня назначили учительницей в приюте.

— А, да, это можно... да, это можно... Я все готов, все готов для вас сделать!

— У вас доброе сердце! — Катерина Александровна протянула генералу руку, он ее радостно пожал своими старческими руками и просиял.— Постарайтесь улучшить положение приюта... Ведь там все идет так дурно, потому что никто туда не заглядывает... Заезжайте почаще...

— Да, да... О теперь я буду заезжать... это необходимо... Я сознаю, что это необходимо...

— Только тогда можно будет откровенно переговорить с вами, высказать нужды детей... я была бы очень, очень рада видеть вас часто...

Свищов сиял.

— Я всякую неделю буду ездить,— заговорил он.— Наблюдение — это, знаете, необходимо... Вы мне говорите все откровенно... Вы ко мне заезжайте... да, да, непременно заезжайте...

— Зачем же беспокоить вас...

— Да разве вы можете обеспокоить меня? Я буду рад, очень рад сделать для вас все... И как это ваш дядя не сказал мне о вас!..

Катерина Александровна еще раз пожала руку старика, и он совершенно неожиданно запечатлел поцелуй на эту руку. Катерина Александровна незаметно усмехнулась, провожая старика, с трудом переставлявшего вышедшие из повиновения ноги.

— Какой добрейший человек, чисто ангельская душа! — воскликнула Марья Дмитриевна по отъезде генерала.

— Да, эту старую обезьяну можно приручить,— насмешливо сказала Катерина Александровна, подавляя свое волнение.

— Ай, Катюша, как тебе не грех так отзываться о нем,— упрекнула мать.

— А знаете, мама, если бы я теперь захотела, я могла бы в каретах ездить.

— Ну-у, что ты, Катюша! — изумилась Марья Дмитриевна.

— А вы думаете, нет? Вы думаете, что этот ходячий труп пожалел бы чего-нибудь для меня?.. Поглядите, вон я какая хорошенькая!.. Да, он купил бы меня на вес золота, у ног бы моих ползал за то, что обесчестил бы меня, за то, что купил бы меня... Вон по одному моему слову триста рублей выхлопотал человеку, которому не давали ни гроша. Вон Скворцову купили и меня так же купили бы... Все они такие. Как вы его назвали? Добрейшим человеком, ангельской душой? Да, да, добрейший человек, ангельская душа!

Катерина Александровна нервно засмеялась.

— Ах, какая вы неопытная, мама! — воскликнула она с горечью.— Сделали ли эти добрейшие люди что-нибудь для вас?.. Для меня они сделают, потому что молода я, потому что на мое лицо они заглядываются... Дай бог, чтобы эти добрейшие люди не смели на порог к нам являться...

— Да ведь ты же сама, Катюша, пригласила его,— растерянно проговорила Марья Дмитриевна.

— И буду приглашать,— твердо произнесла Катерина Александровна.— Он нужен нам... Прямой дорогой ни до чего не дойдешь... Пусть ездит, пусть хлопочет...

Марья Дмитриевна струсила.

— Ох, Катя, не загуби ты себя...

— Что? — резко отозвалась Катерина Александровна и взглянула на мать такими глазами, что та умолкла и тихо вышла из комнаты.

«Но что же не пишет он? Почему он не поспешил предупредить семью о смерти брата? Очевидно, что и он болен, ранен или находится в плену. Боже мой, когда же кончатся эти муки неизвестности, эти муки ожидания?» Эти мысли ежедневно томили молодую девушку. Чтобы рассеять их, она усиленно работала, хлопотала около старика, не давала себе отдыха, старалась в труде забыть свое горе, старалась утомить себя настолько, чтобы засыпать поскорее и в ночном затишье не томиться мрачными думами. Однажды газеты принесли известие о получении чина и ордена Александром Прохоровым. «Жив!» — радостно воскликнула Катерина Александровна и несколько успокоилась. Ее работа пошла еще быстрее. Дни неслись стрелой. Наконец в эту хлопотливую и тревожную пору Катерина Александровна была обрадована письмом от Александра Прохорова. С сильным волнением распечатывала она это давно ожидаемое письмо.

«Горьким известием должен я начать свое письмо,— писал Александр.— Более всего меня пугает мысль, что это известие уже дойдет до отца прежде, чем получится тобой мое письмо. Ваня убит, убит при моих глазах. Бедный мальчик, как он был храбр, как он был хорош в последнее время! Перенося все невзгоды бивуачной жизни, он с какой-то наивной стыдливостью заботился только обо мне, говоря, что я только из-за него вышел в действующую армию, что я не испытывал бы всех неприятностей военного положения, если бы не он. Дитя! Я никак не мог убедить его, что и без него я не мог бы отказаться от вступления в действующую армию. С каждым днем он становился мне все дороже и дороже и вдруг этого мальчика не стало! Трудно описать тебе весь ужас этой минуты, все чувства, охватившие меня в это мгновение. Я видел, как зашатался, как упал на землю мой брат, и не мог сделать шагу для спасения его. Мне приходилось самому отбиваться от

толпы врагов. Впервые в моем сердце пробудилась какая-то дикая, яростная злоба, я дрался чисто по-зверски, с ожесточением, я хотел пробиться к нему. Я понял в эту минуту чувство мести, которое может заставить нас беспощадно терзать всех тех, кто стоял в рядах убийц близкого нам существа. И теперь, когда в моей памяти ослабело первое горькое впечатление, когда этот роковой день значительно отдалился от меня и представляется мне как бы подернутым туманом,— я еще ощущаю это чувство мести, я понимаю эту огульную ненависть ко всем близким, ко всем единомышленникам того врага, который был причиной нашего горя. Порой мне снится брат; эти детски откровенные, большие синие глаза смотрят на меня так грустно, так задушевно, и я вижу в них крупные слезы. Мне становится больно и обидно за эту загубленную жизнь. Каким прекрасным человеком мог бы быть этот отважный мальчик! Мне мучительно больно, что я не имел даже сил предупредить отца, подготовить его к тяжелой вести. Я пролежал в лазарете и только теперь начал поправляться. Не бойся, мой друг, за меня. Теперь я почти здоров, я могу писать, могу читать, скоро я выйду из лазарета и снова дохну свежим воздухом. Грустная драма приходит к концу, и благо тем, кому судьба дала силы, кому случай помог пережить эту драму. Но следы ее останутся надолго, они уцелеют на нас и отзовутся на детях наших. Мы были свидетелями мировых событий, за которыми последует расчет со всем старым. Этот расчет необходим, неизбежен. Все чувствуют, что нужно освежить воздух. Мы прошли через эти полуразрушенные, убогие деревни; мы видели этот крепостной, забитый, бедный, лишенный права жаловаться народ; мы присутствовали при этом грабеже взяточников, несовестившихся воровать даже самые необходимые жизненные припасы, лазаретные принадлежности; мы стреляли из этих никуда не годных пушек, из этих заржавевших ружей; мы слышали слова этих самодуров мудрецов, которые по прихоти распоряжались всем и хвалились тем, что они уничтожили бы свою собственную фуражку, если бы она знала, что они предпримут завтра. Крепостничество, самодурство, взяточничество, грубость и тупоумие — все это прошло перед нами в одной ужасной картине. Тяжелым гнетом легли на душу такие факты, как рассказ о том, что в одной из прибрежных дач все осталось цело и в порядке после посещения французов, а после посещения русских в ней было изруб-

лено даже фортепьяно и на стенах появились циничные надписи на родном языке. У нас иногда недоставало корпии, недоставало провианта, а у врагов была проведена железная дорога!.. Нет, нам нужно воевать не с французами, не с англичанами, нам нужно воевать с отжившими порядками, с отжившими традициями, в противном случае нас будут бить все другие народы, будут бить и найдут в числе своих союзников всех тех, которые носят имя русских и грабят русскую казну, русский народ, русское правительство. У нас здесь считался месяц за год — да, это справедливо, мы здесь уяснили себе в месяцы то, чего не уяснили бы, быть может, в целые годы, вращаясь на полированных паркетах пышных зал, маршируя на утрамбованных равнинах плац-парадов, пожимая обтянутые лайкой руки воров и грабителей. Во время болезни я прочел «С того берега». Да, я понял это отчаяние, эту роковую скорбь, этот душевный вопль, смутивший Европу. Эту книгу мог написать только русский. Как страстно, как нетерпеливо жду я конца этих тяжелых дней, как стремлюсь я в Петербург, к учению, к университету. Теперь более чем когда-нибудь нам нужно учиться, учиться и учиться. Наука — это именно то оружие, которого недоставало у нас, и мы, чувствуя свое бессилие, сознавая свою безоружность,— с одной стороны, заглушив голос совести, делались мелкими плутами, мелкими воришками, мелкими мироедами и взяточниками, а с другой, сохранив в себе искру честности, становились злобствующими тунеядцами, разочарованными гамлетиками, честными бездельниками. Теперь мы должны взять свое оружие и приняться за дело. И я, и ты, мой друг, мы все шли ощупью к знанию, теперь мы пойдем к нему прямо, в нем будет наша жизнь. Принесем для него все жертвы, но завоюем его. Впрочем, что я говорю о жертвах? Разве для того, чтобы идти по дороге к знанию, нужны жертвы? Что нам придется делать? Отказаться от удовольствий. Но мы к ним и без того не привыкли, а теперь мне кажутся гнусными эти удовольствия, потому что я знаю, какой ценой иногда покупаются они, потому что я знаю, какие стоны раздаются вдали от наших зал и гостиных. Нам придется не обращать внимания на свое платье, быть может, ходить в плохой одежде, чтобы иметь возможность больше тратить на книги, на уроки. Но разве бедная одежда хуже украденных у ближнего, добытых его пóтом роскошных нарядов? Разве мы не будем иметь права с презрением глядеть на тех, кто одет

лучше нас на воровские деньги? Да, мы пойдем без сожаления и стыда мимо театров и собраний, мимо разнаряженных кукол и будем знать, чего так часто стоят эти пиры во время чумы, эта арлекинада, мы пойдем в своем плохом платье, пойдем в храм науки — и не на нас укажут пальцами и осмеют честные люди... Будь, мой друг, бодрее, не унывай. Скоро настанет день, когда ты пойдешь в путь уже не одна, а опираясь на мою руку. Эта рука тверда. В моей груди теперь живут рядом и ненависть и любовь; ненависть к тому, против чего нам придется бороться, любовь к тем, кто станет в наши ряды. Дай бог, чтобы этих людей, которых ищет наше правительство, являлось все больше и больше. Ты прошла ту тяжелую школу, из которой выходят люди, не боящиеся никаких новых мучений и бед; ты первая не побоишься стать рядом с нами, потому-то я и люблю тебя так горячо, так страстно. Было время, когда я смотрел на тебя с благоговением мальчика, видящего перед собой добрую фею, царицу и владычицу семьи; ты управляла всем домом, ты работала на всех, ты подталкивала к труду других, и все это делалось со свойственной тебе простотой, с твоей обычной веселостью, почти с беспечностью. В эти дни,— ты их верно помнишь,— я, стоя на коленях, помогал тебе разматывать нитки, гордился тем, что держу край твоей работы, радовался возможности принести стакан воды тебе, утомившейся владычице семьи; в эти дни я был твоим пажом. Теперь ты встретишь во мне друга-помощника. Я прошел через то горнило, в котором закаляются люди, я приобрел тот горький опыт, которого мне недоставало в моей теплично-казарменной жизни. Ты не гонялась за жалкими удовольствиями и ничтожным блеском, потому что выросла в той среде, где дорожат только куском насущного хлеба, теплым углом и заработанной копейкой; я тоже не погонюсь теперь за удовольствиями и мишурой света, потому что я узнал, какой ценой покупается весь этот мишурный блеск, этот источник зависти для глупцов и мерзавцев. Скорей бы прошло время нашей разлуки, скорей бы прошло время моей невольной праздности. Нового я уже ничего не увижу здесь: каждая мерзость, каждая пошлость будет только повторением того, что понято и обсуждено прежде. Жму горячо твою руку, еще раз прошу: береги отца. Обними Мишу, Марию Дмитриевну, пожелай им всего хорошего. Антону пишу отдельно.

Твой *Александр*».

Катерина Александровна читала и перечитывала это письмо. Эти строки ярко воскресили перед нею любимый образ; ей показалось, что Александр Прохоров стал выше ростом и загорел. Она даже рассмеялась при этой мысли и подумала: «С чего это я взяла, что он непременно вырос и загорел». Ее не удивило, что Александр писал ей *ты*, но ее странно поразило совпадение ее чувств с его чувствами. Она так же была озлоблена, так же чувствовала потребность поскорей пробить себе какую-то новую дорогу, вступить в борьбу с ненавистными ей личностями и порядками. Она сознавала, что у нее слишком мало силы для пересоздания того маленького мира, в котором ей приходилось вести мелкую борьбу, она чувствовала, что ей возможно только при помощи хитрости, при помощи обмана завоевать себе через разных Свищовых и Гиреевых более прочное, более значительное положение, чем ее настоящая роль в приюте. От ее внимания не ускользнуло и то обстоятельство, что ее завоевания могут на первых же порах кончиться ничем, если, например, Свищов предъявит требования на награду за свою протекцию. Но, несмотря на это, она решилась идти по избранной дороге до последней возможности и сделать хоть что-нибудь. Перечитывая письмо своего друга, она поняла, что он говорит о более широкой борьбе, о более многочисленных врагах, и ей представился вопрос: где же найти силы для этой борьбы отдельному человеку, если у нее не хватает сил и для мелкой борьбы, выпавшей ей на долю? Каким путем поведется эта борьба? Много ли людей примут в ней участие? Будут ли эти люди более сильные, чем она, чем ее друг? На эти вопросы покуда не являлось ответа. Она не знала, какие реформы уже готовились для России.

«Что будет, то будет»,— решила она и дала себе слово продолжать покуда начатое ею дело: хлопотать о месте наставницы и учиться. Со всею энергией, свойственной молодым, здоровым натурам, продолжала она дело самообразования. Требовало оно и бессонных ночей, и сильного умственного напряжения, но Катерина Александровна не унывала. Она не отставала от Антона, выучивая его уроки, хотя ей и приходилось в один день делать то, что делалось им в два дня. В приюте между тем настал торжественный день: там вступила новая начальница и вскоре приехало все высшее начальство под предводительством графини Белокопытовой и Свищова. Графиня по своему обыкновению обошла беглым шагом ряды воспитан-

ниц, подставляя им свою руку и целуя их на ходу в лоб; Свищов отыскал глазами Катерину Александровну и дружески кивнул ей головой.

— Вы, кажется, согласны принять место учительницы? — спросила графиня, поравнявшись с Катериной Александровной.

— Да, я очень рада принять на себя эту обязанность,— ответила Катерина Александровна.

— Это, это необходимо,— произнес Свищов.— Надо непременно... реорганизовать... Знаете, эти упущения, эти злоупотребления...

— Ах да, Александр Николаевич,— перебила его графиня.— Хорошо, что вы напомнили! Прежде всего нужно осмотреть место. Я решилась; правда, это мне будет трудно, но я решилась! Помоги мне господи!

Графиня вздохнула.

— Мы должны, должны приносить эти жертвы,— прошептала она и обратилась к Катерине Александровне: — Проводите нас в сад.

Катерина Александровна мельком взглянула на Свищова. Он пожал плечами и как-то особенно повертел пальцем около лба. Все общество тронулось по направлению к саду.

— Здесь, кажется, довольно места? — спросила графиня, обращаясь к приютскому архитектору.

— Немного тесно будет,— ответил он.— Сад придется почти весь уничтожить.

— Ну да, ну да,— нетерпеливо ответила графиня.— Оставить только клумбочку, помните, как вы говорили. Это будет так хорошо... Благолепие...

— Но как же без сада,— нерешительно возразил архитектор.

— На что нам сады? Не они нам нужны. Нам вертограды господни нужны, а не эти земные сады... Спаси нас, грешных, господи!

Графиня, по обыкновению громко беседуя с богом, перекрестилась и быстро зашагала в приютские комнаты.

— Генерал, вы говорили о прибавке на пищу? — тихо спросила Катерина Александровна.

— Копейку прибавили на человека в день,— так же тихо ответил Свищов.— Что делать, что делать, мы не в своем уме...

Он опять повертел пальцами около лба и, присоединившись к графине, сказал ей что-то на ухо.

— Ах да! — обернулась она к Катерине Александровне,— вам прибавляется восемь рублей жалования за уроки.

Катерина Александровна молча поклонилась.

— Пожалуйста, только русский язык, закон божий, больше ничего, никаких астрономий не надо! — отрывисто проговорила графиня.— Закладка когда? — обернулась она к архитектору.

— Я думаю, весной,— ответил он.

— Ах, нет! Я слаба, я могу умереть,— отрывисто произнесла она.— Без меня ничего не сделают. Заложите теперь, строить начнете весной... В будущее воскресенье закладка... Ну, прощайте, дети. Бог даст, через год у вас будет своя церковь... Господи, пошли нам силы, сподоби нас...

Сгорбившись и переплетая ногами, графиня в сопровождении своей свиты направилась к экипажу. Катерина Александровна с поникшей головой осталась в толпе детей и грустно смотрела в окно на небольшой садик.

— Душечка, Катерина Александровна, вы всех нас учить будете? — приставали к ней воспитанницы, окружив ее.

— Нет, только младших,— ответила она, встряхнув головой и как бы отгоняя печальные думы.

— Отчего же не нас? — заговорили старшие воспитанницы.— Учите и нас. У нового учителя ничего не поймешь, такой бука. Вы лучше скажите, чтобы вам позволили и нас учить...

— Погодите, погодите, все сделается,— промолвила Катерина Александровна.

— А сад-то наш вырубать будут,— печально заметила одна из девочек, глядя в окно.

— Да, жаль,— вздохнула Катерина Александровна.

В эту минуту в комнату вошли Зубова и Постникова.

— Поздравляю вас, Катерина Александровна,— проговорила Зубова.— Прибавку жалованья получили.

— Вы меня лучше с тем поздравьте, что я детей учить буду,— усмехнулась Катерина Александровна.

— Ах! вы, верно, так богаты, что ни за что считаете деньги,— ядовито произнесла Зубова.

— Нет, деньги мне очень дороги, но место учительницы еще дороже: они радуют только меня, а данное мне право учить детей обрадовало, как видите, и меня, и всех детей. А я ценю выше всего именно то, что приносит радость и пользу не только мне, но и другим.

VII

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ИДЕТ К СВОЕЙ ЦЕЛИ

Новая начальница, Софья Андреевна Вуич, сделала обед, чтобы познакомиться покороче с помощницами. На этот обед были приглашены родственники и знакомые начальницы и он должен был принять не официальный, а чисто семейный характер.

Софья Андреевна была, подобно Зориной, вдовой какого-то гвардейца. Она получила институтское образование, бывала за границей, любила читать французские романы, восхищалась произведениями Жорж Занда, курила пахитосы и толковала, выпуская струйки дыма, о женской «эмансипации». Высокая ростом, стройная, еще сохранившая остатки свежести и даже красоты, эта тридцатипятилетняя женщина, казалось, была создана для гостиной, для светской болтовни. С нею можно было проболтать в течение целого вечера о самых высоких, о самых современных предметах, не скучая и не замечая, что эта женщина схватила только кончики и отрывочки всех этих вопросов, что они для нее имеют теперь такое же значение, какое прежде, в годы ее молодости, имели для нее открытые плечи, обнаженные руки, распущенные локоны,— то есть значение приманки. Ее рекомендовал на место Свищов, по-видимому, поддавшийся обаянию ее прелестей со свойственной ему податливостью любвеобильного сердца. Графиня Белокопытова взглянула подозрительными глазами на неувядшую красоту, на бойкость, на щеголеватость этой женщины и уже готова была отказать ей в просьбе о поступлении на место начальницы и определить в приют старуху, но Свищов, всегда оживлявшийся, когда дело шло о защите хорошенькой женщины, отстоял свою кандидатку, настроил княгиню Гирееву па свой лад, подзадорил графа Белокопытова — одним словом, произвел такую агитацию, вследствие которой в общем собрании комитета благотворительных учреждений графов Белокопытовых большинство членов согласилось с его мнением. Он даже произнес нечто вроде речи. В это время речи уже начинали произноситься всеми.

— Многоуважаемая Дарья Федоровна,— говорил он в заседании комитета,— полагает, что Софья Андреевна Вуич слишком молода для такой обязанности, как обязанность начальницы приюта... Но это... это, можно сказать,

находка. Да, именно находка!.. У нас была уже пожилая начальница, и что же вышло? Спрашиваю вас, господа: что вышло?.. Упущения, злоупотребления, беспорядки, распущенность детей... Помилуйте, могло ли иначе быть?.. Она была стара, слаба: она не могла усмотреть за всем, у нее не было этой... этой расторопности... да, да, именно расторопности... А между тем девочки — это огоньки,огоньки!.. Нужны глаза да и глаза за ними, нужны крепкие руки, чтобы удержать их в узде...

— Ах, их нравственность в ужасном положении! — вздохнула Дарья Федоровна и обратилась к богу: — Господи, сохрани их!..

— Совершенно справедливо, совершенно справедливо! Нравственность в ужасном положении! — оживился Свищов.— Но от чего? Оттого, что слепые глаза не могли уследить за нею, дряблые... да, именно дряблые руки не могли сдержать их... Конечно, Софье Андреевне можно отказать в ее просьбе, можно найти другую... какую-нибудь старуху, но в таком случае, говорю вам, мы снова оставим приют при старых порядках... Нам нужно обновить его... прогрессировать... Этого требует дух времени...

— Я решилась церковь построить,— произнесла графиня.— Пусть ежедневно, ежечасно вид храма божия напоминает детям об их отце небесном...

— Ну, матушка, теперь не из чего нам храмов строить,— произнес с раздражением муж Дарьи Федоровны.— Это опять новые выдумки!

— Я ни у кого не прошу, я из своих сумм строю церковь,— ответила Дарья Федоровна.— Это не касается комитета...

— Но это меня касается! Я не желал бы этого,— горячо и строго промолвил граф, сильно напирая на слова «меня» и «я».

Свищов поспешил прервать начинающуюся ссору супругов.

— Мы, однако, уклонились,— начал он,— уклонились от вопроса о начальнице.

— Да, но вы понимаете, что вопрос о постройке храма очень важен,— загорячился граф Белокопытов.

— Позвольте собрать голоса,— произнес с секретарской вежливостью и скромностью Ермолинский, приподнимаясь на четверть от стула и выставляя туловище вперед.

Свищов бросил ему одобрительный взгляд.

— Кажется, почтенный Александр Николаевич доста-

точно сильно разъяснил вопрос,— скромно и мягко продолжал Ермолинский, выдвинув еще немного свое туловище над столом,— и господа члены комитета могут приступить к решению вопроса, тем более, что комитету придется нынче рассмотреть еще множество поступивших на имя председательницы просьб.

— Да, да, этот вопрос нужно решить,— заговорили члены, испуганные множеством просьб, ожидающих решения и готовящихся затянуть и без того скучное собрание.

Началась подача голосов; оказалось, что за Софью Андреевну были все, за исключением председательницы и самого Ермолинского.

— Мы с вами проиграли,— вздохнула Дарья Федоровна, печально кивнув головой секретарю.— Если что случится, ты видишь, господи, я противилась... противилась!..— оправдывалась она перед богом.

Секретарь грустно пожал плечами, как будто скорбя, что ему не удалось осуществить желание председательницы. Софья Андреевна была назначена начальницей.

— А вы молодец, молодец! — проговорил после заседания Свищов, сжимая руку Ермолинского.

— Извините, я должен был подать голос заодно с графиней...— смиренно оправдывался Ермолинский.— Неловко как-то было, что она одна...

— Ну, конечно, конечно... Я понял... Я сейчас понял... Отчего не потешить старуху,— одобрительно промолвил Свищов.

Ермолинский с чувством сжал протянутую ему руку Свищова.

— Благодарю вас, что хоть вы меня поддерживаете,— печально произнесла графиня, прощаясь с Ермолинским.— Я одна, одна против всех...

Он почтительно поцеловал ее руку и вздохнул.

Таким образом попала на место начальницы приюта Софья Андреевна Вуич. В первый же день вступления в свою должность она как бы случайно сказала горничной, что сейчас пойдет в рабочую комнату знакомиться с детьми.

Горничная поспешила предупредить кого следует.

Помощницы поспешили выстроить воспитанниц в ряды, командуя, чтобы дети стояли смирно. После четверти часа ожидания послышалась легкая поступь новой начальницы: Постникова поспешила отпереть дверь.

— Ах, зачем вы беспокоитесь, у меня руки есть,— за-

метила с разбитой улыбкой Софья Андреевна и обратилась к детям: «Здравствуйте, малютки...»

Дети разом проговорили: «Здравствуйте!»

— Что это они у вас в военную службу приготовляются? Точно солдаты выстроены,— засмеялась Софья Андреевна.— Зачем? Детям нужна свобода... Подите ко мне, поздороваемтесь по-человечески.

Дети бросились к начальнице и подобострастно стали ловить ее руки или прикладываться к ее плечу.

— Ради бога, ради бога! без целования рук,— торопливо и весело произнесла она.— Разве вы крепостные, что целуете рукав моего платья? Не надо! Как твоя фамилия, кубышка? — засмеялась начальница, захватив пальцами розовые щечки одной воспитанницы.

Та сказала свою фамилию. Начальница поцеловала ее в лоб. Девочки засмеялись, что их подругу назвали «кубышкой».

— Но большинство из них так бледно,— произнесла Софья Андреевна.— Им воздуху больше нужно, моциону, нужно здоровую пищу...

— Да, пища здесь очень плоха,— заметила Катерина Александровна. Софья Андреевна смерила Катерину Александровну пристальным взглядом.— Ваша фамилия Прилежаева?

— Да. Разве вы меня знаете?

— Мне говорили о вас,— ответила Софья Андреевна и протянула Катерине Александровне свою изнеженную ручку.— Мы все повернем здесь по-новому. Это какие-то казармы...

— Почти тюрьма,— улыбнулась Катерина Александровна.

— Еще бы: назначали столетних старух в начальницы и хотели, чтобы дело шло вперед... Нам теперь молодежь нужна... Впрочем, я надеюсь поговорить обо всем подробно на днях в дружеском кружке.

Начальница кивнула головой присутствующим и скрылась в свои комнаты.

Она произвела довольно благоприятное впечатление на детей и подала кое-какие надежды Катерине Александровне. Зубова и Постникова назвали ее «франтихой» и решили, что она «поскачет, поскачет, да и присядет».

— Анна Васильевна такой же была,— заметила Постникова.

— Новая метла всегда чисто метет,— засмеялась Зубова.

В торжественный день закладки храма у Софьи Андреевны был тот обед, на котором она хотела короче познакомиться с помощницами. Когда кончилось молебствие, когда был положен первый камень будущей церкви в срубленном саду, когда уехали все попечители приюта, начальница пригласила помощниц на свою половину. В числе гостей Софьи Андреевны было несколько ее молодых кузин и кузенов, племянников и племянниц; вообще все общество было молодое и веселое. Катерина Александровна с любопытством всматривалась в гостей и прислушивалась к их речам. Толки шли о печальных результатах войны; о разных злоупотреблениях; о том, что общество ожидает чего-то нового; рядом с этим слышались речи о своих семейных делах, о каких-то известных только собеседникам личностях. Одни толковали о происшедшей уже перемене некоторых высших начальствующих лиц; другие обсуждали вопрос о воспитании; третьи вспоминали свои школьные годы; четвертые просто жаловались на отсутствие удовольствий, на скуку и тоску. Направление разговора было бесхарактерно и неуловимо, как это всегда бывает, когда в обществе есть еще незнакомые личности и когда оно делится на отдельные кружки, не имеющие никаких общих интересов, никаких определенных стремлений и целей. Наконец общество дождалось обеда и соединилось в одну группу.

— Я сегодня хочу отпировать последний день свободы,— проговорила Софья Андреевна.

— И перейти к великой административной деятельности,— шутливо заметил один из ее кузенов.

— А вы не смейтесь! Задача действительно не легкая. Здесь нужно перестроить все,— ответила Софья Андреевна.

— И потому на первых порах вы приступаете к постройке храма,— опять заметил тот же шутливый голос.

— Разве это я? — воскликнула Софья Андреевна, пожимая плечами.— А как жаль мне этого садика,— обратилась она к Катерине Александровне.— Он, кажется, был такой миленький. И для детей это полезно.

— К сожалению, им почти не пользовались дети,— отвечала с улыбкой Катерина Александровна.— Он был просто одним украшением. Они продолжали шить в душных комнатах, хотя в саду было и свежее, и лучше.

— Идиотизм! — пожала плечами Софья Андреевна.

— Не самый крупный,— насмешливо усмехнулась Катерина Александровна.— У нас, например, учили до сих пор детей так, что они при выходе из приюта не умели правильно написать двух строк и не знали порядочно первых правил арифметики... Зато они отлично пели херувимскую...

В комнате послышался смех.

— Это, вероятно, для смягчения нравов,— засмеялась Софья Андреевна.

— Но чтобы нравы не смягчились через меру, взрослых воспитанниц секли публично,— окончила Катерина Александровна тем же тоном.

По лицам присутствующих пробежали неприятные гримасы.

— Здесь что шаг, то противоречие и нелепость. Детей учат настолько, чтобы они ничему не научились. Заботятся о смягчении нравов и обращаются с детьми хуже, чем с прислугой. Хотят приготовить их к работе и учат только шитью белья, то есть самой невыгодной работе, хотя так же легко было бы научить детей шить платья, что гораздо прибыльнее. Спасают детей от нищеты и кормят их хуже, чем кормят нищих,— проговорила Катерина Александровна.

— Ну, кузен,— обратилась Софья Андреевна к молодому человеку, делавшему шутливые замечания в начале разговора,— будете вы утверждать, что мне нечего делать, что на мне не лежит множества тяжелых обязанностей?

— Их, впрочем, облегчат ваши помощницы,— улыбнулся кузен.

— Да, да, на вас я полагаюсь, как на каменную гору,— весело обратилась Софья Андреевна к помощницам.

— Это наш долг,— чопорно вставила свое слово Постникова, потупив глазки.

— Только бы свыше не помешали,— заметила Катерина Александровна.

— А хитрость? Это женская сила.

— Это сила рабов, кузина,— заметил кузен.

— А мы разве не рабыни?

За столом посыпались перекрестные остроты и шутки. К Катерине Александровне обратилась сидевшая рядом с ней девушка с бойкими глазами и вздернутым носиком.

— Вы думаете, что можно что-нибудь сделать? — спросила она.

— Конечно, можно,— ответила Катерина Александровна.— Вот я сделала хоть то, что буду учить детей сама.

— Но вы одни не успеете научить их всему.

— Тем более что я сама знаю очень немного,— досказала Катерина Александровна.

Молоденькая девушка взглянула на нее с удивлением: ее поразила простота этого признания.

— Ну, мы все, конечно, немного знаем,— заметила она, как бы поясняя мысль Катерины Александровны.

— А я менее других,— сказала Катерина Александровна.— Я сама еще учусь, учусь урывками, без учителей... Впрочем, я знаю настолько, что могу учить этих детей... Мне кажется, что прежде всего нужно бы обновить весь состав приютских властей; нужно ввести учительниц и кроме того нанять модистку, чтобы дети научились шить платья... На это нужны средства — и вот здесь-то будет камень преткновения для Софьи Андреевны.

Обед кончился, все встали.

— Софи,— обратилась бойкая девушка к Софье Андреевне,— mademoiselle Прилежаева думает, что ты не сделаешь ничего не по своей воле, а по недостатку средств.

— Кстати, поговорим об этом,— произнесла Софья Андреевна, закуривая пахитосу и увлекая девушек в угол гостиной на маленький диван.— Вы мне уже заметили об этом при нашем первом свидании,— обратилась она к Катерине Александровне.— Нужно изобрести средства.

Катерина Александровна посмотрела на нее недоумевающими глазами.

— Дети делают заказную работу? — спросила Софья Андреевна.

— Да.

— Эти деньги все сдаются в комитет?

— Да.

— Ну, вот мы и нашли первый источник.

Катерина Александровна улыбнулась.

— То есть вы хотите сказать, что не следует всего сдавать в комитет?

— Конечно!.. Бог мой, разве мы упитанных тельцов должны еще более откармливать? Нужно давать им как можно меньше и оставлять для детей как можно больше.

— И вы думаете, что это не сделается известным на другой же день комитету? — горячо спросила Катерина

Александровна.— Здесь у стен уши, здесь у каждой замочной скважины глаза! Вы думаете, что завтра уже не будет известно, что говорила я за столом, что отвечали вы, как разместились мы теперь за кофе, как вы шептались со мной?

Лицо Катерины Александровны разгорелось и воодушевилось.

— Здесь все гадко, начиная с комитета и кончая судомойкой...

— Ну, и долой их всех,— решила Софья Андреевна.

— Членов-то комитета?

— Нет, я о судомойках говорю... Неопасные враги не страшны!.. Мы только приют обновим...

Катерина Александровна рассмеялась.

— Значит, и мне придется выйти,— с улыбкой заметила она.

— Фи! — сделала гримаску Софья Андреевна и покачала головой.— Я людей узнаю с первой встречи. Мы, женщины, по недостатку опытности, по недостатку серьезных знаний должны верить первым впечатлениям. С вами я как будто век жила... Скажите, пожалуйста, этот скелет всегда так взбивает свои три волоса? — засмеялась Софья Андреевна, указав глазами на Марью Николаевну.

— Она еще переживает годы сентиментальности,— рассмеялась Катерина Александровна.

— Софи, ты не находишь сходства в этой толстой со старой ключницей бабушки? — спросила бойкая девушка, указывая на Зубову.

— Я, душа моя, чуть-чуть не спросила ее: как ты сюда попала, Авдотья? — рассмеялась Софья Андреевна.— Нет, нет, мы все это очистим,— серьезно проговорила она и вдруг обратилась к Катерине Александровне с совершенно неожиданным вопросом: кажется, Александр Николаевич Свищов засматривается на ваши глазки?

Катерина Александровна вспыхнула до ушей и растерялась.

— Право, не знаю, засматривается ли он на мои глаза,— проговорила она в смущении.— Но я ему очень благодарна за то, что он доставил мне место учительницы...

— Ну, даром он не стал бы хлопотать,— решительно произнесла Софья Андреевна.

Катерина Александровна окончательно растерялась. У нее захватило дыхание.

— Кажется, я ничем не могла заплатить за его хлопоты,— начала она в волнении.— Я...

— Что это вы? — весело воскликнула Софья Андреевна, заметив смущение молодой девушки.— Я и не думала, что вы чем-нибудь заплатили за его хлопоты. Но он-то хлопотал ради ваших глаз... Еще раз говорю, что даром он ничего не сделает и никогда не похлопочет,— ну хоть бы об этом скелете,— Софья Андреевна указала глазами на Постникову.— Его нужно в руках держать.

— К сожалению, я не стану играть в эту опасную игру,— холодно заметила Катерина Александровна.

— Опасную? С ним-то? Бог мой, какое вы дитя! — воскликнула Софья Андреевна.— Ведь он и за мной ухаживает, ухаживает за каждой не совсем дурной лицом женщиной. Это один из рыцарей хорошеньких женщин.

Катерину Александровну смущал тон речей Софьи Андреевны. Молодая девушка не привыкла еще к подобным разговорам, и в ней был еще большой запас того чувства, которое называется женщинами, подобными Софье Андреевне, «мещанской чопорностью», «мещанским жеманством». Катерина Александровна поспешила переменить разговор и перешла к толкам о необходимости научить детей шить платья, о возможности устроить при приюте кухню, из которой отпускалось бы на сторону за деньги кушанье.

— Детей готовят в горничные, в кухарки, в жены небогатых мужчин, но в то же время их учат только шитью белья и заставляют дежурить на кухне, где приготовляют только горох, кашу и щи,— горячо говорила она.— Этого слишком мало. Горничная должна уметь шить платья, кухарка должна уметь готовить кушанье. Наконец, в небогатом семейном быту без этих знаний нельзя обойтись...

— Да, да, это все надо обсудить,— ответила Софья Андреевна, вставая и присоединяясь к остальным гостям; через минуту в комнате слышался ее звонкий смех.

— Кузен, не правда ли, что в эту миленькую мещаночку можно влюбиться? — приставала она к своему кузену, тихонько указывая на Катерину Александровну.

— А вы уж ей и кличку дали? — пошутил кузен.

— Не могу! Мне как-то противно называть людей общими, ничего не характеризующими именами...

— Как ничего не характеризующими? Вон ваше имя, например, означает: мудрость,— засмеялся кузен.

— Ну, скажите, пожалуйста, какая же я мудрость? —

засмеялась Софья Андреевна.— Постное выражение лица, чепец на голове, очки на носу, табакерка в руках,— вот атрибуты мудрости... Я просто баловень судьбы.

— Ну, кузина, вы, по-видимому, плохо знаете греческую мифологию. Богиня мудрости не носила чепца,— шутил кузен.

— Ну, положим. А признайтесь: у нее было постное выражение лица? Да?..

— Софи точно мотылек,— заметила молоденькая кузина Софьи Андреевны.

На Катерину Александровну Софья Андреевна произвела хорошее, хотя немного странное впечатление. Необыкновенная бойкость, подвижность, уменье легко и быстро перескакивать в разговорах от предмета к предмету, некоторая фривольность речей, беспрестанное куренье пахитос, следы какого-то ребячества в тридцать с лишком лет — все это было совершенно ново для Катерины Александровны. До сих пор она не встречала подобного типа. И не мудрено. Ей не приходилось вращаться в тех сферах, где можно было встретить множество подобных женщин. Эти женщины, получившие чисто французское образование, прожившие в довольстве, никогда не знавшие, что значит зарабатывать кусок хлеба, вертевшиеся в высшем кругу, порхавшие по балам и от нечего делать почитывавшие все новые романы и даже серьезные статьи в «Revue des deux Mondes», были солью нашего так называемого образованного общества. Свобода обращения, бойкость, уменье болтать, даже некоторое стремление к независимости — хотя в отношении любви — все это делало их любимицами тех образованных мужчин, которые бредили Францией и жаловались на азиятскую сонливость и на неподвижность ума русских женщин.

Иногда двусмысленные речи Софьи Андреевны заставляли «милую мещаночку» Прилежаеву краснеть; но прежде чем с ее лица сбегала краска стыдливости, Софья Андреевна уже перескакивала к серьезному предмету и не давала времени своей собеседнице одуматься. Во весь этот день и при первом знакомстве с приютом Софья Андреевна ни разу не приняла на себя вида строгой, бесконтрольной начальницы, не выглядела такой неприступной и не терпящей возражений правительницей приюта, как это делала Анна Васильевна; но все-таки в ее речах, в ее обхождении сразу можно было подметить что-то говорившее, что она сумеет, пожалуй, получше Анны Васильевны

прибрать все к рукам; у нее были те мягкие кошачьи лапки, которые, играя, умеют придушить мышонка. Катерина Александровна смотрела на эти кошачьи лапки без страха, сразу поняв, что они задушат не ее, что они будут бороться не с детьми, а с Зубовой, Постниковой, Белокопытовой и тому подобными личностями. Катерина Александровна с нетерпением ждала первых дней этой борьбы. Они не заставили себя ждать. На следующий же день Софья Андреевна явилась в столовую комнату и с удивлением спросила у помощниц:

— Отчего это на столах нет скатертей?

— У нас клеенки употребляются,— ответила Зубова.— А то дети неряшливы, пачкают скатерти.

— Так вы думаете, что их нужно делать еще более неряшливыми, приучая пить и есть без скатертей? — засмеялась Софья Андреевна.— Теперь они привыкнут пить и есть на клеенке, спокойно разливая по ней чай, а потом, когда им придется в жизни есть и пить за столами, накрытыми скатертями, они окажутся неряхами.

— Это ведь не от нас распоряжение,— едко заметила Зубова.— Это попечители приюта так желают.

— Ах, бог мой! Попечители не педагоги, а мы не машины! — воскликнула Софья Андреевна.— Вы практически узнаете здесь нужды детей и должны заявлять, что требуют изменения... Что это? — обернулась Софья Андреевна в угол, заметив стоявшую на коленях воспитанницу.

— Она не хотела вставать, она нагрубила мне,— вмешалась в разговор Постникова, на лице которой выступили пятна.

— Не хо-те-ла вста-вать? — медленно повторила Софья Андреевна.— Отчего это?

— У меня...— начала из угла девочка.

— Она притворяется,— быстро перебила ее Постникова.— Она уверяет, что у нее голова болит... Эта девчонка...

— Что же, вы посмотрели ей язык и пощупали голову и пульс? — спросила Софья Андреевна.

— Я не доктор,— обидчиво возразила Постникова, точно ее оскорбили, предположив в ней медицинские познания.

— Ах, мы должны быть и докторами, и духовниками, и всем чем угодно для детей,— ответила Софья Андреевна.— Это так легко: пощупать пульс, узнать, нет ли жару,

посмотреть язык... По крайней мере велели ли вы поставить ей горчичник к затылку?

Постникова недоумевающими глазами посмотрела на Софью Андреевну и неясно ответила:

— Не-е-ет!

— Ну, вы действительно не доктор! — иронически засмеялась Софья Андреевна.— Сколько бы времени она ни стояла на коленях, головная боль у ней не пройдет, а если бы вы поставили ей горчичник к затылку и напоили бы ее чаем, то, вероятно, она перестала бы жаловаться на головную боль...

— Да эта девчонка лжет...

— Почему же вы знаете, если вы не убедились в этом? А если и лжет, то горчичник был бы не лекарством, а наказанием, и, конечно, более благоразумным, чем стояние на коленях... Кстати! Прошу вас, не называйте детей девчонками. Это унижает не только их, но и нас. Мы им служим, и если они девчонки, то, значит, мы еще хуже...

Весь этот разговор происходил шепотом; Софья Андреевна говорила ласковым мягким тоном, но Постникова стояла перед ней, как перед самой строгой начальницей. Никогда крики Анны Васильевны не поражали так старую девственницу, как эти ласковые наставления. В десятом часу того же дня Софья Андреевна уже осматривала белье, зашла в кухню осмотреть посуду, пересмотрела провизию и терпеливо выслушала все сплетни прислуги.

— Надо будет всю прислугу переменить,— произнесла она, входя в рабочую комнату, где уже сидели за работой помощницы и дети.— Я не терплю сплетен, а здесь, кажется, каждый считает своей обязанностью сплетничать и подсматривать за другими. Дети, помните и вы, что лучше сознаться в самой крупной своей ошибке, чем рассказать хоть про самую мелкую шалость других. Кто будет сознаваться, тех буду прощать; кто будет про других говорить, тех буду наказывать. У меня суд короткий — исключать из приюта буду, потому что если человек жалуется на других, значит, он недоволен ими, ну значит его и надо удалить от них: не выгонять же многих из-за одного.

Софья Андреевна приласкала двух-трех девочек и прошла в класс, где начался первый урок Катерины Александровны. Дети хотели встать, но Софья Андреевна сказала им: «Сидите, сидите!» — и присела на одно из пу-

стых мест. Через четверть часа урок должен был кончиться и Софья Андреевна, по-видимому, ждала именно его окончания. Когда послышался звонок, призывавший к обеду, Софья Андреевна остановила Катерину Александровну.

— Мне нужно будет поговорить с вами,— промолвила она.— Скажите мне откровенно, есть ли в приюте хоть один хороший человек?

— Вы о детях спрашиваете? — спросила Катерина Александровна.

— Нет, о прислуге, о служащих...

— Ни одного,— резко ответила Катерина Александровна.

Софья Андреевна поднялась с места.

— Значит, стесняться нечего,— произнесла она.— Знаете ли, какое впечатление произвел на меня сегодняшний осмотр всего? — спросила она серьезно.

— Очень дурное...

— Да, мне показалось, что я стою среди помойной ямы, в которую силой согнали несчастных детей и заставляют их купаться в этой грязи... Я ничего еще не говорила, но меня ужаснула грязь кухни, грязь посуды, грязь кухонного белья... И что им готовят? Я видела, сколько гороху положили в котел, я видела этот кисель, которым их будут кормить сегодня... А капуста — это рубленое солдатское сукно, а не капуста... И ради экономии им дают два раза в неделю постное. Морят людей ради экономии!.. Всех вон, всех, покуда не поздно...

Софья Андреевна пожала руку Катерины Александровны и пошла в столовую, переменив разговор. В столовой новая начальница попробовала кушанья и посмотрела поданные детям тарелки. Кушанья оказались скверными, посуда грязной. Софья Андреевна приказала позвать прислугу и напустилась на нее. Катерина Александровна впервые увидала перед собой Софью Андреевну в таком раздражении.

— Как вы служите? — горячилась она.— Вы думаете, что если эти дети небогаты, то им можно подавать грязные тарелки? Да знаете ли вы, что вы получаете жалованье только ради этих детей, что, не будь их, так и вас не было бы здесь? Не они для вас сюда собраны, а вы наняты в услужение для них. Вы не мои слуги, а слуги этих детей. Они ваши господа. Мы все наняты для них.

Софья Андреевна выслала прислугу и обратилась к помощницам.

— Я вас попрошу каждый раз говорить мне, когда где-нибудь найдется хотя одна грязная тарелка. Дети не могут быть здоровыми, если их кормят не кушанием, а грязью... Ведь вот от этой тарелки воняет... Попробуйте поесть с нее... Не угодно ли?

Софья Андреевна строптиво поднесла грязную тарелку к лицу Постниковой, так что та немного отодвинулась назад.

— Вам противно, а им не противно? — горячо произнесла начальница.— А кто же должен смотреть за этим? За что мы жалование берем? Если бы я одна могла усмотреть за всем, то мне были бы не нужны помощницы, но если помощницы ничего не делают, то они мне не нужны. Кто не хочет служить, тот может идти на все четыре стороны. Мне лишних украшений в приюте не нужно.

Софья Андреевна удалилась из столовой. По ее лицу выступили красные пятна. Она взволновалась не на шутку и горячилась чересчур. Видно было, что распекать людей и браниться было не в ее характере. Она в эти минуты теряла свой обычный такт и свою светскую сдержанность.

— Я говорила, что новая метла будет чисто мести,— проворчáла сквозь зубы Ольга Никифоровна после обеда.

— Я не могу, не могу выносить таких обид,— захныкала Постникова.— Я не служанка детей, я не им служу...

— А кому же? — рассмеялась Катерина Александровна, стоявшая недалеко от помощниц.— Неужели вы и теперь не догадались, что вы детям служите?

Постникова молча отвернулась в сторону.

— Ах! наша офицерша дружбу свела с этой табачницей? — злобно проговорила Зубова про Катерину Александровну, отходя от Постниковой.— Поверьте, что ненадолго. Сами слетят прежде других...

Но Софья Андреевна была не из таких, которых легко сжить. Под беспечной и веселой внешностью в ней таилось много настойчивости и даже деспотизма! Когда-то она в качестве избалованной красавицы девочки командовала своей бабушкой и ее крепостными людьми; потом в роли обожаемой подругами за красоту девушки она командовала своими сверстницами, наконец, она взяла в свои руки влюбленного мужа и командовала им. Правда, что люди, находившиеся под ее командой, большей частью

и не жаловались на деспотизм этого хорошенького, веселого и беззаботного существа, но тем не менее они не могли освободиться от власти этих маленьких рук, своевольно управлявших всеми и всем окружающим. «Хитрость — наша сила», «мы, женщины, должны или всех в руках держать, или нами самими будут командовать», «если бы я заметила в самом дорогом мне человеке стремление взять надо мной верх, я разошлась бы с ним»,— это были любимые фразы Софьи Андреевны. Когда ей говорили, что с любимыми людьми совсем не так легко расставаться, как она думает, она возражала:

— Нужно всех любить шутя, а свою свободу любить серьезно... Впрочем, надо мной никто не пробовал взять верх,— смеялась она.

И действительно, трудно было взять верх над этим ускользающим от всякой узды существом и еще труднее было избежать ее разнообразных сетей. Тонкое кокетство, женственная мягкость, серьезность мыслящего существа, шаловливость избалованного ребенка, непоколебимая настойчивость, маска беспомощной рабы-женщины — все это пускалось при случае в ход, пускалось как бы бессознательно, по чутью, по тому инстинкту, который помогает необразованному дикарю обмануть образованного европейца. Одни называли ее «кошачьей натурой», другие говорили, что это «женщина-мотылек», третьи называли ее «эманципированной барыней»; последнюю кличку она сама оставляла за собой и любила говорить: «Мы, эманципированные женщины».

Она очень ловко и быстро прибрала к рукам приют, сменила всю прислугу, определив на ее места людей из «бабушкиной дворни», и начала осаждать Свищова проектами преобразований в приюте. Образцовая кухня, наем куафера для обучения воспитанниц чесать голову, наем модистки для научения детей шитью платьев, уничтожение уроков пения — все эти проекты нововведений сыпались, как снег, на головы Свищова и Ермолинского. Но комитет благотворительных заведений сдался не сразу и сначала согласился только на наем модистки.

— Как бы только этих девственниц нам сбыть с рук,— говорила Софья Андреевна Катерине Александровне про двух помощниц.— При них ничего нельзя сделать для улучшения приюта.

И она стала хлопотать о том, чтобы все помощницы давали уроки детям, обходясь без помощи учителя. Сви-

щову удалось провести эту реформу в собрании комитета. Комитет разрешил отставить учителя и возложить на помощниц обязанность учить детей. Софья Андреевна тотчас же доложила комитету, что две находящиеся в приюте помощницы почти безграмотны и потому их нужно сменить, «тем более, что они не имеют никаких педагогических способностей и ведут детей в бездну безнравственности, делают грубыми их молодые сердца и вселяют в них пагубное раздражение и непокорность». Последние фразы докладной записки, предназначавшиеся исключительно для графини Белокопытовой, показались до того удачными Софье Андреевне, что она с громким хохотом читала и перечитывала их в кружке своих кузенов, кузин и Катерины Александровны.

— Каков мой верноподданнический доклад ее сиятельству? — хохотала она, держа в руках дымящуюся пахитосу.— «Вселяют в них пагубное раздражение и непокорность!» Красноречиво и убедительно! Зубова и Постникова — пропагандистки бунта!.. Если бы Александр Николаевич не был так туп, он, верно, прыснул бы от смеха при чтении этих строк в комитете...

— Однако вы круто повернули дело,— заметил ей тот кузен, который подшучивал над нею за обедом.— Вы просто безбожный деспот.

— Напротив того. Чего женщина хочет, того бог хочет,— ответила она французской пословицей.— Вы видите, что мои желания святы.

— Но ведь и они хотели бы остаться,— заметил кузен.

— Да разве это женщины? — засмеялась она.— Попробуйте предложить им руку и сердце.

Последние строки докладной записки действительно произвели на членов комитета сильное влияние, тем более, что Софья Андреевна объявила в своей записке, что помощницы сознательно прикрывали все упущения, открытые ревизионной комиссией и вызвавшие удаление прежней начальницы. Однако Софья Андреевна гораздо усиленнее составляла проекты нововведений, чем действовал комитет. Только к марту месяцу ей удалось «очистить» приют и ввести в него двух новых помощниц-учительниц. Одна из этих девушек, Аделаида Николаевна Сочнева, была кузина Софьи Андреевны, познакомившаяся с Катериной Александровной еще на первом обеде

Софьи Андреевны; другая, Марья Петровна Иванова, была из числа знакомых Софьи Андреевны.

— Ну, теперь я покойна, теперь мы в своей семье,— говорила Софья Андреевна после изгнания Постниковой и Зубовой.— Соглядатаев больше нет. Теперь нужно изобретать средства.

Изобрести средства было очень трудно, покуда дети еще не научились шить и покуда комитет не разрешил основание образцовой кухни. Но Софья Андреевна решилась действовать помимо комитета и открыла кухню без его разрешения на свои средства. Хотя доход с этой кухни был не особенно велик, но все-таки при помощи его можно было хотя немного улучшить пищу детей. У Софьи Андреевны кроме того вертелся в голове план образцовой прачечной для стирки и глаженья тонкого белья.

Среди этой неусидчивой деятельности Катерина Александровна играла далеко не последнюю роль и помогала Софье Андреевне во всем. Они как будто век жили вместе, несмотря на то, что Катерине Александровне на первых порах казалось неловко в шумном и веселом кружке, который постоянно вертелся около Софьи Андреевны и который сама Софья Андреевна называла своим «хвостом». На половине начальницы теперь завелись вечера, на которые собиралась молодежь,— несколько молодых девушек и женщин, несколько офицеров и студентов. Там слышались вечные споры, раздавался смех, сыпались шутки, порой высказывались довольно смелые мысли и желания. Прислушиваясь к шуму этих речей, было трудно уловить какой-нибудь определенный характер этого кружка; серьезная мысль уживалась здесь рядом с светской пустотой; толки об общественных событиях шли рядом с мелкими рассказцами про семейные интриги; критические заметки на литературные произведения сменялись вопросами о балах и модах. Это был кружок либеральной молодежи, вышедшей из школы разных Левашовых, Медниковых, Старцевых и тому подобных отживавших свое время недовольных граждан. Трудно сказать, чего хотели эти люди: оперы, балов, карет и пикников или крестьянской и судебной реформ, разрешения женского вопроса и преобразования по части воспитания и образования,— но можно было наверное сказать, что они не желали возвращения, например, ко временам аракчеевщины, или введения домостроевских правил в семейную жизнь, или второго пришествия времен Магницкого. На всех этих людях

лежала печать барства: они были белоручки, они не могли бы приняться за черный труд, они схватили только верхушки образования, они не могли бы отказаться от светских удовольствий, от блестящих нарядов, они были довольны, что у них есть наследственное и благоприобретенное имущество; но в то же время им уже успели опротиветь семейные дрязги, разбитые скулы крепостных, деспотизм старших; они стыдились взяточничества, они бранили неполноту образования, они почитывали книжки, искали в книжках чего-то. Еще года два застоя в обществе, еще года два старых порядков, и эти люди точно так же помирились бы с прежними порядками, как помирились их предшественники, тоже на двадцатом году жизни волновавшиеся по-своему какими-то смутными стремлениями, какими-то внутренними dahin, dahin[1] — в эту «светлую даль», которая в конце концов могла оказаться на деле или маниловской семейной жизнью, или теплым местечком при откупах, или праздношатанием на водах за границей. Но теперь была не такая пора: представлялся случай осуществить эту «светлую даль» у себя, внести ее во все изгибы частной и общественной жизни. Однако покуда стремления к лучшему еще не получили определенного характера; даже в самой литературе, где сосредотачивается выражение этих стремлений, не было высказано ничего особенно ясного, особенно тенденциозного; в ней отрицалась чичиковщина, осмеивались Коробочки, Маниловы, Плюшкины, описывался жалкий быт мужика в «Записках охотника» и слышалось сильное веяние жоржзандизма. Последний, эмансипировавший женщин со стороны чувства, усваивался молодыми барынями и барышнями не столько при помощи русской литературы, сколько при помощи французских романов. Более широкие по задаче романы Жорж Занда не имели доступа к русской публике. Присматриваясь к кружку Софьи Андреевны, можно было сразу уловить влияние этой ложно понятой жоржзандовской эмансипации в довольно свободных отношениях молодежи, в некоторой бойкости барышень, в курении пахитос и папирос не ради удовольствия,— как курили у нас в двадцатых и тридцатых годах совсем не эмансипированные провинциалки, курили не папиросы, а просто трубки,— но ради желания показать, что «и мы имеем право курить, как мужчины». Катерина

---

[1] туда, туда *(нем.)*.

Александровна сразу выдалась в этом кружке своим характером и своими стремлениями. Она равнодушно молчала, когда шли толки о балах и театрах, о поэзии и концертах: всего этого не существовало в ее голодном прошлом, и она не чувствовала никакой притягательной силы во всем этом. Наговорившись досыта об этих предметах, собеседники замечали ее холодное и равнодушное молчание и старались заговаривать с ней; но разговаривать с ней значило говорить об образовании вообще и об образовании бедных девушек в особенности. Касаясь этой темы, она делалась красноречивой, сведущей, разумной. Она сама еще не выбилась из тьмы невежества, она знала, как трудно необразованной девушке добыть кусок хлеба; она поняла, что делают разные попечители голодных сирот, она могла определить значение женского труда, состоящего в уменье шить белье. Говоря обо всем этом, она делалась красноречивой, иногда страстной; порой в ее речах слышалось негодование, подчас они сверкали остроумием. Она краснела, когда Софья Андреевна делала фривольные двусмысленные намеки, но она нисколько не стеснялась резко и громко произносить слово «разврат», горячо описывая, до чего довели, например, Скворцову, сначала бежавшую к учителю, потом попавшую, по-видимому, «на содержание» к какому-то молодому богачу. Ее собеседницы, говоря о женском незнании, о женской необразованности, старались делать вид, что сами-то они обладают знаниями, и вкривь и вкось судили о серьезных вещах; она тоже говорила о женской неразвитости и первым примером ставила себя, говоря, что она только в последнее время научилась правильно писать. Эта откровенность смущала барышень, и они удивлялись, как можно так спокойно при всех сознаваться в своем невежестве. Еще более резко высказались те характерные черты, которыми она отличалась от прочих членов кружка Софьи Андреевны, в одном из разговоров об участи помощниц, классных дам и тому подобных личностей.

— В сущности ведь это ужасно,— заметила пожилая Аделаида Николаевна,— весь век возиться с чужими детьми...

— Это просто невозможно,— ответила Катерина Александровна.— Помощницей или классной дамой можно быть только в молодости, когда наши ноги бегают так же хорошо, как детские, когда можно одной усмотреть за десятками детей. С разбитыми ногами, с подслеповатыми

глазами, с постоянными недугами, с ослабевшей памятью невозможно идти впереди детей.

— Это правда, это правда,— согласилась Аделаида Николаевна.— Вот почему меня и ужасает вообще участь помощниц и классных дам. Им приходится учить, учить детей, возиться с ними долгие годы, а потом остаться без куска хлеба, если не удастся выйти замуж или если нет капитала. Я думаю, эта мысль не раз беспокоила и вас.

— Да, я думала об этом,— ответила Катерина Александровна.— Мне ведь могла встретиться необходимость выйти из приюта за непокорность гораздо раньше, чем наступит моя старость... Я для того и учусь, чтобы не быть пойманной врасплох.

— Что же, вы хотите учительницей быть? Ведь это...

— Это то же самое, что быть помощницей или классной дамой,— досказала Катерина Александровна.— Я думаю сделаться акушеркой. При моем уменье шить и вышивать, при возможности давать два-три урока детям труд акушерки будет мне большим подспорьем. Не удастся одно, удастся другое; не удастся другое, удастся третье. Мне кажется, что бедный человек тогда только будет застрахован от нужды, когда он будет в состоянии взяться за каждый труд... Вот у меня брат растет, он в гимназии учится, отлично учится, но меня радуют не столько его успехи в науках, сколько его привычка делать все без помощи других: он рубит дрова, он умеет починить сломавшийся стул, он в последнее время стал учиться сапоги шить и уже умеет подкидывать подметки. К лету я непременно подарю ему верстак, пусть столярничает.

— Ну, вам-то, душа моя, нечего думать о будущем,— промолвила Софья Андреевна.— Вы замуж выйдете; с такими черненькими глазками не сидят долго в девушках.

— Да ведь придется выйти замуж за бедняка, так легче не станет,— ответила Катерина Александровна.

— Почему же непременно за бедняка? Может быть, и богатый жених найдется...

Катерина Александровна рассмеялась.

— Да о чем же мы с ним говорить будем? — весело промолвила она.

— Как о чем? — изумилась Софья Андреевна.

— Он мне будет говорить о музыке и об иностранных литературах, о балах и театрах, а я буду только глазами хлопать; я ему буду говорить о своем прошлом, о про-

шлом своей семьи, а он будет зевать от скуки... Совсем не поймем друг друга...

— Так вы, значит, не признаете так называемых неравных браков? — горячо воскликнула Софья Андреевна.— Вы думаете, что мы, женщины образованного общества, не имеем права влюбиться в плебея, что наши братья не имеют права очароваться простой дочерью природы? Это отсталость, душа моя! это проповедовали наши бабушки.

— Я с ними не была знакома,— с улыбкой ответила Катерина Александровна.— Я говорю только за себя и про себя. Я, может быть, и влюбилась бы в богача, в аристократа, но замуж бы вышла только за того, кто ел те же щи и ту же кашу, которыми питалась я. А то ведь вкусы были бы разные с мужем.

— Нет, нет, это все предрассудки! — горячилась Софья Андреевна.— Любовь не знает сословных и имущественных различий!

— Может быть,— согласилась Катерина Александровна.— А я все-таки не могу понять, о чем вы говорили бы в течение всей своей жизни с мужем, если бы влюбились и вышли замуж за нашего дворника. Право, вы соскучились бы с ним на другой же день, а он соскучился бы с вами накануне. Да вот, например, я: я так привыкла к своему простому супу и куску говядины, что мне пришлось бы держать отдельный стол, если бы я вышла замуж за барина, привыкшего есть...

Катерина Александровна расхохоталась веселым смехом.

— Ну вот, я не знаю даже и названия тех блюд, которые привык есть мой аристократический жених,— промолвила она.

Собеседники засмеялись.

— О, да вы серьезно обдумали этот вопрос,— заметил кузен Софьи Андреевны.— Это недаром. Вероятно, вам уже представлялась необходимость решить его.

Катерина Александровна пожала плечами.

— Не представлялась и не представится,— ответила она.

— Ну, за будущее не ручайтесь!

— Я могу за него ручаться, потому что оно мне известно,— ответила она, слегка покраснев, и поспешила переменить разговор.

Эти споры, эти толки, несмотря на всю свою баналь-

ность и поверхностность, заставляли ум молодой девушки работать и делали ее все более и более бойкой. Нередко она выходила победительницей из споров, нередко она замечала, что большинство окружавших ее людей, стоявших выше ее по образованию, далеко уступает ей в здравом смысле, в знании жизни, в определенности стремлений. Это сознание не только льстило ее самолюбию, но и придавало ей энергию, заставляло ее усиленнее и отчетливее определять все свои стремления и цели. Она теперь уже ясно видела, что ее задача заключается в принесении возможно большей пользы воспитанницам приюта и в самообразовании, при помощи которого она может обеспечить свою будущность. Весной она передала свои планы в одном из писем Александру Прохорову. Эти планы привели его в восторг.

«Я знал, что ты выбьешься на прямую дорогу, моя умная,— отвечал он ей.— Я рад, что ты без моей помощи, без моих советов выработала эти планы. Ты можешь гордиться теперь уже одним тем, что ты самостоятельно додумалась до того, до чего не додумывается большинство наших барышень, окруженных учителями и книгами, богатых свободным временем и деньгами. Тебя тревожит только то, что тебе придется долго копить деньги для того, чтобы иметь возможность прослушать курс акушерства. Но в этом случае ты не должна забывать обо мне. Я скоро приду к тебе на помощь, и ты, не кланяясь никому, не занимая ни у кого, пойдешь к осуществлению своих планов. Я думаю поступить в академию, и моих средств достанет тогда для всех нас. Широко жить мы не привыкли, а голодать не придется».

Катерина Александровна весело и с светлыми надеждами смотрела на будущее.

VIII

ИЗМЕНЕНИЯ В СУДЬБЕ НЕКОТОРЫХ ИЗ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИЦ РОМАНА

Покуда Софья Андреевна осаждала комитет своими проектами, он сам начал принимать довольно странное направление. Все чаще и чаще слышались в нем среди людей, одетых в бархат и украшенных бриллиантами, толки о недостатке средств, все чаще и чаще граф Дмитрий Васильевич высказывал членам, что у него на шее сидят

все эти благотворительные затеи, что теперь не такие времена, чтобы бросать тысячи на нищих. Но помимо этих рассуждений в комитете у графа происходили долгие интимные совещания с сыном о филантропических затеях Дарьи Федоровны.

— Мы разорены, мы перебиваемся только при помощи займов, а она все больше и больше тратит на всех этих нищих,— говорил однажды отец, сидя со своим сыном поутру в кабинете.— Этому надо положить конец. Мы стоим над пропастью. Ты знаешь, Алексей, что тебя ждет нищета.

— Ну, я-то женюсь,— ответил Алексей Дмитриевич.— Но твое положение, кажется, непоправимо.

— Непоправимо! непоправимо! — загорячился отец.— Что ты мне об этом говоришь? Нужно, чтобы оно было поправимо; нужно остановить вовремя мать... Ты слышал насчет постройки церкви?

— Слышал,— пожал плечами сын.

— Что же это будет? При приюте выстроит церковь, потом, пожалуй, при богадельне вздумают строить; далее какой-нибудь новый монастырь решатся основать... Ты вспомни, что все это из наших денег. Мы занимаем, мы бьемся с гроша на грош, а она строит храмы... Она просто сумасшедшая!..

Сын пристально взглянул на отца испытующим взглядом.

— Скажи, пожалуйста, отец,— начал он, небрежно играя одноглазкой,— неужели ты это заметил только теперь? Неужели тебе никогда не приходила эта разумная идея прежде?

Дмитрий Васильевич несколько смутился и вопросительно взглянул на сына.

— Какая идея?

— Идея о том, что ее следует признать сумасшедшей,— холодно промолвил сын.

Дмитрий Васильевич встал и прошелся по комнате. Он с некоторого времени уже и сам думал о том, что не худо бы наложить опеку на Дарью Федоровну, но его смущало теперь хладнокровие, с которым сын говорил о сумасшествии матери.

— Признаюсь тебе откровенно,— начал Алексей Дмитриевич, откидывая кудрявую голову на спинку кресла и протянув ноги,— меня давно удивляло, что ты смотришь на все сквозь пальцы и бездействуешь. Я не хотел начи-

нать этого разговора; собственно мое положение еще не так дурно: я молод, здоров, говорят, недурен собой...

Алексей Дмитриевич усмехнулся и мельком бросил взгляд на зеркало, где отражалось его нежно-розовое, выхоленное и замечательно правильное лицо.

— Я могу жениться и женюсь,— продолжал он.

— Уже решился? — сквозь зубы спросил отец.

— Да... Денисова убили кстати,— усмехнулся сын.

— Но ведь она годится тебе в матери,— заметил отец.

— Я о летах не справлялся,— холодно ответил сын,— я справлялся о деньгах... Теперь не время сантиментальничать...

— У нее, кажется, дети?

— У них имение отдельное... Впрочем, я буду опекуном...

Дмитрий Васильевич зорко взглянул на сына; хорошенькое личико последнего было по-прежнему невозмутимо спокойно.

— Но мы уклонились от главного вопроса,— лениво начал сын.— Я говорю, что я не вмешивался в семейные дела, потому что за себя мне нечего было опасаться, учить же других и в особенности тебя не в моем характере. Но теперь, когда ты сам начал этот разговор, я не могу не заметить, что меня изумляла твоя беспечность: перед тобой бросалось на ветер твое последнее состояние, перед тобой проходили целые стаи грабителей-нищих, уносившие по лоскутку твое имущество; ты должен был входить в долги, а между тем ты молчал...

— Ты очень хорошо знаешь, что я не молчал,— угрюмо ответил Дмитрий Васильевич.— Я говорил, говорил иногда слишком резко, но ты, я думаю, знаешь, как тяжелы эти семейные сцены. Я бежал от них...

Сын усмехнулся.

— Бежать от врагов не значит выиграть дело,— заметил он.— Впрочем, если ты считаешь этот образ действий вполне хорошим и выгодным, то, конечно, не я стану оспаривать тебя...

Алексей Дмитриевич потянулся, зевнул, взглянул на часы и, по-видимому, хотел встать, чтобы выйти из кабинета. Дмитрий Васильевич торопливо произнес:

— Постой!

Алексей Дмитриевич принял снова прежнюю удобную позу.

— Мы еще не решили,— начал отец.

— Чего? — спросил сын.

— Мы... то есть ты не досказал своей мысли.

— Я, кажется, ее досказал... Мне кажется, что она сумасшедшая, то есть не моя мысль сумасшедшая, а мать,— пошутил Алексей Дмитриевич.

— Она была всегда такой,— начал Дмитрий Васильевич.

— Сумасшедшей? О, да! — окончил Алексей Дмитриевич.— Ведь это только все наши смотрели на нее с каким-то фарисейским благоговением. Впрочем, они не умеют не лгать. Пора бы хоть тебе начать действовать прямо. Ведь ты еще не стар, ты еще крепок и здоров, может быть, тебе еще пригодится лишний десяток тысяч. Спасай его, покуда можно.

Алексей Дмитриевич встал, еще раз потянулся и протянул руку отцу.

— А ведь ты заметно упал духом, постарел,— проговорил он тоном участия.

— Какие глупости! — пожал плечами Дмитрий Васильевич.

— Нет, не глупости! Ты не задумывался в былые времена, когда хотел объявить об сумасшествии Маевского...

— Маевский был мне чужой, а она мне жена,— внушительно произнес Дмитрий Васильевич.

Алексей Дмитриевич вопросительно посмотрел на отца.

— Ну, это так давно было,— усмехнулся он.— Ты мог об этом и забыть. У тебя после того было уже столько жен...

Дмитрий Васильевич нахмурился.

— Ты циник,— резко проговорил он.

— У меня есть характер и убеждения; я этого не скрываю,— пожал плечами Алексей Дмитриевич,— а это в нашем кругу привыкли называть цинизмом. Думать и молчать, делать и скрывать — это нравственность; думать и говорить то, что думаешь, делать и не скрывать своих действий — это цинизм. Я выбрал последнее — вот и все.

Он тихо вышел из кабинета, напевая какую-то французскую песенку. В тот же день вечером в кругу своих знакомых, собравшихся в белокопытовских гостиных, Алексей Дмитриевич очень горячо распространялся о филантропии.

— Это одна из страшных язв, против которых мы должны бороться,— говорил он.— Древний мир погиб именно потому, что он состоял из клиентов и патронов. Нищие

думали, что они имеют право жить без труда и кормиться на счет богатых; богачи воображали, что их имущество неистощимо и что они делают благое дело, кормя тунеядцев. С одной стороны, не было производительности, с другой, происходило истребление произведенного: очевидно, что в конце концов должно было произойти полное разрушение всего накопленного, всего произведенного.

— Ты говоришь, как ветреный мальчик, не знающий, сколько бедных голодает,— со вздохом произнесла Дарья Федоровна.— Обогреть, одеть, накормить их нужно...

— Вы, maman, очень чувствительны, но народами управлять нужно не чувствами, а здравым смыслом. Я знаю, может быть, лучше вас, как много на свете бедных, но я знаю и то, что если вы отдадите им все, то бедных будет завтра столько же, сколько их было вчера, только к их числу прибавитесь еще вы. Чувства — вещь очень хорошая, но для домашнего обихода, а не для общественной деятельности. Вы помогаете бедным и думаете, что вы приносите им пользу, а между тем вы в сущности губите их, приучаете к тунеядству, к пьянству, к разврату. Общественную деятельность, заботы о бедных нужно оставить государству и нам, мужчинам, знающим механизм государственного устройства.

— Мы должны, должны заботиться о наших братьях,— вздохнула Дарья Федоровна.

— Должны? Каждый должен заботиться о себе. Прежде всего мы должны обеспечить себя и не раздавать того, что у нас есть, чтобы после наши дети, наши внучата не нуждались в чужой помощи. О бедных же должно заботиться государство, правительство. Мы не должны мешать ему, распложая тунеядство.

— Господи, какое у тебя жесткое сердце! — упрекнула Дарья Федоровна сына.

— Сердце у всех одинаково жестко и одинаково мягко,— усмехнулся Алексей Дмитриевич.— Дело не в нем. Дело в умственном развитии, в трезвых взглядах. Я желаю истинного блага и достоинства человечеству; вы желаете сделать из человечества толпу слабых и погибших созданий, не имеющих силы идти без чужой помощи. Я откровенно говорю, что я не отступил бы ни перед чем, чтобы уничтожить частную филантропию.

— Вот мило! И сами состоите членом наших благотворительных учреждений,— заметила одна из дам.

— Поневоле! Нельзя же уничтожить эти учреждения,

если они завещаны предками. Но уж, конечно, я буду всегда бороться против расширения этих учреждений и против всяких подачек попрошайкам. Я уверен, что и многие согласны со мной, но нерешительность, бесхарактерность мешает им сознаться откровенно, что им надоело отрывать от себя гроши и бросать их без пользы.

— Нет, вы не говорите этого,— заметил какой-то старичок.— Я к светлому христову воскресенью всегда рад дать бедняку... Разговеется... Радость у него в семье...

— А к вечеру драка, после того как на ваши три рубля он купит водки...

— Ну, зачем же так думать, зачем так думать! — покачал головой старичок.— Может быть, и не на вино пойдут деньги...

— А! тут не должно быть никаких *может быть!* Нужно говорить прямо: *да* или *нет*. Я утверждаю, что часть, большая часть денег, полученных от благотворителей, идет в кабаки, и вы мне не докажете противного. У меня факты, цифры, точные сведения, а у вас ваши *может быть*...

Старичок сострадательно покачал головой и скромно прошептал:

— Мы по заповедям божьим живем, а не по модным наукам... Мы старые христиане, а не новые люди.

— И хороши иногда благодетели,— иронически продолжал Алексей Дмитриевич.— Один влез по уши в долги, не имеет средств отдать деньги за взятые у честных тружеников вещи, обманывает доверие своих кредиторов, разоряет семью, а помогает бедным. Да вот, например, наш почтеннейший Данило Захарович Боголюбов...

— Что с тобой? — строго произнес Дмитрий Васильевич?

— Что? — усмехнулся Алексей Дмитриевич.— Разве вы еще не знаете? Этот почтенный член нашего комитета, этот любвеобильный помощник страждущих и голодных оказался вором.

Все общество взволновалось. Графиня начала торопливо креститься.

— Да, вором,— повторил Алексей Дмитриевич.— И у кого воровал? У нашего войска, переносившего такие тяжелые дни,— у раненых, нуждавшихся в помощи. Воровал провиант, корпию, бинты. Это позор, позор для тех, кто пожимал руку этого казнокрада.

Алексей Дмитриевич иронически смотрел на своих собеседников.

— Да этого не может быть,— выразил кто-то сомнение.
— Помилуйте, сегодня получены в министерстве достоверные известия. Правительство напало на след.
— Это ужасно!
— Господи, наставь на путь истиный совращенных демоном,— прошептала Дарья Федоровна.
— Теперь молитвы не помогут. Теперь строгий суд нужен! примерное наказание нужно! — резко произнес Алексей Дмитриевич.
В обществе начались толки и предположения. Алексей Дмитриевич сообщил все, что знал об открытых злоупотреблениях.
— Нет, теперь новые люди нужны для новых порядков,— закончил Алексей Дмитриевич.— Теперь нужно повернуть круто, или мы свалимся в бездну. Я знаю, что многие боятся крутых мер, но они увидят, что правы те, которые стоят теперь за крутые меры.
— Молодость, молодость, горячность! — пробормотал старичок, отстаивавший подачку нищим грошей на праздники.— Люди не щепки, что их бросать можно.
— Вот отец тоже воображает, что люди не щепки,— ответил Алексей Дмитриевич.— Он тоже высказал мне еще сегодня утром подобную же мысль.
Дмитрий Васильевич нахмурил брови, вспомнив, о чем они говорили утром.
— А мне кажется, что с людьми, в крайнем случае, надо поступать, как со щепками,— продолжал Алексей Дмитриевич.— Где лес рубят, там и щепки летят. Если мы хотим вырубить старый лес злоупотреблений, то мы не должны заботиться о представителях этих злоупотреблений. Пусть они летят, как щепки. Я знаю, что вот, например, отец готов назвать подобные идеи цинизмом... Ты, кажется, так назвал их утром? — небрежно обратился он к отцу.— Но я все-таки стою за необходимость крутых мер. Нужно спасать себя. Впрочем, кому хочется гибнуть, тот гибни.
Дмитрий Васильевич очень хорошо понимал, что камни летели в его огород, что гибель пророчилась ему за непринятие крутых мер. Несмотря на жесткость его характера, несмотря на его нелюбовь к жене, несмотря на сознание того, что недурно бы взять под опеку Дарью Федоровну, его бесила резкость и беззастенчивая откровенность сына. Дмитрий Васильевич в душе, быть может, желал достигнуть совершенно тех же целей, которых хотел до-

стигнуть его сын, но в старике шевелилось что-то вроде стыда; он готов был действовать, но действовать под сурдинкой, тайком. Алексей Дмитриевич очень хорошо знал своего отца и свою среду со всеми ее приличиями и обычаями, и потому он очень ясно видел, что отец думает одинаково с ним, хотя и желает действовать иначе. Все дело было в том, что отец сросся со своей средой и прежде всего думал о том, «что скажет свет»,— сын же еще не успел по молодости лет прирасти к своей среде и прежде всего говорил: «Было бы мне хорошо, а на толки я плюю!» В то же время Алексей Дмитриевич сознавал, что нерешительные меры не поведут ни к чему, что надо работать смелее и, главное, скорее.

— Мне кажется, что именно теперь настала пора действовать,— продолжал он,— теперь или никогда. Дела до того запутаны, до того плохи, что еще шаг, еще неделя, месяц — и все погибнет или, по крайней мере, запутается до того, что уже нельзя будет распутать. Если бы люди, смотрящие на дело иначе, потрудились попристальнее взглядеться во все, то они убедились бы, что я прав.

— Новатором каким-то сделался,— прошептал старичок своему соседу.— Заграничных изданий, верно, начитался... Вот и дай волю подобной молодежи!.. Господи, господи!

Дмитрий Васильевич один понимал, что сын говорит не для общества, а исключительно для него самого, и сознавал все более и более, что его дела действительно плохи и требуют немедленного исправления. Далеко за полночь проходил он по своему кабинету и даже не поехал к Матильде Францовне Геринг. Несколько раз останавливаясь перед окном, барабанил он по стеклу, как бы желая заглушить свои думы. Под утро, ложась в постель, он решился действовать прямо.

— Сумасшедшая, сумасшедшая, легко сказать,— мысленно говорил он, засыпая.— Но когда же она не была такой, когда поступала иначе?.. Что ж? может быть, это у них в крови, наследственное... Все знали, что старик Маевский был не в своем уме... Все помнят... Марина Осиповна помнит... Да, наследственное... Что же раньше думал, чего глядел? Половина состояния ушла из рук... А Алексей далеко пойдет... дальше меня... Кутила, волокита, игрок, а какая выдержка... Характер, говорит... Да-а, ха-ра-ктер...

Дмитрий Васильевич забылся тем тяжелым сном, кото-

рый прерывается от каждого звука. Он видел страшные сны. Вот Дарья Федоровна, слабая, едва дышащая, с потускневшим взглядом упала без сил к его ногам и ловит со слезами его руки, торопливо бормоча: «На бедных, ради Христа, на бедных... грошик каждый им дорог... Господи, умягчи сердца позабывших тебя!» Она словила его руку, и он чувствует, что эта рука холодеет, мертвеет в мертвенно-холодной, закостеневшей руке Дарьи Федоровны. Он глядит на Дарью Федоровну и видит, что это уже не живое существо, а бездушный желтый труп, сжавший в предсмертных муках его руку. Ему становится страшно больно — он просыпается и видит, что его рука свесилась с постели и затекла. Он поворачивается на левый бок и снова засыпает. Вдруг к нему в кабинет совершенно неожиданно входит Матильда Геринг.

— Как ты сюда пришла? Ночью? — восклицает он в волнении.

— Да ты пропал совсем: тебя нигде не встретишь! Я с пикника... Уж ты не изменил ли? — говорит она и слегка касается веером его лица.— Смотри у меня! Я ревнива!

— У меня дела...— начинает он.

— У тебя? дела? — восклицает она в удивлении и хохочет звонким смехом.— По клубу? По балету?

— Полно, полно! — говорит он хмуро.— Ты видишь, я измучен, я похудел. Мне тяжелы эти хлопоты, я не привык к ним, мне гадка эта возня.

— Да, уж ты не хочешь ли спасать отечество? — хохочет Матильда Геринг.— О, старый шутник, старый шутник!

— Да хорошо тебе шутить, а мне надо поправить дела, нужно устроить так, чтобы жена не мешала мне...

Матильда вдруг делается серьезной и говорит ему шепотом, внятным, отчетливым шепотом:

— Убей ее!

Он дрожит и быстро зажимает ей рот.

— Ты с ума сошла! — в ужасе говорит он.

— А, так ты ее любишь, так ты ей жертвуешь мною, ты хочешь, чтобы я погибла в нищете, забытая...

Матильда падает в истерике на грудь Дмитрия Васильевича, и ему так тяжело, тяжело; он едва дышит, кажется, сердце готово лопнуть от прилива крови. Он собирается с силами и старается крикнуть: «Человек!.. Владимир!.. Кто там?» Он снова просыпается и быстро пово-

рачивается на спину: перед ним стоит его старый камердинер и докладывает, что пора вставать.

— Да, я отвык от хлопот, обрюзг,— думал Дмитрий Васильевич, одеваясь. Алексей прав, что я старею...

Он оделся и рано выехал из дому. На лестнице он встретился с сыном, возвращавшимся откуда-то домой.

— А ты уже встал? — удивился Алексей Дмитриевич.— А я еще не ложился!.. Куда?

— По делам...

— Значит, решился?

— Ну, об этом после. Ты, кажется, еще не спал...

— Ты знаешь, что я умею говорить о деле даже в объятиях женщины.

Дмитрий Васильевич молча сошел с лестницы и направился к одному из дельцов, с давних пор обделывавшему все его интимные дела, начиная с покупки лошадей для Матильды и кончая займами под векселя.

В это же время происходили волнения совершенно иного рода в семье Боголюбова.

Павла Абрамовна провела очень весело и приятно почти год, наслаждаясь преданностью Карла Карловича. Юноша катался как сыр в масле и за это позволял себя любить. Он даже немного потолстел; его глазки сделались еще более масляными; его улыбочка расплывалась еще шире по его херувимскому личику. Все мысли Павлы Абрамовны были направлены к одной цели — к ублаготворению предупредительного юноши.

У него появились шелковый халат и бархатная ермолка с золотой кистью; он спал до полудня; вечером он собирал кружок молодежи, которую кормила и угощала Павла Абрамовна. Праздные шалопаи чувствовали себя как дома у радушной и веселой хозяйки. Она привыкла к этим пирушкам, курила папиросы, звонко смеялась, допускала разные вольности и мало-помалу совершенно превратилась в даму вольного поведения. В ней трудно было узнать прежнюю сентиментальную и вздыхающую «купеческую дочь», получившую образование в «благородном пансионе»; еще труднее было узнать в ней сонливую и ленивую супругу действительного статского советника Боголюбова, вечно томившуюся от скуки и безделья. Это был, по-видимому, другой человек, но в сущности только теперь Павла Абрамовна попала в свою сферу и беззаветно отдалась своим влечениям. Теперь она уже не мечтала об «офицерах», не зачитывалась романами Поль-де-

Кока, не жаловалась на то, что в ее доме появляются только «старые старики», не зевала от безделья и не сердилась на возню с детьми. В ее беззаботной веселости, в откровенности ее недвусмысленного поведения сказалась вся животность ее натуры. Семья отца научила ее праздности и показала ей всю сладость широких, беззастенчивых русских кутежей с цыганками и цыганами; благородный пансион научил ее только танцам, французскому языку, закатыванию глаз и переписке с разными офицерами; двоюродные сестрицы и молоденькие купеческие вдовы сообщили ей разные сальные секреты из своей сердечной жизни; вот все, что влияло на эту личность, мечтавшую только о наслаждениях и видевшую наслаждения только в одной игре в любовь. Долго не удовлетворенные стремления проснулись в ней теперь со всей своей силой и заставили ее забыть все. Забыть все было тем легче, что, например, понятия о приличиях для Павлы Абрамовны не существовало: «Были бы деньги, так уважать нас будут; к нам же придут с поклоном»,— говорила она; сознание о честных супружеских отношениях было у Павлы Абрамовны также очень своеобразное; «вольно же ему было жениться на мне, когда я его не любила»,— говорила она про мужа, за которого, впрочем, вышла без всяких возражений по первому приказанию отца; дети — про них она давно говорила, что они ей падоели, что они у нее на шее сидят, что из-за них она в четырех стенах весь век просидела. Трудно было бы встретить хотя одну француженку кокотку, которая бы смотрела так же безвастенчиво, так же нагло, так же нахально на всех окружающих, сидя рядом с любовником. Это не было бравадою, это не было бросанием перчатки в глаза всему обществу, это был просто бессознательный животный разврат. Конечно, при таком положении дел в доме все пошло вверх дном. Прислуга не стеснялась и вела себя не лучше барыни, дети были забыты и жили без всякого присмотра. Двое младших детей не понимали всего происходившего в доме и, может быть, даже радовались, что на них никто не кричит, когда они сидят в детской. Но Леонид, уже вступивший вольноприходящим учеником в пансион Добровольского, начал хмуриться не на шутку. Карл Карлович не хотел с ним заниматься приготовлением уроков, грубо обращался с ним и иногда выводил его из терпения своей наглостью. Мальчик начал заметно худеть и бледнеть. Его хорошенькое личико стало необы-

чайно серьезно и угрюмо. Глупая горячность отца и еще более глупые придирки матери давно уже научили этого ребенка быть скрытным и сдержанным; в то же время полная свобода, настававшая для него в промежутки времени между периодически повторяющимися взрывами брани, давали ему возможность делать что угодно. Он пристрастился к книгам, так как мать не позволяла ему заводить товарищей, говоря, что «ей и свои ребята надоели». Выбором книг, конечно, не руководил никто: мальчик читал и старую «Библиотеку для чтения», и старые «Отечественные Записки», и романы Диккенса, и романы Лажечникова. Но несколько резких рецензий Сенковского и Белинского, подвернувшихся ему под руку, особенно пришлись по вкусу мальчугану: ему понравился этот способ «критиковать» поступки людей, он увлекся тем, что критики так ловко умеют подметить чужие недостатки. С этой поры он стал всюду искать критических заметок и, перечитав их многое множество, начал сам вдумываться в прочитанные романы. Большинство из этих романов ему не нравились, и мало-помалу его любимыми книгами сделались романы Диккенса. Он здесь видел ту же «критику», как он выражался сам. Было ли это искание критического отношения к людям и их поступкам прямым следствием личного недовольства поступками своих ближних — не знаю, но, вероятно, это недовольство играло значительную роль в развитии вкусов ребенка. Но одно недовольство ближними, одна злоба на них не могут завладеть всецело молодой натурой,— это еще мягкое и доброе существо не может так рано извериться в людях, так возненавидеть их, чтобы не верить в существование лучших личностей. Эта вера в лучших людей, или, вернее сказать, это инстинктивное стремление к лучшим людям было также одной из главных причин, по которым Леонид полюбил Диккенса. Он плакал над этими романами, где страдают дети, плакал так, как будто тут описывалось его собственное детство. Он любил добрых героев романиста той любовью, которой можно любить только самых близких нам людей. Иногда долгое время после чтения любимых романов мальчуган находился как бы в чаду и раздумывал о том, что будет дальше с героями, почему им пришлось столько страдать, почему нельзя людям быть вполне счастливыми... Думы становились все шире и шире, а спросить ответа на «проклятые вопросы» было не у кого: отец «оборвет», мать «при-

дерется». Мальчику приходилось добираться до иных истин таким же трудным путем, каким шел к ним первый человек, открывший их. Постоянное одиночество, постоянное чтение книг значительно развили молодое воображение и приучили мальчика мечтать. Иногда он представлял себя героем, которому сама судьба назначила спасти себя и своих брата и сестру. Порой он думал, что он убежит с ними, подобно Давиду Копперфильду, из дома отца и матери. Но куда бежать? Не к этой ли злой, глупой бабке, которая нисколько не походила на тетку Копперфильда? Нет, у нее будет еще хуже. Ему вспоминались добрые лица Марьи Дмитриевны, Антона и Катерины Александровны. Но эти люди очень бедны, они не примут его, у них у самих недостает хлеба. Куда же бежать? Или нужно жить здесь и терпеть?

После отъезда отца мальчику стало еще тяжелее, хотя свобода его сделалась еще полнее: мать не обращала на него внимания и не вмешивалась в его дела,— он мог спать, мог лениться, мог ходить куда угодно. Но он уже начал понимать, какую роль играет в доме его отца Габлиц, его начало возмущать дерзкое обращение этого человека. В душе мальчика шевелилось какое-то чувство обиды,— обиды за отца, в доме которого распоряжается «чужой человек». «Отец работает, трудится для нас, а его детьми, его деньгами распоряжается этот нахал»,— думалось Леониду, и в нем пробуждалась злоба к Габлицу, к матери. Он стал резок и дерзок с матерью и с Габлицом.

В начале весны случилось совершенно неожиданное событие, заставившее Леонида высказаться вполне. Его маленький братишка простудился и захворал. Павла Абрамовна отнеслась к этой болезни очень равнодушно и велела няньке позвать доктора, если ребенку станет хуже, а сама уехала куда-то с Карлом Карловичем на весь вечер. Ребенку стало действительно хуже, Леонид сходил за доктором и весь вечер провозился с ребенком. Посторонний человек изумился бы, видя этого мальчугана, серьезно сидящего у постели больного малютки и наблюдающего по часам, когда нужно давать больному лекарство. Но Леонид принял на себя эту роль с полным сознанием всей ее важности. Он впервые видел, что его мечты о роли спасителя брата и сестры начинают осуществляться, что он один остается естественным защитником этих малюток.

— Ты долго будешь сидеть у нас? — спрашивала его сестренка.

— Да, я всю ночь здесь останусь. Ты не шуми. Видишь, брат болен. Ложись спать,— шепотом ответил ей Леонид.— Няня, вы постлали ей постель? — обратился он к няньке с серьезным видом заботливого семьянина.

— Постлана,— ответила нянька.

— Ну, ложись же,— обратился мальчик к сестре и отвел ее к постели, поцеловав ее в лоб.

— А вы-то разве не пойдете спать? — спросила нянька, смотря с удивлением на Леонида, усевшегося снова к постели больного.

— Нет. Вы можете идти. Я просижу у него ночь.

— Заснете!

— Ну, уж я-то не засну! Отворите только двери, когда приедет доктор.

— Да разве он еще приедет?

— Еще бы. Брат очень болен.

— Хоть бы маменька приехала поскорей.

— Что же ей здесь делать? Довольно и того, что я здесь.

Леонид раскрыл книгу и стал читать. Нянька, качая головой, вышла из детской. Среди этой тишины, в полумраке большой комнаты, было как-то странно видеть этих брошенных матерью детей. Что-то глубоко грустное было в этой картине. Воображение Леонида работало, и он не мог читать. Отложив книгу, он предался своим заветным думам. Ему было и сладко и грустно сознание, что он занял теперь место защитника дорогих ему детей. Порой он прислушивался к дыханию больного ребенка, порой подходил к постели сестренки и любовался ее хорошеньким личиком.

— Спит дитя! — тихо прошептал он и наклонился поцеловать ручонку сестры.— Совсем брошенные... Если бы знал отец! Он нас все-таки любит...

В эту минуту послышался резкий звонок, и через минуту в детскую шумно вошла Павла Абрамовна.

— Ты здесь? — с удивлением спросила она и направилась к постели больного.

— Не подходите с холода,— резко произнес Леонид, загородив ей дорогу.

— Дурак! Кого ты учить вздумал,— сердито воскликнула она и толкнула его с дороги.— Цыпочка, что с тобой?

Где пипи у моего сыночка? — сладко закартавила она, наклонясь к кроватке больного ребенка.

— Он забылся, зачем вы его будите? Как вам не стыдно? Ездите бог знает где, а потом тревожите больных! — грубо заговорил Леонид, раскрасневшись до ушей.

— Да ты что это? С ума сошел, мальчишка! — гневно крикнула Павла Абрамовна.— Шарль, велите не грубить этому негодяю,— обратилась она к Габлицу, вошедшему в детскую.

Больной ребенок между тем, пробужденный внезапным шумом, начал стонать.

Габлиц был, по-видимому, в очень веселом настроении духа и ощущал некоторое неповиновение в ногах. Он подошел к Павле Абрамовне, все еще стоявшей над детской кроваткой и старавшейся успокоить встревоженного больного ребенка.

— Что случилось, ma chère Pauline? — спросил он с глупой улыбочкой.

— Грубит! Учит меня! За уши бы отодрать надо! — ответила она.

— А! Пожалуйте-ка сюда, милостивый государь, на расправу,— произнес Габлиц и протянул руку, чтобы взять за ухо Леонида.

— Убирайтесь вон! — пробормотал Леонид.— Ваша комната не здесь... Вы в комнате моих брата и сестры... Идите!

— Ого, какой петух! — глупо засмеялся Габлиц.

— Нет, нет, этого спускать нельзя! — гневно произнесла Павла Абрамовна, поднимаясь от кроватки Аркадия.— Иди сюда, сейчас иди сюда, мерзавец!

— Матушка, брат болен, а вы кричите! — тихо произнес Леонид почти со слезами в голосе.

— Говорю тебе: иди сейчас к Карлу Карловичу. Я хочу, чтобы он наказал тебя!

Карл Карлович сделал шаг к Леониду.

— Если ты меня только тронешь, так я тебе шею сломлю,— проговорил Леонид и толкнул его от себя.

В эту минуту послышался звонок, и в комнату вошел доктор. Его появление прервало тяжелую сцену, которая могла кончиться довольно печально. Павла Абрамовна сделала печальную мину и слезливо начала расспрашивать доктора о положении больного Аркадия. Доктор сказал, что болезнь очень опасна.

— О, я не отойду от него, не отойду! Бедный Арка-

ша! — восклицала Павла Абрамовна, изображая убитую горем мать.— Ступай спать,— приказала она Леониду.

— Зачем же? Я просижу у брата,— ответил он.

— Если тебе велят, то ты должен слушаться! Иди! Доктор, побудьте немного здесь, мне самой так дурно... Вы не можете себе представить, как трудно справиться одной с детьми!..

Доктор присел. Леониду пришлось уйти. Он не спал всю ночь и плакал от горя, видя, что его первая попытка быть защитником брата кончилась ничем. На следующий день по возвращении из пансиона Добровольского он застал весь дом в смятении. Маленький Аркадий лежал уже на столе. Леонид бросился к телу малютки и залился слезами. Плача у этого маленького трупа, он мысленно давал страстные обеты спасти хотя сестру и передать отцу все, что делалось дома.

С этого дня он перестал обращать внимание на мать и Габлица, он сидел или за уроками, или в детской с сестрой. Дни шли за днями, а отец все не ехал. Наконец получилось известие, что его «везут». В дом явились какие-то неизвестные личности, чтобы наложить арест на имущество Боголюбова. Павла Абрамовна была вне себя.

— Он погубил меня! Он меня нищею сделал! Он разорил меня! — кричала она.— Теперь еще вас кормить надо,— обращалась она к детям.— Я развода буду требовать! Недостает еще, чтобы его разжаловали в солдаты! Разве я для этого шла за него замуж? Быть солдаткой — никогда, никогда! Вор, грабитель!

Ее брани, ее слезам, ее истерикам не было конца. Она давала тычки и толчки детям, корила их за дармоедство и немного успокоилась только тогда, когда явилась ее мать и предложила ей переехать к ним в дом и «плюнуть на этого, прости господи»... Матушка Павлы Абрамовны прибавила такое словцо, которое едва ли есть в лексиконах. Павла Абрамовна с детьми перебралась в отдельный флигель просторных родительских хором и повеселела, хотя и говорила с негодованием про детей: «Вот связали по рукам и по ногам! В наследство от милого муженька остались! Что я теперь? Хуже вдовы!»

Она даже не подумала о том, что ей все-таки не худо бы заглянуть к мужу, сидевшему за решетчатыми окнами. Леонид был свидетелем всех этих сцен, и его сердце ныло за отца. Он разузнал, где содержится отец, и пошел к

нему. Встреча Данилы Захаровича с сыном была необычайно нежная и скорбная.

— А мать так и бросила меня, так и забыла,— говорил Боголюбов, целуя сына.— Ну, бог ей судья... Она столько же виновата, как и я... Приведи ко мне сестру... Авось отпустят...

— Да как же не отпустить,— проговорил Леонид.— Разве за нами смотрят? Мы тоже брошены, как собачонки... Кормят нас, одевают, вот и все... Тебе скучно здесь?

— Больно мне, тяжело сидеть здесь,— проговорил Данило Захарович со вздохом.— Я не виноват, я покрывал только других, я не мог не повиноваться...

Данило Захарович был неузнаваем для тех, кто не знал его в юности, кто знал его только зорким и строгим начальником и главой семейства. Но в сущности он теперь сбросил только свою маску и явился тем, чем он был с колыбели — ласковым теленком. Да, он родился для того, чтобы быть ласковым теленком. Жалкая обстановка его детства и слабое здоровье в первые годы жизни приучили его быть ласковым теленком; он рано понял, что подобный теленок двух маток сосет, и стал подлаживаться ко всем кормильцам и поильцам. Возмужав и поступив на службу, он, не обладавший никакими талантами и знаниями, видел, что от чиновников требуется рачительность, строгость и зоркость, что с этими качествами можно далеко уйти, даже и не имея никаких других способностей, и стал делать вид, что он обладает именно этими качествами. При помощи их он начал сколачивать копейку, не задавая себе вопросов, всегда ли честно приобретается эта копейка, честно ли быть простым бессмысленным эхом начальства, идет ли, наконец, к нему принятая им на себя роль строгого и зоркого начальника, роль, для которой в нем не было способностей, так как его мог провести за нос и обмануть каждый. Он получал чины, и это служило для него достаточным доказательством того, что все обстоит благополучно.

Теперь, подобно всем выскочкам, под первым ударом судьбы он вдруг съежился, упал духом и плачевно жаловался на свою судьбу. Теперь он чувствовал, что ему уже нечего хвалиться своими зоркостью и строгостью, а что лучше опять явиться ласковым теленком и вымаливать себе у людей прощение. «По неведению согрешил»,— вертелось на его языке; «Снисхождения прошу»,— поминутно приходило ему в голову, когда он помышлял о допросе. На-

чальство повышающее, начальство благосклонное, начальство, дающее чины и ордена, представлялось ему теперь начальством карающим, беспощадным и имеющим власть отнимать и чины и ордена, и он готов был ползать на коленях перед этим начальством. Он даже не роптал на Павлу Абрамовну и готов был только слезно молить ее, чтобы она не покидала его, так как силой теперь он ничего не мог с ней сделать. Человек-тряпка сказался вполне.

Леонид не узнавал характера своего отца. Отец казался ему таким жалким, таким слабым, таким беспомощным.

— Хотя бы кто-нибудь посетил,— говорил Данило Захарович.— Один сижу, думы такие черные лезут в голову... И сны такие снятся нехорошие... Хлопотать бы надо, а не через кого просьбу или письмо переслать...

— Хочешь, я попрошу к тебе Катерину Александровну зайти? — спросил Леонид.

— Хорошо, Леня, хорошо,— обрадовался старик.— Ведь все же мы родные... Дядя я ей... Может быть, и придет... Она там знает Белокопытовых, Гирееву... Пусть попросит их... Они сильные люди... Связи у них...

Леонид обещал сходить к Катерине Александровне, и на следующий же день исполнил свое обещание. Молодую девушку удивило его появление и еще более удивила принесенная им новость. Леонид с недетской серьезностью рассказал двоюродной сестре всю печальную историю своей семьи и положения отца. Его откровенный и простой рассказ подкупил молодую девушку в пользу мальчика. Она увидала, что и здесь, под этой хорошенькой курточкой, под этой нарядной одеждой, мучительно бьется уже порядочно настрадавшееся сердце. Она, никогда не искавшая встреч с дядею прежде, теперь поспешила к нему, поспешила не столько ради него самого, сколько ради его сына. Дорогой Леонид снова коснулся своего положения в семье и рассказал со всем жаром юного мечтателя о своих прежних планах бежать из дому и о соображениях, удержавших его от бегства к Прилежаевым.

— Вам не потому нельзя было бежать к нам, что мы бедны, а потому, что вас вернули бы домой,— улыбнулась Катерина Александровна и ласково взглянула на него.— Наша бедность не могла бы помешать нам принять вас...

— Вы бы приняли нас? — живо спросил Леонид.

— Конечно.

— Ну, значит, я буду спокоен. Если отца сошлют, если

он не возьмет нас с собой, я попрошу его отдать к вам меня и сестру.

— Погодите; все еще, может быть, обойдется благополучно,— утешала его Катерина Александровна.— Главное, не думайте ни о чем постороннем и учитесь... Вам надо ловить время и учиться, покуда мать еще платит за вас...

— Да, а чему научится в ее доме сестра? — серьезно спросил Леонид.— Я ведь не маленький, я все понимаю...

Катерине Александровне стало тяжело и больно за этого юношу, так рано понявшего всю позорную историю матери.

Они дошли до места заключения Данилы Захаровича и были встречены стариком чуть не со слезами. Он поцеловал Катерину Александровну, напомнив ей о своем близком родстве с нею; заговорил о христианском долге посещать заключенных; вдруг начал каяться в том, что холодно относился к ней прежде; заговорил о гордыне, помрачающей ум человека в богатстве,— все это делало его в глазах молодой девушки еще более жалким. «Вот все они такие, эти гордые богачи,— подумалось ей.— Или стоят на недосягаемой высоте, или падают в самую грязь, к ногам своих ближних». Она обещала дяде написать за него письмо к Гиреевой и лично повидаться с нею и со Свищовым.

— Все забыли, все забыли,— жаловался старик.— Им стыдно приехать сюда... Им гадко смотреть на меня... А я не виноват, я маленький человек, я исполнял волю других...

Катерина Александровна вздохнула свободнее, когда вышла из душной, маленькой комнатки Данилы Захаровича. Она без смущения принялась хлопотать за него и посетила княгиню Гирееву и Свищова. Княгиня больше охала и жалела, чем толковала о деле; Свищов же рассыпался в любезностях «перед такой милой просительницей», заявил, что он и без того помнит «старика», помнит, что дети «старика» его крестники, и утешил молодую девушку надеждой, что все кончится пустяками во внимание прошлых заслуг и долговременной службы.

— Ну, посидит, посидит немного! — говорил Свищов шутливым тоном.— Это старику полезно... душеспасительно... Я еще вот его распеку за вас, когда встретимся...

Свищов перешел к любезностям и игривым словам; Катерине Александровне оставалось только удалиться.

IX

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕЙ

В Петербурге, живущем новостями дня, по окончании войны начались толки не о битвах, а о других событиях, о различных переменах в правительственных сферах, о различных приготовлениях к чему-то и о крупных событиях из частной жизни более или менее видных людей. История Боголюбова и его товарищей облетала все гостиные и залы, возбуждала негодование и предположения насчет ее развязки. Не менее этой истории интересовало некоторые кружки известие о том, что над графиней Белокопытовой назначают опеку и что молодой граф Белокопытов женится на вдове убитого генерала Денисова, которая имеет четверых детей и старше своего жениха лет на пятнадцать.

Одни рассказывали про графиню самые ужасные вещи, доказывавшие вполне ее сумасшествие, и удивлялись, что ей столько лет позволяли куролесить и мотать имение. Другие уверяли, что сам Дмитрий Васильевич мот и кутила, что он не только содержит Матильду Геринг, но и кормит трех танцовщиц, проигрывает тысячи и влез по уши в долги. Одни жалели детей Денисовой, которых будет опекать и разорит Алексей Дмитриевич, уже поставивший в условие женитьбы на Денисовой уплату его двадцатипятитысячного долга. Другие утверждали, что он обманется, что она объявит о неплатеже его долгов и приберет его к рукам. Где была ложь, где была правда — трудно сказать: быть может, правы были и те и другие вестовщики блестящих салонов. Эти вести дошли и до Софьи Андреевны и ее кружка и возбуждали различные соображения насчет будущности приюта, где покуда шла постройка церкви и все еще оставалось по-прежнему. Но признаки того, что дело Дмитрия Васильевича с женой окончится в его пользу, были очевидны. Во время экзаменов, впервые назначенных в приюте, графиня не появилась в приюте, а ее место заступил ее муж. Он остался вполне доволен ответами девочек и серьезно завел речь с Софьей Андреевной насчет ее проектов.

— Мы не можем тратить лишнего на приют,— говорил он.— Средства приюта скудны и нужно заботиться скорее о сокращении расходов, чем об увеличении их.

— Я думаю, граф, вы могли бы увеличить эти сред-

ства помимо выдач из комитета,— ответила Софья Андреевна.

— Как это?

— У нас дети работают, можно бы сделать выставку их работ с платой за вход. Можно устроить маскарад в пользу приюта или бал. Лотерея помогла бы... Нужно побольше предприимчивости...

— Да, это надо обдумать,— задумался Дмитрий Васильевич.— А это прекрасная мысль... Это не то что кружка у дверей, где ежегодно набирается десять рублей.

— Нынче добровольных жертвователей мало, надо брать силой,— засмеялась Софья Андреевна.

— Вы правы! Общество нужно принудить содействовать нам,— ответил Дмитрий Васильевич.— Не обязана же одна фамилия нести на себе всю эту обузу.

— И для чего, если можно сделать иначе?..

— Я очень, очень доволен вами,— пожал ей граф руку.— Графиня насадила везде старух, не мудрено, что дело пришло в упадок, не шло вперед. Теперь не такое время! Нужно действовать, теперь нужны молодые, свежие силы...

— Вот потому-то я и подобрала в свои помощницы молодежь,— кокетливо улыбнулась Софья Андреевна.

— Да, да, прелестный цветник...

— Я надеюсь, что вы хоть изредка взглянете на него...

— О, непременно... Я вас попрошу лично являться в наш комитет. Там вы хотя отчасти образумите разное старье своими практическими советами.

Дмитрий Васильевич уехал из приюта в самом отрадном настроении. «Эта барыня молодец,— думалось ему.— Изворотливая!» Софья Андреевна была также довольна и видела с прозорливостью пожившей обольстительницы мужских сердец, что граф не ускользнет от ее рук в деле управления приютом. Среди всех этих новых тревог и событий нового времени явился в Петербург Александр Прохоров.

У него замерло сердце, когда он снова увидал давно знакомый двухэтажный домик против школы гвардейских подпрапорщиков, когда он поднялся по этой крутой деревянной лестнице на галерею, когда он вошел в эти низенькие, чистенькие комнатки, где впервые пробудилась в нем его чистая любовь. Марья Дмитриевна по обыкновению сначала растерялась при таком экстренном собы-

тии, а потом облобызала молодого человека как сына и захохотала; Антон горячо целовал своего друга; Флегонт Матвеевич, уже переходивший, хотя и с трудом, от стула к стулу или из комнаты в комнату и произносивший едва внятно несколько слов, также обрадовался сыну, улыбнулся какой-то полудетской улыбкой, смотря на молодое похудевшее и загорелое лицо, и, как ребенок, указал на орден сына.

— Крест! — по-детски усмехаясь, невнятно произнес он и опустил на грудь голову.

Он был похож на больного ребенка, постоянно был задумчив, и только изредка к нему возвращалось сознание. В эти светлые минуты он что-то говорил — говорил много и торопливо, но, к несчастью, почти никто, за исключением Антона, не понимал его слов. Когда старик замечал, что его не понимают, он сердился и нетерпеливо стучал в пол костылем, не разлучавшимся теперь с ним. Окружающие привыкли к этому и потому старались внимательно слушать его по-прежнему длинные, многословные речи, соглашались с ним, поддакивали ему, и он самодовольно улыбался и в эти минуты снова напоминал прежнего добродушного говоруна Флегонта Матвеевича. Он произвел грустное впечатление на сына. Посидев с отцом, Александр Прохоров начал терять терпение: он ждал, что вот-вот появится Катерина Александровна, но она не появлялась. Наконец он не выдержал и спросил у Марьи Дмитриевны, хлопотавшей за самоваром, где ее дочь. Старик встрепенулся и быстро заговорил что-то. Сын его не понял.

— Она дежурная, батюшка,— ответила Марья Дмитриевна, суясь к шкапу и комоду и хватая не то, что нужно.

— Как досадно! — невольно воскликнул Александр.

Старик улыбнулся и опять забормотал что-то. Собеседники могли разобрать только, что старик говорит об Антоне.

— Да в самом деле, куда же он исчез? — обернулся Александр.

Старик опять усмехнулся и забормотал.

— Уж не за ней ли он пошел! — воскликнула Марья Дмитриевна.— Да не может быть... А вот и мне его нужно: в булочную нужно... Неужто к ней побежал?..

Старик весело закивал головой.

— Я... я... я... у... у... чил,— залпом произнес он и засмеялся.

Александр был тронут до слез и горячо обнял отца. Тот, видимо, находился в том блаженном состоянии, в котором находятся дети, когда им удастся неожиданно изумить старших своей находчивостью и умом.

— То-то я все видела, что наш Флегонт Матвеевич с Антошей шепчутся,— сообразила Марья Дмитриевна.— Они ведь, батюшка, совсем друзьями стали. Тайны у них разные, разговоры длинные такие заведут, что и не переслушаешь... Антоша-то его понимает,— шепнула она Александру Флегонтовичу.— Мы и не разберем, а Антоша все понимает.

Александр Прохоров не слушал болтовни Марьи Дмитриевны и нетерпеливо ждал прихода Катерины Александровны. Уже стемнело, когда послышались торопливые шаги Антона. Александр вскочил и выбежал в переднюю.

— Саша! — послышался слабый крик.

— Милая! — слышался мужской голос.

И затем все стихло. Потом послышалось, что кто-то плачет.

— О чем же? ведь я здесь, с тобой? — шептал мужской голос.

Катерина Александровна и Александр тихо вошли в комнату Марьи Дмитриевны и сели. Они, казалось, забыли весь мир и помнили только одно, что они вместе, вместе — навсегда.

С этого дня вся семья повеселела, как будто ожила. Впервые все ее члены чувствовали себя вполне счастливыми, и только Марья Дмитриевна порою вздыхала, что один ее ненаглядный Миша, приехавший к ней, скоро опять уедет в другой город по окончании вакаций. Александр Прохоров хлопотал о переводе на службу в Петербург. При помощи Левашова, радушно встретившего своего прежнего ученика, эти хлопоты увенчались успехом. Затем начались заботы о найме лучшей и более удобной квартиры. Не без сожаления покидала семья свой старый угол, где переживались и радости и горе, где каждый уголок будил различные воспоминания. Софья Андреевна, заметив по сияющему лицу Катерины Александровны, что с последней случилось что-то необыкновенное, допросила ее о случившемся. Молодая девушка не сочла нужным скрывать свою радость и сказала, что к ней приехал ее лучший друг, ее жених.

— Вы познакомьте нас с ним,— попросила Софья Андреевна.

— Он будет очень рад познакомиться с вами,— ответила Катерина Александровна.— У него почти нет никого знакомых, вас же он знает по моим рассказам.

— Но, право, жаль, что он приехал,— ласково произнесла Софья Андреевна.— Я ведь большая эгоистка и мне досадно, что он похитит вас у меня.

— Похитит? — рассмеялась Катерина Александровна.— Зачем? Я останусь здесь по-прежнему.

— Но ведь замужние не могут быть помощницами.

— Я не тороплюсь свадьбой.

— Как? Не торопитесь свадьбой? — изумилась Софья Андреевна.— И вы говорите, что вы его страстно любите!

Катерина Александровна улыбнулась.

— Да, страстно люблю и не тороплюсь свадьбой. Я буду служить, покуда можно служить... Теперь мне еще неудобно выйти из приюта. Я могу еще принести здесь пользу и сверх того я еще не настолько приготовилась, чтобы приняться за другое дело... Досадно, право, что глупые приютские правила не позволяют служить здесь замужним...

— Ну, я на вашем месте позабыла бы все расчеты и вышла бы поскорее замуж,— заметила Софья Андреевна.— Я не понимаю любви, которая может подчиняться требованиям рассудка...

Катерина Александровна усмехнулась и промолчала. Ей казалось, что Софья Андреевна не права. Выражение ее лица было настолько светло и ясно, что нельзя было сомневаться в том, что она не чувствует особенной грусти по случаю необходимости отложить свадьбу. Подобно Софье Андреевне, Марья Дмитриевна также обратилась к дочери с подобным же вопросом.

— Как же, Катюша, со свадьбой-то? — спросила она.— Скоро думаете повенчаться?

— Нет, мама, мы еще об этом не думали,— ответила Катерина Александровна.— Саша покуда будет приготовляться к академии, и ему нельзя жениться. Мне также нельзя выйти замуж, покуда я в приюте...

— Так как же, голубка? — изумилась и опечалилась Марья Дмитриевна.— Ведь теперь он не ребенок, неловко жить нам вместе, люди станут пересуживать...

— Мама, мне нет никакого дела до толков...

— Это так, маточка! На всякое чиханье не наздравст-

вуешься... Была бы своя совесть чиста... А все же и болтать не запретишь... Ославят честную девушку, глаза будет стыдно показать на улицу...

— Не бойтесь, мама! Пусть говорят, что хотят. Я делаю так, как можно, как позволяют обстоятельства, а до праздных толков, до людских соображений мне нет дела. Не учил меня никто прежде, а теперь уже поздно учить...

— И сама-то ты истомишься! Годы-то уходят. Теперь бы и пожить в семейных радостях...

— О, что касается до меня, до моего счастия, то я вполне счастлива и не тороплюсь выйти замуж...

— Ну, дай бог, дай бог! — перекрестилась Марья Дмитриевна со вздохом.— Конечно, он хороший человек, не погубит тебя... А все же страшно. Он моложе тебя, здесь народу-то много, влюбиться может в другую...

Катерина Александровна засмеялась веселым, беспечным смехом.

— Пусть влюбляется, мама! Лучше пусть теперь влюбится, чем после свадьбы!

— Ну, ты этого не говори! Женится, так уж тогда — конец!

Катерина Александровна усмехнулась и не ответила ничего. Она ясно видела, что ей будет трудно объяснить матери свои мысли. Она просто поспешила успокоить Марью Дмитриевну насчет того, что Александр ни в кого не влюбится, не бросит ее до свадьбы, не погубит ее. Старуха повздыхала и согласилась с дочерью, говоря, что «одна надежда на защитника сирот, что он не оставит бедных». Этим объяснением прекратились дальнейшие расспросы Марьи Дмитриевны, и она снова занялась своим хозяйством, шитьем и мелочными заботами, не обращая внимания на отношения дочери и молодого Прохорова. Иногда она даже с умилением говорила, что они «ровно брат и сестра», что они, «как голубки, воркуют», что они, «как дети малые, дружны». Действительно дружба молодых людей была искренняя и прочная. Не было ни одного плана, ни одной надежды, ни одного желания, которые не обсуждались бы ими вместе. Мелкие различия во взглядах на вещи мало-помалу сглаживались; сведения, недостающие одной единице этой пары, пополнялись другой единицей; не решенные одним умом вопросы решались общими силами. Никакие уроки не могли быть так полезны этим молодым людям, как их дружба, и они имели право сказать, что они узнали по опыту, что ум — хорошо, а два — лучше

того. Иногда Катерина Александровна шутя говорила Александру:

— Знаешь ли, мне кажется, что мы теперь только знакомимся друг с другом. Прежде ты поклонялся мне, я позволяла обожать себя, а теперь мы начинаем всматриваться друг в друга.

— Смотри, не найди каких-нибудь недостатков во мне и не отвернись,— шутил он.

— Нет, ты мне кажешься еще лучше, когда я подошла к тебе поближе.

Порой он делал серьезное лицо и говорил ей:

— Ну, не угодно ли приниматься за уроки, время уходит, а вам пора доучиться.

— Ты, пожалуйста, не важничай, я и без тебя могу учиться; недаром же я сама наставница детей,— смеялась она, принимаясь за книгу.

Бывали дни, когда молодые люди вместе с Антоном, Леонидом и Лидией дурачились, как дети, бегали по комнатам, играли в жмурки. Эта смесь шуток и искренней веселости с серьезным трудом и нешуточными заботами имели много очаровательной прелести. Молодым здоровьем и бодростью веяло от этих свежих и веселых лиц. Они не делались безнадежно унылыми и апатичными даже в те минуты, когда молодым людям вспоминалась грустная история убитого брата Ивана, когда они толковали о медленно сходящем в могилу отце. В эти минуты выражение серьезности, легкий след задумчивости делал только еще прекраснее эти юношеские лица. Задумываясь о смерти, эти люди сознавали еще яснее, что нужно ловить минуты жизни, что нужно скорее и скорее стремиться к достижению своих целей. И действительно, они быстро шли вперед и не замечали, как летят дни.

— Что это вас совсем не видать,— говорила Софья Андреевна, пожимая руку Александра Прохорова, который уже вошел в ее кружок.

— Да разве мы так давно не видались? — изумлялся он.

— Вот вежливо! Вы должны были томиться в разлуке со мной, а вы говорите, что вы не видали, как пролетело это время,— шутила она.

— Я постоянно справлялся о вас в разлуке, и это сокращало время,— смеялся Александр Прохоров.

Он очень скоро и очень близко сошелся с кружком Софьи Андреевны. Молодежь сразу полюбила его. Сначала

он заинтересовал всех как свидетель минувшей войны, принесший с собой множество рассказов; потом он сделался душой кружка как умный и серьезный собеседник, умевший дать живое направление разговору. Он следил за газетами и журналами, он интересовался каждой общественной новостью и потому постоянно направлял разговоры кружка к более серьезным темам, чем толки о семейных историях и мелких увеселениях. Его загорелое, значительно похудевшее лицо оживлялось во время толков и споров; его здоровый и звучный голос принимал какой-то глубокий грудной, металлический, если можно так выразиться, тон и слышался среди десятка других голосов. Слушая его, можно было сразу сказать, что это говорит здоровый и сильный человек с широкой грудью. Катерина Александровна особенно любила его в эти минуты оживленных споров. Подобно ей, он умолкал, когда в кружке начинались толки об опере, о балах, собраниях и тому подобных удовольствиях, доступных богатым людям. Это делалось неумышленно, не вследствие желания показать, что он не интересуется пустыми светскими удовольствиями, но просто вследствие того, что эти удовольствия были незнакомы и чужды ему. Это не могло ускользнуть от зоркой Софьи Андреевны. Она не могла понять, как могут такие молодые люди, как Катерина Александровна и Александр Прохоров, не интересоваться удовольствиями, и ей казалось, что их молчание во время толков об этих удовольствиях искусственное, напускное. Однажды в кружке шел шумный разговор о старой опере, которой наслаждались члены кружка еще в детстве, потом общество начало вспоминать о разных балах и пирах, происходивших в поместьях их отцов и дедов. Катерина Александровна и Александр Прохоров по обыкновению слушали молча эти оживленные воспоминания. Софья Андреевна не выдержала и заметила, обращаясь к своим молчаливым слушателям:

— А знаете, меня удивляет, что у вас совсем нет прошлого.

— Как нет прошлого? — рассмеялась Катерина Александровна.— Неужели вы думаете, что мы сейчас только явились на свет?

— Не то,— ответила Софья Андреевна.— Но вот мы все целый час толкуем о Виардо, о Марио, о балах у бабушки, об именинных пирах у дедушки, а вы молчите, точно вся прошлая жизнь не существует для вас.

— Она и не существует для нас,— ответила Катерина

Александровна.— Все эти Марио и бабушкины именины неизвестны нам даже по слухам.

— Ну да, значит, я права, что у вас нет того прошлого, которое есть у общества.

— У общества? — вмешался в разговор Александр Прохоров, и в его глазах блеснул огонек.— Вы ошибаетесь. У нас есть именно то прошлое, которое есть у общества: мы пережили голод и холод, мы толкались по чердакам и подвалам, мы работали изо всех сил, чтобы выбиться. А то прошлое, о котором говорите вы,— эти Виардо, эти Марио, эти Марлинские, эти петергофские гулянья и бабушкины именинные пиры — действительно чуждо нам. Иногда мы даже не знаем тех имен, которые будят сладкие воспоминания в вас. Но разве это прошлое принадлежит русскому обществу? Разве оно не принадлежит просто маленькой кучке людей, наслаждавшейся разными пирами при помощи наследственного и благоприобретенного богатства?

— Не отзывайтесь с таким пренебрежением об этой кучке людей. Ведут общество не массы дикарей, а развитые единицы,— загорячилась Софья Андреевна.

— Я и не отзываюсь с пренебрежением о развитых единицах, я только говорю, что то прошлое, о котором вы говорите, не есть прошлое русского общества,— серьезно ответил Александр Прохоров.— Это часть прошлого богатого меньшинства,— но, заметьте, только часть, самая ничтожная, самая жалкая часть. Если это меньшинство может хранить и лелеять память о своем прошлом, то уж никак не об этом безумном прошлом. Пусть гордится оно тем, что и оно работало вместе с народом, что и оно несло разные тяготы вместе с народом, но пусть оно изгладит навсегда из своей памяти, как позорное пятно, воспоминание о том, что оно порой скакало по балам, объедалось на бабушкиных пирах, разорялось в балете и италиянской опере, зачитывалось Марлинскими и Жуковскими, когда другие люди не находили куска хлеба за свой неустанный труд. Это именно та часть вашего прошлого, которой нужно стыдиться и у которой, к счастию, нет будущего.

— Как? Не думаете ли вы, что наслаждения развитого меньшинства должны погибнуть, что искусство должно пасть? — с изумлением воскликнула Софья Андреевна.

— Думаю,— спокойно ответил Александр Прохоров.— Я думаю, что бессмысленные пиры сделаются со временем принадлежностью самой плохой части развитого меньшин-

ства, что будут кутить только выскочки, награбившие капитал и одуревшие от богатства, что человечество перестанет бессмысленно сжигать тысячи на фейерверки, когда около него будут голодные, что искусство, с одной стороны, перейдет окончательно в омерзительный разврат вроде такого балета, где будут привлекать уже не коротенькие юбочки, а просто совсем обнаженные женщины, а с другой стороны, оно превратится в помощника науки, будет одним из средств для развития и образования масс...

— Бог мой, я и не знала, что вы такой противник искусства и наслаждений! — воскликнула Софья Андреевна.— Это немножко фатство!

— Напротив того, я благоговею перед искусством больше вас и люблю наслаждения уже просто потому, что иногда слишком много работаю. Только вам кажется, что искусство должно быть бесцельной потехой, должно работать для украшения будуаров хорошенькими картинками и статуэтками, а мне кажется, что оно должно служить на пользу человечества и быть такой же святыней, как наука,— святыней, которую нельзя бы было смешать с площадным паясничеством или такой язвой разорительницей, как пьянство... Я думаю, что искусство будет иметь серьезное значение только тогда, когда оно будет приносить пользу человечеству и не будет разорять человечества. Если же оно будет только предметом роскоши и прихоти, если на него будут затрачиваться сотни тысяч в то время, когда тысячи людей сидят без хлеба,— то не надо его! В этом случае против него надо воевать, как против всякой роскоши, как против пьянства. То же самое я скажу об удовольствиях: они необходимы для трудящегося человека, но покуда удовольствия будут являться в виде тысячных фейерверков, в виде ослепительных выставок безумно роскошных нарядов на балах, в виде развращающих и дорогих балетов,— я буду восставать против них.

Александр Прохоров на минуту замолчал и, кажется, ждал возражений, но их никто не делал.

— Вы, кажется, соглашаетесь со мной? — спросил он задумавшуюся Софью Андреевну.

— Я? Нет! — быстро ответила она, встряхнув головой.— Вам легко все это говорить, потому что у вас не было этого прошлого, а мне и всем другим, у кого оно было, нелегко расстаться с ним.

— А все-таки расстанутся,— ответил Александр Прохоров.— Обстоятельства заставят расстаться. Бесполезное

искусство и дорогие наслаждения поддерживаются только рабством, крепостничеством, крайним перевесом богатства одних над богатством других.

— Ну, это еще не скоро кончится!

— Очень жаль, но все же можно твердо верить, что это кончится когда-нибудь. В противном случае не стоило бы честно жить, честно работать.

В комнате на несколько минут настало молчание. Вдруг Софья Андреевна подняла голову и обратилась к Александру Прохорову.

— А знаете ли, какие мысли бродили в моей голове теперь? — проговорила она.

— Вам хотелось бы теперь потанцевать на каком-нибудь шумном балу? — улыбнулся Александр Прохоров.

— Ну, вот выдумали! — засмеялась она.— Будто уж я только о балах и думаю!.. Нет! Мне пришла в голову странная мысль: мне показалось, что если бы в наших руках была власть, если бы мы были общественными деятелями, то вы и Катерина Александровна прежде всего истребили бы все то, чем жили, чем дорожим мы. Вы разбили бы наших кумиров, вы сорвали бы наши дорогие украшения, вы обратили бы наши залы в рабочие комнаты, в лазареты, в приюты, в школы и засадили бы нас за какие-нибудь ткацкие станки.— Мою бабушку сделали бы надзирательницей в мастерской, а меня ткачихой...

— О, да у вас очень живая фантазия! — засмеялся Александр Прохоров.

— Вы похожи на пришельцев в цветущий уголок земли из другого конца света,— продолжала Софья Андреевна,— пришельцев, которые не знают ни радостей, ни священных преданий, ни теплых воспоминаний этой страны и которые не трогают в ней ничего, беспечно беседуют с ее обитателями только потому, что у них еще нет силы, что их еще мало. Но как только явится у них сила, как только увеличится их число — они бросятся на все и сотрут с лица земли все, что было дорого коренным обитателям этой страны...

— Картина красивая,— усмехнулся Александр Прохоров,— только, к сожалению, неверная. Мы действительно должны казаться вам какими-то выходцами из другого мира. Но это только потому так кажется вам, что вы за шумом балов, за рукоплесканиями театров, за цветами своих наследственных гостиных не замечали, что мы живем рядом с вами, что мы, пожалуй, даже прежде вас по-

селились в этой же стране, бросив в нее первое хлебное зерно. Мы только жили различной жизнью, непохожей на вашу жизнь. Теперь мы, среди черного труда, успели кое-как образовать себя, поднялись до вас и столкнулись вместе; мы отрицаем часть того, чем дорожите вы, и вам кажется, что мы ваши враги, что мы хотим разрушить все дорогое вам. Вы ошибаетесь: мы просто хотим указать вам, что в вашем прошлом есть много дурных привычек, опасных стремлений, которыми вы дорожите, как дети иногда дорожат каким-нибудь красивым, но ядовитым цветком; мы предлагаем вам бросить этот цветок и в то же время указываем вам, что и в вашем прошлом есть прекрасные стороны жизни, общие с нашей жизнью, и что именно этим сторонам принадлежит будущее.

— Однако вы порядочный идеалист,— шутливо заметил кто-то из мужчин.— Вы все заботитесь о будущем, о потомстве...

— Ну, в идеализме-то я не грешен,— ответил Александр Прохоров, взглянув на вмешавшегося в разговор господина.— Разве это идеализм, если я считаю нелепым заниматься раздуванием мыльного пузыря, который при всех моих усилиях лопнет, и считаю разумным уход за растением, которое в конце концов даст хорошие плоды?

— Которых вы не будете кушать? — вставил собеседник.

— Ну, этого я не знаю. Даром пророчества не обладаю. Я знаю только одно, что мыльный пузырь не даст ни при каких условиях никаких плодов и лопнет непременно, а относительно растения я знаю, что оно даст плоды; кто их будет есть, это, конечно, неизвестно: оно может вырасти быстро, я могу прожить долго и дожить до появления плодов. Может случиться и иначе, но живой живое и думает. Если бы я знал, что я умру завтра, то я, конечно, не стал бы заниматься никакими сажаниями цветов, а пошел бы исповедоваться и приобщаться святых тайн, написал бы духовное завещание и заказал бы себе саван и гроб...

— Примерный христианин! — засмеялась Аделаида Николаевна.

— Нет, я еще не отстану от вас,— промолвила Софья Андреевна.— Покуда вы еще не умерли, скажите, что бы вы сделали, если бы нашли в руках ребенка ядовитый цветок и если бы ребенок не отдал вам его добровольно?

— Я отнял бы этот цветок силой,— ответил Александр Прохоров.

— Ну, это я так и знала!.. А теперь не худо бы насладиться чуждыми вам наслаждениями *наших* предков,— промолвила Софья Андреевна и обратилась к Аделаиде Николаевне: — Спой, Адель, что-нибудь.

Аделаида Николаевна встала и направилась к роялю.

— Это будет наказание вам,— сказала Софья Андреевна.

— Я очень люблю музыку и пение,— ответил Александр Прохоров.

— Любите? — изумилась Софья Андреевна.

— Очень, и жалею только об одном, что хорошая музыка и хорошее пение слишком дорого стоят массам, хотя они и не наслаждаются ни хорошею музыкой, ни хорошим пением.

Аделаида Николаевна запела какой-то романс. Все замолчали. Потом певицу сменил кто-то из мужчин. Софья Андреевна сама села за фортепьяно и заиграла увертюру из «Вильгельма Телля».

— Это для вас! — весело крикнула она через залу Александру Прохорову.

Едва замолкли звуки россиниевской музыки, как в гостиной загремел какой-то бравурный, увлекательный вальс.

— Танцуйте же, дети! — крикнула Софья Андреевна.

По гостиной понеслись две пары, и где-то опрокинулся стул, задетый развевающимся платьем одной из танцующих.

— А вы что же не танцуете? — звонко спросила Софья Андреевна у Александра Прохорова.

— Хотите узнать мои способности по этой части? — засмеялся он.— Извольте.

Он сделал два тура вальса.

— А вы, милочка? — обратилась Софья Андреевна к Катерине Александровне.

— А меня даже и танцевать не учили,— ответила Катерина Александровна.— Я буду воевать даже и против танцев, а то, пожалуй, кто-нибудь похитит Александра на моей собственной свадьбе.

Общество оживилось и отдалось совершенно беспечно молодому веселью. Софья Андреевна за недостатком танцующих дам позвала танцевать трех старших из оставшихся в приюте на лето воспитанниц, а остальным позволила смотреть на танцы.

— Ну-с, не привлекательны наслаждения нашего про-

шлого? — спросила хозяйка на прощание у Александра Прохорова.— Не вправе мы стоять за них?

— Да разве ваши предки так веселились? — засмеялся Александр Прохоров.— Это слишком дешевый пир. Такими пирами наслаждается и масса.

Подобные споры и неожиданные пирушки стали повторяться в летнее время все чаще и чаще в квартире Софьи Андреевны, и молодежь незаметно сближалась между собой. У Александра Прохорова тоже начал расширяться круг знакомых офицеров и студентов.

Поселившись в Петербурге, Александр Прохоров ясно видел, что ему недостанет одного жалованья для содержания отца и для поддержки Прилежаевых. Для увеличения своих материальных средств он решился заняться приготовлением детей к поступлению в военно-учебные заведения. Осенью он опубликовал в газетах, что он берется обучать детей, желающих поступить в корпуса, и при помощи Левашова получил место учителя математики в одном из приготовительных пансионов. Кроме того, он поместил несколько небольших специальных заметок в «Военный сборник» и сразу обзавелся довольно широким кружком знакомых, большею частью из артиллеристов, прежних его товарищей или знакомых Левашова. Рядом с этими стремлениями увеличить свои доходы у Прохорова шли заботы о расширении своих познаний. Всматриваясь в его будничную жизнь, можно было удивиться его практическому смыслу и его энергичной деятельности. С семи часов утра до семи, до восьми часов вечера этот человек то работал лично для своего образования, то исполнял принятые на себя обязанности для добывания хлеба. И после рабочего дня он снова готов был работать или являлся в кругу своих разнообразных знакомых говорливым и оживленным собеседником. Казалось, эта натура не знает усталости, не знает покоя. Можно бы было бояться за его здоровье, если бы его лицо не выглядело так бодро, так свежо и если бы он сам не говорил, что он никогда не чувствует усталости. Всматриваясь поближе в образ его жизни, можно было заметить, что его бодрость и выносливость не были следствием одной молодости и здоровой натуры. Нет, он сам говорил, что нужны только уменье и средства и человек может поддержать себя и увеличить свои силы. Это уменье поддержать себя было у Прохорова. Он постоянно сменял свои занятия; после долгого сидения ходил пешком на уроки; обедал в определенное время; вставал рано, ложился не

очень поздно; по непривычке к кутежам вел довольно трезвую жизнь и сам со смехом говорил, что «он спит, в сущности, за троих, так как он спит мертвым сном, тогда как другие только дремлют». Он иногда замечал, что «корпус имел то благодетельное значение для него, что приучил его делать все в определенное время и не валяться на постели». Военное время, по его мнению, также имело для него отчасти хорошее значение, приучив его к выносливости и хотя несколько познакомив с образом жизни европейцев. «Они действительно живут всем организмом и являются членами своей родины»,— говаривал он.— Мы же или ходим в дремоте или лежим на постели тоже в дремоте и иногда не только не интересуемся, что делается в глубине России, но не знаем, что происходит в нашем родном городе».

Если бы можно было судить о человеке по одной стороне его жизни, то можно бы подумать, что из Прохорова выработается аккуратный и расчетливый немец или стремящийся превратиться в машину англичанин. Но рядом с этой аккуратностью и расчетливостью появлялись и другие черты, быть может, менее полезные в грубом, чисто материальном значении для самого Прохорова, но зато более привлекательные для близких к нему лиц,— черты чисто русские, дышащие первобытной наивностью и добродушием, за которые мы так часто привязываемся всей душой к человеку даже в том случае, когда видим в нем множество ошибок: Прохоров был добряком, подобно своему отцу, и отличным товарищем. У него всегда мог переночевать бесприютный; его кошелек был открыт для тех, у кого не было денег; он готов был бежать ночью в аптеку или за доктором для больного; он в приятельском кружке забывал за спорами и живыми беседами свои урочные часы сна и обеда и с наслаждением выпивал стакан-другой вина. Железная кровать с белым одеялом; турецкий диван, обитый клеенкой; ломберный стол, игравший роль письменного стола и заваленный книгами, бумагами и папиросами; несколько легких стульев; шкап с небогатым гардеробом — вот почти все, что имел Прохоров, хотя в его старом замшевом кошельке иногда водились немалые деньги. Он почти постоянно ходил в потертом пальто, которое носилось весной, зимой и осенью; он мало обращал внимания на тонкость сукна на своих сюртуках и если чем-нибудь мог щегольнуть, так разве только тонкостью и чистотой белья. Этого аккуратного, расчетливого и не имевшего никаких претензий человека нередко обирали и надували приятели: ино-

гда это вызывало довольно комичные сцены, но он очень добродушно выносил приятельские проделки и говорил, что «нужно же платить за уроки».

— Нужно узнать как можно больше людей, чтобы выбрать себе действительно хороших друзей.

— Да зачем же, голубчик вы мой, всякую-то дрянь — прости господи! — к себе в дом впускать,— говорила ему Марья Дмитриевна.

— Да как же узнать-то: дрянь это или нет, если не впустишь ее к себе в дом?

— Да ведь этак вас и оберут совсем...

— Ну, тогда и узнаю, что они дрянь. Попробуйте-ка замки везде навешать да стражу приставить, так, пожалуй, вы и весь век не узнаете, есть ли на свете воры...

— А! пусто бы им было!.. Дай бог, и весь век про них не знать,— открещивалась Марья Дмитриевна.

— Ну, а вот меня интересует, какие такие бывают воры,— смеялся Александр Прохоров.

— А вот погодите, как оберут вас догола, тогда и узнаете. По миру пустят!

— Не пустят, Марья Дмитриевна. У меня ведь свои крестьяне есть: сегодня меня обокрадут, завтра они оброк принесут,— добродушно шутил Александр Прохоров, показывая на своих крестьян — на свои руки и голову.

Марья Дмитриевна только головой покачивала.

— Сам не кутит, в карты не играет, так другие шаромыжники из него деньги вытягивают,— жаловалась она на Прохорова Катерине Александровне.

— Ну, мама, всего он не отдаст, а если что пропадет, так стоит ли об этом говорить,— ведь ему не для детей копить.

— Как не для детей? Ты думаешь, что так вы и весь век проживете? Выйдешь, голубка, замуж, будут и дети.

— Ну, когда еще будут, а теперь будем жить, как хочется...

С каждым днем Катерина Александровна все более и более сближалась с Александром Прохоровым и все сильнее и сильнее любила его. Мирные беседы молодых людей в обществе Антона и Леонида; веселые вечеринки в кружке Софьи Андреевны; уроки в приюте и подготовка к слушанию лекций акушерства; посещение дяди и заботы о его судьбе; хлопоты с Софьей Андреевной об улучшении положения приюта — все это отходило на задний план, все это

на время забывалось в те минуты, когда молодые люди оставались одни.

— Иногда мне делается досадно и больно, что до нашей свадьбы еще нужно так долго ждать,— говорил Александр Прохоров.

Катерина Александровна молча и задумчиво склонялась ему на плечо.

— Ты знаешь, что теперь мне еще нельзя оставить приют,— тихо говорила она.— Там еще не все устроено помоему, и сама я еще не вполне приготовилась к новому труду...

— Знаю, знаю... причин-то много, но ведь это тяжело...

Александр тихо целовал ее руки. Катерина Александровна молчаливо любовалась его молодым, энергичным и страстным лицом. С некоторых пор она начала замечать, что на это лицо набегают какие-то тучки, что Александр Прохоров как будто избегает оставаться с ней наедине. Порой, оставшись с ней вдвоем, он спешит приняться за чтение какой-нибудь книги... В его ласках явилось что-то порывистое... Катерина Александровна стала серьезно задумываться о своем положении и о положении своего друга. Ей и самой становилось тяжело. Иногда она долго ходила по комнате, не принимаясь ни за что; иногда она не слышала, что ей говорят. Выражение ее лица было то рассеянным, то каким-то сосредоточенным. Она заметно побледнела, хотя порой ее щеки вспыхивали ярким румянцем. Видно было, что в ее душе происходит какая-то новая, тяжелая борьба. Через несколько времени она сама как будто стала сторониться от Александра Прохорова. Это в свою очередь не ускользнуло от его внимания.

— Я, кажется, слишком поторопился приехать,— заметил он однажды каким-то нервным, раздражительным тоном.

— Ты раскаиваешься? — спросила Катерина Александровна, прямо взглянув ему в глаза.

— Нет, нет! — быстро произнес он и горячо прижался губами к ее руке.

А потом опять на его лицо набежали тучки...

Однажды в обществе Софьи Андреевны, среди множества других споров, зашел спор о любви.

— Не понимаю я этих платонических вздыхателей и вздыхательниц, которые описываются в романах,— горячо заметил Александр Прохоров.— Это или идиоты, или лже-

цы, или просто куклы, созданные расстроенным воображением.

Софья Андреевна мельком вопросительно взглянула на Александра Прохорова и на Катерину Александровну. Этот взгляд не ускользнул от Катерины Александровны, и она покраснела. Александр Прохоров ничего не заметил в пылу спора.

— Впрочем, в жизни, к счастию, платоническая любовь оканчивается законным браком или приводит вздыхателей к тому сознанию, что они никогда не любили друг друга. Люди по большей части все-таки обладают настолько здравым смыслом, что не могут довольствоваться вздохами.

— Может быть, нынче,— возразил кто-то,— но ведь были же века романтизма, когда иной рыцарь был счастлив одним благосклонным взглядом обожаемой женщины.

— Во-первых, тут многое присочинено пылкими воссоздателями средних веков, а во-вторых, господа рыцари были настолько развращенный, пресытившийся в разврате со своими крепостными народ, что у них могла явиться потребность платонической любви и обожания. Ненормальные отношения к одним женщинам вызвали такие же ненормальные отношения к другим женщинам. С одной стороны, был разврат, с другой, игра в сентиментальные вздохи.

Катерине Александровне было тяжело. Она видела по волнению Александра Прохорова, что он говорил о чем-то близком для него. Ей было неловко выносить испытующие взгляды Софьи Андреевны, и она поспешила тихо шепнуть Софье Андреевне:

— Я согласна с Александром, я не могу себе представить, чтобы можно было любить и вечно жить, например, так, как мы. Конечно, мы разошлись бы, если бы мы не знали, что через год нам можно будет отпировать свадьбу.

Она говорила это тихо, в волнении и в душе сознавала, что и ей, и Александру покажется очень долгим этот год.

Наступила весна. У Катерины Александровны прошли экзамены в приюте, и настало свободное время. Она бывала чаще дома, чаще виделась с Александром Прохоровым, у которого также кончилась бóльшая часть уроков. Иногда молодые люди в сопровождении Лидии, Леонида и Антона предпринимали дальние прогулки, иногда они просиживали вечера где-нибудь за городом в саду. Почти всегда Лидия, Леонид и Антон являлись их неизменными собеседниками.

— У нас нынче свои адъютанты завелись,— заметил как-то Прохоров насмешливым тоном.

Катерина Александровна промолчала.

— А ты, Катя, не думаешь и теперь проститься с приютом?

— Нет, ты знаешь, что многое еще требует изменения,— ответила она.— Софья Андреевна отличная женщина, но мотылек... Она способна перестраивать все, покуда ее подталкивают, а перестанут подталкивать — она и помирится на своих вечеринках...

— Да, это правда! — вздохнул Александр Прохоров.

— Притом же окружающие ее люди еще менее серьезны, чем она... Мне нужен еще год...

Александр Прохоров промолчал и переменил разговор. Но по его лицу было видно, что ему тяжело. Не легче было и молодой девушке, знавшей, что с ее свадьбой должна кончиться ее приютская деятельность. Прошло еще несколько дней. Он между разговором сказал Катерине Александровне, что он хочет взять отпуск на двадцать восемь дней.

— Отдохнуть хочется,— закончил он.— Поеду куда-нибудь проветриться.

— Уедешь?! — почти воскликнула Катерина Александровна и побледнела.

— Да, ненадолго, недели на две,— ответил он.— Тяжело как-то, прирос я к месту...

Катерина Александровна задумалась. «Нет, он не уедет,— мелькало в ее голове.— Я не хочу быть причиной его бегства из родного дома». Она вся раскраснелась и взволновалась. Через минуту она встала и положила руку на плечо Александра Прохорова.

— Милый, не лучше ли взять небольшую дачу... Это было бы полезно и твоему отцу, и Антону...

— А ты здесь останешься? — спросил он, подняв к ней глаза.

— Я возьму отпуск на месяц,— тихо ответила она.

Он не спускал глаз с ее раскрасневшегося прекрасного лица; она смотрела в окно на заходящее солнце и избегала встретиться глазами с взглядом Александра Прохорова.

— Глядите, глядите, она точно золотая вся! — крикнул Антон, вбежав в комнату и взглянув на сестру, облитую с головы до ног лучами заходящего солнца.

— Да, да, золотая! — задушевно произнес Александр Прохоров, горячо прижимая к губам ее руку.

Она ласково гладила его волосы и задумчиво улыбалась.

Через три дня семья перебралась на небольшую дачу в Лесной. Катерина Александровна должна была приехать туда через неделю.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

I

ДОБРЫЙ РОДСТВЕННИК

Стояли теплые, долгие летние дни. Солнце золотило каждую травку, его лучи прокрадывались в каждую щелку. Все в природе расцветало, распускалась каждая цветочная почка, щебетала в лесу каждая птица. В эту пору и людям живется лучше и привольнее, чем зимой. Но, может быть, никому не жилось так хорошо в это лето, как Катерине Александровне и Александру Прохорову. Они ловили дни отдыха и дни любви. Оба эти человека не считали отдыха и любви целью своей жизни, но, как рабочий народ, наработавшись до поту лица из-за куска хлеба, они сознавали, что и отдых, и любовь были лучшей наградой за дни труда, за дни будничных столкновений с чужими людьми, за дни мелких жизненных дрязг. После месяца полной, беззаботной свободы молодые люди готовились снова приняться за свои обычные занятия с новыми силами, с новой энергией и спокойной душой. Даже Марья Дмитриевна, хлопотавшая по хозяйству и не без сердечного удовольствия, хотя и жалобным тоном, учившая «свою кухарку», как нужно служить «благородным господам», была, по-видимому, спокойнее обыкновенного и, казалось, не мучилась никакими мрачными предчувствиями. Ее веселило присутствие всех ее детей и детей Данилы Захаровича в ее доме, и если какая-нибудь забота волновала ее, так это забота о каких-нибудь пирожках для детей. За детьми Данила Захаровича она ухаживала почти больше, чем за своими детьми, постоянно говоря им: «Не взыщите, кушайте, деточки, что бог послал. Ведь вы к сладенькому куску привыкли у папаши!» И дети любили добрую и простенькую «тетю» гораздо более, чем свою мать. Они были очень рады, что Катерина Александровна решилась сойтись с Павлой Абрамовной. Первый шаг к сближению с Павлой Абрамовной Катерина Александровна сделала через силу,

и сделала его только ради Леонида и Лидии. Она боялась, что Павла Абрамовна не станет отпускать детей гостить к ней. Но против ее ожидания Павла Абрамовна очень обрадовалась возможности «освободиться» от детей и очень откровенно заметила, что они «надоели ей как горькая редька». Павла Абрамовна была женщина откровенная. Из вежливости Катерина Александровна пригласила к себе и Павлу Абрамовну, но та сказала, что она никуда не выезжает и, конечно, только обрадовала этим племянницу своего мужа. Дела, таким образом, устроились к общему удовольствию: Леонид и Лидия приезжали на дачу на три, на четыре дня; Павла Абрамовна разъезжала куда-то с Карлом Карловичем; Антон и Миша радовались присутствию в их доме двоюродных брата и сестры, а взрослые члены семьи могли не опасаться за внезапное появление в их доме никем не любимой матери этих детей. По-прежнему печально влачил свою жизнь только Данило Захарович, все еще содержавшийся под арестом. Но и у него уже явились кое-какие надежды на освобождение, хотя он и не мог сказать наверное, когда они осуществятся.

Так жилось кружку наших героев в это лето, и нечего говорить, что все-таки счастливее всех его членов были Катерина Александровна и Александр Прохоров. Она попрежнему читала и училась; он напечатал и подготовлял ряд статей о воспитании вообще и о воспитании в закрытых учебных заведениях в особенности. И ее учение, и его литературные труды шли довольно удачно под влиянием полного душевного спокойствия и светлого счастия. Он уже сделал себе имя в литературе, хотя не очень громкое, но честное и вполне достойное уважения. Катерина Александровна гордилась его успехами на этом поприще. Ни одна черная мысль, ни одно робкое опасение за будущее не смутили в это время их счастия.

— Милая, как это ты решаешься теперь входить в мою комнату без телохранителей? — шутил однажды Александр Прохоров, встречая Катерину Александровну в своей комнате в мезонине дачи.

— Хочешь, я их позову сейчас? Антон, Ми...— начала Катерина Александровна звать братьев.

— Тсс! — зажал ей рукой рот Александр.— Теперь поздно! Не извольте распоряжаться в моей комнате.

— Ага, испугался! — засмеялась она.— Да ведь их и не докличешься, они в лес ушли... Вот разве маму позвать?..

— Ну, полно, полно, нам хорошо и одним...

— Да, хорошо! — прижалась к нему Катерина Александровна.— Знаешь ли, что мне иногда думается? Мне кажется, что я лучшей жизни не желала бы. Пусть бы всегда, всегда так жилось...

— Вечно бы было лето, вечно были бы мы вдвоем, как Павел и Виргиния? — смеялся Александр.

— Нет, нет, не то! — поторопилась возразить Катерина Александровна.— Я хотела бы работать, много работать, жить в шумном обществе, среди тревог, волнений и, пожалуй, неприятностей, жить так до усталости, до того, чтобы душа запросила отдыха и любви, твоей любви, твоих ласк, не смущаемых ничем.

— А, так ты вот как! Ты меня считаешь чем-то вроде сладкого третьего блюда в праздник,— смеялся Александр.

— А разве ты не считаешь нашей любви, нашего отдыха тем же? Уж в самом деле не хочешь ли ты сам увезти меня куда-нибудь на необитаемый остров Тихого океана, чтобы вечно, вечно отдыхать и наслаждаться одной любовью?..

— Нет, нет, одно сладкое вредно...

— И наскучит, перестанет казаться сладким... Помнишь пословицу: не узнаешь горького, не узнаешь и сладкого...

— Оттого-то нам и живется так хорошо теперь, что мы уже вкусили очень много горького...

— Да, милый, милый, сколько пережито... Порой все прошлое мне кажется сновидением... Иногда я сама не знаю, как я могла пережить все это, когда начну вспоминать день за днем прошлую жизнь... Подвал, голод, глупая школа, пьяный отец, беспомощная мать, вымаливание куска хлеба, поиски за местом, оскорбления со стороны разных Зубовых, скорбь за бедных детей, разлука с тобой... А та минута, когда я думала, что ты убит... Одной ее довольно, чтобы сойти с ума... Ведь я уже тогда верила в твою любовь, знала, что только с тобой я дойду до цели...

Александр молча целовал ее руки. Катерина Александровна сидела около него неподвижно в раздумье о былом.

— Мне вспомнилось,— тихо заговорила она,— что я где-то читала, будто все, «что пройдет, то будет мило». Это неправда, это, вероятно, написал человек, не испытавший того горя, которое губит безвозвратно голодных и холодных людей... Как может быть мило мне мое прошлое, тебе твое прошлое?.. Мило нам теперь в нем то, что было мило и тогда... Но могут ли быть милы те страдания, которые

губили здоровье, которые отнимали без пользы лучшие годы жизни?.. Я понимаю, что и тяжелый труд, и неприятности прошлого могут быть милы, если мы сами для какой-нибудь благой цели взяли на себя крест и вышли, несмотря на его тяжесть, победителями из борьбы. Но ведь эти страдания милы нам не потому, что они прошли... Своего же прошлого, если бы на мне даже не осталось ни единого грустного следа от него, я все-таки не полюблю уже просто потому, что в его тьме я вижу несколько могил, разрытых его гнетущей рукой... Отец, Даша, твой брат — этих имен ведь не вычеркнешь из памяти...

Катерина Александровна на минуту умолкла.

— Вот тоже на днях я встретила в городе Скворцову,— начала Катерина Александровна.— Совсем погибла! Едет на дрожках с каким-то старикашкой. Похудела, лицо какое-то помятое... Пошла по мытарствам!.. Ведь это тоже одна из теней прошлого.

Молодая девушка встала и заходила по комнате. Ее лицо было взволновано и горело ярким румянцем.

— Полно, Катя! — ласково промолвил Александр.— Скажи еще спасибо, что это прошлое не убило и нас ни физически, ни нравственно. Много людей гибнет от подобной жизни: одни сходят в могилу, другие черствеют, гибнут нравственно, становятся врагами даже тех, которые выносят равную с ними долю... А нам счастливый случай помог и уцелеть и сохранить в себе любовь ко всем, кто слаб, кто страдает...

— Да, кстати о страдающих,— заметила Катерина Александровна.— Меня не на шутку беспокоит участь детей дяди. Что с ними будет? Их совершенно загубит их семья. Я, кажется, все сделала бы, чтобы спасти их; но если дядю сошлют, то Павла Абрамовна никак не согласится отдать их на мое попечение и не пустит их с ним. Если же они останутся с ней, то нечего ждать хорошего.

— Кажется, дело обойдется. Я слышал мельком, что Данилу Захаровича только отставляют от службы,— промолвил Александр.— Впрочем, и это будет не особенным счастьем для детей... Пример-то все-таки будет перед глазами печальный. Вот Леонид и теперь не уважает ни отца, ни мать. Правда, отца он еще жалеет, а к ней относится уж совсем враждебно.

— Хорошо еще, что он нас так полюбил, а то с его характером ему не избежать бы постоянных семейных сцен,

которые кончились бы не добром... Павла Абрамовна и то жалуется, что он ей ни слова не уступает... «Что это за дети нынче растут,— жаловалась она мне недавно,— совсем от рук отбились! Умнее старших хотят быть...» Я ничего не могла ей ответить. Ведь не объяснять же, что дети-то тут ни при чем, что она сама виновата... Но ты не поверишь, как тяжело смотреть на этот внутренний семейный разлад: жить в подобных отношениях со своей семьей — это просто пытка.

— И хуже всего то, что эта пытка губит именно те неокрепшие молодые силы, пред которыми стоит еще целая жизнь... А между тем теперь все чаще и чаще будут появляться эти семейные драмы. Мы переживаем именно тот период нашей жизни, когда люди разных убеждений, люди разных поколений должны столкнуться на практической почве. Сколько бы ни было и теперь пустого фразерства, но так или иначе рядом с ним кипит и новая практическая деятельность. Столкновения на этой почве неизбежны, неизбежно и критическое отношение одних членов общества к деятельности других. Вот ведь при старых порядках Боголюбов возвратился бы домой тем же зорким и строгим главой семейства, и сумел бы внушить повиновение Леониду, и силой заставил бы его молчать и покоряться матери. Теперь же Леонид, раз увидав, что за женщина его мать, уже не покорится ей под влиянием насилия, потому что и сам безапелляционный его повелитель упал в его глазах и явился тем, чем он был на самом деле, то есть жалким слабым существом, умевшим только удить рыбу в мутной воде. Чем большее число подобных Боголюбовых будет падать, чем больше гласности получит их падение, тем сильнее подорвется их авторитет и тем более резок будет разлад...

— Но чем это все кончится, чем кончится! — вздохнула Катерина Александровна.

— Конечно, хорошим! Одной крестьянской реформы довольно, чтобы назвать наше время — хорошим временем. Разумеется, много будет увлечений, много промахов, но потерпят отдельные единицы, отдельные личности, общее же дело все-таки сделает поворот к лучшему.

Катерина Александровна задумалась. Слова о гибели отдельных личностей опять воскресили в ее воспоминании тени любимых ею погибших людей, и ей стало тяжело. Ей почему-то невольно вспомнились чудные слова поэта про «бедных матерей»:

Им не забыть своих детей,
Погибших на кровавой ниве,
Как не поднять плакучей иве
Своих поникнувших ветвей...

И она невольно вздрогнула.

— О, если бы нашим детям удалось подрастать в ту пору, когда совершится все, начинаемое теперь, и когда все люди братски протянут друг другу руки! — промолвила она.— Мне кажется, что в такую пору, какую переживаем мы, нельзя вполне развиться, нельзя основательно чему-нибудь научиться... Тут хватаешься за все, везде видишь прорехи, все хочешь переделать, учишься урывками... Мне кажется, что теперь положение многих людей похоже на мое: я должна была и добывать хлеб, и устраивать семью, и приготовлять себя для обеспечения своего будущего, и приют волновал и беспокоил меня своими неурядицами... Поневоле приходилось делать промахи, подготовляться кое-как, улаживать дело на живую нитку и иногда мучиться, что не было сил предусмотреть то или другое... Наша жизнь — жизнь благих стремлений и жалких ошибок...

Александр Прохоров ласково привлек ее к себе и горячо поцеловал ее раскрасневшееся личико.

— Добрая моя, тебе все хочется победы, без ошибок и без падших людей,— нежно промолвил он.— Этого или не бывает, или бывает очень редко.

В эту минуту дверь в его комнату незаметно отворилась и на пороге показалась Марья Дмитриевна. Она в недоумении остановилась в дверях и смотрела несколько испуганными глазами на дочь и на Прохорова. Видя, что ее не замечают, она кашлянула. Молодые люди обернулись.

— Обед подан,— проговорила она.— Я тебя искала, искала...

— Сейчас идем, мама,— ответила Катерина Александровна.

Марья Дмитриевна как-то подозрительно смотрела на молодых людей.

— Там гость у нас,— произнесла она.

— Кто, мама?

— Данило Захарович.

— Как? На свободе? — радостно воскликнула Катерина Александровна и хотела выбежать из комнаты.

— Постой, постой! — удержала ее Марья Дмитриевна и тихо шепнула ей на ухо,— ты освежись немного... лицо-то вон у тебя как горит...

— Жарко, мама,— простодушно ответила Катерина Александровна.

Марья Дмитриевна покачала головой.

— Нехорошо, Катюша! Мало ли что подумать могут!

Катерина Александровна с удивлением посмотрела на мать.

— Ведь вот спросят: где была?.. Не скроешь...

— Мама, да я и не желаю ничего скрывать. Мне нечего скрывать! — с особенным ударением ответила Катерина Александровна, нахмурив брови.

Марья Дмитриевна как будто испугалась чего-то и поспешно проговорила пониженным тоном:

— Знаю, знаю, Катюша, что нечего. Ты у меня умница!.. Да ведь на чужой роток не накинешь платок... Люди-то что...

— Подите вы с вашими людьми! — резко ответила Катерина Александровна.— У меня своя голова!

Она быстро вышла из комнаты и спустилась вниз. Марья Дмитриевна, вздыхая и крестясь, поплелась за ней. Александр Прохоров обогнал ее на лестнице, она отстранилась от него и посмотрела ему вслед каким-то недобрым взглядом.

Катерина Александровна сошла вниз и радушно протянула руку Даниле Захаровичу. Он и штабс-капитан сидели на террасе и смотрели в разные стороны. Лицо Данилы Захаровича обрюзгло и пожелтело, в глазах было какое-то недоброе выражение.

— Как я рада, что вижу вас на свободе,— проговорила Катерина Александровна.— Надеюсь, что ваше дело кончилось счастливо.

Данило Захарович вздохнул.

— Отставлен без пенсии,— проговорил он.— Нищим остался... Конечно, я должен благодарить моего благодетеля Александра Николаевича Свищова. Не забыл, похлопотал... Без него могло бы хуже кончиться... Что ж, стану теперь работать, куда-нибудь в переписчики, в конторщики пойду... Мы, люди маленькие, ни на что не годные, должны из-за куска хлеба работать... Проживем как-нибудь!

— Не унывайте, дядя! Зачем падать духом? Все еще уладится.

— Нет, племянница, не уладится! — еще раз вздохнул Данило Захарович.— Что я теперь? Нуль, червяк пресмыкающийся. Меня в моем собственном доме никто не

уважает... Жена, дети — все от рук отбились... Дома ад какой-то; не ласку я там встретил, а попреки... Конечно, я молчать должен, я на женины деньги должен жить...

Данило Захарович говорил со вздохами, приниженным тоном, скорбно покачивая головой, но в его лице, в его голосе, в его речах слышалась не одна скорбь, не одна приниженность, в них замечалась и частичка желчи и злобы, той шипящей злобы, которая нередко прикрывается слабодушными людьми маской смирения и покорности, но в глубине души подталкивает их на разные интриги и ковы. Катерине Александровне было тяжело слушать дядю.

— Как же вы думаете устроить детей? — спросила она.

— Благодетель наш Александр Николаевич Свищов обещался платить за Леню; Лидию обещали в институт устроить... Я теперь не могу сам своих детей поднять на ноги... Я отец и не могу их поднять на ноги!.. Обидно!.. Если добрые люди не помогут, то придется им неучами расти... Конечно, дети это понимают, знают, что им отец ничего дать не может, ну и плюют на отца. Что он для них? Ненужный старикашка, пустой ворчун...

— Полноте, дядя! Леонид и Лидия так любят вас!

— Любят! — с горечью усмехнулся Данило Захарович.— Знаю я эту любовь! Конечно, я не могу пожаловаться на них. Ласкаются они!.. Да ведь не из любви это делается. Ласкаются из жалости к убитому старикашке. Ласкаются потому, что им стыдно вдруг отвернуться от меня... Ласкаются потому, что не хотят, чтобы я ворчал на них... Малы еще покуда, а подрастут, так и совсем отвернутся от меня!

Штабс-капитан, хранивший глубокое молчание, начал нетерпеливо постукивать костылем.

— Грех вам, дядя, так думать! — сказала Катерина Александровна.— Вы глубоко ошибаетесь в них...

— Да, племянница, может быть, и ошибаюсь!.. Я ведь теперь во всем ошибаюсь, во всем виноват... Вот Павла Абрамовна с утра и до ночи только считает мои провинности... Сам Александр Николаевич Свищов попрекнул меня, что я не познакомил его с вами, что я не хотел вас знать... Конечно, вы могли ему сказать это, жаловаться на меня...

— Я, дядя, не жаловалась ему и не пожалуюсь. Напрасно вы меня упрекаете.

— Я упрекаю! Сохрани меня бог! Да разве я не знаю,

что я кругом виноват?.. Прошу об одном, племянница, не говорите Александру Николаевичу Свищову, что я проболтался об этом... Я ведь знаю, он в вас души не слышит, он готов все по вашему слову сделать...

Катерина Александровна усмехнулась.

— Напрасно вы опасаетесь, дядя, я совсем не вижусь с Александром Николаевичем.

— Как же не видитесь? Мне Архипушка говорил...

— Архипушка? — спросила Катерина Александровна, услышав незнакомое ей имя.

— Да, камердинер его... Он говорил, что вы иногда по два раза в неделю к Александру Николаевичу ездите... Вот я и хотел вас просить замолвить ему словечко за моих детей, напомнить... Моя стариковская просьба меньше, конечно, значит...

Штабс-капитан начал еще усиленнее стучать костылем и издавал какие-то сердитые звуки. Катерина Александровна вся раскраснелась...

— Если я ездила, дядя, к Свищову, то ездила только по приютским да по вашим делам,— внушительным тоном произнесла она.— Но теперь, когда в приюте дела переменились, когда вы на свободе, мне не для чего ездить к этому господину. О детях вы можете просить сами, и он исполнит вашу просьбу.

Данило Захарович глубоко вздохнул.

— Так-то все теперь говорят: кланяйтесь сами, а мы за вас хлопотать не хотим.

Штабс-капитан, по-видимому, окончательно потерял терпение и раздражительно и торопливо забормотал что-то.

— Мне, кажется, изволите говорить? — спросил Данило Захарович, обращаясь к нему.

— Нет, Флегонт Матвеевич со мной говорит,— сухо ответила Катерина Александровна, очень хорошо понимая, что старик бесцеремонно ругает гостя. Ее лоб нахмурился, но она удержалась от резкого возражения, вспомнив, что ссора с дядей может отнять у нее возможность видеться с его детьми. Она очень обрадовалась появлению Марьи Дмитриевны, возвестившей с поклонами, что давно подано кушать. Все вошли в комнату.

— Как хорошо вы обставились,— со вздохом произнес Данило Захарович, осматривая комнату.— Кто мог думать, что судьба-то так переменится. Не дожил брат до этого счастья.

— Все им обязаны, батюшка, им одним! — своим заискивающим тоном произнесла Марья Дмитриевна, указывая на Александра Прохорова, стоявшего с Антоном и Мишей у стола.

Данило Захарович вопросительно взглянул на Прохорова.

— Да, я и забыла отрекомендовать его,— поспешила сказать Катерина Александровна.— Это мой жених Александр Флегонтович Прохоров.

— Же-них,— протянул Данило Захарович и подал руку молодому Прохорову.— Очень приятно познакомиться... очень приятно... Дай бог, дай бог...

Он не кончил и только вздохнул.

Все сели за стол.

— Скоро думаете свадебку сыграть? — спросил Боголюбов.

— Не знаю еще,— просто ответил Александр Прохоров.— Это будет зависеть от обстоятельств.

— Какие же обстоятельства? Чем скорее, тем лучше. Это такой праздник, которого молодые люди не любят откладывать.

— Вот, батюшка, в одно слово со мной,— произнесла Марья Дмитриевна, обрадованная новым союзником.

— Нам спешить некуда,— холодно заметила Катерина Александровна.— Чем важнее дело, тем серьезнее нужно его обдумать...

— Так, так,— промолвил Данило Захарович.— Только как же это ждать-то? Нет, Марья Дмитриевна, как посмотрю я на нашу молодежь, так и вижу, что совсем она изменилась. Свадьба, видите ли, у них дело, да еще такое дело, которое серьезно обдумать надо!.. Да кровь-то, батюшка,— обратился он к Александру Прохорову,— кровь-то разве не говорит? В наше время ждали не дождались дня свадьбы! Бывало, родители на день отложат свадьбу, так жених и невеста ночь не спят, мучаются... А вы говорите: торопиться некуда! Нет-с, тут-то и торопиться, сегодня любите, а завтра, может быть, остынете...

Александр Прохоров и Катерина Александровна не могли удержаться от улыбки.

— Времена другие, другие и взгляды! — уклончиво ответил Александр Прохоров.

— Какие, батюшка, тут взгляды! Тут страсть, понимаете: страсть, огонь! — промолвил Данило Захарович.

— Огонь огню рознь,— засмеялся Александр Прохо-

ров.— Один горит минуту, другой не погасает в течение долгих лет.

— Может быть-с, может быть,— вздохнул Данило Захарович.— Только я в старые годы, право, и недели не прожил бы с невестой под одной кровлей, не повенчавшись. Нет-с. Видно, наш-то огонь, может быть, и скорее сгорал, только горел-то сильнее.

— Может быть,— холодно согласился Александр Прохоров, очевидно, не желая спорить и убеждать противника.

Разговор оборвался. Данило Захарович был обижен, что с ним не хотят спорить. Все были как будто недовольны чем-то и совершенно притихли. В комнате слышалось только, как гремели вилкой и ножом вышедшие из повиновения руки штабс-капитана да раздавался заунывный голос Марьи Дмитриевны, угощавшей «дорогого гостя» таким тоном, как будто она, оплакивая, откармливала идущего на смерть человека. Вообще Марья Дмитриевна в большинстве случаев говорила таким тоном, что какой-нибудь иностранец, не знающий русского языка, непременно заподозрил бы, что эта женщина повторяет одну и ту же фразу: «Все мы смертны и все мы помрем». Общество было очень радо и вздохнуло свободно, когда кончился обед и все собеседники получили право хотя на несколько шагов отойти друг от друга.

— Батюшка, отдохнуть не хотите ли в моей комнатке,— промолвила Марья Дмитриевна, обращаясь к Даниле Захаровичу.

— Не до отдыхов нам теперь! — вздохнул он.— И ночей-то не спишь, а уж не то что днем валяться...

— Да вы немножко...

— Я, пожалуй, готов удалиться... Только спать я не буду... Не до сна мне... Где же вы помещаетесь? — спросил Данило Захарович.— Покажите, пожалуй, свою келью... Как-то вас деточки приютили...

Марья Дмитриевна засуетилась.

— Я вот тут, с Мишурой вдвоем, батюшка, вдвоем,— заговорила она, указывая протянутой рукой дорогому родственнику на дверь в свою спаленку и спеша за ним.

Таким образом, руководимый и в то же время провожаемый Марьей Дмитриевной, Данило Захарович прошел в ее комнату.

— Вот, батюшка, вот здесь,— говорила Прилежаева.— Дочка покоит, на ее счет живу...

— Недурно, недурно,— одобрил Данило Захарович, чувствовавший, что даже и теперь, во времена своего падения, он стоит все-таки выше Марьи Дмитриевны.— Хорошо бы, Марья Дмитриевна, если бы только это все поскорее сделалось действительно вашим.

— То есть как это, батюшка? — растерялась Марья Дмитриевна.— Извините, в толк не возьму...

— Я говорю о том, что хорошо бы было, если бы племянница поскорее замуж вышла,— пояснил Данило Захарович.— Ведь это на его деньги все...

— На его, батюшка, на его...

— Ну, а знаете, нынче не такие времена, чтобы кто-нибудь даром давал.

— Что вы, батюшка! Моя Катюша...

— Не такие времена, Марья Дмитриевна,— перебил ее Данило Захарович внушительным тоном.— Не такие времена! Я нынешнюю молодежь знаю! Не в деревне жил, слава богу! Насмотрелся и на родственников Гиреевой, и Белокопытова молодого знаю. Да что о них говорить! Я сам, сам-с отогрел на своей груди одного проходимца. А чем он мне отплатил? Э-эх! Говорить-то тошно! Нынче каждый старается яму другому вырыть, ногу подставить. Вы думаете, кто-нибудь станет даром благодетельствовать? Как же! Нет-с, отплаты потребует, проценты сдерет! Вот какая теперь молодежь!

Марья Дмитриевна совсем растерялась.

— Да ведь мы, батюшка, за «их» папенькой ходили, ровно родные,— начала она.

— Родные! Да родные теперь хуже чужих,— перебил ее Данило Захарович.— Ведь у меня тоже дети. А чего я от них жду? Только горя, одного горя!.. Нет, нынче никому доверять нельзя!.. Погубят, погубят отца родного ни за грош, ни за денежку... А после что? Люди-то что станут толковать?.. Вот вы сидите тут, в своей каморке, посадили вас в нее, заставили хозяйничать, чтобы вы людей-то не видали, а люди-то вас видят, толкуют про вас: «Какая, мол, она мать, если не видит, что дочь делает!» Ведь от людей ничего не скроешь...

— Да, батюшка, что же мне делать? Ведь они жених с невестой, они повенчаются вот,— почти плакала Марья Дмитриевна.

— Торопите свадьбу! Не зевайте! Не то, помяните мое слово, поздно будет.

Данило Захарович еще долго давал наставления Марье Дмитриевне и успел растрогать ее до слез. Благодаря доброго родственника за хорошие советы, она побежала наконец распорядиться насчет кофе и оставила его «соснуть» на полчаса. От внимания Катерины Александровны, Александра Прохорова и Флегонта Матвеевича не ускользнуло плаксивое выражение лица Марьи Дмитриевны, и они, словно сговорившись, заметили:

— Вот уж правда, что непрошеный гость хуже татарина!

Флегонт Матвеевич по своей старой привычке не ограничился этой короткой фразой и сказал какую-то страстную и длинную речь против Боголюбова; все слушатели, конечно, не поняли и половины этой речи и потому были глубоко потрясены ею и безусловно согласились с мнением оратора. Наконец подали и кофе, в столовую комнату снова появился Данило Захарович; его из приличия спросили, хорошо ли он отдохнул; он, согласно со своим положением «удрученного горем человека», объявил, что «уж где ему отдыхать», что «ложится он теперь в постель, как в могилу, чтобы на минуту забыться», что «напрасно все и на цыпочках ходили, и шепотом говорили, так как на него теперь нечего обращать внимания, так как должен он привыкать и при шуме спать», и прочее и прочее, все в том же роде. В конце концов слушатели поняли только одно, что он горько упрекал их за то, что они его уложили спать и сохраняли тишину, так как его, бедного и угнетенного человека, теперь нужно отучать от сна и приучать ко всевозможным неудобствам.

— Ведь если я спать буду, так хлеб-то сам ко мне не придет! За меня работать никто не станет. Здесь вот вы говорить не смели, пока я лежал, а в другом месте, может быть, нарочно молотками стучать станут, когда я лягу,— говорил он и даже пробудил в душе Марьи Дмитриевны нечто вроде угрызений совести за то, что она не сумела угодить как следует дорогому родственнику.

Все общество выглядело так уныло и тоскливо, как будто в течение целого дня его угощали только чем-то очень кислым. Наконец Данило Захарович стал собираться, все с особенной радостью поспешили предложить ему себя в проводники до дилижанса. «Хороши родственники, так и обрадовались, что я ухожу»,— с горечью подумал Данило Захарович и отказался наотрез от предложения, объявив, что ему теперь нужно привыкать самому отыски-

вать дороги. Все, так же радуясь в душе, хотя и с печальными лицами, согласились и на это. Наступила минута прощания, наступила минута разлуки — все вздохнули свободно.

— Скатертью дорога! — махнул рукой Антон, когда фигура дяди скрылась за первым поворотом.

— Точно гора с плеч свалилась! — промолвил Александр Прохоров.— Ведь уродятся же такие несносные люди.

— Ах, батюшка, да когда же бывают не несносными бедные люди! — вздохнула Марья Дмитриевна.— Уж их участь такая, что все ими гнушаются.

— Помилуйте, Марья Дмитриевна,— начал Александр Прохоров и умолк в изумлении, увидав перед собой слонообразную фигуру Данилы Захаровича.

— Нет, видно, еще не привык гранить мостовую,— жалобно произнес Данило Захарович.— Шел, шел и заплутался... Голова-то, видно, не о том думала!.. Ну, уж и дачу наняли!.. И людей-то здесь нет, никого не встретишь, спросить не у кого, только из-за палисадников собаки лают... Все против бедного человека защитники, чтобы он и к воротам подойти не смел!.. Уж я попрошу кого-нибудь проводить меня...

Все снова изъявили готовность проводить Данилу Захаровича. Он отказался от услуг *всех*, тогда ему предложили в проводники Антона, но он выразил сомнение в знании Антоном дороги; это заставило Марью Дмитриевну вызваться с предложением своих услуг, но Данило Захарович опять уперся, так как он не мог допустить, чтобы в этой глуши Марья Дмитриевна возвращалась домой одна; оставался на очереди Александр Прохоров, но Даниле Захаровичу «было совестно беспокоить совсем еще незнакомого ему человека». Бог знает, чем бы кончилась эта сцена, если бы все не решились идти провожать гостя насильно, что заставило его стесняться и жаловаться всю дорогу.

Только усадив его в дилижанс и дождавшись отъезда дилижанса, семья Прилежаевых поверила, что дорогой родственник наконец уехал и не вернется более, по крайней мере в этот день, хотя Антон, возвратившись в садик прилежаевской дачи, и уверял, что «под этим слоном рессоры лопнут и его приведут к нему обратно». Молодежь, как это всегда бывает после долгого стеснения, развеселилась, шутила и дурачилась. Кто-то, кажется Миша, предложил играть «в пятнашки» и «запятнал» Катерину

Александровну. Она погналась за Антоном, и игра началась. В саду раздавались крики и хохот. Флегонт Матвеевич, сидя на терассе, где был по условию играющих «дом», стучал костылем, прогоняя играющих, пробовавших забежать в «дом» и укрыться от преследований «пятнашки». Игра была в полном разгаре, когда Марья Дмитриевна позвала из комнаты Катерину Александровну.

— Что вам, мама? — спросила раскрасневшаяся молодая девушка, вбегая в комнату.

— Ты бы, Катюша, не играла,— посоветовала Марья Дмитриевна.— Вот соседские барышни гуляют у себя в саду. Я зашла прибрать в комнате Александра Флегонтовича, а сверху-то мне их и видно... Осудят еще...

— Вот выдумали! — засмеялась Катерина Александровна.— Разве мы в первый раз играем?.. Да и что мне до них за дело. Впрочем, они и сами часто играют...

Катерина Александровна хотела выйти.

— Да ведь они между собою играют,— проговорила Марья Дмитриевна.— А ты вот с чужим мужчиной... Нехорошо...

Катерина Александровна пожала плечами и вышла в сад. Ее тотчас же «запятнали», и волей-неволей ей пришлось бегать. Но ее искренняя веселость пропала, и она поспешила отговориться от игры под предлогом усталости. Она присела на ступеньку к костылям Флегонта Матвеевича и задумалась. Играющие побегали еще немного и тоже уселись на ступени. Минут через десять всех позвали к чаю, и день окончился мирно и тихо, как обыкновенно кончались дни в этой семье. Катерина Александровна почти уже забыла о словах матери и спокойно легла спать, но она еще не успела заснуть, когда в ее комнату появилась Марья Дмитриевна. Она подошла к постели дочери и спросила, спит ли та. Катерина Александровна отвечала: «Не сплю».

— Мне поговорить с тобой, Катюша, надо,— заметила Марья Дмитриевна и присела на постель.— Не губи ты себя, Катюша. От людей-то ведь ничего не скроешь,— слезливо начала она объяснение.

— Я, мама, ничего и не скрываю,— ответила Катерина Александровна, изумленная этим вступлением.

— Ты вот невестой Александра Флегонтовича слывешь, а люди-то разве поверят, что ты невеста?.. Любовницей его назовут.

— Да пусть называют; мне-то что до этого за дело!

— Ай, Катюша, как тебе не стыдно! Честное-то имя должно быть для девушки дороже всего... Потеряешь его раз, так уж никогда не воротишь... И какие люди-то нынче? Каждый обмануть норовит, насмеяться хочет над бедным человеком... Вертопрахи нынче молодые-то люди, поиграют и бросят...

— Это вы кого же, мама, вертопрахом-то считаете? Не Александра ли? —спросила Катерина Александровна, смотря прямо в глаза матери.— И не стыдно вам, и не грешно вам? Верите ли вы сами в то, о чем говорите? Стыдитесь!

Марья Дмитриевна смутилась: в глубине души она все еще любила Александра Прохорова и верила в его доброе сердце. Она хотела что-то сказать в свое оправдание, но Катерина Александровна предупредила ее.

— Вы, мама,— начала она,— не от себя это говорите, вы чужие слова говорите!

Марья Дмитриевна обиделась.

— Уж известно, что у меня и своих слов нет! Глупая я! Где мне что-нибудь свое выдумать!.. Я...

— Не то, мама, совсем не то! — перебила ее дочь.— Есть у вас и свой ум, и свое сердце, только характер у вас слабый. Не подумаете и не сделаете вы дурно, когда по своему разуму поступаете, а как настроят вас другие, вы и кажетесь и недоброй и нерассудительной... Поступайте лучше как бог на душу положит, да людей поменьше слушайте, вот и будет хорошо, и не станете вы вертопрахами называть таких людей, как Александр.

Катерина Александровна говорила ласковым, мягким тоном, не раздражаясь и не сердясь на мать. Марья Дмитриевна в душе уже почти соглашалась с дочерью, но из ее ума еще не вышли слова Данилы Захаровича о ее слабости, и она решилась быть твердой и продолжать разговор.

— Уж ты так и думаешь, что я ничего не вижу самато,— покачала она головой.— Вон и сегодня вошла я к нему в комнату, целует он тебя... До чего дошли! Не поженились, а целуетесь!.. Разве это хорошо?

Катерина Александровна вспыхнула.

— Хорошо или нет — это мое дело,— резко ответила она.

— Да ведь ты пойми: я мать! — внушала Марья Дмитриевна.— Ты еще дитя, неопытная ты. Тебе кажется, что все ничего, а я-то знаю, куда эти поцелуи ведут.

— Мама,— серьезно и отчетливо заговорила Катерина Александровна, приподнявшись на локте в своей постели,— опять вы не свои слова говорите. Не дитя я и не неопытная. Было время, когда я, точно, была доверчивой и неопытной девочкой, и именно в эти-то годы вы не следили и не могли следить за мной. Одна я ходила по городу, приносила вам кусок хлеба, приносила одежду и деньги — вы не спрашивали, откуда, вы не знали, правду ли я говорила, когда рассказывала, где я взяла все это. В те годы, мама, я могла погибнуть и не раз представлялся мне случай добыть кусок хлеба ценой своей чести. Вы взяли бы этот кусок и даже не подумали бы, как он добыт... Но я не погибла тогда, а теперь-то, когда я и старше стала, и на жизнь насмотрелась, уж, верно, сумею спасти себя от гибели. Может быть, и действительно было бы лучше, если бы дела сложились иначе,— но если они не могли сложиться иначе, то тут и толковать нечего. Я хорошо знаю и себя, и Сашу, и не боюсь ничего. Предоставьте же мне право жить своим умом, как я жила в детстве.

— Так что ж ты, Катюша, мать-то уж ни за что считаешь? — жалобно и с упреком произнесла Марья Дмитриевна.— Ты думаешь, что матери так и должны махнуть рукой на детей: пусть, мол, хоть на голове ходят?

— И матери матерям рознь, и дети не одинаковы бывают,— ответила Катерина Александровна.— Одних матерей нужно на помочах водить, а других детей нужно самим себе предоставить... Одно говорю вам: не смотрели за мной прежде, так теперь поздно смотреть...

— Ну, спасибо, Катюша, спасибо, дочка! — прослезилась Марья Дмитриевна.— Мать-то, значит, для тебя все равно что служанка. Не смеет она в твои дела вмешиваться, не смеет совета дочери дать... Бог с тобой! Сама когда-нибудь будешь матерью, узнаешь, как материнское-то сердце болит за детей...

— Мама, что вы это все жалкие слова-то говорите! — раздражилась Катерина Александровна.— О чем вы плачете, о чем болит ваше сердце? Болело разве оно вчера, третьего дня, год тому назад от того, что я любила Александра? Ведь вы знали это — я ни от кого не скрывала этого. Что же вы делали? Вы только радовались, только старались оставить нас вдвоем, говорили, что мы, как голубки, воркуем. Откуда же вдруг явилась эта печаль? Дядя нашептал?

— Без него я говорила тебе, Катюша, без него говорила, что надо торопиться свадьбой, что нехорошо...

— И сами потом согласились, что у меня есть причины отложить свадьбу,— перебила ее Катерина Александровна.— Поймите вы, что я должна еще пробыть в приюте, пока там все устроится окончательно; должна я еще послужить, чтобы не сидеть этот год совсем на шее Александра. Дайте ему самому встать на ноги, дайте мне время подготовиться к новому труду... Мы и без того на его счет живем.

— Несладко, Катюша, несладко жить на его счет, как знаешь, за что он дает эти деньги...

— А тогда сладко бы было, если бы он женился и, как батрак, один работал бы на нас?

— Кто же, матушка, и должен работать как не муж? И твой отец, когда был молод, работал на семью...

— Ну, вы знаете, до чего отец-то доработался, а я хочу, чтобы мой муж не один работал... Впрочем, это мое дело... Вас же я попрошу только никого не слушать, ничьих советов не принимать... Вот вы мне целую ночь отравили, вы у меня сон и спокойствие сегодня отняли, а из-за кого, под влиянием чьих советов? Это вам дядя нашептал,— тот самый дядя, который знать нас не хотел, который жил воровством и подлостью, который не мог сделать своей собственной жены честной женщиной, которого не уважают даже его дети, который был бы рад, если бы я продалась Свищову и благодетельствовала бы из денег этого старика своей родне? И ради этого-то человека вы встревожили меня! Его-то словам вы придаете более значения, чем моим. Стыдитесь, мама! Или не любите вы меня, или не умеете вы любить... Бог вам судья!..

Катерина Александровна отвернулась к стене.

— Катюша, Катюша, голубушка! — заговорила испуганная и взволнованная Марья Дмитриевна.— Не сердись ты на меня, на глупую!.. Ну, не буду, не буду... Ведь мать я, мать!..

— Ступайте,— тихо проговорила Катерина Александровна.— Ступайте!

— Да ты хоть поцелуй меня, родная! — хныкала Марья Дмитриевна.

Катерина Александровна пожала плечами и холодно поцеловала мать. Она понимала, что между ею и матерью лежала непроходимая пропасть взаимного непонимания.

Мать не понимала «умных», как она выражалась, слов дочери; дочь не трогали «жалкие» слова матери. Мать думала, что каждое примирение выражается поцелуями и чувствительными сценами; дочь ненавидела эти сцены и сознавала, что примирение только тогда действительно, когда мы убедим противника в справедливости своих убеждений. А пропасть, лежавшая теперь между этими двумя женщинами, должна была делаться все шире и шире. Если явятся очевидные признаки тесной связи Катерины Александровны и Александра Прохорова, что скажет мать? Если придется вести борьбу с дядей за его детей, на чьей стороне станет мать? Если нужно будет решиться на какое-нибудь опасное дело, как отнесется к этому мать? Не будет ли она всегда и везде тормозом для семьи? И где же те слова, где те убеждения, где те силы, которые заставили бы Марью Дмитриевну согласиться с мнением дочери? Катерина Александровна невольно вспомнила утренний разговор с Александром Прохоровым о неизбежности разлада между людьми разных поколений, разных сословий, разных степеней развития. «Неужели же мне когда-нибудь придется пожертвовать матерью ради того или другого убеждения?» — думалось Катерине Александровне. «Нет, я слишком сильно люблю ее, слабую, беспомощную, жалкую. Разве она виновата, что она не понимает меня? Разве я могу быть причиной ее мучений? Где у меня эти силы? Мое сердце облилось бы кровью, если бы мне пришлось купить хоть что-нибудь ценой ее счастия... Но если нельзя будет иначе сделать? Если придется поставить на карту ее счастие и хорошее дело? Что тогда? Отступить или перешагнуть через преграду?» Катерина Александровна взялась за голову. «Боже мой, боже мой! зачем это вечно приходится или ломать себя, или шагать к своей цели через людей!.. Не оттого ли так трудно идти к цели, что на дороге иногда являются преградой дорогие нам личности!.. Я, не смущаясь, боролась с Зубовой и Постниковой, я сама вырывала им яму, и моя совесть спокойна... Но мать, мать, которая лелеяла меня в детстве, которая, по своему разумению, положила за меня свою душу... Нет, никогда не хватит у меня сил перешагнуть через нее. Я буду ее убеждать, буду ее просить, но больше ничего не могу я сделать...»

Катерина Александровна заснула только под утро тяжелым и тревожным сном. Что-то недоброе чуяло ее сердце.

II
СЕМЕЙНЫЙ РАЗЛАД

Быстро пролетел свободный месяц Катерины Александровны: пролетело и лето. Опять начался труд после отдыха, начались будни после праздников. Стал ходить в гимназию Антон, уехал в училище Миша, все вошло в старую колею, и, по-видимому, новый учебный и трудовой год должен был походить, как две капли воды, на старый.

В приюте шла деятельная новая жизнь: почти все проекты Софьи Андреевны были приняты и приводились в исполнение. Осенью назначалась выставка детских работ, зимой предполагался бал в пользу приюта и устраивалась лотерея. Все спешили приготовлять работы к выставке, все торопились шить новые наряды для невесты молодого графа Белокопытова. Софья Андреевна и Катерина Александровна носились из конца в конец по приюту, поощряли детей и хотели блеснуть успехами девочек и доказать пользу нововведений, чтобы эти нововведения наконец вошли в устав приюта. Катерина Александровна сознавала, что последнее важнее всего, что самая малейшая неудача нововведений опасна именно теперь, покуда эти нововведения существуют, так сказать, незаконным образом, что успокоиться можно будет только тогда, когда новый устав утвердится и когда все, делающееся теперь как бы на пробу, войдет в законную силу и примет характер раз навсегда заведенной машины. Порой Катерина Александровна уже начинала поговаривать, что можно бы еще более усилить образование детей, чтобы дать им возможность быть конторщицами, корректоршами, учительницами в мелких народных школах, превратить приют в семинарию и дать, таким образом, обществу возможность иметь народных учительниц. Она давно забыла приказание старой графинии Белокопытовой не учить детей ничему, кроме русской грамоты и закона божьего, и все сильнее и сильнее хлопотала о расширении курса арифметики, истории и географии. В собраниях Софьи Андреевны под влиянием Катерины Александровны и Александра Прохорова планы о расширении подготовки детей и о женском труде росли не по дням, а по часам. Только иногда забегали слишком далеко вперед: кружок толковал уже о народных школах, которые, вероятно, станут быстро распространяться после освобождения крестьян; он

говорил о возможности устроить артельные швейные и прачечные мастерские; некоторые члены кружка предлагали учить детей и башмачному мастерству, так как оно довольно выгодно при возрастающих ценах на женскую обувь. Но покуда распространять деятельность приюта было еще очень трудно, так как графы Белокопытовы и комитет не давали ни одного лишнего гроша против старого бюджета. Софья Андреевна не имела в запасе таких средств, чтобы поддержать приют на свой счет, и потому нужно было, как она выражалась, «изобретать средства». Она действительно «изобрела» средства, и иногда довольно эксцентричным образом: так ей удалось побудить одного богатого купца пожертвовать денег на приют ради того, что за это пожертвование он будет приглашен в дом Белокопытовых и сделается почетным членом белокопытовских благотворительных заведений. Пожертвование, открывшее добродетельному коммерсанту доступ в графские палаты, было настолько крупно, что помогло не только приюту, но отчасти и самому Дмитрию Васильевичу, все еще не успевшему привести окончательно в порядок свои денежные дела. Дмитрий Васильевич был в восторге от ловкости Софьи Андреевны и называл ее «гениальной женщиной». Она смеялась и уверяла графа, что ее изобретательность пойдет и дальше. Действительно она не лгала. В одном из собраний ее молодого кружка было решено устроить спектакль с благотворительной целью и употребить вырученные деньги на приют. Спектакли с благотворительной целью были тогда в полном ходу. Молодежь обрадовалась предстоящему удовольствию, и начались прения насчет выбора пьес, насчет выбора актеров. Залу решились просить у графа Дмитрия Васильевича. Он был готов сделать все, что просила Софья Андреевна. Катерина Александровна и Александр Прохоров принимали самое деятельное участие в хлопотах, и последний даже должен был играть довольно видную комическую роль в спектакле, несмотря на все его протесты. Он ездил в дом графа Белокопытова, распоряжался насчет устройства сцены и в один из подобных хлопотливых дней встретился с Дмитрием Васильевичем. Граф перекинулся с ним несколькими словами и пожелал полной удачи спектаклю. На спектакль собралось много народу, по большей части из аристократии. В числе зрителей была и Денисова, приехавшая со своими детьми. Пьесы сошли довольно удачно, и публика благосклонно вызвала несколько раз актеров-

любителей. При последнем вызове Александр Прохоров вышел без парика.

— Maman, да это наш учитель математики,— заметил один из сыновей Денисовой.

— О, да он, значит, на все руки молодец,— засмеялся граф Дмитрий Васильевич.— Я на днях видел его здесь хозяйничавшего и устраивавшего сцену.

— Он, говорят, писатель,— заметил сын Денисовой.

— Вот как!.. Как его фамилия?

Сын сказал. Оказалось, что и Денисова, и граф Дмитрий Васильевич знали эту фамилию и читали последние статьи Прохорова, возбудившие толки в обществе.

— Надо бы познакомиться с ним,— сказала Денисова.— Сережа будет весной держать экзамен, так не худо бы попросить этого господина получше заняться с ним... Он у меня плохой счетчик!..

Когда кончился спектакль и публика стала разъезжаться, Александр Прохоров вышел в залу и остановился поговорить с Левашовым, бывшим в числе зрителей. Граф Дмитрий Васильевич подошел к ним. Он знал Левашова как полковника генерального штаба и как довольно видную личность в литературе; с Александром Прохоровым его личное знакомство ограничивалось покуда одной встречей. С любезностью светского человека и барина старого закала граф высказал мельком похвалу игре Александра Прохорова, сказал вскользь, что он давно знаком с его литературной деятельностью и кстати заметил, что с ним желает познакомиться Денисова.

— Я надеюсь, что вы сделаете мне честь и останетесь у меня на чашку чаю,— прибавил он, слегка пожимая руки собеседников.— Я очень рад, что этот спектакль дал мне случай видеть вас у себя в доме...

Все это было высказано без заискивания, но в то же время и без высокомерия,— спокойно и просто. Отказаться от радушного предложения было невозможно, и граф повел своих гостей в свои комнаты, где уже собралось несколько человек его знакомых.

— Веду военнопленных,— пошутил он, представляя гостям своих новых знакомых.

Следом за рекомендацией послышалось несколько комплиментов Александру Прохорову; особенно рассыпался в любезностях Алексей Дмитриевич, желавший показать, что и он не отстает от века и вполне сочувствует передовой части литературы. Он с ловкостью светского либе-

рала заметил, что у него есть много «общих знакомых» с Александром Флегонтовичем и выразил надежду видеть последнего у себя. Алексей Дмитриевич в эту пору избрал своим коньком «слияние сословий». Эта идея имела для него то же значение, как и всякая другая модная затея. Потом кто-то заговорил об одной из ученых работ Левашова, и уже через пять минут Левашов ораторствовал по своему обыкновению, как будто он был среди своих учеников на профессорской кафедре. Александром Прохоровым между тем завладела Денисова.

— У меня до вас есть большая просьба,— заговорила она.— Я ведь отчасти знакома с вами: вы учите моего сына в пансионе Давыдова. Но там у вас столько учеников, что вам невозможно обращать внимание на каждого отдельно. Вот почему я обращаюсь к вам.

— Чем могу служить? — спросил Александр Прохоров.

— Мне хотелось бы, чтобы вы давали уроки моему Сереже у меня на дому...

— Мне очень жаль, что я почти не имею возможности исполнить ваше желание,— ответил Александр Прохоров.— У меня так мало времени... Я занят службой, уроками и разными другими работами...

— Знаю, знаю! Ведь вы пишете... Я читала вашу статью о воспитании,— заметила Денисова.— Вы очень метко, хотя и слишком зло, напали в ней на нас, бедных родителей... Действительно, мы так часто сами вредим детям своей бестактностью, своими неуместными ласками и своими еще более неуместными вспышками... Но что же делать? Жизнь так портит характеры, делает нас раздражительными, нервными... Иногда видишь, что поступаешь не так, как следует, а поправить ошибки не можешь... Я на вас даже посердилась немного,— ласково и дружески промолвила Денисова.— Вы нападаете на нас так, как будто думаете, что мы имели возможность быть своего рода совершенством. Это ошибка! Ведь старое поколение, мы, отцы и матери подрастающих детей, росли при еще более дурных условиях. Как же требовать от нас невозможного? Это несправедливо.

— Я и не требовал невозможного,— улыбнулся Александр Прохоров.— Я только указывал, что нужно изменить, в чем нужно исправиться.

— Нет, нет! Сознайтесь, что вы нападали слишком жестоко!—засмеялась Денисова беззвучным смехом.—Капельки яду, капельки желчи влиты у вас в каждую фразу.

— Есть вещи, о которых нельзя говорить спокойно,— пожал плечами Александр Прохоров.

— Согласна, согласна! Но вот вы казните нас и говорите о необходимости исправления. Исправляйте же нас, помогайте нам! Вы безупречны, вы безошибочны, ну и ведите нас на свою дорогу... А то вы пишете статьи, громите нас, а сами прячетесь от нас на какие-то недосягаемые высоты.

— Это еще вопрос, кто из нас удалился на недосягаемые высоты: вы или мы,— улыбнулся Александр Прохоров.

— Вы, вы!

— Не думаю. Мне кажется, вам не стоило никакого труда проникнуть в наши бедные углы; вы могли просто призвать нас, и мы явились бы к вам на помощь. Мы же...

— Ловлю вас на слове,— весело перебила его Денисова.— Вы говорите, что вы явились бы на наш зов, а вот теперь я зову вас и вы отвечаете отказом на первый же мой призыв...

Александр Прохоров засмеялся.

— У меня находится только одно оправдание, что это случайность, а не недостаток доброй воли,— отвечал он.— Если бы была возможность...

— О, не говорите, не говорите этого. Чего мы хотим, то возможно! — произнесла Денисова.— Откажитесь от какого-нибудь урока, я не пожалею ничего, чтобы приобрести вас.

— Подкупить хотите? — засмеялся Прохоров.— Но я хотя и ценю недешево свой труд, а все-таки не продаю его с аукционного торга.

— Вы меня не поняли! Я не ясно выразилась! — поспешно возразила Денисова.— Я хотела сказать, что я готова сама ехать, к кому вы скажете, и просить, чтобы мне уступили вас.

— Вам, право, трудно отказать в просьбе,— заметил Прохоров.— И если бы была возможность, то я...

— Граф, уговорите этого упрямца,— обратилась Денисова к подошедшему Дмитрию Васильевичу, не слушая новых возражений.— Не хочет давать уроки моему Сереже. Я, право, начинаю думать, что он имеет что-нибудь против меня лично...

Дмитрий Васильевич очень любезно начал уговаривать Прохорова. Атака была сильна, и Прохорову пришлось согласиться. С одной стороны, он очень хорошо понимал

то, что его приглашали в учителя не ради каких-нибудь разумных оснований, а просто потому, что он начал входить в моду, с другой стороны, он не имел особенных причин отказываться от уроков у Денисовой, которые хотя и не могли принести каких-нибудь благих результатов, но имели значение просто выгодных для него лично уроков. Денисова торжествовала. Эта светская барыня имела довольно темное прошлое. Она при помощи своих денег покупала себе графский титул с разорившимся мужем в виде приданого; теперь она опять-таки при помощи своих денег приобрела в учителя «литератора», «нового писателя», человека, вращавшегося в кругу ученых и литературных знаменитостей. Блестеть богатством, блестеть громким титулом, окружить себя в салоне лучшими картинами, лучшими статуями, известными дипломатами, учеными, музыкантами и певцами — вот все, к чему стремилась Денисова. За этой внешней жизнью скрывалась у нее и другая, внутренняя жизнь: холодное, пренебрежительное, иногда возмутительно черствое и грубое отношение к безымянным массам, ко всем, кто ничем не выдавался вперед; очень недвусмысленное стремление полюбезничать, войти в мимолетные связи с теми или другими известными личностями; умение поиграть и насладиться ветреной любовью и остаться «другом» тех, кому за неделю давались клятвы вечной любви; мелочное раздражение и мстительное чувство против тех, которые осмелились уклониться от расставленных им сетей из роз; полнейшее отсутствие серьезных убеждений и взглядов на жизнь и умение болтать обо всем — вот все, что составляло внутреннюю жизнь Денисовой. Если бы оставить ее без денег, без титулов, без всяких внешних украшений, она явилась бы одной из самых ничтожных и бесцветных личностей, которую не заметил бы никто, которая не могла бы добыть куска хлеба не только трудом, но даже развратом, так как она была даже нехороша собой. Но теперь она являлась светилом в обществе; ей поклонялись, около нее вертелись сотни людей, ее ветреной любовью дорожили даже неглупые и далеко не ничтожные люди. По обыкновению никто не думал разоблачить мысленно этот кумир и потому не мог понять, что это пустой манекен, перед которым склоняются люди, ослепленные его внешними украшениями. Если кто-нибудь не уважал и презирал ее, то разве только ее жених.

Прохоров впервые попал в дом этой барыни именно в

то время, когда она только что вышла замуж за графа Белокопытова и окружила себя «сливками» общества. Ее салон сделался не только пристанищем более или менее известных людей, но и явился центром, где вожаки петербургского общества обсуждали самый животрепещущий вопрос того времени — вопрос о крестьянской реформе. Великая реформа была «злобой дня» и не могла не вызывать особенно в этой среде самых горячих споров. Общество делилось на кружки: одни стояли за безусловное освобождение крестьян; другие выражали мнение, что освобождение преждевременно; третьи стояли за то, что нельзя освободить крестьян даром, что уступка известных прав непременно должна повлечь за собой известное вознаграждение в виде получения новых прав. К числу людей последней партии принадлежал и Алексей Дмитриевич, бывший ярым поклонником Англии. Он стоял за свободу печати, за гласный суд, за самоуправление и считался в кругу своих противников опасным человеком, крайним. Он горячился, говорил резкие речи, приводил своей смелостью в смущение боязливых людей и составлял в этом случае полнейший контраст со своим отцом. Последний не гонялся за молодыми идеями, считал, по-видимому, себя выше их и спокойным тоном говорил:

— Я консерватор. Я не понимаю, как может быть не консерватором человек из нашего круга.

Алексей Дмитриевич гонялся за писателями передовой партии, Дмитрий же Васильевич прямо говорил им:

— Я, господа, не разделяю ваших убеждений... Но я люблю, когда человек страстно стоит за свою идею... Я враг всяких ложных положений и колебаний...

Алексей Дмитриевич жил всеми интересами дня, Дмитрий же Васильевич по-прежнему вел широкую жизнь и чаще бывал у Матильды, чем на разных скучных заседаниях и собраниях.

Попав в этот кружок, где кипела действительная борьба и делалось настоящее дело, Александр Прохоров воспользовался своим положением. Он спорил редко, сознавая, что его споры принесут мало пользы, так как в глазах этих людей он все-таки мог явиться только теоретиком, человеком, который стоит за известные идеи, может быть, только потому, что осуществление этих идей не принесет ему лично ни вреда, ни пользы. Но в то же время он сознавал, что ему очень выгодно выслушивать все эти прения и давать на них ответы путем печати. Здесь он

мог узнать многое, что делалось и готовилось за кулисами, и ему было очень удобно следить за этим. За это дело он взялся со всею энергией, со всем жаром человека, преданного известной идее. Ему было нетрудно найти место для своих заметок и статей в газетах и журналах; Левашов имел обширный круг знакомства в литературном мире, да и сам Александр Прохоров уже успел завести знакомых между журналистами; его статьи «о телесных наказаниях» и «воспитании в закрытых учебных заведениях», несмотря на то, что они появились не вполне, успели доставить ему известность, и потому он был желанным гостем в различных редакциях. Но чем сильнее шла словесная борьба, тем резче делались статьи Александра Прохорова и нередко им было суждено оставаться в портфеле автора. Когда дело шло о высказывании известных убеждений, Александр Прохоров ухитрялся быть мудрым, как змий, и кротким, как голубь, и при помощи этого умения высказывать между строками те мысли, которые в ту пору не могли быть выражены в строках. Но он терпел полнейшее фиаско, когда дело шло о различных «обличениях», где уже приходилось волей-неволей говорить прямо и ставить точки над «и», как говорят французы. Две-три статейки, напечатанные им и носившие, так сказать, локальный запах салона новобрачной графини Белокопытовой, были замечены петербуржцами и возбудили ожесточенные споры в белокопытовских салонах. Молодой граф Белокопытов потирал руки от удовольствия, так как статейки были направлены против его противников.

— Поздравляю вас с полным успехом,— дружески заметил он однажды Александру Прохорову, взяв его под руку и ходя с ним в стороне от гостей.

— С каким? Я вас не понимаю,— наивно спросил Александр Прохоров, делая удивленное лицо.

— Ну, между нами можно без таинственности,— улыбнулся граф.— Вы высказали именно то, чего не сумел бы сказать я, хотя под вашими статьями я охотно подписал бы свое имя.

— Под какими статьями? — изумился Александр Флегонтович.

Графа задела за живое эта недоверчивость. Он назвал статьи.

— Вы думаете, что их писал я? — спросил Александр Прохоров.

— Я уверен.

Александр Прохоров пожал плечами.

— Я вижу, что вы мне отчасти не доверяете,— заметил Белокопытов.— Между нами есть маленькая разница: я разделяю все ваши взгляды на крестьянскую реформу и на многое другое, но вы не разделяете моих взглядов на дворянскую реформу. Мне очень грустно это разногласие, тем более, что я знаю, что ошибаюсь не я, а вы. Говоря откровенно, ваша партия стоит на ложной дороге, нападая на таких людей, как, например, Монталамбер или Кавур, и притом нападая на них именно в то время, когда они являются горячими защитниками английского строя жизни.

— Признаюсь откровенно, я не вижу тут никакой ошибки и, право, думаю, что на нас не лежит обязанности возжигать любовь к этим публичным болтунам. Все их словоизвержения с трибуны не только не помогают делу, но скорее служат к убаюкиванию людей, к усыплению и примирению на золотой середине...

— А, батюшка, поступательное движение неизбежно! Вот вы все, господа теоретики, нападаете теперь на неполноту нашей гласности, глумитесь над ней, глумитесь над разными борзописцами, вроде Розенгеймов и Бенедиктовых, восхваляющих наше время...

— Вы, кажется, сами презираете их? — перебил со смехом Александр Прохоров.

— Ну да, ну да! — засмеялся граф Белокопытов.— Но это между нами. А в обществе, в печати надо стоять за них. Это те ласковые телята, которые двух маток сосут, которые подготовляют лучший путь; они говорят: все обстоит благополучно, дерзайте же и идите дальше.

— Здесь действительно наши взгляды расходятся,— заметил Прохоров.— Я думаю, что они говорят: все обстоит благополучно и потому не о чем больше заботиться и можно спать.

— Ошибаетесь, ошибаетесь! Общество не может заснуть, как бы его ни баюкали.

— Однако спало же оно столько лет.

— Оно не спало, оно шло только другой дорогой, не той, которой следовало идти. А почему оно пошло на нее? Не потому, что его убаюкали сладкоречивые одописатели, а потому, что люди вашего закала испугали его, указав ему вдруг на тот скачок, который еще должно сделать для сво-

его благополучия. Вы показываете крайние цели, и общество пугается трудностей и невзгод этого тяжелого и длинного пути, который ему предлагают пройти без отдыха. Покажите станции, покажите возможность отдыха, и общество пойдет за вами. Я вам смело пророчу, что вы ничего не сделаете со своей системой действия.

— Я не пророк и потому не стану говорить, сделаете ли что-нибудь вы,— улыбнулся Александр Прохоров.— Но я знаю только одно, что правительство сделает крестьянскую реформу, а все благомыслящие люди постараются внести и свою лепту труда для скорейшего разрешения этой реформы.

— На этом поприще, конечно, вы считаете меня своим союзником?

— Разумеется,— улыбнулся Прохоров.

И он, и граф Белокопытов как бы ощупывали друг друга и старались заглянуть друг к другу поглубже в душу. Александр Прохоров вел себя сдержанно и не высказывался, чувствуя невольную антипатию к либеральничающему англоману; но в то же время он старался не раздражать его, чтобы пользоваться через него и его кружок теми сведениями и новостями, которые были ему нужны. Граф недолюбливал его в душе, решив, что это опасный человек, «один из тех, которые решаются на все, потому что им самим нечем жертвовать», но в то же время граф считал полезным и не лишним проводить через него, как и через других журналистов, в литературу известные слухи, он считал не лишним «натравливать» его на известных людей и, главное, считал не лишним выведать хотя отчасти мнения «этих головорезов», как он выражался в душе про Прохорова и его близких. Иногда графа бесила сдержанность Прохорова, но с ловкостью закаленного в интригах человека он сдерживал себя и вел атаку неожиданными набегами, нападал врасплох, разгорячал врага до того, что тот делал промахи и высказывался случайно. Но борьба была не легка. Александр Прохоров горячился редко, врасплох его было трудно застать. Он очень ясно видел, с кем он имеет дело, и держался настороже. В его манере отвечать явилась тонкая ирония, насмешливая усмешечка, неопределенная шутливость.

— Право, порой можно подумать, что вы на все смотрите чрезвычайно легко,— говорил граф, бледнея от злости.— У вас все шуточки да улыбочки.

— Нрав такой веселый,— шутил Александр Прохоров.

— Нет-с, это не то! — говорил граф.— Под этими усмешечками кроется презрение к человечеству, жалкое недоверие ко всему и ко всем... Это теперь не в вас одних, это общая черта во всех ваших. Для вас нет ничего святого...

— Граф, зачем же такие страшные слова употреблять,— смеялся Александр Прохоров.

— Да-с, для вас нет ничего святого! Вы не верите ни во что и ни в кого. Но знаете ли, к чему это ведет? К полнейшему внутреннему разъединению. И в какую эпоху является это разъединение? Когда не только люди одной партии, но и люди различных оттенков должны сойтись вместе. Нам слияние нужно. А вы сторонитесь от нас, враждебно смотрите на нас...

— Так вы, значит, убеждены, что я вам враг? — засмеялся Прохоров.

— Ну, нет, нет! — опомнился граф.— Я этого не говорю! Я просто упрекаю вас в недостатке искренности. У вас какой-то камень есть всегда за пазухой.

— Его, граф, велит держать народная мудрость.

Граф злился в душе и старался весело улыбаться. Но если он гонялся за Александром Прохоровым и ему подобными людьми для своих целей, ради рекогносцировки во враждебном лагере, ради высказывания под чужой фирмой, за чужой ответственностью известных идей, то графиня со своей стороны тоже не упускала случая и приударяла за Александром Прохоровым. Ей нравилось это молодое, свежее лицо, ее интересовал этот молодой человек, постоянно оживленно говоривший о серьезных вещах, по-видимому, очень страстный и очень увлекающийся. Ей хотелось создать маленький роман, устраивать которые она так любила. Но любезности графини пропадали даром, и Александр Прохоров постоянно отшучивался, как только разговор заходил за черту простой болтовни и начинал принимать несколько сантиментальный или интимный характер. Подобный образ действия начинал раздражать эту женщину, привыкшую к легким победам над толпою тех праздных мужчин, которые считают выгодным пользоваться первым намеком на маленькую интрижку. Александр Прохоров менее чем когда-нибудь нуждался в это время в подобных легоньких интрижках, да, может быть, и в другое время не увлекся бы румянами и блестящими тряпками отцветшего и вовсе не интересного создания. Он, может быть, сразу оборвал бы всякие сношения с графиней и резко положил бы конец этим заигрываниям, если бы этот

дом не был ему нужен для его целей. Он сознавал, что ему выгодно занимать наблюдательный пост в чужом лагере и извлекать выгоды из своего положения. Несколько сведений, несколько новостей, которых он не мог напечатать в России, были отсланы им за границу. Раз вступив на этот скользкий путь, он уже не мог сойти с него: ему писали из-за границы, что его корреспонденции о наших закулисных делах будут всегда приняты с благодарностью. Кажется, и это обстоятельство не ускользнуло от внимания Алексея Дмитриевича, и он одобрил в душе образ действия своего союзника-врага. Куда ведет этот путь вступившего на него человека,— этот, может быть, вполне естественный в настоящее время спокойствия вопрос тогда не приходил и в голову никому. Дело кипело, страсти были сильно возбуждены, все спешили делать то или другое и менее всего думали о том, что выйдет из их образа действий лично для них.

Зимний сезон между тем приходил к концу. В приюте все шло уже по-новому, и комитет окончательно решился ввести в уставе все нововведения, придуманные Катериной Александровной и Софьей Андреевной: образцовые прачечная и кухня, шитье модных нарядов, обучение парикмахерскому искусству, расширение курса наук — все это вошло теперь в законную силу. Только постройка церкви, начатая графиней Дарьей Федоровной, туго подвигалась к концу за недостатком средств. Сама графиня Дарья Федоровна давно была под опекой и в качестве сумасшедшей сидела в четырех стенах под надзором сиделки, получившей строжайшее предписание не допускать к больной никого.

В эту пору в доме Прилежаевых начали разыгрываться все чаще и чаще разные сцены довольно грустного свойства. Дорогой дядюшка Катерины Александровны, все еще находившийся без места и фигурировавший в качестве угнетенного судьбой и людьми старца играл немалую роль в семейных делах Прилежаевых. Лишившись места и значения, он, так сказать, потерял точку опоры, выбился из обычной колеи и совершенно не знал, как теперь вести себя. Времени было много, дела было мало; старая привычка быть строгим и зорким осталась, а предметов для строгого и зоркого наблюдения, субъектов для строгого и зоркого распекания почти не осталось. Отсюда происходила ожесточенная скука и являлись приливы желчи. Попробовал Данило Захарович придираться за каждую мелочь к детям, начал он усчитывать и пилить жену за каждый грош, стал

носить при себе ключи от всех ящиков и комодов, напоминал поминутно чадам и домочадцам, что «он глава в доме», что «он их в смирительный дом упрятать может», что «они напрасно радовались, ожидая его ссылки», и прочее и прочее, все в том же роде. Это блажное состояние лишенного занятий чиновника было так сильно, что гнало из дому детей и совершенно «сокрушило» Павлу Абрамовну, превратившуюся в нечто вроде слезной урны и не осушавшую глаз с утра до вечера. Она не могла даже «отвести душу» с Карлом Карловичем, который не являлся в дом Боголюбовых, отчасти боясь свирепого хозяина дома, отчасти понимая, что с Павлы Абрамовны теперь нечего взять. Положение Павлы Абрамовны сделалось еще хуже, когда Даниле Захаровичу удалось примириться со своей теткой и перетащить старуху от «добрых людей» в свою квартиру, где тотчас же после ее переезда затеплились во всех углах лампады и ввелось постное кушанье по средам и пятницам. Тетушка помогала Даниле Захаровичу «пилить» его домочадцев и ежедневно распространялась о том, что «семью потому и бог забыл, что она его забыла».

Но самому Даниле Захаровичу легче от этого не делалось: он все-таки сознавал, что он теперь ни более, ни менее, как выкинутое из общественной машины колесо. Тяжелее всего было Данилу Захаровичу видеть, что машина все работает и работает, по-видимому, не нуждаясь в нем, не замечая его отсутствия. Сначала он еще ехидно подмигивал глазами, говоря: «посмотрим!» — и слабо надеялся в душе, что вот-вот машина остановится и рухнет без него. Но дни шли за днями, а машина работала по-прежнему; он всматривался в лица — все веселы, спокойны. Свищов при встрече похлопывает его по плечу и говорит: «Что, брат, на подножном корму прозябаешь! А вот мы работать должны, кипит все!» И какие истинно трагические минуты приходилось переживать в это время Данилу Захаровичу! Как-то шел он задумчиво по улице, глядит: его обгоняет мелкой трусцой с портфелем под мышкой один из его бывших подчиненных. Раскланялись:

— Прогуливаться изволите? — спросил чиновник.

— Да. Что нам больше делать! — вздохнул Данило Захарович.— Ну, а как там у вас все идет?

— Ничего-с, отлично! Работы только много, преобразования, знаете, идут...

— Преобразования! Ну-ка, расскажите, какие там такие у вас преобразования...

— Ивините, я спешу, Данило Захарович! Доклад несу... Мы ведь люди служащие. Сами знаете, и при вас, бывало, опоздаешь на четверть часа, так косятся...

Чиновник раскланялся и поспешно пошел вперед.

Данило Захарович нахмурился. «Щенок, молокосос, а туда же: дела, дела!» — пробормотал он и растерянно оглянулся кругом, забыв, куда и зачем он шел.

Чем более накипала горечь на душе, чем яснее сознавал Данило Захарович свою ненужность, чем чаще убегали дети от его распеканий и чем покорнее становилась жена, тем скучнее становилось ему, тем сильнее тянуло его к расширению круга своих занятий, то есть распеканий и зоркого и строгого надзора.

Дворник, попавшийся ему на тротуаре с метлой, вызывал его замечание.

— Не вовремя, братец, не вовремя мести начал,— говорил Данило Захарович.— Это утром, утром до свету надо делать, когда народу нет. А ты когда вздумал? Ноги, что ли, добрым людям обломать хочешь? Полиция-то за вами не смотрит! Распустили всех. Обер-полицеймейстеру бы на вас жалобу подать!

Проходя мимо мясной лавки и почуяв не совсем хороший запах, Данило Захарович заходил в лавку.

— Чем это, любезный, у тебя пахнет? — обнюхивал он воздух.

— Говядиной-с, ваше превосходительство,— отвечал мясник.

— Знаю, братец, знаю, что не одеколоном, да только говядина-то у тебя какая? Протухлая? Ведь это протухлой воняет? Народ морить, что ли, хотите? А? В полиции-то еще не бывали?

— Зачем же-с нам в полиции бывать! — ухмылялся мясник.

— Э, да ты еще грубить, братец, вздумал! Нет, ты погоди!

— Что вам угодно-с, сударь? — хмуро спрашивал хозяин лавки, заслышав крупный разговор.— Покупать пришли, так и покупайте. А это-с не ваше дело. У нас торговля-с, так нам некогда разговоры разводить со всяким.

— Со всяким! со всяким! Да ты взгляни, с кем ты говоришь! — свирепел Данило Захарович, показывая на свои ордена.

— Что смотреть-с! Известно, если бы хороший барин были, так не стали бы ходить лавки обнюхивать...

— Да я тебя, да я тебя! — сжимал кулаки Данило Захарович.

— Потише-с, потише-с! Тоже за бесчестие заплатите!

После подобной беседы Данилу Захаровичу становилось еще тошнее. Но долго-долго не мог он привыкнуть к своему положению. Обегчилось немного его сердце тогда, когда он нашел покорную рабу в лице Марии Дмитриевны и отыскал занятие в надзоре за делами семьи своих родных. Марья Дмитриевна сразу безоговорочно и покорно изъявила готовность сделаться подчиненной Данила Захаровича. Ни один канцелярский служитель не признавал в былые времена Данила Захаровича своим начальником с такой покорностью, как Марья Дмитриевна. Она выслушивала его наставления, она выносила его выговоры, она жаловалась и доносила ему. Он благоволил и относился к ней таким тоном, как будто обещал ей повышение и награду к празднику. Прежде всего он начал восставать против отношений Катерины Александровны и Александра Прохорова. Потом, выслушав жалобу Марьи Дмитриевны на то, что у Александра Прохорова раз в неделю собирается множество молодежи и «бунтует», то есть спорит и шумит до трех часов ночи, он объявил, что это «фармазоны», «волтерьянцы», «декабристы» и «петрашевцы», и объяснил, что всех их сошлют на каторгу, а Марью Дмитриевну поселят в отдаленных местах Сибири за пристанодержательство бунтовщиков и беспаспортных. Марья Дмитриевна струсила и «покаялась, как перед богом», что она действительно позволяет иногда ночевать у себя в доме то тому, то другому из знакомых Александра Прохорова и что, может быть, «это-то действительно и есть беспаспортные».

— Разбойники, сейчас видно, что разбойники! А то для чего же бы им и сходиться по ночам? — решил Данило Захарович и давал инструкции Марье Дмитриевне, как поступать.

Но покорность Марьи Дмитриевны была сильнее ее решительности, и потому бедная женщина только «обиняками» решалась замечать Александру Прохорову, что «он погубит себя». Когда же Александр Прохоров спрашивал: «да чем же я себя погублю?» — то Марья Дмитриевна приходила в смущение и только говорила: «да уж так, погубите!» Но страх за дочь и неприязнь к Александру Прохорову все росли и росли в этой слабой душе и в этом запуганном уме.

Катерина Александровна и Александр Прохоров, заня-

тые своими планами и работами, все меньше и меньше придавали значения мелким семейным сценам и не обращали внимания на то, что они более и более расходятся с Марьей Дмитриевной. Этот внутренний разлад впервые дал себя сильно почувствовать на рождестве: Миша был взят на праздники домой. Этот маленький красавец и любимец матери и всех знавших его стал уже летом пробуждать опасения в уме Катерины Александровны и Александра Прохорова своими наклонностями. Он был капризен, любил, чтобы все слушались его, делал дерзости всем и за все и вообще сразу давал знать, что его избаловали за его красоту. Действительно он был прекрасен: редко можно было встретить более правильное лицо, более красивые формы. Но в этом лице было что-то заносчивое, в этих формах было что-то слишком женственное, кокетливое. Мальчуган заботился, чтобы на его платье не было лишней складки, чтобы ни один волосок не был растрепан на его голове. Вслушиваясь в его разговор, можно было сразу заметить сильную наклонность острить насчет ближнего и, главным образом, насчет внешности ближнего. Это остроумие вызывало смех и поощрения Марьи Дмитриевны, но в сущности оно было жалкое, пошлое: так острили юнкера, кадеты, армейские офицеры старого времени. Катерина Александровна и Александр Прохоров задумались не на шутку, когда Миша приехал на праздники и рассказал, что у него была одна «стычка» с гувернером.

— Семинарист какой-то с изрытой рожей, а туда же вздумал нос поднимать! — заметил Миша про гувернера.

Александр Прохоров, говоря о мальчугане с Катериной Александровной, заметил, что теперь, вероятно, начнут часто повторяться эти «стычки».

— Мишу избаловали дома как меньшого в семье,— говорил он.— Потом разные бабы и товарищи баловали его за смазливое личико, а теперь начнется не баловство, а столкновения с учителями. На него слишком долго смотрели сквозь пальцы, и ему будет тяжело, когда его заберут в руки. И это казарменное остроумие развили в нем, поощряя все выходки милого малютки! От этого его надо отучить. Он ведь лентяй, а, право, нет ничего хуже остроумного лентяя: из него может выработаться пошляк, невежда, с гордостью несущий на показ свою пошлость.

— Что же делать, что делать? — волнуясь, говорила Катерина Александровна.— Я сама знаю, что он может погибнуть. С одной стороны, черствая и сухая грубость, с

другой — распущенность и потакание его ошибкам испортят его совершенно... И вообще это воспитание вдали от семьи мне не по сердцу... Но что же мы-то можем сделать?

— Надо взять его домой. Я стану платить за него в гимназию. Потом похлопочем, чтоб его приняли на казенный счет. Хлеба на него достанет. Ты знаешь, у меня коечто остается от заработков...

— Еще лишний человек на твою шею...

— Что об этом толковать. Лучше нам стесниться, чем видеть, как он сделается негодяем. Ты лучше о том скажи, как мы растолкуем это Марье Дмитриевне.

Катерина Александровна задумалась; она понимала, что это действительно самая трудная сторона задачи. Но покуда она еще надеялась справиться с матерью и выбрала первую удобную минуту для объяснения. Марья Дмитриевна замахала руками, несмотря на то, что ей очень хотелось видеть Мишу постоянно около себя, она сразу остановилась на своей обычной мысли, что будет, если Александр Прохоров бросит Катерину Александровну, а с ней и всю семью. Сколько ни старалась Катерина Александровна доказать неосновательность этой мысли, Марья Дмитриевна и слушать не хотела.

— Другое дело, Катюша, если бы он был твой муж,— говорила она,— а то ведь все они так-то обещают золотые горы, да ничего не делают. Возьмет да бросит, вот тебе и будем у праздника!

— Да поймите, что он не такой... Впрочем, если только это вас останавливает, то этой помехи скоро не будет... Я скоро повенчаюсь с Сашей...

— Ну, тогда дело другое.

Разговор кончился, Катерина Александровна передала его содержание Александру Прохорову. Он заметил, что дело, значит, обстоит благополучно, так как Мишу ранее весны нечего брать из училища на праздную жизнь дома; весной же можно будет взять его и, подготовив летом, отдать в гимназию в начале следующего учебного года. Весной предполагалось сыграть и свадьбу, так как в приюте «машина была в полном ходу», как выражалась Катерина Александровна, и сама Катерина Александровна настолько подготовилась, что могла сдать и экзамен на звание домашней учительницы, и экзамен для слушания лекций повивального искусства. Молодые люди успокоились насчет будущности Миши и заметили, что им не придется быть такими же безучастными свидетелями гибели этого ребен-

ка, какими они были при постепенной гибели Скворцовой. Но покуда они работали и учились, покуда они жили, отдаваясь всем тревогам дня, за их спинами, за ширмами спальни Марьи Дмитриевны шли толки о них, готовившие отпор исполнениям их планов. Марья Дмитриевна отрапортовала своему высшему начальству, что «сам-то» хочет взять ее Мишу из казенного училища. Высшее начальство неодобрительно нахмурило брови.

— Что же, такого же разбойника хочет приготовить, как сам? — произнесло оставленное в бездействии колесо общественной машины.— Мало, видно, их таких-то, так детей вербовать вздумали... Что же, вы согласились?

— Нет, батюшка Данило Захарович, не согласилась, не согласилась! Говорю, пусть сперва женятся, а сама, знаете, думаю: оттяну дело, чтобы с вами, отец родной, посоветоваться...

— Умно сделали! — одобрил Данило Захарович.— Сами развратничают и бог знает, какие дела делают, так еще мало, хотят детей тому же научить... Не только жить нельзя детям у них, но пускать детей к ним не следует. Я и своему Леньке запретил бы ходить в этот вертеп, если бы не проклятая математика... В институте, когда Лидя туда поступит, отдам распоряжение, чтобы не пускали их ни ногой.

Марья Дмитриевна смутилась.

— Они повенчаются, батюшка, повенчаются,— оправдывала она дочь и будущего зятя.

— Да толку-то что? В их головах яд, каждое их слово отрава... Этого никаким венчанием не уничтожишь... Вот что страшно! Сами они идут в пропасть и других за собой тащут... Что касается до меня, то я сам ноги не положил бы на ваш порог, если бы не вы. Вас мне жаль...

— Не оставьте уж меня, батюшка! На вас одна надежда! С кем же мне и посоветоваться, как не с вами? У них то споры идут, то книжки в руках,— к ним и не подойдешь, а ведь тоже душу отвести хочется, расспросить, как и что... Вы вот все это мне распишете, во все вникнете, а без вас ровно в тумане каком хожу... Известно, они — молодой народ, ветер у них в голове...

— Не ветер, а злоба, неуважение, презрение к нам, старикам. Вы бы почитали, что он пишет... Впрочем, вы грамоте-то не обучены... Возмутители просто...

— Что же это, батюшка, про меня что-нибудь? — спросила Марья Дмитриевна в недоумении.— Я, кажется...

— Не про вас, а вообще про нас, про стариков... Они нас ни за что считают, они нас уморить бы хотели... Вы думаете, вы им не в тягость?

— В тягость, батюшка, в тягость! — заплакала Марья Дмитриевна.— Да разве я виновата, что бог смерти не дает... Хожу я как сирота какая... Конечно, грех жаловаться, всего теперь у нас вдоволь, комнатка у меня, хозяйка я полная, ну и тоже грубостей никаких не слышу, ласково обращаются... Тоже это в шутку сам-то Александр-то Флегонтович говорит: «Куда ни пойдешь, а все к Марье Дмитриевне под крылышко тянет пирожков ее поесть...» Конечно, я ему угождать за это стараюсь... А все же поговорить-то мне не с кем... Ведь не с кухаркой же мне компанию вести, тоже ведь помню я, что мы благородные... Их же срамить не хочу! А они что?.. Все шуточками, да шуточками со мной, а у меня сердце ноет, грудь давит... Ведь тоже я мать, чувствую я...

— Да разве они это понимают?

— Где уж им, батюшка!..

Долго и часто шли беседы в подобном роде, и Марья Дмитриевна все сильнее и сильнее «чуяла недоброе» в то время, когда лица Катерины Александровны и Александра Флегонтовича цвели полным счастием и спокойствием, когда молодые люди жили полной жизнью, когда у них являлись сожаления только о том, что у них недостает сил и способностей на то или другое дело, а не о том, что является недостаток работы для ума и для рук. Катерина Александровна даже не замечала, что Свищов, заехав раза два в приют, особенно пристально взглянул на нее и потом начал говорить с ней более игриво, чем когда-нибудь. Она поспешила оборвать старого волокиту на первых словах. Он как будто удивился, встретив этот строгий отпор, но не унялся и как-то снова заговорил в том же тоне, намекнув, что напрасно Катерина Александровна работает и утомляет себя, что с ее прелестным личиком можно бы сделать себе карьеру. Катерина Александровна вспыхнула и ответила, что она сумеет сама позаботиться о себе и не просит ничьих советов. Старик переменил тон, но в то же время заметил, чтобы она помнила, что он всегда готов к ее услугам. Свищов и прежде говорил двусмысленные фразы, но теперь он был уже чересчур развязен с ней и в его тоне слышалась какая-то твердая уверенность, что с Катериной Александровной можно говорить этим тоном. Впрочем, Катерина Александровна недолго раздумывала об этом явле-

нии и, вероятно, забыла бы о нем совершенно, если бы Марья Дмитриевна не вздумала снова заговорить с ней о необходимости ускорения свадьбы.

Марья Дмитриевна, живя теперь в довольстве, не видя необходимости работать с утра до ночи, не посещая мелочной лавки, не имея возможности по целым часам беседовать с окружающими, которые почти постоянно были заняты то тем, то другим делом, вечно терзалась тем, что ей «не с кем отвести душу», и потому довольно часто заводила от скуки подобные разговоры о судьбе дочери. В настоящее время в разговор была введена новая подробность.

— Ведь вон, Катюша, все тебя осуждают. Сам генерал Свищов называет девицей легкого поведения,— произнесла Марья Дмитриевна.

— Свищов? — удивилась Катерина Александровна.— Да вы-то как это узнали?

— Ах, мать моя! Слухом земля полнится. Добрые люди передали...

— Не добрые, а подлые люди! — разгорячилась Катерина Александровна.— Да уж не они ли и Свищову-то обо мне наговорили. Это Данило Захарович вам говорил?

— Ну, хоть бы и он! Он дядя тебе, он тебе добра желает.

— Знаете ли вы, что этого дядю Александр спустил бы с лестницы, если бы нам не было жаль его детей,— ответила Катерина Александровна.— Но скажите ему, что и терпению бывает конец. Если он будет еще хоть где-нибудь говорить про меня, то я не посмотрю ни на что и укажу ему на дверь... Старый мерзавец!

— Грех тебе, Катюша, так о старых людях отзываться! Уж известно, что для вас, для нынешних людей, мы все, старые люди, никуда не годны!..

Катерина Александровна не могла удержаться от нервного смеха.

— Опять, мама, вы чужие слова говорите!

— Да ведь известно, что у меня и слов своих не может быть. Стара стала — глупа стала!

Катерина Александровна пожала плечами.

— С вами, мама, нынче трудно говорить...

— Что ж мудреного; необразованная дура как есть! Где уж со мной ученым людям разговаривать.

— Ну, кончимте! У меня нет охоты волноваться из-за пустяков.

— У матери сердце все выныло, так это пустяки! Спа-

сибо, дочка, спасибо! Много обязана, что еще не выгоняешь на улицу...

Катерина Александровна не дослушала иеремиады и вышла. Но ей было тяжело и обидно. Мало того, что ее расстроили, рассорили с матерью, так еще и репутацию ее стали марать. Однако она твердо решилась дождаться экзаменов в приюте и только тогда выйти замуж. Она знала, что теперь ей можно было оставить приют, не боясь за его участь, но в ее душе начало зарождаться желание бравировать мнения таких людей, как ее дядя, Свищов и тому подобные личности. Ей казалось, что нужно им показать, что на их мнение плюют, что их не замечают, как шипящих, но безвредных гадов. Это чувство, имевшее в себе что-то болезненное, что-то желчное, начинало все сильнее и сильнее развиваться в душе молодой девушки. Ей даже стало смешно, что эти люди так пренебрежительно смотрят на нее, а в сущности или пляшут по ее дудке, или нуждаются в ней. Она знала, что Свищов ратует за ее проекты в комитете благотворительных заведений графов Белокопытовых, а дядя не смеет разойтись с нею, так как она бесплатно занимается с его Лидией, а Александр Флегонтович дает даровые уроки его Леониду. Ей вспомнилось, что в обществе начинают ходить разные сплетни про многих из близких ей людей, и она невольно подумала, что в этих сплетнях столько же лжи и грязной клеветы, сколько и в сплетнях о ней. Но, несмотря на сознание своей правоты, несмотря на презрение к разным Свищовым, Катерина Александровна втайне все-таки нетерпеливо ожидала того дня, когда она навсегда распрощается с приютом и не будет видеть хотя нескольких из антипатичных ей личностей. Была еще какая-то причина, заставлявшая молодую девушку нетерпеливо ждать конца учебного года...

III

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕЙ

Время между тем шло быстро, прошла ранняя весна, наступили экзамены в приюте, совершившиеся в этот год с особенной торжественностью в присутствии всего комитета и окончившиеся большой закуской в комнатах Софьи Андреевны. В числе гостей были графы Белокопытовы, молодая графиня Белокопытова и Свищов. Свищов любезничал и заигрывал двусмысленными словами с Катериной Александровной, рассыпаясь в комплиментах за ее умение вести детей.

— Вы рождены для того, чтобы быть царицей в семье! — заметил он между прочим.

— Вот я и думаю исполнить свое призвание,— засмеялась Катерина Александровна.— Вы ведь знаете, что я уже давно невеста.

— Невеста? — изумился Свищов.

— Да! Неужели дядя не говорил вам? Не может быть! Дядя стал таким старым болтуном.

— Нет, нет,— торопился ответить Свищов.

— А я думала напротив. Вы были так развязны со мной в последнее время, как обыкновенно бывают развязны мужчины не с девушками а... с молодыми женщинами...

— Ну-у...— начал Свищов.

— Я и думала, что вы позволили себе такое обращение только потому, что знаете уже о близости моей свадьбы... Конечно, если бы не было этого, то я могла бы...

— Простите, простите,— любезно перебил ее Свищов.— Я, право, не желал... Это наша старая привычка... Скажите, за кого же вы выходите...

— За Прохорова,— ответила Катерина Александровна и заметила, что на нее устремились глаза графини Белокопытовой.

— Это артиллерист? — спросил Свищов.

— Да.

— Александр Флегонтович женится? — мельком спросила графиня.

— Да,— вскользь ответила Прилежаева и продолжала разговор со Свищовым, рассыпаясь в похвалах Александру Флегонтовичу.

Графиня осматривала ее с ног до головы и, кажется, осталась недовольна: Катерина Александровна все попрежнему была прекрасна или, лучше сказать, она была прекраснее прежнего. Свежесть лица, несколько вьющиеся волосы, большие черные глаза и немного насмешливая улыбка — все это было так мило, что графиня не могла не понять, за что предпочитает Александр Прохоров эту «девочку» «другим женщинам». В сердце Белокопытовой началась тревога и кипела злоба. Она видела, что она сделала промах, ухаживая за этим «скрытным» господином, уже влюбленным в другую. Она сознавала, что он смеялся над нею в душе, когда она заигрывала с ним легонькими любезностями. Она понимала, что он умышленно не говорил о своей предстоящей женитьбе, тешась над нею. Злоба этой женщины равнялась теперь ее мелочности. Прохо-

ров уже получил в ее уме название «мальчишки», «негодяя», «наглого выскочки», «aventurier»[1]. Ему нужно было «отплатить», его нужно было «проучить», ему нужно было показать, «что играть не со всеми можно».

Катерина Александровна и не подозревала, какую бурю подняли ее слова в душе Белокопытовой. Она не без грусти покидала приют, но в то же время радовалась, что наконец она будет свободна от начальства Свищовых, Белокопытовых и разных членов комитета. Она сознавала, что она может впервые пройти мимо этих людей, не кланяясь им, не замечая их и не вредя этим ни себе, ни приюту. До сих пор ей приходилось заискивать в них, чтобы ее оставляли в покое, чтобы ее советы не пропускали без внимания, чтобы не говорили: «Уж если помощницы так дерзки, то что же выйдет из детей под их влиянием!» Да, теперь она была свободна, она шла по дороге к венцу с Александром Прохоровым, и этой свадьбой должен был, как ей казалось, восстановиться мир в семье, этой свадьбой должно было купиться спасение Миши.

— Милый, теперь я вся твоя! — горячо и страстно говорила она по возвращении домой из приюта, обнимая Александра Прохорова.

— Жена да боится своего мужа! — шутливо промолвил он, целуя ее.

— Тебя-то? — спросила она, и оба весело засмеялись.

Их свадьба была для них действительно торжественным праздничным днем. По-видимому, все шло как нельзя лучше, и даже Марья Дмитриевна особенно просияла на время, дождавшись бракосочетания дочери, хотя ее и огорчало, что свадьба была сыграна слишком просто. «Точно тайно венчаются,— говорила она.— Иной подумает, что скрыть от кого-нибудь хотят свадьбу». Впрочем, переделать этого дела было нельзя и потому приходилось помириться с ним. Но светлое настроение бедной женщины длилось недолго. Первый разговор о необходимости перевести Мишу в гимназию снова возбудил ее подозрения и заставил ее опять посоветоваться с умным человеком, с Данило Захаровичем. В душе Марья Дмитриевна, как мы сказали, была очень рада возможности постоянно видеть Мишу около себя, но в то же время ее трусливость пробуждала в ней какие-то подозрения. «А вдруг Александр Флегонтович бросит нас,— думалось ей.— Да и достанет ли у него денег воспи-

[1] авантюрист *(фр.)*.

тывать Мишу? Уж тяжело мне, что Миша не со мной живет, а все же лучше, что он на казенных хлебах; тоже чужой-то хлеб не сладок. Пойдут у них дети, нас тогда и забудут». Данило Захарович еще более развил и утвердил эти подозрения.

— Да чему научат-то его здесь? — говорил он.— Вы поймите, что Александр Флегонтович только возмущать умеет всех. Вы взгляните, как он на вас самих смотрит, как он на меня смотрит. Не удостоит даже слова. Ему говоришь дело, а он, улыбаясь, соглашается, хотя так и видно по его глазам, по его усмешечке, что он и не думает соглашаться. Он, видите ли, презирает нас, стариков. Не хочет даже в разговоры с нами пускаться... Это еще недавно заметил мне к слову, что кривую березу не выпрямишь... То есть, понимаете, это мы-то кривые березы!..

Марья Дмитриевна благодарила дорогого родственника и заступника за советы и молила его не оставлять ее, сироту беззащитную.

— Я и сама опасалась, да сердце-то материнское нашептывало, что радостнее мне будет с Мишурочкой,— жалобно говорила она.

— Знаю, знаю,— ответил Данило Захарович.— Только теперь не о себе надо думать, а о нем. Вам, конечно, веселее бы было жить с Мишей, да зато после пришлось бы утирать кулаками слезы... Неуважение-то детей каково видеть? Вы это вспомните... И вы думаете, Мише было бы сладко здесь? Вон они говорят, что он испорчен — в казенном-то училище испорчен! — Так ведь они его ломать бы стали, муштровать бы стали, чтобы по-своему переделать... Да ведь этак он в каторгу бы попал... Уж если нам, старикам, тертым калачам, тяжело с ними, то каково же было бы ему?..

Марья Дмитриевна соглашалась, чувствуя, что ей действительно очень тяжело жить в семье зятя, где, впрочем, она была полной хозяйкой, где все обращались с ней ласково и предупредительно, где просили ее только не утруждать себя лишней работой. Под влиянием советов Данилы Захаровича она наотрез объявила, что она не позволит взять Мишу из училища. Дело дошло до крупной размолвки между Катериной Александровной и Марьей Дмитриевной, но победительницей вышла все-таки последняя; все доводы, все убеждения разбились в прах перед ее жалкими словами и тупым упорством. Десятый раз выслушивала она доказательства Катерины Александровны, по-види-

мому, соглашалась с ними и когда Катерина Александровна спрашивала: «Ну, так как же?» — она отвечала:

— Нет, уж, Катюша, я лучше в разлуке с ним буду жить, а не возьму его из училища.

Приходилось замолчать или снова доказывать, убеждать и получать тот же ответ. Катерина Александровна расстроилась не на шутку, а сделать все-таки ничего не могла. Нужно было умыть руки ввиду того, что могло случиться в будущем с Мишей, если он останется в училище, вдали от семьи. Но эти переговоры хотя и не привели ни к каким благим результатам, а все-таки не прошли бесследно: они еще более охладили отношения матери и дочери и заставили первую в пылу спора высказать несколько таких мнений насчет Александра Флегонтовича, которые не могли быть забыты обожавшею его Катериною Александровною. Эти нелестные мнения отнюдь не были убеждениями Марьи Дмитриевны; она просто повторяла их со слов Данилы Захаровича, но Катерина Александровна, смутно чувствуя это, все-таки не могла простить матери, что та решается выслушивать и даже повторяет такие дурные вещи про человека, который не сделал ей ничего кроме хорошего. К тому же Катерина Александровна стала в последнее время очень раздражительной и нервной. Неизвестно, было ли это состояние духа прямым следствием прошлых тяжелых лет или являлось оно по каким-нибудь другим причинам, тесно связанным с тем положением, в котором находилась теперь молодая женщина.

— Грех вам, мама, так говорить про Александра,— заметила она матери на резкие замечания последней об Александре Флегонтовиче.— Если вы его не любите, то вы хоть вспомнили бы, что он поит и кормит нас...

— Не сладок, не сладок, Катюша, чужой хлеб,— бессмысленно произнесла Марья Дмитриевна.

Катерина Александровна пожала плечами и отвернулась. В последнее время она все более и более избегала раздражений и неприятностей, начав особенно сильно дорожить своим спокойствием и здоровьем, о которых прежде заботилась слишком мало. Она все чаще удалялась одна в свою комнату и заботливо шила какие-то маленькие принадлежности детского белья. Любуясь ими, она думала: «О, если бы это был мальчик. Если бы он был похож на него! Я буду заботиться о нем, я выращу его честным, хорошим человеком. Я пожертвую всем для его счастия, чтобы он никогда, никогда не разошелся со мною, не отвер-

нулся от меня. Он будет моею гордостью, моею радостью... Но я так часто волнуюсь, так тревожусь... Это вредно для него... Он должен быть здоровым... Я должна беречь себя для него. О, как я люблю его!» И она старалась быть спокойнее ради того маленького создания, которое должно было родиться на свет. Она жила теперь только мыслью о нем. Но ее усилия не увенчивались успехом: спокойствия не было. После последних переговоров в семье сделался раскол: на одной стороне стояли Катерина Александровна, Александр Флегонтович, Антон, Леонид и маленькая Лидия; на другой находились Марья Дмитриевна и Данило Захарович, привлекшие к себе, к несчастию, и Мишу. Миша ясно видел, что мать и дядя только балуют его и потакают его выходкам, а сестра и ее сообщники стараются останавливать его от его привычек, иногда смеются и острят над ним. Данило Захарович даже попробовал еще более вооружить Мишу против сестры, видя, что мальчик все-таки начал отчасти увлекаться обольстительной картиной житья в семье, на свободе.

— Муштровать, брат, хотят тебя,— говорил Боголюбов, трепля по плечу Мишу.— Каждый командовать станет! Кто хлебом кормит, тот и бьет. Оставайся-ка лучше в училище, там по крайней мере свой брат товарищ помыкать не будет, а тут и Антон — и тот старшим будет. Смотри, как важничает!

— Да уж, голубчик ты мой, потерпи лучше, в чужом месте поживи, после слаще будет,— гробовым голосом советовала Марья Дмитриевна.— И мне несладко живется здесь, а тебе будет еще того хуже.

Миша хмурился и подозрительно смотрел на сестру и ее друзей. Среди этого разлада один штабс-капитан в младенческом неведении воображал, что все идет отлично и говорил длинные речи, которых никто не понимал и с которым потому все безусловно соглашались.

Семья уже собиралась на дачу. Особенно спешила отъездом Катерина Александровна.

— Да, Саша, теперь мне нужен чистый воздух,— говорила она мужу.— Кажется, скоро...

— Береги себя, милая! — нежно говорил он, покрывая поцелуями ее руки.— Марья Дмитриевна еще ничего не знает?

— Кажется, нет... Я не хочу говорить ей прежде времени... Я об *нем* говорю только с тобою, думаю об нем только в своем уголке... Это моя святыня...

Марья Дмитриевна действительно ничего не знала, хотя и подозревала кое-что, но боялась спросить. Однажды, беседуя через месяц после свадьбы дочери с Данилой Захаровичем, она между прочим заметила, что более всего она радуется тому, что Катерина Александровна обвенчана.

— Еще бы не обвенчаться! — промолвил Данило Захарович.— Давно пора было кончить. Катерина Александровна, кажется, находится в таком положении, что Александру Флегонтовичу нужно было быть подлецом, чтобы не поспешить свадьбой...

Марья Дмитриевна смутилась, она сама заметила в последнее время, что ее Катя стала немного полнеть, иногда прихварывала и, несмотря на все усилия, не могла вполне скрыть своего положения от глаз домашних людей. Но Марья Дмитриевна все еще думала, что посторонние люди ничего не замечают. Теперь ей стало больно, что даже посторонние знают, как вела себя ее дочь до свадьбы. Она ничего не могла сказать Данилу Захаровичу в оправдание дочери.

— Да, нехорошо, нехорошо! — наставительно заметил Данило Захарович.— Не ожидал я этого от нее... Хоть бы то подумала, что около нее растут дети... Какой пример для них?.. Признаюсь вам откровенно, я только для вас пускал к вам свою Лидю... Конечно, она мала, но и ее могут развратить подобные примеры. Она не видела в родительском доме подобных девушек...

— Батюшка, да ведь Лидичка еще ребенок, где же ей понять,— жалобно успокоила Боголюбова Марья Дмитриевна.

— Сама не поймет, так скажут,— возразил Данило Захарович.— Как-нибудь могла подслушать, что говорила мне про Катерину Александровну тетушка и жена; от кухарки могла услышать... Нет, Марья Дмитриевна, как посмотрю я на нынешнюю молодежь, так волос дыбом становится: фанаберия, разврат, пьянство, сходки по ночам, неуважение... И куда мы идем, куда идем!.. А всему виной эти реформы, нововведения!.. Да в наше время косу бы по волоску выдергали у дочери, если бы она так-то жила, как ваша дочь...

Марья Дмитриевна поникла головой. Она сознавала, что мудрый родственник говорит правду.

— И какое благословление может быть на ее ребенке, когда он бог знает как прижит!.. Еще чей он — это бог знает...

— Грех вам, батюшка, так говорить! — воскликнула невыдержавшая Марья Дмитриевна.— Катюша все-таки честная девушка... Ну, виновата она, согрешила... а то она честная...

— Честная! — саркастически улыбнулся Данило Захарович.— У честных не бывает незаконнорожденных детей!.. Нет, Марья Дмитриевна, не таких в наше время называли честными!.. Ведь ей теперь ребенка-то скрывать придется, ведь она его стыдиться должна, ведь это улика будет... Теперь еще, может быть, вот только мы заметили, а тогда все, все узнают, каждый лавочник, каждый дворник пальцем укажет и на нее, и на ее ребенка...

— Уж это что говорить, языки-то людям не завяжешь, чужому горю всякий рад,— слезливо вздохнула Марья Дмитриевна.— Скрыть-то нельзя...

— Да вы думаете, она станет скрывать! Нет-с, она все на вид выставлять будет, что вот, мол, смотрите, добрые люди, какая я бойкая: сейчас после свадьбы и ребят нарожала!

Марья Дмитриевна заплакала.

— Вы как мать усовестите ее, пусть уедет куда-нибудь на время. Не срамите своей фамилии. Детям примера не показывайте... Да чего вы все плачете? Твердости вам набраться нужно, твердости! Вы в доме-то последняя спица. Вами все помыкают как старой ветошкой! Вам надо власть показать, власть!

Еще долго наставлял Данило Захарович Марью Дмитриевну и наконец успокоился, когда увидал, что несчастная женщина окончательно убедилась, что несчастнее ее нет никого на свете. Довольно долго ходила Марья Дмитриевна с понурой головой и все не знала, как приступить к объяснению с дочерью, которая, как нарочно, была в это время, по-видимому, вполне счастлива, хотя изредка и прихварывала. Наконец мать выбрала удобную минуту и, подсев к сидевшей за работой дочери, решилась намеками и стороной заметить ей, что не худо бы последней на время уехать хоть куда-нибудь в деревню, на что ей Катерина Александровна ответила, что они и без того скоро поедут на дачу, как только пройдут экзамены в пансионе Давыдова.

— Ну, ты одна с мужем поезжай, я с Антошей и Мишенькой здесь останусь,— отвечала Марья Дмитриевна.

— Что вы, мама! Да детям воздух более необходим, чем нам,— заметила Катерина Александровна.— Они и без

того нынче засиделись в городе из-за нас... Пусть хотя с месяц отдохнут на воле...

— Знаю, Катюша, да тут не в воздухе дело... Ты вот теперь замужем, так тоже детям не кстати тут быть... Тоже мало ли что... хотя, конечно...

Марья Дмитриевна окончательно запуталась и замолчала, смотря на дочь недоумевающими глазами, как будто в ожидании, что дочь сама доскажет начатую ею речь.

— Я вас не понимаю,— пожала плечами Катерина Александровна.— Моя свадьба не изменила ничего. Как жили мы прежде, так будем жить и теперь.

— То-то и худо, Катюша,— вздохнула Марья Дмитриевна.— Закон-то не следовало забывать... Кашу-то заварили, а теперь придется расхлебывать.

Катерина Александровна смотрела на мать все с большим и большим удивлением и уже начинала волноваться.

— Ведь вот ты думаешь, что никто и ничего не замечает, а люди-то уж и распустили молву про тебя... И до чего ты довела себя: свое дитя придется скрывать ото всех...

Катерина Александровна раздражительно отбросила работу в сторону и хотела что-то сказать, но Марья Дмитриевна продолжала ноющим тоном.

— Конечно, младенец не виноват, а все же уж не может быть на нем благословения, уликой он будет.

Катерина Александровна вздрогнула и побледнела. Ее глаза сверкнули каким-то недобрым огоньком. Мать оскорбляло то, что было свято и дорого ей.

— Мало того, что вы меня мучаете, так вы еще хотите убить моего ребенка прежде его рождения! — воскликнула она и оперлась рукой о стул.— Когда же вы перестанете? Когда же оставите меня в покое?

Марья Дмитриевна была вообще плохой наблюдательницей и не заметила мучительного выражения лица дочери; ее только поразила резкость упрека.

— Спасибо, Катя, спасибо! — слезливо произнесла она.— Не я тебя мучаю, а ты меня! Бога-то вы забыли, оттого все так и идет; оттого и благословения на вас нет... Вон старик-то ваш немтырем ходит, а вы и молебна не отслужите, чтобы бог ему разрешение языка дал... Так вот и дитя ваше без благословения родится... И радоваться-то ему грешно, потому что известно, как оно прижито. Таких-то в воспитательный дом прячут... Ты бы подумала, что я мать тебе, что мне все это тяжело видеть-то... Так ли мы

жили с твоим отцом? Мы честными были, на нас пальцем никто не показывал...

— Идите прочь! — почти шепотом, как-то болезненно произнесла Катерина Александровна, указывая на дверь.

— Ну и на том спасибо! Не прикажешь ли, дочка, совсем переехать с квартиры. Что ж, и то сказать, довольно кормили и поили мать, теперь вот своя семья будет...

Катерина Александровна болезненно сжала руки и опустилась на диван. Марья Дмитриевна хотела было продолжать свои жалобные речи и вдруг остановилась: она увидала, что Катерина Александровна лежала без чувств. Марья Дмитриевна по обыкновению растерялась и забегала из угла в угол.

— Ай, батюшки, ай, родные! Умирает она! Умирает! — кричала старуха, бегая по квартире то за прислугой, то за водой.

Катерина Александровна была с трудом приведена в чувство. Но встать она не могла. Ей сделалось очень худо. Александр Прохоров, возвратившись домой и не зная ничего, что случилось, был сильно встревожен и растерялся, преувеличивая опасность болезни, как это обыкновенно случается с молодыми неопытными мужьями. Тяжелый день сменился еще более тяжелой ночью. Только дня через три можно было утвердительно сказать, что опасность миновала, но вместе с нею миновала и надежда для молодых супругов обнять свое первое дитя. Это было страшным ударом для Катерины Александровны.

Она поправлялась довольно медленно, и только дача и чистый воздух произвели на нее свое благотворное влияние. Через месяц, бледная и худая, с обстриженными во время болезни волосами, она едва стала подниматься с постели. Марья Дмитриевна ходила за дочерью и хныкала, во всем обвиняя себя. Она даже попробовала попросить прощения у дочери, но та как-то бесстрастно и холодно ответила ей:

— Вы ни в чем не виноваты.

— Нет, Катюша, я знаю, знаю, что не следовало мне говорить. Да ведь не предвидела я, что это могло случиться. Прости ты меня, дуру старую!

— Я вам говорю, что вы не виноваты. Чего же вам еще нужно? — холодно отвечала Катерина Александровна.

— Да вот ты сердишься и не приласкаешь меня, старую,— плакала Марья Дмитриевна.

— Что ласки? Не ими выражается любовь,— сухо про-

износила дочь и холодно принимала поцелуи матери, не отвечая на них.

Александр Флегонтович был тоже изумлен этим холодным спокойствием жены. Он ясно понимал, что под этим видимым равнодушием таится страшное горе, которое тем тяжелее, что оно не может облегчиться словами и слезами. С тактом и заботливостью любящего человека он старался не говорить с женой о недавнем прошлом и только был с нею еще нежнее, еще ласковее, чем прежде. Но он не понимал, почему она так холодна и суха в обращении с матерью; он подметил даже что-то суровое в отношениях своей жены к Марье Дмитриевне. Он попробовал как-то замолвить жене доброе слово за мать, но Катерина Александровна сухо ответила:

— Мы, Саша, договорились с нею до последнего слова...

— Ну, друг мой, с нею мы должны быть снисходительными,— мягко промолвил он.— Она не может мыслить так, как мы. Она не может понять то, что понимаем мы... Убеждать ее, ломать ее взгляды — бесполезно. Будем жить посвоему и оставим ее жить так, как хочет она...

— Я так и делаю...

— Но ты, кажется, раздражаешься за то, что она не понимает тебя? Ведь ты пойми, что и она может обвинять нас за то, что мы не понимаем ее, а значит, может тоже в свою очередь раздражаться на нас. Из этого может начаться бесконечная борьба, вражда... Тут уступить должны мы как более развитые люди, должны уступить по внешности, наружно, то есть терпеливо выслушивать нелепости и соглашаться на словах, а поступать по-своему...

— Я так и буду делать. Если я делала не так, то это потому, что иначе было нельзя поступать... Ты все-таки дальше стоишь от нее и не знаешь всего, из-за чего могут выходить столкновения... Впрочем, теперь, кажется, их не будет...

— Но ты слишком холодна с ней,— заметил Александр Флегонтович.

Катерина Александровна ничего не ответила, только по ее лицу пробежала какая-то тень.

— Нужно иногда приласкать ее, старухе это нужно,— мягко заговорил он.

Катерина Александровна нахмурила брови.

— Что же делать, если я не могу? — ответила та.— Еще недавно я могла быть нежной с нею... Может быть, после я буду ласкова с нею... Но теперь...

Катерина Александровна отвернулась, чтобы скрыть слезы.

— Нет, Александр, ты не знаешь всего, и я не стану тебе рассказывать,— отрывисто заговорила она.— Да ты и не понял бы меня... Меня поняла бы только женщина, если бы я рассказала, почему я не могу теперь ласкаться к матери...

Она замолчала.

— Знаешь ли,— продолжала она через минуту,— както я думала, что если бы мне пришлось поставить на карту спокойствие матери и какое-нибудь хорошее дело, то я пожертвовала бы последним... Я тогда клялась, что никогда я не принесу ничему в жертву ее спокойствия... Я так горячо ее любила, бедную!.. Теперь же, теперь мы вдруг стали чужими, вдруг разошлись, между нами легла непроходимая пропасть... вот как между тобою и всем старым легла могила твоего брата... даже больше.

Александр Флегонтович задумался и ничего не возразил жене. Она была взволнована. Она действительно сознавала, что между ее матерью и ею легла преградой могила ее ребенка и через эту преграду она уже не могла, по крайней мере, теперь протянуть горячие объятия своей матери. Она, может быть, была права, думая, что этих чувств не поймет ее муж, что их может понять только женщина. Он не просиживал в одиночестве тех сладких минут в мечтах о ребенке, которые просиживала его жена. Для него это дитя еще не жило, но оно жило для нее, она слышала, чувствовала трепет этой жизни. Для него это была просто обманутая надежда, для нее это была смерть горячо любимого существа.

IV

ВСЛЕД ЗА ТЕЧЕНИЕМ

Настала осень. Александру Флегонтовичу по-прежнему пришлось давать уроки, принимать деятельное участие в журналистике, вращаться в передовых кружках, посещать лекции и деятельно трудиться над разработкой вопросов по части воспитания. Он надеялся, что в конце концов ему будет поручено съездить за границу для осмотра военно-учебных заведений. Не менее усердно хлопотал он с несколькими из близко стоявших к нему людей об устройстве воскресных школ для взрослых. Школа, поставленная им на ноги в одной из близких к городу, населенных бед-

ным и рабочим людом местностей, шла отлично. Ее посещали не только юноши и молодые рабочие, но и старики. В учителях недостатка не было: в деле принимали горячее участие и офицеры, и студенты, и кончавшие курс гимназисты, и даже правоведы. Все эти люди сходились нередко у Александра Флегонтовича для обсуждения лучших систем преподавания, для начертания планов и программ обучения. Александр Флегонтович настаивал главным образом на расширении круга преподаваемых предметов и говорил о необходимости составить популярные книжки для ознакомления учеников с первыми основаниями естественных наук. Он предлагал назначить конкурс для тех, кто пожелает представить на обсуждение несколько подобных работ, и говорил о необходимости собрать на этот предмет деньги. Кроме этих сходок, собиравшихся у него для толков о делах школы, в его квартире иногда собирались студенты для обсуждения дел, касавшихся исключительно их. Все эти хлопоты, труды и проекты заставляли его сталкиваться с сотнями самых разнообразных личностей, начиная с семинаристов и двух священников, принимавших участие в хлопотах о воскресных школах, и кончая молодым Белокопытовым, порой просившим Прохорова составить то ту, то другую докладную записку по делу об устройстве крестьянского быта, порой же стремившегося через Александра Флегонтовича предать гласности некоторые факты по крестьянскому делу. Во всех кружках Александр Флегонтович стяжал себе репутацию даровитого человека, горячей головы и неутомимого работника. Действительно жизнь била в нем ключом: дни казались ему слишком короткими и ум стремился обнять все большую и большую сферу деятельности. Долгие годы прозябания на школьной скамье и в мирном углу бедного и отчужденного от света родительского дома, прозябания вдали от всяких общественных событий и интересов, сказались теперь вполне. Молодой человек, живой, увлекающийся и страстный по натуре, не мог не поддаться всей массе новых впечатлений и положить себе границы для деятельности или заставить свой ум интересоваться исключительно каким-нибудь одним предметом. Он был похож на наивного и полного сил юношу, перенесенного из деревни в роскошный музей или на блестящую выставку лучших произведений промышленности и искусства. На чем остановить внимание? Которое самое лучшее произведение? Что нужнее всего изучить? Кому протянуть руку и сказать: вас я изби-

раю своим учителем, руководителем, другом? На это было трудно ответить. Кругом все блестело и сверкало прелестью новизны, все казалось необходимым, все казалось «лучшим». По-видимому, нельзя было заняться чем-нибудь одним, так как все связывалось и сплеталось вместе в одну неразрывную и тесную связь: жгучий интерес крестьянского вопроса требовал внимания; мысль о необходимости усиленного развития знаний в освобождавшемся народе являлась при этом сама собой, она прямо наталкивала на необходимость заинтересовать этим делом многих лиц и выработать поскорее систему преподавания, подготовить учителей для народа; но та среда, в которой могли вербоваться учителя, требовала сама или полного развития, или лучшего устройства материальных средств. Тут могла закружиться голова даже у опытного, коротко знакомого со всеми разнообразными интересами жизни человека, а не только что у неопытного юноши, чувствовавшего, что он уже успел отсидеть ноги в своем углу, что он утомил свой ум бездействием многих лет. Нужно было расправить ноги, нужно было расшевелить ум.

И какое время переживалось тогда: многое, что теперь нисколько не удивляет нас и является совершившимся фактом, в ту пору было только блестящей целью, к которой стремились люди, иногда не веря даже, что ее можно достигнуть. Крестьянский вопрос, отмена откупов, воскресные школы, литературный фонд, начало различных кампаний и железнодорожного дела, развитие прессы и толки об изменении условий печати, вопросы о реформах в воспитании, толки о женской эмансипации и развитии женского образования, судебная реформа и множество других явлений, иногда мелких, касавшихся только Петербурга или известного кружка людей, известного сословия, известной корпорации; иногда крупных, охватывавших всю русскую жизнь, перестраивавших окончательно старое здание,— все это не могло не интересовать живого человека. Нужно было затвориться в своем углу, не читать газет и журналов, не видаться ни с кем, чтобы не принять хотя словесного участия во всей этой хлопотливой перестройке здания, в противном же случае нельзя было не увлекаться, не спорить, не волноваться. Александр Флегонтович даже если бы и хотел отстрониться от всего, то по необходимости должен был сходиться с самыми разнообразными личностями: место службы и литературный труд заставляли его сталкиваться с артиллеристами и представителями ли-

тературы; еще разнообразнее были его знакомства в качестве учителя. Тут приходилось беседовать и с каким-нибудь заскорузлым степняком, привозившим сына для приготовления в корпус, и с таким европейски образованным либералом, как граф Алексей Дмитриевич Белокопытов. Слушать разнообразные толки всех этих господ об их больных местах и молчать — это значило выставлять себя дураком; соглашаться с теми, которые говорили нелепости, это значило являться чем-то вроде Молчалина или Чичикова, предупредительно говорящего: «Мой дядя дурак, дурак, ваше превосходительство»; спорить и волноваться — это было вполне естественно, но это заставляло наживать себе двух-трех друзей и сотни врагов.

Где лес рубят, там и щепки летят. Где начинается какое-нибудь новое дело, там неизбежны и недоразумения; и неприятности, и враждебные столкновения, и ошибки. И чем крупнее дело, тем более является и недоразумений, и враждебных столкновений. Наше общество в то время занималось рубкой леса старых порядков, старых заблуждений, и потому не мудрено, что разных недоразумений было множество. Приверженцы застоя шипели против нововведений, новаторы иногда увлекались и хватали через край или делали свое дело неловко, неумело, так как это дело было и ново, и непривычно. Иногда самые незначительные случаи подавали повод к шипению одной стороны против другой; иногда дело принимало просто комический вид, этот комизм подхватывался прессой и раздражал еще более тех, которые явились достойными смеха. Серьезно начатый спор о происхождении Руси, окончившийся объяснением Погодина, что он устроил диспут для потехи рыцарей свистопляски; суд в Пассаже, окончившийся знаменитой фразой о том, что «мы недозрели»; собрание акционеров погибавшего тогда старого правления общества водопроводов, где объявили, что один очень сведущий техник не имеет права судить о делах, «потому что он молод»; литературные толки о корреспонденции о волжско-донской дороге, где отучали людей от пищи; горячие рассуждения о том, следует ли сечь или не следует, следует ли сечь мужиков и детей или только детей, следует ли сечь последних административным порядком или по суду; глубокомысленные толки о грамотности, вырабатывающей мошенников, и сотни тому подобных явлений того времени, начиная с серьезных споров об общине и кончая смешным протестом за евреев, названных жидами в «Иллюстрации», обличали то

внутреннее брожение, которое началось в нашем обществе. Одни нападали на гласность за то, что она заглядывала в самые потаенные углы частной жизни человека; другие доказывали очень основательно, что она даже и общественных явлений не выставляет на свет, говоря постоянно о происшествиях в N-ской губернии в городе X с господами Y и Z. Следы этих враждебных отношений замечались и в частной жизни: какие-нибудь Боголюбовы не могли слышать, например, о нападениях на взяточничество и говорили, что это все молокососы выдумывают. В пылу негодования они не могли понять, что молокососы снова начали говорить громко о взяточничестве только тогда, когда правительство начало преследовать взяточников и назначать разные ревизии, что нападения эти сами по себе не являются знамением нового времени, а очень стары. Униженные и оскорбленные личности прошлого времени, конечно, старались всеми силами отыскать слабые или дурные стороны в тех людях, которых они считали своими противниками, и сеяли вражду среди той массы безличных созданий, которые, подобно Марье Дмитриевне, живут чужим умом. Это было тем легче сделать, что неподготовка к новому делу и совершенно понятные увлечения их противников всегда давали повод придраться к мелочам и раздуть эти мелочи до крупных явлений. Шипящие, отставленные правительством от должностей взяточники, старые крепостники, видевшие неизбежность новой реформы, отживавшие крючкотворы, слышавшие о новом суде, все эти люди негодовали и вымещали свою злобу на том, что отыскивали ошибки, пороки и всякие мерзости в «новых людях». Но эти наивные люди не понимали, что «новых-то людей» в сущности не было и не могло быть, если не считать нескольких исключительных личностей. Правда, на сцене являлся благонамеренный чиновник Надимов, предлагавший всем честным людям идти в становые. Но покуда все этим и ограничивалось. В обществе были честные литераторы, молодые, горячие головы, ищущие работы и деятельности люди, видящие, например, необходимость образования и труда женщины, но когда же их не было? Но практиков, вполне подготовленных к делу людей, которые могли бы неуклонно, с полным знанием, с стойкостью вести новое дело, соглашать без колебаний и промахов слово и дело, не было или было так же мало, как прежде. Тут не было ничего необыкновенного, ничего непонятного, это было повторение того же, что происходило в петровские

времена, что происходило в первые годы царствования Александра I, что происходит при введении в жизнь всякого нового дела: в нашей жизни осуществлялись идеи, которые уже давно были выработаны человечеством и были знакомы нам по книгам, но мы-то сами были еще похожи на тех неопытных работников, которые попали из глухой родной деревни, от своего нехитрого плуга домашнего изделия в шумный город на подавляющую своими размерами фабрику, к колесу сложной, состоящей из сотни колес, тысячи винтиков и клапанов машине. Работник не умеет обращаться с нею, он иногда недовернет, иногда перевернет то тот, то другой винтик, он, может быть, испортит то или другое произведение, он, может быть, повредит свою собственную руку,— но что же из этого? Нужно ли кричать старым работникам, имевшим дело с ручными старыми станками: «Вот каковы они, новые-то работники!» Ведь сами они, эти старые работники, наделали бы таких же ошибок на месте новых. Работники не станут делать подобных упреков новым товарищам, если эти новые товарищи не вытесняют их, а пребывают на месте умирающих стариков. Но старые работники стали бы непременно глумиться над новыми и бранить их, если бы вступление этих новых тружеников на путь деятельности непременно должно было обусловить отставку старых. Именно в таком положении находилось наше общество: Боголюбовы, уличенные во взяточничестве, должны были сойти со сцены, и они негодовали на «новых людей», ловя их промахи и ошибки, происходившие отчасти вследствие того, что их воспитание шло все-таки под влиянием тех же Боголюбовых. Теория и практика были еще крайне далеки друг от друга. Молодой человек, научившийся по книгам любить новые идеи, но приученный к роскоши и праздности в доме разжившегося откупами или оброками с крестьян отца, быть может, мог свернуть с прямой дороги или неумело сделать взятое на себя дело и испортить его. Молодая барышня, понявшая из книг необходимость женского труда, но сидевшая в четырех стенах, державшаяся в ежовых рукавицах, не подготовленная ни к чему, могла, может быть, очень скверно переводить, портить взятую швейную работу, небрежно преподавать детям науки и поддаться на какую-нибудь связь, которую она считала прочной и которая в сущности была тем же, чем бывали и все другие любовные связи в старое время между доверчивыми девушками и между разнузданными мужчинами. Но все это являлось

не потому, что и этот молодой человек, и эта молодая девушка были «новые люди», а потому, что они были детьми старого времени, такими же белоручками, как их отцы. Если бы мы жили в Китае, то эти молодые люди продолжали бы ту же самую жизнь, какую вели их отцы и матери. Но так как им пришлось родиться не в Китае, так как им пришлось жить в ту пору, когда выработанные человечеством идеи стали применяться к практике у нас, то они и толковали об этих теориях, пробовали освоиться с ними, осуществить их — и очень часто, проповедуя новое, поступали по-старому.

Александр Флегонтович как простая дюжинная личность тоже не был исключением из общего правила, тоже не был «новым человеком», то есть таким человеком, который твердо шел бы по одной избранной дороге к одной известной цели, подобно какому-нибудь опытному работнику, знающему, которое колесо и как должен он вертеть. Нет, как мы уже говорили, он учился сам и писал поучающие статьи; деятельно занимался вопросом о военно-учебных заведениях и принимал участие в разрешении крестьянского вопроса; давал уроки у разных господ и хлопотал об устройстве воскресных школ. Что было для него главной, что было для него второстепенной деятельностью — этого он, пожалуй, не определил бы и сам.

Так мчалась эта жизнь, унося своим течением все вперед и вперед Александра Флегонтовича и подобных ему людей. Катерина Александровна тоже не отставала от своего мужа, и если круг ее деятельности был менее широк, то все-таки нельзя сказать, чтобы ее интересы были более сосредоточены исключительно на чем-нибудь одном. Слушание лекций повивального искусства, посещение некоторых лекций в университете, занятия в воскресной школе, столкновение и сближение с молодежью, толки о женской эмансипации и стремление пополнить пробелы в своем образовании и в образовании подобных ей молодых женщин — все это не могло не увлечь, не могло не заставить молодую женщину забыть и мелкие дрязги будничной жизни, и те рытвины и ухабы, которые так часто встречаются на жизненном пути. Уже в половине зимы Катерина Александровна подтолкнула нескольких девушек из кружка Софьи Андреевны заняться серьезно математикой и естественными науками, и в комнатах Софьи Андреевны несколько приятелей Александра Флегонтовича начали читать лекции математики, физики, физиологии. Это был

первый шаг к систематическому изучению наук, и здесь Катерина Александровна впервые вполне ясно увидала, что и ей, и другим подобным ей женщинам приходится начинать с азбуки. Это отчасти опечалило ее, отчасти заставило более серьезно взглянуть на подобные лекции: сперва она думала, что эти лекции только «пополнят» образование ее кружка, теперь она видела, что они должны создать это образование, так как его в сущности не было, хотя и она и ее подруги официально выдержали экзамены и знали, по-видимому, много. На первых же порах приходилось отказаться и от физики и от химии и посвятить свои силы осмысленному и толковому изучению простой арифметики. Катерина Александровна не сробела, видя, что ей опять приходится пройти довольно тяжелый и большой путь для приобретения более точных сведений, чем те сведения, которыми она запаслась без чужой помощи, самоучкой, урывками. Она начинала уже чувствовать, что необходимо сузить круг интересов, круг занятий, что нужно сосредоточиться на чем-нибудь одном, что постоянная гоньба за множеством самых разнообразных предметов не может продолжаться вечно и в конце концов приведет к полнейшей бессодержательности, пустоте и фразерству.

«У нас почвы твердой нет под ногами; мы хотим что-то строить, не заложив фундамента» — говорила она в своем кружке.

Но, несмотря на это сознание, несмотря на расстроившееся за последнее время здоровье, покуда она еще не могла оторваться от тех разнообразных интересов, которые назойливо требовали ее внимания. Иногда, чувствуя и физическое и нравственное утомление, она шутливо говорила мужу:

— Мы все слишком разбросались, Саша!

— Что ж, кто мешает сузить круг интересов,— смеялся он.— Не ходи в воскресную школу, не посещай лекций в университете или откажись от знакомства с молодежью, не волнуйся, когда у тебя просят совета, когда тебе жалуются на свое положение, не мучайся вопросами, почему не удаются то швейные мастерские, то стремление женщин поступить в наборщицы или в переводчицы, и не хлопочи о помощи тем, которые просят тебя о ней... Скажи всем: вот погодите, я доучусь, тогда и буду давать мудрые советы и интересоваться вопросами дня...

— Что ты, что ты! — перебивала его Катерина Александровна с яркой краской на лице.— Разве я на то жа-

луюсь, что мы живем слишком быстро? Иначе мы жить не можем теперь! Мне просто иногда досадно, что мы все были слишком не подготовлены к такой жизни, что нам пришлось и учиться делу, и делать дело в одно и то же время... Теперь мне иногда досадно и скучно слушать детские споры и толки о тех предметах, до которых уже коекак додумались мы, но я терпеливо выслушиваю их. Ведь не виноваты же эти люди, что они еще позже нас узнали то, что, вероятно, давно известно в Западной Европе каждому школьнику... Ведь как недавно и мы с тобою не знали многого из самых простых вещей, а сколько еще не знаем мы из того, что знают образованные люди Запада? Я думаю, европейцу было бы очень скучно на наших вечерах: он услышал бы, что здесь говорят и спорят о том, о чем уже не спорят у них, что просто проводят там в жизнь. Он, вероятно, посмеялся бы над нами, над нашими циническими фразами.

— Ну, не думаю,— ответил Александр Флегонтович.— Это скорее грустно, чем смешно. Правда, мы спорим об ассоциациях, о женском образовании и труде, о воскресных школах и тому подобных предметах как о чем-то новом, но нас можно только пожалеть за то, что это ново для нас, что мы только спорим об этом... Если бы эти вещи не были для нас чем-то с неба упавшим, мы, верно, не разбрасывались бы так, как теперь, а шли бы спокойно по раз избранному, давно известному пути...

Эти тоскливые минуты недовольства собою и окружающим, сознание, что дела могли бы идти лучше, что нужно более сосредоточиться, стали все чаще и чаще повторяться в жизни Катерины Александровны. А выбиться из колеи, по которой она шла, по которой несло ее течением, у нее не было силы. В обществе же начали все сильнее и сильнее носиться какие-то темные слухи и чувствовалось, что люди различных убеждений все более и более расходятся друг с другом. Иногда речи близких Прохоровым людей стали слишком желчны вследствие неудач, вследствие мелких столкновений на практической почве с противниками. Сам Александр Флегонтович начал нередко говорить, что общество договорилось до последнего слова.

— Мы с нашим скромным чернорабочим трудом стоим в стороне,— говорил он жене,— но очень может быть, что и на нас отзовутся последствия того движения, которое происходит теперь. Ведь со всеми этими людьми нам приходилось и приходится сталкиваться...

— Среди всех этих слухов и ожиданий чего-то я хожу как бы в тумане,— говорила она.— Я чувствую какое-то лихорадочное состояние... Порой я боюсь за будущее... Кажется, если бы я сама участвовала в каком-нибудь очень рискованном деле, я была бы спокойнее. Мучительнее всего неизвестность, смутность предчувствий чего-то неопределенного...

— Да ведь и черт потому страшен людям, что они его не видали,— пошутил Александр Флегонтович.— Но ты будь тверже, теперь нужно беречь свое здоровье, свои силы, а не мучиться бесполезными сомнениями. Дела не переделаешь, начатого не остановишь, значит, нужно думать только о том, чтобы спокойно и твердо пережить то, что может случиться...

Он говорил, по-видимому, спокойно, но и в его душе порой пробуждались опасения за будущее. В литературе начали проскальзывать грязные выходки против всего нового молодого. Прохоров начал чувствовать, что в доме Белокопытовых все холоднее и враждебнее относились к нему и к любимым им людям.

— Ваши, кажется, начинают опасную игру,— небрежно говорил Алексей Дмитриевич.— Куда вы нас ведете...

— Я лично никуда и никого не веду,— шутливо отвечал Александр Флегонтович.— Детей веду, правда, в корпуса и высшие учебные заведения, вот и все...

— Да-с, может быть... Но ваши-то что делают?

— Я думаю, граф, что каждый может отвечать только за себя?

— Ну, тут трудно сказать, что у вас личное, что общее со всеми людьми, которых убеждения вы разделяете...

— Моя жизнь, граф, проходит на виду у всех, знающих меня,— ответил Александр Флегонтович и переменил разговор.

Но этим не кончилось. Алексей Дмитриевич начал все сильнее и сильнее отставать от передовой партии и усиленно старался дать понять всем и каждому, что его нельзя смешивать с нею. В его поведении стала замечаться какая-то трусливая осторожность. Он вдруг перестал говорить громкие фразы и нападал уже не на старую, а на молодую партию, стараясь выгородить себя из ее кружка. Это был недобрый знак. Жена Алексея Дмитриевича действовала прямее и не ограничилась одними предостережениями и намеками. Она не из каких-нибудь глубоких соображений, а просто из личной мелочной ненависти ре-

шилась проучить Александра Флегонтовича и стала толковать о том, что таких людей не следует пускать в дом, что они могут оказаться замешанными в какое-нибудь дело, могут навлечь неприятности на тех, к кому они были вхожи в дома, что во всяком случае они ставят своих знакомых в двусмысленное положение.

— Но ты же сама пригласила его в учителя? — заметил муж.

— Пригласила, значит, могу и отказать. Ты понимаешь, что теперь не такое время, чтобы терпеть у себя в доме подобных людей...

— Он может повредить Сереже.

Жена пожала плечами.

— Он? Повредит? Его можно устранить,— заметила она.

Алексей Дмитриевич посмотрел вопросительно.

— Я никак не думала, что он такой зловредный человек,— проговорила она.— Я удивляюсь Давыдову, что он держит подобных учителей. Через них он может потерять всех учеников из нашего круга...

Через несколько дней после этого разговора она написала Александру Флегонтовичу, что, к сожалению, она не может более вверять ему образование своего сына. Александр Флегонтович пожал плечами и бросил записку. У него не было недостатка в уроках, и потому он не особенно печалился потерей нескольких рублей.

Прошло недели две, как он уже не появлялся в дом молодых Белокопытовых. Его отсутствие заметил только Дмитрий Васильевич, спросивший у сына и невестки, почему так давно не появляется у них Прохоров.

— Неловко впускать к себе этих людей,— холодно ответил Алексей Дмитриевич.— Они там бог знает что замышляют.

— Да нам-то какое дело до этого? — спокойно ответил старик.

— Мы можем быть компрометированы,— заметила графиня.

— Мы? Компрометированы? — усмехнулся Дмитрий Васильевич, пожимая плечами.— Я, по крайней мере, думаю, что есть люди, которые стоят выше всяких подозрений, и к числу таких людей я, кажется, имею право причислить, например, себя...

Он насмешливо обратился к сыну.

— В тебе-то уж я никак не предполагал такой боязливости, ты всегда так громко высказывал свои убеждения...

— Я думаю, что осторожность и трусость — две вещи разные,— заметил сын.

— Может быть, может быть,— усмехнулся отец.— А вот мы, старики, живем себе без всяких осторожностей и все-таки спокойны за себя...

— Вы почти устранились от дел, от общественных интересов, так потому и спокойны,— пояснил сын.

— Не то, совсем не то, мой друг,— снисходительным тоном заметил отец.— Играем мы в открытую игру — вот в чем дело!

Но дело этим не кончилось. Появившись в один прекрасный день в пансионе Давыдова, Прохоров застал содержателя пансиона в тревожном состоянии.

— Что вы, батенька, там наделали? — спросил Давыдов, маленький юркий человечек с хитрыми глазами и кошачьими ухватками.

— Где там?

— Вверху-с, вверху-с,— скороговоркой произнес Давыдов.— Вами недовольны, вас в чем-то подозревают.

— Да кто?

— Графиня Белокопытова, ее близкие... У меня чуть не опустел весь пансион... Так нельзя-с... Это что же... Вы там бог знает что замышляете, а это отзывается на нас... Дело воспитания должно быть серьезным делом, батенька. Учитель должен стоять вне всяких общественных волнений, движения партий, минутных увлечений. Учитель должен не знать ничего, кроме своей науки, стоящей выше настроений минуты.

— Да вы мне растолкуйте прямо, чего вы хотите,— усмехнулся Александр Флегонтович.

— Да как вам объяснить,— задумался Давыдов.— Ничего я не хочу. Дело сделано-с, так чего же мне хотеть. Я не могу оставить вас у себя учителем... Вы понимаете, я, батенька, вами дорожу, я вас уважаю, я ценю ваши познания, ваш метод... Таких бы учителей нам побольше, давайте их, мы доставим вполне образованных людей, мы покажем, как можно развить положительные знания в ребенке...

Александр Флегонтович терял терпение.

— Ну-с, и потому этих учителей нужно гнать? — спросил он.

— Не то, не то,— заговорил Давыдов.— Но, видите ли, наше дело совсем особенное дело... Вы, батенька, кофе не выпьете ли у меня?

Александр Флегонтович отказался.

— Ей-богу, выпейте! — упрашивал Давыдов.— Я велю подать?..

Александр Флегонтович еще раз отказался.

— Сигару не возьмете ли?

Последовал новый отказ.

— Ну, как хотите. А, право, хорошо бы за стаканом кофе потолковать... Да, так о чем бишь я говорил?..

— Вы говорили, что ваше дело особенное дело.

— Да, да! Вот видите ли. Тут нужна своего рода политика... Хе, хе, хе!.. Мы, с одной стороны, выбираем учителей-с... Мы ищем в них положительных достоинств, серьезных знаний, дорожим ими. Таким учителем с реальными знаниями являетесь вы. Я, батенька, вас ценю, я уважаю вас... Хе, хе, хе, вы думали, что я не следил, как вы преподаете? Нет-с. Я все видел! Вы перл, перл!.. Да-с!.. Но, с другой стороны, мы должны платить этим учителям, мы должны иметь средства на содержание их... Вы знаете, батенька, мы не богачи, не филантропы, мы не из своего кармана платим. Мы платим из денег, вверенных нам родителями учеников. Мы в сущности посредники между родителями и учениками... Да, батенька, посредники и больше ничего! Теперь является вопрос: не должны ли мы соглашать двойные интересы — интересы науки и прихоти родителей? Наука требует хороших учителей, родители требуют тоже хороших учителей. Но понятия науки и понятия родителей различны. У родителей понятия изменчивы, на них влияют разные обстоятельства, они...

Александр Флегонтович потерял терпение.

— Вы хотите, вероятно, сказать, что я не нравлюсь родителям? — спросил он резко.

— Графиня Белокопытова— а вы знаете ее влияние — недовольна вами,— вздохнул Давыдов.— Очень недовольна! Я вам, батенька, дам дружеский совет. Вы уладьте с нею; это легко; она, знаете...

Давыдов засмеялся циничным смехом и что-то шепнул Александру Флегонтовичу.

— Ей-богу! Этим ее можно успокоить,— проговорил он.— Нужно, батенька, хитрить в этих случаях... Без политики нельзя... Хе, хе, хе! Я в этом случае, батенька, набил руку, тертый калач... Уладьте это... Тогда, знаете, и волки будут...

— Ну-с, значит, объяснение кончено,— произнес Александр Флегонтович и взялся за фуражку.

— Да куда же вы торопитесь? Ах, горячка, горячка! Выдержки у нас нет!.. Вы не сердитесь... Я ведь вам в отцы гожусь, меня можно послушать... Вы понимаете...— заговорил Давыдов.

— Да вы чего же так распинаетесь? или думаете, что времена переменятся и мы будем в моде? — рассмеялся Александр Флегонтович.— Нет, мы уж не будем в моде, не будем приманкой...

Он раскланялся и вышел. Ему было скверно. Он знал, как либеральничал еще так недавно Давыдов, стремившийся привлечь в свой пансион людей с литературными именами; он знал, что еще через несколько лет Давыдов снова будет либеральничать, и ему гадки показались именно эти руководители юношества и общества, ведущие его не по своему пути, а по той дороге, по которой идет большинство.

Не желая бесплодно тревожить жену рассказами о непоправимой неприятности, Александр Флегонтович промолчал дома о всей этой истории. Но симптомы недовольства в среде Белокопытовых новыми идеями продолжали сказываться. В один прекрасный день к Прохоровым явилась Софья Андреевна. Ее лицо было озабочено и тревожно.

— Вообразите, нас притесняют! — воскликнула она, здороваясь с Александром Флегонтовичем и Катериной Александровной.— Графиня откуда-то узнала, что на моей половине читаются лекции математики и запретила их. «Я не желаю, говорит, чтобы приют был притоном для грязных сходок разных вольнодумцев». Грязные сходки! Каково вам покажется! Каково вам покажется! Я не выдержала и вспылила...

— И только хуже рассердили ее? — покачал головой Александр Флегонтович.— Где же ваш такт?

— Ах, подите вы с вашим тактом! — рассердилась Софья Андреевна.— Тут делаешь хорошее дело, а его называют грязным! Тут нужно быть холодной, как рыба, чтобы помнить о такте в такие минуты!

— А все же приходится быть хладнокровнее и приготовиться к подобным случаям,— заметил Александр Флегонтович.— Дело, впрочем, не так важно... Перенесем лекции в мою квартиру...

— Да меня не то сердит, что лекций негде читать,— место найдется,— а то досадно, что это дело называют грязным... Это возмутительно!

Софья Андреевна очень сильно горячилась как женщина, не терпевшая до сих пор никаких неудач и видевшая, что все повиновались ей и плясали по ее дудке. Александр Флегонтович и Катерина Александровна сразу поняли, как легко могут подобные неудачи оттолкнуть эту самолюбивую и избалованную женщину от серьезного дела, и старались успокоить ее, хотя сами были далеко не спокойны. Когда она уехала, решив, что лекции будут продолжаться в квартире Прохоровых, Катерина Александровна задумчиво сказала мужу:

— Дело, кажется, принимает серьезный оборот?

— Да, нужно быть осторожнее,— ответил он.

Прошло еще несколько дней; донеслось еще несколько слухов о неприятных событиях. Кто-то из близких людей намекнул наконец Александру Флегонтовичу, что нужно быть осторожнее, что нужно быть тише воды, ниже травы, что самого Александра Флегонтовича заподозревают в каком-то серьезном деле. Он пришел домой в тревожном состоянии духа и застал жену в своем кабинете. Он передал ей слухи.

— Знаешь ли, Cáша,— задумчиво заговорила она,— во мне является болезненное, мучительное желание убежать куда-нибудь далеко, в глухое, совершенно глухое место и там пробыть года два-три, занявшись исключительно своим собственным образованием, своим развитием. Мне хочется не видеть, не слышать всего того, что волнует меня теперь, ни матери, ни братьев, ни подруг...

— И что же? — спросил муж.

— Что? — в раздумье повторила Катерина Александровна.— Я чувствую, что если бы это даже было возможно, то в решительную минуту я все-таки осталась бы здесь... Я знаю, что после двух-трех лет строгих занятий я принесла бы больше пользы, чем теперь... Но оторваться от всего, что вошло в кровь и плоть, отдалиться от любимых людей, не слышать их тревог, стремлений и порывов и знать, чувствовать, что эти тревоги и порывы, эти мучительные порывания к лучшему все-таки мучают их, хотя я и не слышу их жалоб, их споров, их вопросов,— нет, этого я не могла бы сделать...

— Значит, нужно жить так, как живется,— рассмеялся Александр Флегонтович.

— Да, плыть по течению. Урывками развивать себя, кое-как приносить пользу, помогать ближним грошовыми советами, может быть, под конец жизни сказать, что же-

ланий было много, что стремлениям не было числа и что не было сделано ничего основательного...

— Может быть, может быть,— печально согласился Александр Флегонтович.

— Порою мне вспоминается наше дитя... Если бы оно было живо, я отдалась бы его воспитанию, я воспитала бы из него более цельного человека, чем мы. Я не скрыла бы от него ничего, что должен знать человек, и он, вступая на жизненный путь, избрал бы без колебаний ту деятельность, которая казалась бы ему самой полезной, самой разумной... Он, может быть, волновался бы страданиями ближних еще более, чем мы, но зато он шел бы по одному определенному пути и все постороннее считал бы второстепенной деятельностью, из-за которой он не упускал бы из виду главной цели... Мы же не можем сказать, в чем состоит наша главная деятельность, где наша главная цель... Мы идем к общему благу, но в стремлении к этой широкой цели нужно разделение труда, нужно, чтобы известная часть людей шла по одному пути, другая по другому, только тогда все эти группы сделают хорошо свое будничное, простое дело и по разным дорогам дойдут до одной цели, до общего развития, чтобы протянуть друг другу руки и с полным правом сказать: победа!

— Да, этого слова наше поколение не скажет,— в раздумье промолвил Александр Флегонтович.— Нам уже не удастся наверстать в своем развитии все потерянное в пору долгого сна время, не удастся помочь и другим вполне развиться... Впрочем, что невозможно, то невозможно. Повторяю тебе, что нужно жить, как живется!

Катерина Александровна рассмеялась, хотя в ее смехе слышалась грустная нота.

— Мы так и живем,— проговорила она, обнимая мужа.— Вот договорились до того, что мне пора идти на урок...

Она встала и пошла. Александр Флегонтович взглянул на нее и впервые заметил, что на ее щеках играл неестественный, лихорадочный румянец.

— Катя, прежде всего не забывай, что нужно беречь свое здоровье,— сказал он ей вслед.

Она обернулась к нему с порога.

— Что это тебе пришло в голову? — спросила она.— Я здорова.

Он покачал головой.

— Ты слишком близко принимаешь все к сердцу.

— Ну, недостает еще того, чтобы мы были не только неумелыми, но и черствыми истуканами,— засмеялась она.

— Все же о себе-то прежде всего нужно заботиться...

— Доктор, вылечи прежде самого себя,— засмеялась Катерина Александровна и скрылась за дверью.

Александр Флегонтович встал и прошелся по комнате. Последние слова жены вдруг напомнили ему, что он во все это время менее всего думал о себе, о своих личных выгодах, что он шел по довольно скользкому и небезопасному пути. Он мельком бросил взгляд на какую-то пачку книг и бумаг, лежавших на столе, и почти вслух проговорил: «В самом деле какая ветреность, какая неосторожность! И для чего я их берегу? И где держу? На самом видном месте!»

Через несколько минут он завернул эти книги и бумаги в газетный лист и попросил Марью Дмитриевну спрятать их подальше, а часть бросить в огонь.

Потом он снова заходил по своему кабинету и о чем-то размышлял. «Надо будет передать отцу деньги,— промелькнуло в его голове.— На всякий случай надо позаботиться, чтобы он не остался без копейки. Мало ли что может случиться. Я ни в чем не замешан, но ведь это трудно доказать».

Он стал рыться в столе и вдруг остановился. «Да с чего это я волнуюсь? — вдруг прошептал он.— Какие глупости! Разве есть какие-нибудь причины опасаться...»

Он закрыл ящик стола и снова заходил по комнате. «Нет, предосторожность все-таки не мешает!» — решительно произнес он и вынул деньги. Он прошел в комнату отца и отдал старику билеты.

Старик в изумлении что-то забормотал. Александр Флегонтович сказал ему, что он, быть может, летом или осенью уедет в путешествие по России, то эти деньги пригодятся отцу на это время.

— Трать их, когда будет нужно,— прибавил сын.— Я не хочу, чтобы ты нуждался, если я уеду на время...

Он стал спокойнее и возвратился в свою комнату. Часов в десять вечера возвратилась Катерина Александровна. Она застала мужа за работой.

— Саша, ты знаешь, что уже по всему городу не на шутку ходят те темные слухи, о которых ты говорил мне вскользь? — сказала она.

— Вот как,— коротко ответил он.— Ну, что же, этого нужно было ожидать.

V

У СТАРОГО КОРЫТА

Молодые Прохоровы, как мы сказали, не были серьезно замешаны ни в какое темное и рискованное дело. Они просто работали, стараясь приобрести кусок хлеба и принося посильную пользу ближним; но тем не менее они начинали чувствовать, что им нужно быть все более и более осторожными. В обществе чувствовалось какое-то закулисное волнение, неизбежное следствие усиленной новой деятельности предыдущих лет. Люди разных партий, разных поколений договорились до последнего слова; некоторые зашли, может быть, слишком далеко в своих стремлениях, некоторые, может быть, хватили через край в своей ненависти: столкновение было неизбежно. Этому столкновению нельзя было рукоплескать, его нельзя было безусловно предавать проклятию. Оно было просто неизбежным историческим фактом. Можно было наверное сказать, что крайние увлечения остынут со временем, что безграничная ненависть угомонится и что в конце концов останутся только те нововведения, которым уже не могли повредить, которых не могли остановить никакие случайности, никакие увлечения, никакая злоба. Общество вступило на новый путь и должно было идти по этому пути, не возвращаясь на старую дорогу. Все это ясно понимало большинство, все это понимали и наши молодые герои, но в то же время они понимали, что им в эту пору более чем когда-нибудь нужно было быть осмотрительными. Они вращались именно в том молодом кружке, где было очень сильно брожение, они сами с увлечением старались добиться всего вдруг и как будто поставили своим девизом: «Теперь или никогда сделать все вдруг и не останавливаться на чем-нибудь одном». Они чувствовали, что у них явились кругом враги, что самым хладнокровным судьям в данную минуту будет трудно решить, насколько они опасны, насколько они являются активными членами той партии, в которой происходило брожение. Дружеские связи с людьми этой партии, образ и характер занятий, совпадавшие с образом и характером занятий этой партии; высказывание тех же идей, которые высказывала она,— все это должно было заставить каждого увидеть самую близкую связь наших героев с этой партией. Они, впрочем, и не думали отрекаться от нее, хотя и могли сказать в свое оправдание, что они покуда не успели зайти так далеко,

как зашли ее главные члены. Но последнее нужно еще было доказать, объяснить; на первых же порах приходилось подчиниться всему, что выпадет на долю этой партии. При первых же смутных слухах о закулисном брожении в доме Прилежаевых появился Боголюбов и ядовито спросил у Катерины Александровны:

— А что, ваш муженек погуливает еще?

— Я вас не понимаю; он на службе,— ответила Катерина Александровна.

— Держут еще! — рассмеялся Боголюбов.— Это нас только разом порешают... А нечего сказать, хороши ваши!

— Я не знаю, про кого вы говорите,— холодно ответила Катерина Александровна.

— Про ваших молокососов, про ваших друзей,— ответил Данило Захарович.— Проповедуют бог знает что, а сами-то каковы.

Он начал передавать Марье Дмитриевне какую-то грязную сплетню про нескольких молодых людей. Марья Дмитриевна охала, качала головой и всплескивала руками от удивления. Катерина Александровна не выдержала.

— Вы нынче особенно деятельно занимаетесь собиранием сплетен,— заметила она.— А мне кажется, что было бы лучше смотреть за своей семьей, сводить расчеты со своей совестью и не заботиться о других. Ведь если бы дело пошло на разоблачение всех промахов и темных дел в жизни каждого из нас, то я думаю, что и вам и вашей жене это было бы не очень-то выгодно.

— Вот-с как вы нынче поете! — злобно прошипел Данило Захарович.— Не желаете ли выгнать меня из своего дома?

— Мне совершенно все равно, будете ли вы к нам ходить или нет. Могу сказать вам только одно: не я шла к вам, а вы шли ко мне с просьбами... Вы ненавидели и меня и Александра, но не гнушались ни моими, ни его услугами. Вы марали и меня и его на каждом перекрестке, и я и Александр знали это и молчали, продолжая делать для вас все, что было в наших силах.

— На грош сделают, а на рубль попрекнут!

— Тут дело не в попреках! Я вам ничего не говорила, покуда могла пропускать мимо ушей ваши сплетни. Но теперь вы бросаете мне перчатку прямо в лицо и я ее поднимаю — вот и все. Если вам кажутся такими гадкими наши друзья и мы сами, то зачем же вы ходите к нам? Кто вас просит? Пора покончить эту игру в лицемерие. Вам

она дешево обходится, а нам приходится дорого платить за ваши сплетни и выдумки.

— Да разве я для вас хожу сюда? Что вы выдумали! Я для вашей несчастной матери сюда хожу, мне ее жаль!

— Я, батюшка, очень благодарна,— начала Марья Дмитриевна.

— Вы сами не знаете, что говорите! — строптиво произнесла Катерина Александровна, взглянув на мать.— Моя мать если и несчастна, так только потому, что у нее явился такой советник, как вы,— сказала она дяде.

— Хорошо обращаются с матерью, со старшими! — качая головой, произнес Данило Захарович.

— Я вас попрошу выйти вон! — указала Катерина Александровна на дверь.

Данило Захарович никак не ожидал такого конца. Марья Дмитриевна испугалась и обратилась к дорогому родственнику.

— Извините ее, батюшка! — заговорила она.— Катюша вспыльчива...

— Потрудитесь объясняться где угодно, а не здесь,— промолвила Катерина Александровна.— Я не желаю видеть у себя больше этого господина. Довольно церемоний! Нас беззастенчиво ругают, а мы улыбаемся, пора это кончить. Не нравимся — ну и прощайте!

Данило Захарович что-то говорил, но его речь выходила бессвязной; он был зелен от бессильной злости и почти задыхался. Можно было только расслышать, как он двадцать раз повторил на все лады:

— Ну, хорошо! Хорошо-с! Хорошо-о же!

Катерина Александровна, несмотря на раздражение, не могла не рассмеяться и почти весело заметила:

— Ну, если хорошо, так и желать больше нечего!

— Шутите!.. Хорошо-о! — мотнул головой Данило Захарович и хлопнул дверью.

Марья Дмитриевна побежала его провожать и извинялась перед ним за дочь. Раздраженный муж накинулся в передней на слабую женщину и выместил на ней всю злобу, которая кипела в нем под влиянием речей Катерины Александровны.

— Погибнете, на порог не пущу! — кричал он.— Выгнала! Девчонка смела выгнать! Да какая вы мать? Разве вы мать? Вы — тряпка, половая тряпка! Да вы думаете, что я это стерплю? Я этого по гроб не забуду! Я им покажу! Я им покажу!

Марья Дмитриевна все клапялась, плакала и просила простить ее «глупую» дочь. Данило Захарович не прощал.

Катерина Александровна между тем волновалась, быть может, не менее матери, но вследствие совсем других причин. Она впервые услыхала от дяди одну из тех грязных историй, которые разносились по городу праздными болтунами про близких ей людей. Она знала, что большая часть их рассказов чистейшая ложь, но в то же время она понимала, что здесь есть и известная доля правды, что близкие ей люди вели себя недостаточно осторожно, недостаточно безупречно и были отчасти виновны в том, что они сами не могли на практике подняться на недосягаемую высоту над той грязью, в которой купались разные Павлы Абрамовны и Данилы Захаровичи. Она сознавала, что эти ошибки были прямым следствием прошлой практики, что они не имели ничего общего с новыми идеями, но все же ей было больно, что господа вроде Боголюбова имеют хотя частицу, хотя призрак права иронически сказать: «Хороши и ваши!»

— Самовоспитание, безупречность, полнейшая нравственная чистота — вот чего недостает многим из нас,— говорила она вечером мужу, рассказав утреннюю историю с дядей.— Мы все еще те же старые люди; мы только усвоили известные понятия, но не сумели вполне освободиться от старых привычек, от старой распущенности... Мы не всегда можем с спокойной совестью бросить перчатку в лицо старому обществу...

Александр Флегонтович покачал головой.

— Дитя! — ласково проговорил он.— Да в чем же могут упрекнуть тебя и меня?

— Ах, что ты говоришь! — промолвила она.— Нас не в чем упрекнуть, многих не в чем упрекнуть, но ведь это потому, что мы-то простые работники, потому что мы родились и выросли работниками. Мы не потому взялись за труд, что он был в моде, а потому, что мы были голодны. Мы не потому полюбили новые идеи, что ими можно было кокетничать или щеголять, как румянами и красивыми тряпками, а потому, что только при помощи развития этих идей обеспечивалось наше существование, наша мирная жизнь. Мы не дурили, потому что нам было некогда, не из чего дурить, потому что мы не привыкли наслаждаться разнузданностью своих страстишек...

— А знаешь ли, Катя,— тихо проговорил Александр

Флегонтович,— что, может быть, скоро нам представится необходимость еще более тяжелой трудовой жизни?..

Катерина Александровна вопросительно посмотрела на него.

— Я сегодня лишился уроков и в пансионе Добровольского,— промолвил он.

— А! — отозвалась она.— Ну, что же? Разве нам много нужно? Ты сам говорил не раз, что ты рад бы оставить некоторые уроки...

— Да. Но ты знаешь причины, по которым мне отказали?

— Полагаю, что знаю.

— Эти же причины могут повлечь за собой более серьезные последствия...

— Ты знаешь, что я не боюсь ничего...

Александр Флегонтович обнял ее за талию и стал ходить с нею по комнате.

— Я не опасаюсь никаких слишком серьезных последствий всех этих тревог,— говорил он.— Но, может быть, нам придется уехать отсюда. У меня есть средства прожить первое время...

— Да, да, ведь мы капиталисты,— улыбнулась она.

— Можно бы больше скопить на черный день, да копить-то не умеем мы с тобой,— ласково произнес он.— Впрочем, руки и голова есть — не пропадем!.. Только если что случится, не волнуйся... Всему есть конец...

Она посмотрела на него светлым взором.

— Ты помнишь, мы как-то говорили, не узнаешь горького, не узнаешь и сладкого,— тихо произнесла она.— Возьмем же у жизни и частичку горечи...

— Побереги отца, если что-нибудь произойдет дурное... Жаль, что Марья Дмитриевна будет мучить тебя оханьями и вздохами.

— Саша, думай о себе и не заботься обо мне... Я ведь крепче и сильнее, чем ты думаешь... Я многое перенесла, чего не знал и не знаешь ты... Вы, мужчины, живете вне дома, вне тех мелких дрязг и сцен, которые переносим мы... Если бы я рассказала все, что иногда мучило и волновало меня, ты не боялся бы теперь меня...

— Зачем же ты скрывала? — почти с упреком произнес он.— Разве мы сошлись затем, чтобы вместе делить каждую радость и нести порознь каждое горе?

Она припала головой к его плечу и ласково заговорила:

— Милый, мы сошлись потому, что мы могли быть счастливее вместе, чем порознь... Мы делились радостью потому, что она делалась еще больше, когда мы наслаждались ею вдвоем... Мы делили горе, потому что в этом случае мы могли помочь друг другу... Но есть в жизни неприятности и скорби, которых исправить не могут никакие человеческие силы. Передавать эти неприятности другому, любящему человеку значит бесплодно волновать его, отравлять его жизнь теми впечатлениями, которые уже отравляют нашу собственную жизнь. Делать так — значит не любить человека... Верь мне, что я никогда не скрыла от тебя никакого горя, в котором ты мог хотя сколько-нибудь помочь мне. Но никогда, никогда я не говорила тебе о том, что волновало и мучило меня, но было неисправимо. Толковать об этих вещах, чтобы ныть и охать вместе,— нет, на это я не способна... Мы надоели бы друг другу и отравили бы таким нытьем самые лучшие дни нашей жизни... Теперь же, смотря на свое прошлое, мы можем сказать, что оно было светло.

Он поцеловал ее в лоб и крепче прижал к себе.

— Ты не будешь волноваться за меня? Не будешь трусить, что я не перенесу тяжелых дней? — спрашивала она.

— Милая, милая, как ты прекрасна в своей спокойной уверенности! — прошептал он.— Я никогда не любил тебя более чем теперь.

В эту минуту раздался резкий звонок. Александр Флегонтович вздрогнул. Катерина Александровна побледнела, сделала шаг к дверям, потом быстро воротилась назад, взяла мужа обеими руками за голову и горячо несколько раз поцеловала его.

— Нужно быть твердыми... без сцен...— проговорила она, подавляя волнение, и бодро пошла в переднюю.

Послышались шаги нескольких человек.

— Катюша, что это... Господи! — заохала Марья Дмитриевна, выглянув из своей комнаты.

— Ступайте в свою комнату и не выходите,— сухо и резко произнесла Катерина Александровна.

— Господи, срам какой! Что люди-то скажут!

Катерина Александровна почти силой ввела мать в спальню последней и заперла двери на ключ.

Она воротилась в кабинет мужа и спокойно раскланялась с посетителями, вежливо сделавшими ей несколько незначительных вопросов. Александр Флегонтович должен

был ехать. Он наскоро оделся и протянул руку жене. Его рука дрожала, но ее рука была только холодна, как лед.

— До свидания, Саша! — проговорила Катерина Александровна и раскланялась с посетителями.

Все вышли; закрылись двери кабинета, отворились и закрылись двери передней; Катерина Александровна все это слышала и стояла на средине комнаты своего мужа. Она смотрела как-то бессмысленно на книжный шкаф, где книги были спутаны и лежали в беспорядке, как ненужный хлам; она взглянула на этажерку, где постоянно лежали груды бумаг,— эта этажерка была пуста и стояла, как ненужная принадлежность, предназначенная к продаже; на полу валялся какой-то пустой конверт и лежало несколько лоскутков чистой бумаги. Вся комната имела какой-то странный вид, от нее веяло пустотой. Наконец молодая женщина, почти шатаясь, подошла к письменному столу и села. На нем тоже не было ни книг, ни бумаг. Здесь лежала только забытая перчатка Александра Флегонтовича. Катерина Александровна схватила ее и горячо прижала к губам, приникнув головой на стол. В комнате не слышалось ни звука, ни стонов, ни рыданий, только по конвульсивной дрожи, пробегавшей по телу Катерины Александровны, можно было заметить, что она горько плачет. Прошло довольно много времени, прежде чем она очнулась и успокоилась. Она встала и торопливо спрятала на груди перчатку мужа, как будто это была драгоценность, завещанная ей на память. Потом она вспомнила, что у нее находится в кармане ключ от комнаты матери, и пошла отпереть двери.

— Катюша, да скажи ты мне, что это стряслось? Проворовался он... или за долги, что ли? — охала Марья Дмитриевна.

— Не проворовался и не за долги,— ответила Катерина Александровна.— Просто ему нужно быть свидетелем по чужому делу, потом придет назад. Это по службе...

— Ну, уж, мать моя, не по службе, видно! Да что я теперь соседям скажу...

— А вы ничего не говорите,— хмуро произнесла Катерина Александровна.— Да и вообще говорите поменьше с людьми.

— А срам-то, срам-то какой! Вот уж пил покойный твой отец, а этакой морали не было... Что дядя-то теперь скажет? Все его корили, что вор, вор, а сами-то что... С нами-то что будет?

— Ничего не будет. Ложитесь спать.

Катерина Александровна говорила отрывисто и резко, едва сдерживая себя.

— Что ты, мать моя, да я ни за что не останусь одна... Мне бог знает что мерещиться будет...

— Положите в свою комнату кухарку... Я устала и иду спать.

Катерина Александровна вышла из комнаты матери и в передней столкнулась с Антоном. Он был одет в домашнюю холщовую блузу и, по-видимому, еще не ложился спать.

— Ты слышал? — спросила Катерина Александровна.

— Да,— ответил он.— Ты за себя спокойна?

Катерина Александровна отвечала утвердительно.

— Надо устроить так, чтобы Флегонт Матвеевич ничего не знал,— проговорил Антон.— Надо сказать, что Александр отправился неожиданно в командировку по службе. Ты мать успокоила?

— Она охает и жалуется на то, что мы осрамились на весь дом.

— А ты, конечно, разгорячилась?

— Не могу я...— начала Катерина Александровна.

Антон покачал головой.

— Пора бы привыкнуть,— холодно и серьезно промолвил он.

Катерину Александровну поразил этот тон. До сих пор Антон вел себя сдержанно, больше слушал, чем говорил. Он, казалось, оставался здоровым и сильным ребенком, заботившимся больше о еде, о физических занятиях, об уроках, чем о той деятельности, о тех идеях, которые развивались вокруг него. Он почти не занимался в воскресных школах, не присутствовал на разных лекциях, литературных чтениях и вечерах кружка. Он не дичился знакомых, но редко являлся в их кружке по недостатку времени, которое почти все уходило на учебные занятия. Гимназическая наука давалась юноше сначала не особенно легко, а он, как все самолюбивые бедняки, более всего боялся замечаний и выговоров и настойчиво старался быть первым — это значило завоевать уважение и учителей, и товарищей, стоять выше даже тех из воспитанников, которые щеголяли своими тонкими и изящными нарядами и своими экипажами. Он не был юрким пролазом и хитрым пройдохой, он не мог подкупить ближних своими материальными средствами и щедротами, но он успел сделаться любимцем

всех при помощи своего неусыпного трудолюбия и прямого, откровенного характера. Товарищи не смеялись даже над его грубоватой неловкостью, не сердились на его иногда резкую откровенность. Он стоял как будто особняком, как будто сторонился от всех, но он очень хорошо знал, что во всех затруднительных случаях товарищи обратятся именно к нему за советом или за помощью. Его домашние видели, каким трудом покупались его успехи, видели, что он охотнее занимается в свободные часы струганием досок, колонием дров, столярной работой, чем беседами на их собраниях, и любили его, но считали все-таки ребенком, мальчиком, который, быть может, даже не вполне понимал серьезность всего происходящего вокруг него. Теперь впервые Катерина Александровна как бы угадала, что он знал и понимал происходившее лучше и яснее, чем казалось. Ее удивило даже его лицо, точно она впервые видела эти черты. Перед нею стоял уже не ребенок, а юноша, здоровый, сильный, с открытым и смелым выражением в больших голубых глазах. Крупные черты этого лица выражали спокойствие и прямодушие, от них веяло какой-то деревенской свежестью и неиспорченностью. Это лицо с первого взгляда казалось не только спокойным, но почти холодным, и только в глазах, в больших, откровенных синих глазах светились добродушие и мягкость. Даже юношеская неуклюжесть была полна своеобразной прелести. Она являлась скорее следствием неумения нежничать, непривычки быть в обществе, отсутствия хитрости, чем следствием грубости и черствости натуры. Сестра невольно протянула руку брату. Он крепко пожал ее своей широкой рукой.

— Ты ложись,— проговорил он.— Устала, я думаю. С матерью-то я переговорю.

— Ты ничего не поделаешь.

— Да тут и делать нечего. Скажу, что нужно молчать, если не хочет себе повредить. Ну, и будет молчать. Вы все препираетесь, доказываете, волнуетесь, а тут нужно поступать проще. Соврать, что нас всех с лица земли сотрут, если мы хоть одно слово скажем, ну, и будет безмолвствовать.

Брат простился с сестрой и прошел к матери. Она бросилась к нему с жалобами.

— Знаю, знаю! — отрывисто произнес он.— Только теперь не следует об этом говорить. Как только скажете хоть кому-нибудь, что случилось, сейчас самих же притянут, сообщницей сочтут. Вы лучше делайте вид, что ничего не

знаете. Спросят: как? что? А вы отвечайте: уехал куда-то по делам. Спросят: кто приезжал? Отвечайте, что спали, что не знаете. Наша изба с краю — ничего не знаю, вот и весь ответ.

— Да как же, батюшка Антоша,— заохала Марья Дмитриевна.

— Да так же, маменька! Что ни спросят соседи, говорите: не знаю. На нет и суда нет! Чего нам в чужом пиру похмелье терпеть?

— Боюсь я...— начала Марья Дмитриевна.

— Трусиха вы у меня, как посмотрю я на вас,— добродушно рассмеялся сын.— Ложитесь-ка лучше спать; утро вечера мудренее. Будьте молодцом!

Он приласкал мать, как-то неумело и неуклюже, но в то же время задушевно погладив ее по голове, как ребенка. Старуха даже рассмеялась.

— Ишь ты меня, как ребенка, ублажаешь,— заметила она.

— Да разве мы все не дети? Вон Мафусаил больше девятисот лет жил, так мы перед ним совсем ребята,— пошутил сын.

— Истинно ребята, ничего-то не знаем, ровно впотьмах ходим,— вздохнула Марья Дмитриевна.

— Вот погодите, все после узнаем. А теперь отдохните.

Поговорив еще минут пять с матерью, Антон ушел в свою комнату, убедившись, что мать совершенно успокоилась. Довольно долго ходил он по комнате с нахмуренным лбом и озабоченным видом. Он думал, что будет с семьей. Потом вдруг передернул плечами и усмехнулся.« Ну, что ж, опять будем у старого корыта!» — промолвил он почти вслух и лег на постель. Ему припоминались строки из сказки Пушкина «Золотая рыбка», и по его губам скользнула улыбка. «Этого нужно было ждать,— думалось ему.— Это ничего. Сестре нужно сосредоточиться, отдохнуть... Да, отдохнуть... Только бы эти тревоги не слишком потрясли ее... Лучше бы было, если бы обошлось без них, если бы мирно удалось перейти на более определенный путь...» Ему вспомнились строфы любимого поэта, посвященные «памяти приятеля», где говорится, как эта «наивная и страстная душа, упорствуя, волнуясь и спеша», шла быстрыми шагами к высокой цели под влиянием своих страстных стремлений. «Да, сестра, Александр, все они принадлежали именно к числу таких людей,— думалось Антону.— Им

нужно отдалиться на время от всего, что мучит и волнует их теперь. Так идти дальше невозможно. Тут слишком много увлечений и слишком мало расчетливости... Но когда же расчетливо и без увлечений совершается что-нибудь новое?.. Мы, может быть, пойдем спокойнее к одной какой-нибудь цели, но ведь мы освоились с новым, мы развились под влиянием этого нового...»

Он поднялся с постели и прошелся по комнате. «Только бы пережили они все это! — мелькнуло в его уме.— Пусть уедут, пусть отдохнут. Я с матерью проживу как-нибудь... Старухе тяжело будет очутиться опять у старого корыта... Надо будет работать, чтобы она не нуждалась...»

Он подошел к окну — на дворе было совсем светло. Он отворил окно и полной грудью дышал свежим утренним воздухом, слегка шевелившим его густые, русые кудри.

В выражении его лица не было и тени аффектации; в его голове не промелькнуло ни одной мысли о том, что ему предстоит «тернистый путь», что он должен будет «геройски выносить все невзгоды для спасения спокойствия старой матери», что «он берет на себя тяжелый крест»; в его сердце не было озлобления на то, что все так случилось, что «на их семью обрушились страшные бедствия». Он просто, без всякого драматизма, очень прозаично думал, как выйти из затруднительного положения и за что приняться на первых порах, чтобы вернее добыть копейку...

Семье пришлось пережить несколько тяжелых месяцев неизвестности. Наконец все разъяснилось: Прохоровым пришлось выехать из Петербурга...

VI

ЭПИЛОГ

Неслись дни за днями и уносили за собой и жгучие скорби и бурные радости прошлого, сменяя их менее страстными тревогами и надеждами. Крайности сгладились, затушевались. Все более или менее, так или иначе входило или вошло в обычную колею и прилаживалось к новым порядкам, бесповоротно вошедшим в жизнь, и только исподтишка негодовало или радовалось по поводу того, что еще не вошло в жизнь. Даже литература, это вечное отражение направления образованного меньшинства, приняла более спокойный тон. В ней появилось много людей, которые помещали свои произведения то в консервативных, то в прогрессивных журнальных органах, и, по-видимому, ни они, ни журнальные редакции не удивлялись этой спо-

собности работать в пользу двух различных направлений, этому стремлению поддерживать своими трудами в одно и то же время и успех консерваторов, и успех прогрессистов. Это не были перебежчики — это были либералы. Либерализм сделался господствующим оттенком. Те безымянные личности, которые едко смеялись над прогрессом с плясками, пением и свистом, стали такими же безымянными защитниками либеральных идей, те люди, которые под псевдонимной подписью ожесточенно бранили какого-нибудь молодого деятеля шестидесятых годов, стали хвалить его после смерти, переменив для большего удобства свой псевдоним, и бранили уже только тех, кто пережил его; кто под влиянием минутного страха прочел оду в каком-нибудь клубе, тот, успокоившись за свою участь, стал писать сатиры на тот же клуб; жгучая литературная полемика, бывшая выражением мнений известных партий, перестала иметь значение неизбежного, изо дня в день повторяющегося явления и стала повторяться только периодически «перед подпиской», в течение трех-четырех зимних месяцев, замолкая на остальные восемь-девять месяцев; и главную роль стала играть в ней не идея, а личность; общество, следившее прежде за свистом полемических статей с напряженным и тревожным вниманием, стало теперь смотреть на полемические полексизмы с улыбкой благодушествующего после обеда человека, которому любопытно посмотреть, как «отделают друг друга временно-обязанные враги». Хуже ли, лучше ли стало этим людям от этих полюбовных сделок — не знаем, но они думают, что им так живется спокойнее. И благо им!

Стало житься спокойнее и действующим лицам нашего романа. Мы мельком скажем о их дальнейшей судьбе. Уступим первое место почетному гостю на жизненном пиру Алексею Дмитриевичу Белокопытову.

В его жизни был один неясный, странный поступок: хорошо зная этого господина, трудно было понять, почему он согласился допустить признать сумасшедшей свою мать и дозволить моту отцу распоряжаться имением. Мать, во всяком случае, не могла столько тратить на своих бедных, сколько тратил отец на разных Матильд, Алексею Дмитриевичу было выгоднее видеть имение в руках матери, чем в руках отца. Проникнуть в тайные соображения юного либерала было нелегко и можно было с первого раза сказать, что он сделал промах, что он упустил из виду

свои собственные интересы. Но он был вовсе не так прост, не так глуп. Он тайно задумал убить разом двух зайцев, и это удалось ему как нельзя лучше. Надо отдать ему справедливость: он умел обделывать дела. Он очень хорошо знал скупость и недоверчивость матери, очень хорошо знал, что Дарья Федоровна никогда не откажется от кормления своих бедных, что она косо смотрит на него самого, что нужно вызвать какими-нибудь экстренными и энергическими мерами ее доверие и прибрать ее к рукам. Он смело подтолкнул отца на признание Дарьи Федоровны за сумасшедшую; он допустил засадить ее в одну комнату; он дозволил отцу пожуировать некоторое время. Но, делая все это, он замышлял свой coup-d'état[1]. Видя, что его тайные планы насчет дворянской реформы должны потерпеть фиаско, видя, что ему надо разойтись с крайней партией, он поспешил тотчас же заняться своими личными делами и мысленно решил, что теперь настала минута для семейного переворота. Посещая довольно часто мать, он сначала с чувством выслушивал ее жалобы и жаловался ей, что дела по имению все больше и больше запутываются Дмитрием Васильевичем: иногда он замечал, что он охотно бы взял управление этими делами, если бы у него не было такого множества занятий, и вообще умел выставить себя в глазах матери совсем в другом свете, чем прежде. Она увидела, что он один любит и ценит ее, забытую всеми. Но это были только подготовительные работы, самый же переворот откладывался покуда до более благоприятного случая.

Этот случай представился в то время, когда молодая графиня Белокопытова заставила Софью Андреевну отказаться от лекций, читавшихся на половине последней. В первое же заседание комитета, последовавшее за этим запрещением, молодая Белокопытова под влиянием мужа заявила членам комитета, что ей кажется подозрительной личность Софьи Андреевны, что эта женщина сближается с неблагонадежными людьми, что она под видом разных невинных нововведений проводит вредные идеи, что приют может обратить на себя внимание как рассадник подобных идей. Конечно, как и следовало ожидать, все эти замечания встретили рыцарскую оппозицию со стороны Дмитрия Васильевича и Свищова. Первый стоял за Софью Андреевну как за «изобретательницу средств», второй отстаивал ее по молодости и нежности своего впечатлительного сердца,

[1] государственный переворот *(фр.)*.

склонного защищать каждое смазливое личико. Прения начались очень оживленные.

— Эти все нововведения пахнут идеями об эмансипации женщин,— говорил Алексей Дмитриевич.— А нам нужно прежде всего не каких-нибудь полуобразованных проповедниц женского труда, а хороших служанок. Члены комитета в последнее время сделались игрушками в руках этой авантюристки и ее кружка, они уклонились от прямой цели, к которой должен идти приют... К счастию, все эти модные бредни начинают проходить, и мы должны трезво взглянуть на дело. Мы должны взять в руки приют, должны показать, что мы руководим им, а не нами руководит какая-то эмансипированная барыня сомнительного поведения...

— Позвольте, позвольте, граф! — заговорил верный рыцарь всех хорошеньких женщин Свищов.— Мы, как мужчины, как развитые люди, не имеем права оскорблять и чернить за глаза женщину!.. Я думаю, что на нас лежит обязанность...

— Прежде всего думать о приюте, а не о защите той или другой личности, не имеющей для нас никакого значения,— холодно перебил его Алексей Дмитриевич.— Мы уклонились от устава приюта, от устава, написанного учредителями приюта. Мы действовали незаконно, приступая к различным нововведениям, прежде чем было испрошено на это формальное разрешение. Конечно, это прошло, к нашему счастию, незамеченным, так как наше положение отчасти спасает нас от подозрений. Но мы-то, кажется, должны сами знать, что не нам подавать пример неисполнения законных обязанностей, законных требований... Я не знаю, какие планы имел комитет, покровительствуя развитию в приюте этих разных вредных — да, вредных,— идей, но я думаю, что господа члены комитета допускали разные нововведения только потому, что они недостаточно серьезно смотрели на дело и очень плохо знали, с кем они имеют дело... Обстоятельства заставили меня столкнуться довольно близко с людьми, вращавшимися в кругу этой... как ее зовут?.. да, в кругу этой Вуич, и я могу сказать, что их близость может набросить тень на самую светлую и безупречную личность...

— Как жаль, что твоя жена поручала даже воспитание своего сына одному из членов этого кружка,— иронически заметил Дмитрий Васильевич.

— Да, это очень грустно, но я познакомился с этим

господином через вас,— мельком ответил сын.— Итак, господа, если мы желаем сохранить за приютом прежний характер, если мы не желаем его закрытия помимо нашей воли, то мы должны очистить его от настоящего начальства.

— Я думаю, что члены комитета должны дорожить госпожой Вуич уже потому, что она улучшила материальное положение приюта, не требуя от комитета никаких прибавок,— возразил Дмитрий Васильевич.

— Не знаю, насколько улучшила она положение приюта, но я знаю, что до сих пор по недостатку средств при приюте не кончена постройка церкви,— заметил Алексей Дмитриевич.— Мне кажется, что об этом мы должны были прежде позаботиться, чем о найме разных учительниц для этих девочек, из которых нужно приготовить нравственных и религиозных служанок, а не каких-нибудь полуобразованных искательниц приключений и поклонниц новых идей... Мне кажется, что эта недостроенная церковь одна могла дурно повлиять на детей, которые видели, что у нас достает средств на все и не находится только ни гроша на то, чтобы достроить храм. Я не знаю, чем руководствовались господа члены комитета, оставляя без внимания это обстоятельство, которого не упустили бы из виду благотворители где-нибудь в Англии,— но могу уверить их, что если бы между нами продолжала заседать моя мать, то этого не могло бы случиться. Она, может быть, во многом ошибалась, но она очень хорошо знала значение религии для бедного и малообразованного класса народа. Религия — это то утешение бедняков, которого мы не смеем, не должны отнимать,— это все, что осталось неприкосновенного у бедных людей.

— Ты забываешь, что церковь строилась не на комитетские суммы,— заметил Дмитрий Васильевич.— Мать начала ее строить из своих денег... Дела были так запутаны, что нужно было подождать...

— Если дела так запутаны, то комитет должен был принять на себя эту постройку,— ответил Алексей Дмитриевич.

Некоторые члены испугались предстоящих затрат. Другие заметили Алексею Дмитриевичу, что, обвиняя членов комитета, он обвиняет в том числе и себя.

— Я, господа, вообще мало принимал участия в делах приюта. Я знал, что в нем все будет идти отлично, покуда им заведует моя несчастная мать. Когда ее деятельность кончилась, я был, к сожалению, отвлечен от занятий в на-

шем комитете более важными, более высокими делами, которые не терпели отлагательства,— скромно и грустно ответил Алексей Дмитриевич.— Если бы этого не было, то, конечно, не случилось бы многих прискорбных, прискорбных лично для меня, фактов, которые вообще совершились в это время... Конечно, и приютская церковь была бы достроена без помощи комитета, была бы достроена моей бедной матерью...

Алексей Дмитриевич вздохнул. Дмитрий Васильевич нахмурился. Некоторые члены комитета стали перешептываться о том, что Алексей Дмитриевич совершенно прав, что Дарья Федоровна непременно нашла бы средства достроить церковь, не требуя помощи у членов комитета, что теперь члены стоят в очень неприятном положении, видя необходимость окончания не ими начатой постройки, а значит, и выдачи из своего кармана больших денежных сумм. Заседание получило какое-то странное направление. Алексей Дмитриевич упрекал и запугивал членов комитета и в то же время возбуждал в них сожаление об отсутствии Дарьи Федоровны. Покуда никто не мог определить, куда их ведет и чего добивается юный Белокопытов. Только один Ермолинский, зорко следивший за каждым словом Алексея Дмитриевича, по-видимому, понял дело лучше всех и мельком тихо заметил кому-то из членов, что он слышал, будто бы Дарья Федоровна «поправляется» и даже совершенно «поправилась». По окончании заседания к Алексею Дмитриевичу подошел член комитета, услыхавший эту отрадную новость от Ермолинского, и спросил:

— Я слышал, что ваша матушка поправилась?

Алексей Дмитриевич тяжело вздохнул.

— Я, по крайней мере, нахожу, что это так... Я молчал покуда, не желая вмешиваться в дела отца, боясь ошибиться... Это одна из тех ран, до которых страшно дотронуться: они, может быть, и зажили, залечились, а между тем все-таки боишься разбередить, растравить их снова... А вы от кого об этом узнали?

— Да это все начинают говорить,— ответил член комитета.— Вот и Ермолинский...

Ермолинский с улыбочкой на лице вырос как из-под земли, выставив вперед свое сахарное личико. Алексей Дмитриевич зорко взглянул на него и крепко пожал ему руку.

— Постарайтесь не говорить об этом,— заметил он грустно.— Я не хочу, чтобы эта семейная драма наделала шуму... Я как-нибудь постараюсь переговорить с отцом...

Он еще раз пожал руку Ермолинскому и члену комитета. В этом рукопожатии было столько благодарности, что оба собеседника поняли, как дорого для Алексея Дмитриевича «нераспространение» неожиданно возникших слухов, и, дав обещание молчать, поспешили разнести повсюду молву о выздоровлении Дарьи Федоровны.

Через неделю Алексей Дмитриевич уже не знал, как отделаться от вопросов о выздоровлении его матери, эти слухи доходили и до Дмитрия Васильевича и старик был встревожен не на шутку.

— Мы начинаем делаться сказкой города,— говорил он сыну.

— Удивляюсь, кто это распространяет слухи,— пожал плечами сын.— Чужие дела заботят! Я старался, старался заглушить толки, но, наконец, сил не хватает, терпение лопается... Везде только об этом и трезвонят... Надо бы принять меры...

— Да какие, какие меры можно тут принять? — волновался Дмитрий Васильевич, потирая лоб.

— Нужно снова сделать медицинское исследование,— заметил сын, пожимая плечами.— Хотя это, право, очень тяжело...

Дмитрий Васильевич нахмурил брови и заходил по комнате.

— Я, кажется, сам скоро сойду с ума!

— Я, право, не понимаю, почему ты так волнуешься,— небрежно заметил сын.— Я на твоем месте назначил бы самым торжественным, самым публичным образом медицинский осмотр. Это неприятно, но это сразу прекратило бы все толки, все подозрения.

Дмитрий Васильевич был мрачен.

— Да, а если окажется, что она здорова? — глухо спросил он.

— Тем лучше, если она поправилась. Ее положение очень неприятно, и, конечно, мы первые должны радоваться ее выздоровлению,— заметил Алексей Дмитриевич.— Но, к сожалению, ты больше всех других должен быть убежден, что она нездорова, что ее нельзя признать за здоровую...

— А если я не убежден в этом? — отрывисто проговорил отец.

— Не понимаю, что за охота тебе шутить такими вещами,— пожал плечами Алексей Дмитриевич.— Кажется, са-

мый факт признания ее сумасшедшей достаточно доказывает, что ты убежден в этом.

Дмитрий Васильевич широко открыл глаза. Он не понимал, что говорит сын.

— Но ведь ты сам настаивал на этом,— заметил он.

— Мой друг, я и теперь настаиваю на этом,— ответил Алексей Дмитриевич.— Я никогда не считал возможным, чтобы имения, особенно такие имения, как имение матери, находились в руках человека с ненормальным состоянием рассудка... Допускать подобные вещи вообще нелепо, но теперь, в настоящее время, когда дворянство должно начать новое, более деятельное хозяйство, это просто преступление... Россия страна земледельческая, и мы, крупные землевладельцы, должны поднять земледелие, должны подражать Англии... Для этого нужны практические, здоровые умы... Но, конечно, если будет доказано, что мать находится в здравом уме, то, разумеется, я буду рад не менее тебя тому, что ее освободят от того печального положения, в котором находится она теперь...

— Так ты был убежден, что она находится не в здравом уме? — почти воскликнул Дмитрий Васильевич.

— Я думаю, этот вопрос совершенно лишний,— заносчиво ответил Алексей Дмитриевич.— Мы можем с тобой расходиться в убеждениях, но мы все-таки считаем, должны считать друг друга честными и благородными людьми...

Дмитрий Васильевич потер лоб. Его мысли путались, кровь бросалась в голову. Он ходил по комнате и что-то бормотал про себя.

— Я знаю, как тяжело тебе начинать опять это медицинское исследование, растравлять опять это больное место нашей семьи,— с участием заметил сын.— Но все же нужно решиться, чтобы прекратить слухи и чтобы не вызвать какой-нибудь неприятности. Ведь может случиться так, что нас «заставят» сделать подобное исследование... Тогда будет гораздо неприятнее...

Отец и сын на прощание дружески пожали друг другу руки. Ни тот, ни другой не выдал ни одним словом, какие чувства они питали друг к другу. Какая неизмеримая пропасть лежала между обращением этих людей друг с другом и обращением, например, Катерины Александровны с Марьей Дмитриевной или обращением Леонида с Павлой Абрамовной!

Прошло несколько тяжелых дней и недель, наконец к Дарье Федоровне были призваны снова доктора... Этот

день был торжественным днем для всей семьи. Дарья Федоровна снова была признана здоровой, Алексей Дмитриевич ликовал и даже обнял отца, горячо пожал его руки. Дмитрий Васильевич не изъявлял особенной радости, но отвечал бессознательно и на объятия и на рукопожатия сына и улыбался, как-то горько, бессмысленно улыбался. Дня через два разнесся слух о его болезни, потом нашли необходимым отправить его за границу. Алексей Дмитриевич получил от матери право управлять имением и приступил к исполнению новых обязанностей очень энергично, испросив концессию на железную дорогу, которая должна была пройти через имение Белокопытовых. Дарья Федоровна оставила за собой только право ездить в приют и хлопотать об окончании постройки приютской церкви.

В первые же дни своего вступления в управление приютскими делами Дарья Федоровна сочла нужным все изменить в приюте и учредить в нем старые порядки. Старый устав вошел в силу так же легко, как он был отменен несколько времени тому назад. Этот факт был очевидным доказательством того, что уставы можно менять по прихоти, как старые платья. Софья Андреевна получила отставку, а вместе с ней вышли и новые помощницы. В начальницы была взята престарелая барыня. Наконец кончилась и постройка церкви; Дарья Федоровна сама мыла полы в новом храме, окруженная воспитанницами приюта, подававшими ей воду и полотенца и выслушивавшими ее наставления.

— Молитесь, молитесь!.. Бога забыли! — отрывисто твердила графиня.

В день освящения церкви в приюте появилась в числе новых помощниц и Ольга Никифоровна Зубова, высоко поднявшая голову.

— Здравствуйте, Ольга Никифоровна,— сказала ей одна из старых воспитанниц.

— Ладно! — мотнула головой Зубова с таким видом, как будто она хотела пригрозить.

Это был новый способ здороваться, вошедший теперь у Зубовой в привычку.

— Ну, теперь я могу умереть спокойно,— говорила Дарья Федоровна, широко осеняясь крестом.— Я все, все сделала... Ты видишь, создатель мой!

Таким образом обратились в прах все стремления, все хлопоты Софьи Андреевны и Катерины Александровны.

Софья Андреевна писала Катерине Александровне обо всем и заметила между прочим: «Теперь я вижу, что мы строили здание на песке. Все эти частные благотворительные учреждения зависят от прихоти двух-трех лиц. Общество и общественное мнение не влияют на них и не заставляют учредителей сдерживать свой произвол. Эти господа, эти благотворители могут делать что угодно, и никто не имеет права остановить их. Они за свои деньги иногда могут портить и губить целые поколения людей, а общество будет молчать. Но должно ли оно молчать? Не должно ли оно вмешиваться самым серьезным, самым радикальным образом в дела этих благотворителей? Ведь за свои деньги они могут губить и портить детей, которые будут слугами и членами общества. Мы в наивном увлечении взялись осушить и возделать это болото, но мы рассчитывали без хозяев этого болота. Хозяевам нужно было не его осушение, им нужна была не его плодоносность,— им нужен был просто, как игрушка, этот клочок земли, освобожденный он контроля общества, это государство в государстве, где каждый сумасшедший считает себя вправе делать, что угодно. Изменение уставов, уклонение от них, полнейшая бесконтрольность, сосредоточение наблюдения в руках тех же членов распорядительного комитета, полнейшая замкнутость, возможность не публиковать подробных отчетов — вот права этих господ. Сегодня здесь учат хоть грамоте и кормят хотя четыре раза в неделю плохой говядиной,— завтра здесь могут не учить ничему и кормить только постным; сегодня здесь дают плохое белье и жидкий чай,— завтра могут не давать никакого белья и не поить никаким чаем; сегодня здесь учат шить только белье и обращаются просто грубо,— завтра могут начать учить шитью только одного солдатского белья и обращаться не просто грубо, но по-зверски,— все это может делаться и общество будет молчать, потому что приют существует на частные средства. Ну, а если бы на частные средства устроить дома, где с колыбели приготовлялись бы проститутки, воры, убийцы? Тогда что же? Тоже должно молчать общество? Или нет, в этом случае оно будет иметь право вмешаться в дела благотворителей? Но где же граница между правом вмешательства и правом невмешательства? И как определить, является ли гибель этих детей следствием сознательно составленных зловредных планов или следствием простого неумения, педагогической несостоятельности? Да если бы и было возможно подобное опре-

деление, то не все ли равно для общества, вследствие каких причин губят его членов. Результат один».

Софья Андреевна была сильно взволнована падением заведенных ею порядков, но со свойственной ей подвижностью характера она быстро подняла голову и, затягиваясь пахитосой, говорила в своем кругу:

— Впрочем, что тужить! Не удалось жить самостоятельным трудом — уеду к бабушке в деревню зевать, хозяйничать и смотреть, как она раскладывает пасьянсы...

— Вам бы лучше за границу уехать, кузина. К бабушке еще успеете переселиться,— заметил один из кузенов Софьи Андреевны.

— Я и сама об этом думала,— в раздумье произнесла Софья Андреевна.— У меня есть случай...

— Так ловите его! Годы летят...

— А, ба! — встряхнула головой Софья Андреевна.— Как это, кузен, у Лермонтова-то говорится о том, что уходят лучшие годы?

Кузен прочел стихотворение Лермонтова: «И скучно и грустно».

— «И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, Такая пустая и глупая шутка!» — повторила Софья Андреевна и кокетливо выпустила струйку дыма.

— Значит, мы встретимся где-нибудь на водах или в Италии,— решил кузен.

— Да, да, там небо лучше, там дни светлее...

— Может быть, кузина, и ваше сердце сделается там мягче,— игриво шепнул кузен...

— По-смо-трим, по-смо-трим! — протяжно проговорила Софья Андреевна с лукавой улыбкой.

— Ехать, кузина? Искать с вами встречи? — смеялся кузен.

— Отчего же нет?.. По-смо-трим! — звонко засмеялась Софья Андреевна.— А покуда не делайте умильных глаз!

Через месяц она уже неслась за границу, сидя в отдельном купе с Свищовым и поминутно заставляя старика поправлять то подушку, то скамейку. Старик был ее покорным рабом, а она смеялась и шутила, как ребенок, и ветрено думала о том, где она встретит своего кузена, при какой обстановке, под каким небом. В ее голове вихрем роились какие-то отрывки воспоминаний, какие-то клочки и кончики серьезных идей, какие-то строки стихов о небесах Италии, о дальнем Средиземном море. Все это путалось и мешалось в ее уме. Она тихо напевала: «Лови,

лови часы любви!» — и то смеялась, то задумывалась. Это было какое-то вакхическое настроение, какое-то болезненное стремление в последний раз отпировать, безумно отпировать на празднике жизни, чтобы потом навсегда поселиться в глухой деревне у бабушки, коротать век за пасьянсами, за скучным хозяйством, быть может, иногда вспоминать о бурных днях безумно проведенной жизни, порой молиться, поститься, каяться и мало-помалу превратиться в богомольную старуху, боящуюся смерти, угрюмо и строго глядящую на веселье молодежи и иногда с особенным чувством целующую в щеку какого-нибудь раскрасневшегося шестнадцатилетнего мальчугана из дальних родственников...

В то время, когда так хорошо устроились дела Белокопытовых и Софьи Андреевны, семействам Боголюбовых и Прилежаевых жилось далеко не так хорошо.

Данило Захарович был очень рад, злобно рад, что Прохоровы наконец «попались». Он попробовал растравить сердечные раны Марьи Дмитриевны, но был позорно изгнан из ее квартиры Антоном, изгнан без объяснений, без препирательств.

— Вот бог, а вот и порог,— спокойно произнес Антон при появлении Данилы Захаровича и этим раз навсегда покончил все счеты с дядей.

Данило Захарович позеленел, озлобился еще более, но сделать ничего не мог. Свою злобу он выместил на домашних, но, к сожалению, и здесь его злоба производила мало эффекта. Лидия была уже в институте. Леонид кончил курс и, поступив в университет, переехал от отца. Дело не обошлось без борьбы. Главной причиной ссоры было желание Леонида поступить в университет, тогда как Данило Захарович хотел определить его на службу, говоря, что он должен теперь кормить и содержать свою «бедную» семью. Леонид выдержал характер и был выгнан из отцовского дома. Оставалась одна Павла Абрамовна как козлище очищения, но и она очень тупо, очень бесчувственно стала относиться к брани и злобе мужа: она начала пить. Вино явилось единственным утешением этой глупой, неразвитой и животной натуры. Носились слухи, что Данило Захарович начал даже пускать в дело физическую силу для того, чтобы образумить жену. Но и это не помогало. Он стал запирать деньги — она стала продавать свои тряпки. Он стал запирать и их — она выходила под вечер на улицу и просила у прохожих «трех копеек на

перевоз», «гривенника на машину». Она возвращалась домой «не в своем виде», ее «пилила» тетка мужа, ее бил супруг,— но она глупо улыбалась или так же глупо плакала — и толстела. Семья жила по-нищенски, в жалком домишке на Песках, хотя у Данилы Захаровича и у его тетки лежали довольно крупные капиталы. Песочные жители очень хорошо знали и хмурую слонообразную фигуру Боголюбова и сморщенную злую физиономию черносалопницы — тетки Боголюбова, и толстое, оплывшее и обрюзгшее лицо Павлы Абрамовны и находили немалое удовольствие в толках об этой семье, рассказывая чудеса о ее сказочных богатствах и ужасы о ее «домашнем аде». Рассказывали, что Данило Захарович пускает деньги в оборот, отдавая их за большие проценты разным «матушкиным сынкам». Каждую заутреню, каждую обедню можно было встретить племянника и тетку в церкви Рождества богородицы; племянник становился здесь впереди всех и пугал шаливших или плохо молившихся ребятишек; тетка становилась в конце храма около нищих и черносалопниц и собирала или передавала местные и домашние сплетни; каждый вечер можно было увидеть, как пробиралась тайком около заборов домой Павла Абрамовна, нетвердо переплетавшая распухшими ногами, иногда окружаемая подсмеивавшимися над нею мальчишками. С Леонидом семья не встречалась и не справлялась, как он жил, где он брал деньги. Впрочем, если бы Данило Захарович и взглянул на тяжелую жизнь, на жалкую каморку Леонида, то он не расчувствовался бы: ведь он и сам жил не лучше. хотя, конечно, мог бы жить без нужды, без грязи. Впрочем, Данило Захарович в последнее время стал менее негодовать на судьбу: он записался членом какого-то благотворительного общества и за свой «кровный» рубль серебром в месяц получил право распекать нищих и командовать ими. Таким образом, он снова сделался почетным лицом...

Леонид же тотчас по переезде из дома отца поселился у Марьи Дмитриевны. Марья Дмитриевна уже жила в глухой части города, жила только с Антоном. Первое время новой жизни Марьи Дмитриевны и Антона было тяжелым временем.

Кто не видел хоть мельком жизни трудящейся и учащейся бедной молодежи? Что она делает? Чем добывает гроши? Корректура, переписка, переводы, раскраска географических карт, уроки — одним словом, все, что попадет под руку, не упускается ею из виду и дает иногда воз-

можность кое-как свести концы с концами, не доедая, не допивая, теснясь в холодном углу. Эта жизнь выпала на долю Антона, а потом и Леонида. Они общими силами завоевывали с бою каждый кусок хлеба и содержали Марью Дмитриевну. Только летом, когда им обоим удалось заполучить выгодные учительские места в отъезд, они немного отдохнули и, так сказать, стали на ноги, скопив кое-какие крохи. Только через три года они окончательно завоевали себе более твердое положение, заручившись репутацией порядочных работников и обширным знакомством в кругу людей, дающих работу. Улучшение материального положения ознаменовалось только тем, что молодые люди перестали жаться с матерью в сыром подвале, а наняли более чистую, более удобную квартиру, состоявшую из двух комнат и кухни. Они так сблизились между собою, так дружно жили вместе, что их считали родными братьями. Их было даже трудно различить по одежде: у обоих одинаковые высокие сапоги, низенькие клеенчатые фуражки, черная суконная одежда, не отличающаяся особенно красивым фасоном, но прочная и недорогая; летом она сменялась иногда серыми блузами или нанковыми пиджаками, походившими на коротенькие пальто. Оба молодые человека занимались естественными науками: один в университете, другой в технологическом институте. У них выработалась мало-помалу особая программа занятий: естественные науки и политическая экономия стояли на первом плане; первые три лета были проведены ими без пользы в различных деревнях; на четвертое лето, когда дела пошли уже совершенно хорошо, оба брата отправились в Москву, а оттуда то пешком, то на пароходах по России. Они хотели на месте изучить народный быт, положение заводского дела, развитие народного образования. Останавливаясь у разных товарищей и приятелей, большей частию из духовного звания, из семинаристов, они близко сходились с простым народом, с народными учителями, с рабочими. Иногда эти путешествия не только окупались, но даже приносили молодым людям материальную пользу, так как давали возможность посылать то в ту, то в другую газету корреспонденции. Этим работам оба брата не придавали особенного значения, хотя и сознавали, что обществу недурно напоминать о некоторых вещах. В материальном отношении, конечно, подобные мелкие работы были не безвыгодны. Эти долгие путешествия восстанавливали физическое здоровье молодых людей, тратившееся очень

сильно зимой среди трудовой и бедной жизни в столице, где приходилось сидеть и работать по двенадцати часов в сутки, иногда дрогнуть от холода и не всегда насыщаться вполне даже кониной. Столкновения с народом, с фабричными, с провинцией наложили на них какой-то особый отпечаток простоты, свежести и трезвости взглядов на жизнь. Вглядываясь попристальнее в них, можно было заметить значительную разницу в характерах обоих братьев: Антон был откровеннее Леонида, он был более прост, его манеры были несколько угловаты, он смотрел на жизненные невзгоды более выносливо, более спокойно, в нем почти не было озлобления, он нередко бывал весел, как ребенок. Но он не умел держать себя свободно на полированных паркетах блестящих зал, куда попал в качестве учителя, в качестве «интересного экземпляра новой молодежи». Он угрюмо смотрел на потемневшие картины древних мастеров, стоящие тысяч и не занимающие уже никого и прежде всего своего владельца, погруженного в думы о денежных оборотах и, может быть, тайно раздражающегося при виде этого мертвого капитала, завещанного ему предками; он неуклюже сторонился от длинных бархатных шлейфов, покрытых брюсельским кружевом и подметающих пыль; он неловко сгибался под тяжелыми шелковыми портьерами, заслоняющими доступ свету и чистому воздуху. Он сам понимал, что он неприятный собеседник этих либеральничавших людей, когда однажды, слушая их толки о бедняках, он заметил: «У вас на стенах висит счастие десятка этих бедных семейств». Он видел, что при этих словах лица присутствующих стали так же мрачны, как лица изображенных на картинах людей, на тех древних картинах, на которые указывал он. В Леониде, напротив того, сразу замечалась привычка бывать в более избранном обществе, уменье ловко и осторожно спорить, прибегая к разным софизмам и пуская в ход тонкую вкрадчивость; но он легко раздражался от всяких неудач и было заметно, что на нем тяжело отозвались скорбные дни голода и холода, наступившие для него после привольной жизни в богатой семье. Оканчивая курс, он с радостью принял предложение ехать за границу для пополнения своего научного образования. Антон же отказался от предложения поступить на довольно выгодное место и поступил в медико-хирургическую академию. Ему хотелось быть не только техником, способным управлять фабрикой или заводом, но и медиком.

— Я покуда знаю, как следует устроить завод, чтобы

в нем были и не портились хорошие машины,— говорил он.— Теперь надо узнать, как устроить завод, чтобы в нем были здоровые рабочие, чтобы они не погибали, как мухи, в случае болезни. Времени впереди много — еще успею сделаться практиком...

Рабочий вопрос начинал интересовать его все сильнее и сильнее. В то же время он не без цели начал все более и более сближаться с семинаристами в провинции.

В кругу Антона и Леонида появилось несколько приятелей, вышедших из самых низких слоев общества. Среди этих людей особенно замечателен был один юрист, сын крестьянина, получивший в университете золотую медаль, сделавшийся довольно известной личностью после напечатания своей диссертации и уехавший за границу в одно время с Леонидом. Эта личность, подававшая особенно блестящие надежды, была очень дорога Антону, так как она вышла из народа и оставалась близкой к народу, продолжая находиться в самых теплых, в самых искренних отношениях со своей семьей, со своими односельцами.

— Это черноземные силы на свет выходят,— говаривал Антон и горячо, со всем увлечением молодости толковал о том, что теперь настает пора, когда будут захватывать все большее и большее место в области мысли эти свежие силы, выходящие из народа, прошедшие тяжелую школу, закаленные и твердые.

Непременным и главным условием для хорошего направления этих сил он считал то, что они должны оставаться близкими к народу, должны не обрывать связей со своей непросвещенной и темной семьей, деревней, провинцией. Он безнадежно махал рукой на каждого развитого и подающего надежды юношу, который отрывался, отворачивался от своей непросвещенной семьи или высокомерно глумился над теми людьми, из среды которых он вышел.

— Это будут не друзья народа, а те же кулаки,— говорил он,— какие вырабатывались из разных откупщиков и Титов Титычей, вышедших из народа и потом прижимавших народ.

Он сам жил в тесной дружбе со своей матерью и практически доказывал возможность той терпимости развитого человека в отношении к неразвитым людям, о которой горячо проповедовал в своем кружке. Марья Дмитриевна видела, как неусыпно работает сын, она понимала, что он старается насколько возможно облегчить ее положение, она встречала с его стороны и ласку и готовность выслу-

шать все ее жалобы, все ее иногда смешные и нелепые тревоги, она слышала от него успокоительные слова, и этого было довольно, чтобы она покорилась ему. Она сознавала, что она не чужая сыну, что он на нее не смотрит как на недалекую женщину, что у него находится всегда свободная минута и для бесед с нею, и жила с ним душа в душу. Он не только терпеливо выслушивал все ее жалобы, все ее сетования, все ее толки о соседях и местных новостях или рассказы о снах, но даже сам иногда спрашивал за чаем:

— Ну, что новенького? Расскажите.

Он говорил Леониду, что он любит после рабочего дня, после умственного труда слышать эту простую болтовню.

— Не стоит портить глаза и читать романы, когда можно убаюкать и рассеять себя на ночь этими простодушными сказками,— добродушно шутил он.— Она как дитя. Выслушай ее наивные рассказы и тревоги, приласкай ее, когда ей нужна ласка, погорюй с ней, когда у нее является горе — и она всею душой прилепится к тебе.

Он особенно ценил и в Леониде эту же способность стоять в тесной дружеской связи с Марьей Дмитриевной.

Но не всегда были в семье только ясные дни. Было у нее и великое горе, и в эту минуту особенно сильно высказалась любовь Антона к матери и его уменье охранять эту женщину от излишних тревог и волнений.

Миша, оставшийся в училище, портился все сильнее: с годами его заносчивость росла все более и более, росли в то же время и пороки, те пороки, которые так легко развиваются в «молодых красавчиках» при всеобщей разнузданности окружающего общества; он стал покучивать, стал заводить интрижки и в то же время, стоя очень невысоко во мнении начальства, постоянно являлся дерзким. В нем недоставало ни нравственных достоинств, которые могли бы оправдать его заносчивость, ни той двоедушности и хитрости, за которые иногда сходят с рук самые безнравственные поступки. Это был один из тех испорченных людей, про которых говорят, что у них «душа нараспашку» и от которых потому нельзя отвернуться с отвращением. Их можно только жалеть. Они симпатичны, несмотря на все свое падение. Они являются как бы ходячими упреками обществу за то, что оно не умело направить на хороший путь эти откровенные и прямые личности, с мягким сердцем, с впечатлительным умом, со страстной натурой.

Миша, все чаще и чаще сталкиваясь с начальством, наконец дошел до того, что ему пришлось выйти в юнкера. Это случилось во время одной из училищных историй, наделавшей шуму в обществе. Юноша очень шумно и высокомерно толковал о том, что «теперь не такие времена, чтобы позволять командовать», и вышел из истории с поднятой головой.

— Ну, ты-то уж лучше не толкуй о том, какие нынче времена,— заметил ему Антон.— Всякую пакость на дух времени тоже не приходится сваливать. Ты вон лучше побереги мать да не рассказывай ей, что тебя исключили, а скажи, что вас теперь всех выпускают в юнкера по закону.

Антон говорил сухо и внушительно, и Мише пришлось присмиреть. Явившись домой, он сказал Марье Дмитриевне, что он едет в полк, что теперь всех выпускают в военную службу из их училища. Марья Дмитриевна поплакала, потужила, выразила опасение, что Мишу могут убить на войне «с туркой или французом», потом выслушала самые убедительные доводы Антона насчет того, что войны не будет, и несколько успокоилась. Далеко не был спокоен Антон. Он видел, что Миша далеко не пойдет, что где-нибудь в глуши, в жалкой среде юнкеров, юноша может испортиться еще более. Но поправить дело было невозможно. Он говорил брату о необходимости наверстать потерянное для развития время и сам сознавал, что его слова останутся словами. Юноша смотрел слишком легко на жизнь и уже заботился гораздо более о своей новой форме, чем о своем новом положении. Провожая его в полк, Антон дружески просил его быть откровенным, писать обо всем, обещал помочь ему в случае надобности и советом, и материальными средствами.

— Что это ты смотришь на меня как на отпетого,— заносчиво говорил Миша.— Служат же сотни людей в военной службе,— отчего же мне не служить?

— Да просто потому, что заносчивости у тебя много, а достоинств нет никаких,— заметил Антон.— С этими качествами люди далеко не уходят.

Миша нетерпеливо пожал плечами и довольно холодно простился с братом.

Месяца два от него не было писем. Наконец он написал брату длинное письмо, где рассказывал, что его полюбили и товарищи, и начальники, что за ним ухаживают разные барыни, что он катается как сыр в масле. Тон письма был довольно фривольный, и оно блестело деше-

веньким остроумием, плоскими насмешками над всем кружком, среди которого пришлось вращаться юноше. Прочитав это письмо, Антон заметил Леониду, что брат произвел эффект своей наружностью, своими казарменными остротами, что он, быть может, даже прикинулся «пострадавшей» личностью и потому действительно катается как сыр в масле.

— Но я уверен, что следующее письмо будет полно ругательств на всех окружающих... Он не сдержит своего языка, заведет какую-нибудь интрижку, поссорится с кем-нибудь за карты и вооружит против себя всех.

Антон не ошибся: следующее письмо действительно состояло из негодования на всех окружающих, которые назывались в нем тупыми и неразвитыми бурбонами, барышнями легкого поведения, отъявленными картежниками и т. п. Антон написал брату довольно резкое письмо, где объяснял юноше причины его разочарований и советовал более зорко следить за самим собой и более хладнокровно и снисходительно смотреть на других. «Уж если хочешь клеймить неразвитую среду,— писал он между прочим,— то хотя постарайся клеймить ее, не делая грамматических ошибок. А то от твоих писем веет либеральничающим гимназистом второго класса». Антон вполне понимал всю бесплодность своих проповедей и в то же время сознавал, что сделать что-нибудь более существенное для блага брата он не мог. Миша, как и следовало ожидать, надулся на брата за проповедь и перестал писать. Марья Дмитриевна волновалась и плакала, что от сына не приходит весточки, и Антон решился читать ей письма своего собственного изделия, выдавая их за письма Миши. Старуха успокоилась. Но не успокоился Антон. Он написал еще раз Мише письмо, где прямо и резко заметил, что Миша может сердиться на него сколько угодно, но что он не должен забывать о матери, которой дорога каждая строка сына. Несмотря на резкость письма, в нем проглядывало самое теплое, самое живое участие к судьбе брата. Ответ получился очень быстро. Миша изливался в извинениях, в оправданиях, жаловался на судьбу, на «гонения рока» и в конце концов просил денег. Тон письма дышал аффектацией, ходульностью, театральным ломанием.

Антон послал денег...

С этой поры все чаще и чаще получались письма от Миши, исполненные драматических фраз, грамматических ошибок и молений о присылке денег. Наконец явился и

сам Миша «в отпуск». Его лицо было помято, от его речей веяло казармой, в его тоне не было прежней искренности, но слышалась нотка поддельного драматизма. Когда он говорил о своей судьбе, его можно было счесть за плохого провинциального актера и посмеяться над его монологами. Но, вглядываясь в него, можно было прийти к самым грустным мыслям насчет тех печальных сторон его положения, о которых он, кажется, и не помышлял. Он был недоволен всем и всеми, но был вполне доволен собой. Это был верный признак того, что человек умер для развития. Над человеком, ругающим всех и все и вполне довольным собой, всегда можно заживо спеть панихиду. Он прожил в Петербурге с месяц. Наконец Антон заметил ему, что не пора ли ему ехать в полк. Миша как-то сконфузился и объявил, что на днях он едет, что ему нужно получить только какие-то бумаги. Однако дни шли за днями, а бумаг не получалось... Иногда юноша приходил домой подкутивши и небрежным тоном говорил брату:

— Что мне эта служба! Я не для нее создан... Я плевать на нее хочу... У меня голова есть!..

— Так выходи в отставку, здесь подготовим тебя куда-нибудь,— замечал Антон.

— Чего меня подготовлять? — горячился Миша.— Я, может быть, просиживал ночи за книгой... Меня, брат, учить нечего, я пожил, я знаю людей!

Антон замечал, что брат начинает терять сознание, и умолкал. Отрезвившись же, Миша терял свой заносчивый тон и аффектированно говорил уже не о своей учености, а о том, «что для него загубили золотое время ученья, что заставят его весь век тупо маршировать, заниматься выправкой носков, мерять матушку Россию из конца в конец, покуда он, не нужный никому, не сложит усталую голову под какой-нибудь шальной пулей». Это было не столько трогательно, сколько пошло. Все усилия Антона свести брата на новую дорогу оказались тщетными; после каждого задушевного объяснения являлся один результат: Миша нежно говорил брату:

— Дай, голубчик Антон, мне три рубля. Мне, ей-богу, очень, очень нужны деньги! Больше я не стану просить у тебя!..

Эти деньги нужны были для того, чтобы прокатиться на «лихаче», сыграть на биллиарде, поплясать с посетительницами «Эльдорадо».

Антон наконец потерял терпение и решился на крутые

меры. Он объявил брату, что последнему нечего и думать о продолжении военной службы, что он, Антон, сам отправится в штаб и выхлопочет отставку брату, что потом он его присадит за книгу. Миша как будто испугался и, краснея, объявил, что он бумаги получит через два дня, что брату незачем ходить в штаб, что он уезжает дня через три, что он довольно покутил и намерен честно служить, что, наконец, через месяц он будет произведен в офицеры. Антон сомнительно покачал головой и заметил брату, что он, кажется, прибегает к обману. Миша загорячился и начал театрально говорить о том, что у него только и осталась одна честность и искренность, что он не позволит никому коснуться этой святыни, что никто не смеет подозревать его во лжи. Он даже расплакался, говоря, что от брата-то он никак не ожидал такого оскорбления. Приходилось замолчать. Через два дня действительно он объявил, что получил бумаги, и начал собираться в путь.

Прощание было скорбно.

Марья Дмитриевна уговаривала сына служить «верой и правдой», Антон уговаривал брата выйти в отставку и переехать к ним. Миша очень бойко утешал их и говорил, что он не пропадет...

Наступила новая весна. Антон кончил экзамен и уехал путешествовать по России. Марья Дмитриевна осталась одна. Прошло месяца два, когда в одном из захолустий России Антон прочел в газетах известие, что в петербургском суде разбирается дело Михаила Прилежаева, пойманного в воровстве.

Антон побледнел и тотчас же стал собираться в дорогу. Он в волнении спешил домой. Сотни самых тяжелых мыслей осаждали его мозг. Что будет с братом? Как перенесет мать этот удар? Не сообщил ли кто-нибудь ей о несчастии? Молодому человеку казалось, что и пароходы и железные дороги движутся слишком медленно, что он сбился с дороги и едет не прямым путем. Вся любовь, привязывавшая его к семье, вся нежность его натуры, скрывавшаяся под грубой внешностью, проснулись теперь. Он был как разбитый, он не спал ночей, не мог спокойно провести ни одной минуты; все другие интересы, все другие мысли вышли из головы, и только образы матери и брата носились перед его глазами. Он читал все газеты, искал везде имени брата, наконец в Москве в одной из петербургских газет он прочел неполный отчет о деле Михаила Прилежаева.

Оказалось, что Миша получил уже отставку «без наименования воинского звания», когда он еще носил юнкерскую форму и уверял брата и мать, что он служит. В то время, когда он уверял их, что уезжает в полк,— он не уезжал никуда. Он зимой шатался по Петербургу из угла в угол, из дома в дом, иногда ночуя на улице, иногда голодая по целым дням. При следствии Миша показал, что у него нет никого родных, что он сирота. Его адвокат очень долго и много говорил о его предыдущей судьбе, указывая на то, что он рос без благотворного влияния семьи, что он, неразвитый и неокрепший, попал в жалкую среду юнкеров, что от него трудно требовать какой-нибудь стойкости при встрече с голодом и холодом. Этой речью адвокат делал себе имя. Товарищ прокурора, со своей стороны, очень слабо поддерживая обвинение, все-таки указывал на испорченность и черствость сердца юного вора, не заслуживающего снисхождения уже потому, что он получил даром образование, что самое пребывание в юнкерах должно было послужить ему уроком и заставить его взглянуть серьезно на свои ошибки и исправиться.

Антон читал эти отрывки речей адвоката и прокурора; он с мучительной тоской следил за всеми изгибами процесса и готов был плакать, как дитя, читая последние слова адвоката, где защитник называл своего клиента душевно больным человеком, одним из дикарей, которые живут среди нашего цивилизованного общества, которые являются ходячим упреком этому обществу. Защитник заключал речь словами о том, что тут нужно не наказание, а исправление ошибки, совершенной обществом. Приговор был вынесен, как и следовало ожидать, оправдательный. В газетах говорилось, что «присутствующие на заседании дамы рыдали», что подсудимый, «прелестный мальчик», сидел с поникшей головой, не поднимая глаз, с краской стыда на добродушном лице, что «речь защитника была блестяща и талантлива», что, вероятно, «он будет одним из лучших представителей нашей адвокатуры...»

— Если бы поспеть вовремя! — говорил нетерпеливо Антон, предчувствуя что-то недоброе, и считал станции и версты.

Он приехал домой до того изменившимся, что Марья Дмитриевна всплеснула руками.

— Антоша, что с тобой, родной мой! — воскликнула она, обнимая его.

— Ничего, ничего, голубчик! — говорил он, покрывая

поцелуями ее руки.— Как вам живется? Здоровы ли? Все ли хорошо?

— Да что мне, старухе, делается. Живу себе, хожу в церковь, за воротами посижу — вот и все... Известно, день да ночь — и сутки прочь!

— Ну, и слава богу, слава богу,— радостно говорил Антон, видя, что мать ничего не знает.— А я соскучился о вас... как-то взгрустнулось, вот и прикатил... Что от Миши не получали писем? — боязливо спросил он.

— Нет, батюшка... Знаешь, ведь я грамоте-то не знаю... Вчера пришло какое-то письмо на твое имя... Вот оно...

Антон взглянул на почерк адреса и побледнел: это было письмо от Миши.

— Матушка, вы приготовьте чайку,— промолвил он.— Я пойду в свою комнату, отдохну с дороги...

Дрожащими руками распечатал он письмо Миши и стал читать. Оно было написано карандашом, отрывочно, на скорую руку... Вот что писал Миша:

«Брат мой, друг мой, Антон! Ты, вероятно, уже знаешь все, что случилось со мной. Это знает вся читающая Россия. Я украл, я содержался в тюрьме, я был судим, я был оправдан. Меня оправдали не потому, что я невинен, но потому, что я украл от голода... В мою пользу собрали пятнадцать рублей; когда эти деньги будут проедены мною, мне придется снова воровать. Другого исхода нет... Ты, верно, читал уже, что говорил обо мне товарищ прокурора, что говорил обо мне адвокат. Один, обвиняя меня, разоблачил всю ту пропасть, в какую упал я; он указал, как я испорчен, как я негоден, как я гадок; другой, защищая меня, указал, как загубили меня люди с колыбели, как они убили во мне силу воли, как они сделали меня дикарем, решающимся на всякую мерзость ради добычи куска хлеба. Когда они говорили это, когда они залезали в мою душу, я все ниже и ниже склонял свою голову, я, с жгучей краской стыда, сознавал, что мне невозможно подняться, что во мне убито все, что может спасти человека от преступления и заставить его честно бороться с нуждой... Я сознавал, что все присутствовавшие на заседании думали то же самое, видели во мне безнадежно погибшего... Я ждал приговора, ждал тяжелого наказания... Мне вынесли оправдательный приговор... В первую минуту я был рад, я готов был дать клятвенное обещание исправиться, когда мне давали совет быть честным... В каком-то чаду прошел

этот день освобождения, я ничего не мог обдумать, ни на что не мог решиться, в моей голове бродила одна мысль о необходимости жить честно... Но когда прошло первое волнение, первая радость, когда на следующий день я пошел искать работы, меня поразил вопрос: какую работу могу я принять на себя? Что я умею делать? Где подготовка к труду?.. Я шел бесцельно по Садовой, когда на углу Невского проспекта меня кто-то окликнул по фамилии. Я остановился: передо мной стоял мальчишка с кипой газет. «Купите-с газету. Интересное дело Прилежаева»,— выкрикивал он перед прохожими. Краска бросилась мне в лицо. «Дело Прилежаева. Оправданный преступник Прилежаев!» — продолжали выкрикивать продавцы газет, окружив меня...

Я бросился в сторону. Впервые мне пришло в голову, что если бы я и умел работать, то кто же меня возьмет к себе теперь, когда всему городу известно, как я испорчен, как я не подготовлен к честной жизни, как я не способен к труду?.. Ты перечитай это дело, вникни в каждое слово товарища прокурора и моего защитника, и ты увидишь, что они оба доказали вполне, что я ни к чему не годен, что я испорчен до мозга костей. С подобным человеком небезопасно пробыть день, подобного человека небезопасно впустить к себе на порог... Они раскопали каждое событие моего прошлого, они проникли в самые сокровенные уголки моей души, они не упустили ничего из виду, чтобы создать из меня тип окончательно загубленного и падшего человека. Теперь это знают все, обо мне кричат на улицах, на площадях... А я думал искать работы!.. Кто меня возьмет? Кому нужно подобное отребье человечества?.. О, что они со мною сделали, что они со мною сделали!.. Ведь этак можно погубить кого угодно. Позволь мне публично раскопать все прошлое, осветить душу первого встречного, и я докажу, что он ни на что не способен, что он испорчен, что он опасен... Позволь мне сделать это и поверь, что самый честный человек не найдет себе места, возбудит подозрения... А ведь я и без того доказал, что я не честный человек... Они мне сказали: теперь старайтесь исправиться, ведите честную жизнь... Но ведь они же сами отняли у меня возможность вести честную жизнь. Сперва я был просто вором, укравшим от голода. Теперь я являюсь ни на что не способным, вконец испорченным человеком, являюсь не перед двумя-тремя лицами, а перед всеми, кто только умеет читать... Мой защитник говорил,

что меня испортило общество, что оно должно и исправить меня, дать мне возродиться к новой жизни. Но как я обращусь к этому обществу? Разве купец, боящийся, что я обворую его лавку, нанявшись к нему,— общество?.. Разве железная дорога, где я мог бы быть кондуктором и куда меня не примут,— общество? Разве те родители, у которых я мог бы учить детей и которые не возьмут в учителя полуграмотного вора,— общество? Что может заставить его испортить свои дела, поручив их неумелому человеку? Они скорее подадут мне грош Христа ради, чем дадут мне работу... Что ж, они правы! Они могут жалеть меня, но ради чего они станут губить себя?.. Они не повинны в моей испорченности... Хоть бы кампанию какую-нибудь устроили для спасения оправданных воров... Ведь таких много, и все они или идут снова в остроги, или умирают с голоду, от самоубийства... Разве нельзя устроить такой кампании, такого общества?.. Или лучше распложать самоубийц, негодяев и нищих?.. У меня нет силы ходить с протянутой рукой... Да и возможно ли нищенствовать, имея восемнадцать лет от роду, будучи здоровым, и не попасться в руки первого полицейского солдата, который уведет меня как бродягу в часть, представит в мировой суд... Мне осталась одна участь: смерть... Когда я написал это роковое слово, у меня что-то оборвалось. Если бы ты знал, как мне тяжело умирать!.. Ведь я молод, здоров, я жить хочу... И это лето, блестящее, ясное, душистое, так и манит к жизни, к счастию... Если бы ты знал, как часто мне приходила сегодня мысль опять украсть и этой ценой купить жизнь... Не вини меня, умирать так нелегко, а купить жизнь иной ценой нельзя... Господи, хоть бы этот день кончался поскорей, хоть бы ночь наступила... Я был бы рад, если бы была дождливая, хмурая погода... Пожалей меня, что я такой слабый, такой ничтожный человек... Не вини меня за то, что обманывал тебя, мать... Я вас любил, я вас люблю, но во мне так все перепуталось — и ложь и искренность, и ум и глупость... Да, меня лечить бы надо... Няньку, ласковую няньку мне нужно... Впрочем, ты узнаешь, как я дошел до этого состояния, узнаешь из моих заметок... Я вырвал их из своей записной книжки и пошлю к тебе с этим письмом... Мне хочется, чтобы ты не обвинял меня, чтобы поплакал обо мне... Ты ведь добрый, очень добрый и хороший человек... Я не знаю, что бы я был готов сделать, чтобы мне дали возможность хотя один час побыть с тобою... Мне хочется хоть одного слова участия,

хотя одной ласки... Я сижу в беседке Александровского парка, кругом снуют какие-то полупьяные солдаты и растрепанные женщины; стены, скамьи беседки исписаны циничными, грязными надписями... Это все те люди, среди которых я убил свою жизнь. Опи, быть может, дойдут до того же, до чего дошел я... Какое горькое окончание горькой жизни!.. Любимый, дорогой, пожалей своего *красавчика* Мишу, как все называли... Завтра от него не останется никакого следа... И зачем это я жил, зачем я не умер вместе с отцом, с Дашей?.. Вот уже и вечер... Скоро я уложу это письмо в конверт... Когда он будет заклеен и спущен в ящик, я пойду кончать с собою... Почтальон вынет из ящика письмо уже не живого человека, а мертвеца, о котором, может быть, никогда и никто не вспомнит... И для чего вспоминать? Разве кто-нибудь вспоминает о нашем отце? Я помню, как ты рассказывал, что его испотрошили... Со мною будет то же, если найдут мое тело... Этот лист исписывается, мне остается мало места, но, впрочем, не для чего и писать более: день кончился, в парке становится холодно и темно; я пишу наобум; небо совсем черное... Мне кажется, что я писал для того, чтобы не думать, чтобы не изменить своего решения... Теперь довольно, теперь мне осталось жить не более четверти часа... Я с Тучкова моста... Ну, прощай же, Антон... Не брани своего Мишу».

Антон читал и перечитывал это письмо и листки из записной книжки Миши. Это были отрывки из дневника, который велся юношей отрывочно на крошечных листках записной книжки между копеечными счетами, чьими-то адресами, грязными куплетами барковских песен... Это была какая-то смесь отчаянья, громких фраз и истинного страдания. Юноша не шел к «своим», потому что ему было «стыдно», потому что он не «мог» начать трудовую жизнь; он не искал работы, потому что он «не умел работать», он не убивал себя, потому что «ему очень хотелось жить».

Порой и в этих отрывочных фразах виделся до мозга костей испорченный негодяй; порой в них виделось наивное, откровенное дитя, легко смотревшее на жизнь и не умевшее выйти из тяжелого положения. Иногда в дневнике видна была одна декламация, иногда в нем замечались истинные слезы. Это было что-то болезненное. Этого человека нужно было отправить в больницу под надзор нежной и любящей женщины, матери, сестры. В этом дневнике описывались горькие минуты холода и голода, тут вы-

ражалась радость по поводу того, что наш герой, например, нашел ночью шелковый платок с несколькими завернутыми в нем пряниками. В другом месте описывалось, как он провел морозную ночь на улице, потому что его не оставил ночевать у себя товарищ, «брезгливо сказавший ему, что от его одежды казармой пахнет». В третьем месте толковалось о «Даниле», которого следовало бы ограбить... И везде была все та же жалкая, смешная безграмотность...

Мучительное, болезненное чувство охватило Антона при чтении этих страниц, где так тесно перемешались и истинные чувства, и театральные фразы. Довольно долго Антон не мог овладеть собою, победить свое волнение, удержать катившиеся по щекам слезы. В его голове был какой-то туман, то давила его тоска о брате, то вспоминались слова брата о том, что подобная горькая участь ждет всех этих бессознательных преступников, преступников, которым выносят оправдательный приговор и дают Христа ради десять — пятнадцать рублей, то носилась в его голове мысль о необходимости все скрыть от матери, чтобы не отравлять ее последние годы.

Вот и она постучала в дверь. Нужно было отереть слезы, освежить лицо, выйти со спокойным видом.

Она спрашивает, не от Мишуры ли это письмо.

— Да,— отвечает сын.

— Здоров ли он, мой голубчик, спокоен ли, как ему живется? — забрасывает вопросами мать.

— Он теперь спокоен, ему хорошо,— отвечает сын и почему-то нежно целует мать.

— Ты, батюшка, прочти мне его письмецо после,— просит мать.

— Да, да, прочту,— говорит сын и старается овладеть собою.

Настает вечер.

Мать снова просит прочесть письмо Миши. Сын читает — это светлые, спокойные строки, полные любви к матери... Мать смеется и плачет от радости и набожно осеняет себя крестом. Она молит бога, чтобы он помиловал ее Мишу, ее любимого сына.

— Ну, спасибо, спасибо! — говорит она Антону.— Утешил ты меня, старуху. Радость ты моя, единственное мое утешение... Покуда ты со мною, не знаю я горя, не болит мое сердце...

Сын тихо целует старуху и уходит в свою комнату.

Быть может, он проведет бессонную ночь, быть может,

он будет рыдать, как ребенок, быть может, его сердце изноет от беспомощной тоски,— она этого не узнает. «Разве и без того у нее было мало горя? — думается ему.— Разве мы созданы для того, чтобы вечно терзать других? Разве мы не обязаны по возможности скрывать и устранять от ближних все горькое, все печальное? будем беречь друг друга, будем делиться с ближними радостью и счастием, будем переносить, однако, каждое непоправимое горе, будем делиться с друзьями только теми невзгодами, которые можно устранять общими силами. Жизнь не сладка, и мы не имеем права отравлять ее еще более, вынося напоказ каждую неисцелимую язву, каждое непоправимое страдание».

А что же поделывали в это время Прохоровы?

Давным-давно прошли тяжелые дни Катерины Александровны и Александра Флегонтовича. Молодые люди, как мы сказали, должны были уехать из Петербурга. Они уехали в один из глухих городов. Они захватили с собою Флегонта Матвеевича, вполне довольного тем, что его сын получил «повышение по службе», как объяснили старику его близкие, сказав ему о необходимости отъезда. Прошло около года, когда получилось известие о смерти Флегонта Матвеевича, которому оказался вредным климат нового его местожительства. Александр Флегонтович занялся исключительно литературным трудом. Заняться другим делом у него не было возможности, хотя и достало бы на это сил. Катерина Александровна шила белье и платья и занималась акушерством. Довольно скоро молодые люди сделались довольно известными личностями в городе и были зваными гостями на каждом пиру. Это было тихое, мирное время их жизни; они отдыхали от волнений, работали в четырех стенах, начали усердно заниматься изучением английского языка. «Этот язык нам скоро пригодится»,— писал Александр Флегонтович Антону, описывая свои занятия. Года два-три прошли в этом затишье. Прохоровы поправились в физическом отношении, Александр Флегонтович даже немного потолстел; они радовались тишине новой жизни, но помириться навсегда с провинциальною жизнью они не могли. Каждая весна, каждый яркий день, каждое известие о кипучей европейской жизни манили и звали их куда-то, где меньше тишины, спокойствия и сна, где, может быть, человек сгорает быстрее, где живется тревожнее, где порой сон бежит от глаз, но где в то же время больше интересов у человека, где его деятельность осмысленнее, где его цель ярче и блестящее. Эта тоска,

это стремление dahin все росли и росли, наконец сделались чем-то вроде idée fixe. Иногда молодые люди, гуляя, выходили из города и шли по большой проезжей дороге безмолвно, бесцельно, до усталости. Казалось, они были готовы уйти пешком на край света, только бы вырваться из этого мирного, сонного города. Оставаться в провинции, вращаться в кругу узких интересов становилось невыносимо...

В один прекрасный день получилось через одного знакомого письмо на имя Антона, где просили юношу похлопотать о напечатании нескольких статей Александра Флегонтовича и о немедленном сборе всех денег за работы и от тех лиц, которые оставались должниками Прохорова еще с давних пор.

Через несколько недель после получения этого письма в маленькую квартиру Прилежаевых явились какие-то неизвестные люди: дама под густым вуалем и господин с окладистой бородой. Антон не сразу узнал их, но через минуту уже горячо пожимал их руки. Марья Дмитриевна бросилась к ним в объятия и, плача, причитала над ними:

— Голубчики мои, родные мои! Как это вы, какими судьбами?

— Тише, тише! — проговорил Антон и замкнул двери.— Я сейчас схожу к одному товарищу. Вам здесь нельзя оставаться...

— Что ты, батюшка, от своего-то дома уходить! — воскликнула Марья Дмитриевна.— Хоть и не богато мы живем, а все же свой угол.

— Им нельзя быть здесь,— коротко сказал Антон.

Марья Дмитриевна замолчала. Она привыкла безусловно подчиняться односложным решениям сына.

Через минуту, оставив сестру и ее мужа в своей квартире, он вышел из дому и довольно быстро возвратился обратно.

— Можете идти,— сказал он, бросая на стол клеенчатую фуражку.— Вот адрес.

— Ты все обделал? — спросил Александр Флегонтович.

— Все.

— Ну, до свидания.

— Голубчики вы мои, да как же, хоть бы пообедали,— заохала Марья Дмитриевна.

— Не надо, мама! — решил Антон.— Да вы не плачьте... Вечером я свожу вас к ним...

Гости вышли. Антон не пошел их провожать и удержал мать от поползновения идти за ними.

— Мама, станемте-ка лучше обедать,— ласково сказал он старухе.

Они сели за стол.

— Мама, вы никому не говорите, что они были,— заметил он.— Никому, понимаете?

— Батюшка, в толк я не возьму: как они приехали?

— На машине, мама, по железной дороге...

— Надолго, Антошенька?

— Нет, до завтра. Им на вас взглянуть хотелось, вот и прогулялись. Станете рассказывать, тогда, пожалуй, им и не удастся во второй раз к нам заехать...

— А они еще приедут?

— Еще бы. Если будем молчать, так приедут...

Он очень хорошо знал, что они не приедут снова. Его отчасти раздражала мысль о том, что они сами хотят сжечь за собою корабли. Он долго настаивал, чтобы они хлопотали о каком-нибудь другом исходе. Но они упорно стояли на своем.

— Уж ты меня знаешь, я не проговорюсь...

— Вы у меня молодец!

Антон встал из-за стола и поцеловал старуху. Он был необычайно ласков. Он даже не сердился на сестру и ее мужа за то, что те приехали прямо к нему в дом, а не остановились в гостинице, что, по его мнению, было бы благоразумнее. Вечером Марья Дмитриевна просидела в обществе зятя и дочери и была бесконечно счастлива. Она давно забыла мелкие столкновения с этими все-таки дорогими ей людьми и помнила из прошлого только одни светлые минуты. На другой день мать еще раз видела своих дорогих «детей» и простилась с ними в полной уверенности, что дождется новой встречи с ними.

— Жизни мне на десять лет прибавилось,— говорила Марья Дмитриевна,— как я посмотрела на них. И Катюша-то как похорошела. Розанчик точно какой. А сам-то сановитый стал... Барином таким выглядит...

А Катерина Александровна и Александр Флегонтович между тем уже ехали по железной дороге. Катерина Александровна была объявлена опасно больной, Александр Флегонтович играл роль озабоченного ее болезнью мужа. Он почему-то сбрил бороду. В квартире Прилежаевых все было спокойно и мирно, только Антон не спал всю ночь и все ходил по комнате.

— Что с тобой, Антоша? — спрашивала Марья Дмитриевна.

— Голова что-то болит, так не спится,— отвечал он.

На третий день к Прилежаевым пришел один из друзей Антона. Антон, по-видимому, ждал его и бросился ему навстречу.

— Что? — спросил он в волнении.

— Господин Софонов приехал со своею женою в Берлин,— отвечал приятель.

Антон вздохнул полной грудью.

— Обедать, обедать, мама! — кричал он весело.

— А я вина притащил,— смеясь, промолвил приятель, показывая из кармана горлышко бутылки.

— О кутила! — воскликнул Антон и обнял друга, обнял мать.

— Да что с тобой, голубчик, сделалось? — качала головой мать, видя необычайную веселость сына.

— Ничего, ничего, мама! Просто весело, бесконечно весело на душе!

— А меня-то, господа, вы и забыли? — послышался чей-то шутливый голос, и в комнату явился молодой человек, похожий несколько на самого Антона по своей фигуре и одежде.— Ведь тут и моего меду капля есть, значит, выпивку надо учинить вместе.

Антон пожал руку приятеля. Марья Дмитриевна особенно радушно приняла этого гостя, потому что она могла поговорить с ним о Катерине Александровне и Александре Флегонтовиче, не стесняясь ничем: они останавливались в его квартире, и, значит, их приезд не был тайной для него.

Все уселись за стол и весело распили бутылку вина за новую жизнь.

— Конечно, Софоновы могли бы жить и в Петербурге,— заметил Антон.— Стоило бы только похлопотать. Но, признаюсь откровенно, я теперь рад, что они будут жить не здесь... Они там устроятся разумнее, здесь опять началось бы метанье из стороны в сторону, стремление положить везде заплаты. Там жизнь сложилась вполне, и они приглядятся к ней, научатся более трезвой, более практической деятельности... Здесь же они раз выбились из колеи и попасть на нее снова им было трудно.

Марья Дмитриевна слушала совершенно безучастно толки о незнакомых ей Софоновых и все думала о своей дочери и зяте.

Они уже были гораздо дальше, чем она полагала. Они уехали надолго, может быть, навсегда. Им было грустно, что дела сложились так, но они не обвиняли никого. В одном из писем, полученных от них, Александр Флегонтович писал:

«Мы вышли в жизнь в то время, когда в нашей частной и общественной жизни рубился лес старых злоупотреблений и предрассудков. Это великое время реформ и нововведений застало многих из нас врасплох. Некоторые из нас были не подготовлены, некоторые хватали через край, некоторые мучились, видя свои промахи и ошибки, некоторые должны были сойти со сцены. Все это было в порядке вещей, все это было историческим фактом. Где лес рубят, там и щепки летят, там очень часто дровосеки наносят себе раны, царапины, получают занозы; иногда обрушившееся дерево всею своей массой придавит кого-нибудь — дровосека ли, простого ли прохожего — это зависит от случая. Но можно ли негодовать на это, можно ли удивляться этому? Можно, пожалуй, пожалеть тех, кому не удалось выйти мирно и спокойно из рубки леса, но самый факт существует не для того, чтобы праздно восхищаться им или так же праздно бранить его задним числом. Исторические факты важны только как уроки для будущих поколений. История неумолима, но человек может делать историю. Мы сошли со сцены, сошли для того, чтобы начать мирную, быть может, буржуазную жизнь с трудом из-за куска хлеба. Некоторых из нас, быть может, назовут жертвами, в других бросят камень осуждения; одних, быть может, возведут на пьедестал, других смешают с грязью. Но мне кажется, что теперь настало время, когда нужно заниматься не осуждениями и похвалами, расточаемыми тем или другим лицам, а стараться избегать тех промахов, которые были кем бы то ни было сделаны в прошлом, заниматься развитием самих себя, неустанно работать в пользу того, что уже начато. Обществу приходится теперь так или иначе жить при новых лучших порядках и нужно, чтобы люди стояли выше своего положения, а не ниже его. Чем более развит работник, чем выше стоит он над принятой им на себя задачей, тем лучше, тем успешнее пойдет дело. Ваше поколение должно заботиться именно о том, чтобы каждое взятое им на себя дело не было для него чем-нибудь только тогда, когда вы будете убеждены, что вы вполне владеете всеми знаниями, необходимыми для того дела, за которое беретесь. Лучше быть каким-нибудь сельским

учителем с подготовкой гимназического учителя, чем быть профессором, зная не больше учителя уездного училища. У нас не всегда доставало развития, мы иногда оказывались ниже принятых на себя задач, но в этом были виноваты не мы. Конечно, ты понимаешь, что я говорю о себе, о Кате, о таких же, как мы, второстепенных дюжинных личностях, как из молодежи, так и из стариков. Да, недостаток подготовки, недостаток серьезного знания и строгой определенности в выборе деятельности не был принадлежностью одной молодежи — это был общий недостаток. Мы являлись плохими учителями, плохими переводчиками, корректорами, служаками, но это все было и прежде. Одно из несчастий нашей родины всегда состояло в том, что в ней большинство деятелей стояло ниже своего положения. На это указывал еще Александр I, когда он говорил в одном из своих писем, что он не желал бы иметь своими лакеями тех лиц, среди которых ему приходилось вращаться до своего восшествия на престол. Насколько же ниже своего положения стояли эти лица! Правда, прежде эти факты не так сильно бросались в глаза, потому что в обществе при старых порядках, при старых идеях являлось больше лиц, бежавших от труда, чем лиц, бежавших за работою. Новые идеи и новые порядки произвели наплыв множества лиц, почувствовавших необходимость труда. Всю эту массу полуразвитых, шедших к развитию и в то же время трудившихся из-за куска хлеба пролетариев стали упрекать за неуменье хорошо исполнить взятый ею на себя труд и за шатанье из стороны в сторону, от одной работы к другой. Но тут, конечно, виновата не эта масса и не новые идеи. Неуменье трудиться завещано ей прошлым; вечное хватанье за множество дел было следствием этого же неумения. Если бы нашелся в ней опытный сапожник, поверь мне, что он не стал бы хвататься за печение булок или писание книг; если бы в ней был опытный переплетчик, то, поверь мне, он не взялся бы за труд наборщика или не стал бы заниматься переводами. Но таких подготовленных к труду людей было мало. Нас не учили никакому ремеслу и давали нам только отрывки научных сведений, и мы выходили не годными ни к чему. Если в нас и было что-нибудь хорошее, то это было куплено самовоспитанием. Вот почему и работа исполнялась по-старому, кое-как и на авось, вот почему и не могли устроиться какие-нибудь мастерские на прочных началах; вот почему даже на учительском поприще мы умели лучше проводить либеральные идеи, чем закла-

дывать в мозгу учеников прочные основания знания. Но кто в старые времена не был грешен в стремлении отбыть только официально взятые на себя служебные обязанности, кто не исполнял кое-как своего труда, заботясь больше о материальных выгодах, о чинах, о своем значении, чем о добросовестности, кто учил юношество без всякого шарлатанства, кто вообще безошибочно и честно отмежевал себе скромный и небольшой уголок, рассчитав наперед свои склонности, силы и способности, и возделал этот клок земли до высшего совершенства,— тот пусть бросает в нас камень... Конечно, я не говорю о передовых личностях, о коноводах общества. Говорить о передовых личностях того или другого лагеря — не для чего, память о них сохранится историей, и, конечно, их если и упрекнуть за что-нибудь, то не за недостаток развития, не за недостаток определенности в целях и стремлениях. Это были герои истории; мы же герои повести, романа, не более. Они делали историю, мы же только подчинялись ее ходу и так или иначе исполнили выпавшую нам на долю роль. Если бы исторические события шли иначе, если бы они продолжали быть такими же, какими были в дни нашего детства,— мы, может быть, мирно и полусонно провели бы спокойную жизнь, жирея и множась, без всяких высших стремлений, без всяких треволнений. Не думай, что я жалею о том, что нам не удалось прожить этой болотной жизнью до могилы,— нет, я просто утверждаю факт и благословляю в то же время все великие события, которые, несмотря ни на что, ни на какие нападения, ни на какие неприятности отдельных лиц, вошли в жизнь».

От всего письма Александра Флегонтовича веяло незлобивым спокойствием и какой-то мужественной трезвостью мысли. Это уже был не прежний порывистый юноша, но возмужавший человек, взявший от жизни и свою долю радостей, и свою долю горя и не озлобившийся, не опустивший рук. Катерина Александровна приписала в письме мужа, что она поступила в один из заграничных университетов на медицинский факультет, «хотя,— писала она,— я буду посвящать науке не все свое время, которое теперь необходимо для моего маленького Тони, твоего заочного крестника».

— Пристроились,— промолвил Антон.— Что-то мы сделаем и как пройдем путь?

На этот громко произнесенный вопрос не могло быть ответа: жизнь Антона была вся впереди.



КОММЕНТАРИИ

Впервые — «Дело», 1871, № 1 (с. 1—76), 2 (с. 1—72), 4 (с. 1—87), 6 (с. 1—59), 7 (с. 25—78), 8 (с. 92—170), 11 (с. 1—70), 12 (с. 1—43).

Печатается по тексту последнего прижизненного издания — А. К. Шеллер (А. Михайлов). Полн. собр. соч., т. 1—15. СПб., тип. А. С. Суворина, 1894—1895; т. IV, 1894.

Роман «Лес рубят — щепки летят» появился в журнале, который стремился в социально-политической борьбе 70-х годов продолжать традиции радикально-демократического направления, прежде возглавлявшегося Д. И. Писаревым. В этом журнале (издатель Г. Е. Благосветов) печатались бывшие сотрудники «Русского слова», закрытого в 1866г.— Бажин, Минаев, Шеллер-Михайлов, Шелгунов, Ткачев, Щапов и др.

Характеризуя авторскую позицию романа, А. М. Скабичевский писал, что холодный анализ времени «великих реформ» нисколько не мешает Шеллеру-Михайлову «оставаться все тем же и восторженным идеалистом, и бодрым оптимистом шестидесятых годов. Жалуясь на неподготовленность своего поколения к исполнению тех великих задач, какие были возложены на него, он в то же время не падает духом, не сетует на то, что произошло, и никого не обвиняет» (А. К. Шеллер-Михайлов. Полн. собр. соч. Изд. 2-е, под ред. и с критико-биогр. очерком А. М. Скабичевского, т. I, СПб., А. Ф. Маркс, 1904, с. 29).

Ранее А. И. Фаресов в книге «Александр Константинович Шеллер. Биография и мои о нем воспоминания» (СПб., 1901) отмечал остроту и многообразие затронутых в романе общественных проблем (стремление героев к изменению семейных отношений, системы обучения, условий социальной жизни, положения женщины). Он выражал уверенность в том, что ряд романов Шеллера-Михайлова, в том числе «Лес рубят — щепки летят», «надолго переживут автора и обеспечат за ним известность гуманного и просвещенного художника» (с. 62).

Стр. 21. *...местами еще виднеются чухонские лайбы...*— Лайба (фин.) — большая лодка иногда с палубой и одной-двумя мачтами.

...на бердовских тонях...— Место рыболовного промысла.

...нет места общему любопытству, заставляющему двух мужиков мирно беседовать, доедет или не доедет колесо чичиковской брички до Казани...— Свободный пересказ сцены из первой главы тома I поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души» (1842).

Стр. 66. *...легитимизм* — (от лат. legitimus — законный) — приверженность монархии.

Стр. 83. *«...птичка Божия не знает ни заботы, ни труда, хлопотливо не свивает долговечного гнезда...»* — Цитата из поэмы А. С. Пушкина «Цыганы» (1824).

Стр. 83—84. *«...вчера я растворил темницу воздушной пленницы моей,— я рощам возвратил певицу; я возвратил свободу ей».*— Цитата из стихотворения Ф. Туманского (1799—1853) «Птичка», написанного в 1827 г.

Стр. 84. *...и про цыган, весело кочующих где-то шумною толпой... приют убогого чухонца.*— Имеются в виду поэмы Пушкина «Цыганы» (1824) и «Медный всадник» (1833).

Стр. 94. *Под Варной, батюшка, были!* — Во время русско-турецкой войны 1828—1829 гг. русская армия, перейдя через Дунай, встретила упорное сопротивление со стороны хорошо вооруженных крепостей Силистрии, Шумлы и Варны. К концу 1828 г. русские войска овладели только приморской крепостью Варной и узкой полосой вдоль Черного моря. Целью этой войны для России было овладение Константинополем и проливами Босфор, Дарданеллы, что означало свободный выход из Черного в Средиземное море.

Стр. 126. *«...смерть Авессалома», «казни Египта»...*— Имеются в виду эпизоды из книги Ветхого завета.

Стр. 141. *...переписывалась с Гизо и Монталамбером...*— Гизо Франсуа Пьер Гийом (1787—1874) — французский буржуазный историк и политический деятель. Один из создателей буржуазной теории классовой борьбы. Монталамбер Шарль Форб де Трион (1810—1870) — французский писатель, оратор и политический деятель, член французской академии.

Стр. 142. *...сшила сто воздухов из собранных ею у знакомых поношенных шелковых платьев.*— Воздухá (ед. ч.: воздух; ц е р к.) — покрывало для чаши, употребляемое в христианском культе.

Стр. 162. *Ну тоже и рабочий народ здесь целый день мимо ходит к Лихтенбергскому. Тут же и к Митрофанию...*— Речь идет о расположенных в Нарвской части Петербурга Лейхтенбергской улице, где находились чайная и трактир, и церкви Святителя Митрофания при Митрофаниевском кладбище.

Стр. 167. *«Юрий Милославский», «Ледяной дом»* — исторические романы «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» (1829) М. Н. Загоскина (1789—1852) и «Ледяной дом» (1835) И. И. Лажечникова (1792—1869).

Стр. 168. *...по четыре строки из грамматики Греча...*— Греч Н. И. (1787—1867), русский журналист, писатель реакционно-охранительного направления, филолог. В 1827 г. издал «Практическую русскую грамматику» (за которую был избран корреспондентом Петербургской Академии наук). Его книга «Начальные правила русской грамматики» выдержала 11 изданий (с 10-го издания называлась «Краткая русская грамматика»).

Стр. 169. *...по нескольку строк из «Краткого Катихизиса»...*— Катехизис, или катихизис (от г р е ч.— устное наставление), краткое изложение христианского вероучения в форме вопросов и ответов. Обучение катехизису было обязательным в школах дореволюционной России.

Стр. 174. *...покачаться на качелях в Екатерингофе...*— Екатерингофский парк, популярное место гуляний петербуржцев, располагался близ набережной реки Екатерингофки в Нарвской части города.

Стр. 198. *...она просто была отставной полковой маркитанткой.*— Маркитантка — торговка пищевыми продуктами и предметами солдатского обихода, повсюду сопровождающая воинскую часть.

Стр. 206. *...тоном покойного Каратыгина...*— Каратыгин Василий Андреевич (1802—1853) — знаменитый русский актер-трагик.

Стр. 244. *Гатчинское училище.*— В г. Гатчине было пятиклассное городское училище.

Николаевский институт.— Его официальное название: Санкт-Петербургский сиротский институт императора Николая I. Туда принимались дочери недостаточных чиновников военной и гражданской службы.

Стр. 258. *Помолитесь Козьме и Дамиану...*— Канонизированные церковью братья врачи, жившие во второй половине III в. н. э. близ Рима. По преданию, помогая больным, не требовали вознаграждения, за что их называли бессеребренниками. Православная церковь Косьмы и Дамиана находилась в Литейной части Петербурга.

Стр. 262. *...будущею весной даже усиленный выпуск будет ради войны.*— Имеется в виду назревавший конфликт между Россией и Турцией, приведший к Крымской войне 1853—1856 гг. Причиной было столкновение экономических и политических интересов России, Турции и ряда западных государств.

Стр. 267. *...про одного сплоховавшего генерала...*— По-видимому, имеется в виду командир русского отряда генерал Данненберг, проигравший турецким войскам бой под румынским селом Олтеницей 4 ноября 1853 г. Бой под Олтеницей сразу же выявил порочность боевой подготовки николаевской армии.

Стр. 269. *Да,. а вон они в Черном море высадились.*— 27 октября 1853 г. Англия и Франция ввели свои военные флоты в Босфор, а затем, получив известие о разгроме адмиралом Нахимовым основных сил турок в сражении у Синопа, английская и французская эскадры вместе с дивизией оттоманского флота 23 декабря 1853 г. вошли в Черное море. 15—16 марта 1854 г. Англия и Франция официально объявили России войну.

Стр. 274. *...что он знаком так же хорошо с романами Дюма, как с произведениями Декарта, с повестями Бокаччио, как с творениями Лейбница.*— Дюма Александр (отец) (1802—1870) — французский писатель, автор романтических пьес и многочисленных историко-авантюрных романов, ориентированных на массовые вкусы. Декарт Рене (1596—1650) — выдающийся французский философ, физик, математик, физиолог. Боккаччо Джованни (1313—1375) — один из родоначальников литературы Возрождения. Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646—1716) — немецкий ученый, великий математик, философ-идеалист.

Мадам Жофрен... мадемуазель Леспинас... мадам Ролан.— Жофрен Мария Терезия (1699—1777) — отличавшаяся незаурядным умом и тактом хозяйка знаменитого литературного салона, куда в продолжение двадцати пяти лет сходились самые образованные и талантливые люди Парижа. Принимала горячее участие в издании Энциклопедии, на которую ежегодно жертвовала определенную сумму. Леспинас Клэр Франсуаз (1731—1776) — светская женщина блестящего ума, прославившаяся своим салоном, который существовал с 1764 г. Имела большое влияние на многих выдающихся людей, в числе ее друзей был энциклопедист д'Аламбер. По-

сещала салон мадам Жофрен. Ролан Манон Жанна (1754—1793) — жена Ж. Ролана, лидера Жиронды, партии французской буржуазной революции конца XVIII в., выражавшей интересы крупной торгово-промышленной и землевладельческой, главным образом провинциальной буржуазии. Оказала большое влияние на политику жирондистов, была неофициальным автором многих программных документов этой партии. После установления якобинской диктатуры мадам Ролан и многие другие деятели Жиронды были казнены.

...о жизни и идеях Эвклида, Пифагора, Платона, Кеплера, Декарта, Паскаля, Ньютона, Лейбница, Лагранжа, Монжа... — Эвклид — древнегреческий математик, автор первого из дошедших до нас теоретических трактатов по математике. Жил в начале III в. до н. э. Пифагор (ок. 580—500 гг. до н. э.) — древнегреческий математик и философ-идеалист. Платон (427—347 гг. до н. э.) — великий древнегреческий философ-идеалист. Кеплер Иоганн (1572—1630) — выдающийся немецкий астроном, открывший на основе учения Коперника законы движения планет. Декарт Рене (1596—1659) — французский математик и физик, философ. Ньютон Исаак (1642—1727) — гениальный английский физик, механик, астроном и математик. Лейбниц Готфрид Вильгельм — см. коммент. к с. 274. Лагранж Жозеф Луи (1736—1813) — выдающийся французский математик и механик, член Парижской Академии наук (с 1772 г.). Монж Гаспар (1746—1818) — французский геометр и общественный деятель, член Парижской Академии наук (с 1780 г.). В период французской революции конца XVIII в. был морским министром (1792—1793). В сущности, способность героя романа увлекательно и свободно рассуждать о столь далеких материях, как творения выдающихся ученых и произведения беллетриста Александра Дюма, с которым сближается Боккаччо, характеризуют его как человека неглубокого, фразера показной эрудиции.

Стр. 276. *...перешла к чтению журналов и книжки «Отечественных записок» и «Современника»...* — Ежемесячный журнал «Отечественные записки» до середины 40-х годов представлял прогрессивное направление в русской журналистике. Отделом критики и библиографии руководил в нем тогда Белинский. Политическая реакция 1848 г. сделала журнал бесцветным, он превратился в издание умеренно-либерального направления. Характер журнала не изменился и в годы демократического подъема, хотя там публиковались такие значительные произведения, как «Тысяча душ» Писемского (1858), «Обломов» Гончарова (1859). Журнал «Современник», руководимый с 1846 г. Н. А. Некрасовым и И. И. Панаевым, занимал центральное место среди подцензурных революционно-демократических изданий в России середины XIX в. В 50—60-е годы стал центром пропаганды идей демократической революции. Это направление придала «Современнику» новая редакция, в состав которой вошли Н. Г. Чернышевский и Н. А. Добролюбов.

«Журнал для военно-учебных заведений» — «Журнал для чтения воспитанников военных учебных заведений». Издавался в Петербурге с июля 1836 г. два раза в месяц.

Стр. 277. *Барков* — Барков И. С. (ок. 1732—1768 гг.) — русский поэт и переводчик (переводил главным образом античных авторов: сатиры Горация, басни Федра), автор «Жития князя Антиока

Дмитриевича Кантемира». Приобрел известность фривольными стихами, расходившимися в списках.

Авдеев М. В. (1821—1876) — романист, произведения которого 50-х — начала 60-х годов написаны в значительной мере в подражание романам Лермонтова, Тургенева.

«Бессмертной, громкой чада славы» ...Доколь владычество и славу»... — Имеются в виду оды Г. Р. Державина «На возвращение полков гвардии» (1814) и «На коварство французского возмущения и в честь князя Пожарского» (1790).

Стр. 279. *...великие мысли, высказанные в оде «Бог», в «Послании к Фелице».* — Ода Г. Р. Державина «Бог» создана в 1784 г. «Послание к Фелице» — в 1782 г. (опубликована в 1783 г.).

Стр. 281. *...Петрушка Гоголя вспомнился...* — Имя лакея Чичикова стало нарицательным для обозначения человека, читающего книги ради процесса чтения и не воспринимающего их содержание.

Стр. 282. *Устрялов* Н. Г. (1805—1870) — русский историк, профессор Петербургского университета, академик, автор учебных пособий для средних учебных заведений и университетского курса «Русская история» (5 ч., 1837—1841). Крупнейший его труд «История царствования Петра Великого» основан на обширных документальных материалах, что содействовало обогащению исторических знаний, но официально-монархическая трактовка темы вызывала критическое отношение к нему Добролюбова и других передовых современников.

Стр. 283. *Смарагдов* С. Н. (1805—1871) — писатель, преподаватель истории и географии в различных петербургских учебных заведениях, адъюнкт-профессор Александровского лицея. Автор большого числа учебных пособий по истории.

Стр. 287. *Ты уж не сбираешься ли на Афон, чтобы избавиться от военной службы?* — т. е. в монахи. На полуострове Афон в Греции в Эгейском море было множество греческих, болгарских, русских и других монастырей.

Стр. 299. *Наступила весна ...одни носили траур по убитым родственникам, другие по умершем государе...* — Император Николай I умер в разгар Крымской войны 18 февраля 1855 г.

Стр. 329. *Вести с поля военных действий делались все более и более неутешительными и заставляли ждать какой-то катастрофы...* — Катастрофа наступила, когда после героической обороны (13 сентября 1854 — 28 августа 1855) пал Севастополь. Его защитники, терпя острую нужду в оружии, боеприпасах, продовольствии, расплачивались кровью за военную и экономическую отсталость царской России.

Стр. 344. *Во время болезни я прочел «С того берега».* — В книге статей Герцена «С того берега» нашла наиболее яркое отражение духовная драма писателя, пережитая им после поражения революции 1848 г. В кругах передовой русской интеллигенции произведение Герцена было воспринято прежде всего как полное истинного драматизма и проникнутое пессимистической, но выстраданной мыслью отражение событий всемирно-исторического значения, политического опыта Европы. Подобные оценки «С того берега» заключены в письмах Некрасова Тургеневу, Грановского Герцену.

Стр. 346. *Она не знала, какие реформы уже готовились для России.* — После разорительной Крымской войны кризис верхов ярко проявился в политике самодержавия, которое вынуждено

было приступить к подготовке отмены крепостного права и начать в конце 50-х годов разработку других буржуазных реформ.

Стр. 365. *...ко временам аракчеевщины, или введения домостроевских правил в семейную жизнь, или второго пришествия времен Магницкого.*— Аракчеев Алексей Андреевич (1769—1834) — граф, генерал от артиллерии. Всесильный временщик при Павле I и Александре I, с деятельностью которого связан целый период политического деспотизма и грубой военщины. «Домострой» — русский письменный памятник XVI в., представляет собой тщательно разработанный свод правил общественного, религиозного, и в особенности семейно-бытового поведения. Понятие «Домострой» впоследствии сделалось нарицательным обозначением консервативного и грубого бытового уклада вообще. Магницкий Михаил Леонтьевич (1778—1855) — реакционный государственный деятель, известен борьбой против передовой русской культуры и просвещения.

Стр. 366. *Более широкие по задаче романы Жорж Занда не имели доступа к русской публике.*— Санд Жорж (псевд.; наст. имя Аврора Дюпен, по мужу Дюдеван) (1804—1876) — французская писательница. Автор семейно-бытовых и социальных романов, поборница утопического социализма. В ее творчестве публицистичность соединялась с романтической сентиментальностью. В России произведения Ж. Санд переводились сразу же по выходе их во Франции. Популярность ее в русском обществе достигла апогея в 40-е годы XIX в. Романы Ж. Санд оказали большое влияние на борьбу за женское равноправие.

Стр. 379—380. *...романами Поль де Кока...*— Кок Поль Шарль де (1793—1871) — французский писатель, автор более 400 произведений. Наибольшим успехом вплоть до 80—90-х гг. XIX в. пользовались его романы, рассчитанные на вкусы мелкобуржуазного читателя, отличающиеся запутанной интригой, обилием пикантных подробностей, небрежным разговорным языком. В то же время в них встречались меткие характеристики буржуазных нравов. Были переведены на большинство европейских языков. Имя Поля де Кока стало нарицательным для обозначения пошло-развлекательной, фривольной литературы.

Стр. 381. *...мальчик читал и старую «Библиотеку для чтения»...*— Журнал «Библиотека для чтения» существовал с 1834 по 1865 гг. В 30-е годы вел борьбу с пушкинским «Современником». В 40-е годы выступал против писателей «натуральной школы».

Но несколько резких рецензий Сенковского и Белинского, подвернувшихся ему под руку, особенно пришлись по вкусу мальчугану...— Сенковский О. И. (1800—1858), критик, журналист, востоковед, профессор Петербургского университета, редактор-издатель журнала «Библиотека для чтения». Псевдоним — «Барон Брамбеус». Чуткий критик и эссеист, он не имел, однако, твердых убеждений, отличался консерватизмом. Большинство читателей не могло довольствоваться его беспринципной позицией, особенно в такое время, когда Белинский своими статьями будил общественное сознание, и прогрессивная русская интеллигенция вырабатывала собственное миросозерцание.

Стр. 382. *...подобно Давиду Копперфильду...*— Герой «романа воспитания» Ч. Диккенса «Дэвид Копперфильд» (1849—1850). Русский перевод его начал осуществляться в 1849 г.

Стр. 397. *...эти Виардо, эти Марио, эти Марлинские...*— Виардо-Гарсиа Мишель-Полина (1821—1910) — певица, меццо-сопрано,

вокальный педагог и композитор. С 1839 г.— солистка Итальянской оперы в Париже. Пела в различных театрах Европы, в том числе и в Петербурге,— впервые в 1843 г. Творчество Виардо-Гарсиа отличалось высокой музыкальной культурой и драматической экспрессией. Марио Джованни (наст. имя Джованни Маттео де Кандия; 1810—1883) — итальянский оперный артист, лирический тенор. С 1849—1853 гг. Марио выступал на сцене Итальянской оперы в Петербурге вместе со своей женой певицей Джулией Гризи. Один из лучших певцов XIX в., Марио обладал незаурядным даром драматического актера. Марлинский (наст. фамилия Бестужев А. А.) — русский писатель-романтик, декабрист (1797—1837). Для произведений Бестужева-Марлинского характерна вычурность, орнаментальность, которые вначале имели успех, но в дальнейшем стали объектом ожесточенной критики.

Эти три имени принадлежат романтическому направлению в искусстве, которое связано, по мнению героя, с элитарной, дворянской культурой и глубоко чуждо неимущим слоям общества.

Стр. 401. *...заиграла увертюру из «Вильгельма Телля».*— Лучшая опера Дж. Россини (1792—1868) героико-романтического жанра, написана в 1829 г.

Стр. 402. *...поместил несколько небольших специальных заметок в «Военный сборник».*— Выходил в Петербурге с 1858 г. ежемесячно. В 1858 г. в числе его редакторов был Н. Г. Чернышевский.

Стр. 410. *...как Павел и Виргиния?* — Герои повести Б. де Сен Пьера (1734—1814) «Поль и Вирджиния» (1787), вошедшей в четвертый том его «Этюдов природы». Написана под сильным воздействием идей Руссо.

Стр. 412. *...чудные слова поэта про «бедных матерей»...*— Имеется в виду стихотворение Н. А. Некрасова «Внимая ужасам войны...» (1855).

Стр. 427. *...учительницами в мелких народных школах...*— В предреформенные годы вопросы народного просвещения становятся острыми вопросами дня. В «Морском сборнике» появляется статья знаменитого Н. И. Пирогова, доказывающая необходимость широкого развития общего образования. В конце 1857 г. основывается педагогическое общество. И общая печать, и возникшая специально-педагогическая («Журнал для воспитания», «Учитель» и др.) посвящают делу народного образования целый ряд статей. Молодежь кладет начало совершенно новому типу учебных заведений — воскресным школам, число которых быстро растет.

Стр. 433. *Великая реформа была «злобой дня» ... в виде получения новых прав.*— В 1856—1858 гг. часть помещиков, хозяйство которых было сильнее втянуто в сферу рыночных отношений, выступила с различными проектами отмены крепостного права. Довольно значительная часть помещиков решительно выступала вообще против отмены крепостного права. В связи с этим в губернских комитетах развернулась борьба между «либеральным» меньшинством и крепостнически настроенным большинством представителей дворянства. Однако, как указывал В. И. Ленин, «пресловутая борьба крепостников и либералов, столь раздутая и разукрашенная нашими либеральными и либерально-народническими историками, была борьбой *внутри* господствующих классов, большей частью *внутри помещиков,* борьбой *исключительно* из-за меры и формы *уступок*» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 20, с. 174).

Основной водораздел борьбы происходил между либерально-крепостническим лагерем, стоящим «на почве признания собственности и власти помещиков», и лагерем революционной демократии, выступавшим за революционное «*уничтожение* этой собственности», за «*полное свержение* этой власти» (там же) и выражавшим интересы и стремления широких масс крестьянства.

Стр. 434. *...когда дело шло о различных «обличениях»...*— Обличительная литература (термин шестидесятых годов) и журналистика возникли в качестве одной из форм либерального движения середины — конца 50-х годов, в период острого кризиса самодержавно-крепостнического режима. Хотя авторы-обличители не связывали рисуемых ими документально-ярких картин чиновничьего произвола, хищений и грабительства с общими политическими порядками тогдашней России, но их произведения являлись хорошим агитационным средством в подготовке борьбы с самодержавно-помещичьим строем.

Стр. 435. *Монталамбер* — см. примеч. к с. 141.

Кавур К. Б. (1810—1861) — крупный государственный деятель и дипломат Пьемонта и Италии периода ее национального объединения, идеолог и лидер либерально-монархической буржуазии и либерального дворянства.

Розенгейм М. П. (1820—1887) — автор псевдообличительных, псевдогражданских стихотворений, крайне низкого художественного уровня.

Бенедиктов В. Г. (1807—1873) — поэт. Его творчество отличалось вычурностью и ложным пафосом, эпигонским использованием наиболее ходовых тем и образов романтической поэзии. С 1855 г., после долголетнего перерыва, Бенедиктов начал печатать стихи в духе «либерального обличительства».

Стр. 438. *Несколько сведений, несколько новостей, которых он не мог напечатать в России, были отосланы им за границу.*— В 50-е годы А. И. Герцен создает вольную русскую прессу за границей. Это сыграло огромную роль в освободительном движении. В период начавшегося общественного подъема (1855—1857) вышли первые книги «Полярной звезды» и первые выпуски «Голосов из России», в 1857—1858 гг. накануне первой революционной ситуации в стране, начинается и развивается издание «Колокола». В «Колокол» шел поток корреспонденций: разоблачение тайной политики самодержавия, многочисленные известия о злоупотреблениях местных гражданских и военных властей, а также государственной церкви, довольно значительное количество корреспонденций посвящено борьбе различных групп и лагерей вокруг крестьянского вопроса.

Стр. 458. *...об устройстве воскресных школ для взрослых.*— С 1859 г. в России начинают распространяться воскресные школы, главным организатором которых была демократическая молодежь. В школах преподавали многие активные участники революционного движения — Н. Серно-Соловьевич, С. Рымаренко, А. Слепцов и др. Среди учащихся преобладали взрослые, главным образом трудовая беднота. Революционные демократы рассматривали образование народа как важный элемент революционного воспитания, как средство его духовного пробуждения. В воскресных школах проводилась и прямая революционная пропаганда, для которой использовалась нелегальная революционно-демократическая печать.

Стр. 461. *Серьезно начатый спор о происхождении Руси ... окончившийся знаменитою фразою о том, что «мы не дозрели»...*— Русский историк М. П. Погодин (1800—1875), представитель и ревностный защитник «теории официальной народности», придерживался взгляда, что русское государство было образовано без насилия, путем добровольного призвания варягов, как правителей и властителей. 19 марта 1860 г. в Петербургском университете произошел научный диспут по вопросу о происхождении Руси между ним и известным историком Н. И. Костомаровым. Этот спор привлек к себе огромное внимание. Позднее Погодин писал, что, проявив такую заинтересованность в проблеме, широкие слои общественности показали себя созревшими для участия в важных теоретических и практических вопросах, но что он отнюдь не приписывал публике непогрешимости и что она способна ошибаться. (Подробнее описание этого события см.: Н. П. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, в 22-х книгах, кн. 17, СПб., 1903, с. 272—295).

...литературные толки о корреспонденции о волжско-донской дороге, где отучали людей от пищи; горячие рассуждения о том, следует ли сечь или не следует, следует ли сечь мужиков и детей или только детей, следует ли сечь последних административным порядком или по суду; глубокомысленные толки о грамотности, вырабатывающей мошенников...— Имеются в виду следующие эпизоды русской общественной жизни предреформенных лет: строительство Волго-Донской железной дороги в 1859—1860 гг., во время которого рабочие подвергались жесточайшей эксплуатации и издевательствам со стороны администрации, жили и трудились в нечеловеческих условиях; обсуждаемые в печати вопросы о просвещении широких масс и целесообразности телесных наказаний (по этому поводу в период 1858—1860 гг. много писала Вольная русская пресса за границей, публиковал статьи в «Колоколе» А. И. Герцен).

Стр. 462. *...вымещали свою злобу на том, что отыскивали ошибки... в «новых людях».*— Понятие «новые люди» утвердил в русской литературе Чернышевский (роман «Что делать?» (1863) имеет подзаголовок «Из рассказов о новых людях»). Но в общественном сознании это понятие должно было сложиться раньше, уже во второй половине 50-х годов. Чернышевский эстетически осмыслил это явление русской жизни; «новые люди» стали в его произведении художественным типом.

...благонамеренный чиновник Надимов...— «Благородный герой» комедии В. А. Соллогуба «Чиновник» (1856).

Стр. 510. *...в беседке Александровского парка...*— Парк, располагавшийся на Аптекарском острове в Петербургской части города.

И. Павлова

СОДЕРЖАНИЕ

АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ ШЕЛЛЕР-МИХАЙЛОВ

ЛЕС РУБЯТ-ЩЕПКИ ЛЕТЯТ

Редактор *Е. Жезлова*
Художественный редактор *Г. Масляненко*
Технический редактор *Т Фатюхина*
Корректоры: *С. Свиридов, Л. Овчинникова*

ИБ № 3369

Сдано в набор 27.09.83. Подписано к печати 22.05.84. Формат 84×108[1]/32. Бумага типограф. № 2. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 27,72. Усл. кр.-отт. 28,14. Уч.-изд. л. 30,56. Тираж 75 000 экз. Изд. № II-1318. Заказ № 217. Цена 2 р. 70 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Набрано и сматрицировано в ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первой Образцовой типографии имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 113054, Москва, Валовая, 28. Отпечатано в Ленинградской типографии № 6 ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 193144, г. Ленинград, ул. Моисеенко, 10.





2р. 70к.